



380-летию Красноярска
посвящается!

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

2008

№2
лето

« Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть »

Е. А. Баратынский

Главный редактор

Марина Саввиных

Заместители главного редактора

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

Иван Клиновой

Елена Тимченко

Михаил Стрельцов

Секретарь

Наталья Слинкова

Редакционная коллегия

Николай Алешков

Набережные Челны

Владимир Балашов

Саяногорск

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Михаил Гундарин

Барнаул

Андрей Иванов

Кемерово

Александр Колесов

Владивосток

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Валентин Курбатов

Псков

Александр Лейфер

Омск

Евгений Мамонтов

Владивосток

Владимир Нешумов

Старый Оскол

Евгений Попов

Москва

Лев Роднов

Ижевск

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Александр Силаев

Красноярск

Михаил Успенский

Красноярск

Илья Фоняков

Санкт-Петербург



Владимир Шанин

Завещание меценатки

« А вы, надменные потомки... »

М. Ю. Лермонтов

380-летию Красноярска посвящается

В той обычной истории, о которой следует всё же напомнить, необычным может быть один из документов, оставленный в назидание нам, потомкам — как яркий показатель беспримерной порядочности наших богатых предков.

Итак, дорогой читатель, представь себе тот день... 19 ноября 1910 года. Была пятница. Морозно. Снежные заносы угрожают движению поездов. Врачебная управа предупреждает о распространении инфлюэнцы, перекинувшейся из Иркутска. На вечернем заседании второй день подряд городская дума решает вопрос о штатах канцелярии городской управы и установлении им жалованья. В кулуарах обсуждается недавняя смерть Льва Толстого, причём в Канске, по замечанию газеты «Красноярская мысль», запрещено совершать по нём панихиду. Енисейский губернатор, действительный статский советник Яков Дмитриевич Бологовский утверждён в звании почётного члена Сиропитательного приюта имени Щеголевой.

Вот, пожалуй, и все губернские новости этого дня, если не считать нескольких пожаров да двух отравлений уксусной эссенцией, кстати, не внушающих для женщин «серьёзных опасений».

В этот день в контору красноярского нотариуса Ставровского (собственный дом по Воскресенской улице) зашла старая дама и, тяжело опустившись на подставленный хозяином стул, задышливо заявила:

— Не откажите в любезности, милейший Николай Александрович, выслушать меня...

— К Вашим услугам, уважаемая Евдокия Петровна! — Ставровский с достоинством склонил голову. — Я весь внимание.

— Сразу оговорюсь, разговор будет долгим и не без свидетелей... как и положено в таких случаях.

— Но где же они?!

— Ах, да... Они будут с минуты на минуту; я позволила себе пригласить господ Нарциссова, Шепетковского и Белянина... Да вот, кажется, идут.

В передней тревожащим звоном затрепетал колокольчик и тяжело стукнула дубовая дверь, а через минуту свидетели уже сидели на лавке сбоку от стола Ставровского и непринуждённо обсуждали вчерашние новости: в сборном цехе главных железнодорожных мастерских слесарю Атанову оторвало кисть правой руки — у станка для обточки не было рукоятки, а потому для регулирования хода станка приходилось браться за шестерню рукою; на перегоне Кача — Водораздельный Сибирской железной дороги пассажирский поезд потерял крушение — у одного из вагонов сломалась колёсная ось. Хорошо ещё, что никто не

пострадал. На станцию Красноярск поезд прибыл с опозданием на шесть часов.

— Утром как раз и прибыл, я узнавал, — сказал Белянин.

— Парня жаль, куда он теперь без руки-то? — вздохнул Шепетковский.

Ставровский сделал знак рукой, и говорившие умолкли.

— Слушаю Вас, Евдокия Петровна, — Ставровский улыбнулся.

— Я хотела бы составить духовное завещание: годы, понимаете ли... В мои лета скрывать возраст вроде бы и ни к чему даме. Шестидесят пять мне уже. Спешить надо.

— Ну, что Вы... да Вы ещё...

— Нет-нет! — Евдокия Петровна поморщилась, и стало всем ясно, что комплимент неприятен ей. — Я знаю, надо спешить. Я всё обдумала. Будущее настолько туманно, а я могу в любое время... ну, да что говорить, и так понятно!

Евдокия Петровна Кузнецова, старшая дочь покойного красноярского купца первой гильдии, золотопромышленника и мецената Петра Ивановича Кузнецова, внешне сильно похожая на отца смуглой кожей и азиатским разрезом глаз, терпеливо ждала, пока нотариус напишет вступление к документу, который будет иметь большую юридическую силу.

Наберёмся и мы с вами, дорогие читатели, терпения, прочитаем сей скучный текст до конца:

«Тысяча девятьсот десятого года ноября девятнадцатого дня явилась ко мне... лично мне известная и имеющая законную правоспособность к совершению актов потомственная почётная гражданка Евдокия Петровна Кузнецова, живущая по Песочной улице, в доме Коновалова, в сопровождении лично мне известных свидетелей: надворного советника Дмитрия Иннокентьевича Нарциссова, сына статского советника Николая Николаевича Шепетковского и младшего ординатора Красноярского местного лазарета Гавриила Ивановича Белянина, живущих в городе Красноярске: первый по Благовещенской улице, в доме матери своей, второй по Баталионному переулку в доме отца своего и третий по Благовещенской улице в доме Саниной, с объявлением, что она, Кузнецова, желает совершить духовное завещание следующего содержания: первое — из принадлежащего мне недвижимого имущества, находящегося в городе Красноярске, во второй части, на углу Воскресенской улицы и Благовещенского переулка и заключающегося в месте земли, сколько таковой есть в натуре, с возведёнными на нём деревянным одноэтажным домом, двумя флигелями, из которых один двухэтажный каменный, и другими надворными постройками, завещаю

в полную собственность: а) городу Красноярску, в лице Городской Думы, угловую часть места земли, в количестве: длиннику по улице тринадцать сажен и по Благовещенскому переулку до межи церковной ограды, с возведённым на этом месте угловым деревянным одноэтажным домом и другими постройками, с тем неперменным условием, во-первых, чтобы завещанный дом служил исключительно под школу или какое-либо городское просветительное учреждение, во-вторых, чтобы ни в этом доме, ни в принадлежащем ему месте земли никогда не устраивалось каких бы то ни было торговых заведений, магазинов и тому подобное, и в-третьих, чтобы та школа или то просветительное учреждение, которые будут помещаться в завещанном доме, носили бы имя Петра Ивановича и Александры Фёдоровны Кузнецовых, и в) племянникам моим, детям брата моего, потомственного почётного гражданина Ивана Петровича Кузнецова, — Петру, Александре и Евгении, остальное количество земли, сколько таковой окажется в натуре, с возведённым флигелем, деревянным флигелем и всеми надворными постройками по равной части каждому. Причём завещанное имущество поступает в фактическое владение города и племянников моих только через год после моей смерти, в течение коего душеприказчики мои должны ликвидировать все мое движимое имущество, согласно особо оставленной им за моей подписью инструкции, при этом душеприказчикам предоставляется срок этот сократить. Второе: все принадлежащие мне паи в приисках, где бы последние ни находились, за исключением моего участка в Троицком прииске по речке Узунжулу, завещаю Красноярскому Самоуправлению, с тем, чтобы весь чистый приход от арендования или продажи этих паев городское самоуправление должно распределить по равной части между Красноярской женской гимназией, Красноярским детским приютом — ведомства императрицы Марии, Красноярским Синельниковским благотворительным обществом, Красноярским городским музеем и Минусинским городским Мартьяновским музеем. Третье. Принадлежащее мне участие в Троицком прииске по речке Узунжулу, в Минусинском уезде, завещаю в пожизненное владение сестры моей Елизаветы Петровны Пасек, а после её смерти в полную собственность вышеупомянутым племянникам моим Петру, Александре и Евгении Кузнецовым. Четвертое. Из оставшихся после меня наличных денег и денег, которые получают душеприказчики от продажи моего движимого имущества, завещаю: выдавать племяннице моей Ксении Иннокентьевне Матвеевой до двадцатипятилетнего возраста по триста рублей ежегодно, а по достижении двадцати пяти лет выдать ей пятьсот рублей единовременно. Выдать дочерям покойного чиновника Сергея Николаевича Федорова Вере и Марии Сергеевым Федоровым по пятисот рублей каждой; выдать Красноярской женской гимназии из наличных денег две тысячи рублей; выдать Минусинской женской гимназии пятьсот рублей; выдать Красноярскому Воскресенскому собору одну тысячу рублей, которые должны составлять неприкосновенный капитал, а на проценты с него поддерживать памятники

родителей моих Петра Ивановича и Александры Федоровны Кузнецовых, и Красноярскому Воскресенскому собору завещаю в собственность все мои иконы и ковры. Пятое — завещаю из наличных денег пятьсот рублей душеприказчикам на расходы по исполнению завещания. Шестое — на похороны мои завещаю употребить не более пятисот рублей. Седьмое. Всю остальную наличную сумму денег, какая окажется, по ликвидации всех дел моих, передать городу Красноярску по усмотрению душеприказчиков на какое-либо просветительное учреждение имени Петра Ивановича и Александры Федоровны Кузнецовых. Восьмое. Все мои книги завещаю Красноярской городской библиотеке. Девятое. Если бы оказалось, что наличного капитала не хватит на удовлетворение всех моих пожеланий, выраженных в четвертом пункте сего завещания, то душеприказчики мои могут уменьшить все выдачи пропорционально. Десятое. Душеприказчиками моими по исполнению воли моей по сему завещанию прошу быть и назначаю доктора медицины Петра Николаевича Коновалова и врача Иннокентия Ивановича Кускова, опекушкой же над завещанием моим недвижимым имуществом малолетним моим племянникам, Петру, Александре и Евгении Кузнецовым, назначаю мать последних Анастасию Ивановну Кузнецову, совместно с душеприказчиками моими. Проект сего завещания читан завещательнице Кузнецовой, на основании сто пятой статьи Нотариального положения, без свидетелей и, по одобрении онаго и удостоверении, что она по доброй воле желает это завещание совершить и понимает его смысл и значение, внесен в актовую книгу, из которой вновь прочитан тем же порядком. Выпись на листе гербовой бумаги в один рубль двадцать пять копеек следует выдать завещательнице потомственной почётной гражданке Евдокии Петровне Кузнецовой для представления таковой ея наследникам в подлежащий Окружной суд на утверждение в годовой со дня смерти завещательницы срок. К сему духовному завещанию подписуюсь потомственная почётная гражданка Евдокия Петровна Кузнецова. При совершении сего завещания свидетелями были и удостоверяем, что завещательница Евдокия Петровна Кузнецова при совершении и подписании ею сего завещания собственноручно в нашем присутствии, находилась в здравом уме и твёрдой памяти и заявила нам, что настоящее завещание ею прочитано, в том и подписуемся: младший ординатор Красноярского местного лазарета — врач Гавриил Иванович Белянин, живу по Большекачинской улице, дом Санина. Надворный советник Дмитрий Иннокентьевич Нарциссов, живу по Благовещенской улице в собственном доме. Сын статского советника Николай Николаевич Шпетковский, живу в гор.Красноярске, по Садовой улице, в доме Шпетковского.

Нотариус Н. Ставровский.
Верно: секретарь при прокуроре
«(подпись неразборчива)».

После утомительной процедуры ожидания, перечитывания текста, подписания документа свидетели отклонялись и ушли, обсуждая на ходу создание в Красноярске музыкального общества и

отмечая, какое «эстетическое наслаждение доставил публике любительский оркестр балалаечников и мандолинистов под управлением Шапиро, талантливого и неутомимого работника».

От нотариуса Евдокия Петровна ушла уставшей, опустошённой, а на сердце было легко. Приятно сознавать, что свой земной путь завершила достойно, всё сделала так, как и должно, отец мог бы быть ею доволен.

Мела позёмка, но ветер ещё не набрал полной зрелости, и оттого казалась прогулка по Воскресенской улице неожиданным приятной. Никуда не сворачивая, Евдокия Петровна миновала Кузнецовское подворье, пересекла Старобазарную площадь и вошла в ворота Воскресенского кафедрального собора, на территории которого похоронены её отец и мать.

Александра Фёдоровна и Пётр Иванович Кузнецовы, неразлучные даже в смерти, лежали рядом под скромным памятником, чуть левее роскошного мавзолея камергеру Его Императорского Величества Двора, дипломату и путешественнику Николаю Петровичу Резанову, скончавшемуся в Красноярске в 1807 году. В ряду немногих горожан, удостоившихся чести быть похороненными в священной ограде собора, были и супруги Кузнецовы, известные своими дарами и немалыми пожертвованиями церкви, своей общественной значимостью. Они любили Сибирь, как родную мать, и старались приумножать славу её.

Потомственный почётный гражданин и кавалер ордена Станислава второй степени, купец первой гильдии, один из крупнейших золотопромышленников и, по определению тогдашнего епископа Никодима, «человек без классического образования, только начитанный и наслушавшийся иноземного и вольного», Пётр Иванович Кузнецов был в то далёкое время не только активным общественным деятелем и трижды городским головой, но ещё и меценатом. На свои средства снарядил первую Амурскую экспедицию в 1854 году и был её участником. На свой счёт обучил в Санкт-Петербургской академии художеств красноярца Василия Сурикова, ставшего позднее всемирно известным историческим живописцем. Да мало ли добрых дел в личном активе Петра Ивановича! За одного только Сурикова просвещённое человечество должно быть благодарно ему в веках.

Умер Пётр Иванович скоропостижно 26 декабря 1878 года в Санкт-Петербурге в собственной квартире в доме Лисицына на Спасо-Преображенской улице, где часто бывал учившийся в Академии художеств Василий Суриков. Ещё в 1874 году, вспомнила Евдокия Петровна, кажется, в конце января, Суриков появился у них, когда она с сёстрами Лизой, Сашей и Юлией уезжала за границу. Потом, в начале июня, когда они из-за границы вернулись и собирались ехать в Сибирь, Суриков хотел передать для бывшего своего учителя Михаила Иосифовича Чебакова какой-то свой эскиз и очень огорчился, узнав, что сёстры «делают сворот» прямо на золотые промыслы в Узунжуд. В Красноярске же, сказала ему Евдокия Петровна, они будут, вероятно, лишь к лету будущего года. Суриков просил привезти ему в

Москву какую-то татарскую или казацкую, она теперь уже и не помнит, шапку для «Стрельцов» — большой картины, которую он тогда начал писать. Через десять лет Суриков, уже известный живописец, имеющий на руках двоих маленьких девочек и смертельно больную жену, послал Евдокию Петровне деньги и написал: «...осталось за мной долгу тоже только сто рублей. Как-нибудь соберусь, вышлю и остальные...». Чудак! Да разве в деньгах счастье? Счастье — то, что с помощью Петра Ивановича он стал тем, кем хотел быть, — художником. А деньги... Что ж, честолюбивый человек всегда помнит: долг платежом красен...

Тело отца 19 января 1879 года в железном ящике было отправлено в Красноярск сыном покойного, студентом Петербургского технологического института двадцатидвухлетним Александром, членом Попечительского совета Красноярской женской гимназии и почётным попечителем учительской семинарии, старостой Воскресенского собора, а 20 февраля предано земле. На скромном, из камня, памятнике, скромная выбита надпись, фраза из Евангелия: «Блаженны милостивцы, тем помилованы будут».

На восемь лет пережила мужа великомученица Александра Фёдоровна, преданная и хозяйственная жена, родившая ему десятерых детей, пять мальчиков и пять девочек. Евдокия Петровна — их первенец, более любима и более, наверное, несчастна. За нею идут Александр, Мария (умерла 9 августа 1849 года, через два месяца после рождения), Елизавета, Александр, Лев, Николай, Иннокентий, Иоанн, Юлия — последышек, и тоже любимая дочь. Хотя нельзя сказать, что остальных детей родители меньше любили. А в метрических книгах они записаны как незаконнорождённые, ибо брак Петра Ивановича и Александры Фёдоровны долгое время не был освящён церковью: мещанская дочь не могла быть парой купцу первой гильдии... И только в 1871 году именным Высочайшим указом «Об узаконении детей потомственного почётного гражданина Красноярска 1 гильдии купца Петра Кузнецова, прижитых им до брака с его женою, по включении их в семейный капитал Кузнецова» дети получили гражданские права и фамилию отца — Кузнецовы. Тогда же и Александра Фёдоровна, в девичестве Агафонова, была записана Кузнецовой.

У Александры Фёдоровны обнаружился рак пищевода. Последние две недели она ничего не ела и только пила воду, и каждый глоток с трудом удавалось протолкнуть внутрь. Говорить она тоже не могла, а только шептала — злокачественная опухоль перехватила голосовые связки. Из дородной полной женщины она превратилась в сухую костлявую старуху. Дети по очереди не отходили от её постели, и всегда кто-нибудь из сыновей был рядом, чтобы на руках отнести её по малой нужде. И даже в таком вот беспомощном состоянии она стеснялась мужчин. Доктор Кусков, тогдашний друг семьи Кузнецовых, когда-то вылечивший Александру Фёдоровну от тяжёлой болезни, за что благодарный Пётр Иванович подарил ему просторный дом на углу Гостинской улицы и Благовещенского переулка¹, находился здесь почти неотлучно и, как мог, старался облегчить страдания умирающей. Когда накатывала оглушающая волна

¹ Ныне угол ул. К. Маркса и 9 января, дом сохранился.

боли, Иннокентий Иванович тут же вкалывал ей морфий. Она часто проваливалась в беспмятство, затихала, но через некоторое время открывала мутные, невидящие глаза и пыталась поймать блуждающим взглядом чьё-нибудь лицо, сына или дочери, наконец, остановила на Евдокии. Взгляд стал более осмыслен, однако же и далёк, и исходил как бы уже оттуда, из небытия; она хотела, видно, что-то передать прощальное, но вдруг посуровела и резко оттолкнула дочь взглядом. У Евдокии брызнули слёзы. А мать снова потеряла сознание. Сил у неё уже не было никаких, даже на то, чтобы снова открыть глаза. Сердце работало из последних сил, готовое выскочить из ссохшейся груди, оттого тело умирающей с каждым его ударом раскачивалось, в животе булькала вода.

Никто не спал в ту ночь и в то утро, все ждали конца...

В 12 часов дня четвёртого февраля 1887 года Александра Фёдоровна Кузнецова, не приходя в сознание, скончалась. Было ей 68 лет. И она, как и её могущественный супруг, оставила по себе добрую память сердечной благотворительностью. С её именем связана история Красноярской женской гимназии, на учреждение восьмого класса в ней она пожертвовала 30 тысяч рублей. В течение многих лет она была почётной блюстительницей этой гимназии, много помогала беднейшим ученицам, давая им возможность завершить образование.

...Евдокия Петровна расчистила дорожку, ведущую к родовой усыпальнице, размела снег у надгробий и, опустившись на колени, в земном поклоне коснулась челом холодных каменных плит. Затем с трудом поднялась с колен и стала рассказывать, вытирая платочком слёзы, как живётся ей на этом свете да что она сделала для людей хорошего в угоду Господу Богу.

А хорошего, как она подсчитала, за нею числилось не так уж и мало. Более двадцати пяти лет состоит попечительницей Владимирского детского приюта в Красноярске, в который вложила более 25 тысяч рублей одних только денег — ежегодно по тысяче, за что Высочайше пожалована его пожизненной почётной попечительницей. Общество попечения о начальном народном образовании, Общество вспомоществования учащимся, Синельниковское благотворительное общество, Общество вспомоществования Высшим женским курсам в Петербурге — все считали её своим почётным членом. Многие из красноярской молодёжи, благодаря её поддержке, сумели получить высшее образование. Большие пожертвования сделала на устройство кабинета учебных пособий, на экскурсии по исследованию родного края, на постройку здания для краеведческого музея и на поездку заведующего музеем в Европейскую Россию на учёбу. Кроме того, доставала растения, минералы и другие предметы исторического характера. А в фонд городской библиотеки передала 85 названий книг и 102 тома из личной библиотеки. Н. М. Мартъянову дала средства и возможность заниматься наукой, освободив его от обязанностей провизора минусинской аптеки... И только ленивый, как она сама как-то выразилась, не получил от неё помощи, «жертвовала щедрой рукой, не ожидая благодарности...». И хотя много

лет она прожила за границей, но и там, на чужбине, «горячо интересовалась русской жизнью вообще и местной в частности...». Она не имела ни своей семьи, ни своих детей, но любила и была любимой среди друзей и знакомых. Друзьями же её были и старые, и малые. Среди них она была известна под именем «тёти Дуни»... Говорила она долго и неторопливо, хотела высказаться до конца, прежде чем покинет это соборное кладбище, собор, город, и, успокоенная, уедет в Петербург, а оттуда, для лечения, — за границу. Сказала и про духовное завещание, составленное ею только что, и напоследок заверила покойных родителей, будто они и на том свете могут слышать её, что совесть её перед Богом чиста и что скоро, видать, и сама предстанет на Суде Божиим счастливой ответчицей.

— Может, что я и не так сделала в жизни своей, дорогие мои маменька и папенька, ну, да ладно уж, на том свете и на том Суде всё выяснится. А потомки рассудят по совести. Мне теперь легко и покойно — раздала всё, что имела и что тяготило меня последние годы. Теперь я свободна, как птица. Но вы не беспокойтесь, маменька с папенькой! Поживу в Петербурге. А здесь, в Красноярске, целые апартаменты мне уступает в своём доме любезный Пётр Николаевич Коновалов, так что не на улице остаюсь...

Мороз усиливался. Евдокия Петровна стала зябнуть. Она в последний раз поклонилась могилкам, повернулась и пошла к храму, попутно остановилась у могил Авдотьи Ивановны и Василия Никифоровича Власьевских, построивших на свой счёт новую колокольню Воскресенского собора взамен сторевшей в 1773 году и умерших почти в одно и то же время в 1864-м, у могилы сестры своей Анфисы Петровны, в замужестве Куртуковой, и самого Петра Матвеевича Куртукова, немало жертвовавшего на святость. В конце концов холод загнал её в храм Божий, блистающий своим великолепием, церковными древностями, главная из которых — потир деревянный, с живописными изображениями, окрашенный в кофейного цвета краску и по преданию относящийся к временам российского государя Бориса Годунова. Был тут и небольшой колокол с надписью славянской вязью, Евдокия Петровна знает её наизусть: «1589 года, июля первый день, по указу Великого Государя дан сей вестовой колокол с Москову из Сибирского приказу в Сибирь на Красный яр. Весу в нём 19 пудов 32 фунт». Есть тут и большой колокол, в тысячу пудов весом, пожертвованный в собор Петром Ивановичем Кузнецовым, но он при подъёме на колокольню упал, дал трещину и с тех пор ни разу так и не звонил.

Поставив свечку за упокой, помолвившись, Евдокия Петровна отправилась домой.

Была пятница, в городской думе обсуждался вопрос о штатах канцелярии городского управления и о жалованье чиновникам на будущий год. От вчерашнего пожара на Малокачинской в доме Хотьковского и в доме Макарова, стоявшего на углу Благовещенской улицы и Дубенского переулка, наносило запахом гари.

Через несколько дней Евдокия Петровна выехала в Петербург. В Москве она навестила Сурикова, живущего с дочерью Еленой в меблированных комнатах гостиницы «Княжий двор»

на Волхонке и заканчивающего картину «Степан Разин». Начиная с весны, Василий Иванович путешествовал по Франции, затем — с зятем Петром Кончаловским — по Испании, весь июль в одиночестве мотался по Ставрополю на Волге и только к осени вернулся в Москву.

Встретились, как родные: обнялись, расцеловались. Василий Иванович живо интересовался красноярскими новостями, как будто век не бывал на родине, жадно ловил каждое слово, и после, за чаем, похвастался, как хорошо работалось ему в Париже, в студии д'Англады, что новую свою картину он думает послать на Международную выставку в Рим.

— А я ведь, Васенька, совсем выехала из Красноярска, — сказала Евдокия Петровна.

— Как это... совсем? — опешил Суриков.

— Завещание составила. Всё своё богатство раздала: деньги, дома, прииски... Хочу только, чтобы дом, где мы все родились, жили, страдали и уходили каждый в свой черёд, общество не оставило бы без внимания. Пусть там будет школа или какое-нибудь культурное заведение имени моих родителей. Они этого заслужили.

— Ну, а куда ты сейчас?

— В Петербург, потом за границу к медицинским светилам... Хотелось бы напоследок походить по выставкам, галереям... Удастся ли когда ещё!

— Да-да, я сейчас, Дусенька, всё устрою! — Суриков схватил карандаш и на листе бумаги быстро написал:

«Многоуважаемый Иван Евгеньевич! Позвольте моей хорошей знакомой, сибирячке Евдокии Петровне Кузнецовой, осмотреть Вашу галерею. Уважающий Вас В. Суриков. 13 декабря 1910 г.».

— Это Цветков, банковский деятель, собиратель картин и рисунков, — Суриков протянул Евдокии Петровне листок. — У него своя картинная галерея, «Цветковская», в прошлом году он принёс её в дар Москве. Отдашь записку, и он тебя по всем залам поводит не хуже экскурсовода. Старик до тонкостей знает искусство, шибко охоч до всяких новинок.

...Евдокия Петровна в Москве не задержалась, выехала в Петербург, Оттуда в Германию, в Италию, долго жила в Ницце и в 1913 году вернулась на родину, в Красноярск, умирать... Во всяком случае, так и заявила при встрече с Петром Коноваловым. После того, как скончался в петербургской лечебнице Кальмеера от рака кишок её брат Александр, она уже не могла жить за границей, где всё чужое, даже воздух. В ноябре умерла жена покойного брата, Екатерина Михайловна, в девичестве Раевская, дочь казачьего полковника Михаила Раевского, внучка декабриста Владимира Федосеевича Раевского. Милую Катеньку похоронили в усыпальнице Кузнецовых, и Евдокия Петровна, придя с похорон, слегла, сказав доктору Коновалову, что ей уже теперь не подняться.

За четыре дня до смерти она ещё читала газеты, приносимые Петром Николаевичем, потом от них отказалась из-за слабости зрения и общего упадка сил. А восьмого декабря, в воскресенье, на 68-м году жизни она скончалась. Местная газета «Енисейская мысль» десятого декабря сообщила о её кончине, что «вынос тела состоится в 9 утра

в Воскресенский (старый) собор, где будет погребение, из дома по Песочной улице, дом доктора П. Н. Коновалова».

Та же «Енисейская мысль» 15 декабря писала: «Дочь богатой интеллигентной семьи, местная уроженка, она получила первоначальное образование дома под руководством опытных гувернанток; Закону Божию и рукоделию же обучалась в Владимирском приюте, с её смертью стало меньше одним хорошим человеком, которыми мы и так не богаты». В девятый день кончины Евдокии Петровны, 16 декабря, в Воскресенском соборе была отслужена панихида, а 18 декабря с большим некрологом в той же «Енисейской мысли» выступил редактор газеты «Сусанин» Н. А. Шагин, с горечью отметивший: «...больно, обидно и тяжело отметить то холодное равнодушие, с каким отнёсся город к проводам её праха на место вечного покоя».

Действительно, странное отношение местного общества к покойной дочери мецената. Почему? Узнаем ли об этом когда-нибудь?

Через двадцать лет Воскресенского собора не стало, власти превратили его сначала в механический завод, затем в склад, а потом и вовсе снесли. Каменные плиты памятников использовали под фундаменты строящихся домов. А в пятидесятые годы на месте приходского кладбища комсомольцы решили построить Дом Молодёжи, расчистили площадку, повыбросив из могил истлевшие кости, и ребятишки — эти современные неразумные чада — с воплями и победными кликами носились по улицам, воздев на палки белые человеческие черепа. Может быть, и череп Евдокии Петровны Кузнецовой...

Так передавала из уст в уста людская молва.

И сегодня историки вспоминают П. И. Кузнецова лишь в связи с феноменом Сурикова, но не ставят рядом остальных Кузнецовых, как будто их и не было. Правда, в том завещанном Евдокией Петровной родительском доме располагается ныне Детское хоровое общество и Детская музыкальная студия, но не более того. Имена же Петра Ивановича и Александры Фёдоровны Кузнецовых на вывеске до сих пор отсутствуют. Так и хочется воскликнуть: «О времена, о нравы!...».

г. Красноярск

Тамара Гончарова ВДОГОНКУ



Сафьяновые ботинки

Эта история произошла более девяноста лет назад, на Нижегородской земле, в селе неподалёку от Сарова.

У Маши, восемнадцатилетней снохи хозяина мельницы Ивана, носившего уличную фамилию Булычёв, прохудились ботинки. Их уже отдавали в починку сельскому сапожнику Захару, но ботинки запросили каши снова. Отец Маши купил их к свадьбе дочери, и они верой и правдой прослужили ей два с половиной года. Но сегодня терпение у них закончилось. Вечером, когда свёкор приехал с мельницы, Маша показала ему порвавшиеся ботинки. Он внимательно рассмотрел их со всех сторон, нахмурил брови и сказал: «На тебя, Марья, не напасёшься! Ничего, подюжат ещё. Завтра отнеси их Захару, да скажи, чтобы покрепче подошвы приколотил!» И семья села за стол ужинать. У Маши на глаза навернулись слёзы, но делать было нечего. Утром, надев свою совсем старенькую обувку, она понесла ботинки сапожнику. Захар, хорошо знавший её свёкра, только вздохнул, увидев её обувь, и проворчал: «Придёшь через два дня, тут с твоими башмаками возиться и возиться». Захар, хоть и ворчал, но дело знал, и починенные ботинки продолжили свою службу. Но Маше уже стыдно было выходить в них на улицу, потому что однажды она услышала, как разговаривали соседки: «Посмотри, как свою сноху Коротай держит — ботинки-то заплатанные. У отца она в эдаких не ходила!» Она начала уговаривать своего мужа Михаила, чтобы он попросил денег у отца. Михаил и рад был бы выполнить просьбу жены, но он точно знал, что отца просить бесполезно. Сколько помнил себя двадцатипятилетний Михаил, отец всегда был прижимистым и скупым на копейку. И хотя жила семья не бедно, но ни сам отец, ни мать, ни сын с дочерью, ни сноха не щеголяли в новой одежде по селу. Деньги доставались им нелегко, а потому и тратились с оглядкой. В деревянном, на каменном подклете доме, который достался Ивану Булычёву, «прохлаждаться» не удавалось никому. Михаил каждую весну уезжал работать в Нижний Новгород, разгружать баржи. К зиме он возвращался домой, привозил заработанные деньги и отдавал их отцу. Всю зиму он помогал ему на мельнице. А свекрови с дочерью и снохой хватало работы круглый год с утра и до позднего вечера и в доме, и со скотиной, а с весны до осени ещё и в поле, и в огороде. Мельницу строил сам Иван вместе с сыном. На её строительстве Иван и покалечился: упал с высоты и сломал в двух местах ногу. Когда она, наконец, срослась, то оказалось, что стала короче на семь сантиметров. Так появилось у Ивана и второе прозвище — Коротай. А первое прозвище — Булыч (плутоватый торговый мужик),

от которого и пошла уличная фамилия, перешло к нему от отца.

Маша продолжала носить отремонтированные ботинки, но решила больше не просить свёкра, а купить новые самой. Мать Маши умерла, когда дочери было девять лет, и девочка выросла без матери, самостоятельной. Отец со старшим сыном с осени уезжал на заработки, оставляя её до самой весны одну, навещая лишь по праздникам. Изредка приезжала попроведовать сестра матери, монахиня Дивеевского монастыря. Соседки помогали Маше выпекать хлеб, но оставленными отцом деньгами она привыкла распоряжаться сама. Да и приданое к свадьбе отец за ней дал богатое. Сейчас денег у неё, конечно, не было, но зато она однажды случайно увидела, где свёкор хранил ключ от сундука. Улучив момент, когда в доме она осталась одна, Маша взяла ключ и открыла огромный сундук с одеждой. На дне его, завернутая в кусок холста, лежала толстая пачка денег, большей частью двадцатипятирублёвок с портретом императора Александра III. Но были купюры и помельче. Маша знала, что здесь лежат и те деньги, которые отец отдал Булычёвым в качестве приданого за дочь. Маша вытащила одну трёхрублёвую бумажку, снова завернула деньги в холстину и спрятала на дно сундука. Ключ тоже положила на место. На следующий день она сбегала в сельскую лавку и купила себе новые козловые (сафьяновые) ботинки. Приказчик в лавке продал ей товар, но смотрел на неё с удивлением, ведь тогда не принято было сельским молодёжкам самим что-то покупать из вещей. Обычно это делали свекры. Когда Маша несла ботинки домой, ей, как назло, встретилась соседка, самая зловерная баба в селе, за что люди прозвали её Тигрой. Она хищно обшарила глазами и Машу, и её покупку, которую та попыталась прикрыть шалью, но было уже поздно. Дома Маша поставила ботинки под кровать, задумав обновить их, когда пойдёт в гости к отцу с братом. Но на следующий день свёкор приехал с мельницы раньше обычного. Он, сильно припадая на большую ногу, зашёл в дом и недобрым голосом позвал: «Марья, подь-ка сюда!» У Маши всё внутри так и оборвалось. А свёкор потребовал: «Ну-ка, подавай мне ботинки, что ты вчера в лавке купила! Вся улица с утра сегодня только о твоей покупке и мозолит языки!» Маша достала из-под кровати новенькие, блестящие, пахнущие кожей ботинки и, покраснев, подала их свёкру. На неё с укоризной смотрела, качая головой, свекровь, смотрел тоже весь красный от стыда за жену Михаил и сначала с завистью, а потом с насмешкой золовка. Свёкор взял ботинки и спустился, прихрамывая, с высокого крыльца во двор. Там он принёс из сарая топор,

подошёл к толстой чурке, положил на неё ботинки и, раз за разом взмахивая топором, стал их рубить. Полетели в разные стороны каблучки, куски кожи, обрывки шнурков. Всё вышедшее вслед за главой семейство молча наблюдало за экзекуцией, только свекровь всплёскивала руками и охала. Маша плакала. Смахнув ладонью с чурки остатки ботинок, свёкор отнёс топор на место в сарай и пошёл в дом. Проходя мимо снохи, спросил: «Всё поняла?» Ответом ему были слёзы Маши.

И весь вечер этого дня, и многие следующие в доме стояла тишина. Маша, проплакав несколько дней, решила уйти от мужа и от Булычёвых, хотя не знала, как отнесётся к этому отец. Но неожиданно выяснилось, что она беременна. Маша была замужем уже третий год, а детей всё не было. И вот, именно сейчас оказалось, что она ждёт первенца. Это заметила свекровь, а от неё узнал и свёкор. Он сразу подобрел, ведь внуков у него ещё не было, и историю с ботинками в семье больше не упоминали. В декабре, на Николу, родился сын-первенец, а вскоре в России сменилась власть и царские деньги потеряли свою силу. Пропали и те деньги, что накопили Булычёвы, и те, что они получили в приданое за Машу. Свёкор ещё долго хранил своё «богатство», видимо, надеясь на что-то, но когда понял, что оно ни на что уже больше не годится, отдал деньги внучке Насте на игрушки. А та вместе с матерью нашла применение цветным бумажкам с портретами царя. Они оклеили изнутри стены летней кухни вместо обоев. Подружки Насти (ставшей, когда выросла, моей матерью) приходили рассматривать диковинные «обои».

Мельницу комитет бедноты отобрал вскоре после переворота, а в начале тридцатых сгорела и летняя кухня. Получилось, что булычёвские деньги сгорели дважды, во второй раз — уже окончательно. Отец, свёкор со свекровью и четверо из десяти детей Марьи умерли в голодный год в Поволжье. Сама Марья с мужем и оставшимися в живых шестью детьми вынужденно оказались в Сибири, на чужом, необжитом месте, где муж (а это был мой дед Михаил Иванович), простудившись, почти сразу и умер. Марье пришлось одной, в страшной бедноте, растить шестерых детей. А потом пришла война, погиб один и получили увечья на фронте другие сыновья, у дочерей жизнь тоже была несладкой — неужели всё это плата за те три рубля из своего приданого, что взяла она когда-то из сундука?!

Эту историю мне поведала моя бабушка Мария Ивановна, когда мне было лет десять. И когда она рассказывала, чувствовалось, что ей, даже и почти через полвека, всё-таки жаль было те новенькие, блестящие, красивые ботинки из сафьяновой кожи. Может быть, потому, что никогда уже больше носить ей такую обувь не довелось. И хотя она, взяв когда-то без спросу три рубля, совершила грех для такой верующей семьи, как Булычёвы, но всей своей жизнью искупила она этот грех.

Иногда, когда надеваю свои сапоги или туфли, всплывает в памяти рассказ бабушки. Как бы я хотела подарить ей красивые ботинки, да теперь уже нельзя. Поздно. И многое я не успела сделать для неё. И жалею об этом, и корю сама себя. Одно только как-то успокаивает меня, что бабушка за

все свои беды и невзгоды при жизни попала после смерти в такое место, где вовсе не нужна никакая обувь, где всегда тепло, солнечно и радостно. И что встретила она там свою рано умершую мать, отца и четверых маленьких детей, которых забрал страшный голод в Поволжье; встретила мужа своего Михаила и сына Ивана, погибшего за неделю до Победы в 1945 году. Надеюсь, что попала она в рай.

Родилась и росла я в сельском районном центре. А в селе обычно известно всё обо всех, новости без радио и телевидения разлетаются из дома в дом, с улицы на улицу со сверхзвуковой скоростью и помнятся долго. Вот и я вспомнила кое-что о людях и событиях того далёкого теперь уже времени.

Без вести пропавший

Великая Отечественная война закончилась давно, но продолжала откликаться эхом спустя и двадцать, и тридцать лет. Да, наверное, и сейчас ещё задевает за живое людские души.

Заведующая поселковой пекарней Надежда Сорокина, высокая, миловидная женщина, пришла с работы домой и увидела в почтовом ящике письмо. Достав его, она прочитала обратный адрес. Письмо пришло от родственников из Белоруссии, откуда Надежда была родом. Она зашла в дом, присела в кухне на табуретку и распечатала конверт. Уже после первых строчек у неё заколотилось сердце. «Здравствуйте, дорогие мои родичи!», — писала двоюродная сестра по матери. «Милая моя сестрёнка Надя, давно я хотела тебе написать, да всё никак не могла решиться. Не знаю, обрадует ли тебя моя новость. После того, как ты прислала телеграмму, что умерла твоя мать, а моя тётя Ганна, у нас по деревне прошёл один слух. Люди рассказывали, что твоя тётка по отцу кому-то проговорилась, что её брат, а твой отец не пропал без вести на фронте. И что будто бы он живёт тоже в Сибири, недалеко от вас. Он женат, у него два взрослых сына, оба учатся в областном городе. Жена младше него, он привёз её с фронта. Вот потому, видно, и не вернулся в деревню после войны, а уехал подальше, в Сибирь. Только я не пойму, почему вам прислали на него извещение о том, что он пропал без вести. Может, и хорошо, что тётя Ганна не успела узнать о том, что он жив, здоров и никуда не пропадал. Ведь вся деревня видела, как она одна вас четверых вытягивала в войну и после войны, как ждала вашего отца все эти годы. Милая моя сестрёнка, ты там сильно-то не переживай, что ж теперь поделаешь. И брата с сёстрами успокой. Я всё-таки сходила к вашей тётке и взяла у неё адрес вашего отца, хотя она не очень-то хотела мне его давать. Пришлось пригрозить, что вы подадите на него в розыск. Ты уж прости меня за самовольство!» Дальше в письме сестра сообщала другие деревенские новости, передавала приветы брату, сёстрам и племянникам, приглашала приехать в гости.

Надежда опустила письмо на колени и прислонилась к стене. Потом тяжело поднялась, открыла шкафчик и достала пузырёк с валерьяной. Накапав лекарства и выпив его, она начала читать письмо во второй, а потом и в третий раз.

По щекам её текли и текли слёзы, и она сама не знала — от горя они или от радости.

Пришли из школы сыновья, потом приехал с работы муж. Надежда кормила их ужином, смотрела на детей и думала: «Вот, оказывается, и у моих мальчишек есть теперь хоть один дед». Отец мужа умер вскоре после войны, и внуки, да и сама Надежда, видели его только на фотографии, а от её отца не осталось даже и снимков. Муж, уставший за день на лесозаготовке, заметил, наконец, странное состояние жены и спросил, что случилось. Надежда передала ему письмо, а он, прочитав, посмотрел на жену: «А брату ты не сказала?» Надежда ответила, что вот сейчас и собирается идти к нему. Она положила в сумку купленное на днях красивое платье для своей любимой племянницы (у самой-то были мальчишки), шоколадные конфеты для угощения племянников, письмо от сестры и отправилась к брату. Семья его тоже только что отужинала. Брат Николай, отдыхая после работы, смотрел телевизор, жена его возилась по хозяйству, из детей дома была только младшенькая дочь-первоклашка. Надежда отдала гостинцы племяннице, примерила на ней обновку, перебралась парой слов с невесткой и под села к брату. «Видно, ночью снег пойдёт, раз ты, наконец-то, в гости к нам выбралась!» — пошутил брат. «А ты у своей жены спроси, есть ли у неё время по гостям ходить!» — отбилась сестра. «А ведь, действительно, может и снег выпадет, хотя на дворе середина мая, такую я тебе новость принесла!» И Надежда отдала письмо брату. Она невольно наблюдала, как менялось его лицо при чтении. Сначала оно побледнело, потом на щеках заходили желваки. И вдруг Николай изо всех сил грохнул кулаком по столу: «Вот же сукин сын, а?! Вот же негодяй!» Жена и дочь замерли в испуге и уставились на него, ничего не понимая. А Николай, вскочив с места, заметался по комнате: «Нет, ты посмотри, посмотри! Когда немцы хату нашу разбомбили, когда мы четверо всю войну и после войны вместе с матерью голые, босые, голодные замерзали в землянке, что же наш батька в это время делал? Пригрелся возле молодой бабы?! А сейчас, видишь ли, сыновей в институтах учит! А мы что, не дети ему, не дочери и не сын?! Мы что, ни есть, ни учиться не хотели? И ведь он выжидал, выходит, вместе со своей сестрой, пока наша мать умрёт, и только потом объявился!» Николай никак не мог успокоиться: то ходил, то садился, то вскакивал снова. Наконец, он объявил жене: «Мать, там у тебя заначка должна быть, организуй-ка нам!» Невестка с помощью Надежды накрыла на стол, выставила заначку — бутылку «Столичной» и они, все трое, как сели, так и просидели далеко за полночь. Николай вспоминал, как сгорел их дом во время бомбёжки самолётами с чёрными крестами, а они остались, в чём были, и спрятались в погребе от обстрелов; как немецкий солдат застрелил из автомата их единственную кормилицу-корову. Как ранней весной рвали они, обжигая руки, молодую крапиву и варили из неё постный суп, а летом собирали щавель и дикий лук; как зимой сидели на одной бульбе (картошке), да и той было мало. Как после освобождения пришло извещение о том, что их отец пропал без вести, и мать криком кричала и проклинала фашистов и войну.

Как плакали вместе с ней маленькие дочери, и их всех успокаивал старший сын, сам еле сдерживая слёзы. Помнил старший брат, как приезжали к ним из военкомата, выпрашивая, а не знают ли они, где их отец. И когда мать обратилась туда по поводу пенсии, как семье погибшего фронтовика, военком ответил, что никакой пенсии им не положено. Ведь не погиб же их папаша и ещё неизвестно, как он пропал и не предатель ли он. Брат с сестрой вспоминали, как плакала после этого по ночам их мать. Потом подростого Николая призвали в армию, он выучился на танкиста и служил в Сибири; остался после армии здесь жить и перевёз к себе из разорённой и сожжённой Белоруссии мать и сестёр. Надежда вспомнила, что первое, что купил матери и сёстрам Николай, когда привёз их к себе в таёжный посёлок, были четыре пары валенок, чтобы не замёрзли они в Сибири. Работал трактористом (пригодилась армейская профессия танкиста!) на заготовке леса в леспромхозе и помогал получить хоть какие-то профессии сёстрам. Старшая окончила курсы продавцов, средняя стала медсестрой, обе жили в райцентре. Младшая, Надежда, после семилетки пошла работать в пекарню и техникум окончила заочно. А потом Николай, который сам уже обзавёлся семьёй, выдавал сестёр замуж, а на свадьбах сидел вместо отца. И мать повторяла, глядя на молодожёнов: «Вот бы отец был жив, порадовался бы за вас!» Так же она говорила, когда встречала невестку и дочерей из роддома с новорожденными внучатами. Она уже смирилась с тем, что коль за столько лет муж не объявился, то, значит, его нет в живых. А отец все эти годы, оказывается, жил не так уж и далеко от них, в нескольких часах езды на поезде, в соседней области. И многое ещё вспомнили брат с сестрой за этот вечер, то перебивая, то по очереди успокаивая друг друга. Наконец, за Надеждой пришёл муж, который уже заждался её, и они ушли домой.

Надежда провела в думах много бессонных ночей. И осенью, после уборки огорода, ничего не сказав брату и не сообщив сёстрам, она решила всё-таки съездить к отцу. Сначала написала ему письмо, а потом, взяв на три дня отпуск без содержания, отбила телеграмму, чтобы её встретили, и села в поезд. Всю дорогу она думала, как же они с отцом узнают друг друга, ведь ей было всего три года, когда он ушёл на фронт, а фотографии сгорели вместе с хатой. Но переживала она напрасно, её никто не встретил. Хотя уже надвигались осенние сумерки, Надежда сама нашла на станции улицу и дом, указанные в письме сестры. Перед домом был палисадник из нового штaketника, а сам дом выглядел крепким и ухоженным. Трясущейся от волнения рукой гостя постучала в дверь. Открыл ей высокий седой мужчина со странно знакомым лицом. У Надежды ёкнуло сердце, она узнала отца. Просто она сама была на него похожа, как две капли воды (так всегда говорила ей мать), Чем Надежда с детства очень гордилась. Поздоровались за руку. Отец пробормотал, что встретить её он не успел, поздно пришёл с работы. Как-то нерешительно и почему-то оглядываясь на дверь в комнату, он пригласил её войти. Внутри дома было тепло, чисто, в кухне стоял холодильник, в зале большой телевизор, на

стене висел над диваном ковёр во всю стену. Сразу видно было, что хозяева жили в достатке. Предложив ей снять пальто, отец стал угощать чаем. Надежде, которую трясло от волнения, очень хотелось горячего, и она села за стол, но перед этим достала из чемоданчика и отдала отцу подарки для него, для жены и сыновей. «А жена-то Ваша где?» — почему-то на Вы поинтересовалась она. «Сейчас придёт, она у соседки». — ответил отец. Надежда увидела на стене комнаты в красивых рамках увеличенные фотографии двоих парней. «Это мои сыновья», — пояснил он. Надежду заделали эти слова: «Мои сыновья», и она замолчала. Но и после прихода жены отца, молодой, красивой ещё женщины (Надежда невольно сравнила её со своей рано состарившейся и так же рано умершей матерью), разговор никак не мог наладиться. Почему так вели себя отец и мачеха, Надежда поняла позже. Жена отца спросила, намерены ли Надежда с сёстрами и братом подавать на него в суд на алименты за все годы, пока им не исполнилось восемнадцать лет. Надежда видела по взглядам, как напряжённо ждут её ответа эти мужчины и женщина, и ответила: «Нет, не намерены. Мы все сейчас — и сёстры, и брат живём не бедно, хорошо зарабатываем (хотя какие у медсестры заработки, подумала она про себя), у всех квартиры, своё хозяйство, огороды. Я недавно ездила по бесплатной путёвке в санаторий в Сочи, а ребяташки летом в пионерский лагерь. Никто не голодает, как во время и после войны. А приехала я потому, что хотелось увидеть Вас, отец, я же совсем Вас не помню». После этих слов отец отвёл глаза в сторону, а мачеха поинтересовалась, надолго ли отпустил Надежду муж. И когда та ответила, что ей надо на работу и потому уедет уже завтра, мачеха заметно подобрела. И даже ревниво заметила: «А вы с отцом очень похожи!» Надежда отметила про себя, что сыновья мачехи оба ходили на мать. Когда легли спать, гостя так и не смогла заснуть, сколько ни ворочалась, ведь она впервые за свою сознательную жизнь находилась под одной крышей с отцом.

Утром он пошёл провожать дочь на станцию. И тут Надежда, наконец, задала ему так мучивший и её, и родных вопрос, как же получилось, что на него прислали извещение. И отец, поколебавшись, ответил: «Дело уже давнее, так что расскажу тебе, всё-таки. Люсю я встретил давно, она санитаркой в медсанбате работала. Полюбили мы друг друга, она должна была скоро родить, потому и не хотел я в свою деревню возвращаться. Был у меня друг один, писарем в штабе служил. Вот он мне и подсobil». Надежда тихо, почти шёпотом, ответила: «Ну что ж, спасибо за откровенность», — и направилась к кассе, чтобы купить билет. Попрощались они с отцом, как и поздоровались, за руку, и Надежда села в поезд. И как только зашла в вагон и заняла своё место у окна, она, наконец, не выдержала и разревелась под удивлёнными взглядами соседей по купе. Она плакала и снова не знала, от чего плачет — от радости ли, что впервые за столько лет увидела всё-таки своего отца, долгие годы считавшегося пропавшим без вести, или потому, что встреча эта была, скорее всего, и последней.

И ещё одна мысль не покидала её: «Лучше бы я родилась похожей не на отца, а как Николай, на маму. А ведь я так всегда гордилась, что больше всех из семьи похожа на отца». Поезд вёз её домой, к детям, мужу, брату, вагон раскачивался, а колёса под полом выстукивали: «Лучше бы на маму, лучше бы на маму, лучше бы, лучше бы, лучше бы...»

Воровка

Жаркий июльский день приближался к обеду, когда шестилетняя Женька услышала на улице какой-то шум и крики. Она вышла из ограды и увидела идущую по дороге толпу людей. Впереди шла Варька Видеева, самая старшая из огромной семьи Видеевых, которая жила на берегу реки около ветпункта. На её шее висело несколько крынок. С обеих сторон её сопровождали два милиционера, сзади бежали ребяташки. Толпа всё росла, так как подбегали мальчишки и девочки с Женькиной улицы. А те, что шли сзади Варьки, выкрикивали: «Воровка! Воровка! Сметану украла! Воровка!» А Варька шла, низко опустив голову и плача, размазывая тыльной стороной ладони слёзы, текущие по запылённым щекам. Разномастные крынки, висевшие на её шее, звонко стучались друг о дружку. Солнце жгло Варьке голову, видно было, что ей жарко, что губы запеклись, и ей очень хочется пить. Так она, ни на кого не глядя, прошла по дороге мимо Женькиного дома, а Женька всё стояла и смотрела вслед ей и бегущей за ней толпе ребяташек. Она знала семью Видеевых. Отец у них работал в колхозе, и жили они очень бедно, почти по-нищенски. У них было одиннадцать детей, которые вечно хотели есть. Если к Женьке приходила в гости подружка, младшая сестра Варьки, она всегда напрашивалась на угощение, какое бы оно ни было, хотя бы просто чай с хлебом.

Вечером пришла с работы Женькина мать. Она, как и все сельчане, уже слышала историю про Варьку и рассказала её Женьке. На ветеринарном пункте, что был напротив дома Видеевых, жил и ветеринар с семьёй. У него, как и у всех в селе, был погреб для припасов, куда хозяйка ставила крынки с молоком, сметаной и творогом. Соседи об этом, конечно, знали. И вот, видимо, особенно проголодавшись, забралась как-то ночью старшая видеевская дочь в этот самый погреб. Забрала крынки со сметаной, творогом и унесла домой, где содержимое посуды было немедленно съедено. Сами же крынки догадливая Варька выбросила под высокий берег реки.

Наутро жена ветеринара, не найдя продуктов в погребе, обратилась в милицию. А милиционерам не составило особого труда найти и вора, и крынки. Если бы дело было двумя годами раньше, угодила бы Варька лет на пять в Озерлаг, находившийся не так уж и далеко. Но шёл уже тысяча девятьсот пятьдесят пятый год, и слышавший о семье Видеевых судья повернул дело по-своему. Он решил наказать Варьку иначе: провести её по всем улицам села с ожерельем из ворованных крынок, чтобы впредь неповадно было.

Уже потом, став старше, Женька несколько раз задумывалась: «А был ли при таком наказании

хрен слаще редьки? Но про воровство Варьки ни Женька, и никто в селе больше уже не слышали.

«Утопленница»

Тёплым солнечным апрельским днём из районного центра в посёлок возвращался рейсовый автобус. Когда он подошёл к реке, пассажиры увидели между берегом и льдом на реке большую промоину. По ней стремительно неслась быстрая бирюсинская вода. Моста через реку тогда ещё не было, летом ходил паром, а зимой ездили прямо по льду. Сейчас на левом берегу пассажиры ожидал другой автобус, но чтобы перебраться к нему, надо было переплыть на плотике через эту промоину, потом перейти реку по ещё прочному льду. И вот на плотик становилось четверо пассажиров, а паромщики верёвками перетягивали его ко льду, а пустой к берегу. Так переправилась уже половина пассажиров, но тут вдруг возникла заминка. Этим же рейсом возвращалась домой с покупками из районного универсама Никандриха, как называли её в селе. Она не хотела ждать своей очереди и встала на плотик пятой. Паромщик потребовал, чтобы она сошла, но не тут-то было! Не на того, как говорится, напали! Никандриха никак не соглашалась сойти с плотика: «А почему я, а не кто-то другой?» Время шло, автобусы и на том, и на этом берегу реки стояли, люди ждали, и паромщики, махнув рукой, потянули плотик от берега. Но перегруженное, наспех сколоченное деревянное сооружение вдруг накренилось. Четверо мужчин намертво вцепились в брусья, которыми были сбиты брёвна плотика, а Никандриха не могла. Она судорожно схватилась за большой пакет с новым пальто, бросить которое было свыше её сил, и упала в реку. Поднялся крик, и один из паромщиков, грубо помянув никандрихину мать, бросился вслед за Никандрихой в ледяную апрельскую воду. Схватив за воротник, он вытащил «утопленницу» на берег. Её-то он спас, а вот новое пальто, как-то освободившись от упаковки, поплыло вдоль полыньи, распластав рукава и полы, пока его не затянуло под лёд. Никандриху и паромщика повели в домик у берега, дали обоим для «сугреву» по стакану нашедшейся у кого-то водки; водкой же их и растёрли как следует, чтобы не схватили воспаление лёгких. Люди собрали им сухую одежду, что-то из обуви, кто что мог, и переправа продолжилась. Никандриху на этот раз отправили на плотике как королеву, одну, так как никто с ней плыть не захотел. Переправившиеся через полынью пассажиры перешли по льду через реку, сели в ожидавший их на другом берегу автобус и наконец-то поехали домой. Все были возбуждены и обсуждали происшествие, ведь оно могло закончиться и не так благополучно, если бы не отчаянный паромщик. Согревшаяся и раздумывавшаяся от водки Никандриха до слёз жалела своё уплывшее новое пальто, тяжело вздыхала, но не хотела показывать вида. И когда кто-то в шутку спросил у неё: «Ну что, ещё купаться-то пойдёшь?», она заявила: «А если бесплатно нальют стакан-другой водочки, то пойдю!» И все замолчали, задумавшись: «А кто её знает, эту Никандриху?»

Справедливая женщина

Новый год Никандриха вместе с мужем отмечала у своих приятелей. Стол был уставлен всем, чем и положено праздничному столу в селе: и огурчики маринованные, и солёные грузди с рыжиками, и холодец с хреном, и целый тазик винегрета разложен по салатницам, и селедочка с кольцами лука, и сало с прожилками нарезано аппетитными пластами. На горячее наклеплены и дожидались своей очереди пельмени, и ещё много всего наготовила хлебосольная хозяйка дома. А посреди стола возвышались полные графины с запотевшими боками. Баянист был у хозяев тоже свой, доморощенный. Собравшиеся гости выпили не по одному разу и за старый, и за новый год, закусили, попели и поплясали от души. К полуночи гости вместе с хозяевами отправились догуливать на ёлку в сельский клуб. Неугомонная весь вечер Никандриха что-то присмирела, но когда снова грянул баян, и разнеслась над улицей ядрёная частушка, она не выдержала и пустилась в пляс. Но вдруг вскрикнула и повалилась на дорогу. Подбежал муж, окружили приятели. А Никандриха голосила: «Ой, нога моя, ой, ноженька!» Недолго думая, двое мужчин посадили её на свои скрещённые руки и понесли в сельскую больницу, благо, была она недалеко. Ввалившись туда всем гамузом, компания потребовала у сонной медсестры позвать дежурного врача. Пока ходили за врачом, женщины решили снять с больной никандрихиной ноги обувь. И вот тут-то случилось то, о чём назавтра говорило всё село. Когда со стонущей Никандрихи стянули валенок, из него посыпались и зазвенели мельхиоровые ложки и вилки — гордость хозяйки дома в те небогатые времена! Они-то и стали причиной вывиха. Все столпились вокруг больной, смотрели на сверкающие вилки и молчали. Не смутилась только сама Никандриха: «А что, вы поели этими ложками, теперь мы поедим!»

Она считала себя женщиной справедливой.

Ворожба

Крепко спавшая шестилетняя Женька вдруг проснулась от каких-то странных звуков. Стояла глухая летняя ночь. В доме было темно и тихо, слышалось лишь посапывание младшего брата. Но вдруг снова раздался тот самый жуткий и глухой, как из трубы, звук: «Е-а-а-а-н! Е-и-и-и!» И ещё, и ещё: «Е-а-а-а-н! Е-и-и-и! Е-а-а-а-н! Е-и-и-и!» От ужаса у Женьки мурашки пробежали по коже, и она с головой нырнула под одеяло. Оттуда, из-под одеяла, она дрожащим голосом позвала: «Мама! Мама!» Но мать не ответила. Женька позвала громче, но снова ответом ей была тишина. Женька знала, что и отчима дома не было, шла уборка, и он работал на зерносушилке в ночную смену. Вот опять послышались страшные завывания и шли они не из дома, а откуда-то с улицы. Женька тихонько заплакала, громче она боялась. Её уже трясло, и от страха она стучала зубами. Но вдруг стукнули двери сначала в сенях, потом в доме, и зазвучали знакомые шаги. Это была мать! И Женька осмелилась высунуть нос из-под одеяла: «Мама, я боюсь! Там кто-то воет! Кто это?» Но мать погладила дочку по голове, сказала, что нет нигде никого, что ей всё приснилось. Потом поправила

ей одеяло: «Ночь ещё, давай-ка спи!» И стала укладываться сама. Мама теперь была рядом, и Женька, понемногу успокоившись, заснула тоже.

С той ночи прошло недели две. И вот однажды вечером к ним зашла соседка тётя Лида. Лицо у неё было радостным, и она сразу же, с порога, закричала: «Настя, помогла ворожба-то! Степан утром вернулся! Сказал, что совсем! Видишь, помогла, а ты не верила! Недаром я целых двенадцать раз кричала в трубу: «Степан! Вернись!», как мне бабка наказывала. И точно в двенадцать часов ночи. И вот, помогла ворожба! Вернулся Степан, вернулся! А тебе, соседка, спасибо, что была тогда со мной, одной-то мне страшно было бы!»

Женька вспомнила об этой истории намного позже и поняла, что звук-то тогда был точно из трубы. Но вот что помогло вернуться домой мужу тёти Лиды дяде Степану — эти ли полночные крики в трубу или двое их ребятишек, она, конечно, не знала.

История с ведром воды

В эту осень снег выпал рано, на ещё не докопанную картошку. Боялись морозов, и мать, как ушла с утра в огород, так и копала, не разгибая весь день спины. А дома закончилась вода, трёхлетний братишка и полторагодовалая сестрёнка требовали пить. Женька знала, что одна она достать ведро с водой из глубокого уличного колодца с «журавлём» не сможет. А настырный Вовка всё хныкал: «Хочу пить! Дай пить!» Ему вторила малышка. И потому, когда к ней прибежала подружка Люда, Женька упростила её помочь сходить за водой. Вдвоём они, перебирая руками шест «журавля», достали полведра воды и понесли её к Женькиному дому. На тротуаре у ворот остановились передохнуть. Женька радостно сказала: «Ну, вот, сейчас чаю согрею и ребятишек напою!» Ей шёл восьмой год, и мать говорила, что сама она «уже большая».

Неожиданно Люда заявила: «Я пошла, мне домой надо!» Женька расстроилась: ведро требовалось ещё занести в ограду, а потом и в дом. Отливать же драгоценную воду ей было жаль. Пока она раздумывала, как же ей быть, вернулась вдруг Люда. Женька, было, обрадовалась, но подружка молча подошла к ведру, взяла его за край обеими руками, наклонила и вылила всю, без остатка, воду на землю. Растерявшаяся до немоты Женька не смогла ей помешать. А Люда поставила ведро на место, повернулась и так же молча отправилась домой. Женька долго ещё стояла над пустой посудиною и, ничего не понимая, сквозь слёзы смотрела вслед своей подружке.

В избу идти ей не хотелось — там ребятишки снова будут просить у неё пить. Но идти было надо.

Медаль, которую не дали

О много испытавшем человеке говорят, что он прошёл огонь, воду и медные трубы. Женькина труба была не медная, а железная, да ещё и с огнём. Это была труба от печки во дворе. Стояли знойные летние дни, поварню только строили, и обед мать варила прямо в ограде на этой самой печке. Длинный цилиндр трубы от неё, чтобы не упал, привязали проволочными растяжками к колышкам,

забитым в землю. Наказав Женьке присматривать за супом, мать ушла в дом стирать. Здесь же, во дворе, играли младшие брат с сестрой. Они за спиной Женьки подошли к проволоке и стали её раскачивать. Вместе с проволокой закачалась и труба. Вдруг она накренилась и начала падать прямо на детей. Бросив ложку, которой помешивала суп, Женька обеими ладонями оттолкнула падающий раскалённый цилиндр в сторону от ребятишек. Он повис на растяжке, а из печки вырвался столб искр и дыма. Малыши испуганно закричали, и из дома выбежала мать. Она оттащила детей от печки, сердито заругалась, было, на Женьку, не уследившую за ними, но глянула на неё и вдруг умолкла. Бледная Женька так и стояла с поднятыми вверх руками и смотрела на них. На ладонях почти не было кожи, она осталась на трубе.

В больнице руки девочки чем-то смазали, поставили ей укол. А доктор сказал, что ей надо бы дать медаль «За отвагу на пожаре», что кожа на ладонях вырастет новая, и всё до свадьбы заживёт.

Руки у неё болели долго, но, действительно, зажили. И кожа выросла новая, а вот медаль храброй Женьке почему-то не дали. Наверное, забыли.

Вдогонку

Яркое апрельское солнце слепило даже сквозь двойные стёкла окон, а снаружи слышались звонкие крики играющих ребятишек, и Женьке, которая нянчилась с младшей сестрёнкой, тоже захотелось на улицу. Мать, хотя и проворчала, что сейчас, дескать, повсюду грязи по колено, всё же отпустила дочку погулять на свежем воздухе. Обрадованная Женька скоренько набросила пальтишко, натянула сапожки и выскочила из дома. А на улице уже собралась чуть не вся ребятня из соседних домов. Мимо, разбрызгивая во все стороны грязь с мокрым снегом, шли по дороге грузовые машины, а вдали слышался грохот тяжёлого трактора. Когда он подъехал поближе, Женька увидела, что к нему прицеплены большие сани с остатками сена. Видно, тракторист отвозил это сено на совхозную ферму, а теперь возвращался в гараж. На санях уже сидели вездесущие мальчишки. Они замахали руками и закричали: «Эй, ребята, садитесь с нами, прокатимся!» Соблазн для сельских ребятишек был слишком велик, и они тут же бросились догонять трактор и запрыгивать в сани. Женька не сразу решилась поехать прокатиться, но потом всё же побежала следом за ребятами. Она отстала, было, от них, но когда догнала сани, трактор вдруг дёрнулся и ускорил ход. Женька тоже побежала быстрее, стремясь догнать его. Мальчишки на санях протягивали ей руки, поторапливая: «Быстрее! Быстрее!» Женька изо всех сил побежала ещё быстрее, но, когда она уже почти коснулась руками саней, они снова, буквально из-под носа, ускользнули от неё! И так повторялось несколько раз. Упрямая Женька бежала по грязной, разбитой машинами и трактором дороге, вся вспотевшая, со сбившейся набок шапочкой, с промокшими ногами. Вот трактор доехал до центра посёлка и повернул на другую улицу, а взрослый дядя-тракторист всё забавлялся с семилетним ребёнком, так и не дав

Женьке сесть на сани. Выбившаяся из сил, мокрая с ног до головы, замёрзшая, еле приплелась она домой. Мать, увидев её, всплеснула руками: «Го-о-осподи, где же это ты так вывозилась, что с тобой стряслось?» Но Женька молча сбросила грязные сапожки, такое же пальтишко, сняла мокрые — хоть выжимай! чулки и, стуча зубами, полезла на печь, как приказала ей мать. Надёжное народное средство от простуды — горячие кирпичи русской печки да несколько кружек вскипячённого матерью молока не дали ей заболеть.

Женька давно не только выросла, а даже и состарилась, и зовут её теперь Евгенией Ивановной. Но, когда она вспоминает тот апрельский день из далёкого детства, ей почему-то кажется, что она до сих пор всё бежит и бежит за санями и всё никак не может их догнать. Только называются эти сани как-то по-другому: то ли счастье, то ли судьба...

г. Красноярск

Екатерина Сергеева

Протянута ладонь —
Поставлена печать...
Но знаешь,
Не боюсь
Развития событий.
Ты — умный.
Ты — поймёшь.
Не страшно мне терять.
Ведь не был ты моим.
И на ходу не выйти.
Последних дней царит
Холодный карнавал...
Ты маску подарил,
Что мне сжигает кожу...
Перчатка на руке —
И ты не угадал.
А маска на лице
Мне с каждым днём дороже...

Ночь черна.
Антрацит.
Ночь нежна.
Разум спит.
Гойя.
Больно.
Скорость.
СПИД.
Бело-
Снежно.
Палата.
Нежно.
Очень
Чисто.
Не живи
Слишком
Быстро.

...И босиком
По битому стеклу.
Дороги нежности
Подарят много боли.
Напрасно ждёшь —
В дороге не умру.
Взгляд выдал всё...
Конечно же, невольно.
Клинок свободы
С двух сторон остёр.
Пораниться легко
Неосторожно...
Бери и бей.
Ведь всё на свете можно,
Когда ведёт дорога
На костёр...

Меня поезда,
Запутывать следы.
Меня города,
Забывать про неизбежность.
Отбросить прочь
Непрощенную нежность,
И рассмеяться дерзко
У черты...

Вы — свысока.
И острый запах зверя.
Звучит рефреном слово:
«Отрекись»...
А здесь — прохладно,
И, себе поверив,
Я вновь тянусь
К большому небу,
Ввысь...
Большие Люди
Вниз глядят с усмешкой,
На Землю —
Снегом —
Пепел от сигар.
И сладко шелестящее:
«Утешься»
В цене сегодня.
Ходовой товар.
И снова — зной.
И рёв, до крови жадный...
Жизнь — ради Тех,
Кто наверху,
Кто — Там.
И зверя взляд,
Лениво-беспощадный...
И — отрекаюсь.
Не поверив Вам.

Вьётся дым.
Мазки бело-серым.
Как на доске исцарапанной — мелом.
Это — перья.
Отрёкшихся крылья.
И — ещё раз,
Насильем — усилие.
А кислота кока-колы
Выест
Резких жестов,
Расхожих желаний
Олово.
Из серебра,
Из золота.
Суду возьмите
Купите душу.
Можно — в кредит.
Можно — на время.
Пусть — наружу,
Стремятся наружу
Боль и слёзы.
Хотя бы — сомнение.
Ты остановишься,
И оглянешься,
Сядешь,
Закуришь,
Росчерки дыма...
Белые перья, лёгкие перья...
Крылья оставшихся.
Кем-то
Любимых.

г. Красноярск



Андрей Леонтьев Между явью и сном

380-летию Красноярска посвящается 14

Винювен пред собой
И близкими,
Бываю я порой
Неискренним.
Упрямялюсь иногда я
До тупости.
Пусть голова седея,
Но глупости
Приходят и в седую головушку,
И пью порой родную
Я кровушку.
В меня пусть бросят камень
Без жалости,
Все те, кто в жизни сами
Хоть в малости
Не ошибались горько,
Сердешные,
Хоть сразу в рай, настолько —
Безгрешные.
Святые в нашем веке —
Утопия,
Не боги человеки —
Лишь копии.
Но как бы ни грешили
При жизни мы,
И как бы ни судили
Нас ближние,
Не златом и не чином
Похвальны мы —
Остаться бы людьми нам
Нормальными.

День и ночь, свет и тьма,
Как эффект стробоскопа...
В сменах яви и сна
Время мчится галопом.

Затуманился старт
Флером времени тонким,
Но остался азарт
Увлечательной гонки.

Что на финише ждёт —
Не предскажет оракул.
Головою вперед
В жизнь летим, словно в драку.

И, как злато Гобсек,
Опыт жизненный копим —
А недолгий наш век
Все несется галопом.

Взорвался мир! Горячие осколки
Над ухом свищут.
Друг другу люди стали — словно волки
В грызне за пищу.

Под солнцем будто места стало меньше —
Все рвутся в гору.
И нет деленья на мужчин и женщин —
Одни партнёры.

Сегодня ты партнёр, а завтра — недруг,
И смешан с грязью.
Один неверный шаг и ты низвергнут
С вершины наземь.

Все чаще вместо совести и такта —
Клыки и когти.
В тупой борьбе абсурда и абстракта
Крепчают локти.

Цинизм и подлость рвутся на замену
Законам чести —
Кровавой дланью Каин современный
Свой череп крестит...

Но если не законченный подлец ты —
Держись покрепче.
Пусть нынче честным не грозят аресты,
Но жить — не легче.

А жизнь одна... В низах мы иль во власти —
Равны пред Богом,
Вот только каждый выбирает к счастью
Свою дорожку...

Себя знаменьем осенив,
Вхожу я в храм — обитель Бога.
Отринув беды и тревоги
И всех врагов своих простив.

Прошу я помощи, Господь
И Пресвятая Матерь Божья:
Я долго шел по бездорожью —
Изнемогли душа и плоть.

Был глух и слеп я много лет,
Багаж грехов копя и множа,
Не разбирая, что дороже,
Не различая тьму и свет.

Без веры мчался в пустоту,
Хотя и крест носил на теле,
Но кем я был на самом деле —
Сказать себе неумоготу.

ДиН дебют Марина Запунная

И вот стою перед Тобой,
В поклоне сгорбившись печальном:
Я в храме Божьем не случайно —
Услышь меня, Спаситель мой.

До влас седых уже дожив,
Принять Святых Христовых Таин
Хочу, всю душу до окраин
Всепокаяньем обнажив...

Перед иконами святых
Горят молитвенные свечи,
Горят всегда — и значит, вечен
Над нами свет забот Твоих.

Там встанет и моя свеча —
Очищен будучи духовно,
Приму я все беспрекословно,
Молитву светлую шепча...

~ памяти Романа Солнцева

Уходят поэты, уходят писатели
И просто хорошие люди,
Провинции вечные правдоискатели,
Чье творчество совесть нам будит.

Их души возносятся вверх, в поднебесье и
С высот наблюдают незримо,
Чтоб мы не предали и не обесчестили
Поэзии светлое имя.

Грустить по-русски

Я сижу ни жив, ни мёртв, чуть дыша.
Отчего же так тоскует душа?
Будто обручем, сдавило всю грудь —
И ни выдохнуть мне, и ни вдохнуть.

Плачет дождь с утра за серым окном,
Беспокойство множа в сердце моем.
С этим плачем издает в унисон
Бесталанная душа тихий стон.
Ну, откуда ты взялась, грусть-печаль?
Я гляжу уныло в мутную даль,
Но причин найти не в силах, поверь,
Отчего хандра напала, как зверь.

И у друга своего я спросил:
«Что мне делать, друг? Ведь нет больше сил».
Друг ответил: «Это, брат, не беда:
Похмелись — и все пройдет без следа!».

г. Красноярск

Близорукость

Я вдали тебя не вижу:
Серость или бирюза?
Подойди сюда, поближе —
Слепо шуряты глаза.
Так стена поможет виться
Неумелому плющу...
В затуманенной столице
Наугад тебя ищу.
Не измерить: круг площадь
Застилает пелена.
Память запаха! На ощупь!
Если зоркость не дана —
Нежность очертила круг.
Близорукость... близость рук.

Подруга

*Меня, и грешную, и праздную,
Лишь ты одна не упрекнёшь.*
А. А. А.

Позволь, уткнувшись в тёплые колени,
Всю выплакать горячечную злость.
И скомканную ткань моих сомнений
Расправь, как скатерть, и на стол набрось.

На этот стол поставим лёд и Bailey's
И не забудем чёрный шоколад.
Мы в юбки пышные, как к
празднику, оделись!
Поговорим — взахлёб и невпопад.

Пока есть ты — не буду гостьей, лишней,
Растерянным цыганским плясуном.
Твои глаза чернее пьяной вишни,
Ты от растерянности лечишь — пирогом.

Прости мне непростительную злобу.
Мне — нечего прощать. День ото дня
Спешу по слякоти, по
лужам, по сугробам —
К моей подруге, терпящей меня.

г. Красноярск



Евгений Эдин Хозяин белых слонов

Что-то вроде вступления

Вы когда-нибудь задумывались о том, что, сложив вместе все съеденные вами за жизнь счастливые билеты, вы смогли бы забить любой пункт приёма макулатуры? А исполнилось ли хотя бы одно загаданное вами желание? Если вы кивнёте, то я скажу, что это совпадение, если же покачаете головой — может, вам попробовать получать целлюлозу из других продуктов?

Вы пожимаете плечами, отворачиваетесь и едете дальше в старом оранжевом автобусе. В самом старом автобусе в городе. Едете на работу, на учёбу, к жене, к любовнице. И вы совсем не удивлены, когда к вам подходит контролёр — у него такая работа. Удивляетесь вы чуть позже, когда не можете найти ваш счастливый билет, который — вы точно помните, — был

в кармане
в сумке
за отворотом рукава.

Чертыхаетесь, скандалите с контролёром (ай-яй-яй, а с виду такой приличный!) или платите штраф. Подозрительно коситесь на стоящих рядом подростков, ругаете себя за рассеянность...

А билет взял я.

Можете злиться на меня, наплевать. В конце концов, вы не знаете, как пользоваться счастливыми билетами, а я знаю. Вы ездите в автобусе, а я в нём живу.

Я — Скэрэммер. Нельзя сказать, что меня так зовут — меня вообще никто, никак и никуда не зовёт. Это даже не имя, просто я так себя ощущаю. Это первое правило. Никаких имён и определений.

Только тогда Хозяин Белых Слонов бессилён.

Но по порядку.

Когда я понял, что никогда не исчезну, никогда не перестану существовать? Точная дата, время и место — двадцать восьмое ноября девяносто девятого года, два часа ночи, моя квартира. Когда мы с Ирой лежали, обнявшись, и когда она высказала ту самую мысль, с которой всё это и началось. Она всегда мыслила нестандартно. И поступала тоже. В общем, это была...

Ира.

Черти сбежали из тихого омута, когда там появилась ты — их замучил комплекс неполноценности.

Кстати, Ира сейчас едет в этом автобусе. Вы можете увидеть её на заднем сиденье, как раз возле неприметного человека в затемнённых очках, который время от времени на неё поглядывает. Она в бордовом кожаном плаще, брючном костюме и ещё у неё причёска «каре». Чеширская

Кошка. Забавно — едет, смотрит в окно и не знает, что я совсем рядом.

Привет, Ир! Ты совсем не изменилась, а я?

Разумеется, у нас ничего не могло быть. Ей тогда было двадцать восемь, мне девятнадцать. Девятнадцать наивных романтических, так она сказала. Это первая причина. Во-вторых, у неё был совсем неплохой муж. И, в-третьих, я просто не в её вкусе.

Всё это я узнал после нашего первого поцелуя — длиной не меньше, чем десять минут. Чёртики, сбежавшие из тихого омута, прыгали в её глазах, да ещё как прыгали.

Но я опять рассказываю не с начала.

Часть I. Слава

1.

Сначала я родился. И очень быстро получил статус паршивой овцы. Пока остальные дети в детском саду боролись, бегали и травмировали себя посредством падения на пол из различных мест и положений, юный идиот в уголке читал по слогам довольно толстые книги, которые с боем выносил из дома. Я научился читать в три с половиной года.

Слава, ты должен есть кашу, иначе никогда не вырастешь!

А я и не хочу вырасти. Мне и так хорошо.

У меня были совсем неплохие родители — даже, пожалуй, хорошие. Я имел возможность сравнивать, приходя к приятелям.

Родители в жизни не подняли на меня руки, чем я бессовестно пользовался. Я рано выбил себе право поздно возвращаться домой, у меня всегда были не бог весть какие большие, но всё же свои карманные деньги. В общем, то время было очень даже счастливым. Единственное, что меня в детстве не устраивало, так это

Слава, надень шубу — простудишься!

Ну и пусть.

Сколько я себя помню, мне всегда, с самого детства, хотелось одного — свободы, независимости. Причём, полной. Лет с пяти я чувствовал, что за мной следят. Дают сделать одно и не дают другое. Дёргают за ниточки, как куклу. И я упрямо стремился порвать ниточки, освободиться от этой воли, которая мне себя навязывала. Людей на земле шесть миллиардов. Это я прочитал в журнале, когда мне было шесть лет. Шесть миллиардов, и каждый стремится влиять на тебя, показать, что

он значим, что он вообще существует. Каждый, начиная с родителей.

Слава, не читай так много — посадишь зрение.

Слава, не дерись!

Слава, не...

Я не говорю, что родительская опека не нужна в детстве, а родительский совет — в течение всей жизни. Просто, кажется, я получил этого больше, чем мог взять, возможно, «на правах» (читай — на бесправи) младшего. Другое дело — мой старший брат.

Да, мой старший брат — это всегда было «совсем другое дело».

Я рос крупным, а он в двадцать четыре едва дотягивал до среднего роста.

Я был язвитель, циничен, ядовит, с детства получил прозвище Ёж из-за своей колючести.

Он был очень дипломатичен, мог поладить с любым человеком, любого возраста и склада. Он всегда искал компромиссы в спорах, в отличие от меня. Наконец, он был добр. Добр, а вовсе не слабохарактерен, как могло показаться со стороны.

Когда мне было двенадцать, а ему, соответственно, восемнадцать, он отбил у толпы уличных дебилов котёнка, в печальной участи которого никто не сомневался.

— Бывают в жизни огорчения, — сказал брат, разглядывая разбитые очки. — Ёж, ты не заметил, я хоть по кому-нибудь попал? Без очков совсем не вижу...

Мы были очень близки, и я, никому никогда не открывающий души, с ним мог быть абсолютно откровенным. Что характерно, с течением времени наши отношения становились все лучше.

Но я отвлёкся.

Начиная с восемнадцати лет, брата всегда окружали девчонки, девушки и женщины. Не то, чтобы он был очень красивый, видный. Скорее, наоборот. Худенький очкарик. Правда, он всегда любил и умел со вкусом одеться, но дело, конечно, не в этом. Просто он был очень тёплым человеком. Женщины чувствовали себя с ним уютно и защищённо.

У нас была одна комната на двоих, и таким образом, его гости и гостьи оказывались также и моими. Не все они имели железное терпение, а у меня был совсем не ангельский характер. Неожиданно для себя самого я мог выкинуть какую-нибудь штуку или состричь, из-за чего брату приходилось постоянно спасать положение.

Милое большезглазое создание жалуется на несправедливость мира вообще и на водителя, облившего её грязью от ног и до плюс-минус бесконечности (девушка явно математик) в частности.

И именно тут я как бы случайно интересуюсь, через тире или без пишется «собака — собачья смерть»?

Или:

— Ольга! Какой классный шарф, сама связала? О, да ты, я вижу, на все руки... на все ноги... и на всю голову...

Такие экспромты приходили мне в голову очень легко, а срывались с языка и того легче.

Брат понимал, что я делаю это не со зла, и никогда не выговаривал мне. Я же, в благодарность, старался пореже совать свой длинный нос в комнату.

Наверное, я и правда был таким невыносимым подростком, каким меня характеризовали учителя. Но я ничего не мог с собой поделать, хотя, объективности ради, — не очень и старался.

Была у меня особенность, из-за которой у меня везде и всегда были проблемы. Нет, не так, — из-за которой у всех везде и всегда были проблемы со мной.

Слава, пожалуйста, я прошу тебя!

Эта подстройка, как говорят психологи, правильная. А вот другая:

Слава, почему ты не делаешь это, когда делают все? Ты что — особенный?

Ты должен приносить сменную обувь!

Ты опять без сменки? Ты же её принёс! Почему не переобулся?

Вы не сказали, что я должен *переобуваться*. Вы сказали, что я должен её *приносить*.

Дневник!

Бедные мама с папой. Каких только записей в моём дневнике им не приходилось читать.

Дерзит. Дерётся. Не умеет ладить с коллективом. Пришёл без сменной обуви. Принёс вместо сменной обуви тапки. (Покажите закон, по которому тапки — не сменная обувь!)

Словом, стоило Славе дать понять, что у него существуют перед кем-либо какие-то обязательства, что он *должен*, в него тут же вселялся легион. И, на моей памяти, Славиного упрямства не мог сломить никто.

Ты должен ходить в этом костюме!

Ты должен участвовать в самодеятельности, у тебя хороший слух. Ага, есть. Ты вообще имеешь представление о различии просто слуха и музыкального? Оно и видно.

Не спорь со мной!

Ты обязан делать это!

Ты должен...

Чёрта с два я был кому-то должен!

Я объявлял войну каждому, записавшему меня в должники, и, как правило, жёстко войну выигрывал. Потому что, когда было нужно, я умел быть непробиваемым. Мне было наплевать на чьё-то мнение обо мне, как наплевать на вашу злость относительно пропавшего счастливого билета.

Надеюсь, вы о нём не забыли?

Разумеется, я считал себя сильным и самодостаточным. Но момент, когда я встретил кое-кого посильнее, приближался семимильными шагами.

Историческое событие произошло в конце ноября девяносто восьмого.

Я поступил на первый курс инженерного факультета, брат последний год учился на медицинском по специальности «терапевт». По-моему,

он никогда не резал жаб, — он даже червяка раздавить не мог по этическим соображениям, — но, уж точно, учился делать что-то не менее полезное. Иначе это не был бы мой брат. Ему было тогда двадцать четыре года.

Однажды вечером он вошёл в комнату с незнакомой девушкой, или женщиной — на ней не было написано.

— Здорово, Склифософский, — сказал я.

— Привет, Ёж, — сказал он. — Ира, это Ёж. Ёж, это Ира...

2.

Кстати, если уж вы едете в моём автобусе, переместите внимание в середину салона, на четвёртое слева место от кабины. Нашли? Вот. Видите, там сидит человек лет сорока? Это Саня. Он хромой, то есть, конечно, сейчас этого не видно, но если он встанет... В общем, неважно.

Саня — любопытная фигура. Музыкант-любитель, одинок, родственников нет, живёт на пособие по безработице.

Часто его можно встретить на автобусных остановках. Он подходит к вам своей прихрамывающей походкой, заглядывает в глаза каким-то всезнающим и одновременно голодным взглядом и заводит разговор. Даже если вы человек необщительный, разговор вы, неожиданно для себя, поддерживаете. А пообщавшись минуты три, с лёгкостью отдаёте ему небольшую сумму — рублей десять-двадцать. При этом он заверяет вас, что деньги обязательно вернёт. Вы не очень-то верите, но на душе у вас легко. Помогли хорошему человеку, попавшему в затруднительное положение.

Городским нищим было бы полезно поучиться этому искусству.

— Склиф, я пойду прогуляюсь, — я поплёлся из комнаты под скорбный вой моего легиона.

— Разве ты не хочешь с нами посидеть? — неожиданно сказал брат. — Ты нам совсем не помешаешь, правда, Ир?

— Правда, — дружелюбно кивнув, подтвердила Ира.

Я насторожился. Брат хочет, чтобы я остался. Здесь что-то не так! Разумеется, я был заинтригован и подсел к столу, где брат уже наливал Ире чай.

Невысокого роста, возраст — не меньше двадцати пяти, выразительные серо-зелёные глаза, короткие каштановые волосы, нос с небольшой горбинкой. Явно не из тех, кто даёт себя в обиду, видно по взгляду.

Довольно неплохой выбор, Склиф.

Когда Ира заговорила, оказалось, что у неё негромкий, приятный и низкий голос, который гармонично дополнял внешний облик.

Насколько я помню, практически с первых же слов разговора я неожиданно почувствовал какое-то неудобство, дискомфорт внутри, однако не мог разобрать, в чём дело.

Я даже не мог выдать ни одной своей фирменной колкости. И вообще, мне хотелось выглядеть

взрослым и серьёзным. Просто, понимаете, не приходило на ум её подколоть, — и вовсе не из-за разницы в возрасте. Даже наоборот: знаете, как я снисходительно оценил её через пятнадцать минут?

Девчонка.

Разговор перешёл на медицинские темы, и я подумал, что, возможно, Ира — будущая коллега брата.

Когда я высказался за аборт, Ира взглянула на меня с интересом.

— Совершенно с тобой согласна. Незачем травмировать свою жизнь, если ты к этому не готов. Так что, когда случайно забеременеешь, подходи.

Всё это было сказано таким серьёзным тоном, что я поперхнулся.

Брат посмотрел на меня с сочувствующей улыбкой, мол: «Забыл предупредить, об этот орех ты поломаешь зубы».

Но я так не думал.

Значит, я забеременею? А я ещё хотел быть добрым и пушистым! Ну, держись...

Однако держаться пришлось почему-то вовсе даже и не Ире. Причём держаться вплоть до того, как захлопнулась дверь.

Я отгородился книгой от всего мира.

Слышал, как брат ходит по комнате, убирает со стола, передвигает стулья. Наконец, он закончил с уборкой, прошлёпал в ванную, несколько минут там поплескался, вернулся в комнату и упал на свой скрипучий диван.

С минуту в комнате было тихо. А на шестьдесят первой секунде брат неожиданно расхохотался. У него был совсем особенный смех — необидный и очень заразительный.

— И где ты взял этот танк? — не высовываясь из-под книги, пробурчал я.

— Танк? Ха... Вообще-то у неё сейчас прозвище «наша Марго». Намёк на Тетчер. Но «танк» — тоже ничего. Она невропатолог, я сейчас стажируюсь в их отделении.

— У тебя с ней... ага?

Кажется, брат секунду помедлил.

— Нет, она замужем. Что, зацепила? Ревнуешь?

— Щас! Она для меня немножко слишком юна. И вообще, какая-то она... неадекватная.

— Ты ей тоже понравился, — брат улыбнулся. — Иначе она бы не звала тебя Кактусом.

— Точно. И не облила бы из чайника. Ладно ещё, остывший...

— О, никогда не бери Иру на «слабо». Самоубийство.

— Да ты ей восхищаешься, — с досадой заметил я.

— Знаешь, наверно, она из тех людей, которых либо любишь, либо ненавидишь. Но ты её, скорее всего, полюбишь.

— Сомневаюсь, — сказал я, откладывая книгу и нащупывая выключатель лампы. — Давай спать.

Брат накрылся одеялом с головой и сказал что-то вроде: «Увидишь, и месяца не пройдёт», хотя, возможно, я не расслышал.

Через месяц его не стало.

3.

На этого старика в унтах и ватнике вы не могли не обратить внимание. Он вошёл в заднюю дверь и громко заговорил с кондуктором. Голос у него был надсадный и хриплый. Он говорил, что воевал с немцами, воевал с американцами, получил ранения. Грозился убить Ельцина, развалившего великую страну, и его друзей американцев.

Когда пожилой в очках попытался ему возразить, — агрессивно оборвал. Говорил, что уверен в себе и всех заставит поверить. Показывал простреленную ногу и шрамы на теле.

Он не был ещё дряхлым, и производил впечатление человека, побитого жизнью, но не сломленного.

Тогда, в девятнадцать, мне впервые пришла в голову эта мысль. Верил ли я тогда в существование бога, вопрос спорный. Но мысль почему-то оформилась в таком виде:

Мы нелюбимые дети бога.

Как такое могло произойти? Как я сам мог допустить это? Кажется, стоило задержать на минуту, попросить помочь с учёбой... Ну хоть что-нибудь сделать!

О том периоде жизни мне бы не хотелось упоминать вообще, если бы он не положил начало дальнейшим событиям. Он был даже не чёрным, а каким-то абсолютно бесцветным.

Бывало, что брат не ночевал дома сутки, но когда он не вернулся на третий день, мы уже не могли спокойно сидеть. Позвонили друзьям, подругам, в милицию.

Обзвонили больницы.

Господи, помоги.

Потом морги.

Помню, как бежали с родителями полураздетые по снегу, как я говорил: «Успокойтесь, это наверняка ошибка».

Помню, как маленький милиционер усадил родителей на стулья и буднично сказал: «А он умер».

Помню, как услышал крик «нет!», и как осознал, что кричу — я.

Чёрт, он просто не мог умереть. Он был для этого слишком жизнерадостным, слишком тёплым!

Мы неродные дети бога.

Брата нашли недалеко от остановки, тело ещё не успело остыть. Следственная экспертиза сделала заключение: панкреонекроз.

Помнится, он говорил, что иногда чувствует неудобство, вздутие в животе, но тогда мысли о болезни никому не приходило.

Врачи воспринимаются как люди, обладающие сверхъестественным здоровьем — они ведь лечат других. И неважно, что мой брат не успел никого вылечить. Он стал бы самым лучшим врачом, я уверен в этом.

Я очень любил его.

Мы дети бога от нелюбимой женщины.

Похороны и следующие пару месяцев помню смутно. Приходили его друзья, подруги, разговаривали с родителями о нём... Кажется, один раз

заходила Ира, не уверен. Я был не в настроении общаться с кем-либо.

Мы встретились только через несколько месяцев.

Дело в том, что я, вопреки советам родителей, взял академ-отпуск. Я просто не мог тогда думать об интегралах и логарифмах, они были мне глубоко параллельны. Говорят, профессию нужно выбирать так же тщательно, как жену. Так вот, я поймал себя на подлой мысли сбежать от невесты до свадьбы.

Чёрт с ним, с кольцом.

Я нашёл себе другую пассию.

Видимо, я подсознательно готовился к большой перемене в жизни, которая наступила через три года. Я не думал ни о чём конкретном, и думал обо всём сразу. Я бродил по окрестностям нашего городка, будто что-то разыскивая, сам не зная что.

И вскоре нашёл.

Это была старая недостроенная пожарка, на которую махнули рукой власти. Говорили, она стоит на опасном месте. Говорили, машинам будет неудобно выезжать на пожары.

Зато она стояла на отшибе, на самом высоком месте между городком и посёлком, и вид с неё был совершенно потрясный.

Я влюбился в эту пожарку с первого взгляда и стал приходить на свидание каждый вечер. На самом верху у меня было любимое место — недостроенный кирпичный закуток образовывал нечто вроде кресла, добраться до которого можно было, только пройдя метров шесть по узкому и щербатому верху стены, — метров двадцать от земли.

Возможно, будь брат жив, я бы побоялся высоты. Людей в радиусе километра не было, и, если, сорвавшись вниз, я бы чудом выжил, неотложку бы мне всё равно никто не вызвал. Но, странное дело, балансируя на самом узком месте стены, я ощущал, что мы с братом снова вместе.

Я всего лишь в одном неверном шаге от тебя.

Это было как наркотик.

Ежедневно я с риском для жизни добирался до кресла, устраивался там, свесив ноги, любовался открывающейся панорамой и валял дурака. (Кстати, кажется, именно тогда мне впервые пришла мысль о Хозяине Белых Слонов). В гости ко мне навевывались только птицы — воробьи, синицы... и особенно много ворон. Поэтому, когда однажды я услышал в нескольких метрах от себя человеческий голос, то чуть не свалился вниз от неожиданности.

— Ты же понимаешь, как это глупо? Твой брат бы тебя не одобрил, — сказала ты, стоя в нескольких метрах от меня.

И тут у тебя из-под ног посыпался щебень.

4.

Заместитель Кашпировского. Он прошёл через весь автобус, протянул тебе руку и так представился. Что ж, заместитель так заместитель, Кашпировского так Кашпировского. Очень приятно. Точнее, очень любопытно. Несмотря на морозец, на нём были майка и видавшие Ленина спортивные штаны.

Вы по какой части заместитель?

По водной. Заряжаю хорошим настроением склянки, банки и целые тазики.

Тогда, может быть, вы заместитель Чумака?

Нет, именно Кашпировского. А ещё, по совместительству, спортсмен, плотник, художник и резчик по дереву.

Было в нём что-то, было. От него так и пыhalo энергией — светлой, радостной, заводной.

Ну и что, что некоторые смотрят на тебя как на дурака. Зато тебе хорошо и весело жить на земле. Не всё ли равно, кого замещать, Кашпировского или Чумака. Все хорошие люди.

Нервно посмеиваясь, добрались до Ириного дома. Она жила близко к окраине. Взобрались на четвёртый этаж, открыли дверь, вошли. В доме никого не было.

— С мужем рамсы, — коротко объявила Ира. Стремительно подошла к шкафчику, достала поллитровую бутылку коньяка, плеснула в рюмки и вручила мне одну. — Между прочим, в соответствии с древне-японской философией, если я спасла тебе жизнь, то теперь я за тебя в ответе. Только попробуй ещё раз полезть на эту пожарку!

— Во-первых, не с древне-японской, а с древне-китайской.

— О! Ну, это радикально меняет дело...

— Во-вторых, одна мама у меня уже есть.

— Будешь так себя вести, скоро не будет. Нервные клетки не восстанавливаются.

— Вот и побереги свои, — я почувствовал, что начинаю раздражаться. Слава, ты не должен... — Когда под тобой начала рушиться стена, ты потеряла минимум миллиард.

— Хамло. Вот и спасай таких. Между прочим, я килограммов на пять легче тебя, и разрушить стену я не могу. Просто один кирпич сгнил от времени.

— Сгнил! Кирпич! О, великий и могучий...

— Да вот, представь себе, сгнил.

— И я уже сто раз говорил, что не собирался прыгать, и не надо было меня спасать!

— Да уж конечно, если бы я тогда знала, что это ты, то прошла бы мимо. Просто, когда возвращаешься в город от подруги и видишь, как наверху болтаются чьи-то ноги, то думаешь — а вдруг там какой-нибудь хороший человек?

Я оскорблённо промолчал, было ясно, что она меня поддевает.

— Ладно, Слава, не дуйся. Слышишь? А то ткну иголкой, и ты лопнешь.

Я принялся с увлечением заплетать в косичку бахрому скатерти.

— Знаешь, на самом деле я тебя понимаю. — Ира налила в рюмки ещё коньяка. — Просто, если я в жизни чего-то и боюсь, так это высоты. Вот такая у меня фобия.

Я удивился.

— Зачем тогда полезла?

— Ну я же не могу идти на поводу у всех своих страхов. Я же Марго, — она хохотнула. — Есть у меня такое погоняло...

— В курсе.

— Правда? Тогда за то, чтобы Железная Леди не заржавела!

Мы чокнулись.

Не вздумай зазнаваться, но в тот вечер мне показалось, что ты — самый интересный и оригинальный человек, которого я встречал в жизни. Когда я пришёл домой, слегка пошатываясь от выпитого (мы добились бутылку), я попытался подобрать тебе определение, и единственное, что пришло мне на ум, это

Чудная.

Тебя было практически невозможно вывести из себя или задеть безнаказанно. Ты не пасовала перед моими остротами, зато я частенько уходил в глухую защиту под градом твоих уколов. Конечно, ты была на девять лет старше, опытнее и умнее, и это не могло не сказываться. Но я чувствовал себя с тобой очень легко и комфортно, как ни с кем другим.

Ты бесспорно была яркой личностью.

Впрочем, почему была? Не сомневаюсь — ты и сейчас такая.

5.

Я стал заходить к Ире раз в неделю. Потом два раза. Потом стал чувствовать дискомфорт, если не видел её хотя бы день. Она заменила мне брата, пожарку, родителей, друзей и подруг. Особенно подруг, которые на её фоне смотрелись абсолютно никакими, пресными и глупенькими. Как восьмибитные приставки рядом с персональным компьютером.

Во мне снова проснулся интерес к жизни. Я стал более активным, у меня нашлась целая куча дел, которые, впрочем, кровь из носу, я старался переделывать до вечера.

Потому что вечер был наш.

Мы сидели у Иры дома, пили чай, играли в карты (она обожала покер), разговаривали обо всём... С особенным интересом она любила слушать мои «лав-стори», причём всегда давала дельные советы, ценность которых я ощущал очень быстро.

Мы дали друг другу прозвища. Она называла меня то Ёж, то Уж, то Иж, то Аж, в зависимости от настроения. Я придумал Чеширскую Кошку.

— Ладно, кошка — понятно. А почему Чеширская?

— Так, ассоциации... У Кэрлла был Чеширский Кот, который тоже загадочно улыбался.

В твоей улыбке правда было что-то необычное. В улыбке и глазах. Одновременно вопрос, ответ и что-то ещё. Если бы я умел рисовать, обязательно попытался бы уловить это «что-то».

— Ну что ж, Чеширская, так Чеширская. Так меня ещё не называли, но мне нравится.

Иногда мы гуляли, а иногда, поздно, часов в десять-одиннадцать вечера, садились в автобус и ехали до конечной и обратно. Мы всегда садились на заднее сиденье и смотрели в заднее стекло. Тогда она впервые обратила моё внимание на горизонт — ну, на то, как он себя ведёт.

— Ты обращал внимание, что когда мы удаляемся от горизонта, он всё время как будто нас нагоняет, причём быстро? Вот, видишь? Как про-

шное. Кажется, оставил его далеко позади, а оно раз — и нагонит тебя...

Я не представлял, что прошлое от нас буквально в двух шагах и вот-вот нанесёт мне удар.

Однажды, когда я пришёл к Ирине вечером, мне открыл дверь невысокий усатый человек. Он был в футболке и спортивных штанах, в общем, выглядел вполне неофициально. Заметив, что я как будто не собираюсь ничего говорить в ближайшие лет двести, он спросил:

— Вам кого, юноша? — голос был спокойным и уверенным.

— А... Иру можно?

Он крикнул вглубь квартиры: «Ир, к тебе!», и ушёл в комнату.

Ира вышла. Увидела меня, улыбнулась.

— Привет! Зайдёшь?

— Нет, наверное. Лучше, как-нибудь в другой раз.

— Хорошо, если хочешь, заходи завтра в это же время.

— А... мы сможем поговорить тет на тет?

— Да, конечно. Ну ладно, пока!

Дверь закрылась.

Любил ли я тебя тогда? Впервые чётко я задал себе этот вопрос именно в тот вечер, когда шёл от тебя, сдувая с носа надоедливые щекотные снежинки. Никакого желания возвращаться домой не ощущалось, так же, как и желания видеть друзей. (Не хотелось слышать слова ободрения, всю эту чушь. Наверное, любой иногда предпочтёт вдоволь, по полной, настрадаться, нежели получить кислую микстурку утешения.) Просто шёл, куда глаза глядят — чем дальше, тем лучше. В голове звучали два голоса: один — напуганного четырёхлетки, потерявшего мать в магазине, другой — хорохорящегося циника, которому, на самом деле, было едва ли не страшнее.

Почему я так болезненно воспринял появление в твоём доме другого мужчины? Кто ты для меня? Друг, подруга, возможная будущая жена, любовница, последняя тоненькая нить, ведущая к брату? Что мне от тебя нужно? Что я сам могу тебе предложить взамен?

Такие вопросы я задавал себе и не мог на них ясно ответить.

С одной стороны, когда ты смотрела на меня своим особенным взглядом, в котором всегда было что-то ещё, кроме вопроса или ответа, я чувствовал, что ради тебя могу сделать всё, что угодно. Свернуть горы, стать террористом или наоборот, взорвать к чёрту всех террористов, объехать земной шар на трёхколёсном велосипеде или побрить наголо нашего директора, тётку строгую и мстительную.

Невозможно сделать всё это ради кого-то, будучи абсолютно равнодушным к этому «кому-то», верно?

С другой стороны, хотя порой мне и приходили в голову мысли о том, какие тайны скрывает короткий халатик Иры, но, предложи она мне это узнать, я не был уверен в своей реакции. К тому времени я уже не был девственником, но, чёрт, мне

было девятнадцать, а ей двадцать восемь, и она была для меня тем, что я называл "совсем другое дело". Мой напускной цинизм таскал за собой длинную романтическую шпагу. Понимаете, это была не какая-нибудь одноклассница, одноклассница, это была...

Ира.

Просто Ира.

И лучше этой Иры никого в моей жизни не было. До сих пор уверен.

Глубокой ночью, свернув мозги набекрень, я наконец почувствовал, что мысли начинают путаться, а сам я медленно проваливаюсь сквозь постель и лечу куда-то вниз, в завтрашний день. Скорее бы завтрашний день.

Несмотря на снегопад, за окном противно и надоедливо скрипели качели.

— Итак, Карлсон вернулся, — мрачно сказал я.

— Как будто, — она улыбнулась. — Кстати, небольшая корректировка. Не Карлсон, а мой муж.

— Извини, не хотел задеть.

— Ничего, ты же знаешь — это непросто.

Помолчали. Разлили коньяк по рюмкам. Как тогда, в первый раз, подумал я.

— У тебя какая-то проблема? Смелее!

— Ну, я просто очень привык к нашим встречам... Даже не знаю, чем теперь заполнять вечера.

— А, так я для тебя — набивочный материал? Перья для подушки?

Я кисло улыбнулся.

— Я не сказала, что запрещаю тебе приходить.

Я залпом проглотил рюмку и покачал головой.

— Это будет уже не то.

От коньяка на губах был привкус горечи.

— Почему?

Её наивность была настолько наигранной, что я разозлился.

— Почему? Потому что я люблю тебя, потому что я обожаю тебя. Потому что в тебе сейчас вся моя жизнь. Объяснение устраивает?

В глазах предательски помутнело. Я обхватил голову руками.

— Вполне.

Каким, должно быть, торжеством блеснули твои глаза. Тщеславие присуще абсолютно всем, от принцев до нищих.

Ира разлила остаток коньяка и поставила бутылку за диван. Легонько покачивала рюмку в руке, осторожно, чтобы не расплескать. Молчание было тяжёлым.

— Ну вот, сказал. Это что-то меняет? Ты и так всё знала, верно?

— Верно, — кивнула она, не глядя на меня.

— Тогда дальнейший разговор абсолютно бессмыслен. Не хочется говорить затёртых и высокопарных вещей, — сказал я затёртую высокопарную вещь.

— Слав.

— Что?

- Если не хочешь сказать пошлость, лучше вообще ничего не говори.
- Молчать ещё глупее.
- Тогда просто поцелуй меня.

Потом было то, о чём я уже обмолвился. Три причины — муж, возраст, вкус. И её улыбка — совсем не сочувствующая, а торжествующая очередную победу. А может, это я потом надумал, не знаю.

В фильмах и романах главный герой, получив сердечную рану, сурово стискивает зубы, уходит и меняет жизнь коренным образом. В самых надуманных и дурацких фильмах и романах.

Я проревел полночи, а на следующей неделе укатил в Красноярск — поступать на филфак. Дома уже ничего не держало.

Часть 2. Скрэммер

1.

Вы часто попадаете на Тропу Белых Слонов? Если представить жизнь как реку, в которой мы плещемся в своё удовольствие, беззаботно плывём по течению, не думая о завтрашнем дне, то рядом с этой рекой обязательно проходит Тропа Белых Слонов. И рано или поздно нас на неё выбрасывает. Тысячи и тысячи слонов бегут быстро и деловито, сотрясая землю и поднимая облака пыли, и им нет никакого дела до того, что за букашка оказалась у них под ногами.

Тропа очень широкая, а слоны выглядят большими и грозными, поэтому добраться до родной реки очень трудно. Ты начинаешь в панике метаться под огромными ногами, и обычно это уводит вообще в другую сторону. Слоны толкают тебя, теснят и грозят раздавить, даже не заметив. Ты весь в синяках и ссадинах, ты устал, вымотался и готов уже свалиться с ног, когда неожиданно чувствуешь на себе взгляд.

«Кто-то сильный и большой наблюдает за тобой». Смотрит, как ты барахтаешься, борешься за жизнь. И молчит. А может, даже презрительно улыбается.

И вдруг, совершенно неожиданно, случайно, — ты снова оказываешься в реке. Ты ощущаешь, что всё хорошо, что ты снова в порядке. До следующего раза.

Этот образ впервые пришёл мне на пожарке. Я словно получил откровение.

С тех пор для меня всегда было жизненно важно, чтобы Тот, Который Смотрит (Хозяин Белых Слонов?) не смог улыбнуться презрительно.

Мне без особого труда удалось поступить на филологический факультет одного красноярского университета. Говорю одного, потому что потом были второй и третий. Дело в том, что через полгода мне показалось не ахти каким качество преподавания, а ещё я обнаружил, что мне наплевать, как оценили Белинский и Некрасов «Белые Ночи» Достоевского. Главное, что мне не понравилась дутость «Белых Ночей», а в «Униженных и оскорблённых» я углядел намёк на явную склонность Фёдора Михайловича к педофилии — и даже привёл доказательства.

За подобные замечательные догадки, высказываемые неизменно громко и безапелляционным тоном, профессора и доценты меня тихо ненавидели, и, должно быть, перекрестились обеими руками, когда диссидент изъявил желание ступить на благородную стезю историка.

На историческом я тоже долго не задержался, ввиду нелюбви с первого взгляда между мной и Ромой Бубенцовым, который сдуру решил сделать новичку вступительную «прописку». И поскольку я был здоровый парнишка, а Ромин папа был завкафедры, мы решили, что Роме абсолютно нет нужды больше пересекаться со мной. А мне, в свою очередь, совсем не светит карьера историка под началом у Ромино папы.

В общем, снова был развод и девичья фамилия.

По сути, продолжалось то, что началось с детства. Я протестовал против всего, что пыталось сломать, подчинить меня, сделать кем-то другим.

Против власти Хозяина Белых Слонов.

Я пинался, брыкался и царапался, как только мог. А мог, в целом, неслабо.

От родителей я получал небольшие деньги, которых едва хватало на существование, поэтому пришлось искать подработку. Найти её с моим дурацким характером было нелегко, за семь месяцев пришлось сменить более десятка мест — монтировщик сцены в театре, рабочий, сторож, репетитор русского и литературы, грузчик, оператор на радиостанции, — всё и не упомнишь.

Я был верстальщиком в газете, когда главный редактор предложил мне попробовать силы в журналистике.

Получилось.

Я устроился корреспондентом, а уже через полгода меня отправили получать журналистское образование.

На журфаке мне нравилось. Там царил более непринуждённая атмосфера, и там я не был белой вороной. Точнее, на моём потоке каждый второй был белой вороной, это никого не удивляло и не напрягало. Об Ире я теперь вспоминал редко, но если находили воспоминания, меня целый день невозможно было растормозить.

Надо признать, рана от её кошачьих коготков зарастала медленно. Очень медленно.

В остальном же дела шли совсем неплохо. Появились какие-то друзья, подруги, интересная работа, и, казалось — я нашёл наконец-то своё место в жизни. Но...

Я учился уже третий год, когда с журфака меня попросили за организацию подпольного молодёжно-политического кружка «Лысый одуванчик». «Лысый одуванчик», друзья, протестовал против существования гопников. Наш протест, друзья, заключался в том, что мы ловили гопов и били их. Гопы, в свою очередь, в долгу не оставались — они ловили и били нас. Всё шло путём, пока нашему лысому ректору не пришла абсурдная мысль, что Слава и иже с ним представляют угрозу

для всего российского населения, не имеющего на голове волосяного покрова.

Словом, я снова остался не у дел. В сто первый китайский раз.

Но, наверное, правда, что нет худа без добра.

В миллионном городе моя судьба вновь пересеклась с Ириной.

Вопрос, что было худом, а что добром, довольно интересен.

2.

Ты стояла на остановке возле университета, в том самом плаще, который на тебе сейчас. Я вышел на улицу, раздражённый упрямством ректора, ни за какие блага не желавшего восстанавливать «криминальную личность». Солнце с боем прорывалось сквозь низкие тучи, было начало марта.

Не знаю, как я вообще обратил на тебя внимание. Народу на остановке было довольно много, но узнал тебя я сразу. Должно быть, в воздухе витала слишком большая концентрация твоих флюидов.

Но что было делать дальше? У меня даже мелькнула мысль пройти мимо, потерять тебя из виду, избежать соблазна. Однако когда я увидел, как ты садишься в автобус, то уже не думал, а входил в заднюю дверь. Сердце бешено колотилось, ладони вспотели, в коленях — слабость.

Какой диагноз, доктор?

Ты стояла спиной ко мне, а я почему-то со страхом думал — вдруг ты обернёшься. Все мысли о восстановлении на учёбу исчезли, в голове было пусто. Я просто видел тебя и не мог не идти за тобой. Это было как наваждение.

Мы проехали минут двадцать, потом ты вышла, я — следом. Это оказался район мединститута. Невдалеке высились девятиэтажные громады вузовских общежитий. Ты пошла дворами, я — на некотором расстоянии. Не знаю почему, но меня охватила какая-то детская робость. Боялся окликнуть тебя, просто подойти и заговорить, обнаружить своё присутствие. Решил: прослежу, куда ты пойдёшь, а потом... видно будет.

Дворами мы подошли к одному из серых общежитий. До первого подъезда оставалось совсем немного, когда ты резко обернулась. Несколько секунд мы гляделись друг в друга.

— Слава?... Ты, что ли? Господи, я думала, у меня в спине дырка будет! Разве можно так сверлить глазами, а?

В голосе — радость и удивление.

3.

Оказалось, Ира приехала на курсы повышения квалификации. Пройдя курсы, она получит первую категорию и прибавку к зарплате, а это, конечно, совсем не повредит.

Я предложил зайти ко мне, раз уж мы недалеко от моей квартиры. (Квартиру я снимал у знакомого по дешёвке, в обмен на обещание сделать ремонт). Она взглянула на часы и согласилась.

Пришли. Ира оценивающе оглядела шесть слоёв содранных обоев. Облагораживать жильё дальше не хватило ни времени, ни совести.

— И чем ты теперь занимаешься?

— Так, всем помаленьку... Пытаюсь восстановиться на учёбу. В газетах ещё немного... В общем, на хлеб хватает.

— Ёж — журналист! — Ира хлопнула в ладоши и рассмеялась.

— Да, это звучит гордо.

— Ой, слушай, у тебя дома есть твои статьи? Покажи, а?

Я достал из стола пухлую папку и передал Ире. Она разложила её на тахте и стала просматривать статьи, откладывая в сторону заинтересовавшие. Я вышел в магазин купить финтифлюшек к чаю, а когда вернулся, встретил озадаченный взгляд.

— То, о чём ты пишешь, это всё... так реально. Ты что, сам был участником всего этого?

— Чего «этого»?

— Ночёвка на кладбище, потом этот дневник наркомана... Описано как-то слишком правдоподобно. Я просто вспомнила тот случай с пожаркой, и подумала, что ты вполне можешь...

— Чай, кофе?

— Чай. Подумала, что...

— С сахаром?

— Пять ложек! Не перебивай меня, такой же невоспитанный, как и был!

— А говорить за столом о работе вредно для усваиваемости.

— Для усвояемости. Журналист...

— Тем более. Ты сколько в городе пробудешь?

Оказалось, что Ира приехала на две недели. Что утром, днём, вечером и даже ночью она учится. Кстати, (спасибо за чай) ей уже пора — на пять назначен семинар.

— Похоже, ты только что использовала меня как перья для подушки, — сказал я, подавая плащ.

— Ого, так я живой классик! Меня цитирует Известный Журналист!

Я взял с неё слово зайти как-нибудь. Она обещала, с шутилой серьёзностью пожимая мне руку.

4.

Помню, в детстве, когда папа пообещал купить нам компьютер, мы часто говорили друг другу: «Да наверняка не купит. Или денег не хватит, или ещё что. Вот увидишь». Это было в своём роде заклинанием духов — мы старались как бы не верить в хороший исход, чтобы не привлечь нечто враждебное, противящееся выполнению наших желаний. (Хозяина Белых Слонов? Бога?) Кстати, такое шаманство обычно действовало.

Может, именно из этих соображений я не слишком поверил Ириному обещанию.

Поэтому, когда на следующий день, точнее, в следующий вечер, я увидел Иру на пороге, то слегка растерялся.

— Что, даже войти не пригласишь?

Вручив мне плащ, она прошла в комнату.

Казалось, сначала она была не в настроении, однако уже через полчаса напряжение полностью спало. Мы сидели на тахте, пили коньяк и разговаривали обо всём на свете.

Даже удивительно, что вначале я боялся к тебе подойти, что собирался пройти мимо, потерять из виду. Пришло ощущение, что я вновь встретил свою когда-то потерянную половинку, часть меня.

По-моему, тебе было со мною гораздо интереснее, чем раньше. Всё чаще я ловил твой взгляд, в котором, как и всегда, было что-то ещё, кроме вопроса или ответа.

— И ты собираешься серьёзно заниматься журналистикой?

— Не знаю. Пока не вижу, где я мог бы себя лучше проявить.

— Мне кажется, у тебя талант. Всё так живо, по крайней мере, то, что я вчера прочитала. Кстати, а где ты берёшь сюжеты?

— А ключ от квартиры? — я улыбнулся.

— А, профессиональная тайна?

— Да нет, на самом деле... Просто мне многое интересно. Особенно человек, его возможности, на что он способен...

— Ты близко знал наркоманов? — Ира внимательно посмотрела мне в глаза.

— Достаточно. А что?

— Можно, я тебя попрошу?

— Попробуй.

— Закатай рукав. Левый.

Я сделал недоуменное лицо и выполнил просьбу. По-моему, она вздохнула с облегчением.

Я улыбнулся. И перевёл разговор.

Было два часа ночи, когда я провожал Иру до подъезда общежития.

— Тебя точно пустят?

— Я надеюсь. Кстати, до комнаты провожать не обязательно.

— Да? Ну, тогда... пока?

— Как ты сегодня неоригинален.

Потом дверь закрылась и я пошёл домой.

Вот и всё. Помнится, именно в тот момент у меня исчезло то ощущение трагичности любви, которое было у меня все эти годы.

Может, я действительно повзрослел, может, ещё что-то, но сознание того, что я минуту назад как ни в чём ни бывало поцеловал женщину своей мечты, не вызвало в душе каких-то там бурных эмоций.

Я как бы освободился от петли, которая мешала мне дышать свободно всё это время.

Возможно, потасовки с гопами, ночёвки на кладбищах, борьба с наркотиками притупляют чувствительность, не знаю.

Но знаю, что снова хотел видеть Ирину каждый день.

5.

Этот человек тоже успел примелькаться в автобусе. Длинный сухопарый старик в заношенной ушанке. Разговаривает он громко и со всеми сразу. Кто-то отворачивается, а кто-то ничего — слушает, даже вступает в разговор. Старик, видно, до сих пор очень любит свою жену. Потому что то и дело в разговоре вставляет «А вот мы с женой», «А моя жена».

Завидное постоянство.

Если бы не одно «но». Его жена уже второй год в могиле. Но для старика она продолжает жить. В голове, в сердце, неважно где. Для него она живее, чем все, стоящие рядом, из плоти и крови, дышащие и разговаривающие.

Кто знает, может, мы вовсе не живём? Может, мы существуем только в чьей-то голове, в чьём-то сердце?

Наверное, не так уж важно, где. Главное, живём.

Мы снова стали видеться каждый день. Это произошло спонтанно, словно иначе и быть не могло. Большой город даёт много возможностей — театры, клубы, киношки, наконец. Однако большую часть времени мы находились у меня.

Когда я впервые рассказал тебе о Хозяине Белых Слонов? Кажется, через неделю или около того. Было уже темно, часов десять-одиннадцать, мы не включали свет. Мы лежали на тахте, смотрели в потолок, целовались и разговаривали.

— Знаешь, что меня удивляет? — сказал я.

— Что?

— Понимаешь, я ведь точно такой же, какой был тогда. Ничуть не изменился, даже внешне. А сейчас...

— ...Взрослая тётка, которая отвергла тебя, лезет с поцелуями, да?

— Ну, в общем, да.

— Как тебе сказать, — Ира перекадилась со спины на живот, удобно пристроила голову на руках и взглянула мне в глаза, — во-первых, мне понравился наш первый поцелуй у меня дома. Не задирай нос! Во-вторых, ты безусловно очень изменился.

— Ага. Сломанный нос есть сломанный нос...

— Ну, зачем так уж. Я о другом — повадки, тон голоса. Глаза, наконец. Ты стал совершенно по-другому смотреть. Гораздо увереннее, взрослее. Вот.

Она кивнула, как бы подтверждая свои слова, и улыбнулась.

— Бог любит троицу. Что в-третьих?

— В третьих... В общем, ты был дурак и совершенно не понимал женской психологии. Понимаешь, когда женщина говорит «нет», это не всегда означает «нет».

— Теперь понимаю.

— Ну, слава Богу.

Я усмехнулся.

— Слава — Богу? Не думаю, что я так уж нужен Богу. В принципе, как и все.

— О, пошла философия. А мне негде конспектировать мудрые мысли.

— Между прочим, я серьёзно. Я даже сейчас над...

Я замолчал.

— Что ты хотел сказать? — спросила Ира через полминуты.

— Что? А... Я говорю, что сейчас как раз работаю над...

Я снова вынужденно замолчал. Хотя слово «вынужденно» неуместно, когда тебе хорошо.

— Э, нет, так не пойдёт, — сказала Ира ещё через полминуты. — Сказал А, говори и Б. Над чем ты там работаешь-то?

— Над большой статьёй.

— Это я и сама поняла. А о чём будет статья?

— Ты удивишься. О Хозяине Белых Слонов.

— Ого! А кто это?

— Долго объяснять. А у меня есть вещи поважнее.

— Интересно, какие это ве...

6.

Готов спорить с вами на все свои счастливые билеты, что этот молодой с прозеленью так и не наберётся смелости подойти к девушке в симпатичной кепке. Поэтому она выйдет на своей остановке, поскользнётся на гололёде и попадёт под машину, а может, к ней подойдёт познакомиться какой-то другой парень. Закрутит романчик, потом бросит, а может — женится, и будут они себе долго и счастливо... И всё потому, что ты не набрался смелости завязать разговор.

Сколько значат в нашей судьбе, казалось бы, абсолютно посторонние, чужие люди? И есть ли они вообще, в принципе — чужие и посторонние?

Кстати, интересно, сколько бы вы дали лет этому неприметному человеку, который исподтишка, сквозь затемнённые очки, поглядывает на Иру. Она считает его чужим, никак не связанным с её жизнью. Но это, возможно, до поры до времени.

Я опёрся руками о подоконник и стал смотреть на улицу. Сыпал мелкий снежок, укутывая переливающимися уютным валиком нижнюю часть окна. Невидимый отсюда фонарь освещал пустынный двор, брусья, качели — нехитрые спутники детства.

Тахта тихонько скрипнула. Я почувствовал, как меня обнимают Ирины руки.

— Не спится?

— Вроде как.

— Всё думаешь о Хозяине слонов?

Я улыбнулся.

— Как ты догадалась? Запомнила же...

— Ну, скажем, я не в первый раз читаю твои мысли. А во-вторых, я же вижу, что с тобой что-то творится. Ну и само сочетание «Хозяин Белых Слонов» запоминается. Можешь так и назвать свою статью. Кстати, о чём она будет?

Я повернулся и обнял Иру. На меня с интересом смотрели глаза Чеширской Кошки.

— Ну, понимаешь, если представить нашу благополучную, счастливую жизнь в виде реки, то рядом проходит тропа больших белых слонов...

Ира слушала внимательно. Сказала:

— Да, интересно. Значит, ты всё воюешь, всё борешься со своими ветряными мельницами.

— Смеёшься?

— Абсолютно нет. У каждого свои ветряные мельницы, которые практически всегда реальнее, чем действительность. Это как со счастливыми билетами, — она улыбнулась.

— А что такое?

— В детстве мы с сестрой придумали, что на самом деле люди неправильно пользуются счастливыми билетами. На самом деле, для того, чтобы твоё заветное желание исполнилось, нужно собрать *все* комбинации счастливых билетов. Представляешь, сколько их существует? Причём, бросать это дело почему-то нельзя, пока не закончишь. Мы открыли этот «секрет» подругам и решили собирать билеты вместе, а желание загадать одно на всех.

— Ну и как?

— Никак, забросили. Собрать все комбинации — это ведь тысячи билетов. Абсолютно нереально.

Хотя, доверши мы дело до конца, твой Хозяин Слонов просто обязан бы был выполнить наше желание. За такую-то работу! Хозяин Белых Слонов — это ведь Бог?

Я пожал плечами.

— Не знаю. Может быть, это рок, судьба, может, часть Бога — понимаешь, которая стремится доказать тебе, какой ты на самом деле муравей, ничтожество. Ну, как некоторые родители.

— Ага. То есть, получается, ничто человеческое Богу не чуждо?

Посмеялись.

— Зря смеёшься. Между прочим, судя по Библии, Бог был гневлив и отходчив, добр и зол, у него бывало плохое настроение. Вспомни башню, потоп.

— Софист. Ладно... Тебе не кажется, что пора бы уже проводить даму до дома, а?

7.

А потом наступило двадцать восьмое ноября. На завтра было назначено торжественное отбытие Ирины домой, и мы решили устроить в этот день маленький праздник. Выбрались в театр, потом долго сидели в кафе. Почему-то вспоминается табличка «У нас не курят» и роскошный дед Мороз, который забавно раскачивался из стороны в сторону в такт негромкой музыке. Ко мне вернулись около двенадцати ночи.

— Можно задать вопрос? — сказала Ира.

— Конечно.

— Кто я сейчас для тебя? Наверняка твои чувства за то время, пока мы не виделись, изменились.

— Кто ты для меня? Ты — сказка в моей жизни и-и! — фальшиво прохрипел я и обнял её.

— А если серьёзно?

— Серьёзно, не знаю, не задумывался. Хотя есть одна особенность. Когда я, например, тебя целую, у меня такое впечатление, что я целую, скажем, свою руку. То есть ты как будто часть меня.

— Клиника. Буду писать диссертацию, обязательно опишу твой случай.

— На самом деле, чувство очень хорошее, тёплое.

— Ладно, верю...

— Знаешь, в моей жизни был один человек, с которым я чувствовал себя одним целым. Потом он умер, и вместе с ним умерла часть меня. А теперь, когда ты рядом, эта часть как бы оживает. И он опять вместе со мной.

Мы помолчали. Было темно и тихо. Потом я сказал:

— Знаешь, я почему-то никогда не спрашивал тебя об одной вещи...

— Знаю. Наверное, *это* для тебя нечто нерушимое, если это рухнет, то ты можешь полностью потерять себя. Потому я никогда не затрагиваю определённые темы.

— Мы ведь даже не знаем, об одном и том же мы или нет, — я как-то нервно рассмеялся. Думаю, этот миг и был переломным. Даже если бы ты меня обманула, ничего уже нельзя было изменить.

— Думаю, знаем. Но не уверена, что ты правда хочешь знать больше.

— Ты не можешь решить за меня. Если ты не скажешь...

— ...То?

Ты опустила голову и вздохнула. Потом взяла меня за руку. Потом отпустила.

Наконец, взглянула мне в глаза и чётко произнесла:

— Да, мы с твоим братом были любовниками.

Хозяин Белых Слонов взял ещё одно очко.

Как бы отреагировали христиане, если бы им привели убедительнейшие доказательства того, что нога Сына Божьего никогда не ступала на землю?.. Если бы они увидели своими глазами, что никто два тысячелетия назад не ходил по воде, не воскрешал мёртвых, не кормил голодных пятью хлебами?.. Что тогда?

Сейчас, со временем, всё воспринимается проще. Все мы люди, все мы живём свою жизнь, как хотим, как можем. Но в ту ночь я пережил настоящее потрясение.

Почему ты не сказал мне правду, когда я спросил тебя? Мы ведь так доверяли друг другу... Если бы я всё знал, быть может, всего этого не было бы, и вся жизнь пошла бы по другому, завела бы в другой переулок, заворот. Кажется, после Ириных слов я потерял тебя во второй раз. (Интересно, когда теряешь уже потерянное, это потеря?) И в первый раз, не Ира ли была виной, пусть косвенно? Не от неё ли ты шёл, тогда, ночью? Сейчас не узнать. Да и стоит ли...

Из тишины выплыл Ирин голос.

— Мне на самом деле очень не хотелось затрагивать эту тему. Я знаю, кем он был для тебя... Хотя, может, и к лучшему, что ты теперь знаешь.

— Ты... понимаешь, что теперь всё не может быть... как раньше? — я с трудом подбираю слова. Мне будто вкололи транквилизатор.

Она кивнула.

— Хочешь, чтобы я ушла?

Я подумал.

— Нет, не хочу. Давай просто полежим и помолчим.

Прошло полчаса, может, больше. В голове была пустота. При этом ум вяло фиксировал происходящее вокруг. Вот снег летит в окно, белый, пушистый, может, он даже тёплый. Вот тикают часы. Очень громко, оглушительно. Вот Ирина рука гладит мою руку. Вот Ирина рука гладит меня по голове, проводит по щекам, и им становится прохладно, потому что они влажные. Два раза из-за одной женщины, это слишком.

Мне становится смешно, мои губы растягиваются в улыбку. Ира тихо спрашивает, почему я улыбаюсь, я объясняю. Она прижимает мою голову к своей груди, и что-то шепчет мне на ухо. Не помню что, но вряд ли в жизни я слышал что-то лучше. Я закрываю глаза...

Не могу сказать, приснилось ли мне или она правда произнесла эту, вроде бы, совершенно обычную фразу. Совершенно обычную, если бы рядом не было меня.

— Интересно, это когда-нибудь кончится?

Я попал как бы в другое, смежное измерение. И вам оно сейчас тоже будет доступно.

Только вдумайтесь — наш мир материален, а потому вы в любой момент можете потерять всё.

Кроме того, чего у вас нет.

— Интересно, это когда-нибудь кончится?

У вас можно отнять всё, кроме того, чего вы не имеете.

— Это когда-нибудь кончится?

Всё может закончиться. Кроме того, что не начиналось.

И даже Хозяин Белых Слонов, при своём всемогуществе, не в силах это изменить. Это ему неподвластно.

— Это кончится?

У всего, что существует, есть свои определения, характеристики. Земля круглая. Воздух свежий, прозрачный, или наоборот, загрязнённый. У всех есть имена, на всём есть ярлыки, и штампы, и названия.

В наших с Ирой отношениях в ту ночь ничего этого не было. О них ничего определённого нельзя было сказать.

— Это?

И действительно, в тот миг я не чувствовал любви, вернее сказать, было что-то даже большее, чем любовь, поглотившее эту любовь, но я не знаю, как выразить это. Была ли романтика? Пожалуй, только то, что от неё осталось. В будничную стадию «туда-сюда» наши отношения ещё не перешли. Чувственность? Кажется, её практически не было. Ещё? Уже? Я не знаю, я же говорю, что не могу подобрать определения тому, что возникло между нами двадцать восьмого ноября. Что-то только что закончилось, но ничего на смену ещё не пришло.

Ничто. Великая пустота.

Думаю, ты это понимала. Ты не могла этого не понимать, верно? Какие чувства ты испытывала, когда осознала, что мы немного другие, чем думали о себе, что мы изменили — не друг другу, а друг друга?

— Позвони мне завтра. Или на неделе. Завтра я буду дома. Буду ждать. Обязательно позвони, слышишь?

Я обнаружил себя стоящим возле неё у входа в её подъезд. Пробрасывал мокрый мелкий снежок, ложился на землю, превращался в мутные лужицы и хлопал под промокающими ногами. Это в конце ноября! Ни козырька, ни лампочки над подъездом не было. Было очень тихо, на часах — половина третьего.

Я кивнул. Да. Обязательно. Однако когда дверь подъезда закрылась, мои мысли уже вертелись в другом направлении.

Да. Завтра. Или на неделе.

Потом я пришёл домой. Потом заснул.

Что-то вроде заключения

Осталось досказать не так уж много.

Я не позвонил Ире на следующий день, не позвонил на следующей неделе. Больше мы никогда не виделись, не перезванивались и не разговаривали.

Что произошло?

Я снова начал играть в эту игру. Я придумал её, когда учился на втором курсе журфака. Когда

редактор поручил мне написать большой материал о наркоманах. Долгое время у меня ничего не получалось, не было ключа. Я бился так и этак, мне уже было наплевать, что газете нужен материал в ближайшее время, но было обидно признавать, что я не в силах его написать так, как мне хотелось. И так как с головой у меня было не всё в порядке с детства, я подсел на «черняшку», а потом попытался слезть. Эксперимент стоил мне дорого, но в итоге появился мой лучший материал — «Дневник наркомана». А кроме того, я уверовал в своё почти всемогущество.

В этот раз игра обещала быть куда интереснее.

Как призывник скрывается от военкомата, так и я задумал скрыться от судьбы.

В одну ночь я лишился обоих дорогих мне людей. Это была обратная сторона свободы, к которой я так стремился. Пожалуй, изощрённостью методов Хозяина Белых Слонов можно было только восхититься. Хочешь свободы от всего — пожалуйста.

На каждое действие есть противодействие. А на бездействии?

Конечно, я прекрасно осознавал, что это лишь игра. Но не мог отказать себе в удовольствии сыграть в неё. Это было как минимум интересно.

В общем, я исчез, растворился. Я стал Скрэмером — потому что никто не знает, кто или что это такое, в том числе и я. В этом сочетании букв была какая-то потерянная, что меня вполне устраивало.

Не думать, не чувствовать, не быть. Только тогда он бессилён.

Разумеется, всё произошло не сразу. Но я постепенно, с упорством подвижника, шёл к своей цели. Я верил в это.

Чем больше людей знает о тебе, тем больше ты есть. Поэтому я пропал для друзей и знакомых.

Сначала я хотел написать большой материал об этом, но потом такая мысль отпала. Это была игра ради самой игры. Расслабьтесь и получите удовольствие.

Понимаю, что сумасшедшие не осознают своей ненормальности, но всё же я не сумасшедший. Не называют же сумасшедшими тех, кто постригся в монастырь, отдался служению. Мой случай в своём роде тоже был из этой серии, с той лишь разницей, что это было неслужение, служение себе. Я просто хотел быть максимально свободным и независимым от судьбы. Вот и всё.

Однако, наверное, нельзя сказать, что я абсолютно нормален. Я легко отказался от цивилизации, общения... Видимо, есть какая-то предрасположенность с рождения.

Я не мог отказать от одной вещи — от денег. Правда, мне требовался минимум — на еду и одежду, но это была проблема, которую нужно было как-то решать. Я был чернорабочим, сторожем, работал на небольших частных предприятиях, выпускающих продукты питания, и был ещё чёрт знает кем.

Если бы вы видели, как и из чего в частных фирмах делают пельмени, вы бы никогда больше не купили ни одной упаковки. Если бы вы знали, как печётся хлеб, вы бы никогда не стали его есть.

Мы живём, потому что не знаем, что ходим по самому краю жизни. (Твоя мысль, заметила?)

Вы могли видеть силуэт человека, разгуливающего по самому краю крыши девятиэтажного дома по вечерам. Всё то, что угрожало всем людям, не могло причинить мне вреда. Тогда я почти поверил в это. Потому что я был вне всего вашего мира. Потому что я не был. Ребёнок, играя в игру, живёт эту игру. Я был ребёнком.

Может, в это трудно поверить, но все три года моего небытия я был счастлив, как никогда.

Я чувствовал себя учеником, сбежавшим с уроков и улетающим на Марс. И даже ещё лучше. Я плыл по течению своей реки и совсем не думал о будущем.

Мне нужно было раствориться полностью. Я перестал смотреться в зеркало, чтобы не отождествлять себя с отражением. Я перестал ходить на работу.

Не знаю, сколько прошло времени. Знаю только, что однажды я обнаружил в своей комнате тело. Оно лежало на кровати, и абсолютно не собиралось уходить. Одновременно я открыл в себе способность проходить сквозь стены и перемещаться в любое место.

Вы не забыли, что едете в старом жёлтом автобусе? Заснули, задумались? Просыпайтесь. Конечная.

Все с неохотой поднимаются с тёплых сидений и выходят на январский холод. И Ира, и этот странный человек без возраста, который на неё так паялится. Это Георгий Максимыч. Разведён, двое взрослых детей, неплохая работа, трёхкомнатная квартира. В жизни ему не хватает только женщины. Возможно, выйдя из автобуса, он попытается заговорить с Ирой.

Пока, Ир. Счастливо. Был рад увидеться.

Кто я сейчас? Призрак? Не знаю, никогда не видел призраков. Людей я видел много. Все они ездят в моём автобусе. Я знаю, как их зовут, кто их дети, жёны, любовницы. Знаю, на какой остановке войдёт и выйдет каждый. Я всё знаю.

Бог тоже всё видит и всё про всех знает, но помочь никому не хочет. Или не может. Эй, может, я — бог?

Это никогда нельзя бросать, если вы уже начали.

Сегодня совсем неплохой улов. Восемь «счастливых». Правда, остаются ещё несколько тысяч. Но мне ведь некуда особенно торопиться.

Тысячи и тысячи счастливых билетиков однажды дождутся своего часа. Я громко назову своё желание, и тогда я снова услышу гул, топот многочисленных ног. И тогда я снова увижу тысячи и тысячи белых слонов, бегущих прямо на меня. Но я уже не буду бояться их. Я побегу им навстречу. Мне будет легко и радостно бежать вперёд...

И тогда Тот, Который Смотрит, не сможет улыбнуться презрительно.

г. Красноярск



Иван Клиновой Слагаемые

380-летию Красноярска посвящается 28

Лиде Барминой

Подберите сирень: под ногами не место сирени!
Этот крохотный жест хроникёры потом сберегут.
Для чего нам сирень? Чтобы мы преклонили колени
Перед таинством цвета и запаха, и уходящих минут.

Этот воздух, пропитанный медленным плавным солнцем;
Эти листья, блестящие, словно медали за взятие сердец;
Эти блики от листьев, что лезут, толкаясь, в оконце, —
Это всё бесконечно, но лучше уж был бы конец!

Ведь тогда б не довлекло над нами проклятие мига,
И тогда б наши тени пред солнечным светом не падали ниц,
И, наверное, чаще тогда раскрывалась бы книга
На сирени, заложенной меж пожелтевших страниц.

Лене Овсянниковой

Плывут границы предметов,
И ты сливаешься с ними,
Становишься тоже — маревом,
Становишься — миражом...
Благословенное лето,
Знакомящее с другими
Границами, но ударь в него,
Как в колокол, и — свежо!

А если тебя захватит,
Поющая, словно Влади,
Ветвящаяся, как молния,
Весь этот июль насквозь,
Стихия дождя и света,
Возрадуйся, ибо где-то,
Пути пускай окольными,
Хоть чуточку, но сбилось

Назначенное свидание,
Надкушенная сигарета
И латте в гудящем здании...
Расплавленный, словно дым,
Ты вновь становишься тенью...
Благословенное лето,
Предаст ли тебя забвенью
Остывший быть молодым?..

~

Чувство тебя, ставшей настолько близкой,
Мне теперь преодолеть без риска
Стало совсем невозможно, но я рискую
Дома тебя оставлять, такую.

Память опять проиграла в сражении с войском
Старых вещей, и, заливаясь воском
Новых свечей, будто отдельным смехом,
Учится воздух предпочитать помехам.

Как ни крути, но всегда набираешь номер.
Кто-то забыл тебя, кто-то просто помер.
Кажется, лучше всё ограничить чаем,
Лучше хотя бы для тех, по кому скучаем.

Чувство тебя, ставшее вдруг глаголом,
Корчится рядом со мной на голом
Или не голом полу оттого, что чьё-то
Сердце не может жить в глубине киота.

~

В автобусе, в «пробке» слагаешь стихи,
записываешь на стекле запотевшем,
но тут же стираешь и каешься: «Грешен!»,
прикидываешься немного глухим,
чтоб только не слышать, как шепчут вокруг,
как пальцами тычут и думают громко,
не чувствовать, что обозначилась кромка
листа, за которой нет букв, но есть звук,
и шепчешь, уйдя в диктофон с головой,
закрывшись руками от взглядов и шума:
«Я верю, что счёт мой покроет с лихвой
за кромкой листа подведённая сумма...»

г. Красноярск

~

Нынче я, не как прежде, циничен.
Поз так много изобретено,
Что теперь мне смешно с Беатриче
И с Джульеттой скучно давно.

Всё забыл ради звука и слова,
Ради мерного счёта слогов.
Разве мама любила такого?!
Да, наверно... Но кто я такой?

Я — шипучая ветка сирени!
Я — ломтями нарезанный хлеб!
Дай башку положу на колени,
Как на плаху, чтоб был я, и — нет!

Дай напиток твоими губами!
Я ведь столько уже пригубил
Оттого, что стоят между нами
Свет софитов и склянка чернил.

Дарья Верясова До краёв...



В этом мире сонном, душном...
Тише, тише! Нежность каплет!
Прямо с неба, прямо в душу —
До краёв её... Ах, как бы
Мне взлететь и небо слушать?

Тише! Крыши моют щёки,
Тротуар забрызгав блеском.
Слышно (даром, что нечётко!):
В небе чёрном, в небе пресном
Звёзды щёлкают, как чётки,

Заслонясь на всякий случай
От земли чернильной тучей.
...Утро землю солнцем сушит.
В жизни долгой и текучей...
Тише, тише! Небо слушай!

Воскресное

Распахни облака,
и на землю польётся весна.
И каймою по ней —
сумасшедшие пьяные ночи.
И в субботу, истоптав весь город,
мы ноги промочим,
Заболеем, умрём,
и опять не отведаем сна.

Только город начнёт горевать —
он нас очень любил.
И цветную капель
белоснежным платком утирая,
Он погонит других беспризорных
от края до края.
От восточного «Здравствуй»,
до западных тёплых могил.

Мы уйдём,
не оставив ни строчки, ни даже следа.
Утро нас приютит
и укроет громадою всею.
А потом мы воскреснем
к Прощённому воскресенью —
Так бывает всегда.



Я не уснула на твоём плече,
Как до сих пор не раздала долги.
Нельзя любить красивых, а других
Уже противно. Если быть точней —
Почти что мерзко...



Так было. Это, видимо, основа.
Рукой — по рту, по сказанному слову,
Давай! Секи!
Я родилась, я умерла, я снова,
И вот — стихи...

А как покорны были, подкаблучны.
Но прорвались.
Мне кажется: я пишущая ручка
И белый лист.



От обиды дрожит небосвод,
Вот чуть-чуть, и грянет слеза!
Это вечером рыжий кот,
Как сметану, луну слизал.

Нам уже никогда, никогда
Не увидеть луну здесь.
Не печалься, погладь кота —
Он ничейный и хочет есть...



Что ж нахмурился, молодой?
Может, с сердцем чего случилось, а?
Заливай, заливай боль,
Чтоб зубам не скрипеть от старости!

А поётся — с плеча руби.
Мы одной заварухой мечены.
Будет, будет, кого любить,
Этим вечером!

Руки женские дай плечам,
Да и пропадом всё пропади!
Заливай, зазнобу-печаль,
Не одна, поди!



Я родился поэтом
И, видимо, только поэтому
Я умру на рассвете —
Так часто бывает с поэтами...



Из цикла «Ветер»

1.

Жаркие дни, и на небе бело,
Повыцветали у парков брови.
Маки качаются так багрово,
Будто костром задело.

На городские сгоревшие плечи,
На тротуарный облезший панцирь
Я опускаю босые пальцы —
Тянет в толпу под вечер.

Но тишина такая, что жутко
Над головой прочерчены ветки.
Следом за мной беспризорник — ветер
Выскочил из маршrutки.

И поташил, растрепал, распоясал,
Только шепнул: «Ты меня не бойся».
Я засмеялась: «Мы оба босы —
Что мне тебя бояться?»

«Ох, не храбрись, подожди до завтра!» —
Он просвистел мне в самое ухо,
Поцеловал меня горстью пуха,
И улетел на запад.

День опустел. До чего же долго
С длинных берёз опадает солнце!
.....
И по-грудному тычутся сосны
В небо с лимонной долькой.

2.

Шаталось лето по садам,
Безжалостное очень.
Жара, казалось, навсегда.
Жара стояла, как вода
В зелёной старой бочке.

И вдруг — темнее. Вдруг — обвал
Басов у горизонта.
Как будто кто-то штриховал
По краешку небес овал,
И кланялась осота.

И тучи рвали облака,
Как белую оборку.
Так шла гроза издавека,
На небо цвета молока,
На всю планету, как река
Накатывая сбоку.

Гремело. И совсем не в такт
Сияла дужа, как пятак,
Оранжевая слишком.
Ещё мальчишка топал. Так,
Как топают мальчишки.

Какой-то яркий и шальной!
Тряхнул кудрявой головой
И подошёл поближе.
Он не спросил, подумал он,
Но я кивнула:
— Вижу!

Он улыбнулся и сказал:
— Нам не промокнуть как бы?
Какая страшная гроза!
И хитро шурились глаза,
Как две лимонных капли.

Разворошив причёски гладь,
Он выдохнул мне в шею:
— Пошли гулять?
— Пошли гулять!
— А ты умеешь танцевать?
— Конечно, не умею! —

Не отставая от него,
Я тоже улыбнулась.
А тучу мукою свело.
И мигом — будто прорвало! —
Вода к земле рванулась.

Она застыла, как стена,
Гигантским мокрым телом.
Рвалась басовая струна —
Вселенная гремела!

Танцуя, мир кружил вокруг,
Ладони нам сжимая.
А музыка взрывалась вдруг!
И билась выпорхнуть из рук
Как если бы живая!

И сколько б не было воды,
А всё же было мало!
Гроза неслась, как чёрный дым,
Июльский день стерев до дыр.
И тоже танцевала!

...А через несколько минут —
Покой на целом свете!
Спросила: — Как тебя зовут?
А он ответил: — Ветер...

И будто бы совсем земной,
Мне скорчил злую рожу.
Потом сказал: — Уйдём со мной!
Минута — и не сможешь!

Мне билось в пальцы горячо
Его мальчишечье плечо,
Как связка летних радуг.
— Ты приходи сюда ещё?
Я буду очень рада!

Он хлопал пылью мокрых век,
Он пальцы мял до хруста.
И убегал куда-то вверх,
Не плача — ведь не человек.
И это было грустно.

Ю. О.

Глянь-ка, вон там, на седьмом, если снизу,
Девочка грустно сидит на карнизе.
Выше земли, выше гор, выше леса.
Может быть, девочка эта — принцесса?
Может, как в замке она томится
Без шоколадки и даже без принца?
В небо глядит бесприютно, незряче...
Дождик пошёл или девочка плачет?

Вот ещё двое уселись рядом —
Там, на девятом или десятом...
И в тишине — ты ведь слышишь, слышишь? —
Топают кот босиком по крыше.
А на десятом завyli: «Братцы!
Как этот ружий туда забрался?»

По подоконникам ветер шарит...
Кот улетает воздушным шаром
В тучи, натёртые мелкой тёркой —
Смех, да и только!

Девочка в небо уткнулась носом.
Листья поспели...
Наверное, осень...

Дом

1.
Всё утро задом наперёд,
А вечер сделан из покоя...
Я знаю, что-то есть такое
(родное?) в том, как смотрит кот.
Как холодильник током бьёт.
И как сосед «Чижа» орёт,
Отстукивая такт ногою.
Как чай вечерний льётся в рот,
Как спят за стенкой двое.

Вот
Упасть рублём на дно морское —
Быть может, кто-то подберёт?

2.
Вхожу. С собою вношу погоду,
Стихи, бардак,
Буханку хлеба. И год из года
Бывает так.

Сначала: кошка, соседка Юля,
Обед. Потом —
Кусочек неба, застрявший в тюле.
И это дом.

...Войти под вечер, окинуть взглядом:
Окно, кровать.
И вдруг поверить, что это надо
Зарисовать.

Ю. О.

Город проснуться никак не может —
Утренний сон всех других дороже.
Пятый этаж, и неспящих залежь.
— Мальчики к войнам родятся, знаешь?
— Знаю. Не дай то Боже.

В небе тумана и вишни помесь,
Город затянут в дорожный пояс,
Многоэтажки толпятся войском...
Он уезжает сегодня в восемь,
Ей провожать на поезд.
Время зовёт, как далёкий рокот,
Смерть и разлука — всегда до срока.
Саваном дым облепляет тело.
— Я ненадолго, я лишь хотела
Перекрестить в дорогу.

Он на прощанье целует крепко,
И от усердия — набок кепка.
Руки вжимает не в спину — в душу.
Так два бездомных листа друг с дружкой
Намертво стиснула скрепка.

Ю. О.

...И в этот год, как не бывало рано,
На землю, на траву, на тротуары
Листва легла, как вязаная шаль.
В телеге, чуть поскрипывавшей осью,
В притихший город пробиралась осень
И было жаль, невыносимо жаль...

Нам говорить хотелось только молча.
Наш дом горячий холодили ночи
Своим шершавым мокрым языком.
Мы запирали двери, но сквозь стыки,
Сквозь щели осень капала настырно,
Опровергая лето, как закон.

Менялись дни, и только еле слышно
Катилось солнце по железной крыше
И падало задумчиво в овраг.
И ты сказал: «Подумай только, где-то
С той стороны Земли наступит лето!».
А я ответила: «Да будет так»...

г. Красноярск



Анна Казанцева Больная звезда

380-летию Красноярска посвящается 32

Где-то бродит глупый страх,
Приминая первый снег.
Я сверну свой яркий флаг,
Когда кончится мой век.
А пока моя звезда
Ещё тлеет на углях —
Не зальёт её вода,
Не затопчут на конях.

Где-то бродит белый страх,
Но боится он костров.
Не погубят ветры птах,
Если хватит на ночь дров.

Не даёт ни дышать, ни кричать
Этот дом.
Почернела больная звезда
Серебром.
Я сегодня намерен бежать.
Ты со мной?
Там одна под ногами вода
И покой,
И одним только мёртвым тут — жизнь...
Жизнь вся там.
Что, решился пойти к земле
По волнам?
Видишь там очертанья долин,
Зелень гор,
Видишь там предназначенный мне,
Нам простор?!
Там совсем другое житьё,
Выбирай.
Остаёшься? Ну, дело твоё.
Здесь твой рай.

Я даю тебе монету звёздного серебра.
Я дарю тебе зелень листвы и стекла.
Я скажу тебе — твой дом это только нора.
Я прошу, тебя пойдём со мной в зеркала.

Прочно сомкнуты веки,
Лик — базальтовый морок,
Кровь ушла через реки,
Слёзы пролиты в море,
Дух стал упругим ветром,
Смех разгорелся в пламя,
Бровь расцветает летом
Сон-травы лепестками.
Крепко к земле прикован,
Тень бросая на воду,
Вида свой сон сосновый,
Ждёт он давно свободу.
Там, за туманом горным,
На стороне заречной,
Дремлет наш Мир исконный,
Связан наш Бог извечный.

Ты станешь моей корою,
Укрыв меня от людей.
Я буду кровью живой,
Раствором твоих идей.
Надёжно у двери стой,
Потомок железных фей.
Ты будешь — доспех литой
По тонкой коже моей.

Теперь мы одно с тобой,
Прими же и ты меня.
Я стану тихой водой,
Ветром и отсветом дня.
Ты будешь морской волной,
Бурей и жаром огня.
И пусть за твоей бронёй
Никто не увидит меня.

г. Красноярск

Вадим Алямовский

Короткие сказки



По щучьему хотенью

Выловил однажды Емеля щуку, а она ему и говорит человеческим голосом:

— Отпусти меня, Емелюшка, я любое твоё желание выполню!

Покраснел тут Емеля, сплюнул:

— Тыфу ты! Рыба, а туда же... — И бросил её обратно в прорубь.

Он и на девуку-то не на каждую заглядывался, хоть и дурак!

Ошибка Красной Шапочки

Велела как-то утром мама Красной Шапочке сходить в соседнюю деревню — пирожков бабушке отнести. Она сразу пошла, конечно, да по пути зашла к подружке поболтать. Слово за слово, глядь — уже вечер. Схватила Красная Шапочка остатки пирожков и побежала напрямик через лес к бабушке. Добежала к ночи без особых приключений, зашла в избу и обмерла — старушка-то с голоду окоцурилась.

Вот как бывает! А вы говорите, «серый волк»...

Не Золушка

Жила одна девочка хорошая, и была у неё мачеха плохая с двумя злыми дочками. Папа её родной был хороший, но чмо. Дочь свою защитить от мачехи он не мог, поэтому пахала бедняжка с утра до вечера, что твой Стаханов, пока не выросла и замуж за соседа не вышла. А никакой крёстной феи у неё не было. И то верно: не всё то Золушка, у кого рожа в саже.

Медуза Горгона

Мало кто знает, что незадолго до трагической гибели Медуза Горгона успела родить дочурку. Выросла она, и стала как мама, только чуть послабее. Например, при взгляде в мамыны глаза люди каменели, а на дочку надо было уже на всю, с ног до головы, смотреть. Причём каменели только мужики — ниже пояса, да и то не целиком, но всё-таки...

Сказка о мужике и рыбке

Выловил мужик золотую рыбку, а она ему и говорит человеческим голосом:

— Отпусти меня, мужичок, я любое твоё желание выполню.

— Нет, — отвечает мужик, — не отпущу. Брат, Митька помирает, ухи просит.

И бросил рыбку в котелок с кипящей водой.

Молодильные яблоки

Отправил как-то царь троих сыновей за молодильными яблоками. Старший и средний вер-

нулись ни с чем, а младший сын, Иван, принёс молодильные груши.

С тех пор его все стали звать Иван-дурак. А как же ещё — отец-то велел яблок принести!

Сказка о царе Салтане. Неизвестные эпизоды

Когда князю Гвидону исполнилось полтора года, он начал курить (рос-то ведь не по дням, а по часам!). И так ему это дело понравилось, что он начальника охраны своей, дядьку Черномора, стал звать «дядька Беломор».



Как-то на острове у князя Гвидона разразился небывалый экономический кризис. Инфляция была такая, что за ведро картошки давали два ведра золота. Так бы и загнулось молодое волшебное государство, если бы один пацан не предложил отобрать у белки золотые орехи и начать кормить её комбикормом. Печатный станок остановился, и всё наладилось.

А пацана того в награду вырастили не по дням, а по часам, и сделали министром финансов.



Для полётов к отцу, царю Салтану, Царевна Лебедь превращала князя Гвидона на самом деле не в шмеля, а в трутня. В этом был тонкий намёк: мол, сколько же можно бродить по берегу в поисках хлявного волшебства?



Когда Царевна Лебедь вышла замуж за князя Гвидона, супруг запретил ей превращаться в птицу (чтобы, не дай Бог, не подстрелил кто ненароком кормилицу). А поскольку её сильно тянуло в небо, то для полётов князь купил молодой жене дельтаплан.

Лиса и журавль

Пригласила как-то лиса журавля в гости, а сама кашу по тарелке размазала. Журавль хлоп-хлоп носом — ничего не попадает. Тем временем лиса сама всё съела.

В другой раз позвал журавль лису к себе. Думаете, кашу в кувшин положил, чтобы самому съесть? Ничего подобного — точно так же, как и лиса, по тарелке размазал. Отравил только.

Лиса и Заяц

Была у Лисички избушка ледяная, а у Зайчика лубяная. Шепнули добрые люди Лисичке про заячью избушку, да не пошла она его выгонять оттуда, потому что не знала, что такое «лубяная». Думала — дрянь какая-нибудь!

Златовласка

Жила-была девушка по имени Златовласка. Родители у неё были приёмные, да к тому же тупые. Они думали, что волосы у девушки и впрямь золотые, поэтому брили бедолагу каждый день налысо, а волосы в сундук складывали. Даже бровей не щадили. Златовласка терпела, да ещё и радовалась, что её Златоглазкой не назвали. Неровен час, тогда бы приёмные родители ей глаза выковырнуть надумали, а она ими очень любила по сторонам глядеть.

Добрыня Никитич

Жил на свете богатырь, звали его Добрыня Никитич. Добрый был — просто ужас. Закажут ему граждане, к примеру, Змея Горыныча, и начинает Добрынюшка месить его, что твой Кличко. Но перед контрольным ударом палицей по башке посмотрит на Змея по-доброму, и скажет:
— Ничего личного. Просто бизнес...

Гордыня Никитич

Был у Добрыни Никитича младший брат — Гордыня Никитич. Такого уж нрава несговорчивого! Сызмальства, бывало, присоветуют ему что-нибудь родители, а он всё морду воротит — и то ему не так, и это не этак. В спортзал ходить качаться наотрез отказался, сколько его Добрыня с батей ни уговаривали. Вот потому-то богатыря из Гордыни Никитича и не вышло.

Рабыня Никитич

Третий их брат был таким, что уж и рассказывать неудобно. Мамкину одежду всё примерял... Так и устроился в гарем к султану заморскому работать.

Курочка Ряба

Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое, а голубиное.

— О, времена, о, нравы! — сказал дед, а баба в глубине души курочке позавидовала.

Курочка Ряба II

Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не золотое, а простое. Дед бил, бил курочку — не убил. Баба била, била курочку — не убила. Потом они ей сказали:

— Ещё один косяк — лучше хакари клювом себе делай!

Испугалась курочка, и яичко платиновое снесла. И стали они жить-поживать.

Курочка Ряба III

Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое, да не деду с бабой, а в ломбард. Тут и халяге конец.

Курочка гриль

Жили-были дед да баба, и была у них курочка гриль. Снесла им курочка яичко, да не простое, а запечённое. Еле выдавили.

Снегурочка

Жили-были старик со старухой, и не было у них детей. Как-то старуха попросила:

— Вылепил бы ты из снега внучку.

Вылепил старик, и сам обомлел — такая красавица получилась! Ожила она, как положено, глянул не её старик ещё раз, да и говорит старухе:

— Кому, может, она и внучка, а мне женой будет!

И выгнал старуху из дому. Ну и поделом ей. Нечего было мужа пустой работой загружать.

Снегурочка II

Жили-были старик со старухой, и не было у них детей. Как-то старуха попросила:

— Вылепил бы ты из снега внучку.

— Из какого снега? Июль на дворе.

— А ты по холодильнику помети, по морозилке поскреби, снега и наскребёшь, — не унималась старуха.

— Сама-то много по сусекам наскребла, когда я тебя колобка попросил испечь? Хотя, чего уж. Ты холодильник последний раз после нашей свадьбы размораживала, так что там снега не только на внучку, а ещё и на правнучку хватит!

Колобок

Жили-были старик со старухой, и не было у них колобка. Как-то старик попросил:

— Испеки мне, старуха, колобка.

— Так муки же нет.

— А ты по амбару помети, по сусекам поскреби, муки и наскребёшь!

Поскребла старуха, помела, испекла из всего этого колобка, и поставила на подоконник остывать. А колобок выскочил в окно и был таков. Обрадовалась старуха — она-то боялась, что старик её съесть этого колобка заставит, прямо со всем мусором и волоснёй!

Колобок II

Жили-были старик со старухой. Просит старик:

Испеки, старуха, колобка.

Из чего печь-то? Муки нет.

Ну, тогда мяса пожарь.

Это другое дело — мясо есть. А муки нет...

Морозко. P.S.

На самом деле Морозко наградил девушку в лесу не только шубой собольей, серебром да золотом, а по-всякому. Именно поэтому через девять месяцев родился у неё мальчик. Поскольку ребёнок был от Морозко, то и назвала она его Отморозком. Как в воду глядела — насилу дождалась, когда ему четырнадцать лет исполнится, и его в колонию для несовершеннолетних заберут.

Отцы и дети

Было у старика три сына — один умный и двое дураков. Умный-то приёмный был. Взял его старик, чтобы он родных сыновей уму-разуму поучил, да ничего не вышло. Старик, честно признаться, и сам был дурак. Вот так-то — яблоки от яблони не всегда на Ньютона падают!



Было у старика три сына. Двое умных, а третий — гениальный. Ох, и намаялся же он с ними! С дураками-то проще. Но, как говорится, не судьба.



Было у старика три сына, и оба дураки. Почему оба? Потому что старик считать не умел и думал, что «три» — это и есть «оба». Скорее всего, он тоже был дураком, да только виду не подавал.



Было у старика три сына, и все — от соседа. Но старик-то этого не знал и растил, как своих. А сосед, бывало, подглядывает в окошко, как он их кормит, и хихикает.



Было у старика примерно три или четыре сына. Он точно не помнил, потому что развёлся давно, и связи никакой с семьёй не поддерживал. А зачем? Того и гляди, денег просить начнут...



Было у старика три сына, и все — от разных жён. И что эти бабы в стариках находят?

Репка

Посадил дед репку. Не выросла репка вообще никакая. Зря, видать, поторопился — зимой посадил, прямо в снег. Чувствовал, что зря, да уж больно репки захотелось.

Беременные музыканты

Жил-был мужик, звали его Продюсер Наберёт, бывало, девок охажу, и давай их кормить-поить. Заодно на свистульках всяких играть, петь да плясать научит. Только соберётся с ними на ярмарку ехать выступать, глядь — а они беременные и толку с них никакого (аборт тогда ещё не придумали). Чуть в трубу с этой кормёжкой-поёжкой не вылетел.

Пошёл Продюсер к колдунье совета спрашивать. Та карты раскинула, и сказала:

— Ты не должен спать со своими девками, тогда и заботы не будет.

— Как это — не спать? — удивился Продюсер — А за что же я их тогда кормить буду?

— Ну, тогда пацанов вместо девок набери, — придумала колдунья.

Послушался её Продюсер, и дела у него сразу в гору пошли!

Василиса Перемудрая

Отправилась как-то раз Василиса Премудрая мужа себе искать. Долго ли, коротко ли, но только нашла, наконец-то, подходящего. Начала ему глазки строить, а он и спрашивает:

— Вы что-то хотели, бабушка?

Глянула Василиса Премудрая в зеркало — и впрямь бабушка. Нет, не коротко искала, долго всё-таки. Перемудрила.

Кукушка

Жили-были в лесу птицы, которые любили кричать «ку-ку». За это их называли кукушками. Но вот одной из них надоело быть, как все, и она

вместо «ку-ку» закричала «ка-ка». Её тут же стали называть не «кукушка», а... даже сказать неудобно, как её называли.

Вот что бывает с теми, кто отрывается от коллектива!

Каша из топора

Шёл солдат с войны. Целый день шёл, а когда настал вечер, попросился он на ночлег к старухе-процентщице. Та его пустила, конечно, непонятно на что рассчитывая, но предупредила: продуктов, мол, нет, поэтому ужина не будет.

Улыбнулся солдат хитро и говорит:

— А давай кашу из топора сварим.

— Да у меня и топора нет! — замахала сухими ручонками жадная старушка.

— Тогда из моего сварим!

С этими словами солдат вынул из-за пазухи топор и расколол им старухе-процентщице голову. Потом прихватил кое-какую мелочишку и был таков. Ясное дело — кашу варить в его планы с самого начала не входило. Звали его, кстати, Родион Раскольников.

Три брата

Жили-были три брата: двое умных, а третий — дурак. Он с печки слезал только для того, чтобы поесть и по нужде сходить (да и то не всегда). Как-то раз один из братьев ему сказал:

— Мы с утра до вечера работаем, а ты всё на печке сидишь. Не надоело?

— Надоело, — ответил дурак. — Пожалуй, я лягу.

И лёг.

г. Красноярск



Михаил Стрельцов Решайте сами!

универсальный письменный ответ
начинающей писательнице
(поэтессе) среднего возраста

Уважаемая _____!

Нелегко мне даётся это письмо, предварительно много пришлось подумать, поскольку сложновато кратко обрисовать всю совокупность проблем и перспектив, связанных с тем, что Вы впервые, — прошу прощения за избитую фразу, — взялись за перо.

Сам я начал кропать стишки и рассказы лет с 1 (2, 3) ушли годы на то, чтобы разобраться, создать собственную концепцию творчества, ___ лет посещал занятия областной (краевой, городской, районной, нашей, библиотечной... *нужное подчеркнуть*) литературной студии и других творческих объединений, но до сих пор не могу сказать, что достиг каких-то там вершин. Поскольку профессионализм тем и хорош, что его необходимо постоянно доказывать.

В литературе возраста вообще-то не бывает, когда начал писать, вот и начинается отсчёт. Другое дело, что возраст накладывает определённые стереотипы, с годами приобретает косность суждений. И что мне особенно понравилось в представленной работе (поэме, повести, подборке) — как раз отсутствие косности; сплав опыта, фантазии и лёгкости (*изысканности, изящности, плавности*) повествования (*рифмования, изложения, суждения*). Это самое важное в данном случае, поскольку сразу чётко (*наглядно, ретроспективно*), видно что есть все перспективы для развития литературного дара. И, соответственно, сам талант присутствует, безусловно.

Одна из проблем начинающих — у кого-то спросить: стоит мне дальше писать или не стоит? Наверное, это как раз и стереотип (*шаблон*), желание снять с себя ответственность за поступок, что нашёл выражение в творческой работе. Ещё смешнее, когда люди в годах (особенно женщины, у мужчин проще — привыкают принимать решение сами) как бы ищут оправдание тому, что отнимают у семьи время на такое своеобразное хобби. Более грустно, когда подсовывают под нос стишки и требуют немедленного ответа, прямо ежесекундного, что об этом думаешь. Работа с литературным материалом на предмет рассуждения о нём, всё-таки — работа, и требует сосредоточенности и взвешенности. Мне, конечно, давно, извиняюсь, плевать (*чихать, до лампочки, фиолетово, по барабану*), обидится на мои слова кто-то или нет, дело в другом. Очень легко неосторожно потерять автора для литературы, обеднить её, взяв на себя право судить, даже если сильно просят.

Поверьте, я далеко не последняя инстанция, чтобы отвечать на вопрос: стоит писать или нет. Более того, я всегда и сразу на такой вопрос отвечаю — конечно, не стоит. Чем и ввожу начинающих (как Вы написали — дилетантов) в состояние

крайнего удивления. Ведь хочется услышать другой ответ. Ведь хочется верить, что я такая вся разгениальная, словно появилась на свет сразу, взрослой. Хочется больше ничего не делать, а чтоб почёт и уважение пришли со всех сторон. Так не бывает. Нельзя сразу сесть за рояль и начать играть вальсы. Для начала необходимо хотя бы выучить ноты, а затем каждый день по несколько часов тренироваться. А уж отсутствие или наличие музыкального слуха как раз тут и можно сравнить с наличием и отсутствием таланта. Недаром _____ сказал, что литературное творчество это 5% таланта и 95% работы. Так что на одном таланте далеко не уедешь.

С другой стороны, когда я советую «не писать», — сержу людей этим. Затронутое чувство достоинства требует немедленных действий, поэт (*писатель*) начинает стремиться что-то мне доказать. Со временем злость проходит, налаживаются отношения, и остаётся замечательный наработанный материал, в котором автор волевым вынужден иметь в виду все высказанные замечания.

В-третьих, совет «не писать» имеет под собой чисто человеческое сострадание. Давайте подумаем о том ребёнке, который ежедневно тренируется, но не собирается или не сможет стать пианистом. Зачем его страдания? Литературное творчество — это не просто хобби или развлечение, это подобие психического заболевания, например, как рыбалка или алкоголизм. Втягиваясь в это занятие, очень тяжело отказаться от него. Кайф приходит уже не от мечты по поводу какой-то там мишуре подобной славы, а от самого процесса написания. Подобно тому, как серьёзная литература читается не для того, чтобы узнать, чем там всё это кончится, а ради самого процесса — наслаждение чтением.

В связи с этим, наше пристрастие порой наносит вред нашим близким, отнимает время, которое мы могли бы на них затратить. Более того, требует постоянных денежных расходов, как «на бензин» для автолюбителя. Порой, когда «заболевание», а другими словами — наработанные навыки и стиль жизни становятся профессиональной привычкой, для многих поэтов и писателей, которых я знаю, и для меня, в том числе, в большинстве случаев, как у тех же наркоманов, наступает пора серьёзного выбора. Литература — дама ревнивая и капризная, она не любит соседства. Некоторым приходится рушить свой организм (тем же алко-голем), свою личность; ставить на кон мнение окружающих, чтобы справиться с тем грузом литературной ответственности, с тем налаженным каналом, посредством которого из энергетических

полей к нам приходит информация, которую мы записываем и обрабатываем. Порой (*чаще всего, обычно*) в центре конфликта стоит: либо семья, либо творчество.

Соответственно, в «не писать», общий гуманный совет. Смешнее другое, хоть заговорись это «не писать», а авторы всё равно будут писать. Им это нравится. Так что пришлось изобрести другую форму ответа: не пиши, если сможешь. А не сможешь, то тогда... Тогда и наступает куча других ответов на другие вопросы. И тут вариантов множество. Всё предусмотреть невозможно, поэтому и не сразу написано это письмо. Тут же не отписка (*отмазка*), а желание так подобрать слова и изложить идею, чтобы Вам было всё и сразу понятно на том, первоначальном этапе литературного творчества, на котором Вы находитесь.

Возможно, неожиданные (*неординарные, алогичные, экзистенциальные*) мысли я тут Вам выкладываю? Ожидали, наверное, что буду рассказывать о повести (*поэме, подборке*), какая она жуткая или какая она замечательная? О самом тексте я скажу немного. Резко — читал лучше. Но, увы, в большинстве случаев, читал и намного хуже. И, признаюсь, ожидал нечто слабое. Мол, дама из провинции, в возрасте. Опять какая-нибудь ерунда (*фигня, чепуха, белиберда*). Но тут-то Вы меня и приятно удивили (*поразили, огорошили*). Вещь, действительно, интересная, необычная, доступная, легко читается. Давайте я тут не буду кривляться и делать скидки на недооформленность. Уж какой материал прислали, то и получайте.

С 5% мы тут разобрались, а вот с остальными 95% не всегда всё гладко. Ну, это Вы и сами знаете, вернее, внутри себя догадываетесь. Как бы не походило на правду, что речь идёт от имени _____, нет-нет да и проскользнут детальки в повествование, выдающие автора постарше (*помладше, неосведомлённее*), чем героиня. Хотя бы и построение сюжетных линий — отголосочки прочитанных ранее книг, просмотренных фильмов годов так 70-х (*80-х, 90-х*). Это не беда, даже хорошо.

Однако современное информационное пространство, в котором находится современный подросток (*бизнесмен, бандит, милиционер, пенсионер, домохозяйка*), безусловно иное. У самого дочке _____ лет, и пусть кажется, что всё о ней знаешь, но фиг запомнишь названия новых поп-групп, имена и лица новых певцов, которым она поклоняется. Молодёжный слэнг так же быстро течёт и становится вполне иностранным языком: то мы для них предки, то батон с матухой, то шнурки, сейчас мы не подшучиваем, а козим, не элегантно, а гламурно и прочие, и прочие, и прочие. Как раз этого не чувствуется в главной (*лирической*) героине (*герое*) повести (*поэмы, подборки*), в её окружении. И это полбеда. Не чувствуется наша эпоха, резко поменявшие взгляды на жизнь. И у молодёжи, в том числе. Их стиль взглядов я называю: наивная прагматичность.

Что удалось? Безусловно тонкое психологическое описание отношения героине (*героя*) к своим сверхъестественным (*дедуктивным, неординарным, творческим*) способностям. Чётко, наивно, детско, женско. Не будем углубляться, и других достоинств много. Всё перечислить по пунктам:

ни памяти, ни времени не хватит. Как правило, разговоры о произведении могут в несколько раз превзойти затраченное на написание время. Вон о «Мастере и Маргарите» более столетия разговаривают, договориться не могут.

Давайте о том, чего не удалось, как раз о работе над написанным. Например, без прямой речи (*в диалоговой форме*), с одной косвенной (*с одними диалогами*), литературное произведение выглядит несколько странновато. Как дневник (*пьеса*) какой-то (*какая-то*). Однако тут не дневник (*пьеса*), нет характерных для него чётких дат в заголовках (*ремарок*), обрывистости фраз и мысли. Подано как проза. А без прямой (*без косвенной*) речи она читается туговато.

Некоторые фразы в тексте противоречивы и беспомощны оттого, что автор (как я, например, в начале письма), стараясь быть чётким для понимания, частенько употребляет устойчивые выражения, чаще всего — газетные, которые принято называть «штампами» или «избитыми фразами».

Ещё претензия: отсутствия образности, которая-то и привносит индивидуальность стиля изложения. Что на что похоже: своими словами, своим углом зрения. Можно сказать: голубое небо над _____, над рекой крутые берега. Красиво? А то же самое не описательно, а образно, очеловечивая: «и в речку с разбега обрывы ныряли», как у Сергея Донбая. Постигание образности возникает при чтении художественной литературы не ради чтения, не ради побыстрее узнать концовку, а ради посмотреть: как сделано. Как хозяйка, пробуя незнакомое блюдо стремится понять — из чего и как сварганено. Образность построения слов — образность мысли. Это сугубо личное, научить этому практически нельзя. Но объяснить, что это — можно. Что я и попытался кратко сделать. Например, Вам можно уже догадаться, почему я не люблю Донцова, Маринину и прочих современных «классиков». Там нечего перечитывать.

Если обижает, что мало говорю по тексту, то, сделаю отступление и поясню, что, о чём текст, давно уже никому не важно. Тем и сюжетов вообще-то мало, и они все давно вычерпаны. В наш век постмодернистического взгляда на жизнь на литературное произведение, как и на любое произведение искусства, давно смотрят с точки зрения — как это сделано. Об одном и том же можно написать и смешно, и грустно, к примеру. Красиво и мерзко. С душой и с язвительностью. Можно так описать разлагающуюся тушу животного, что дух захватывает от профессионализма. Ну-ка, проверим, как в интеллект-игре, кто написал поэму «Падаль»?

Теперь о самом мелком, но и самом главном в настоящее время. Пунктуация. Что-то тяжело у Вас с этим. Запятые, скажу прямо, стоят, как попало, а где надо — не стоят. А это всё-таки не располагает к пониманию текста, более того — раздражает при его прочтении. Осмелюсь предположить, что и отсутствие прямой (*косвенной*) речи, как раз из-за того, что в знаниях синтаксиса имеется большущий пробел. Хотя и эта проблема легко решаемая. При издании произведения, в издательствах существуют корректоры. Хотя, вот досада, за свой труд они берут дополнительные деньги. Больше

берут только редактора. Поскольку их задача не только исправить ошибки, но и выправить фразы, убрать лишнее, выстроить текст и т. д. и т. п., другими словами — подготовить его к симпатичному восприятию или сделать «конфетку», кому что из этих выражений нравится.

Теперь поговорим о деньгах. Вернее, о том моём утверждении, что такое хобби, как литературное творчество, требует затрат. Увы, _____ 1_ лет назад кончились те времена, когда литератор «зашибал бабло» на своих произведениях. Теперь не автору платят за душу открытую и слова красивые, а он — типографии за чернила казённые и бумажку газетную. Другими словами, все писатели ныне издадут книги либо за свой счёт, либо за счёт спонсоров, что ни так, ни этак неудобно. Либо отрываешь от семейного бюджета, либо кланчишь и попрошайничаешь. Согласен, что некоторые профессионалы могут сейчас прокормиться за счёт своих произведений. Но их единицы. И, как правило, они идут на большую сделку со своим литературным даром. Достаточно посмотреть на наши книжные прилавки, чтобы понять, какие сейчас требования у издателей. У московских, заметьте. В Сибири же, клянусь, нет ни одного издательства, которое бы платило авторам гонорар. Вру, есть парочка в _____. Но в Москву попасть легче, чем к ним.

Так что стоит ещё раз хорошенько подумать, чем заниматься творчеством. Оно же рано или поздно потребует, чтобы его увидели другие люди, т. е. книжкой должно к ним прийти. Если повезёт — экранизацией по мотивам книжки (как правило: «по мотивам» — полное извращение первоначальной идеи). Получается: напиши — раз, заплати редактору, корректору, типографии — два, думай, как распространять тираж — три. Налоговая тут же влезет — четыре. Как раскладец? То есть написание и издание прозы — постоянные капиталовложения на раскручивание имени, которое ещё неизвестно, даст результат или нет. Только терпеливые альтруисты, в наше время, способны на такое. В _____ их наберётся с три десятка. И что? Вы кого-нибудь из них знаете? Например, _____, вашего земляка, который сейчас издаётся очень неплохо? Или поэта _____, который живёт где-то, возможно, по соседству, в Вашем городе?

Литературные премии и издательские предложения всё-таки получают те, кто о себе не думает, выкладывается, раз и навсегда решив, чем он пожертвует ради возможности нести людям чистое слово, воспитывать, прививать нравственный образ мышления.

Для них же и существует свет в окошке — литературные журналы, где, как правило, и появляются первые публикации, образуются первые отклики читателей и собратьев по перу. В г. _____ — это «_____». В принципе, вполне реально с моими связями порекомендовать туда Вашу повесть. Более того, уверен, что она бы там смотрелась и получше некоторых сочинительств «заслуженных зубров». Но я этого пока сделать не смогу. Журналы принимают только чёткую рукопись, хотя бы без ошибок. В том виде, что есть, извините — никто не обещал, что будет легко. Тем не менее, не обращая внимания на мои слова, можно

и нужно пробовать самостоятельно. В каждом крупном городе 1–2 журнала да есть. А в Москве и Питере их десятками. Адрес любого в любой библиотеке. Высылайте и ждите, авось кто-нибудь заинтересуется. А вот гонораров, пожалуй, кроме «_____», ниоткуда ожидать не следует. Ну ещё, говорят, где-то на Украине платят.

Наверное, это всё, что я хотел сказать начинающему прозаику. Тяжёлую, сложную, но ясную правду. Зачем и для чего писать — решать не мне. Стоит или нет? Нет более последней инстанции, чем сам автор. Согласен, что стороннее слово много значит, может поддержать, может уничижить. Я рад, что мне выпало пообщаться с Вами на эту тему. Ну, и Вам слегка повезло. Попадись в руки некоторым из _____ их «зубров»... Было бы короче, но непонятней.

Выбор делайте сами. Попробуйте не писать, если сможете. Если не сможете, будем общаться и дальше.

С уважением _____
член Союза российских писателей
(писателей России)

Александр Астраханцев Зимние рассказы



Александр Астраханцеву, одному из ярчайших красноярских прозаиков, 1 июня 2008 года исполнилось 70 лет! Александр Иванович относится к тому поколению русских писателей, которые начали свой творческий путь в 60-е годы, и, не успев надыхнуться воздухом собственной юности в свежем ветром оттепели, окунулись в тревожную предгрозовую атмосферу перестройки, а потом и в смутные, полные надежд и разочарований времена порубежья. Герой прозы Астраханцева — обычный порядочный человек, воспитанный далеко не худшим сводом нравственных установок, приветливый ему в родном доме, в родной стране. Человек, бросающий вызов миру абсурда, готовый бороться за свое право быть нормальным, видеть, слышать и осязать мир по-человечески вопреки экспансии хищничества и разрухи. Спасибо писателю за его многолетний труд во имя истины, добра и красоты! Многая лета — и вдохновения, терпения, удачи!

Редакция «ДиН»

Снег идёт

За окном идёт снег, первый в этом году.

Обычно он падает на ещё сырую землю, тает, потом идёт снова, и снова тает — пока не ляжет окончательно. А нынче он припозднился — идёт, что называется, «набело», на уже подготовленную к снегу, стылую землю, и таять, кажется, не собирается; да и вся природа как будто подготовилась к зиме: поблёкла, посерела, подёрнулась холодной сизой дымкой.

Смотрю в окно — как робко он начинается: в восходящем потоке воздуха перед моим многоэтажным домом закружилась сначала одна снежинка, настолько лёгкая, что никак не хочет падать вниз; потом — вторая, третья, а потом уже и хоровод их закружился, так что силуэты ближних домов и деревьев за окном стали блекнуть и расплываться в серой мгле. И это в самой-то середине дня!

Полюбовавшись кружением снежинок, я, однако, спохватился: сколько можно пялиться — не посмотрелся, что ли, за жизнь? — и взялся, было, за дела, но тут ритм снегопада резко сменился: снежинки стали крупнее и падали всё гуще, и, наконец, снег повалил хлопьями, падая теперь быстро и — только вертикально. Он словно тёк белыми струями. Сделалось совершенно темно и ничего за окном не видно.

Есть в любой мощной природной стихии своя дикая красота, даже величие; такая стихия — захватывающее зрелище, и я опять не мог оторваться, глядя на снегопад...

Теперь он будет идти едва ли не каждый день и уже не будет столь захватывающим, но первый

снег для меня всегда — явление необыкновенное, не знаю почему. Может быть, с того самого дня, когда я впервые, лет в семь, кажется, не просто увидел его — а пережил как удивительное событие, не забытое мною до сих пор.

Я сидел тогда за столом, чем-то занятый, и при этом тоскливо глядел в окно нашего деревенского дома: я был простужен, и меня не пускали на улицу. Прямо напротив окна росла молодая стройная черёмуха с тонкими аспидно-чёрными ветками, совершенно голыми по случаю глухой осени. И в это время пошёл снег, точно такой же, как сегодня: сначала лёгкий и редкий, потом — всё крупнее и гуще. Хлопья падали отвесно, скользя вдоль ствола черёмухи и оседая на какой-нибудь из веточек. Забыв про занятия, тоску и всё остальное, с ощущением, что я — зритель чего-то необыкновенного, затаив дыхание, я зачарованно глядел на то, как вся природа за окном безмолвно, с какой-то трагической неизбежностью преобразуется на моих глазах, становясь чёрно-белой и торжественно-праздничной, и как снежинки на черёмуховых ветках лепятся в высокие снежные валики, превращая саму черёмуху в фантастически громоздкое и при этом необыкновенно лёгкое и уязвимое сооружение: чуть тронь, — и эта красота порхнёт белым облачком и оседет на землю... Разумеется, я тогда ещё не мог думать такими словами — но я чувствовал и понимал происходящее именно так.

Вообще снег — удивительнейшее явление природы: когда из каждой бесцветной капельки воды рождается белый лучистый кристалл, игольчатая звёздочка, — и, обладая в шесть или семь лет абсолютным зрением, я без конца рассматривал эти крохотные звёздочки, словно под микроскопом: схожие между собой только своими шестью лучами — ни одна из них не была похожа на другую!.. А чудо мгновенного преобразования всего обозримого пространства во время первого снегопада! Когда даже воздух становится другим — благодаря тому, что мириады мохнатых кристалликов, падая, фильтруют его так, что к концу зимы он становится настолько чистым и прозрачным, что небо начинает сиять глубочайшей синевою — как никогда больше.

Так что с той поры и поныне день первого снега для меня — мой маленький праздник, Праздник Первого Снега. Именно так, с большой буквы.



Правда, есть у меня ещё один праздник — Праздник Первых Цветов. Они, эти два праздника — самые большие у меня и самые любимые. Что же до всеобщих государственных, политических и религиозных праздников — то для меня

это всего лишь даты, весьма условные. И Новый год, и дни рождения, по поводу которых нынче, по сравнению со временем моей юности хотя бы, устраиваются теперь настоящие беснования и шабаши с невероятным количеством еды, сладостей, спиртного, с безумной трескотнёй ракет и фейерверков — то какие же это, если хорошо подумать, праздники? Для детей, конечно — да: для них это — сказочно украшенная ёлка, подарки и — глаза, распахнутые навстречу неведомому, жгуче таинственному будущему, — но для взрослых-то?.. Для них это просто даты, к тому же ещё и не очень весёлые, если учесть, что даты эти с точностью метронома отсчитывают годы нашей жизни, которая становится на год короче, с каждым годом накапливая при этом груз знаний, забот и хворей, — так что бывает просто грустно смотреть на эти шабаши. Нет, я не против того, чтобы отмечать все эти даты, но, как хотите — они не повод для безумного веселья!

Более того: в этих праздничных беснованиях мне видится невыразимая тоска людей по чему-то прекрасному, к чему современный человек хочет изо всех сил протолкаться в ежедневной людской толчее, прорваться к самому себе, чтобы содрать с себя штампы поведения, навязанные ему извне, и услышать пусть робкий, но собственный голос своей души — и не может никак протолкаться...

Причём ведь и Праздник Первых Цветов пришёл ко мне из детства, из того самого возраста в шесть или семь лет и из того же природного окружения, что и Праздник Первого Снега. Надо заметить, что я счастлив тем, что вырос в деревне и многим обязан одному из первых моих учителей, природе — у неё есть очень умелый педагогический приём: брать тебя, невзирая на твоё малолетство, за руку и уводить в свои классы, оставлять там одного и задавать вопросы, на которые ты должен отвечать, только хорошо подумав, и — без подсказок. Это она надоумила меня насчёт моих праздников.

Хорошо помню, как состоялся мой первый Праздник Первых Цветов; он был настолько будничным, что я даже не понял поначалу, что это — праздник. На задах нашего огорода была широкая межа; межа эта была, видно, кусочком оставшегося с каких-то далёких времён дикого леса: кроме нескольких берёз, там, сменяя друг друга по времени, цвели яркие лесные цветы: сначала — белые подснежники-прострелы, потом — оранжевые, огнеподобные огоньки-купальницы, потом распускались крутые розовые кудри лесных лилий; цвёл там и пышный куст диких лиловых пионов, и шиповник, — не считая одуванчиков, незабудок, лютиков и прочей мелочи, и я с ранней весны и до той поры, пока всё это разнотравье не выкашивалось посреди лета на сено, бегал туда чуть не ежедневно — радоваться встрече с каждым новым распустившимся цветком.

Но однажды я пришёл на ту межу в первый же солнечный день ранней весны — в нетерпении увидеть поскорей что-нибудь необычное. Но ничего необычного там пока не было: всё те же, ещё голые, берёзы, вдоль заборов — серые остатки сугробов, жухлая прошлогодняя трава под ногами... И вдруг среди жухлой травы я увидел фиолетовый глазок лесной фиалки размером не больше детского

ноготка. Скромнее этого цветка, кажется, уже не бывает. Я наклонился, сорвал его вместе с короткой цветоножкой и, держа в ладони, внимательно рассматривал, жадно насыщая своё зрение его густо-фиолетовым цветом; потом понюхал; он пах просто свежей зеленью. Но когда я поднял голову и оглянулся вокруг, всё странным образом изменилось: солнце стало жарче, небо — синей, всё вокруг стало радостным, ярким, праздничным, а в сердце моём зазвучала музыка, не знаю, какая именно — тогда я в ней ещё не разобрался; но она во мне звучала!.. И с тех пор, даже став взрослым, не могу удержаться, чтобы весной, хоть однажды, бросив все дела, не пойти в лес или в поле и не встретиться там со своими цветущими друзьями. Без этих встреч никак не уверуешь, что она уже пришла и утвердилась.

И удивляюсь: как люди могут месяцами — да что месяцами, годами! — жить, не видя живых цветов? По-моему, даже если ты беден и на столе у тебя в праздники нет ни богатой еды, ни вина, ни фруктов, пусть на столе лежит один лишь хлеб — но пусть там стоят цветы!..

Однако, когда я впервые прочёл про ритуал всенародного любования цветением сакуры в Японии — я был разочарован японцами. Ритуал — это обязательный для исполнения обычай; есть ритуалы, которые приходится исполнять обязательно: скажем, здороваться и прощаться со знакомым человеком, — даже если тебе не очень хочется это делать; но когда обычай заставляет любоваться каким-то явлением, пусть даже прекрасным — моя душа внутренне сопротивляется обязательке!.. Это — во-первых. А во-вторых, я тогда начинаю думать: какое бы цветущее растение могло быть избрано для общего любования у нас: черёмуха? яблоня? сирень? ландыш?.. — и прихожу к выводу: не дай Бог делать такой выбор! — перессоримся вдребезги. Если не передерёмся. Потому что за праздник русский человек голову оторвёт. А праздник цветов у каждого из нас непременно будет свой, собственный.

Сейчас чуть не на каждом углу есть цветочные магазины или цветочные киоски, а в них охапками — роскошнейшие оранжерейные цветы богатейших расцветок, и я люблю их все, особенно зимой; нелюбимых у меня просто нет; но вёснами мне не хватает наших скромных *первенцев полей*; весна без них для меня — как, наверное, обед без хлеба, лето без тепла. А если нет возможности сходить или съездить за город — остановлюсь прямо посреди улицы, на асфальте, рядом с которым на пятачке земли распустилась весёлая семейка одуванчиков, и гляжу на них, насыщая своё зрение их интенсивно-жёлтым цветом; а то и не удержусь — сорву один и понюхаю, вбирая в себя флюиды солнца, которые он успел-таки наловить, даже здесь, — с меня и довольно: праздник в душе обещен на целый день...

А уж если как-то обобщить эти праздники для себя, то получается, что один из них немного печально сигналил мне о том, как всё в мире неизбежно уходит и покрывается чистым снегом забвения, а во втором — мне видится подчёркнуто весёлый символ обновления жизни, вечной — несмотря на такую её хрупкость...

Но начал-то я разговор о первом снеге и о том, что даже теперь, прорву лет спустя, он волнует меня так же, как в детстве. И уж вовсе взбудоражил меня снегопад сегодняшней: густой, пышный, — настолько взбудоражил, что я не выдержал: бросил всё, оделся и пошёл гулять по первому, чистому, нетронутому ещё снегу.

Ну, вышел — и что? Городской микрорайон; кругом, несмотря на снег, полно людей: идут, торопятся в своём броуновском движении кто куда. Но ведь это мой личный, мой собственный праздник — хочется пережить его в полном уединении, благо это несложно: рядом с микрорайоном начинается настоящий берёзовый лес. И я направляюсь туда.

Миновал последний дом, вошёл в лес. А снег всё валит; берёзовые кроны сквозь него простопают бесформенно-серыми тенями; глухую тишину нарушает лишь почти бесплотный шорох снега в сухой траве. Хорошо знакомую тропу уже запылило — идти трудно: ноги на свежем снегу разъезжаются, путаются в поникшей траве. И всё же это так приятно, так здорово — пройтись по первозданно-чистому снегу!

Но что это?.. Мою тропу пересекает другая тропа, и на ней — свежайший человеческий след! Ну что за суетливые люди: даже в непогоду им некогда отдохнуть — непременно надо куда-то спешить, что-то делать в своём неисчерпаемо приземлённом практицизме, даже здесь!

Свернул на чужой след — глянуть из любопытства: куда этот хлопотун так разогнался, и что ему здесь нужно?.. Прошёл метров тридцать, смотрю: владелец следа явно остановился тут и долго топтался на месте. Что же его остановило?.. Осмотрелся вокруг — и вдруг: ух ты! — метрах в двух от тропы стоит высокий куст шиповника, ещё не облетевший, и лимонно-жёлтые его листья, накрытые снежной шапкой, так неожиданно — солнечно! — сияют на фоне матовой белизны снега, и горит на ней рубиновой каплей одинокая ягода... И тут до меня дошло: да ведь он, этот ходок, точно так же, как и я, пришёл на встречу с первым снегом — он мой брат, родственная душа! — и я почувствовал необыкновенное расположение к этому неведомому человеку, успевшему на этот праздник раньше меня...

Первой мыслью было догнать его — он не мог далеко уйти! — взглянуть на него, может, даже поговорить; и вообще, как бы это было здорово: собираться где-нибудь здесь и отмечать Праздник Первого Снега сообща!... А потом одумался: да зачем же? Переживание чего бы то ни было не бывает полным, если — сообща; пусть сообща будут Новый год, дни рождения и прочие даты — их полно! — а Первый Снег пусть будет моим собственным праздником, моим маленьким языческим торжеством во имя горячей благодарности жизни, природе, прекрасной планете Земля и неиссякаемой её красоте, родителям, подарившим мне счастье явиться на свет со всем моим чувственным аппаратом и возможностью радоваться всему этому...

А на обратном пути нашёл ещё два следа, пересекающие мой, и не может быть, чтобы владелец хоть одного из них меня не видел — но ведь сумел от меня увернуться, не встретился! Спасибо тебе

за это. И за то ещё, что ты живёшь где-то рядом, себя не обнаруживая — у меня от этого теплей и радостней на душе: значит, я в этом мире не одинок.

Нелепый человек

Удивительно, какие бывают на свете нелепые люди! Причём бывают они двух типов: нелепо смешные — и нелепо неприятные; о случайной встрече с одним таким и хочу рассказать. Состоялась она давно, теперь уже ровно десять лет назад; всё порывался написать о ней и каждый раз останавливался: художественная проза нелепыми случаями не занимается — это удел медицинской и уголовной хроники, однако мой случай, по-моему, не подпадает ни под то, ни под другое... Надеялся встроить в какой-нибудь текст, — но стоит он в памяти наособицу и куда не вписывается. И заняла-то встреча не более получаса — а так впиалась в память, что не избавиться иначе, как только описать: проверено многократно.

Я даже число запомнил, когда это произошло: в самый канун Крещения, вечером 18 января. Был, как и полагается о такую пору, добротный, градусов за двадцать, морозец; я припозднился с зимними делами на даче, приехал на электричке часов в десять вечера, причём — с объёмистой хозяйственной сумкой, сошёл, не доезжая до главного вокзала, на посадочной платформе, спустился к автобусной остановке и жду автобус. В это время со стороны жилого квартала подошёл к остановке невысокий мужчина, одетый слишком форсисто для крещенского морозца: в кожаной курточке с белым кашне, в перчатках, в кепке, и — с полупустым пластиковым пакетом в руке. Постояв немного, он ринулся напрямик ко мне, самому ближнему — там стояло ещё двое или трое — и, опавнув меня алкогольным дыханием, спросил:

— Скажи, отец: как доехать до Николаевской церкви?..

Не ведая того, он поставил меня перед дилеммой: отвечать — не отвечать? К тому времени я уже держался привычки не заговаривать на улице со случайными людьми, тем более — пьяными, тем более — если к тебе обращаются так развязно-запанибратски; легче всего буркнуть: «не знаю», — и отойти подальше от докучных разговоров. Однако больно уж нетривиальный вопрос задал мне человек: он, кажется, ищет *дорогу к Храму*? Так что я ему ответил, но лишь — вопросом на вопрос, да ещё — с ироническим ударением на последнем слове:

— А чего тебе там делать, *сын*ок? — потому что, хотя на остановке было полутемно и я не мог определить его возраста — однако за сыновний возраст он уже явно перевалил.

Да, я спровоцировал его на диалог, не знаю, зачем. Может, просто скучно было стоять и ждать автобус, который в столь позднее для зимы время неизвестно когда придёт — или человек и в самом деле заинтересовал меня столь неожиданным вопросом?.. Только он придвинулся ближе и, ещё гуще дыша алкогольным смрадом, горячечно заговорил, чуть ли не исповедуясь:

— Да, понимаешь: пили, пили с зятем, и — дай, думаю, съезжу, помолюсь — может, грехи отмолю? — да свечку поставлю! Сегодня же,

говорят, всенощная будет? Не молился никогда! Бутылку вот взял, — тряхнул он пакетом.

— Как же так: поехал в церковь и не знаешь, где она? — рассмеялся я. — Ты её там не найдёшь. Поезжай лучше в центр — там большой храм есть...

Тут я должен пояснить для плохо знающих наш город: Николаевское кладбище вместе с крохотной церковкой окружено со всех сторон «частным сектором». Не знаю: санитарные ли нормы не позволяют строить там крупные дома или сами дольщики не хотят там селиться? — только вокруг кладбища остался большой квартал этой самой, реликтовой, так сказать, частной застройки с избами, палисадниками, тяжёлыми воротами и глухими заборами, а саму церковку за домами почти не видать.

— Да нет, мне именно туда надо! — всё так же горячечно объясняет собеседник. — Мать у меня там лежит, давно не был — забыл дорогу!

— Ладно, — говорю, — покажу, где сойти — мне в ту же сторону ехать, а там спросишь, — и тут как раз подошёл наш автобус. — Садись, поехали!

Забрались мы с ним в полупустой автобус, рассчитались; я сел на ближайшее к двери сиденье; он уселся рядом и, всмотревшись в меня попристальной при более ярком, чем на улице, свете, спрашивает:

— Слушай, *земеля*, а сколько тебе лет?

— Какая тебе разница? Сколько есть — все мои! — отвечаю грубовато — не хватало ещё отчитываться перед ним за свои годы!

— Нет, а всё-таки? — допытывается болтливый собеседник.

— Ну, скажем, пятьдесят семь, — невольно подчиняюсь ему, отвечаю нехотя. — Удовлетворяет?

— Слушай, *земеля*, а ведь мы с тобой погодки! — и норовит меня пьяно обнять. Я отстраняю его, пытаюсь утихомирить:

— А чему тут радоваться? — и, невольно всматриваясь в его лицо с пьяно поплёскивающими тёмными глазами, очень, однако, бледное, и — без единой морщинки, говорю строго: — Только брось заливать: по-моему, ты не досчитал себе лет пятнадцать.

— Во, гадам буду, честно! — энергично чиркнул он пальцем по шее и забормотал, уже без прежней горячности — а, скорей, с чувством превосходства над моей неосведомлённостью: — Я тебе совет дам: никогда не волнуйся, спи спокойно — и станешь, как я! Решай свои проблемы сразу, махом: р-раз, и всё! — и всегда молодой будешь, как ангел!

— Да не получается — сразу, — говорю.

— А надо сразу, с первого шага: ты — или они! Я всегда так делал — а потом спал спокойно!..

И тут я относительно него кое-что понял. Выдавали его и лексикон с *земелей* и *гадом буду*, и умение мгновенно знакомиться и назойливо навязывать себя, и состояние некой нервной взведенности...

В молодости, приехав после института на «комсомольскую стройку», я несколько лет проработал с заключёнными-уголовниками; между собой мы, «линейщики», так их и звали: «наши комсомольцы», — а фактически-то все эти годы и сами провели за проволокой, в их компании, приезжая домой лишь ночевать. И чего только

я за эти годы ни посмотрелся и ни послушался! И научился бегло распознавать типажи тамошних насельников. Знаю, что после длительных, не менее шести-семи лет, отсидок на их характерах и лицах остаётся несмыслимая лагерная печать, и как ни прятать её потом — человеку опытному легко её распознать по стати, по походке, по выражению глаз, по интонациям в голосе и уж тем более — по лексикону; и я понял: мой автобусный попутчик — один из этих несчастных, причём самый неприятный: взрывной и непредсказуемый; *на зоне* такие рвутся в *паханы*, но им не хватает для этого выдержки и силы характера; оставаясь в *шестёрках у паханов*, они, вечно не удовлетворённые своим положением, бывают злы, коварны и жестоки до садизма... И, будто в подтверждение моей догадки, он, горячо дыша мне в ухо, продолжил бормотать свою пьяную исповедь:

— Хотел на Рождество — пропустил: бухаю по-чёрному. Зятя звал — не хочет... Взял вот бутылку и пошёл... Тринадцать лет, две ходки... Надо же когда-то, верно?.. Только ты это, смотри, не пропусти — скажешь, когда?..

— А бутылка-то зачем? — спрашиваю насмешливо.

— Для смелости, — улыбается, и тут же мрачнеет: — Страшно: я же все проблемы махом решал: р-раз — и всё, и спал спокойно... Слушай! Пойдём со мной, а? Ты мужик, смотрю, нормальный.

— Да ты что! — говорю. — Мне ещё пять останков. Пешком, что ли, потом пилить? Меня дома ждут.

И тут мы подъехали к остановке; автобус встал, распахнулась дверь.

— Всё, — говорю ему, — выходи! — и пока он выходил, я через распахнутую дверь глянул на улицу. Остановка была освещена, но совершенно пуста; дальше, за ней, густо темнело пространство «частного сектора» — взгляд едва различал в темноте домики... А мой спутник, выйдя и тотчас оценив обстановку, ринулся обратно, встал в двери и взмолился ко мне:

— Проводи, а? Ничего не вижу и не знаю, куда идти!

Конечно, мне было его немного жаль — но выходить не хотелось. Между тем водитель повернулся к нам и рявкнул через микрофон:

— Решайте быстрее — мне ехать надо!

— Ладно, — сказал я, взял сумку и вышел, весьма недовольный тем, что невольно становлюсь исполнителем чужой воли...

На самом деле на улице было не так уж и темно, как виделось из автобуса: в лёгком морозном тумане горели фонари, кое-что освещая. Осмотревшись (бывал я в этом районе давно и случайно) и, разобравшись, куда идти, говорю попутчику хмуро: «Давай за мной!» — и иду вперёд, слыша лишь, как он торопко хрустит сзади снегом в своих лёгких туфлишках.

Вошли в неширокую улицу. Кругом за заборами и палисадниками — засыпанные снегом избы со светящимися окнами, тусклыми от морозных узоров; посреди улицы — укатанная дорога, а меж дорогой и заборами — сугробы, как в деревне. На улице — ни души. И тишина.

Метров через сто я остановился.

— Вот, — говорю спутнику, — так прямо и иди. Метров через триста — отсюда, к сожалению, не видать — улица упрётся в забор. Это — кладбищенский забор. Перед забором — проулок; повернёшь по нему налево, пройдёшь ещё метров двести, и тут тебе — церковь. Понял?

— Понял, — отвечает он, не решаясь, однако, тронуться с места.

— Ну, так и иди, — повторяю, повернувшись и собираясь уходить.

— Проводи, земля, а? Вот *чегой-то* страшно мне — не идут ноги.

— Иди-иди, сам дойдёшь! — уже строго прикрикнул я на него.

— Отец, ну ты чего? Не уважаешь? — вцепился он в мой рукав.

— Какой я тебе отец! — фыркнул я и попробовал освободить свой рукав, но он вцепился в него мёртвой хваткой. Я сильно рванул и освободил его.

— Ты чего, отец? Я же с тобой по-хорошему... А могу и по-плохому, — добавил он, уже с угрозой.

— Я тоже могу по-плохому, — сказал я, по возможности, спокойно, однако всё во мне на всякий случай напряглось, и сильно застучало сердце.

— Ах ты, падло, ты мне угрожаешь? — ни с того ни с сего взревел он, выхватил из сумки бутылку и, держа её за горлышко, стал подступать ко мне.

Давным-давно, в студенческие времена, я две зимы ходил в спортивную секцию бокса. Больших успехов я там не достиг; проведя четыре или пять настоящих боёв на ринге и получив самый низший спортивный разряд, решил, что для самозащиты этого вполне хватит, а потому бокс бросил для более интересных занятий, и в течение почти целой жизни мне ни разу не довелось использовать это умение, так что я даже сокрушался: столько золотого времени потратил впустую!..

И вот на закате, можно сказать, жизни, совершенно случайно оно мне пригодилось: в то время как он шаг за шагом подступал ко мне, готовясь ударить — я отступал, не вставая в стойку, чтобы не выказать своего умения, и в то же время быстро соображал: куда ударить; потом бросил сумку, резко уклонился в сторону и нанёс ему точный — как учили когда-то! — удар в челюсть. Мой попутчик (или кто уж он мне теперь?) выронил бутылку и классически: пластом, — раскинув руки, рухнул спиной в снег.

А я разогнулся и вдруг почувствовал: моё сердце остановилось! — а потом, через три-четыре секунды, бешено и совершенно беспорядочно поскакало куда-то; и, будто стальным обручем, сковало грудь — не вздохнуть.

Я испугался: во-первых, мне показалось, я сейчас потеряю сознание, а во-вторых, если встанет мой противник — а он рано или поздно встанет! — я перед ним совершенно беспомощен: он может сделать со мной всё что угодно, даже убить... И пока он оставался неподвижен, я поднял сумку и, по-прежнему не в силах глубоко вздохнуть, осторожно, но в то же время и торопливо поковылял обратно, к остановке... Выйдя туда, я сел на лавку и стал мысленно успокаивать сердце.

Просидел я так минут двадцать, пока оно не успокоилось; осталась только острая игольчатая боль. И всё думал о том, что же произошло? —

кляня и себя, и своего нелепого спутника, и уже жалея его. Успел за это время продрогнуть и вдруг спохватился: да ведь он там, если только не очнулся, может замёрзнуть! Я вскочил и побежал обратно, на место поединка, ещё издали с тревогой всматриваясь: лежит он там — или нет?

Но, слава Богу, его там уже не было; я даже вмятину в снегу нашёл, куда он упал: или сам поднялся — или кто-то поднял его и увёл?.. Я повернулся и, успокоенный, побрёл домой — больше этот нелепый человек меня не интересовал: усилии воли я постарался вычеркнуть его из своего сознания.



Вот и вся пустяковая история встречи с тем нелепым человеком.

Разве ещё вот что — в ту ночь мне приснился странный сон, могущий дать богатую пищу для психоаналитика: будто бы лето, сумерки; я иду по людной улице и догоняю невзрачно одетую женщину; в руке у неё тяжёлая сумка (уж не та ли, которую я сам вечером нёс?), и я предлагаю женщине помощь: беру, несу её сумку и заговариваю с ней; она довольно молода, но не красавица, и при этом — тёмные глаза; а лицо не улыбочиво.

Посреди пустыньки болтовни, какая обычно сопутствует знакомству, женщина говорит мне, что гадает на картах, знает обо мне что-то такое, что непременно хочет рассказать, и приглашает к себе домой. И я с ней иду, при этом объясняя, что не верю в её колдовские способности: ей не хватает для этого загадки, тайны... Я и в самом деле не верю в колдовство — я понимаю: меня завлекают, — но тащусь за ней из чистого любопытства: что она, интересно, предпримет дальше? Словом, нарываюсь на приключение.

Поднимаемся по лестнице, входим в стандартную городскую квартиру, пустую и обшарпанную, проходим в комнату, и я вижу: по голой стене в трёх метрах от меня ползают крупные пауки — пять или шесть — с мохнатыми членистыми лапами и тугими, как буро-жёлтые гнойники, животами. Но я этой живности не боюсь: в детстве, увлекаясь биологическими наблюдениями, я их много переловил и перетрогал, — а потому говорю ей, рассмеявшись и кивая на них: «И это всё, чем вы хотели меня удивить?»

Тогда она складывает пальцы руки в щепоть и швыряет что-то этой щепотью в одного из пауков; паук вспыхивает и мгновенно сгорает, оставляя дымок. Точно так же она расправляется с остальными. Я зачарованно смотрю на это, и когда сгорел последний — поворачиваюсь и говорю: «И этим меня не удивите: просто у вашего биополя — сильная энергетика».

Тогда она оборачивается ко мне, впивается в меня неподвижным взглядом, и взгляд её — всё мрачней и тяжелее; хуже всего, что я узнаю его; мне становится страшно — и я просыпаюсь. Сердце быстро колотится; в него впились уже знакомые мне иголки. Я лежу в темноте, стараюсь себя успокоить: не такой уж сон и страшный — бывают страшней, — и хорошо понимаю: он — от боли, а боль — от вчерашнего нелепого происшествия и моих сердечных перебоев; понятны и прозрачны и мотивы, и сюжет сна...

Только, помню, меня удивило, даже восхитило тогда: как точно улавливает реалии и странно преобразует их моё сонное подсознание, и как сон в сравнении с реалиями ярок и многозначен: каждая деталь в нём становится символом — и поди, угадай, что означает эта деталь или та? — и сколько аллегорических смыслов замешано в один сюжет из подоплек короткой встречи и короткого затем поединка с тем нелепым человеком — даже то, как он готов обернуться женщиной, лишь бы заслужить моё внимание и доверие; даже — как он старается собрать в пучок свою внутреннюю энергию и сжигает в ней пауков своей души... И как трудно, в отличие от лёгкого и подвижного сонного подсознания, доходит до осмысления явлений моё сознание, продираясь сквозь толщу привычек и предрассудков...

Вот какими бывают случайные встречи...

Однако не потому я о ней рассказываю сейчас. Дело в том, что, по мере того как детали встречи со временем в моей памяти год от года слабеют — вышелушивается из деталей сам тот человек, по завязку, что называется, нагруженный душевным мраком, в каком-то смутном порыве, слепо, тяжело, наощупь, можно сказать, искавший *дорогу к Храму*, жажда в своей мутной душевной стихии прodrаться к Богу; искал, а вокруг — никого: лишь бесплотные человечьи тени! И у меня — всё больше и больше сочувствия к нему и сожалений по поводу того инцидента.

Но только теперь я готов сказать ему открыто и вслух: прости меня, мой брат, дорогой мой, нелепый мой соплеменник, за то, что на твоём, таком шатком, трудном и долгом пути я взял и ударил тебя! Дошёл ли ты тогда? Не обозлился ли ещё страшнее и безнадежней?

Прости мне моё высокомерие, мой снобизм («о чём мне с ним говорить!»), мою суетность («как же, торопился домой!») и моё нежелание подать тебе руку, сказать несколько ободряющих слов и довести до самых ступенек Храма, пусть ты и полупьян, и — с нелепой бутылкой водки в руке. Прости мне моё презрение к тебе, такому дикому и нелепому, своей дикости и нелепости не разумеющему! Прости мне мою интеллигентскую гордыню и столь долгое нежелание изживать её в себе!

Сколько же надо было ещё прожить лет, прочитать книг, пережить передряг, народных и своих собственных, сколько передумать всего — чтобы понять, наконец, его и себя, связать себя с ним в единый узел и дойти (чуть не сказал «опуститься») до такого простого желания: попросить прощения у незнакомого человека за причинённое ему мимоходом зло. Сколько же я ещё сотворил зла, не ведая того — и легко простив себя за него, и тут же про него забыв?... Прости меня, если слышишь! И если даже не слышишь, всё равно — прости!

г. Красноярск

Анастасия Зубарева

Это очень страшная музыка.
Посмотри в меня,
Если не боишься головокружения.
Время лужгаю.
Не пропускаю ни дня.
Плюю на законы земного притяжения.
Падаю
Как перезрелый лист...
Надо ли?
Из меня хреновый артист,
Дворник, врач, олигарх, переводчик...
Кто еще? Кто здесь?
...Где-то бьется вселенское сердце...

Когда меня прогонят с твоей кухни
И выкинут твой коврик в коридоре,
То соберусь я вешаться, конечно,
Но передумаю. И убегу на море.
А море мокрое, и в море можно плавать.
Там нет твоей мамы с кислой рожей.
Я буду, безусловно, очень счастлив,
Но буду помнить свет в твоей прихожей.
А через месяц ты сама меня разыщешь,
И, от стыда краснея и смущаясь,
Протянешь мне мой коридорный коврик
И скажешь: «Ну, ты это... возвращайся»...

Земля опять подкралась незаметно.
Я отрываю ноги от земли.
Меня пытались рассекретить сверхсекретно,
Но даже отпечатков не нашли.

Я снова попадаю в передряги
И бегаю, не зная от кого.
Меня сминают, как листок бумаги.
На мне не написали ничего...

г. Красноярск

Юрий Беликов Марш долгового облака



Человек без плеч

А пришёл-то к нам человек без плеч,
у которого в голосе — звяк.
И он ценит портняжное дело — облечь
в подобающий вставыш костяк.

Но когда он руки сложит на стол,
этот вставыш его выдаёт —
как презрительно морщатся драп и бостон,
что их носит размером не тот.

У прикидов своих в долговой тени,
изо дня с кем он бродит в день?
И друг другу нащёптывают они
сказку Андерсена про Тень.

Оттого и звяк в его голосе — чу! —
что идёт человек без плеч
на цепи двойника и ему по плечу
каждый звяк той цепи стеречь.

И построив на площади Красной полки
музыкантов, тряндит себе:
— Больно уж каблучки у него велики! —
Расторгуев из группы «Любэ».

Матушка и собаки

Матушка кормит бездомных собак —
злые люди швыряют в них камни,
затывают камнем собачью нору под домом —
начинают подвал взрывчаткой.
Псы голодные гложут электрокабель,
слесарь Валентин выдаёт торкнутых током бомзам —
те сдают их на рынок под видом баранины...
Но матушка камень сдвигает —
и из норы вырываются
чёрный дым и лохматый огонь.
Злые люди, поев шашлыков, заболевают бешенством —
строятся в колонны, идут к норе,
длинными толстыми палками и стальными петлями
бьют и ловят собак, а кровь на снегу
прихорашивают снежком.
Матушка смотрит на бездомных собак, как на сына
в неминуемом времени,
когда уже матушки нет.
Смотрит так,
чтобы чувствовал сын этот взгляд материнский
из явившейся Вечности,
где матушка кормит бездомных собак.

...пошли мне, Господь, второго...

Второй

Андрей Вознесенский

Вознесенский говорит голосом пришельца.
Так общаются сущности горние —
при помощи ультразвукового шелеста —
в «Пермском треугольнике».

Человецы больше его не слышат.
Как не слышат меня. Мы — ампулы.
Но зато летучие нас пеленгуют мыши,
дельфины, ангелы.

Но меня они пеленгуют уже лет тридцать.
Тридцать лет и три года стеклянным горлышком
пилки жду, чтобы вскрыться и перелиться
в полость Змея посредством копыя, как шприца,
Победоносец Егорушка!

Тридцать лет и три года живу на одном ультразвуке...
Что акриды?.. Попробуй-ка вынь его
из безмолвья да гула — так выглядят крестные мухи
в переводе с дельфиньего.

Мне пора. Голос мой не дождался паррома,
чтоб явить невесомое в поступи,
но на просьбу чужую: «Пошли мне, Господь, второго!»,
ты послал мне второго, Господи.

Куда первый не вышел, откуда второго невзгода
удалила, тошнее которому, —
там однажды сколотят высокий ковчег перевода
в нашу утлую сторону.



...и зрит Господь: внизу, не достигая
Его, спадают столбики молитв.
Одна иссякла, выдохлась другая,
а третья остальные умалит.
А там, где я, — там нету даже права
и шанса на молитвенный столбец...
И Дьявол улыбается коряво,
как без опоры мается Отец,
подначивает снизиться, ужаться,
и сам Господь бы снизился давно,
поскольку больше не на чем держаться,
но Господу и это не дано.

Сказ о волшебных силовых кругах

1.
От звона колоколов
круги расходились.
Аж на двести вёрст
разбегалась их чистая сила,
а нечистая сила
отступала на двести вёрст.
И ежели вёрст за четырёста
(коль ближе, то много лучше)
взбегала на холм колоколенка,
то эти круги силовые
друг с дружкой соприкасались,
цеплялись один за другой,
как будто кудесник какой
на ярмарке ловко вдевал
кольцо в кольцо.

Тут уж без медного звона
могли от холма к холму
крутиться круги-побратимы,
скрепляя движением этим
русскую землю.

Вот почему у колоколов
вырвали языки.

2.
Вырвать-то вырвали,
да про мастеров забыли.
Они эти колокола отливали,
и когда колоколов не стало,
сами сделались колоколами!

От звона имени мастера
круги расходятся...
Аж на двести вёрст
разбегается их чистая сила,
а нечистая сила
отступает на двести вёрст.
И ежели вёрст за четырёста
(коль ближе, то много лучше)
не сдавшийся круг гончарный
от холма к холму вращается,
за другие круги цепляется,
то крутятся они друг от друга,
как поле ромашек в глазах.

Вот почему мастерам подсыпают
в чарки заморские травки.
Девочек бесовских к ним подсылают.
Что им сулят эти девки?
— Будем влюбляться по «Маяку»?
И мастера говорят: — Угу!

Страшно, когда Земля
вращается вхолостую,
ни солнце и ни луну,
ни звёзды не задевая.

Жестокое обращение с письмами

Снимаю скрепки с рукописей,
как сапоги с мёртвых.
Если не начать
массовое уничтожение
приходящих ко мне писем,
они заполнят весь дом,
потом — меня,
а после — то, что за мною, —
пространство и время.

На эти письма я не отвечаю.
Не потому, что, к примеру,
мне пишет серийный убийца,
отбывающий срок в «Белом лебеде»,
или недавний выпускник хакасской психушки,
сетующий, как их обсчитывают и объедают
медбратья и повара.
Я не отвечаю на эти письма,
оттого что от них разит
недержанием рифмы...

Сегодня я буду пускать в расход
всех «ветеранов локальных конфликтов»,
всех «инвалидов-инсультников»,
всех «солдатских вдов и матерей».
Единственно кого среди них не трону, —
это поэтов.

А скрепки...
Скрепки пригодятся для моих рукописей,
чтобы их так же снимали,
как снимают сапоги с мёртвых,
дпнк¹ «Нового мира» Паша Крючков
или надзиратель Устинова из журнала «Москва».

Это тяжкая работа — слагать письма,
днями и ночами переписывать рушники стихов,
идти на почту, стоять в очереди,
чтобы отправить «Заказное, с уведомлением»,
но — уведомляю: не менее тяжкая работа —
разрывать письма (бумага-то разная —
от тетрадной до мелованной!),
так разрывать, чтобы их не прочли мусорщики
и — через бомжей на свалке —
не воспользовались адресами мошенники.

Тяжкая это работа —
смешивать почерки человечьи
и наблюдать, как за окном
(так опадает листва,
выделяя тепло бабьего лета)
всё набухает и набухает чернильная туча,
вздутая термоядерным синтезом разорванных писем.
Жду, когда в этой туче-непроливашке
молнией сверкнёт перо,
которое меня зачеркнёт!

1 дпнк — дежурный помощник начальника колонии — авт.

Марш Долгового облака

21 августа 1915 года во время Галлиполийского сражения Четвёртый Норфолкский полк англичан полностью вошёл в облако, лежащее у него на пути, и больше этого полка никто не видел...

Я скоро из облака выйду
совместно с Норфолкским полком
и вынесу миру обиду
за то, что никто не знаком —
ни я не знаком, ни полк не знаком,
ни я полку не знаком.

То облако прошлого века.
И, если свидетелей честь,
уж нет на Земле человека
такого, а в облаке — есть:
и полк в этом облаке
есть, и я в этом облаке есть.
А облако есть ли? Бог весть!

И всё же оно возлежало
по руслу сухого ручья,
как будто бы жизни начало,
а может финал бытия.
И полк гремел в облаке: «Я-а-а-а!»,
и я кричал в облаке: «Я-а-а-а!»,
лишь облако «Я-а-а-а!» не кричало.

И то, что прибился к полку я,
ни я не заметил, ни полк,
но облако, битву почуя,
досрочно нас приняло в долг
и взмыло! А мы, маршируя, —
какой мой из облака толк? —
про то не возьмём себе в толк.

Пока нас Земля забывает,
в полку прибывает полку,
но в облаке места хватает —
стоит над Землёй, набухает.
Эй, кто облака разгоняет!
Что с этим-то? — А не могу!
Ни так не могу, ни сяк не могу,
ни — хоть об косяк — не могу».

И облако стало Землёю,
и облаком стала Земля.
И я сомневаюсь порою:
а может, не в облаке я?
И полк повторяет за мною,
что, может быть, в облаке — я?!

Мы здесь не состарились вовсе —
такие, какими вошли.
Из облака выйдем авось мы,
но в обличье этом и свойстве
найдем ли признание Земли?
Узнаем ли сами Земли?..
Узнаем ли мы, не узнаем ли мы,
то мы не узнаем Земли?

Валуев и люди

Узкоплечий, медленный Валуев
бляхи чемпионские ворует,
потому что бабушка его,
видимо, со снежным человеком
согрешила в наваждение некоем.
Ну и что? А что... А ничего!

Если б я имел такие дуги
тяжкие, надбровные — в испуге
от меня шарахался бы всяк.
Если б я зарос по плечи шерстью,
попривык бы, думаю, к известью
побеждать противника за так —

только несуразным чудом плоти,
в каковое сколько вы не бьёте, —
не убудет. Тайсон произнёс:
— Лучше Непытайсоном побуду,
нежели по явленному чуду
нанесу я апперкот иль крос!..

И вопят у ринга те и эти:
— Валуа! Валуа! Валуев! Йети!
Что, проголодался? Бляху — на!..
Он людей оглядывает: — Шкеты!
И кладёт на плечи эполеты —
как двух кобр на солнце валуна.

Императрица

Может ли кто позавидовать
бурому медведю в клетке?
Только мы с Кузнечихиным.

Вывставленный на развилке лесной дороги,
как не добравшийся до столицы
Емелька Пугач,
поелику к нему нагрянула
сама государыня-Катька,
он норовил вместе с кульком хру-
стящих картофельных чипсов,
коими его потчевала императрица обочин,
лапицей на свой лад заграбастать
всё лакомство истории.

Опишу государыню-Катьку.
Ежели осенняя сибирская тайга
сиречь Грановитая палата,
то явившаяся нам Катька —
не Катька, а государыня.

Груды вздрагивали под шёлком
и соударялись при ходьбе,
как два средней величины колокола!

Мы с Кузнечихиным
сразу же услышали их благовест.
Нам даже поблазнили храм,
в притвор которого вот-вот двинутся
истомившиеся ездоки.



Сергей Кузнечихин
Александр Ёлтышев

Не такого видали!

Однако государыня
так затянулась в нашу сто-
рону огоньком сигареты,
что мгновенно всосала
двух вылезших из «Газели» придурков.

Выдохнула вместе с клубом пре-
зрительного дыма!
И повернулась лядвиями. И стояла,
словно видела себя сзади.

Она продолжала кормить чипсами
своего Емельяна Иваныча,
ревущего от удовольствия
и облизывающего
виноградины её августейших пальчиков.
И мы чувствовали, как ход времени,
взяв за точку отсчёта
деления этой клетки,
выстраивается по-другому —
там, вдали, да и в нас самих...

— Блок, — не толкнул меня вбок Кузнечихин
и не изрёк наверху фразы, —
тоже любил проституток.
Значит, мы Блока не хуже?!

Если бы мы её повстречали
где-нибудь в большом городе,
мы бы не обратили на государыню-Катку
никакого внимания.
Но когда лицезреешь путану
в дворцовом убранстве тайги,
она сразу становится императрицей!

— Девушка, вам куда?

Государыня, допрежь посмотревшись
в боковое зеркальце нашей «Газели»
и не удостоив нас с Кузнечихиным ответом,
укатила на мимоезжей карете —
куда-то в сторону XVIII-го века.

Мы же остались здесь, в XXI-ом —
перед клеткою с бурым медведем,
позабытой среди России,
на развилке лесной дороги.

г. Пермь

Поэту и прозаику Юрию Беликову, члену
редколлегии и постоянному автору жур-
нала «День и Ночь», в июне исполняется
50 лет. Круглая дата близкого по духу чело-
века вызвала на диалог писателя Сергея
Кузнечихина и журналиста Александра
Ёлтышева.

Александр Ёлтышев Юбилей. Если переставить
буквы в этом праздничном слове, получится:
Ю. Белий. Поэт Юрий Беликов дожил до золотой
годовщины. Не исключено, что новоявленный
юбиляр поиграет с забавной анаграммой, как с
именем своей малой родины:

Чусовой — это совы на сучьях сосновых
над часоуенкой совести в частых засовах...

Сергей Кузнечихин Этот юбилей должна широко
праздновать литературная провинция, хотя деле-
ние державы на ценный центр и провинциальную
провинцию — архаизм, но живучий, как, напри-
мер, термин «пароходство», где пароходов, по
сути, давно не осталось. И всё же провинция — не
совсем устаревшее понятие: сохранился своео-
бразный комплекс провинциала. Одно из его про-
явлений — ограниченность мышления, которое
порой не знает границ. Это стойкое мнение, что
только в глубинке возможно явление истины.
И тот же примитив наизнанку: за пределами
Московии глубокомыслие отсутствует.

Александр Последнее — образец столичной моз-
говой провинциальности. Юра Беликов напрочь
лишён данного уродства. Пожив в небольшом
уральском городке, хорошо изучив столицу, он
понял, что разница между ними, при внешнем
многообразии, нанизана на старый шампур: «Дома
пониже, асфальт поуже». А люди с их причудами,
в частности, поэтическим даром, всюду едины,
если шелуху соскresti.

Сергей Сделав открытие, хочется поделиться им
с людьми, которых искренне считаешь умными.
Беликов вёл рубрику «Русская провинция» в жур-
нале «Юность», откуда его уволили «за наведение
смуты». Видимо, посягнув на каноны, установ-
ленные чинами, познавшими истину в последней
инстанции. Нарушил баланс, выверенный фаль-
шивыми весами.

Александр Но не было бы счастья... Возникла
возможность взобраться на «Трибуну». И сколько
географически провинциальных стихотворцев
попали в его рубрику «Приют неизвестных поэ-
тов», которую он так увлечённо и профессио-

нально вёл в газете. Мы с тобой не впервые были отмечены столичным изданием (у тебя даже книга прозы в «Советском писателе» вышла), а как приятно было видеть подборку своих стихов в сочетании с необычным, ёмким и остроумным предисловием Беликова. Предварительным итогом этой подвижнической деятельности стала книга «Приют неизвестных поэтов». Хочется верить, что она останется в истории литературы, как и закреплённый за нами лихой термин «дикороссы». Его придумал один из «приютских» — Андрей Канавщиков, но широко ввёл в оборот, вынеся на обложку сборника, Юрий Беликов.

Сергей За эту книгу он ничего, кроме шишек, не заработал, даже «Литературка» её облаяла. Правда, потом одумалась и устами более умных авторов похвалила. Будем надеяться, что это предвестие грядущих серьёзных прочтений и разговоров как о сборнике, так и о затронутым в нём явлении. А насчёт предварительного итога... Не станет ли он окончательным?

Александр Когда в «Трибуне» рубрику прикрыли, Беликов продолжил её в газете «Труд», но и здесь она кого-то не устроила. Только это, как родник, — сколько ни засыпай, живительная струя найдёт выход. Так что ожидается очередной сборник, не менее значительный.

Сергей Подождём вместе со всей литературной (географически) провинцией. Кстати, Юрий, при его умении восторгаться, находить необычные тёплые слова для характеристики текстов, мог сделать объектом своих талантливых эссе творения признанных литературных авторитетов, став их придворным критиком. Но ему интересней искать и находить скрытые таланты. Яркое выраженный человек-донор, стремящийся помогать, отдавать, понимая, что поэты — народ не очень-то благодарный.

Александр Сохранятся ли у него с годами донорские качества, ведь Юра вступает в возраст, который прежде называли почтенным?

Сергей А он из тех, кто без возраста. Легко находит общий язык с людьми всех поколений. И не только — ему комфортно с собеседниками разных характеров, мировосприятий, которые тоже чувствуют себя с Беликовым достаточно уютно. Широта души сказывается и на его поэтических вкусах, не замкнутых на одной линии, что видно даже по «Приюту...». Здесь нашли приют до пронзительности естественный Николай Бурашников и несколько театрализованный Сергей Сутулов-Катеринич, камерный Виталий Науменко и распахнутый Сергей Лузан... Кстати, о Лузане. После знакомства со стихами матёрого северянина Юра предложил измерять поэзию в Лузанах. Мощь стиха в 1 Лузан, 2 Лузана, или, извините, 0,13 Лузана.

Александр Широта вкуса сочетается у Юры со строгой взыскательностью. После выхода сборника рубрика в «Труде» стала очень популярной — по обычной и электронной почте хлынул стихотворный и псевдстихотворный поток, который ведущий направлял исключительно в нужном направлении.

Сергей Это от истинной любви к поэзии. Серость он не пропускал, а, скажем, Павел Четкин и

Андрей Нитченко, замеченные Беликовым, стали лауреатами всероссийской премии «Дебют».

Александр Ты отметил общительность Юрия, восприятие его разными людьми. Интересно, что это сочетается с необычной манерой подачи нестандартных суждений. И чувствуется естественная оригинальность, а не натужный выпендрёж.

Сергей К Беликову очень подходят строки Владимира Корнилова:

Знал он слово золотое
и сильней себя любил.

Потребность в ярком слове у Юры просто патологическая, её хватает на стихи, прозу и даже на рядовые газетные материалы — обыденно писать он не умеет... А мы не сильно его расхвалили?

Александр Юбилей как-никак. И для хорошего человека правды не жалко, а свою порцию ругани он получил с избытком. Что-то мы никак не подойдём к главному предназначению Беликова — поэтическому.

Сергей Редактор журнала «Дети Ра» обозвал Беликова «деятелем». Подчеркнём: деятель, но не деляга. Сколько времени отнял он от своих стихов, прозы ради помощи провинциальным авторам. А говорить о его поэзии... Я всегда завидую тем, кто умеет рассуждать о стихах, анализировать. Сам же ощущаю поэзию только нутром. Я стихи принимаю или не принимаю. Его книгу читал и перечитывал с удовольствием.

Александр Я тоже. Название последнего сборника Беликова вновь подчёркивает его самобытность: «Не такой». Так и хочется добавить: «Не такой, который врёт, мешает, раздражает, халтурит...»

Сергей Не такой, каким стали, к сожалению, многие из литературных собратьев.

г. Красноярск



Александр Лейфер Твой Толька

Штрихи к портрету
Анатолия Кобенкова

Дни памяти 50

У меня есть шесть стихотворных сборников Анатолия Кобенкова — от тонюсенских «Вечеров» (1974) до итогового солидного тома «Строка, уставшая от странствий...» (2003). Куда-то задевалась книга эссе о сибирских поэтах «Путь неизбежный» (1983), хорошо помню, что её он тоже мне присылал, я даже рассказывал о ней по Омскому радио, но вот не могу найти...

Две чёрно-белых фотографии. Обе сделаны в Омске летом 1975 года фотокорреспондентом «Молодого сибиряка» Эдуардом Савиным. Тогдашняя жена Анатолия Тамара была родом из Омска, и они приезжали погостить у её родителей. Я работал тогда в «Молодом сибиряке», и мы печатали в газете его стихи.

Недавно появились у меня и несколько цветных фото — его могила в Переделкине, на которой я побывал в январе 2007 года. И с десяток писем, поздравительных открыток. Все, как нарочно, не датированы, поэтому их хронологическую последовательность пришлось устанавливать по «вторичным» признакам: почтовые штампы, упоминание выхода какой-либо книги или публикации, а также — увы — сообщение о чьей-нибудь смерти.

В последние годы поэт Анатолий Кобенков руководил в Иркутске региональным отделением Союза российских писателей, и, без всякого сомнения, это руководство отнюдь не способствовало укреплению здоровья, надорвало сердце, приблизило безвременный конец. Плюс к общероссийским писательским заморочкам — стабильное отсутствие финансирования, время от времени возникающие проблемы с помещением, невнимание (опять же стабильное) к негромким литературным делам со стороны местного начальства, плюс ко всему этому в Иркутске, судя по рассказам, то и дело становится нетерпимой сама литературная атмосфера. У нас в Омске противостояние между двумя писательскими организациями внешне почти не проявляется, мы не считаем нужным смешить честной народ и играть в «литературную борьбу». В Иркутске иной расклад: взаимная неприязнь между писательскими Союдами то и дело всплывает наружу. Постоянно ощущать недоброжелательность, постоянно быть настороже, находиться как бы под прицелом — не хотел бы я такой жизни...

Об этом вполне недвусмысленно сказал в некрологе Кобенкова Олег Хлебников: «На него писали некрологи при жизни. Неоднократно. Не по ошибке. Им очень хотелось, чтобы Анатолия Кобенкова не было. Чтобы никто не мешал им ксенофобскую графоманию выдавать за гражданскую лирику. Чтобы не существовало в Иркутске никакого «демократического» Союза писателей и

не приезжали на Байкал, на ежегодный международный фестиваль, лучшие российские и зарубежные писатели, не любящие ура-патриотической риторики.

Удивительно, что заклятым врагом для провинциальных черносотенцев стал такой мягкий и добрый человек, как Толя. Но в том-то, наверное, и дело, что сами его интеллигентность и бесспорная поэтическая одарённость их раздражали. Всем, что писал и делал, он напоминал об утраченной норме, хорошем вкусе, необходимости знать и чувствовать родной язык... Господи, почему подавляющее большинство наших нынешних «патриотов» так плохо пишут и говорят по-русски?!

Когда Толе перевалило за пятьдесят пять, отдавать силы постоянной борьбе, да и просто жить в поле ненависти стало уже невозможно, обидно тратить на это годы жизни. Хотя кто мог знать, что их оставалось уже совсем немного...

Он переехал в Москву.

(«Новая газета», 11–13 сентября 2006)

Но, несмотря ни на что, Кобенков сделал за семь лет своего секретарства немало — к сожалению, знают об этом далеко не все. Но именно он пробил для организации приличное помещение. Именно он организовал грандиозный (ежегодный!) международный фестиваль поэзии на Байкале и Дни памяти о. Александра Меня. Активно помогал молодым авторам, основал альманахи «Зелёная лампа» и «Иркутское время», был членом редколлегии журналов «День и Ночь» и «Сибирские огни». Кроме того, широко печатался и издавался сам. У него всё получалось. Мало того, что он был как рыба в воде в Сибири, его печатали в «Новом мире», «Знамени», «Континенте», «Арионе», «Крещатике», «Зарубежных записках», переводили на английский, французский, чешский, польский, латышский и другие языки... Живя в Иркутске, он был далеко не «местным» писателем, но всё-таки решил уехать в Москву. Сердце в столице не выдержало и года: говорят, ему стало плохо в метро.

Никогда не прощу себе последней «невстречи» с ним: мы с его однокашником по Литинституту Николаем Березовским знали, когда проходит через Омск увозящий его из Сибири поезд, знали, но не пришли на вокзал — время было неудобное, ночное, а живём мы оба далеко от вокзала. К общей боли от его ухода прибавляется ещё и это — запоздалые досада и стыд за отказ от последней встречи.

А когда именно мы познакомились, честно говоря, точно не помню. Произошло это, разумеется, в Иркутске, но вот когда — в 1971-м или 1972-м?..

В 1971 году я был приглашён на Иркутское совещание критиков Сибири. Знакомств там было столько, что голова закружилась, — одна иркутская «стенка» чего стоит, в ту осень она ещё была в полном составе — Валентин Распутин, Александр Вампилов, Геннадий Машкин и Вячеслав Шугаев. Тогда среди моих знакомых появились Женя Раппопорт, Анатолий Шастин, Василий Прокопьевич Трушкин, Елена Викторовна Жилкина, Сергей Иоффе — это всё иркутяне. А ещё: Гена Михасенко из Братска, Лёва Пичурин из Томска, Элла Фоянкова из Ленинграда, Антонина Ивановна Малютина из Лесосибирска, Володя Липатов из Улан-Удэ, Боря Юдалевич из Новосибирска...

Кобенков жил тогда в Ангарске, но на совещании, конечно же, был, т. к. проводилось оно широко, не как нечто узко профессиональное, а как общелитературное событие. Ездили мы, кстати сказать, и в Ангарск, Кобенков мог присоединиться к нам и там.

Через год, поздней осенью 1972-го, в Иркутске проводилась очередная конференция «Молодость, творчество, современность», меня пригласили и на неё. Уже зияла невосполнимая брешь в «иркутской стенке» — в августе погиб на Байкале Александр Вампилов. Боль от утраты была ещё свежа, помню, на премьере «Прощания в июне» в Иркутском театре имени Охлопкова, которая показывалась в рамках конференции, у многих были слёзы на глазах. Что же касается Кобенкова, то он мог участвовать в конференции и в качестве семинариста: тогда в его «активе» было всего две тоненьких стихотворных книжки — «Весна» (Хабаровск, 1966) и «Улицы» (Иркутск, 1968). Но конкретных встреч с ним в 1971 и в 1972 годах не помню.

Зато хорошо помню его приезд в Омск летом 1975-го. Я работал тогда ответственным секретарём газеты «Молодой сибиряк», в то утро немного припоздал. Едва переступил порог редакции, как мне сказали: «Где ты ходишь, тебя тут целый час уже ждут». В приёмной сидел Кобенков. Мы обнялись, и я повёл гостя к себе в секретариат.

В Омске, как и во всех остальных областных городах, выходили тогда две газеты — партийная и молодёжная. Обе давали иногда подборки стихов, рассказы, рецензии на книги местных писателей. Особенно отличался вниманием к литературе «Молодой сибиряк». В 60-х годах литературным консультантом «МС» был поэт Владимир Пальчиков, он придумал ежемесячные литературные альманахи: подвалы всех четырёх газетных полос заполнялись стихами, потом низ номера можно было отрезать, соответствующим образом сложить — получалась стихотворная книжечка. Иногда она была коллективной, иногда посвящалась одному автору.

В конце 60-х Пальчиков из Омска уехал, альманах на некоторое время заглох, но потом мы возобновили его выход.

Гостю, насколько я помню, был представлен отдельный выпуск альманаха. Иду в областную библиотеку, заказываю подшивку «Молодого сибиряка» за лето 1975 года. Действительно: вот он «персональный» кобенковский альманах — в номере за 2 августа с рисунками Анатолия Билиевского, название — «Ветер». Небольшое преди-

словие не подписано, но, как правило, сочинял такие предисловия я:

«Ежемесячный литературный альманах «Молодого сибиряка» стремится познакомить своих читателей с творчеством молодых поэтов, живущих не только в Омске, но и в других городах необъятной Сибири. Например, в последнее время он предоставлял свои страницы иркутянину Василию Козлову, красноярцу Роману Солнцеву. Сегодня мы представляем вам Анатолия Кобенкова, молодого поэта из молодого сибирского города Ангарска. Он — автор трёх поэтических книг: «Весна», «Улицы» и «Вечера». Коренной сибиряк, Анатолий работал слесарем, токарем, рабочим в геологических партиях, сопровождающим грузы на реке Лене, заведующим клубом, редактором кинопроката. Печатался в «Комсомольской правде», «Литературной газете», в журналах «Байкал», «Советский воин», «Сельская молодёжь», в коллективных сборниках.

А. Кобенков — участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей».

Начал читать стихи и невольно вздрогнул — первым стоит стихотворение, которое тридцать один год спустя процитирует в его некрологе «Литературная газета»:

*Ночами в родительском доме
с трудом засыпал иногда...
Но было ли что-нибудь кроме
желания славы тогда?
Ты медлишь заметно с ответом...
Я зля на тебя не таю —
скажи,
неужели поэты
так жизнь начинают свою?*

*...по Волге гулял на пароме,
умел бороться и косить,
но было ли что-нибудь кроме желанья слова
находить?*

*Неужто не спал до рассвета,
в глаза целовал лошадей
затем,
чтобы только поэтом
прослыть среди добрых людей?..*

«Он был поэтом Божьей милостью, — написала в некрологе «Литературка», — ни разу — несмотря на все выкрутасы времени — не взявшим фальшивой ноты в своих светлых, всегда до боли честных стихах»
(ЛГ, 13–19 сентября 2006)

А тогда, летом 75-го, живя в гостях у тётки, он не раз приходил к нам в редакцию. Я познакомил его с друзьями, иногда, сбежав в соседний гастроном, все вместе мы потихоньку нарушали трудовую дисциплину — не без этого.

Потом он уехал, вскоре из Ангарска пришло письмо:

Осень 1975 г.

*«Дорогой Саша!
Получил сегодня твоё письмо и вырезку — спасибо!*

Добрались хорошо настолько, что уже позавчера я пришёл в себя. Устраиваюсь на работу — на радио: надо поправить свой бюджет. Был в Иркутске: Марк в отпуске, Лапина в городе нет, так что пока подожди.

Гурулёв кланяется тебе и Малиновскому. Машикин — тебе. Получил сказку Геннадия — сделаю всё так, как и обещал. Омск подарил мне чудные дни — спасибо тебе, Малиновскому, Юре, Генке.

*Пиши, присылай материалы.
Твой Толька.*

Р. С. «Сиб. огни» ещё не видел. Не огорчайся — со временем ты будешь иметь право устраивать скандалы за пропущенную запятую».

В письме упоминаются иркутские писатели — Марк Давидович Сергеев, Борис Лапин, Альберт Гурулёв; с Кобенковым я посылал что-нибудь для альманаха «Сибирь», где в те годы иногда печатался.

Михаил Малиновский, Геннадий Гаврилов, Юрий Орлов — мои омские друзья, литераторы, с которыми Анатолий познакомился во время своего гостевания в Омске.

В том году «Сибирские огни» напечатали моё эссе о Ф. М. Достоевском «Всегда со мной» (№ 7, 1975). Напечатали, сильно сократив, видимо, на это я пожаловался Анатолию. (В скобках замечу, что это несчастное эссе не опубликовано по-человечески — без искажений и сокращений — до сих пор).

Конец 1975 — начало 1976 г.

«Дорогой Саша!

Прости — долго молчал: был в Москве, и, пока общался с москвичами, тебя дали в нашей газетёнке, — посему высылаю только один экземпляр с полутвоим Достоевским. Сокращал я его сам — как потребовалось, до 6–7 страниц. Ты понимаешь, дать всё не могли. Материал твой в «Сибири», по слухам, идёт.

Видел твою работу в «Альманахе библиофила» — порадовался и посему поздравляю.

Гены Гаврилова вещь хороша (это не только моё мнение), но поставить её нельзя — она лучше читается как притча и вообще оригинальна и интересна. Кланяйся ему. Если сделает сугубо детскую сказку, пусть вышлет.

*Как ты?
Как ребята?
Юра, кажется, не поступил?
Всем приветы.
Твой Толька.*

По упоминанию моей публикации во втором выпуске московского «Альманаха библиофила» я и датирую это письмо, т. к. вышел АБ-2 ближе к концу 1975 года. В нём был напечатан мой очерк «Вольность не даётся даром...» — о томе сочинений Николая Шелгунова, который вышел в 1871 году и на свободных от текста местах которого в 1918–1921 годах вёл что-то вроде дневника красный партизан Шишкин.

В следующем письме — горестное упоминание о смерти нашего общего друга — иркутского лите-

ратора Евгения Раппопорта, которая случилась в феврале 1977 года.

Февраль-март 1977 г.

«Саня, твоё письмо настигло меня только вчера, я переехал в 3-комнатную хибару, и посему все пушкинские юбилеи прошли без тебя.

Но будут и другие — всё, что касается Сибири + литературы, присылай — отдам в нашу страницу, где ты уже однажды прозвучал с Достоевским.

Только договоримся: большие материалы, если не удосужишься сам, буду сокращать я.

Ты, вероятно, знаешь о смерти Жени Раппопорта.

Не буду травить себя и описывать всё это.

В следующем году у меня выходит новая книжка — если возьмёшься вновь представить меня омским читателям, могу подкинуть.

Пиши, присылай, ребятам — привет.

Твой Толька.

О Жене Раппопорте, о моих встречах с ним будет рассказано отдельно. Он был по-настоящему дорог и Анатолию. Новая книжка, о которой он упоминает в письме, это сборник «Два года» (Иркутск, 1978). В ней есть два стихотворения, посвящённые Евгению: «Давно меня смерть не пугает...» и «Сегодня полгода, как умер мой друг...».

На книжке «Два года» надпись:

«Саше Лейферу как критику, сибиряку и мудрому хорошему человеку — моих два сибирских года. С любовью — Толя. 1. 6. 78.» Читая её, я с удовлетворением нашёл стихи, знакомые ещё по «молодо-сибиряковскому» альманаху, — «Первые танцы в солдатском клубе», «Волос твоих тёмная сила...», уже цитировавшееся выше «Ночами в родительском доме...», «С песнями не стоит торопиться...». Нет, совсем не проходные вещи предложил он тогда, в 75-м, для нашей скромной газеты.

Следующее письмо датирую весьма приблизительно — имея в виду слова «ты работаешь на наше издательство». В конце 70-х годов я предложил Восточно-Сибирскому книжному издательству подготовить к 1981 году, юбилейному году Ф. М. Достоевского, оригинальное издание «Записок из Мёртвого дома». Скажу об этой книге чуть позже, а пока само письмо:

Конец 70-х гг.

«Здравствуй, Саша!

Деньги тебе обещали выслать. Поскольку ты работаешь на наше издательство, ты должен нагреть — вот тебе мой телефон.

Я пока вольный художник. Последний месяц заматался по командировкам: Братск, Усть-Кут, Магистральный, Усть-Илим, Черемхово.

По уши в долгах.

Мою новую книжку поставили на 81 год.

Кстати, Березовский грозился выслать гонорар за «Землю сибирскую-дальневосточную» — узнай, пожалуйста, если там что-то прошло моё, пусть озолотят.

Можешь подбросить что-нибудь ещё для нашей газеты.

*Приветы Омску и омичам.
Твой Толя».*

Декабрь 1981 г.

Мы, чем могли, помогали друг другу: он при-
страивал мои материалы в ангарские и иркутские
издания, я и Березовский пытались ответить тем
же в Омске. Получалось это далеко не всегда.

Конец 70-х гг.

«Дорогой Саша!
Получил твоё письмо.

Не ответил сразу — замотался.

Твой материал передам Мутину в нашу «Зна-
менку» — говорил с ним, он заинтересовался, но
тут же умотал отдыхать на Байкал.

Сейчас в «Сибири» все у тебя свои: Гурулёв и
Кобенков, который вместе с Филипповым отве-
чает за его (т. е. альманаха — А. Л.) поэтическую
морду.

Мне очень надо было написать тебе пораньше,
потому что я веду на телевидении постоянную
передачу «Сибирская лира», и сейчас дошла очередь
до Драверта, а ты мог бы мне кое-что подсказать.
Если сможешь сразу что-нибудь подкинуть (хоть
черновики) — буду вечно благодарен.

Жду вызова в Москву — на защиту диплома.

Может быть, придётся завернуть в Омск на
день-два.

Приветы Березовскому.

Пиши, или — жду.

Твой Толя».

В письме, отосланном в декабре 1979 года, —
опять печальное сообщение: ушёл из жизни
иркутский писатель Константин Седых — автор
знаменитого романа о гражданской войне «Дау-
рия».

Декабрь 1979 г.

«Здравствуй, Саша!

Огромное спасибо тебе за книжку, с днём рож-
дения которой надо поздравить тебя.

Книга хороша — читать её интересно — и мне,
и людям, далёким от литературы и науки. Мне
кажется, ты захочешь её дописать, дабы сделать
второе издание и, может быть, тогда уберётся
некоторая журналистская поспешность, и Дра-
верт как поэт будет более убедителен.

Твой материал об Иванове пойдёт у нас, как
только найдётся для него место.

В начале декабря пройдёт моя телепередача о
Драверте, где я буду говорить о тебе.

Я слетал в Москву — защитился на «отлично»,
залез в долги и посему высылаю тебе стихи, кото-
рых у меня в последнее время не густо.

Вчера умер Седых.

Гуруль залёг в больницу, и я не могу вырваться
к нему, дабы решить насущные вопросы и узнать,
что с твоим материалом для «Сибири». Думаю,
всё решится в твою пользу.

Приветы — Березовскому.

Пиши.

Твой Толя».

Книга, с которой поздравляет меня Кобенков, —
первая в моей жизни: «Сибири не изменю!..»
(Страницы одной жизни). Она вышла в 1979 году в
Новосибирске и была посвящена учёному и поэту
Петру Драверту.

Новогодняя поздравительная открытка:

«Дорогой Саша!

Уходящий год был для тебя славным (ты пода-
рил нам прекрасный том Достоевского — спасибо
тебе за это!!!).

Я надеюсь, что грядущий <год> будет не хуже, —
даже верю в это, даже очень хочу, потому что
всегда относился к тебе очень тепло.

С Новым годом!

Толя.

Приветы от Тамары».

Полное название тома Достоевского, о котором
говорится в открытке: «Записки из Мёртвого дома.
Письма из Сибири. Воспоминания современников.
<Сибирская тетрадь>. Документы». И письма Ф.
М. Достоевского, и воспоминания о нём, и доку-
менты касались сибирского периода его жизни. Я
был составителем книги, автором послесловия и
комментариев. Восточно-Сибирское издательство
выпустило её труднопредставимым для нынешних
времен тиражом — 100000 экз. Правда, должен
признаться, что не всё в данном издании было так
прекрасно, как это казалось Анатолию: и в текст
комментариев, и в текст самого Достоевского (что
особенно обидно) вкрались опечатки.

1981 год был удачным и для Кобенкова: та книга,
о которой он сообщал мне ещё в письме конца
70-х годов, вышла — «Я однажды лежал на зелё-
ной траве...».

Я получил в подарок и её — с дарственной
надписью, с авторской правкой неистребимых
опечаток.

Друзья мои, как труден наш союз
в середине дня на первом перевале!
Молюсь земле,
кузнечикам молюсь,
чтобы они о вас не забывали,
стучусь в деревья,
кланяюсь ручью,
далёким звёздам и дорожной пыли...
Ни долгих дней,
ни славы не хочу —
хочу, чтобы о вас не позабыли...

Это из «Послания друзьям» — стихотворения
во многом, видимо, программного для автора.
Неслучайно он даст потом такое название сбор-
нику 1986 года.

А это письмо, видимо, относится к первой
половине 70-х годов:

«Дорогой Саша!

Был пролётом в Москву в Омском аэропорту —
звонил. Увы, тебя не было дома. Летал на ЦТ —
там 6 марта в передаче «Шире круг» прозвучит
моя песня — хочешь — послушай.

Твой материал редакция бессовестно потеряла,
но не потому, что она плохо относится к тебе и
твоему перу, а по чистой безалаберности.

Присылай что-нибудь ещё, а я прослежу за тем,
чтобы подобное не повторялось.

Книжка моя подписана к печати — скоро я её
увидю, а ты получишь. С издательскими делами
у меня сейчас лучшие, чем бывало прежде (тьфу-
тьфу!). Высылаю тебе плёнку со своим голосом и
стихами — не славы для, а сам понимаешь...

*Присылай свои новые работы — протолкну.
Приветы омичам.
Твой Толька».*

Здесь прокомментирую лишь абзац про плёнку с голосом. Скорей всего, она была выслана для использования на Омском радио, я много тогда писал для него, в частности, вёл ежемесячную передачу «Сибирская литература: день сегодняшний», в которой рассказывал о книжных новинках, в том числе и о книгах Кобенкова. Но поскольку в его письме было высказано недвусмысленное пожелание — использовать плёнку «не славы для», мы с радийным редактором Инной Антоновной Шпаковской, постоянно подкармливавшей нас, грешных, наверняка сделали из присланного Анатолием отдельную передачу — с тем, чтобы потом заплатить ему.

Последнее из сохранившихся у меня писем содержит сообщение о предстоящем выходе книги критических эссе:

1983 г.

«Дорогой Саша!

Сие послание тебе передаёт мой друг, славный и честный человек, которого я за многое люблю.

Он сдаёт госы в вашем институте культуры и, если ты ему почему-либо понадобишься и он обратится к тебе, — не отказывай.

Он, в отличие от меня, не сочиняет, а думает.

По поводу твоего сотрудничества с нами — ничего не понимаю: к тебе у нас очень по-доброму относятся, поминуют добрым словом и Гуруль, и Марк, и многие другие; в феврале у нас была конференция «Молодость. Творчество. Современность», и прошёл слух, будто ты прикажишь, но слух оказался напрасным.

С Аликом я поговорю о тебе конкретно, за публицистику у нас отвечает Марк — надо бы тебе написать ему письмо, выяснить отношения и прислать что-нибудь новое.

Я пурхаюсь в быте, в своём разросшемся и расшумевшемся семействе, к осени выскочит книжка моих литэссе — боюсь, после её выхода придётся мне бежать отсюда: я не очень хвалю поэтическую работу Марка, браню Горбунова, Скифа, кого-то ещё, а о ком-то просто помалкиваю.

Книжка стихов сложилась, но судьба её зависит уже не от меня.

Минувшей осенью был в Германии — разразился странной прозой на два печатных листа.

С тоской думаю о том, что время стихов уходит.

Шлю тебе при всём при этом кое-что из своих виршей (если сможешь пристроить — скажу спасибо, выпив за твоё здоровье молочишко).

Приветы Омску и омичам.

Пиши!

Толя.

Если понадобится для врезки, то стихи из новой, шестой по счёту, книги — «По краям печали и земли...».

Человека, который принёс мне это письмо, звали Виталий — высокий, здоровый, но начи-

нающий полнеть. Он по какой-то причине резко бросил полупрофессиональные занятия спортом, и это сказалось на здоровье. О Толе Виталий отзывался с большим уважением, рассказывал, что в Ангарске его буквально на руках носят, но... Но, вздыхая, упомянул и о традиционной для нашей пьющей страны Толиной слабости.

«Германскую» прозу Кобенкова я так и не читал, сейчас очень хотелось бы узнать, что это такое.

А книга «По краям печали и земли» вышла в Москве аж в 1989 году.

Следующий приезд Анатолия в Омск носил весьма своеобразный характер: приехал он сюда тайком — от своих бывших омских родственников (с Тamarой он к тому времени уже развёлся) и поначалу... от нас с Березовским. Последнее объясняется элементарно. Приехал он в Омск работать — Омский музыкальный театр ставил тогда, в 1990 году, мюзикл Грега Опелки «Чарли-бар» и заказал Кобенкову написать для него зонги (или переводы таковых —?). Работа была срочной, напряжённой, и Анатолий опасался, что встреча с нами может помешать ей. Опасался, чего уж греха таить, не без оснований.

Но не вынесла душа поэта: к концу своего пребывания в Омске одному из нас он всё-таки позвонил. Хорошо запомнилось выражение ужаса в глазах очаровательной завлитши театра в тот момент, когда мы вводили от неё соавтора будущего спектакля, — зонги были на тот момент ещё не дописаны.

Но опасалась она напрасно: повели мы тогда себя вполне разумно, т. е. напитки, оскорбляющие человеческое достоинство, могущие помешать творческому процессу и развитию театрального искусства, употребляли в дозах вполне гомеопатических.

А если серьёзно, то незримая тяжесть недоделанного Толей, нависшая над всеми троими, встречу эту, разумеется, скомкала. Видимо, поэту весьма смутно помню, о чём мы тогда говорили. Но зонги были дописаны вовремя, спектакль выпустили в срок. Однако, даже я, человек абсолютно не театральный, помню: особенного успеха он не имел, в репертуаре продержался недолго, несмотря на участие в постановке целой компании американцев, в том числе и самого Г. Опелки. Не знаю, как Березовский, а я посмотреть мюзикл так и не успел.

Наступили новые времена. В 1993 году в Омске было зарегистрировано местное отделение Союза российских писателей, и мы сразу же стали готовить своё издание — сборник «Складчина», вышедший в первое время как ежегодник. «Складчина» существует до сих пор, прошла за эти годы непростой путь. Вначале один за другим вышли три ежегодника — солидные книги в твёрдых чёрных переплётах. Затем наступил 98-й год с его дефолтом, и готовый четвёртый выпуск надолго застрял — по финансовым, естественно, причинам (вышел он только в 2004 году). Пока решался вопрос с четвёртым выпуском, мы решили издавать «Складчину» в виде газеты, это было во много раз дешевле. Газета выходила с 2002 по 2005 год, но потом её отказалась распространять «Роспечать». Немного подумав, мы начали выпускать «Складчину» уже в виде небольшого, выходящего

трижды в год альманаха. В таком виде наше издание существует и сейчас.

А тогда, в середине 90-х, вся эта эпопея только начиналась. Мы собирали первый выпуск ежегодника. Опыта было маловато, искали поддержки у коллег по писательскому Союзу из других сибирских городов и каким-то образом вышли на Иркутское отделение СРП, на его тогдашнего руководителя — критика Виталия Камышева (через несколько лет его сменил на этом посту А. Кобенков). Так в первом выпуске «Складчины» появилась до сих пор в ней существующая рубрика «У нас в гостях». Первым нашим гостем стал выходивший тогда в Иркутске альманах «Свой голос».

В. Камышев прислал нам рассказы молодых авторов — Александра Карпачёва, Петра Голованевского и Николая Петренко, а также подборку стихов Анатолия. Камышев же написал ко всему этому небольшое предисловие, в нём вполне недвусмысленно рассказывалось о той нездоровой обстановке, которая, в конце концов, и заставила Кобенкова уехать из родной Сибири в Москву:

«Рождение нового иркутского альманаха «Свой голос» было обусловлено двумя, пожалуй, обстоятельствами. Во-первых, разделением известной далеко за пределами Сибири Иркутской писательской организации на две. Многим литераторам, в том числе таким авторитетным, как М. Сергеев, А. Шастин, Дм. Сергеев, Ю. Самсонов, В. Трушкин, Е. Жилкина, А. Кобенков, оказалось не по пути с новыми «неистовыми ревнителями» — сторонниками откровенного шовинизма и ксенофобии, и они образовали иркутское отделение сперва «Апреля», а затем — Союза российских писателей. Тогда же Дм. Сергеев, А. Шастин, В. Захарова вышли из редколлегии журнала «Сибирь», начавшего печатать «Протоколы сионских мудрецов» и откровения нынешних «национал-патриотов» («Складчина», Омск, 1995, стр. 159).

Присланные В. Камышевым новые стихи Анатолия говорили о многом. Их лирический герой в чём-то утратил былую романтику, прошёл через немалые испытания, понял, что не всё — и вокруг, и в самом себе — гармонично и радостно:

А я уже знаю, что вышел в тираж:
для новых — «не наш», и для старых — «не наш».

Ещё я люблю, но Отечества дым,
который мне сладок, не сладок другим.

Ещё я по свету гуляю, но свет, который я знаю,
истаял на нет.

Ещё я топчу эту землю, но ей
важнее топтаться на жизни моей...

Мне сорок четыре, почти- сорок пять,
и кто я такой, чтоб этом не знать?..

Тогда, кроме этого стихотворения, мы напечатали «Это я, невывыпавшийся, страшный...», «Фреску», «Корзину», «Бегство в Египет» и «Два окна. И оба — на восток...».

А через одиннадцать лет, в ноябре 2006-го, «Складчина» попрощалась с Анатолием Ивано-

вичем, поместив его подборку, составленную по иркутским сборникам «Осень: ласточка напела» (2000) и «Строка, уставшая от странствий» (2003) — последним прижизненным сборником поэта. Одно из стихотворений этой подборки было прислано из Новосибирска — из личного архива Марины Акимовой.

Пёс умирает, а в мире светло.
Друг угасает, а в мире светло.
Сердце чернеет,
а в мире светло;
горя по горло, беды намело
выше окошка,
а миру — светло...

Тем и утешимся смерти назло:
с близкими — страшно,
а с миром — светло...

Но до этого судьба подарила мне ещё две встречи с Анатолием. В 1998 и в 2000 годах меня приглашали в Красноярск — на Всероссийскую конференцию «Литературные встречи в русской провинции». Между собой мы, литераторы, называли эту конференцию проще — Астафьевские чтения, ибо душой, эпицентром этих встреч был Виктор Петрович Астафьев. Хотя сам он возражал против такого наименования: «Вот умру, тогда и называйте, как хотите». Кроме Астафьева, там было немало известных литераторов, называю не по чинам, а просто, как вспоминается: москвичи — Алексей Варламов, Светлана Василенко, Леонид Бородин, Виктор Куллэ, Евгений Попов, Мариэтта Чудакова, Михаил Кураев (Санкт-Петербург), Валентин Курбатов (Псков), Геннадий Машкин (Иркутск), Александр Казанцев и Вадим Макшеев (Томск), Геннадий Прашкевич и главный редактор «Сибирских огней» Виталий Зеленский (Новосибирск), красноярцы — Роман Солнцев, Эдуард Русаков, Марина Саввиных, Сергей Кузнецкихин...

И в первый, и во второй раз мне хотелось побольше пообщаться с Анатолием. Заходил по вечерам к нему в номер, несколько раз гуляли вдвоём по набережной Енисея. Разговаривали, о чём попало — сравнивали, как живут «его» и «моя» писательские организации, вспоминали общих знакомых по Иркутску и Омску, говорили о собственных литделах, о семьях...

Однажды заговорили даже о Боге, о религии — ни больше ни меньше. Я знал, что Кобенков несколько лет назад окрестился, стал искренним православным. Он же, разумеется, знал про меня, что я по-прежнему безбожник.

Я стал говорить, что мне претит не сама религия, а мода на неё, что, разумеется, чувства верующих людей я уважаю, но стремление церковников ввести преподавание начал православия в общеобразовательных школах явно противозаконно, что, например, в северных районах нашей Омской области количество татарского населения доходит до 50%, и непонятно, для чего нужны уроки Закона Божьего школьникам-татарам...

— Ладно, — помолчав, сказал тогда Кобенков, — это всё внешнее, это всё со временем как-нибудь

устаканится. А вот о главном — неужели не задумываешься?

Я, помню, ответил, что, конечно же, задумываюсь, что зря он держит меня за чурку с глазами.

— Вот-вот, — поставил точку на бесконечной теме Кобенков, — сомневающийся атеист в сто раз лучше твердолобного верующего. Так что не бойсь: не совсем ты пока пропащий...

На разных круглых столах и дискуссиях я старался сесть либо рядом с ним, либо просто поближе — так, чтобы его было получше видно. Правильно наблюдать, как он держится, — уверенно, с чувством собственного достоинства, неторопливо. Не упускает случая высказаться, говорит опять же не спеша, не опасаясь, что его перебьют и не дослушают. Одним словом, запомнилось то, чего мне самому всегда не хватало и не хватает.

Во время первых Чтений он подарил мне свой довольно солидный иркутский сборник 1997 года — «Круг (Книга стихотворений в семи частях)». В выходных данных обозначена целая компания издававших её организаций: Агентство «Комсомольская правда — Байкал», газета «Советская молодёжь», изд-во «Символ». У семи нянек дитя оказалось без глаза — книга несёт на себе черты издательской расхристанности, свойственной 90-м годам. Толя внёс поправки от руки, и поправка таких многовато — опечатки, пропуски слов и строк, непроставленные знаки препинания... И теми же чёрными чернилами — дарственная надпись на титульном листе: «Собрату по горькому счастью Александру Лейферу. С радостью общаюсь — Толя. 1998, сентябрь, Дивногорск».

Эта книга — уже зрелый Кобенков, тот, про которого сказано в прощальных колонках «Литературки»: «Он создал в стихах целый мир, который и оставил нам... Мы прощаемся с прекрасным другом и человеком, но не прощаемся с его светлыми стихами».

Чего не хватало огромной стране,
когда она губы тянула ко мне? —
и угля, и стали хватало,
и хлеба — по осени, а по весне —
уценок на спички и сало.
И горя хватало у этой страны,
но каждый имел и пиджак, и штаны —
а многие — шляпу в придачу;
и было работы полно для шпаны —
и рынки, и лавки, и дачи.

И рук ей хватало, чтоб землю пахать,
чтоб фабрики строить и голосовать
за лучших в стране коммунистов,
и было за что ей судить и стрелять
предателей и уклонистов.
Всё было у этой страны: и леса,
и реки, и степи, и бог при усах,
и барды при лесоповалах...
Ей Лемешев пел, ей Фадеев писал,
и только меня не хватало...

Во время вторых Чтений, в сентябре 2000 года, Кобенков познакомил меня с молодым иркутским поэтом Виталием Науменко. Тот застенчиво улыбался, а Толя не очень уверенным голосом

ругал земляка за стабильно нетрезвое состояние. В те же дни Анатолий подарил мне только что вышедшую книжку «Осень: ласточка напела», где в авторском предисловии про В. Науменко чётко сказано: «Мой юный друг Виталик был первым, кто прямо сказал, что у меня вышло, а что не получилось».

Честно говоря, тоненькая «Ласточка» понравилась мне больше солидного «Круга». Она собранней, чётче, яснее. Сказать об этом я автору не успел — сравнивал две книги уже дома, а писать не стал: что передашь записанными на бумаге словами?..

Процитирую из «Ласточки» два стихотворения. Вот это мы напечатали потом в «Складчине» — в уже упоминавшейся посмертной подборке:

Когда проснусь от яркого огня
Капризной музыки, не подвластной мраку,
Люблю не женщину, спасавшую меня,
А женщину, спасавшую собаку...

Когда проснусь, чтобы найти во тьме
Табак припрятанный, и путаюсь в пелёнке,
Люблю не женщину, что плачет обо мне,
А женщину, что плачет о ребёнке...

Когда проснусь, окликнутый как брат
Звездой дрогнувшей иль каплей дождевою,
Люблю не женщину, которой я богат,
А ту, которая всю жизнь бедна со мною...

И ещё одно, — посвящённое неизвестному (неизвестной?) мне В. В.:

Я-то и прежде об этом не мог,
да и сегодня случайно:
вдруг я подумал, что родина — Бог,
в нас вырастающий тайно.

С ним и светло, и, конечно, темно,
радостно и одиноко...
Родина... — может быть, это письмо,
может, и правда, от Бога...

Родина — это... А ты — про овсы
да про луга, да криницы...
Родина — это та капля росы,
В коей не грех утопиться.

Это, конечно, и ты, дуралей,
галстук за родину рвущий.
Это и я, дуралей, —
над твоей
музой кривой хохотнувший...

Во время нашей последней встречи Кобенков сделал мне ещё один подарок: с гордостью преподнёс большой (47 усл. печ. листов) прекрасно исполненный полиграфически том — «Вернитесь живыми (Повести фронтовиков)»: «Усвятские шлемоносцы» Евгения Носова, «Убиты под Москвой» Константина Воробьёва, «Дожить до рассвета» Василия Быкова, «Сашка» Вячеслава Кондратьева, «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева и «Полевая жена» Дмитрия Сергеева. Предисловие к книге

написал Валентин Курбатов, а оформление сделал Сергей Элоян. Издание было подготовлено руководимым Анатолием Иркутским отделением Союза российских писателей к 55-летию Победы. Одна из лучших книг в моей библиотеке.

В 2001 году А. Кобенков напечатал в «Знамени» (№1) статью «Иркутск: новое положение». Помещена она, как и все подобные статьи, под рубрикой «Литературный пейзаж». Нам в Омске тоже примерно тогда же позвонили из «Знамени» и попросили написать о местной литературной жизни, писали мы об омских литделах вместе с моим другом Михаилом Малиновским, напечатали наше сочинение в том же году, только в 10-м номере, название — «Мы должны научиться свободе...» — по строке из стихотворения омички Вероники Шелленберг.

Вообще, раз уж я отвлекся, то скажу, что «Знамя», несмотря на свою «высоколобость» и неизбежный столичный снобизм, о литературных делах российской провинции пишет много и регулярно. Например, о нашей скромной «Складчине», когда та была литературной газетой, писала дважды — и довольно подробно. А та же рубрика «Литературный пейзаж»: она ведь специально придумана для освещения местной писательской жизни.

Так вот, статью Кобенкова мы экземплярах в десяти отксерили: сами все прочли да ещё в некоторые другие города землякам послали, чтоб те не пропустили. Одна такая ксерокопия сейчас передо мной.

Кратко рассказав о послереволюционном Иркутском прошлом, Анатолий переходит к дню сегодняшнему и рисует примерно ту же картину, что мы видели в цитировавшейся выше статье Виталия Камышева: «Протоколы сионских мудрецов» в альманахе «Сибирь», борьба СПР с масонами и русофобами и прочие прелести...

И очень много схожего с делами в наших омских палестинах:

«В течение десяти последних лет наше отделение (Союза российских писателей — А. Л.) существовало без крыши — общались и общались мы, где придётся...».

Или:

«Сегодня, как ни сопротивлялись этому руководители области и города, как ни тешили они себя надеждой на возможное наше воссоединение, в Иркутске сосуществуют два писательских Союза»...

Для меня же, давно знающего и любящего Кобенкова, прежде всего была важна в этой статье его искренность, обнажённая наивность, которую он не растерял в литературных и околотитулярных баталиях и суете.

«В те давние времена, — читал я статью дальше, — когда мои старшие товарищи были все до единого живы и, за редким исключением, молоды, когда Союз наш насчитывал чуть больше двадцати человек и руководил им мягкий и всепрощающий Марк Сергеев, я был влюблён в каждую их книжку, ещё недописанную или уже покорёженную цензурой и вставшую на мою полку».

«Я до сих пор люблю, — продолжал я читать, — и не могу отказаться — прозу Распутина и Машкина, некоторые строки и даже стихотворения

Михаила Трофимова и Василия Козлова¹ (да, да, того самого, что с некоторых пор полюбил «сионские протоколы»), я никогда не забуду той радости, что случилась со мной после первой встречи с прозой Альберта Гурулёва и Евгения Суворова».

А, в самом деле, подумалось мне тогда, как можно забыть, что делали со всеми нами, влюблёнными в литературу молодыми людьми, «Деньги для Марии», «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Уроки французского». Отказаться сегодня от ощущений, которые вызвала когда-то в нас эта проза, отказаться из-за того, что её автор выбран некой чуждой нам группой людей своим знаменем, это всё равно, что отказаться от своей молодости.

Анатолий цитирует стихотворение своего молодого друга Виталия Науменко, и для того, чтобы понять дальнейший ход его мыслей, стоит привести это стихотворение и здесь:

Дух увлекает, и тянет земля —
Как уклониться от выбора? Для
Первого взгляда есть нивы, поля
с рисом и яблочный стук.
А для второго — смутительный свет,
Ангельский лепет, которого нет
В собственном смысле. И только поэт
слышать считает за честь.
Шум города не питающих вод,
Где отражается вечности свод...
Стебель надрезан, кувшинка плывёт,
если течение есть.

И дальше идёт узловое, главное рассуждение автора этой далеко выходящей за изначальные рамки литературно-краеведческой рубрики статьи:

«Я читаю это стихотворение как размышление о свободе — духовной и творческой. Меня глубоко ранит этот «смутительный свет», равно открывающий надрезанный стебель и полёт ангела, поровну освещающий село и город, кувшинку и настольную лампу».

И вот я думаю о том, что, благодаря молодому поэту, я не теряю то счастье, которое, казалось бы, у меня отняли, — любить всё сразу и всех сразу, мучаясь вечным и одним-единственным вопросом: кому сегодня подчиниться прежде — земле или небу, деревенской избе или городскому камню, хотя хочется, как Науменко, — всем сразу».

Почему мы отксеривали и взахлёб читали эту статью? Видимо, ещё и потому, что, объевшись высоколобых размышлений и бесконечной и бесполезной политической трескотни, устав от картонных страстей постмодерняги, как по чёрному хлебу, соскучились по простым вещам, о которых прямо говорил Анатолий Иванович:

«Я по сей день не могу забыть того чувства, которое ведёт меня от одной книжки к другой, — того ощущения, из которого следует, что всякий пишущий — это мой брат, всякая сочинительница — моя сестричка: и они живут словом и из-за слова, и я».

¹ Тогдашнего редактора альманаха «Сибирь»

Диалог — единственное наше спасение, панацея от всех бед, лекарство от всех непоняток.

«Для диалога многое уже есть: Пушкин, боль за порушенную деревню, тревога за уходящий город, элементарное счастье писать».

Счастье писать... Этими словами и заканчивается статья.

В ноябре 2002 года под Новосибирском состоялся IV Съезд писателей Сибири. Я на него не ездил, но коллеги — Галина Кудрявская и Александр Сафронов — привет от Анатолия мне оттуда привезли.

На следующий год в «Сибирских огнях» появились «Воспоминания о Круглом столе поэтов, имевшем место состояться в конце ноября 2002 г. на IV Съезде писателей Сибири» (№ 7). Судя по этим «Воспоминаниям» (автор — Станислав Золотцев), Кобенков вёл себя на этой «тусовке» резко и нервно. Чувствуется, что он устал:

«Кобенков (с усталым вздохом): «Да не по сердцу мне сегодня читать стихи свои. Поймите, мне (да и многим из нас, только не все в этом могут признаться) стихи — свои собственные — не то чтобы надоели, но неинтересно стало загонять свою душу в ямб, хорей и анапест. Твоя, Стась, теория о натурфилософской лирике как о предмете зрелости тут не годится. Наша зрелость — иная. Лет 30 назад я не умел писать стихи, они были беспомощными, но в них звучала моя живая боль, звучала моя радость — звучала! Вот главное. Музыка в них жила!..»

И дальше:

«...сейчас, как ни страдаем, как ни стараемся, получается больше литература, а не музыка. Слова, слова... Меня уже раздражает умение, и своё, и чужое. Мы пишем прежним языком, а он уже не годится для того, чтобы выразить себя нынешних. А нового языка найти не можем. И потому нас не слышат, нет у нас читателя. Хотя состояние — полная свобода от всех. Только ненадолго, а что будет завтра? послезавтра? так и будем без языка, без музыки и без читателя?»

С.Золотцев называет тогдашнее кобенковское красноречие «отчаянным». Что ж, сегодня можно предположить: вполне возможно, уже тогда у Анатолия вызревало решение сменить обстановку, начать новую страницу — уехать из Сибири.

Усталость видна и в реплике, брошенной им в ответ на приглашение принять участие в критическом споре: «Не хочу и не буду, это мне не по душе, получится полемика, спор, перестрелка снова, а мы все уже налаялись за минувшие годы, я лично настродался, мне по душе писать о любимом, о заветном...».

Выше уже упоминался итоговый, двенадцатый по счёту, сборник — «Строка, уставшая от странствий... (Стихи разных лет)» (Иркутск, 2003). Он достаточно велик по объёму (почти 10 усл. печ. листов) и, по сути дела, представляет собою избранное поэта. Поэтому писать о нём подробно в моём очерке вряд ли нужно — ведь я и так уже в меру своих сил, пусть пунктирно и отрывочно, но всё же попытался показать литературный путь своего товарища — от омского альманаха «Ветер» (1975) до сборника «Осень: ласточка напела» (Иркутск, 2000). Анализировать «Строку...» — значит, в какой-то степени повторяться, ибо все

или почти все уже цитировавшиеся в очерке стихотворения в неё тоже включены.

Примечательно, что составлял своё избранное автор не сам, а доверил это деликатное дело друзьям — уже знакомому нам Виталию Науменко и известному иркутскому издателю Геннадию Сафронову. Корпусу стихов предпослано предисловие составителей. Пр процитирую из него два места.

«Кобенкова, который был и остаётся больше лириком, чем эпиком, куда живее интересует, как смотрит на него любимая женщина, чем родственны ему бабочка и кузнечик, дождь или солнце придут в его город с утра, нежели то, какую медаль повесили на грудь очередному вождю или какая новомодная литературная эра провозглашается со страниц литературных журналов».

И ещё:

«От прозрачной по слову, по-детски беззащитной ранней лирики он перешёл в том числе и к высказываниям весьма жёстким, реминисценциям, бесстрашно вызывающим самые великие тени. В чём-то он столь же сентиментален, что и прежде, но это сентиментальность, поддержанная новым опытом, — опытом, жадно пропустившим через себя бездну информации, — той, что не объясняет мироздание, но настаивает на его многоэлементности».

Много ещё верных и метких наблюдений в этом не таком уж и большом предисловии. В одном только ошиблись его авторы. «Неверно считать эту книгу итоговой, правильно — этапной», — написали они в заключение. К несчастью, состояться следующему этапу было не суждено. Поэтому так дорого мне дарственные строки на традиционном месте — титульном листе: «Александру Лейферу, сомученику и сосчастливцу на просторах литературной Сибири — сердечно — Толя. Март 2003, Иркутск».

Последний его подарок, последние адресованные мне строчки...

Пожалуй, стоит рассказать о том, как я попал на Толину могилу, т. к. есть в этой небольшой истории нечто символическое, во всяком случае — для меня.

В январе 2007 года я прилетал по делам в Москву. Дел этих, как и во всякий приезд в столицу, было много, но одно из них — особое: хотел побывать на могиле. Олег Хлебников в «Новой газете» писал о ней так: «В «Автоэпитафии» Толя всё предсказал — он похоронен на Переделкинском кладбище у колодца «к виску наискосок», родника и дороги». Вот эти строки из стихотворения «Автоэпитафия»:

Ничего не остаётся —
 только камни да песок,
 да соседство с тем колодцем,
 что к виску наискосок.

Остановился я в переделкинском Доме творчества и в один из первых дней пришёл в музей Бориса Пастернака — просто «отметиться», т. к. и до этого бывал там не раз. Случайно услышал, как в ответ на вопрос одного из посетителей давешка-экскурсовод назвала своё имя — Татьяна Нешумова.

Анатолий Кобенков

— А Вы знаете, — улучив момент, сказал я ей, — у нас в Сибири был такой поэт — Владимир Нешумов.

Оказалось, что это её родной дядя!

О том, что мы с В. Нешумовым оба состоим в редколлегии красноярского журнала «День и Ночь», я говорить не стал — ещё подумает, что хвастаюсь, а вот о том, что в Сибири до сих пор помнят и любят покойную супругу Нешумова — Лиру Абдуллину, сказал. Оказалось, Татьяна знает и её, больше того — сама пишет стихи, выпустила два сборника.

Договорились встретиться и поговорить уже не на ходу.

На следующий день я пришёл в пастернаковский музей в удобное для Татьяны время, она усадила меня в соседней с экспозицией комнате за огромный старинный стол и начала поить чаем. Оказалось, что не в таком уж далёком прошлом за этим столом пила чай семья Пастернаков!..

Я листал подаренные мне Татьяной её сборнички — «Нептица» (М, 1997) и «Простейшее» (М., 2004), а потом решил заговорить о печальном — спросил, не знает ли она, в каком именно месте переделкинского кладбища похоронен поэт Анатолий Кобенков.

— Сама я точно не знаю, — сказала Татьяна, — где-то недалеко от моста через Сетунь. Сейчас позвоним моему приятелю, он хоронил Кобенкова. Знаете такого поэта Веденяпина?

И вот я сижу за столом Пастернака, держу возле уха Танин мобильник, и поэт Дмитрий Веденяпин, стихи которого я, конечно же, не раз читал в московских журналах, объясняет мне, как именно пройти к Толиной могиле... Ну, какова ситуация?..

Веденяпин навёл меня абсолютно точно: светлый лакированный крест, ещё не успевшие пожухнуть венки возле него были видны уже с дороги. Вот и забранный в трубу-колодец родник. И та же, что и на траурной полосе «Новой газеты», фотография — Толя в вельветовом пиджаке; только скадрировано по-другому — справа срезаны книжные полки, на фоне которых он снялся. Журчит внизу речушка Сетунь, шумят над головой деревья. Рядом — тоже недавняя могила умершего непонятной смертью известного журналиста и политика Юрия Щекочихина.

Хотел прямо с могилы позвонить в Омск Березовскому, но треклятая техника не сработала. Да и хорошо — это, пожалуй, был бы уже перебор.

В следующий раз мы пришли сюда с земляком — давно уже живущим в Москве моим другом Михаилом Сильвановичем, приехавшим в Переделкино ко мне в гости и прихватившим по моей просьбе фотоаппарат. Когда-то, в далёком 1975 году, он, редактор омской газеты «Молодой сибиряк», печатал в ней Толины стихи, в частности, и тот поэтический альманах «Ветер», о котором говорилось в начале этого очерка. И вот теперь, тридцать два года спустя, он, привычно меня выдержки, фотографировал могилу своего давнего автора...

Не люблю Москву, не люблю стойкой, испуганной нелюбовью вечного провинциала. Верно написал про А.Кобенкова Евгений Евтушенко: «Москва не поверила и его слезам».

г. Омск

Иерусалимский ослик

Цветам и травам должное воздав,
он веточку омелы вдел в копытце...
Мне ослик нравится — особенно, когда
он не в меня, а в грусть свою глядится.
И вижу я, что эта грусть светла
и наблюдаю, как она сказала
на всех живых, иначе бы листва
не пела бы, а ты не улыбалась.
И мнится мне, что многие парят —
кружатся лёжа и взлетают сидя,
когда в саду на ослика глядят
и что-то видят или мнят, что видят...
Спасибо ослику — особенно тому,
что, подчиняться правилам отчаясь —
уже по свету, а не по уму
или тряпью — мы осликов встречаем.
Спасибо ослику — за то, что он живёт,
за то, что мы присутствуем при этом...
За влажный взгляд, за плюшевый живот...
За то, что он явился к нам с приветом...
Давай с тобой в рентгенокабинет
его сведём, и всем на радость снимем
и грусть его, и тот большой привет,
что он принёс из Иерусалима...



Евгений Москвин

Профили

Журнальный вариант

Пролог

Клуб

1.

Может быть, из-за того, что сегодня с самого утра в жизни Михаила Берестова происходили серьёзные неприятности, он и к полудню, возвратившись домой раньше обычного и заглянув в комнату жены, не увидел там ничего хорошего: Софья сидела на полу и собирала осколки блюда — подарок его матери на свадьбу.

— Посуда бьётся к счастью, а? — осведомился он, безуспешно стараясь изобразить саркастический тон.

Они встретились глазами.

Софья ничего не ответила, собрала осколки в целлофановый пакет и водрузила его на стол; как странно, в её движениях присутствовал неожиданный оттенок: она произвела эти действия как-то картинно, будто бы водружала памятник на постамент, — и поскольку это совершенно не сочеталось с его настроением, Михаил не испытал ничего, кроме тоски, которая так и лезла в его мозг, стараясь проглотить любые мысли.

— Да уж, день не может ограничиться только одной неудачей, хотя бы даже и крупной... обязательно последует что-нибудь ещё.

— Тебя уволили?

— Нет, я сам ушёл: больше так не могу. Все эти министерские штучки мне осточертели и, в особенности, программа твоего отца. Я, конечно, не в его отделе — никогда бы даже носа туда не сунул — но тогда мне тем более безразлично, что там происходит.

— И всё же тебя уволили, — произнесла она как-то медленно, — отец уже позвонил и сообщил об этом.

Михаил посмотрел на жену.

— Твой отец? С работы? Зачем ему звонить, он же здесь живёт!

Софья опять ничего не ответила, только повернулась от стола и посмотрела на него. Берестов сел в кресло и сказал:

— Сам я ушёл или нет — это не имеет значения, в конце концов, — но в голове его сама собой вдруг начала закручиваться одна и та же мысль, — очень осторожно, как будто прощупывая его извилины, и навязчивость её оттого только ещё более возрас- тала: «Великовский. Нет, он не просто так позвонил. Это он спровоцировал увольнение. Что ему стоило, хотя бы это даже и был член его семьи? Мало ли таких примеров! Ве-ли-ков-ский...», — пусть я солгал тебе. Главное то, что твой отец приложил к этому руку, — теперь я уверен в этом ещё больше.

— Ты всегда говоришь мне это таким тоном, будто и впрямь твой святой долг — показать всю его подноготную, — Софья старалась произнести это как можно ровнее, но всё же от него не ускользнула нотка неуверенности в её голосе, и тут Михаил понял, что где-то в глубине души она на его стороне.

— Если я так делаю, то ненамеренно... Сегодня пятница. Ты помнишь, куда я хожу по пятницам? Помнишь, конечно. Этот домашний клуб образовывался не стихийно, но целыми этапами: всё началось с того, что я и ещё два моих друга, Застольный и Староверцев, (первого я знаю со школьной скамьи и служу — теперь уже служил — с ним в одном министерстве, а второй, будучи всего на пять лет меня старше, преподавал у меня в институте право), стали регулярно встречаться по пятницам. К нам присоединилась пара служащих из министерства, а потом — ещё и их приятели. Перезнакомившись, я и сам очень быстро с ними подружился, кроме того, мне всё время казалось, что этих людей я вижу не впервые... И все они знают твоего отца! Я имею в виду, лично. Всем этим людям когда-то приходилось общаться с ним — так уж вышло. И представь себе, каждому из них Великовский сделал нечто такое, после чего немудрено было потерять к нему уважение — они и потеряли. Ты только не подумай, что мы все собираемся лишь для того, чтобы посплетничать о твоём отце, но признаю, мы действительно часто заводим о нём разговор: фигура он заметная, и местная газетка «Три флага» едва ли не каждое его действие пытается раздуть до уровня сенсации.

Софья внимательно слушала, о чём говорил её муж, а потом произнесла:

— Ты говоришь, каждому члену нашего клуба мой отец причинил какие-нибудь неприятности?

— Совершенно верно. И я ещё раз повторяю: выяснилось это не сразу. <...> К примеру, Застольный привёл к нам местного таксиста, фамилия его Игнатъев. Казалось бы, какое отношение этот человек может иметь к Великовскому, но и здесь не обошлось без сюрприза: как-то раз служебный автомобиль твоего отца не прибыл вовремя, шофёр подвёл: додумался сесть за руль после трёх бутылок пива и налетел на столб. В результате Великовскому пришлось добираться до министерства самостоятельно — вот он и поймал то самое такси, которое вёл Игнатъев. Но так вышло, что от всех этих треволнений Николай Петрович забыл дома свой туго набитый кошелек. Так что ты думаешь, несмотря на своё обещание выслать таксисту деньги в течение ближайших двух дней, он так этого и не выполнил — просто забыл об этом и всё, а ведь от таких мелких проступков

страдает авторитет всего министерства. Получается так: я, мол, известный и уважаемый в городе человек, так изволь катать меня бесплатно — я ведь тебе ещё и честь делаю, что сажусь в твою машину. Да мне и помнить некогда о каком-то там простом человечке. А потом, Софья, ты ведь знаешь ещё одну губительную черту твоего отца: если уж он вбил себе в голову какую-нибудь идею, то пустит на неё все административные средства, а на остальное будет бережлив до гадости. <...> К нам приходит одна пенсионерка, Анна Петровна Агафонова, — вот это уж точно человек, которому Великовский сломал жизнь своей политикой. Асторин, владелец антикварного магазина, — то же самое; его обложили такими налогами, что в пору закрывать бизнес. Словом, Великовский развивает одно в ущерб другому, и иначе не в состоянии. Министр образования у него под пятой, а остальных... остальных тоже удалось прибрать к рукам, — так мы думаем. Знаешь, что я скажу Софья? Я мог бы просить тебя, чтобы ты поговорила с ним об этом увольнении, <...> но я не буду этого делать и точка, не хочу унижаться. Те, кто увидит Великовского первый раз, кто не знает, что творится у нас в городе, обязательно отметит для себя: а ведь он не производит впечатление деспота. И правда, кажется, самый миролюбивый и мягкий человек! Ан нет, на самом деле паук, плетущий мягкую сеть.

<...>

— И что ты теперь собираешься делать? — спросила Софья.

— Забрать своего сына из детского сада, раз уж сегодня я пришёл раньше.

— Я имела в виду...

— Да-да, я знаю... <...> Я не решил ещё. Может, пойду работать в Бюро социологических исследований — меня давно туда зовут. Посмотрим. И обещаю, что когда твой отец придёт сегодня домой, ты не скажешь ему ни слова обо мне.

— Если он начнёт сам, тогда...

— Нет, в любом случае, прошу тебя, — он поцеловал её, — не поддерживай разговор, хорошо? Я не собираюсь туда возвращаться.

Когда Берестов был ребёнком, ему нравилось смотреть, как восходящее солнце отражается в окнах многоэтажных домов, — у него создавалось впечатление, что некий маляр красил дом и, запасшись рыжей краской, решил побаловаться и ливануть её на оконные стёкла; видя, что кое-какие окна всегда оставались бледнее, ему хотелось протянуть руку и подушечками пальцев передвигать их туда-сюда, — словом, для него это был не дом, а стеклянные шашки, которые, как он воображал себе, в отсутствии всякой геометрической перспективы стоят прямо перед ним. Михаил вспомнил всё это, когда увидел Петю в раздевалке детского сада, потому что его сын, катая по подоконнику небольшой грузовичок и иногда поднимая голову, наблюдал из окна подобную картину, только солнце было жёлтым и очень ярким, его лучи просто-напросто поедали часть окон противоположного дома, а остальные были как будто облиты молоком.

Берестов подошёл к Пете и запустил руку в его жёсткие волосы.

— Привет, папа!..

— Да, привет... сегодня я за тобой пришёл... обними меня... вот так... ты тут играешь, а в окно смотришь хоть иногда? Видишь тот дом? — Берестов уже протянул руку, чтобы указать, как вдруг заметил рисунок на тетрадном листе, который Петя прижал локтем к подоконнику, — это ты нарисовал?

— Да.

«Сколько уж мы в детстве нарисовали *таких* рисунков, — подумал Михаил, — все люди на них как будто стоят в профиль — никогда не надо утруждаться и пририсовывать второй глаз, ибо достаточно одного... Они как будто и вокруг себя всё геометризуют: если человек находится внутри какой-нибудь комнаты, дверь — всего лишь линия, лампочка на потолке — это круг и исходящие из него палочки света, а сама комната — большой прямоугольник».

— Мне нравится.

Михаил всегда задавался вопросом: а кому же первому пришла в голову идея такого рисунка. Ребёнок это был или взрослый? Или, быть может, пещерный житель, старавшийся изобразить на камнях себе подобных. Кто знает?

Выйдя во двор, они направились к машине, которую Берестов припарковал у калитки.

— А ты в курсе, что дедушка был здесь сегодня? — осведомился Петя.

Берестов остановился как вкопанный.

— Ве... дедушка? Постой-ка, — Михаил присел и посмотрел своему сыну прямо в глаза, — а что он тут делал?

— Он немного поиграл со мной, а потом пошёл спорить с воспитательницей.

— С Ириной Владимировной? Зачем?

— Он вступился за меня, — уверенно сказал Петя, — чтобы она меня больше не наказывала.

— Она тебя наказала? За что?

— Я... да так, ничего особенного, — Петя отвернулся, — дедушка был на моей стороне.

Михаил развернул его к себе.

— Может, ты всё же скажешь, о чём идёт речь?

— Ну ладно, хорошо. Я хотел научить своих друзей играть в карты.

— Господи, Боже мой! Ты умеешь играть в карты? Откуда ты их взял? Стащил из дома?

— Нет, их кое-кто ещё принёс. Но это бесполезно, они ничего не поняли из того, что я им объяснил. Не доросли ещё.

— А ты, значит, дорос? И дедушка пришёл и вступился за тебя? Не болтай чепухи, не мог он этого сделать.

— Почему?

— Хотя бы потому, что он карты терпеть не может! Да и он на работе сейчас, а сюда в жизни не придёт.

— Нет, сегодня дедушка был здесь, — Петя упрямо поддал камешек, лежавший на дороге, — а потом, когда они поругались, *так получилось*, что он умер.

— Как ты сказал?!

— Да-да. Но я даже не могу понять, кто его убил. То ли наша повариха, то ли это воспитательница подстроила. Повариха готовила обед и собиралась уже жарить курицу в духовке, но никак не

могла её туда запихнуть — она по какой-то причине всё время увеличивалась. Но, в конце концов, ей на помощь пришла воспитательница, и они общими усилиями это сделали и захлопнули дверцу. А потом, когда повариха поглядела туда снова, то страшно закричала — в духовке жарился мой дедушка, — Петя проговаривал эти слова с каким-то недоверием, словно не зная, как к этому относиться, — а я-то думал, что он к тому времени уже ушёл.

— Да не болтай ты чепухи! — Берестов выпрямился в полный рост, — если ты будешь сочинять, я тебя накажу.

— Я и не болтаю. Жалко дедушку. Он столько всего хорошего мне сделал и сегодня старался помочь.

Михаил открыл для сына заднюю дверцу, а сам сел за руль и тронулся с места. Снова в его голове стала навязчиво закручиваться мысль, только теперь она была одним единственным словом: «Великовский... Великовский... Великовский... Великовский...»

— Сын, скажи мне такую вещь... почему ты считаешь, что дедушка всегда и во всём защищает тебя?..

«...»

— Не знаю... — в голосе Пети послышались нотки удивления, — а почему бы и нет?

«Всё верно, почему бы и нет...»

«...»

2.

Берестов немного опоздал и, когда Застольный впустил его в прихожую, понял, что всё общество уже собралось в Большой комнате.

— Извини, что заставил ждать.

— Ничего страшного, расскажи лучше о том, что там у тебя случилось на работе. И о Великовском заодно.

— О ком? Постой-ка, если ты имеешь в виду моё увольнение, то не факт, что... — хотел было запротестовать Берестов, но Пётр Николаевич оборвал его:

— Брось, все теперь думают, что он приложил к этому руку, ибо ты выступал против его политики.

— Кто это — все? Человек пять-шесть?

— А этого недостаточно? «...» Твой тесть совершил ещё один ловкий ход, дабы упрочить свою власть.

— Но что мы можем с этим сделать?

— Что-нибудь да можем.

Берестов внимательно посмотрел на него, но Застольный уже отвёл взгляд, развернулся и направился в Большую комнату; Михаил последовал за ним.

Что-нибудь да можем...

— Вот он, наш несчастный! — пафосно воскликнул Пётр Николаевич. «...»

— Скоро Великовский получит повышение, — сказал Асторин, —

«...» Министр по образованию подаст, наконец, в отставку, а Великовского поставят на его место. «...»

— Это вполне логично, — согласился Застольный, — и всё-таки Великовский уже прибрал к рукам всю образовательную систему, поэтому

мне кажется, он захочет завладеть ещё каким-нибудь отделом. Твоё увольнение, Михаил, свидетельствует о том, что он расчищает себе дорогу к Ликачеву.

Берестов обвёл взглядом присутствующих.

— Никто из вас так и не представил ни одного факта, который свидетельствовал бы о том, что Великовский действительно причастен к моему увольнению. Но говорю я это не потому, что сомневаюсь в правоте каждого из вас — просто у меня такое чувство, будто все вы чего-то не договариваете.

— Хорошо, — произнёс Застольный, — буду говорить напрямик. «...» Последнее время у вас с Ликачевым были кое-какие прения, но ты не ожидал, что дело закончится увольнением.

Берестов кивнул:

— Ладно, ну и что?

— То, что я скажу сейчас, заинтересует тебя...

«Рассказал мне об этом мой секретарь Левин, он клянётся, что это чистая правда. Пару дней назад он забыл в министерстве кое-какие важные документы, с которыми ему надо было поработать дома; пришлось вернуться туда, когда был уже поздний вечер, часов в одиннадцать. То, что он обнаружил, очень его удивило: Великовский был до сих пор в министерстве, в своём кабинете, и по голосам, которые доносились из-за двери, Левин мог судить, что он там не один, а с Ликачевым. Секретарь решил не раскрывать своего присутствия, «...» решил забрать бумаги и тихо ретироваться, но всё же проходя мимо неплотно прикрытой двери, не смог перебороть любопытства, остановился и прислушался.

Они обсуждали работу многих министерских чиновников, в том числе и твою, Михаил. Происходило это примерно так:

— Вы прекрасно понимаете, Виталий Николаевич, — говорил Великовский. Сейчас он — (и это красноречиво доказывает то, что власть его очень сильна) — разговаривал с Ликачевым не просто на равных — тон его вполне мог бы сойти за начальственный, — после того, как вы уйдёте на покой, я буду претендовать на ваше место. «...» И от одного из ваших подчинённых, который, к сожалению, является ещё и моим зятем, мне хотелось бы избавиться прямо сейчас, до того, как я окажусь на вашем месте. Поймите, кое-какие его действия вызывают у меня серьёзное недовольство.

— Вы к нему ближе, вот сами с ним и разберите.

— Нет, так не пойдёт, — сказал Великовский, — его начальник — вы.

— Что я со всего этого поймею?

— Разве вы не знаете, что Берестов управляет определёнными деньгами, которые после этого освободятся?»

Застольный остановился и внушительно посмотрел на Берестова. Тот подошёл к окну и стал курить в открытую форточку. Стекла совсем не было видно, и со стороны казалось, что голова Михаила опустилась на широкие лапы деревьев в саду, а он, пуская струи сигаретного дыма, старается усыпить их, чтобы опора увязла и не покачивалась от ветра.

Рассказ таксиста

И тут послышался внушительный *дин-дон*, и сразу после этого два более скорых, но менее звонких, которые звучали как будто в подтверждение первому, и я сразу понял, что некто, стоящий за дверью очень нервничает.

— Мы ждём кого-то ещё? — спросила старуха Агафонова.

— Нет, понятия не имею, кто это, — Застольный пожал плечами.

Когда он отворил дверь, на пороге стоял... Великовский!

Да уж, его появление вызвало просто-напросто шокирующий эффект, что и говорить! А то настроение, в котором он пребывал, ясно говорило об одном: быть буре, шторму, урагану, — словом, как хотите, так и называйте. Я частенько слышал от Берестова и Фрилянда, что Великовский всегда слащав, хитёр, как змея, мягко стелет да жёстко сплет, и прочее в таком же духе, а сейчас он, видно, совершенно себя не контролировал. <...>

Только переступил порог квартиры, разом вылил на Застольного такое количество грязи, какое мне не приходилось терпеть и от сторожа в наших гаражах, когда я как-то раз, подвыпивший, приехал ставить машину аж в три часа ночи.

— Я вчера три раза предупредил вас, чтобы вы ни в коем случае не забирали из офиса эти бумаги! Три раза, Застольный! Вы глухой, что ли? Хотите с работы вылететь?

— Я-я...

— Молчать! — взвизгнул Великовский, — а то завтра же рассчитаю. Меня ничего особо не удерживает, ясно вам? Если бы у вас хоть семья была, а то на зарплату только себе пузо наедаете и тупеете с каждым днём! — тут он посмотрел в нашу сторону — рано или поздно он всё же должен был обратить внимание на целую группу людей, которая так усиленно буравила его четырнадцатью глазами, — о-о... да я вижу, вы тут ещё и развлекаетесь... мой незадачливый зятёк к вам пришёл. Да уж, Петенька, я так чувствую, вы твёрдо вознамерились стать ему другом по несчастью! Что вы стоите, как истукан, чёрт бы вас побрал!

Застольный вяло развернулся, точно юла, которая совершает последний оборот перед падением, и направился в свою комнату. <...> Великовский всё продолжал орать, даже тогда, когда Застольный уже принёс ему увесистую картонную папку, и в это время вдруг запел его мобильный телефон; Великовский вытащил его из брюк и вдруг как брякнет об пол.

— Вот мне уже министр звонит! И как теперь, чёрт побери, мне разговаривать с ним? Как я ему отвечу, вы хоть подумали, а? — Великовский воздел руки к потолку, будто взывал к Господу Богу, — разгильдяи! Вы тут будете развлекаться, а я должен за вас работать...

И тут одновременно — (да-да, именно одновременно, обратите на это внимание!) — произошло вот что: мы с Фриляндом отделились от общей группы, бок о бок прошли по коридору в прихожую и, миновав Застольного и приперев орущего чиновника к стенке, разом нанесли ему два сокрушительных удара в оба глаза. Теряя сознание, он сполз по стене примерно так же, как делает

это героиня мыльной оперы от несчастливой любви.

Следующие две минуты мы все стояли в гробовой тишине, как будто в ожидании, пока он очнётся; но вы, конечно, понимаете, каждый из нас думал в этот момент о... возмездии?

Великовский, тем временем, встал на ноги; оба глаза его распухли. Он больше уже не верещал, а только прошипел:

— Вам всем конец... — и подобрав с пола свою идиотскую папку и телефон, вышел за дверь, которую молча успел отворить для него Застольный.

<...>

3

...Месяц спустя Михаил Берестов вошёл в кофейню на одной из окраин города. Застольный уже ждал его. Перед Петром Николаевичем лежало несколько скреплённых листов бумаги.

— Садись, есть новости, важные настолько, что нам необходимо будет сделать экстренное собрание.

— Что случилось?

— Видишь ли... ты упустил очень существенную деталь, а я обратил на неё внимание и выяснил вчера много всего интересного. Я говорю об этом художнике, племяннике Великовского, который приедет со дня на день; его дядю повысили до министра, и он должен будет выполнить пьедестальную причуду своего родственника — писать кабинетный портрет — при этом сам он до сих пор не осведомлён о настоящей цели своего приезда. Ты хорошо знаешь Павла Гордеева?

— Нет, — отвечал Берестов удивлённо, — доселе он навещался сюда лишь один раз, лет шесть назад, и то всего на несколько дней. Софья тогда ходила беременная, и я только и делал, что суетился по поводу нашего первенца. <...> Но, к слову сказать, и дядя его тоже не очень хорошо знает. Это отцовская сторона, а Павел воспитывался матерью — отец бросил их семью, когда тому не было ещё и года.

— Я так и подумал, что Великовский мало с ним знаком, — кивнул Застольный, — знал бы он его лучше, не стал бы подпускать к себе близко.

— А что такое?

— Этот парень несколько лет лечился в психиатрической больнице. Взгляни на копию заключения главврача.

Берестов взял бумаги.

— Вот это номер... Выходит, Гордеев сумасшедший? Я понятия не имел.

— Можно и так сказать. К тому же большой борец за творческую свободу. В психушку он попал из-за нервного срыва, случившегося после смерти его девушки. Она выбросилась из окна, но ходят слухи, что, будучи в состоянии аффекта, это он её выбросил.

— В состоянии аффекта?

— Да. У него было от чего прийти к помешательству. Славы он так и не снискал, денег наверняка ни рубля; трое его родственников умерли в течение одного года: мать и дядя погибли, бабка скончалась через месяц от сердечного приступа, — а ещё раньше не стало его деда, которого он очень любил. Это ты хотя бы знаешь?

— Нет, — пожал плечами Берестов; голос его был всё таким же удивлённым.

— Всё ясно. Но это неважно — теперь ты в курсе. По поводу девушки так никто ничего и не доказал, иначе, как ты понимаешь, Павел не был бы сейчас на свободе. Но девушка якобы собиралась его бросить или бросила — тут тёмная история. Я могу раскопать многое, но здесь не удалось.

— К чему всё это? — Берестов непонимающе посмотрел на своего друга.

— У меня есть план. Уверен, он сработает. Я говорю по поводу того, что мы обсуждали последний раз.

— Не понимаю...

Застольный внушительно посмотрел на Михаила. Секунду тот колебался, но вдруг прищурился, как бывает, когда человека посещает неожиданное открытие.

— Господи, неужели ты предлагаешь...

— Нет-нет, не подставу, ни в коем случае, — перебил его Берестов, — мы только припасём его на всякий пожарный, а так будем оберегать. Понимаешь?.. <···> Ну ладно, здесь слишкомлюдно... поговорим сегодня вечером, у меня дома... <···>

Павел Гордеев появился в В*** 21-го апреля. Великовский встречал своего племянника на железнодорожном вокзале.

— Дядя, привет! Рад вас видеть! — Гордеев переложил чемодан в левую руку, чтобы поздороваться

— Здравствуй. Ну и багаж у тебя!.. Тяжеленный...

— Не говорите... неприспособленная рука художника затекает моментально.

— Не волнуйся, я на машине.

— Вы сами водите?

— Да. Мой шофёр пока в отпуску, а никакого другого я не желаю... Ты, наверное, устал.

— Да ерунда.

— Нет, правда. Давай сюда чемодан — я понесу, — Великовский заботливо перехватил у племянника квадрат чемодана.

Спустя минуту они сели в машину.

— У меня будет к тебе одна важная просьба — очень существенный вопрос.

— Говорите, — Гордеев пожал плечом.

— Нет, не сейчас, чуть позже. Сначала поедим, выпьем... вот потом всё обсудим.

За ужином, когда вся семья собралась за столом, Берестов принялся расспрашивать Гордеева о его творчестве, а заодно прибавил, что Николай Петрович очень этим интересуется.

— Мне помнится, вы раньше преподавали в художественной школе? А сейчас там же остались?

— Нет, я ушёл.

— Зарабатываете исключительно своими картинами, стало быть?

— Да, — ответил Гордеев.

— Вот, пожалуйста, посмотри на него, — Великовский торжественно протянул руку, успевшую уже пропахнуть свинными отбивными, — гениальный художник. Много ли таких, которые могут прожить на одно искусство!

— Мне просто повезло.

— Э-э нет, брат, так дело не пойдёт! — дядя вдруг ни с того ни с сего яростно расхохотался.

Берестов неприязненно покосился на своего тестя; этот взгляд, быстрый и колкий, от Гордеева не ускользнул, и художнику — он сам не мог понять почему — стало не по себе. Разумеется, причина этого веселья, так внезапно вспыхнувшего на дядиных полугубах, пока осталась для него загадкой...

— Давайте выпьем, — сказал Николай Петрович.

Гордеев, не сказав ни слова, взял квадрат стакана и поднёс его к полугубам, но тут вдруг что-то звякнуло на дне, и он удивлённо заклонил им свой глаз.

— Боже мой! — воскликнул он, — по-моему, там лежит монета.

— Ах! — Великовский рассмеялся, — это всё Петя пошаливает. Вечно он раскидывает мои коллекционные монеты! Потом они оказываются в самых невероятных местах! — Николай Петрович наклонился и заклонил собою мальчика, чтобы строго посмотреть на него, но было видно, что на самом деле всё это его только забавляет, — ладно, дай мне её сюда, — он взял у Гордеева жёлтый кругляш и, встав из-за линии стола, достал с плоскости шкафа серебряную копилку в виде свиньи.

— Здесь вы их и храните?

— Да. Я покупаю их у местного антиквара. Если хочешь, могу показать тебе те, которые ещё не раскиданы.

Часть 1. Плоский мир Гротескные двойники

Глава 1

После ужина, когда Петя, оставшись один в плоскости комнаты и оккупировав стол, принялся играть с коллекционными монетами своего дедушки, — (тот вроде бы даже специально оставил копилку прямо на столе), — и раскладывать их возле тарелок — как будто хотел с кем-то расплатиться — Великовский позвал племянника в свою комнату.

— Теперь можно и поговорить. Существует одно неотложное дело. <···> Собственно, для его решения я тебя и пригласил.

Когда Гордеев услышал эти слова, его странное продолговатое лицо с носом-треугольником и чёрным квадратным глазом без белка блеснуло едва заметной улыбкой — уголок розовых полугуб чуть-чуть прогнулся вверх, обозначив на щеке впадинки, напоминавшие точку и несколько открывающихся скобок за ней; он последовал за дядей.

Оказавшись в плоскости комнаты, двое людей расположились друг против друга в необычных кожаных креслах с несколькими спинками, которые по форме напоминали растопыренные ладони. В глазу Павла заблестело отражение серебряноседых волос Великовского, которые защекотали подушечку среднего пальца кресла, как только их хозяин положил на него свой профиль.

— Павел, ты наверняка запомнил эпизод, когда мы ещё стояли на перроне: я только встретил тебя, ты вышел из вагона и перекладывал чемодан из руки в руку, будто не мог принять решение, какой

из них со мною поздороваться — в этот самый момент мимо проходил человек в чёрном костюме, и как только его фигура заслонила собой мою, он тут же вежливо поприветствовал меня и поздравил, правда не сказал, с чем, и ты в результате наверняка ничего не понял.

— Да, помню.

— Дело в том, что этот человек служит вместе со мной в министерстве и знает одну новость — недавно я заслужил повышение; умер один министр, не в том отделе, где я работал, но в другом, и меня поставили на его место.

— Ну что же, и я поздравляю вас, — Гордеев опять улыбнулся и пожал плечом; было видно, что Павла не особенно интересуют карьерные заслуги его достопочтенного дяди, — он только что сытно и вкусно поел, и теперь, когда его немного клонило в сон, ему, скорее, было бы приятно слушать тихие булькающие звуки пищи, которая, находясь ещё где-то в районе грудной клетки, старалась проникнуть в живот.

— Спасибо, спасибо... но я продолжу. <...> Дело в том, что на середине плоскости моего нового кабинета висит одна картина, весьма неплохая, между прочим, и изображает она Ликачева, — (так звали прежнего министра), — это его портрет, но оставить его, <...> никак нельзя — теперь пост занимаю я. Вот мне и пришло в голову — можно написать другой портрет, мой собственный, и повесить его вместо старого. Естественно, я решил обратиться к тебе, ты профессиональный художник, — не нанимать же кого-то со стороны.

За то время, пока дядя говорил, Гордеев успел несколько раз зевнуть, и его открытый полурот, образовывая прямой угол, напоминал птичий клюв, но как только молодой человек понял, что Великовский затронул тему творчества, хотя бы и даже чисто с практической точки зрения, — в искусстве Николай Петрович никогда не разбирался, и его слова о «тонком темпераменте» и «весьма неплохой картине» являлись оценкой дилетанта, — профиль Гордеева сразу же принял вид если и не очень сосредоточенный, то, во всяком случае, заинтересованный.

— Ах, вот оно что! Вы звали меня для работы и даже не предупредили. Но... это неважно, в конце концов, — все принадлежности я всегда беру с собой, в любую поездку... Есть кое-что более существенное. Вы же знаете, что я пишу очень необычные полотна. Разве это то, что вам нужно? <...>

— Я предоставляю тебе полную свободу действий.

— Если я буду рисовать ваш портрет, я должен знать о вас всё. Я должен стать вами фактически. Эти вещи имеют для меня огромное значение — иначе работать я не могу.

— Задавай любые вопросы — я отвечу.

— Нет-нет, я составляю собственное впечатление, а потом перенесу его на холст. Портрет должен говорить о человеке всё, иначе он превращается в фотографию, — Гордеев помолчал немного и прибавил, — я должен собраться с мыслями.

— Я не хотел бы торопить тебя, но всё же время поджимает.

— Не волнуйтесь, если я постараюсь, то могу управиться быстро, а холст, пожалуй, куплю завтра же.

<...>

Разговор был окончен; Великовский попросил Берестова показать Гордееву его комнату.

Два мужских профиля минули несколько линий дверей и, наконец, зашли за последнюю.

Гордеев прошёл сначала по полу, потом по стене в верхнюю половину прямоугольника комнаты, к самому кругу лампочки, которая висела на потолке безо всякого абажура.

— Ну как? Вам здесь нравится?

— Пожалуй, для художника это подойдёт.

Берестов растянул в улыбке полурот.

— Кстати, вы согласились на дядино предложение?

— Да, — кивнул Гордеев и опять сошёл на пол.

— Я так и думал.

Вдруг профиль Берестова изменился, он приблизился к художнику и очень тихо сказал:

— Послушайте, это очень хорошо, что вы приехали. <...> Вы должны помочь нам. Всем нам. Жителям этого города. Мой тестя не такой хороший человек, как вам кажется.

— Мне кажется? Я вообще его не знаю.

— Весь город стонет и ненавидит Великовского. Пожалуйста, избавьте нас от него.

— Как вы сказали? <...>

— Убейте его. Вы не местный и вам это сделать будет гораздо проще и безопаснее.

«Подумать только! Да не кажется ли мне всё это?» — подумал Гордеев. <...>

— Михаил, я прошу вас уйти. Я ничего этого не сделаю. Вы, похоже, не в своём уме. Если только ваш тестя узнает об этом...

— Вы скоро поймёте, о чём я говорил и обязательно нам поможете, — произнёс Берестов, отходя к линии двери.

— Если я даже пойму, всё равно никогда не помогу вам. Сказать по правде, я совершенно не понимаю... я незнакомый вам человек.

— Поэтому мы и просим вас.

— Это невысказано. Уходите сейчас же.

— Вы всё равно его убьёте. Спокойной ночи. <...>

На следующее утро Гордеев уже совершенно не помнил произошедшего перед сном разговора с Михаилом, как будто кто-то вырезал это из круга его головы; сразу после завтрака он отправился в антикварную лавку, которую заметил ещё когда ехал от вокзала к дому своего дяди; когда художник прибыл на место и стал расплачиваться с таксистом, тот неожиданно протянул ему на сдачу незнакомую монету.

— Что это вы мне дали? Какая-то странная монета, — с удивлением осведомился Гордеев, согнув руку так, что ладонь находилась у самого плеча, и глядя на одну из стоявших на ней монет; он снова нашёл на машину и закрыл собою ту часть плоскости, которая до этого принадлежала ветровому стеклу.

— Сойдите с двери — я выйду посмотрю, — сказал таксист.

Гордеев повиновался, и когда профиль таксиста, глаз которого закрывала застеклённая железная

оправа очка, показался в плоскости улицы, художник вытянул руку так, чтобы ладонь оказалась на уровне этого самого глаза.

— Видите?

— Ох, боже мой! Отдайте мне её — это очень ценная вещь! <...> Это большая память. <...> Я никогда не занимался нумизматикой, нет, но вот эта монета очень много для меня значит — она дорога мне как память о друге. Раньше я работал суфлёром в театре и знал там одного актёра-кукольника; он как-то привёз мне этот подарок из Швейцарии. Но монета вовсе не швейцарская, он выгравировал её там на заказ. Прелестно, не правда ли?... Ха, а знаете, что изображено сзади? Посмотрите, вы не поверите... Видите?

— Ну и что? Это ладонь.

— Нет-нет, вы не разглядели. Это кресло в форме растопыренной ладони, с несколькими спинками, у него было такое. Он коллекционировал разную необычную мебель. Сами понимаете, у человека водились деньги — столько обычно бывает у министерских чиновников, а не у актёров, и я в своё время так и не смог дознаться, как он сумел стать исключением из правил. Я всегда шутил, что это кресло — его любимая коллекционная вещь — помогает ему глотать деньги.

— Как вы сказали? Глотать? — переспросил Гордеев с недоумением.

— Хватать. Я сказал хватать... но что это я всё болтаю и болтаю. Мне пора! — таксист гоготнул, залез за дверцу машины и уехал. <...>

Зайдя за линию входной двери и оказавшись в плоскости помещения, Гордеев вынужден был сразу же чихнуть — так нестерпимо блеснул серебряный поднос, который чистил пожилой антиквар, стоявший за квадратом стойки; разумеется, художник не мог увидеть этого подноса, но его сияние раздавалось по всему прямоугольнику комнаты, и, конечно, один или два лучика из тысячи юркими светлячками смогли-таки проникнуть в ноздрию.

— Извините, молодой человек, — антиквар растянул в улыбке полурот, — впрочем, мне впервые приходится извиняться за хорошо выполненную работу... Здравствуйте, меня зовут Борис Алексеевич Асторин. <...>

Всю стену антикварной лавки занимал огромный деревянный шкаф, который в этом радужном свете, походившем на кровеносную систему человека в каком-нибудь биологическом учебнике, зиял десятками ячеек, в плоскости которых виднелись шкатулки, тарелочки, часы, дагерротипы и все эти вещи непременно с гравировками или рисунками. Гордеев, заслонив, рассмотрел некоторые из них; более всего запомнился ему рисунок на коричневом глиняном блюде, видимо выполненный изначально синей краской, но потерявший этот оттенок от времени, да и от коричневого цвета самого блюда, и в результате оставшийся просто чёрным: мужчина, вытянувшись в струнку, вешал на стену прямоугольную рамку. «Видимо, это картина», — усмехнулся Гордеев про себя, потом <...> назвал себя и сказал, что его дядя Николай Петрович Великовский заказал портрет, но он никак не может приступить к работе, пока не узнает о дяде массу всяких подробностей.

— <...> Я узнал вчера, что Великовский коллекционирует монеты и что покупает он их у вас.

— Да, так и есть, — подтвердил антиквар и улыбнулся.

— <...> Поскольку портрет будет висеть в министерстве, то и отражать он должен общественные заслуги Великовского. Стало быть, в первую очередь, мне следует опросить людей, имеющих с моим дядей именно деловые связи.

— Ну что же, я, например, кое-что знаю о его образовательной программе.

— Как вы сказали? Образовательной программе?

— Да. И, кроме того, вы не поверите, существует тесная связь между нею и тем, как я последнее время достаю ему эти монеты. <...> Ваш дядя был заместителем министра по образованию и управлял многими рычагами, а теперь ему останется власти ещё и побольше, но до сего момента он много внимания уделял своему детищу — образовательной программе — очень много; его покойный сын, поначалу совершенно неприметный молодой человек, некоторое время нигде не учившийся и работавший — вы не поверите — обыкновенным таксистом, а потом вдруг всё же поддавшийся уговорам отца и решивший пойти по его стопам, отправился в Швейцарию для получения высшего образования, но погиб там в нелепой аварии — его сбила машина. С тех пор Великовский именно в память о сыне затеял новую образовательную программу — все так считают, но никто при нём это никогда не произносит, чтобы не бередить раны. У меня сохранился один номер нашей местной газеты «Тру-Фолс», разрешите я зачитаю вам отрывок из статьи, — антиквар порылся в ящике стола, достал газету и принялся читать, вода верхней частью тела слева направо, — «...Н. П. Великовский распространяет среди городской молодёжи весьма ценные идеи, которые помогли бы им в будущем занять широкие карьерные перспективы и состояться. <...> В традициях нашей городской администрации перед принятием любого новшества проводить различные опросы, и Великовский просто вынужден был подчиниться этому правилу <...>. Результаты выявили очень вялые способности молодых людей в применении знаний, которые старается дать им образование, навыков, позволяющих, грубо говоря, умело находить деньги. <...> В итоге Великовскому пришлось взвалить себе на плечо весьма и весьма непростое дело, можно сказать, реформировать всю систему образования», — антиквар отложил газету, — <...> теперь, например, в школах и университетах даже обучают тому, как безнаказанно совершать какие-нибудь махинации, (не обязательно, между прочим, денежные), не говоря уже о простом обращении незначительного жизненного эпизода в свою материальную пользу. Если вы спросите меня о мелком воровстве, то оно, естественно, отвергается, как бесперспективное.

— Я понял, о чём вы говорите, — произнёс Гордеев, — кажется, вы упоминали о какой-то тесной связи всего этого с вашим ремеслом.

— Совершенно верно...

« <...> О связи я догадался, когда однажды поздно вечером возвращался домой. Я вдруг почувствовал в голове сухой щелчок и остано-

вился. От неожиданно пришедшего соображения я в сердцах хлопнул себя по лбу: ведь можно совершенно не тратить деньги на покупку этих старинных монет, которые Великовский требует в огромных количествах, а попросту выискивать их в разных местах нашего города — подобно тому, как молодёжь выискивает способы извлечения выгоды, — и тут же мои ноги развернулись сами собой. <...> Направлялся я в местную библиотеку — я обычно хожу в неё за книгами по археологии, но к тому моменту не бывал там уже добрых две недели; последние несколько раз я стал чувствовать в читальном зале старика, который выписывал книги стопками и просматривал их, сидя за столом перед зелёной лампой, — я даже нашёл на него один раз, чтобы получше разглядеть, и теперь мне казалось, что в тот самый момент я увидел на прямоугольнике книги золотую надпись, которая что-то говорила о нумизматике. <...> Как только я оказался в плоскости библиотеки, понял что мне повезло: старик опять сидел в зале, я это чувствовал, и, закрыв собою его фигуру и чуть пригнувшись до линии стола, я увидел, что рядом со стопкой книг стоят жёлтые и белые кругляшки старинных монет. Поразительное совпадение! Я чуть отошёл назад и закрыл собою профиль старика, и моя рука потянулась к ним, но он, хитрый лис, почувствовал её приближение, схватил монеты, запихнул их себе в полурот и проглотил, и всё это настолько быстро! Ей-богу, доселе я думал, что так можно глотать только шоколад.

— Зачем вы это сделали? — спросил я в испуге.

— <...> Вы пытались украсть, разве не так? У вас на лице написано: вы сделаете всё, чтобы только заполучить эти монеты, так что лучше сразу съесть их.

— Но как же вы сами теперь сможете изучать их? — осведомился я.

Он гневно пожал плечом.

— Всё равно я уже рассмотрел на них всё, что только можно было.

— В таком случае продайте мне те, что ещё остались у вас, — попросил я, держа в уме, что предложу ему сумму раза в четыре меньшую той, которую обычно плачу за подобные коллекционные монеты.

— Не пойдёт! — коротко сказал он, снова сощурил глаз и с треском захлопнул книгу, как будто этим жестом хотел дать понять, что разговор окончен. <...> Странные события послужили первым камешком в фундаменте моей системы, которая теперь уже тщательно продумана и разработана... системы поиска старинных коллекционных монет. Что касается этого старика, я до сих пор наблюдаю за ним и даже придумал, как мне заполучить его монеты, включая, между прочим, и те, которые он проглотил. Ведь он может скоро умереть, не так ли? Что если подкупить бюро похоронных услуг? У меня есть там друзья, они кремируют его тело, а я достану монеты из урны с прахом». <...>

В этот самый момент откуда-то из другой комнаты послышалось быстрое шарканье ног и резкий хлопок, будто бы кто-то закрыл книгу, и Гордееву сразу же пришло в голову, не старик ли это из библиотеки повторно объявляет о своём отказе продать монеты.

— Мы разве не одни? — спросил он у Асторина.

— Это мой сын, — быстро пояснил тот с улыбкой, — наверно он только что закончил готовиться к занятиям и сейчас появится... Сергей очень умный малый, уже учится в институте на отделении математики.

В следующий момент из-за светло-коричневой линии, видневшейся за антикваром, — то была небольшого размера дверь — появился рыжеволосый юноша лет двадцати. В руке он держал увесистый учебник. Почувствовав присутствие Гордеева, юноша поздоровался.

Асторин встал за сыном, потрепал его по голове и спросил:

— Ты решил задачу, которая у тебя не получалась?

— Про свинью, искавшую трюфели в земле? Решил.

— Умница. Сошлось с ответом, наконец?

— Да.

— Ты ещё не опаздываешь в институт?

— Если пойду сейчас, приду за тридцать минут до начала.

— Так вперёд, лучше прийти раньше. <...>

Глава 2

Гордеев вернулся в квартиру Великовского. Было уже обеденное время; художник сильно опоздал, и, когда он появился в плоскости столовой, вся семья, сидя за горизонтальной линией стола, доедала десерт — клубничное мороженое, присыпанное шоколадной крошкой и со стороны походившее на дикобраз.

— Извините меня, я был очень занят, — пробормотал он со смущением, но вдруг полугубы его растянулись в улыбке, и Николай Петрович оказался первым, кто почувствовал это; он даже встал из-за линии стола, подошёл к племяннику и закрыл собою его фигуру, дабы убедиться, что ощущения ему не изменили, но тут же министр наклонился и обратил внимание на светло-серого цвета квадрат, зажатый в руке Гордеева.

— Ты купил холст? — осведомился Великовский.

— Да.

Маленькая искорка в глазу Великовского заметно потеплела, как будто под веко впрыснули «дымящуюся» воду.

— Выходит, сегодня уже будете работать? — спросил Берестов.

— Нет, я только начал свои исследования.

— Но в чём они заключаются?

— Я уже говорил: мне нужно узнать как можно больше. Вам, Николай Петрович, наверняка уже сообщили, где я сегодня побывал и что делал.

— Если всё это в пользу картины, я нисколько не возражаю, — пожал плечом Великовский и снова сел за стол, — ты, наверно, заметил некоторое моё раздражение, но пойми меня правильно — я никогда не опаздываю к обеду и от других требую того же. Жизнь не должна превращаться в хаос. Ты уж извини, но теперь тебе придётся есть где-то на улице, и очень жаль, ведь ты не сможешь отведать этого замечательного десерта. <...> Я сам покупаю это мороженое, оно очень сочетается с трюфелями.

Гордеев замер от удивления.

— Какими трюфелями?

— Эту крошку я сам делаю из шоколадных трюфелей. Первый раз я попробовал их ещё в раннем детстве и, что называется, влюбился раз и навсегда. Мать купила коробку трюфелей в честь праздника — отец вернулся из Швейцарии; он был известным академиком и преподавателем математики, и я тоже тогда хотел им стать, — пока Великовский говорил, Петя достал из-за линии кармана своих шорт игрушечное такси, в котором виднелся тёмный профиль шофёра, — маленький глаз того под застеклённой железной оправой очка был серебристо-серого цвета и походил на монету или на маленький поднос, вроде того, который чистил антиквар в своей лавке, — и принялся катать машинку по линии стола, то и делая загораживая ею трапециевидные блюда с холмиками мороженого, потом достал из-за щеки коллекционную монету и положил её в багажник; Гордеева посетила неожиданная мысль: «Великовский сказал: «я тоже тогда хотел им стать». Как, однако, странно это звучит! Можно подумать, он хотел стать собственным отцом!». Внезапно Софья ни с того, ни с сего чихнула, как будто увидела глаз шофёра внутри Петинной машинки; Николай Петрович, между тем, продолжал свой рассказ:

«Мать накрыла на стол и теперь чистила серебряное блюдо, на которое у нас всегда ставились бутылки с вином; оно так нестерпимо блестело, что со мной происходило то, что и с Софьей сейчас — я чихал. Ха-ха... вот такие фокусы и совпадения. Трюфели лежали прямо передо мной, на линии стола, но мать зорко следила, чтобы ни я, ни мой младший брат Юрка не стянули конфеты. Наконец из-за линии двери появился отец. <...>

— Что это? Ага, трюфели! Давно их не ел. А что на первое?

— Свинина, — ответила мать.

Мы сели за стол; я, между тем, успел стянуть одну конфету и проглотить её — на вкус она была изумительной, — а отец принялся рассказывать, что на обратном пути из аэропорта ему попалось очень странное такси.

— В нём были необычные сиденья в виде растопыренных ладоней. Когда, сев, закрываешь их собой, можно положить голову на любую подушечку пальца.

— И правда странно, — заметила мать, — в жизни не видела кресел с несколькими спинками.

— Да-да, Люда, ты сказала совершенно верно. Вот именно, что с несколькими спинками.

— Откуда он достал такие кресла? — спросил я.

— Ему продал их один антиквар. С этим человеком он познакомился совершенно случайно, в театре, там произошло какое-то кукольное представление. Они сделались приятелями и, что важнее всего, таксист после смог извлечь из этой дружбы денежную выгоду, ведь кресла достались ему по дешёвке, — он помолчал, съел немного свинины и потом обратился ко мне, — кстати, сын, ты не хотел бы стать антикваром? Любопытная профессия.

Я не знал, что ему ответить на этот неожиданный вопрос, а мой младший брат, посчитавший, видимо, что антиквар — это тот, кто всё время что-то коллекционирует, сказал:

— Тебе нужно будет собирать платки, тогда-то ты станешь поменьше чихать.

Я посмотрел на него с негодованием и вдруг из моего полурта сама собой вырвалась странная фраза:

— Если я когда-нибудь захочу что-то коллекционировать, то это будут непременно люди.

От неожиданности мать выронила из полурта кусок свинины, а отец специально встал из-за стола, чтобы загородить меня собою и получше рассмотреть...»

— Вот такая вот история. Теперь, спустя много лет я убеждён, что сказал это, потому что в тот момент из-за съеденной конфеты лучше заработали мои мозги. <...>

Гордеев побледнел. Ему вдруг показалось, что в голове у него раздался сухой щелчок, вроде того который посетил Асторина, когда он съел несколько шоколадных трюфелей — Великовский засмеялся сейчас точно так же, как таксист, который утром подвозил его к антикварной лавке. <...> Художник ничего не сказал и вышел.

Великовский почему-то опять гоготнул и склонился над недоеденным мороженым.

Гордеев остановился в плоскости улицы, у линии входа в министерство. Здание напоминало огромный деревянный шкаф с десятками ячеек-комнаток, многие из которых были зашторены и имели небольшие светло-коричневые прямоугольники около линий входов, — то были узкие коридоры, — а небольшой кусочек золотисто-голубого вечернего неба, смотревший в глаз художнику, усыплен был крошечными корабликами облаков, и на каждом плыл овальный тёмно-зелёный лист дерева с фосфоресцирующим черенком и тонкими сосудами, походившими на кровеносную систему человека.

Гордеев некоторое время созерцал этот мелькающий анимационно-телепатический колорит, затем прошёл в левую нижнюю ячейку шкафа и заслонил собою часть охранной будки у линии входа. Он только представился охраннику, и тот сразу же улыбнулся и заморгал потеплевшим глазом, как будто под веко ему впрыснули «дымящуюся» воду.

— Проходите. Вас ждут уже. Кабинет номер 403. Там спросите Николая Петровича Застольного — это заместитель Великовского.

— Его зовут точно так же, как самого Великовского, — заметил Гордеев, после чего поблагодарил охранника и отправился на четвёртый этаж — на четвёртую полку книжного шкафа, к третьей слева ячейке.

Зайдя в прямоугольник коридора, он постучал в дверь.

— Входите, — послышался грудной мужской голос.

Гордеев зашёл за линию и, пройдя по всей плоскости кабинета, увидел человека в пиджаке, который, присев, собирал с пола осколки керамической копилки, сделанной в виде свиньи.

— Вот несчастье, — сказал он, приметив Гордеева глазом, — этой копилке было очень много лет. Мне подарила её моя первая девушка... давно это было.

— Сочувствую... <...> вы, наверное, знаете уже, кто я и зачем пришёл?

— Да, но у меня очень много работы, нужно напечатать важные документы, завтра они должны быть представлены вашему дяде на прочтение. <...> Николай Петрович Застольный вам всё здесь покажет. Задавайте ему любые вопросы, он вам ответит. <...>

— Как зовут вас?

— Пименов. Я работаю здесь лаборантом. Но, конечно, один я ни за что бы не справился. Мне помогают ещё два человека. <...>

— Раз меня ждёт кто-то другой, я, пожалуй, к нему и отправлюсь. Где мне найти этого человека?

— Или в кабинета Фрилянда или в кабинете Левина... это наши чиновники... комнаты 410 и 411.

В десятой ячейке здания-шкафа был только беспорядок и, если можно так выразиться, следы переезда, и лишь когда Гордеев зашёл в одиннадцатую ячейку, он почувствовал присутствие того, кого, по всей видимости, называли здесь Застольным — впрочем, этот человек за столом не сидел, он, как и Пименов, ползал по полу, но убирал уже не черепки от разбитой копилки, а просто какие-то разбросанные вещи, — художник увидел это, пройдясь по плоскости кабинета.

«Пожалуй, я не удивлюсь уже, если зайду в третий кабинет и опять увижу какого-нибудь человека, сидящего на полу и что-то собирающего, это, должно быть, общая тенденция — один сделал, и все начали повторять за ним», — подумал Гордеев.

В это самое время мужчина, так же как и Пименов до этого, приметил Гордеева своим глазом, встал и представился — это действительно оказался Застольный.

— Похоже, что эти двое — Фрилянд и Левин — уволились? — художник блеснул глазом.

— Кто вам сказал о Фрилянде и Левине? — поспешно осведомился Застольный, его голос при этом был напряжён, но потом он вдруг спохватился, — слушайте, забудьте о них, я...

— Они уволились? — настаивал Гордеев, сам не зная почему.

— Да нет же, просто перешли в другой отдел. Забудьте. <...>

Они прошли в кабинет Великовского, и Гордеев внимательно осмотрел всю его плоскость; первый раз он лишь мельком взглянул на портрет Ликачева, но потом вернулся к нему специально и принялся внимательно водить головою.

— Что так привлекло ваше внимание? — поинтересовался Застольный.

— Ничего конкретного. Просто я хотел напрячься и представить себе другой портрет, новый, который мне предстоит написать. Я думаю, если посмотреть на то место, где он должен будет висеть, это может существенно помочь.

<...>

Из-за линии двери появилась белокурая женщина лет тридцати или чуть старше. Она носила

очко в роговой оправе. Пройдя к стеллажу, Лена взяла коричневый прямоугольник книги, золотистая надпись на которой гласила «Большая энциклопедия. Том 15».

— На какой ты уже статье? — спросил её Застольный.

— Дайте посмотрю... кажется, это 401-я по счёту.

— Очень хорошо. Иди, делай дальше.

Женщина вышла.

— Чем она занимается? — спросил Гордеев.

— Сканирует статьи. Нам понадобились курсы повышения квалификации и для них нужно сделать учебники с определённым набором статей. Лена быстро управится, она настоящий молодец. Ей понадобится ещё день или два.

— Не по причине ли этих проблем мой дядя решил устроить образовательную реформу?

— И поэтому тоже. Но это скорее лишь повод.

— Да, мне сказали ещё и другое, — намекнул Гордеев.

— Что именно? — осведомился Застольный и, не дожидаясь ответа, сказал:

— Если вам говорили, что ваш дядя ввёл эту образовательную систему в память о своём умершем сыне, то это, смею вас заверить, абсолютная бессмыслица, у него вообще никогда не было сына. <...> А если бы даже и был, Великовский совершенно лишён сентиментальности и стал бы зажевать дорогостоящую реформу только в случае всеобщей выгоды <...>; суть в том, что ему хотелось открыть для общества много новых вещей. Как это сделать? <...> Исследования проводились среди студентов. Вот простой пример: человек из министерства подходит к студенту, который, сидя за партой, готовится учить материал; студент кладёт свой портфель на парту, достаёт учебник, раскрывает его и закрывает собою, чтобы начать читать. Как надзирателю точно удостовериться, что юноша в самом деле работает, а не отлынивает, не закрывает глаз во время чтения? Найти на него и посмотреть на его глаз, скажете вы, между тем, существует ещё один способ. <...> Дело в том, что <...> юноша, над которым проводился надзор, во время чтения постоянно шевелил полугубами, так что даже можно было разобрать слова. Ваш дядя наблюдал за всем происходящим в аудитории, закрывая собой то одного, то другого, и когда ему не очень понравилось, что юноша заслонён надзирателем, он распорядился, чтобы тот присел на корточки прямо за спинкой кресла, на котором сидел студент. И тут Великовского посетило одно соображение. Чтобы удостовериться в нём, он позвал ещё нескольких надзирателей и попросил их сесть друг за другом. Со стороны создавалось впечатление, что к креслу приделали несколько дополнительных спинок! В результате вашему дяде пришла в голову идея заказать на мебельной фабрике такие кресла, там и установили оптимальное количество спинок: ровно пять, — но, как мне кажется, более всего здесь исходили из эстетических соображений, ведь кресло в этом случае принимает вид руки, это очень необычно и привлекательно. Теперь ими пользуются в офисах по всему городу, да и ваш дядя поставил два таких кресла у себя дома.

— Из-за линии двери появилась белокурая женщина лет тридцати или чуть старше. Она носила

«Он разыгрывает меня, — промелькнуло в голове художника, — подобные кресла не новость, ведь оно было изображено на монете таксиста. Да и Великовскому рассказывали о таких креслах в детстве».

— Но какой же толк от таких кресел? — осведомился Гордеев.

— Они удобнее, разве вы в них не сидели?

— Ну хорошо, предположим, так. Однако не с этой же целью проведена была реформа.

— Не с этой, конечно, я просто привёл вам пример, как ловко Великовский сумел придать реформе общественно полезный характер. <...> Я расскажу вам, какую ещё побочную пользу мы получили, а потом уже приступлю к изложению сути самой реформы. Всё дело в том, что после изобретения кресла в виде растопыренной ладони, ваш дядя решил специально построить свои наблюдения таким образом, чтобы находить так называемые новые формы. <...> Для того, чтобы вещей было изобретено по-настоящему много необходимо ещё несколько таких людей. Они будут следить как за студентами, так и за надзирателями, которые наблюдают только за студентами. Не все замеченные формы удалось в результате воплотить в полезные вещи, однако и тут Великовский сманеврировал и всё же извлёк выгоду: он попросил оператора заснять эти формы на плёнку и отправил их в театр для того, чтобы на их основе сделали какую-нибудь пантомиму или кукольное представление — что угодно, лишь бы труд людей зря не пропадал, — ведь формы, порой, получались очень забавными, особенно запомнилась мне та, в которой один надзиратель лежит на полу, и носки его ботинок касаются левой ножки парты, а голова — правой, (но, конечно, никакого надзора он в этом случае уже не выполняет), а другой стоит перед студентом, выпрямился в полный рост и внимательно слушает, шевелит ли тот полугубами. На основе этой формы мы хотели сделать новую модель автомобиля или, на худой конец, какие-нибудь модернизированные сани или водные лыжи, но на заводе нам сказали, что это будет неудобно и малоэффективно. Жаль! <...> А теперь я наконец-то перейду к сути самой реформы. <...> Действительно, школьники и студенты мало применяют на практике те знания, которые даются им в учебных заведениях, и здесь присутствует, что называется, двухсторонняя негативная тенденция: во-первых, за последнее время подседа качество преподавания, и, во-вторых, виноваты и сами обучающиеся.

— Это правда, что теперь в школах и университетах обучают тому, как совершать различные махинации?

— Да, конечно, ведь это развивает мышление, но есть ещё и другое очень оригинальное нововведение вашего дяди. Он рассказывал вам про шоколадные трюфели?

— Да, рассказывал, — с удивлением ответил Гордеев, — но какое это имеет...

— Самое непосредственное, — сказал Застольный, не дав художнику даже докончить фразы, — Великовский, да и я, между прочим, тоже, твёрдо убеждены, что трюфели стимулируют всякого рода мыслительный процесс. Вот мы и решили применить их здесь.

— Вы заставляете студентов и школьников есть шоколадные трюфели?

— Ну почему же «заставляем». Эти трюфели очень вкусны, молодёжь только рада принимать их, — Застольный сделал ударение на слове «принимать», — конечно, поначалу мы давали их бесплатно, но нам и самим-то нужно не забывать о материальной выгоде, вы же это прекрасно понимаете, так что очень скоро мы поставили это на обязательную платную основу.

— Никто не отказался от них в итоге? — спросил Гордеев.

— Конечно нет, — при этих словах Застольный почему-то хитро ухмыльнулся, и Гордеев это почувствовал, — к этому времени они всем уже очень нравились.

— А новые учебники? Были ли они написаны и выданы студентам?

— Вот здесь-то и начинается самое интересное, — Застольный заговорил таким приторным голосом, что у Гордеева защемило в кадке, — после употребления трюфелей никакие новые учебники не понадобились. У студентов появилось, так сказать, изменённое восприятие старых, вплоть до того, что они даже начали находить в них материал, зачастую весьма и весьма полезный, со сверхновыми идеями, которого там не было и в помине, — заместитель Великовского причмокнул полугубой, — да-да... эти трюфели просто волшебство...

<...>
«Я так больше не могу, — подумал Гордеев, — пожалуй, мне следует уйти. Я не удивлюсь, если в этом министерстве мне не сказали ни единого слова правды».

Глава 3

То, что Гордеев сказал Застольному в конце разговора, (о своём желании немедленно приступить к непосредственной работе над портретом), не осталось незамеченным: когда Гордеев вернулся из министерства, дядя уже обо всём знал и стал прикладывать всяческие усилия к тому, чтобы его племянник выполнил своё обещание. Поскольку же Гордеев солгал Застольному, только чтобы побыстрее прекратить разговор, ему в тот день пришлось сказать Великовскому о своём плохом самочувствии, и только после этого тот оставил его в покое, а так прицепился, повторяя одно и то же: «Ты же обещал, так, пожалуйста, немедленно выполняй». <...>

На следующий же день утром увильнуть уже не было никакой возможности, но, между тем, Гордееву отказываться и маневрировать не особенно теперь и хотелось, благо настроение выдалось творческое. <...>

«Если у меня что-то не будет получаться я, пожалуй, сделаю как-нибудь так, чтобы дядя не видел портрета, не разрешу ему смотреть, скажу, мол, нехорошо это и нельзя смотреть на незавершённую картину, а сам не буду рисовать, повремению и лучше опрошу ещё несколько человек», — такое решение принял Гордеев. Образ, который должен был быть воплощён на полотне, ещё не сложился в его сознании. Однако главный спор с дядей был ещё впереди, и произошёл он именно на следующее утро; уже упоминалось, что Вели-

ковский в искусстве ничего не понимал, так вот у него сложился стойкий и само собой разумеющийся предрассудок, что художник пишет портрет непременно с натуры, и, в результате, даже без согласования с Гордеевым, <...> он уведомил министерство, что по таким-то и таким-то причинам, ему придётся некоторое время присутствовать на работе сокращённый день, часа на два или на три; с одной стороны, в силу своей разрастающейся власти, он мог бы вообще этого не делать, с другой же, не следует забывать, что Великовский работал с большим интересом и, как любой такой человек, — (политический деятель или нет — какая разница?) — крайне болезненно относился к изменению собственного графика, и тут вдруг Гордеев сообщает, что никогда не рисует с натуры и присутствие дяди, если и потребуется, то, как минимум, непостоянное. Конечно же, Великовский после этого взвился; <...> он всегда считал: портрет нельзя рисовать не с натуры.

— Вот тут-то ты и ошибаешься, — сказал Гордеев и начал объяснять, что его искусство вовсе такого не предполагает.

К этому доводу Великовский оказался глух, он явно больше не испытывал к своему племяннику доверия; они, вероятно, рассорились бы очень сильно, если Гордеев только не напомнил дяде, как тот сам сказал, что предоставляет ему полную свободу действий, и этот аргумент в итоге оказался козырем, который в действительности было нечем крыть — Великовский только недовольно пожал плечом, сказал, что на самом деле доверяет племяннику, просто то, чем занимается сейчас Гордеев, очень важно.

— Всё будет в порядке, — произнёс художник примирительно, — скажи мне лучше вот что... у тебя когда-нибудь был сын?

— Нет, никогда не было, — ответил дядя удивлённо.

<...>

Гордеев начал с того, что сделал небольшой эскиз, потом решил немного отдохнуть, но вдруг опять почувствовал в круте головы сухой щелчок: глаз его блеснул, нервно, даже злобно, — он взял эскиз и порывистым движением разорвал его. <...> Он почувствовал на груди всегдашнее в таких случаях чувство досады, подступавшее к горлу и будто бы старавшееся прикоснуться к корню языка, чувство, от которого избавиться можно было только двумя способами: или принять лекарства или выйти на улицу, но последнее помогало далеко не всегда. И всё же он решил до обеда прогуляться, а заодно постараться отыскать какого-нибудь преподавателя и послушать, что тот скажет об образовательной программе Великовского.

Гордеев вышел в плоскость улицы и очень удивился — перед домом стояло то самое такси, на котором он вчера доехал до лавки антиквара.

— Ох, боже мой! Да это вы, молодой человек! — воскликнул таксист и гоготнул, — мы всё время встречаемся! <...> Ну что, куда на этот раз? <...>

— Есть здесь поблизости какой-нибудь институт?

— Конечно! Я вам больше скажу: есть два!

— Поедем в любой из двух, — сказал Гордеев, заходя за переднюю дверь такси, — лишь бы там найти мне преподавателя, с которым я мог бы переговорить.

— О Великовском?

— Да... стоп, я разве говорил вам, что связан с Великовским?

— Слухи в этом городе быстро разносятся. Я даже знаю, что вы племянник Николая Петровича и рисуете его портрет. Ладно, что это мы всё болтаем и болтаем... поехали уже!

Они тронулись с места. Некоторое время ехали молча, и Гордеев смотрел в окно, на небольшие разноцветные квадратики-кадры городского пейзажа, вымелькивавшие из-под фигуры таксиста. <...> Вдруг машина остановилась.

— Выходите, молодой человек. Мы уже приехали. Зайдите за дверь здания, на которое сейчас наехало такси. Это институт.

Гордеев расплатился, и они попрощались. Напоследок таксист сказал ему:

— Смотрите молодой человек, как бы вас не проглотил этот город!

Услышав это, Гордеев застыл как вкопанный, а таксист как ни в чём не бывало гоготнул и уехал.

Смотрите молодой человек, как бы вас не проглотил этот город!

Долго художник стоял в оцепенении от этих слов, но потом всё же нашёл в себе силы двинуться с места и зайти за линию входной двери. Он оказался в плоскости комнаты, стены которой были плотно увешаны картинами, редко где можно было увидеть просвет между холстами; Гордеев прошёл влево, потом вверх и вниз, всё внимательно рассмотрел, и квадратный глаз его удивлённо поблёскивал, когда каждый раз он видел на какой-нибудь картине всё новую и новую вариацию, причудливым образом слепленную из каких-то вещей, которые успел он уже повидать в городе: вот антиквар заглядывает серебряный кругляш монеты, на котором изображена свинья, а вот таксист сидит за столом и ест мороженое, присыпанное шоколадной крошкой, а рядом с ним Застольный чистит серебряный поднос; Гордеев заслонил собою третью картину и увидел на ней уже себя, у зеркала, в белых перчатках, к которым прикреплены были нити с ужасными двуглазыми куклами.

И вдруг... он наклонился и увидел, что в комнате сидит она. На полу, сложив ноги по-турецки, и, вытянув руку, рисует картину, (холст прислонён был к стене). Странно, почему он не ощутил её сразу же, как только вошёл? Впервые он видел её такой, профилем, и это уже было совсем невероятно, учитывая то, что когда-то случилось.

«Но почему же... почему же я не испытываю дискомфорта от её нового облика?» <...>

В левой руке она держала какой-то конверт.

«Я знаю, что сплю, это не может быть правдой, — мелькнуло в голове художника, — а раз я сейчас смог понять это, значит, вероятно, скоро проснусь».

— Таня, — позвал он её по имени, еле слышно и после этого даже не стал спрашивать, как она очутилась здесь.

— Возьми, — сказала она, заслонила конвертом его глаз, и теперь он увидел, что это вовсе не конверт, а плотный чистый лист бумаги, — нарисуй мне эскиз.

«Хорошо, — подумал он, — сейчас я сделаю кое-какой намёк. Но я ни о чём не жалею. Так нужно было».

Татьяна подала ему красную ручку, и он написал:

«В молодости было у меня три друга, я не видел их больше двадцати лет и однажды решил встретиться с ними и пригласил их в свой замок.

Во время обеда начал я расспрашивать, кто из них на каком пути оказался, и выяснилось, что первый делал всё то же, что и много лет назад, играл в барах на саксофоне, (а в промежутках между выступлениями как и раньше спускался в зрительный зал в поисках зубочистки); второй рисовал теперь карикатуры для жёлтой газетки, а третий бросил искусство вовсе, став какими-то крупным акционером. Мы распили бутылку красного вина; молодость мне вспоминать теперь как-то и не хотелось, тоска взяла, что называется, столько планов тогда было, столько идей, а теперь что? Я решил побыстрее отправить их спать. Вадима Меньшова, (акционера), я убил ещё когда мы поднимались по винтовой лестнице на третий этаж — я вёл его в спальню, и сильно ударил ногой, так что он полетел вниз. Вадим свернул себе шею, пролетев кубарем два этажа. Я быстро спрятал тело в шкаф, стоявший неподалёку, и вернулся в гостиную к остальным двум своим друзьям, Мишке и Павлу. Мы ещё выпили и изрядно повеселели. Я смотрел то на одного, то на другого. Кто же будет следующим? В конце концов, всё же решил, что Павел, — карикатурист, — должен отправиться вслед за первым, Мишку же, лучшего своего друга, я оставил напоследок. Около полуночи я позвал Павла в другую комнату и утопил его там в тазу с холодной водой. Потом взял топор, который прислонён был к стене, и, снова вернувшись в плоскость гостиной, обухом раскроил Мишке череп...»

Татьяна взяла у Гордеева листок и, поднеся к глазу, прочитала то, что он написал. Потом сказала:

— Всё это неправда. Ничего такого не было.

— Хорошо, пусть так. Ну а как же насчёт нас с тобой? — спросил он, — впрочем, дай мне сюда этот лист, я кое-что там переправлю.

Он взял его и в последнем предложении вместо слов «в плоскость гостиной» поставил просто «в гостиную». Намёк был сделан.

— И что это значит? — осведомилась Татьяна, снова посмотрев на листок.

— Это значит, что теперь всё совершенно правильно.

— Я... я просила у тебя простой эскиз, — произнесла Татьяна как будто во сне, а потом вдруг сказала изменившимся голосом, в котором Гордеев узнал Великовского, — эй, Павел, проснись!

В этот момент он увидел вдруг всю плоскость комнаты, все картины разом; теперь ему не нужно было находить на каждую из них, чтобы посмотреть. Они так и поплыли перед ним, обретая причудливые фантастические краски и изменённые формы... и лицо Тани... прежнее лицо...

Кто-то тормозил его за руку...

Гордеев проснулся и, открыв глаз, почувствовал, что перед ним стоит Великовский. <...>

— Вы, вероятно, хотите узнать, что я сделал за утро? Я отвечаю вам: нарисовал эскиз и разорвал его. Но не волнуйтесь, всё получится. Наберитесь терпения и помните, что творческая жизнь — это всегда сомнения и бесконечные метания, — Гордеев выдержал паузу и присовокупил, — если вы действительно хотите создать мне нормальные условия для работы, то вам придётся снять с меня этот надзор.

— Это не надзор, я просто интересуюсь твоей работой. <...> Николай Петрович примирительно зашелестел газетой, которую держал в руке.

— Что вы читаете? — осведомился Гордеев.

— Тебе интересно знать? Это новый номер «Тру-Фолс». Ты только посмотри... это ужас, что творится у нас, — Великовский заслонил страницей глаз Гордеева, и художник, проведя несколько раз головой туда-сюда, прочитал начало статьи; сообщалось в ней о таксисте, который, будучи в нетрезвом состоянии, вчера поздно вечером задавил насмерть одного из министерских чиновников, Фрилянда.

— А я ведь слышал о Фрилянде. Это тот самый, который недавно ушёл из вашего отдела.

— Ты слышал?

— Ну конечно. Я ведь разговаривал вчера с Застольным, он упоминал о нём. Ох, боже мой! — воскликнул Гордеев, перевернув страницу, — на фотографии он увидел вчерашнего таксиста, — и его я знаю. Он подвозил меня вчера.

— Ну и совпадение! Но ты только посмотри на эту морду, — Николай Петрович снова поднёс газету к своему глазу и сам внимательно посмотрел, а потом вернул племяннику, — отъявленная свинья!

Как только Гордеев услышал эти два слова, ноги его сами собой, без всякого на то позволения хозяина, подняли тело из кресла и направились к линии двери. <...>

— Что случилось?

— Ничего.

— Послушай, если собираешься идти в город будь предельно осторожен. А то наткнёшься на улице на такую вот свинью!.. С Софьей как-то был случай: она пошла к своей подруге посмотреть на коллекцию женских галстуков... — всё остальное, что сказал ему вдогонку Николай Петрович, Гордеев не смог уже разобрать, ибо ушёл из квадрата коридора; его бил озноб. Внизу он встретил Берестова, но как раз когда проходил мимо, тот закрыл глаз — толи это случайно вышло, толи Михаил, по какой-то неизвестной причине не хотел его видеть.

<...>

Прошёл месяц; работа двигалась вперёд. <...> Однажды после ужина Гордеев и Великовский, как и в самый первый день, сидели друг против друга в комнате последнего, в креслах с пятью спинками, в виде растопыренной ладони.

— Должен сказать, — начал дядя, — я на самом-то деле был очень удивлён, когда узнал, что тебе для работы понадобятся сведения о моей

жизни, да ещё о той её части, которая связана со служебными обязанностями.

— Поскольку портрет будет висеть в вашем кабинете, то и тематика должна быть соответствующая, — заметил Гордеев.

— Согласен. Однако я замечаю, что, говоря вроде бы совершенно логичные и правильные вещи, ты всегда оставляешь свой метод в тени. Я вот что хочу сказать: я всё ещё не знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о том, что портрет должен отражать сущность человека. Буду честен, я даже попросил кое-кого найти магазин или галерею, где можно было бы достать твои картины, но все его поиски оказались тщетными: ты как будто и не существуешь в мире живописи, такое впечатление, что ты не нарисовал ещё ни одной картины, и эта первая. <...>

Гордеев ничего не говорил около пяти минут, и когда Николай Петрович уже решил, что племянник давно забыл об их разговоре, вдруг произнёс крадливо:

— Хорошо. Пожалуй, я расскажу вам, — он ещё помолчал с полминуты и потом сказал, — за свою жизнь я продал всего несколько картин, быть может, даже меньше десяти. О моём методе рассказать не так просто, тем более, что это не какая-то постоянная особенность письма — я подхожу к живописи не так однозначно. В прошлый раз, когда у меня заказали портрет — было это примерно полтора года назад — я стал действовать практически точно так же: принялся разузнавать про своего клиента различные подробности его жизни, — только вот его реакция была гораздо жёстче, чем ваша, — он сразу же уволил меня, подумав, что я сумасшедший. Однако я всё же написал портрет.

— Зная, что у тебя его никто не купит?

— Конечно. А что здесь такого? Но, впрочем, вы правы, я возможно и не стал бы этого делать, если бы меня не заинтересовал сам этот человек, и в голову не пришла бы оригинальная идея, как я могу изобразить его, а так оно, между тем, и вышло. Руки мои не были связаны теперь ни одним пожеланием моего клиента, и я мог пуститься в любые эксперименты, какие только приходили в голову. Хотите посмотреть, что получилось в результате? — Гордеев поднялся.

— Конечно, — с готовностью отвечал Великовский, — у тебя есть эта картина?

— Да. Пройдём в мою комнату.

<...>

Пройдя в плоскость комнаты, художник достал из квадрата своего чемодана средних размеров круглую картину, завернутую в белую ткань, и заслонил ею глаз Великовского.

— Вот, взгляните.

— Ох!.. — по тому, как сполз вниз крюкообразный подбородок Великовского, а открытый рот показал все шестнадцать зубов разом, (передние высветились штришками, резцы — треугольниками, остальные — квадратиками), — словом, по всему профилю можно было определить, что министр опешил.

— Ну как? Скажете что-нибудь ещё?

— Э-э... у меня есть пара неотложных дел... Извини, я тебя оставлю...

Гордеев расхохотался.

— Скажи только одно: ты всё ещё хочешь, чтобы я продолжал работу?

— Да... — обронил Великовский уже из жёлтого квадрата, коим являлся коридор.

Гордеев снова расхохотался, а потом тотчас же стал совершенно серьёзным, — со стороны выглядело это так, как будто он заранее до доли секунды просчитал длительность своего смеха.

Глава 4

Гордеев опять работал всю ночь; плоский профиль его фигуры иногда закрывал собой добрую половину холста — длинная непроницаемая тень под правильным кругом лампочки, только четыре края портрета виднелись из-под тени — художник созерцал уже написанное, затем сходил с картины, брал кисть и, вытянув руку, принимался подправлять какую-нибудь деталь. Но всё же, сколько бы он ни старался, каждый раз ему казалось, что он не выразил всего до конца, и когда это ощущение набирало особенную остроту, он приходил в невероятное возбуждение и начинал ходить влево и вправо или же вверх и вниз по квадрату комнаты; между тем, воздух за окном бледнел — приближался рассвет; художник, закрыв своею тенью окно, увидел небольшой, терявший черноту участок неба, и почувствовал сильную усталость, вдруг разом накатившую... «Пойду спать!». Он спустился в левый нижний угол комнаты — постель, находившаяся там, была хорошо различима.

Тонкая изломанная простыня белой кардиограммой защекотала ему локоть; приятное ласкающее ощущение волнами прибывало к плечу, а затем вниз, к спине, оно атаковало и как будто старалось усыпить.

Стук оконную раму. Такой осторожный и глухой.

«Кто бы это мог быть?», — промелькнуло в затуманенном мозгу художника; он сошёл с постели, чтобы найти на окно, — кардиограмма простыни зашестела, задвигалась, — однако всё же немного промедлил — из-за окна показался конверт, свалившийся затем в плоскость пола, и тут же Гордеев услышал быстрые удаляющиеся шаги.

Гордеев подошёл к конверту и присел так, чтобы можно было нащупать его рукой. В конверте оказалась записка от некоего профессора Староверцева, университетского преподавателя, который приглашал его на обед в кафе.

«Зачем это?.. — он ещё раз поводит головой по записке и остановился в раздумье, — ага, он пишет, что это очень важно и касается Великовского... но кто принёс письмо?.. И зачем он залез на второй этаж? Ничего не понимаю, какие-то тайны...»

В полуденный час Гордеев вошёл в небольшой ресторанчик, расположенный на другом конце города. Один из посетителей кафе — мужчина, вид которого был бы ничем непримечателен, если бы не неправильный треугольник носа и уж слишком потёртый серый пиджак, поднялся из-за стола и закрыл собою Гордеева, а потом представился:

— Меня зовут Михаил Григорьевич Староверцев. А вы, как я понимаю, Гордеев?

— Да.

— Садитесь, мне необходимо с вами поговорить, это очень важно. Мне известно, что вы занимаетесь портретом Великовского и ищите преподавателя, который мог бы вам рассказать об этом человеке.

<...>

Они сели за линию столика. Староверцев сказал:

— Я знаю, что вы уже успели поговорить с некоторыми людьми, и даже посетили министерство. Скажите, не заметили вы там чего-нибудь странного?

Гордеев помолчал некоторое время, думая, что на это ответить, и, наконец, кивнул головой:

— Да, заметил. Все служащие говорят о моём дяде очень хорошо, между тем кое-кто из них как будто старается уйти из-под его опеки. <...>

— Сейчас вы получите ответы на многие вопросы. Сначала о новой образовательной программе Великовского. Я имею огромный стаж работы как в школе — я начинал простым учителем математики, — так и в университете, и всегда являлся сторонником традиционной формы обучения. Метод Великовского губит всё, но не только из-за этого я выступаю его противником — <...> этот метод является причиной неслыханных изменений в человеке.

— Каких изменений? — осведомился Гордеев, — и если всё так серьёзно, почему его не отменяют?

— Всё дело в том, что эти изменения произошли пока только с двумя людьми, и один из них — мой студент, и я уверен, что всему виной новая система, хотя не могу этого доказать. Этот студент, как бы это лучше выразиться... хм... утратил способность находить на людей... я хочу сказать, закрывать их собою, как делаем мы это тогда, когда хотим кого-нибудь лучше рассмотреть.

— Но... — квадратный глаз художника расширился от удивления.

— Да-да, вы не ослышались.

— Нет, я всё же не понимаю, как это возможно.

— И тем не менее. — Староверцев пожал плечом, — Его отправляли в научный центр. Многие учёные склоняются к тому, что это именно изменение, а не болезнь. Он как будто больше не воспринимает это простое человеческое действие и, в результате, не может разглядеть человека, ему только остаётся чувствовать его.

— Но всё же я не понимаю, почему тогда программу не закрыли. Даже если нет доказательств, что связь между этими изменениями и новой системой обучения существует, — а я, полагаю, она на сердце, её не вижу, — всё равно никто уже не стал бы говорить о ней так доброжелательно или что-то скрывать.

— Авторитет Великовского, его связи и государственные деньги — вот что сыграло роль. Внедрение программы продолжается, ваш дядя настолько хитёр, что ему удалось убедить всех министров в необходимости её продления. Что касается простых преподавателей, то меня, например, как человека отказавшегося подчиниться, просто уволили из университета, — Староверцев немного помолчал, а затем прибавил, — а тех, кто на первых порах готов был стать моим союзни-

ком, просто-напросто подкупили, и я в результате лишился всякой поддержки.

— Как я уже говорил, я пока не увидел связи между программой Великовского и изменениями, произошедшими со студентом. Кстати, как зовут его?

— Коженин.

— Коженин? Надо запомнить эту фамилию... Так вот, — продолжал Гордеев, — если бы вы рассказали о нём подробнее, я смог бы попытаться понять вас.

«Всё началось с того, что однажды утром я пришёл к себе на кафедру и, пройдя по всей её плоскости, увидел, что моя лаборантка Марина убирает с пола осколки керамической копилки, которую она только что по случайности разбила. Эта копилка, сделанная в виде свиньи и покрытая серебряной краской, была дорога ей как память — подарок её первого молодого человека, артиста, которого она повстречала во время своей поездки по Швейцарии. Девушка коллекционировала монеты, и теперь они все стояли на линии её рабочего стола. Марина была очень расстроена; я уже решил как-нибудь развеселить её, но вдруг она сообщила, что настроение её испорчено совсем из-за другого.

— Копилка-то бог с ней, а вот вчера вечером утвердили новую образовательную систему, вы в курсе?

— Нет, — ответил я.

— Сегодня все уже занимаются по ней. Я знаю, как это отразится на всём, так что...

<...>

У линии входа в аудиторию меня встретил мужчина, которого я видел впервые; он держал чемодан, и, когда заслонил меня, стал переключать его из руки в руку, как будто решал, какую из них со мной поздороваться. У меня, впрочем, не было ни малейшего желания с ним общаться, ибо я сразу понял, что он один из исполнителей новых институтских распоряжений. Наконец он всё же протянул мне руку, и тут я увидел, что на ладони его стоит маленькая оправка очка; внутри её было тёмное стекло.

— Наденьте очко, — попросил он.

— Зачем?

— Теперь в плоскости каждой поточной аудитории висит особая люстра, которая мелькает разными цветами и влияет на умственные способности студентов, стимулируя их.

— Если она стимулирует, то почему тогда я должен надевать очко?

— Потому что вам нужно читать лекцию.

Что он имел в виду этим своим ответом, я понял сразу, как только прошёлся по всей плоскости аудитории, в которой мне предстояло работать следующие полтора часа, — <...> люстра была очень необычной формы, с разноцветными стёклышками в прорезях; кусочки света ловкими светлячками проникали в глаза студентам, и у каждого из них он настолько расширился, что был похож на блюдце.

Тут в плоскости аудитории появился мужчина, которого я встретил у входа и осведомился у меня, почему я не начинаю лекцию.

— Боже мой, что вы наделали! — воскликнул я, — это же настоящее зомбирование!

— Вам только так кажется, — возразил он, — я гарантирую, что после лекции каждый из них сумеет повторить материал слово в слово.

«...» На кафедре стояла увесистая тетрадь.

— А это откуда здесь?

Он ответил, что в тетради мои новые лекции и что они, по большому счету, ничем не отличаются от тех, которые я сегодня принёс из дома и которые лежали теперь в моём портфеле, кроме специального порядка слов — вот он-то очень важен.

«...»

На следующих двух лекциях повторилось то же самое, и снова присутствовали абсолютно все студенты — никто не отправился в кино или в кафе, не ушёл домой. «...»

В конце дня я был ознакомлен ещё с несколькими новшествами, которые сулила программа Великовского: в аудиториях, предназначенных для семинарских занятий, должны были в скором времени повесить денежные знаки, огромного размера, сделанные в виде картин, — ровно через три дня это было выполнено; разумеется, во всех поточных аудиториях теперь висели люстры, которые зомбировали студентов; я, (как, впрочем, и все остальные преподаватели, независимо от того, к какому отделению они относились), должен был заставлять студентов читать Драйзера, и даже в неучебное время; кроме того, преподавательский состав должен был позаботиться, чтобы это имя как можно чаще звучало на лекциях и семинарах, пусть даже это было бы и совершенно не к месту. «...» Что касается других заданий, то мы должны были нагружать ими студентов как можно больше, а в том случае, если у них что-нибудь не получалось, ни в коей мере не поддерживать и ничего не объяснять, а наоборот говорить фразу: «Это не мои проблемы», — и оставлять их разбираться самостоятельно, — они, мол, её услышат ещё много раз, как только полностью вступят во взрослую жизнь. «...»

По истечении следующего месяца вся наша жизнь поменялась до неузнаваемости, ведь, как вы понимаете. «...»

Теперь я, пожалуй, перейду собственно к истории Дениса Коженина, студента, который к тому времени учился на третьем курсе. «...»

Я хорошо помню тот день, когда Коженин первый раз появился в институте, было это четыре с половиной года назад: его плоский сгорбленный профиль с глазом, на который была одета застеклённая тёмным стеклом железная оправа очка, кривая улыбка, постоянно сковывавшая его полугубы, — всё это во время разговора создавало странное впечатление, будто рядом с тобой находится скорпион; (как выяснилось позже, он и был скорпионом по знаку зодиака). Коженин сразу не понравился большинству студентов, и они хмурили бровь даже тогда, когда он просто сидел с ними в плоскости одной аудитории, а уж если им случалось заслонить его собою, то лицо их и вовсе зеленело; между тем, если бы вы спросили их, с чем это связано, я думаю, они или не нашлись бы, что ответить, или не захотели бы отвечать — в конце концов, люди редко признают, что человек им не нравится из-за странной улыбки, слишком громкого смеха или ещё какой-нибудь чепухи — нет, они будут подобно стервятнику выжидать,

и когда объект их неприязни сделает что-нибудь такое, к чему можно будет придраться, — вот тогда они и ухватятся за это, найдут причину, так сказать, и после этого пощады не жди.

Вы, быть может, хотите спросить меня, почему я так хорошо это знаю? Всё очень просто, когда я сам был студентом, я прочувствовал то же самое на собственной шкуре: не сделав ничего дурного, человек становится изгоем. Ну, а в случае Коженина поводом послужило вот что: недели через две после начала занятий, один из студентов, учившийся в его группе, погиб в автокатастрофе, и, как водится в таких случаях, в почтительности первого этажа поместили деревянную доску, обитую чёрным сукном, — а к ней прикрепили фотографию студента и сообщение о его гибели.

Разумеется, весь преподавательский состав был шокирован, а одногруппники погибшего и подавно: в свободную пару они по очереди заслоняли собою доску, и глаз каждого из них сначала краснел, а затем начинал проливать слёзы «...» Коженин спустился по большой лестнице, которая вела в прямоугольник другого помещения; «...» все студенты сначала замерли, почувствовав его присутствие; «...» впрочем, после того, как каждый заслонил собою Коженина, он не разглядел ничего нового — по лицу студента как всегда блуждала эта странная улыбка «...», — ну, а когда ты пребываешь в шоке от гибели своего институтского товарища, и вдруг в это чувство вплетается неприятное ощущение, будто с тобой рядом находится скорпион, вы понимаете, какой диссонанс это вызовет.

Коженин нашёл профилем на фотографию, постоял, поулыбался, «...» потом странно, с какой-то удовлетворённой интонацией хмыкнул, и как будто бы даже пошевелил гипотетическими волосками, которые могли бы выглядывать из его ноздри, — и быстро скрылся за линией входа в институт.

Все присутствовавшие остолбенели. Кожа на их профилях побледнела настолько, что создавала резкий контраст с красной сеткой глазных капилляров; многие студенты, застывшие на месте, приняли очень странные позы: один из них наклонился так, как будто готовился к прыжку, другой, казалось, собирался сделать сальто, третий — акробатическое колесо... Одна студентка выронила из рук чёрный прямоугольник сумочки, и та, приземлившись издавала такой звук, как будто внутри находилось небольшое человеческое тело. «...»

Спустя полчаса странный эпизод в холле обсуждали уже на всех лестничных пролётах, а те, кто при нём даже не присутствовали, громче всех кричали, что Коженин на их глазах с презрительной улыбкой поскоблил фотографию погибшего пальцем или же добавляли другие невероятные подробности. «...»

Как вы понимаете, я не просто сохранял нейтралитет, я целиком и полностью был уверен в том, что Коженин — человек очень неплохой, и если он даже улыбался в тот момент, когда делать этого не следовало, значит, у него были на то какие-то основания. «...» Близилось очередное занятие по линейной алгебре; «...» (между прочим, я не упомянул ещё одного любопытного обстоятель-

ства: мой семинар Коженин не прогулял ещё ни разу, и я знал, по какой причине, — математика его действительно интересовала, он от природы был одарён феноменальными способностями к ней).

<...>

В день семинарского занятия я пришёл в плоскость аудитории за десять минут до его начала, чтобы понаблюдать за студентами; Коженин был на месте, <...> но мне всё же хватило пронизательности почувствовать неладное: пройдя по плоскости я увидел, что все остальные студенты вели себя уж слишком весело и как будто специально не замечали Коженина, <...> но глаза-то их, утратившие на время белок, принимали лукавую форму. <...> Стало быть, минутой назад, когда я ещё отсутствовал, в аудитории творились вещи, которые теперь от меня тщательно старались скрыть. <...> Ну, а в самой середине семинарского занятия произошло событие просто-таки знаменательное: сперва я услышал шаги в проходе между партами, а потом на мне промелькнула сторбленная фигура Коженина; студент <...> скрылся за линией двери.

Я бесшумно зашевелил полугубами, но потом всё же смог произнести несколько слов.

— Что вы ему сделали? — слабо спросил я.

От этого вопроса они тоже все остолбенели и, вероятнее всего, были сейчас похожи на меня самого. Никто из них так и не решился ответить на мой вопрос.

Тут только я нашёл в себе силы разорвать оковы столбняка и быстро вышел в прямоугольник коридора для того, чтобы догнать Коженина.

<...>

Я быстро спустился на первый этаж, в плоскость того самого холла, где Коженин когда-то с улыбкой разглядывал портрет погибшего студента. Я долго не мог понять смысл того, что там происходило. Коженин находился перед линией выхода, я его почувствовал, но он не мог выйти в плоскость улицы, потому что дорогу ему преградил охранник, — сначала я так подумал, — но потом, услышав их разговор, понял, что дела обстоят гораздо сложнее и в высшей степени странно.

— Проходите... я не понимаю... что такое с вами случилось? — говорил охранник.

— Я и сам не понимаю! — отвечал Коженин испуганно, — я не могу пройти мимо вас! И даже не могу вас увидеть!

— Заслоните меня собою, — попросил охранник довольно резко. <...>

— В том-то и дело, что у меня не получается!

— Идиотизм какой-то! Тогда я вас заслону, — он, видимо, попытался, и после этого я услышал его удивлённый возглас, — чёрт возьми! Я тоже не могу этого сделать! Как будто в стену упираюсь... и увидеть вас не могу!

— Что здесь происходит? — осведомился я, прошёл ещё немного и тут вдруг так ударился носом, что в глазу у меня затанцевали фиолетовые созвездия.

Я взвыл. Взвыл и Коженин:

— Ой, господи как больно! За что же вы так ударили меня по затылку?

— Денис, что такое? Я разве тебя ударил?

— Конечно! Вы толкнули меня сзади.

— Но как это возможно, если я должен был... — тут я умолк, поражённый.

— Я знаю, как мы попробуем сделать. Давайте я зайду за свою будку, — предложил охранник, — быть может, тогда вы сможете пройти.

Эта идея, слава богу, увенчалась успехом: как только охранник оказался за стеклом, Коженин тут же спокойно прошёл к линии входа.

— Ну что, всё в порядке?

— Похоже на то! — воскликнул студент облегчённо, — теперь я вас вижу. <...> Ладно, я, пожалуй, пойду.

— Нет, постой. Нам надо поговорить, — окликнул его я, — я считаю, что ты нездоров!

— Да ерунда! Всё в полном порядке...

<...>

Когда на следующий день в полдень я зашёл в плоскость буфета с целью немного перекусить, то почувствовал, что Коженин где-то здесь, — вероятнее всего он стоял в очереди, — но опять творилось что-то неладное, потому как я слышал удивлённые крики и возню; сам ничего увидеть я не мог, но чуть позже выяснилось, что происходило примерно следующее: одному студенту, занявшему очередь в самом хвосте, понадобилось на некоторое время отлучиться, но пока его не было, на его место встал Коженин; вернувшись, студент, (его фамилия была Скворцов), потребовал пропустить его; Денис охотно согласился, но тут вдруг повторились те самые странные вещи, которые произошли с ним вчера в холле института: опять он никого не мог заслонить собою и никто не мог заслонить его. К несчастью, Скворцов обладал очень нервным характером, а то, что на его пути оказался человек, вызывавший у всех неприязнь, лишь подстегнуло вспышку гнева и отчаянное стремление протиснуться вперёд, <...>: с натужными криками «да пропусти же меня» он принялся ударяться о «невидимое» тело Дениса, — а когда у него ничего не получилось, вздумал перелезть через него, и в результате, перемахнув через голову Коженина, не только сильно ушиб тех, кто стоял дальше в очереди, но, что самое страшное, сломал шею себе. <...>

— Нужно немедленно вызвать скорую! <...>

Я тут же пришёл в себя и, подскочив как ошпаренный, побежал в плоскость своего кабинета к телефону.

Дальнейшее можно рассказать в двух словах. Дениса поместили в стационар, но там никто не смог даже приблизительно определить, что с ним такое, после чего его отправили в научный исследовательский центр, и вердикт учёных был настолько неясен, что если бы на его основе кому-нибудь захотелось раздуть скандал, то воплотить это в жизнь было бы достаточно сложно, <...> и всё же Великовский перестраховался и избежался от многих, кто имел отношение к этой истории, — в первую очередь из института уволили меня, а потом ещё нескольких людей.

Денис до сих пор находится в научном центре. Ровно три раза в день в плоскость его палаты приходит человек, который вкладывает еду в его полугубы, и два раза в день подставляет судно. Коженина никто не может увидеть, поэтому подключить к нему какие-либо приборы не представляется возможным». <...>

После того, как преподаватель завершил своё повествование, Гордеев молчал довольно долго; затем произнёс:

— Вы, кажется, говорили, что изменения произошли с двумя людьми. Кто второй?

— Внук одной старой женщины, которая живёт недалеко отсюда.

— Эти изменения того же характера, что и с Кожениным?

— Нет. Там всё гораздо проще, и взаимосвязь очевиднее.

— Но почему негативное влияние программы носит такой избирательный характер? Почему именно эти люди?

— Я спрашивал себя об этом. Коженин человек особого склада, он чувствителен, как камертон. А вот второй молодой человек... думаю, будет лучше, если вы послушаете рассказ о нём от самой старухи. Зовут её Анна Петровна Агафонова.

Глава 5

— У меня есть ключ от квартиры. Я присматриваю за Анной Петровной — больше некому. Она больна, её муж и дочь умерли, а внук... внук больше не живёт здесь... <...> Проходите... Имейте в виду, у неё часто начинается бред, — предупредил Староверцев, когда они оказались в плоскости комнаты старухи, — так что постарайтесь воспринимать только полезную информацию. Врачи несколько раз уже хотели отправить её на тот свет, но, слава Богу, она выкарабкалась. <...>

Старуха или дремала или спала, но не очень крепко — как только Староверцев прикоснулся к её профилю, она тут же спросила, он ли это.

— Я привёл к вам человека, вы должны рассказать ему историю, которая случилась с вашим мужем и внуком. Я сказал ему, кто вы и о чём пойдёт разговор.

— Ах, правда? Как зовут его?

— Павел. <...>

— Здравствуйте... Сядьте на стул, вам будет удобнее. Я очень рада, что меня, наконец, навещил кто-то, кроме Миши, — после того, как мой Иван Тимофеич скончался, ко мне редко приходят другие люди, да и раньше-то мы жили тихо и уединённо, заходили в основном только бывшие военкомовские сослуживцы. <...> Однако всё же были это, прежде всего, его друзья, так что теперь-то они здесь перестали появляться, а может быть поумирали бедные, да я уж и не удивлюсь, если оно так и есть — не только ведь одного Ивана Тимофеича те события способны были в гроб свести. <...> Начались все наши несчастья ещё очень давно, Великовский ведь никогда пенсионеров не уважал, ни во что их не ставил, деньгами снабжал мизерными, остальное же проедал в своём министерстве, а когда он вздумал осуществить эту образовательную реформу, уж и совсем стало невмоготу — ему нужны были на неё дополнительные деньги, и, конечно, он не нашёл ничего лучше, кроме как содрать с нас последнее: отменил все льготы и ещё поурезал пенсии. Одним словом, к пенсионерам он всегда относился как к какой-нибудь обузе, но в публичных-то выступлениях ничего этого не признавал. А тут вдруг в самый разгар реформы — было это год назад — нагрнул

ветеранский юбилей, к которому мы с мужем и его сослуживцами относились самым что ни на есть прямым образом. Раньше, лет десять назад, <...> на юбилей, помнится, было очень уж хорошо: нас позвали в местный Дворец культуры на концерт, а потом как следует накормили за ветеранским обедом. В этот раз, то есть год назад, по сути предполагалось сделать точно такой же обед, но вот тут-то Великовский и подставил нам свинью — все деньги он пускал только на свою политику, и никаких трат, даже по случаю юбилея, делать не собирався, но, конечно, оставить ветеранов без праздника означало бы открыто их оскорбить. <...>

Художник, начинал чувствовать в голове сухие щелчки и даже какой-то странный свист; у него вдруг появлялось ощущение, будто всё то, что говорили ему последнее время накладывались на те самые странные картины, которые помнил он из своего первого сна о Татьяне, и теперь уже именно они назойливо кружились перед ним, будто бы стараясь овладеть его мозгом, и складывались, наконец, в один единственный профиль... <...>

Великовский, Великовский, Великовский, Великовский, — ритмично повторялось в голове художника. <...>

— Итак, — продолжала старуха, — ему нужно было как-то вывернуться. Сделал он вот как: вместо того, чтобы позвать на обед людей, он выписал из местного магазина одежды десяток манекенов, разodel их в военную форму, звёздочки, погоны и всё такое прочее, отвёз в столовую и усадил их за стол перед тарелками с искусственной едой, после чего один нечестивый журналист всё это заснял на камеру и отправил репортаж на местное телевидение; через день это транслировали в выпуске новостей и всё время только и повторяли назойливо, что, мол, ветераны вчера голодными не остались. Мой Иван Тимофеич увидел это по телевизору и так переволновался, что попал в больницу с сердечным приступом — там-то его врачи и оприходовали, да и не только он один, говорят, скончалось после этого выпуска новостей, ещё несколько ветеранов — Великовский так всё и планировал, вы что думаете... ах, Боже мой, до чего же бессердечный человек, играет нами, как куклами!

Как только Гордеев услышал последние её слова, что-то опять щёлкнуло в его голове, как будто деревянный сучок переломился надвое, и он понял, что перестаёт чувствовать свою голову. Старуха всё продолжала и продолжала говорить и как будто гипнотизировать Гордеева. <...>

«Я уж помню этот репортаж, ясно как день помню. Все ветераны сидели за столами, в креслах с пятью спинками, (ох уж эти кресла!), сидели и шевелили конечностями... ну прямо как насекомые какие-то... заводные манекены... и главное как разодеты! Погонички, форма новая, что-то в ней болотное было... болотного цвета... И всё то и дело наклоняются влево-вправо и посматривают на картину, которая висит на стене, своими безжизненными глазами посматривают, а на ней Великовский, у зеркала стоит, да ещё так хорошо нарисован, как будто это, ей-богу, сам он... да-да, сам это он и был, в глазу-то его все эти погонички и форма, и сами ветераны отражались, смотрел,

изучал и посмеивался про себя, как это ему ловко удалось совершить подтасовку. А репортёр приехал на такси, расплатился с водителем и вдруг говорит ему удивлённо: «Что это вы мне такое дали на сдачу?» Тот ему отвечает: «Дайте посмотреть... — и вылезает из машины, — ах, извините, это мне вчера заплатили, когда я картину Великовского нарисовал. Замечательная, между прочим, картина, те, кто смотрел, сначала даже подумали, что это сам он, а потом пощупали и видят — это и правда холст, а вовсе не Великовский». «И всё же я не понял, — говорит репортёр, — вы же такую монету нигде обменять не сможете, она коллекционная». «В том-то и дело — я их собираю», — и вдруг таксист её хватя из растопыренной ладони репортёра, раз и проглотил, а тот в испуге его спрашивает: «Зачем вы это сделали?» «Я знал, что вы не отступитесь. Я же каждый день подвожу вас на такси, и всё время наблюдаю... вы постоянно хотите что-нибудь стянуть у меня. Особенно на эти монеты глаз положили, я же всё знаю, и только не пытайтесь меня переубедить». «Но как же вы сами сможете теперь изучать их?» — спросил репортёр. «Я уже рассмотрел на них всё, что только можно было». <...> Репортёр прошёл в плоскость зала и сказал оператору, который в это самое время стоял за линией одного из столов и чистил серебряный поднос, что снимать-то нужно не манекенов, а всё больше портрет Великовского, они так, мол, двух зайцев убьют — и зрители ни за что не догадаются о подлоге, (а впрочем, какая разница?), да и в глазу Великовского всё равно эти манекены отражаются, всё видно будет... И вдруг Великовский на картине начинает двигаться!.. Сходит со стены и говорит, как это ловко ему удалось прикинуться. «Я всегда за вами наблюдаю, так и знайте!»...

— Кажется, на неё накатило, — произнёс Староверцев, загородил собою часть старушечей тени, поднял растопыренную ладонь, но тут же на ходу сжал её в кулак и ударил по линии, которою обрылся лоб.

— Ох, сынок, большое тебе спасибо, — сказала она как ни в чём не бывало, безо всякой даже паузы, — иногда на меня такая волна накатывает! <...>

— Расскажите лучше о том, что было после смерти Ивана Тимофеевича. Павел внимательно слушает вас.

Гордеев действительно слушал, но было такое впечатление, что он находится под каким-то странным гипнозом.

«Хорошо. Я расскажу о Николашке, нашем внуке, о котором заботились мы с Иваном Тимофеевичем. В шесть лет он остался круглым сиротой: мою дочь сбил на улице какой-то таксист, <...> а отца он вообще никогда не знал, да и очень хорошо, что так, — он был человеком, спившимся рано и очень быстро; Николай был заботлив; ему было ещё только шесть, а он уже к книгам тянулся так, что, бывало, и не оторвёшь, — уж точно не в отца он пошёл. <...> Словом, нам, старикам, повезло, чудо-ребёнок попался. В школе он учился только на одни пятёрки. <...> Прошла средняя школа; Николай пошёл уже в десятый класс, и тут-то грянула новая образовательная программа. Сначала, вроде бы, никаких перемен не происходило,

а потом вдруг мы с мужем стали замечать, что Николай как-то по-иному стал с нами разговаривать, безо всякой искренности, и, что бы мы его не попросили, за всё ему плати. Он постоянно просил денег: и просто так, и за какую-нибудь помощь по дому, даже самую мелкую. Скажешь ему: «Николашка, пожалуйста, пойди вымой посуду», а он отвечает: «Хорошо, бабушка, но только если заплатишь мне» и называет сумму. Суммы с каждым разом становились всё больше. «Николай, подмети пол, мне ведь тяжело уже», — говорю. «А ты мне, пожалуйста, принеси столько-то». «Да откуда же у меня деньги? Мы тебе и так всё отдаём». А он жмёт плечом и отвечает: «Ну, знаешь, это не мои проблемы, что у тебя денег нет!» И сколько мы с Иваном Тимофеевичем ни пытались поговорить с ним, всё было бесполезно, но, видно, всё же Николашке это очень досаждало, потому что, в конце концов, он стал требовать с нас деньги за разговор с ним, и за ответы на наши вопросы. Ей-богу, иногда нам действительно приходилось давать ему деньги, потому как становилось просто уже невыносимо, мы ведь не можем делать всё сами, но Николай нисколько от этого не добрёл, а становился всё жаднее и жаднее. Мы с Иваном Тимофеевичем и сообразили, что виной всему может быть программа Великовского; он пошёл в школу, чтобы поговорить с преподавателем; тот слушал его достаточно долго и довольно внимательно, а потом сказал, что даже если это и так, то в этом нет ничего дурного, а если ему что-то не нравится, то пусть напишет жалобу в министерство.

— Но это нелепо! — воскликнул Иван Тимофеевич.

— Это не мои проблемы, — пожал плечом преподаватель. <...>

В результате мы с Иваном Тимофеевичем решили вот на какой шаг: что если поступать с Николашкой точно так же, как он с нами? Если у него получается, то и у нас должно получиться. <...> Мы ошиблись, ибо хватило нас только на несколько дней.

<...> Все эти переживания да ещё и этот репортаж об обеде ветеранов в конце концов-то и свели моего мужа в могилу. Николашка на похороны не пошёл, потому что я ему не заплатила, а на следующий день объявил мне, что скоро собирается уйти из дома.

— А чего сейчас не уйдёшь?

— Ты мне деньги должна.

— За что? — спросила я и вдруг разрыдалась.

— За всё, что я делал для вас раньше. И в шесть, и в семь лет помогал вам, и позже ещё гораздо — всё это должно быть оплачено, — и вдруг достаёт из прямоугольника своего портфеля стопку бумаг и на каждой все его действия прописаны во всех подробностях: тогда-то и тогда-то в такое-то, такое-то время делал он то-то и то-то и стоит это столько-то и столько-то. Все бумаги нотариально заверены.

— Тогда и ты плати за проживание! — закричала я как помешанная.

— Э нет, бабушка, не выйдет у тебя. Я вас с дедом не просил о приюте.

— Да ты в детском доме сгинул бы, если бы не мы!

— Но не сгинул же, — отвечает Николай и опять плечом пожимает — так, как он это умеет.

И тут я, рыдая, становлюсь перед ним на колени.

— Внучок, — говорю, — пощади! За что ты так со мной? Мы же отдали тебе всё, что только могли!

С минуту он, закрыв собою, сверлил меня взглядом. Недобрый огонёк в нём сверкал, а потом вдруг весь профиль его как-то скукожился, позеленел; он мигком добежал до сумки, достал шоколадный трюфель, съел его и только после этого полугубы его расправились в невыразимом облегчении; он прищурился так злобно и презрительно и говорит:

— Я вижу, что ты решила мне на совесть давить? Не пройдёт у тебя это — так и знай. Если бы у тебя были бы деньги, чтобы заплатить, и ты так бы встала передо мной на колени, то да, я бы ещё бы мог допустить, что это искренне, а так ты просто хочешь отвертеться. Ну уж нет! Раз нет у тебя денег, то это твои проблемы, они меня не касаются. Впрочем, я скажу тебе, как их достать: ты ведь можешь очень хорошо нажиться на смерти Ивана Тимофеича. Государство должно тебе вдовью выплату, компенсацию, так сказать. Только нужно подписать какую-то бумагу.

Затем он отвернулся и ушёл. Но ненадолго: скоро возвратился и опять стал деньги с меня требовать, на этот раз пуще прежнего, да ещё и грозился в тюрьму засадить. Что было делать мне? Я поняла, житья не будет, пока не выполню то, что он просит. Пришла я в плоскость сбербанковой комнаты спросить, как оформить мне заявление о вдовьей компенсации, а там прошла по всему прямоугольнику и вижу, громадная очередь и за линией стола кассира сидит человек ну прямо точная копия вас, Павел, да-да, я не шучу, а рядом с ним Великовский — стоит и смотрит в зеркало, а со стороны оно похоже на картину... ну, думаю, всё, дело «швах»... Да и очередь какая необычная! Они не стоят на месте, а всё двигаются, двигаются, жрут шоколадные трюфели и кричат, что «этот швейцарский банк задолжал им огромные деньги», а потом вдруг замолкают и снова ходят, тяжело сопя носом, сталкиваясь друг с другом выпуклостями плеч и прямоугольниками туловищ. В руке у каждого серебряный поднос с каким-нибудь причудливым изображением: вот артист кукольник, у которого вместо ладоней кожаные пятипалые кресла, держит лески, к которым прикреплены марионеточные куклы, вот и свинья, сжирающая шоколадный трюфель, который протягивает ей антиквар, сидящий в такси, — и кажется, что в следующий момент машина сойдёт несчастное животное, а на третьем подносе — таксист, старающийся проглотить кругляш монеты... <...>»

Староверцев снова подошёл к старухе, занёс над нею кулак и ударил по краю лба, на сей раз сделав это немного сильнее.

Гордеев внезапно встал и направился к линии двери, но выглядело это не так, будто чаша терпения его переполнилась, и он решил на что-то или же действовал под властью некоего внезапного порыва, — нет, это скорее было сродни тому же самому чувству, которое испытал он один раз во время разговора с Великовским — ноги сами подняли его туловище; Гордеев находился в

каком-то заторможенном состоянии: по выражению его профиля, и, особенно, по его глазу можно было догадаться, что рассказ старухи находится теперь где-то внутри него. Когда Староверцев понял, что Гордеев уходит, его полугубы, казалось, растянулись в чуть заметной улыбке.

Гордеев вышел в плоскость улицы; он знал, что Великовский сейчас в министерстве. <...>

Гордеев забежал за линию входа в министерство; охранник даже не остановил его. Взобравшись на четвёртый этаж, художник зашёл за линию двери 401-й комнаты...

Рассказ Гордеева

У меня такое в голове творилось! Мой мозг — если только его ещё можно было обнаружить где-то внутри этого костного круга головы — был, что называется, загружен по полной. Он словно превратился в скафандр, расширявшийся от теплоты моего тела настолько, что мне казалось, ещё немного и по черепной коробке поползут толстые червеобразные трещины, как по ветровому стеклу автомобиля, в которое колесо от слишком резкого старта плюнуло гравием.

Словом, я был в трансе, но помню всё прекрасно: сначала сильно ударил его, — он сидел в своём кресле и только успел почувствовать моё присутствие, но у него и в мыслях не было, что я что-то замышляю, — а потом, когда он упал и потерял сознание, я стал искать верёвку и нашёл. Нашёл! Достал из-за ящика стола. Она оказалась не очень прочной, но я подумал, сойдёт. Ну, а крюк в кабинете был только один — тот самый, на котором висела картина...

Ещё раз хочу обратить внимание на то, что у меня не было никакого конкретного плана: я в трансе пребывал. А потом, когда дело было сделано, и профиль Великовского повис на крюке — мёртвый профиль — я вдруг посмотрел на него и остолбенел. Знаете почему? Создавалось такое впечатление, будто на стене висит портрет. Только без фона. Выходит, я написал свою картину? Ну уж нет! Это я и сказал Берестову, когда он вошёл в плоскость кабинета. Он, наверное, подумал, что я сошёл с ума раз не бегу с места преступления, но на самом-то деле кого-кого, а Берестова я никак не ожидал увидеть! Мне до сих пор интересно, что ему там понадобилось. <...>

Берестов сказал мне, что нам следует немедленно отсюда убираться. Должен сказать, я вздрогнул от этого «нам», но мне кажется не внешне, а внутренне... как вздрогнула бы вешалка, на которой висит пальто.

Выходило так, будто мы с ним сообщники.

Но я не двинулся с места. Тогда он просто взял меня за руку и повёл следом за собой. Со стороны мы, наверное, напоминали двух людей, несущих завёрнутый труп.

Берестов вывел меня в плоскость улицы какими-то кулуарными путями, потом мы прошагали мимо заброшенной котельной, а заодно наподдали дюжине жестянок, валявшихся тут же под ногами, — эти жестянки были похожи на зубастых лягушек, — и вышли в плоскость некоей улицы, так ярко пестревшей закатным солнцем, что мне казалось, будто мы идём по костюму арле-

кина. Потом прошло ещё минут пять, и я понял, что заслоняю собою уже знакомые места, а стало быть, мы приближались к дому Великовского. <...>

Когда мы вошли в плоскость гостиной, там меня ждали все, кого я уже видел, ну или почти все: во всяком случае, Староверцев, таксист и Асторин были на месте и ещё какой-то человек стоял рядом с ними; впоследствии я выяснил, что это был Фрилянд, — да-да, тот самый секретарь, о гибели которого я читал в газете. Вот так-то.

Я спросил их, что всё это значит, но меня ответом так никто и не удостоил, — они все были настолько взволнованы и так дёргались, что глаза их, должно быть, перемещались по плоскости, как шары по бильярдному столу. Это, наверное, продолжалось бы очень долго, но тут Берестов на них прикрикнул, и они все разом утихомирились. Всё же какой он холонокровный человек! Но выглядело-то всё это забавно, ибо он в тот момент напоминал санитаря, который успокаивает сумасшедших, связывая им руки по рукам и ногам.

Потом он повернулся ко мне и сказал, что на то время, пока милиция будет вести следствие, мне бы не мешало пожить в квартире, которая принадлежала ему; он жил там до свадьбы, но теперь она пустовала.

— Конечно, вам лучше уехать из города, но это будет слишком подозрительно, и вас рано или поздно арестуют. <...>

Потом меня заслонил собою Староверцев; рассматривал так, как будто видел впервые. Я не выдержал, сказал ему об этом, а он и глазом не моргнул — ответил, что так оно и есть.

— А вы? — обратился я к Астору.

— Что я?

— Мы тоже с вами не знакомы?

— Нет, почему же, вы заходили ко мне, когда только приехали сюда. <...>

Он хотел отвертеться или действительно говорил правду? То, что я видел и слышал, было ли это на самом деле или здесь добрая половина галлюцинаций, которые в результате подвели меня к преступлению? Могли ли эти люди, сговорившись, вести себя так, чтобы спровоцировать меня? Если последнее верно, то тогда почему и Великовский как будто подыгрывал им?

Я мог бы продолжать задавать такие же вопросы и дальше, вот только мне кажется, постановка их не совсем верна, ибо она не предполагает, что и то, и другое, и третье, и так далее до бесконечности могло бы существовать одновременно.

Эту историю можно было бы придать забвению, но в ближайшее время, насколько я понимаю, не получится, так что всё равно придётся её анализировать. Кроме всего прочего, это уже не первое убийство, которое я совершил. Не удивляйтесь, что говорю об этом так спокойно. Скоро я даже расскажу, в чём собственно состояло дело.

<...>

Часть 2. Отрывки из дневника Гордеева

Глава 1

Сегодня днём увидел из окна любопытную картину: в плоскости улицы посреди пустой дороги

остановился фургон «Скорой помощи». Синих мигалок было на нём так много и они так оживлённо общались друг с другом и подмигивали, что у меня возникло впечатление, будто я рассматриваю новогоднюю гирлянду из птиц. Санитары, а заодно и водитель вместе с ними, вышли из-за машины и принялись там и сям искать поломку: кто-то наклонился к заднему колесу, кто-то потрогал ногой бампер, а шофёр открыл линию капота и стал под нею ковыряться — как будто дождевых червей в земле вылавливал — но он-то, конечно, никак не мог увидеть то, что и так с трудом нащупывал руками. И никто не смог бы, кроме того неодушевлённого автомата, который сделал эту машину.

Всем им было очень трудно, они никак не могли определить, почему она сломалась, — (а она именно сломалась), — и, в конце концов, они отправились пешком. Так были расстроены, что даже мигалки забыли выключить.

Видно, этот мир сдвигается с места, и мне очень кстаги было бы подстегнуть его для того, чтобы в один прекрасный день привести к разрушению. Пожалуй, я только сейчас ясно признался себе, что хочу этого. На самом деле я привык к нему, вот в чём дело, но последние события вынуждают меня многое пересмотреть.

Берестов сегодня не пришёл, хотя и обещал. Вообще с момента моего переселения сюда он приходил лишь один раз, но я уверен, что этот человек всё время откуда-то наблюдает за мной и слушает: через приоткрытую входную дверь, от которой у него есть ключ, или через вентиляционное отверстие, — а иногда, когда я поздним вечером сажусь к линии стола и зажигаю зелёную лампу, чтобы сделать эти записи, мне кажется, что и на треугольном участке карниза, который можно увидеть, если заслонить окно, вырисовывается круг его головы. Ушная раковина его от напряжения сделалась малиново-синей — она будто хочет уловить абсолютно всё: даже шорохи, которые издают моё тело и ручка, скользящая по бумаге, и тихие всплески и биения зелёного света.

Я сказал ему, что мне совершенно на всё наплевать: дайте только продолжать картину и этого мне будет достаточно.

Обращаясь к своим дневниковым записям семилетней давности, я всё стараюсь выбрать те, с помощью которых можно было бы ясно объяснить, что же всё-таки случилось. По всей видимости, стоит начать с этой:

Утро 2005-й июль, 20-й день.

Сегодня утром, будучи ещё в пограничном состоянии между сном и явью, но постепенно пробуждаясь, долго смотрел на спинку кровати, и мне казалось, что деревянные шары, увенчивающие вертикальные стойки, превратились в точно такие рыцарские шлемы, которые я видел недавно на «Сдаче Барселоны». Видно Льюис желает плавать на поверхности моих сновидений. <...>

Впервые о творчестве Льюиса я услышал, когда мне было лет шесть, и всё это благодаря моему деду: однажды он включил выпуск новостей, в котором сообщалось о выставке, открывшейся в

Москве пару дней назад. Я уставился на картины, тасовавшиеся на экране скорыми карточными фрагментами, но тогда так ничего и не понял, и, в конце концов, равнодушно отвернулся.

<...>

Сегодня все вещи в студии выглядят светлее. Я, впрочем, знаю, в чём дело: я всегда вижу их такими, когда вечером ко мне должны явиться Павел Калядин и Вадим Меньшов, — это невыразимое ощущение чего-то нового, которое я поглощаю, как будто слизывая со стен лоск, жадно слизывая, и мысли в моей голове начинают сверкать и роиться.

Кажется, я вспоминал о своём деде? Любимое выражение, которое он употреблял по отношению ко мне, — «чубук от трубки». Это повелось ещё лет с шести, с того момента, как я однажды, потираясь в детский сад, решил надеть штаны побыстрее, запрыгнув разом в обе штанины, — и не только не попал, но ещё и порвал их. С тех пор он называл меня так довольно часто, а я никак не мог понять, что это был за чубук и трубка, только потом бабка рассказывала, как много курил дед лет до двадцати пяти: «Пятьдесят с лишним лет уже прошло, а всё же я и теперь удивляюсь, как от него не разит дымом, как он с него выветрился!» — но когда я садился к нему на колени и прижимался теменем к подбородку, мне всё же казалось, что я чую этот дым, и тогда для того, чтобы он окончательно выветрился, я предлагал деду пойти на улицу и поиграть в хоккей.

— Хорошо, но только на пятнадцать минут, не больше, — произносил он каким-то воспитательным тоном, и я, как ребёнок всегда и во всем непослушный, так досадовал на всякое ограничение, что начинал краснеть, гневно ёжиться, убеждать, хитрить, спорить, — словом, перетягивать канат на свою сторону так ловко и упорно, будто хотел, выиграв, найти на другом его конце перчатки соперника. Моя неуступчивость была столь неукротимой, что приводила иногда к довольно нелепым эпизодам: один раз, когда мы пошли играть, пластмассовая шайба так износилась, что треснула по шву, а потом после пары-тройки ударов и вовсе «раскрылась» и напоминала пустую жестянку из-под шпротов, — но мы всё равно по моему настоянию продолжали играть, ибо я знал, что если попросить деда сходить домой и поменять её на новую, (а новая, между прочим, была из каучука, как настоящая), то он ни за что не захотел бы возвращаться. <...>

— Ладно, давай одевайся, а там посмотрим. Чего бы это мне тебе не угодить...

Он, возможно, хотел прибавить, что, наверное, скоро умрёт, — так, во всяком случае, ему кажется, — поэтому и боится не успеть угодить, но, конечно, не стал этого говорить, не хотел пугать своей странной причудой, а бабке и матери он часто так говорил, я сам слышал, но они, к моему удивлению, в ответ только посмеивались. Я хотел спросить у него, в чём тут дело, но никак не решался, потом только узнал, что и в ранней юности он всё время повторял то же самое.

Ну а гораздо позже, когда я был подростком, а он заболел параличом и всё также повторял, что со дня на день должен умереть, мать реагировала

уже совершенно иначе: плакала, кричала и прижимала к кровати его левую руку, которая против дедовой воли непрерывно двигалась — как будто кто-то сверху, (может, это был Господь Бог?), привязал к ней невидимую леску и теперь весело манипулировал.

Так дед пролежал два года и умер через неделю после того, как мне исполнилось восемнадцать лет. Бабушка никак не хотела в это верить и, когда позвали врачей, всё причитала медсестре:

— Посмотри, посмотри, милочка. Может, жив ещё.

— Ну вы что, сами не видите? — отвечала та, — у него уже трупные пятна пошли.

Мать тоже в этот момент была в комнате и, услышав это, разрыдалась.

Я помню, как наклонился к мёртвому телу. Он лежал на боку; я смотрел на его жёлтый высохший профиль, с полуприкрытым глазом, единственным из двух, который мне сейчас был виден, — (из-под века выглядывал нижний полумесяц зрачка, а остальная его часть, как у всех мертвецов, была устремлена куда-то в верхнюю часть лба), — на двухдневную щетину, коей теперь никогда не было суждено отрасти, и думал: почему это так, почему не суждено? Неужели действительно остановка сердца как-то связана с тем, что ни один волосок на теле не отрастёт хотя бы на долю миллиметра?

<...>

И тут вдруг я услышал собственный голос:

— Прошу вас, не волнуйтесь за него. Я уверен, что он ушёл только на пятнадцать минут.

Прошло месяцев одиннадцать, чуть больше; однажды вечером, когда я работал в студии, зашла мать и сказала, что через пару недель к нам наведаются родственники.

— По какому случаю? — спросил я.

— Ну как же, скоро год со дня смерти деда, — удивлённый ответ.

— А-а...

Мать постояла ещё немного в дверях, (я понял, что сейчас она пристально смотрит на меня), а потом вдруг спросила:

— Ты хоть помнишь, когда дед умер?

Я сказал — нет, и прибавил:

— Прошу, не отвлекай меня.

— И даже месяц?

Думаю, я не испытал ни капли стыда, — наоборот, всегда задавался вопросом, зачем моя мать запоминает все эти бесполезные мелочи, и от того начинал чувствовать лёгкое раздражение. Неужели в этом и заключается настоящая любовь? И всё же мне было неприятно в первую очередь от того, что меня так внезапно припёрли к стене. Я грубо накричал на мать, а она заплакала, назвала меня «бездушным мерзавцем» и выбежала из студии.

Ну и чёрт с этим. Если она действительно думала, что я никого не люблю, — а она так часто говорила, — пускай, мне всё равно. С этой благодотворной мыслью я собрал всё своё зрение и углубился в работу.

Вечер

Пятнадцать минут десятого. Так случилось, что меня и всю компанию занесло к Мишке на дачу, — но на счастье я прихватил с собой дневниковую тетрадь, и теперь смогу сделать запись.

Калядин и Меньшов заявили ко мне около пяти вечера. С ними было две девушки, одну из которых я знал, это Дарья Аверченко. У неё пару лет назад умер муж; сначала она никак не могла прийти в себя, но потом ей всё же стало немного легче — или нам только так кажется, не знаю; сейчас она с Вадимом. Вторую я видел впервые. Её зовут Таня, мне сказали, что она дизайнер-модельер. У неё очень мягко выются белокурые волосы, ей-богу нарисуй эти завитушки на блюде сине-голубым цветом и получится гжель.

— Кто-то обещал толпу? — напомнил я Вадиму.

— Вот твоя толпа, — он указал на Таню и, наверное, в сотый уже раз обвёл взглядом мою квартиру, — не будем же мы здесь торчать!

— Конечно нет, — подтвердил Калядин.

— Пошли на воздух, — сказал Вадим.

— Да, но куда? — спрашиваю я, — к Мишке?

— Как, он уже приехал из Турции?

— Ну, а то! Масса впечатлений.

— Вот негодяй, даже ничего не сказал мне.

— Да он приехал-то два дня назад, — объяснил я.

— Ладно, тогда и правда двинем к нему.

— Это далеко? — спрашивает у меня Таня.

— Нет, не очень, — я посмотрел на неё, — запрыгиваем все в мой катер и едем минут двадцать вниз по реке.

Она улыбнулась.

— Вы водите катер?

— Да.

Павел сказал:

— Дорогая моя, он умеет делать это оч-чень необычным образом.

— В каком смысле? — не поняла Таня.

— Порой, это так же гениально, как и его картины.

По лицу девушки было видно, что слова Павла только ещё больше её озадачили. Я рассмеялся.

— Не волнуйтесь, сегодня вы поймёте, о чём идёт речь. Только на обратном пути, ночью. Между прочим, на реке очень красиво в это время. <...>

Катер мне достался от дяди. Лет пятнадцать назад он зашибал здесь немереные деньги катанием и меня научил водить, но после его смерти я лишь изредка промышлял этим, по выходным, в основном для того, чтобы расслабиться.

Когда я открыл дверь гаража, она так заскрипела, что мне показалось, будто от её петель полетели тонкие диаграммные молнии, которые, взойдя на небо, принялись водить хороводы вокруг оранжевого диска солнца, повисшего над водой. Вот тут-то я и почувствовал опять этот чарующий промельк счастья, очередное появление которого я никогда не могу предугадать. Когда он посещает меня? Например, я могу любоваться на дальний участок леса, когда в него впадает радуга, колорит этой картины может привести меня в восторг и мне начнёт казаться, будто на верхушках деревьев расселись изумрудные бабочки, но нет,

этот промельк нечто большее, — думаю, всё дело в некоем настрое моего сердца. <...>

Вадим прошёл к носу катера, и лебёдка затрещала в его руках: трак-трак-трак-жжжжжж, трак-трак-трак-жжжжжж, — и пока катер, освобождая железную тележку, несмело погружался в воду, мы с Павлом придерживали его за борта, чтобы он шёл как можно ровнее. <...>

— Дамы, можно садиться, — скомандовал Павел.

— А ты закинь пиво, — попросил я и указал на четыре картонных ящика, каждый из которых, стоя на мостике, скалился двадцатью зубастыми пробками. <...>

Вадим поспешил в лодку и сел рядом с Дашкой, а я захлопнул двери гаража и прыгнул за руль.

— Ну что, признавайтесь, кто на катере первый раз!

— Зачем делать вид, что обращаешься ко всем? — отражение Вадима в лобовом стекле подмигнуло, а затем покосилось на Татьяну.

— Первый раз — это полный восторг, — сказал я.

— Здорово. А можно я пересяду вперёд? — спросила она.

— Давайте. <...>

Мишка — друг моего детства; когда нам было лет по шесть, мы просиживали на даче с конца апреля до конца октября. С нами был ещё мой двоюродный брат Антон: человек, который не знал равных в недюжинном уме и изобретательности. Он был на пять лет старше нас; мы жили на том же проезде, что и Мишка, но потом отец Антона, мой дядя, продал этот участок.

С моим братцем нельзя было соскучиться, ведь у него что ни день — гениальная идея, приводившая нас в неописуемый экстаз! Много воспоминаний было связано у меня с тем местом, куда мы направлялись...

Дача располагалась в низине, чуть поодаль от Южного причала. Когда мы подъезжали к берегу, Мишка уже ждал нас на мостике. Это был мускулистый парень со смеющимся овальным лицом и копной рыжих волос. От его рубашки вечно пахло смесью двух запахов: пива и пота.

— Ага, братва приехала! Здорово! За вами, кажись, было пиво. Где оно?

— На месте, — заверил я его, приглушая мотор.

— А я думал, ты за милую запах чуюшь, — сказал Вадим.

— Я перестроился. В Кемере оно совсем другое.

— Верю, — я зацепил пальцем кнехт и пришвартовал катер.

— Приятная духота... Я на «Газели». Закидывайте всё туда и сами залезайте.

До его участка мы докатили за две минуты.

— Я привёз сувениры, — сообщил Мишка, вылезая из машины, — потом выберите, что кому. Они все на моей кровати.

Дом был двухэтажный, белого кирпича. Мы обошли его по узкой тропинке и, миновав заросли шиповника, подошли к мангалу, который стоял возле заброшенного парника. Тут же находились шампуры и ведро с мясом. <...>

Я бросаю взгляд на Дарью; в руке у неё раскрытый нательный кулон, она рассматривает то, что находится внутри, (по всей видимости, это фотография), потом вдруг замечает мой взгляд, поспешно закрывает кулон и надевает его на шею.

Часа через три, когда мы уже слопали весь шашлык, запили его пивом и немного опьянели, Калядин садится в сторонку и, опуская голову, уходит в свои мысли. Его причёска похожа на соломенную крышу деревенской избы; ладони сложены дикобразом. Интересно, дикобразы едят солому? В детстве видел одного по телевизору... не помню, как называлась передача, но только не «В мире животных»... кстати говоря, спросите у любого, кто написал музыку, звучащую в заставке, — вам не ответят, несмотря на то, что саму музыку знают все... Поль Мария...

Теперь пространство между Вадимом и Мишкой свободно, — их тела сдвигаются, подобно автоматическим стеклянным дверям в магазине; кажется, в полуметре от порога должна находиться невидимая полоска — кто-то её пересёк. Спустившаяся темнота, искры от костра, которые, подобно дождю-урагану, вливающимся в небо, завиваются в бушующую круговерть, голубоватые языки пламени, превращающие дрова в белые кости, — всё рождает в этих малых непреодолимо-весёлое желание побужить и выплеснуть наружу дым, забравшийся им в ноздри. Они хохочут, начинают бороться; их руки напоминают крылья бабочек, свернувшиеся в плотный кокон-спираль, и когда Вадим и Мишка падают за собственные шивороты, их кирпичные головы начинают размножаться в фундамент парника; а затем — вверх, к раскрасневшейся стене, которая совокупляется с хитросплетениями дикого плюща, разбрызгивает листья пламени и выплёвывает порывы влажного ветра, раздувшиеся от сладковатой, приятной гнили; ветер ударяет мне в лоб и, катаясь на катере по контурам ушей, мягко щекочет морские раковины. Пока нижняя часть моего лица пытается что-то произнести, я рассматриваю пузыри, скопившиеся на дне моей чашки с рыжим напитком; в каждом из них сидит по несколько карликов, по очереди выбирающихся на поверхность для того, чтобы превратить себя в акварель.

Я хочу отогнать от себя эти мысли, и у меня вроде бы получается; с усилием поднимаю голову и стараюсь отвлечь Вадима и Мишку, чтобы они не свалились в огонь. <...>

— Мишка, ты помнишь, как мой брат перепугал нас своим исчезновением?

— Помню, — кивнул мой друг, — всё дело в том, что мы уже привыкли к его приколам и обычно не волновались, но тот раз был особенным — когда мы без успеха обрыли каждый проезд и получили полный ноль, наша уверенность была сильно поколеблена.

— А как он исчез? — спросила меня Таня.

— Мы играли в салки на велосипедах. Но в том-то всё и дело, что исчез он не во время игры, а после, когда очередной кон был закончен. Мы все стояли на главной дороге. На которую выходит наш проезд.

«Смеемся, хохочем, потом вдруг оборачиваемся, а моего ненаглядного братца нет. Ну, мы позвали его — и никакого ответа. Сначала не хотели за ним бегать, — совестно было на его приколы попадаться, — постояли минут двадцать, поговорили. Думаем, надоест ему сидеть в кустах — сам объявится, но его всё не было, и тогда Витька сказал, что делать нечего, придётся действительно искать. Мы весь посёлок перерыли, а я три раза на свой участок сходил, посмотреть, нету ли его там, и даже руки перепачкал, когда залез в наш заброшенный душ. И когда подошёл к умывальнику, а воды в нём не оказалось, я поднял крышку, чтобы наполнить его, но со стороны-то, наверное, создавалось такое впечатление, что и там я искал своего брата. Через час мы уже очень встревоженные снова собрались на дороге.

— Нужно родителей звать. Видно, с ним действительно что-то случилось, — сказал Витька.

— Я тоже так думаю, — кивнула Наташка Лопухина. Девчонка была вся бледная; казалось, ещё немного, и она даст волю слезам. А учитывая слухи, что она в Антона влюблена, мне было вдвойне её жаль. (Впрочем, во всех других ситуациях мы бы только передразнили её — больше ничего).

— Я предлагаю ещё раз всё обойти, и потом только тревогу поднимать, — предложил Мешанин.

— Боишься втык получить? — поинтересовалась Наташка язвительно; глаза её увлажнились, — темнеет уже. Чего мы сейчас найдём?

— Вот я и говорю: у нас есть ещё примерно полчаса до темноты. А потом взрослых подключим.

Заспорили, но потом проголосовали и всё же решили ещё раз обойти весь посёлок. И вдруг Витька говорит:

— Может, он в болоте утоп?

— Ой, не говори так! — Наташка ещё больше побледнела и заткнула уши.

— В каком болоте? — осведомился Санька Гертин, — на торфянке, что ли?

— Ну да. <...>

Ну, идём мы на торфянку, и вы не поверите, находим среди её холмов, у дерева, перевёрнутый велосипед Антона. Руль в торфе завяз по самую фару, а переднее колесо в сук упёрлось так, что покрывка трещит. Наташка начинает кричать, у неё истерика, я же со смеха давлюсь

— Слышь, заткнись! — Витька удивлённо оглядывается на меня, — что смешного?

— Да вы на динамку посмотрите!

Все смотрят на динамку и сами начинают смеяться: на ней, как на крючке, висит кепка моего братца; и тут же сзади мы слышим его распевной голос:

— Мои дорогие... как же я по вам соскучился!..

Оборачиваемся, а он из-за горки выходит, физиономия довольная, и рукой нам махает.

Ну, мы могли бы после такой шуточки сильно на него обозлиться, да где уж там, — больно неприлично он себя вёл. Но всё же Наташка недели две с ним не разговаривала, и когда утром проходила по проезду с ведрами к роднику, а он улыбался ей из окна, — отворачивалась и смотрела в другую сторону. Но потом Антон и её умягчил, помирился. Да, не могли мы на него обижаться,

что и говорить! В конце концов, весело всё это было».

<...>

После того, как я закончил, на некоторое время воцарилась тишина. Обычно, когда говорят, что история захватывает, имеют в виду слушателей, а рассказчик при этом остаётся в каком-то странном обособлении. Я думаю, это не совсем верно, и то, что случилось теперь, — яркое тому доказательство; в каком-то смысле я даже больше соперничал своему рассказу, ибо воображением приравнивал к нему воспоминания. Но разве были они ровно такими, какими я излагал их теперь? Кое о чём <...> не знал даже Мишка. <...> Как-то раз мать выбежала из дому, чтобы нас отчитать, — мы были на участке, выкапывали червей для рыбки. (Когда отец Антона, мой дядя, уезжал в город для того, чтобы уйти в очередной «тихий запой без свидетелей», дом под контроль брали моя мать и бабка, и тут уж тебя начинали пилить с утра до вечера).

Она назвала нас идиотами и безмозглыми фантазёрами.

— Что случилось? — удивлённо спросил Антон.

— Я вас просила собрать горох?

— Ну да, мы и собрали.

— Так зачем же вы, идиоты, очистили его от стручков?!

Мы не знали, что на это ответить; мать постояла, посмотрела на нас, а затем показала дулю.

— Вот вам теперь рыбка. Никуда не пойдёте.

А мой дед, который как раз вышел в этот момент из дома, произнёс свою стандартную в таких случаях фразу:

— Ну что же, будут наказаны.

Я разревелся...

Меня заперли в моей комнате, а Антона — в его, но мать не могла утихомириться ещё целых три часа: кричала, кидала в раковину вилки и ложки, бегала туда-сюда по дому, — словом, выпускала пар. Мать похожа была на двигатель, работающий вхолостую, но скажи ей так, она бы мигом нашла ответ: «вот именно, что вхолостую. Разве такие, как вы, прислушаются к чему-нибудь!»

Дед, придя меня проведать, принялся увещавать, что я должен просить прощения чуть ли не на коленях. Я всё не мог взять в толк, почему? В конце концов, дед потерял терпение, а я опять заревел и, на сей раз, наговорил ему гадостей, — всё равно в силу его мягкого характера дальше удара по руке, дело бы не зашло. Воли у него, положила руку на сердце, было ноль — он даже в быту находился под бабкиным каблуком. <...>

— По-моему, просто классная история, — говорит, наконец, Таня, и десять минут все обсуждают услышанное, иногда переходя на спор.

Вдруг Таня оборачивается ко мне и спрашивает:

— Где сейчас ваш брат?

Такого поворота разговора мы с Мишкой не ожидали и, оттого, инстинктивно перекидываемся взглядами.

— Что случилось?

— Видите ли... — я переминаюсь с ноги на ногу, — его больше нет, он умер.

Я отворачиваюсь, беру свою сумку и иду к дому. Затем, пройдя внутрь, достаю тетрадь и начинаю писать. Но только мне удастся вывести несколько строчек, как я поднимаю голову и вижу Татьяну, стоящую в дверях.

— Можно? — спрашивает она робко, — я вам не помешаю.

Некоторое время я смотрю на неё очень внимательно и прислушиваюсь к шелесту сливы за окном; потом растягиваю губы, — не знаю, но мне всё же кажется, есть какая-то доля притворства в этой улыбке.

— Уверен, что нет. Оставайтесь.

— Я не знала, что вы ещё и пишете.

— Это просто мой дневник — больше ничего... послушайте... не знаю, зачем я сказал вам, что он умер, ведь на самом деле он жив-здоров. <...> Просто после смерти своего отца он уехал... наверное, навсегда. Я, признаться, никак не ожидал этого.

— Он в другой стране?

— Нет.

— Вы с ним поссорились?

Я покачал головой и, не произнося ни слова, склонился над тетрадью. Минут пять я писал, а она за мною наблюдала, и только потом вдруг я услышал её голос, гораздо ближе, чем до этого.

— Люди меняются, не правда ли?

Я поднял голову; она сидела уже на стуле, подле меня. Как это удалось ей так тихо подкрасться?

— Возможно, — я пожал плечами и потом спросил, сам не знаю зачем, — а вы рисуете?

— Только эскизы для костюмов. Я ведь модельер, вы помните?

— Да.

— Но я интересуюсь живописью и даже покупаю репродукции.

— Это плохо. Репродукции — это даже как-то подло.

— Почему? — я думал, что она задаст этот вопрос удивлённо, но ошибся: и тени удивления не было в её голосе; наоборот, он был чрезвычайно спокоен и мелодичен.

— Забудьте о том, что я это сказал.

— Вы так не думаете?

— Нет, я так думаю, но всё равно забудьте. Обсудим это потом, когда познакоимся чуть ближе.

— Хорошо. А можно мне как-нибудь прийти и посмотреть ваши картины?

— Без проблем. <...>

— А что это мы так ударились в воспоминания? Не пора ли нам прокатиться с ветерком, а? — спрашивает Мишка, когда мы с Таней возвращаемся к костру. Глаза его посоловели. Изрядно же он успел в наше отсутствие! Рука, сжимая бутылку пива, чертит в воздухе её горлышком косые ломаные пишемна.

— Ты ударялся в воспоминания? Я не заметил, — говорит Калядин; последняя струйка пива льётся ему на подбородок, его бутылка пуста, и он бросает её в огонь.

— Что это с вами? — спрашиваю я удивлённо.

— До того, как вы вернулись, они опять спорили насчёт Шагала, — со значением кивает мне Вадим и опирается на Дарьино плечо.

— Ах вот оно что.

— Я просто намекал ему на очевидное влияние Шагала, под которым находится его творчество, — Мишка невинно улыбается, но я вижу, как снизу подбородок его опоясывают хитрые морщинки.

Калядин подаётся назад; он сидит на бревне, но чуть только мыски его ботинок отрываются от земли, а телу грозит потеря равновесия, тут же срабатывает внутреннее чутьё, которое обычно испаряется после четвёртой бутылки и возвращается после восьмой, и Павел рефлекторно наклоняется вперёд.

— А если ты так хочешь от него избавиться, тебе следует прекратить делать на холстах эти...

— Пошёл к чёрту.

— Ну вот видите! Он не хочет меня слушать.

Чтобы прекратить этот идиотский спор, я соглашаюсь отправиться к реке. Мы с Вадимом тушим костёр, но минут через пять, когда вся наша компания уже на приличном расстоянии от участка, слышится резкий и звонкий хлопок — это взорвалась бутылка Калядина, всё-таки побеждённая прощальным теплом разворошённых костровых углей. Когда я учился в школе, терпеть не мог всеобщую историю, и всё же из её курса мне понравились слова Пирра, выигравшего битву, но потерявшего три четверти своей армии: ещё одна такая победа и нам придётся уносить ноги с поля боя.

Катер

Я шёл впереди всех, но когда мы уже подходили к реке, Мишка вдруг, чуть спотыкаясь, нагнал меня и спросил:

— Какого чёрта ты сказал ей, что Антон умер?

Я посмотрел на него; Мишка был пьян, но не до такой степени, как Калядин, и я понял, что если бы алкоголь не забрал его, он задал этот вопрос гораздо раньше, потому как я действительно озадачил его.

— Не знаю, — честно ответил я.

— Тебе что, нравится разыгрывать из себя жертву?

— Нет. Ты и сам знаешь. Просто... — я остановился для того, чтобы попытаться подобрать нужные слова, — иногда мне кажется, что мы живём в каком-то странном фильме, понимаешь?

— Нет... не понимаю... это слишком сложно для меня...

Я не обратил никакого внимания на его ответ.

— В настоящем мы всего лишь зрители и не можем ничего изменить, но когда лента отправляется в прошлое, разве нельзя в своей памяти многое переставить местами? Ты становишься директором, режиссёром, — как угодно, — словом, начинаешь контролировать персонажей своей драмы; многое хочется тебе изменить, повернуть, и, в конце концов, ты так этим увлекаешься, что они, превращаясь в марионеточных кукол, перестают быть для тебя людьми. Ты уже не любишь их: можешь умертвить, заставить плясать или просто забыть о них, и вынимать картинки из прошлого только в случае определённой надобности.

Они сели на задние сиденья катера, а я — за руль. <...>

Моя тень под светом заднего фонаря стала напоминать мистера Хайда, наступающего на тело упавшей девочки, — я согнулся над приборным щитком и завёл двигатель; мотор чуть приподнялся вверх и стал выпускать из себя тонкую струйку воды, а выкипавший из него дым, который разделён был аквамариновой полосой горизонта, принялся густо пульсировать и, в конце концов, соединился в воздухе в тонкий плащ-хризолит, надетый на великана, исправляющего нужду; затем мотор плюхнулся в воду, точно отрубленная рыба голова, катер тронулся с места и принялся разгоняться, а дым, проходя сквозь волны, превращался уже в бесконечные вереницы звёзд; они возносились на небо, тут же падали с него и, войдя в атмосферу и приближаясь к неоновому берегу, превращались в таинственных чудовищ, которые манипулировали глазами и фалангами пальцев. Вот я вижу одно из них прошло сквозь крышу стеклянной кофейни, в её окнах кувыркаются и вырастают друг в друга конечностями призрачные силуэты людей, и вся постройка, оттого, представляется мне квадратной линзой, на которой человеческий глаз оставил паутинообразные зрачковые следы; года два назад в этой кофейне я обедал с девушкой: она сидела за столом напротив меня, широко расставив ноги, — одна из них была прижата к её груди, точно сложенный вдвое батон, а другая соскребала каблуком с подоконника светло-коричневую краску; эллипсоидные пороги её век рдели от любви и напряжённого ожидания, и мне казалось: чего только не прошло через эти глаза, — от кислотных дождевых масс до бесконечных гусениц-кухонь, насквозь пропахших луком и засаленными колпаками поваров. Я вглядывался в ощерившуюся газетную колонку, внизу которой виднелась реклама бюро путешествий «Кентавр», предлагавшего горящие путёвки в Грецию, и вполуха слушал, как девушка рассказывает мне о каком-то романе, который недавно прочитала; или, быть может, это в её руках была рекламная газета путешествий, а я рассказывал девушке о романе Апдайка «Кентавр», где сплелись воедино древнегреческие мифы и современность, — точно не помню. Чуть позже я наблюдал, как лампа, низко висящая над столиком, с хлопаньем и звоном тарелок медленно потягивает кофейную жижу из наших чашек, превращая её в аперитив; он изрыгал столь сильный запах, что казалось, проникни эта оранжевая смесь в пьющую ротовую полость и все внутренности твои начнут выплакивать желудочный сок и раздуться так сильно, что ты станешь похож на спортсмена, который спрятал под майкой футбольный мяч; из ушей посыплотся кровавые искры фейерверка, оставляющие на оконных стёклах алмазные четвёрки, молнии-извилины и пиротехнические пятна, тотчас же начинающие видоизменяться в виртуальные воронки, а затем в новые алмазные четвёрки и новые молнии-извилины; пепельницы на столиках встанут на бортики, покатаются по световым коридорам ламп и, сцепляясь в этой лабиринтовой розе ветров, захрустят и вывернутся наизнанку, круг натянут четыре невидимые воздушные иглы, и только выемки для сигарет, не меняя формы, станут просветами между костяшками пальцев. И вот уже десяток сверкающих рук притягивает

меня к ней, а её — ко мне; веки девушки заметно бледнеют. Мы словно два холста, прорывающиеся изнутри призрачными ладонями...

Движение катера вынуждает меня оторвать взгляд от кофейни; теперь я вижу людей на берегу, и те из них, кто, напоминая вылупившихся цыплят, отряхивает с себя последние остатки звёздной пыли — заслуженной пыли, серой, — хорошо мне знакомы и давно уже стали той частью моего организма, в которой накапливается время, однако кружились и переплетались они там так долго, что я, силясь теперь узнать каждого из них по отдельности, терплю провальную неудачу. Они стали цепью, в конце концов, — попробуй, раздели её на звенья и получатся нули. И этот человек, которого я теперь созерцаю, — человек, заключённый в деревянную рамку универмага с окнами, пожелтевшими от ламп и как будто залепленными густой патокой или воском, — (ничего нельзя разглядеть внутри), — кто он? Мой дед или брат, мать или бабка? Я смотрю на него и мне кажется, что сейчас я поймаю ответ своим сознанием, — подобно тому, как в одном сне мне казалось, что я поймаю свою собаку, сваливающуюся в глубокую лифтовую шахту, а потом я с криком и ужасом принял известие о её смерти, ибо через полминуты увидел, как она ковыляет вверх по лестничным пролётам и вся её шерсть приняла алый цвет, — но как ни морщится мой мозг полушариями и бровями на лбу, как ни углубляюсь я в витиеватый виртуальный коридор, мне не удаётся схватить ответ.

Быть может, это мой отец? Его я видел всего два раза в жизни: мне было три года, когда он первый раз приехал из Белоруссии; я сидел у матери на коленях, смотрел, как он меня фотографирует, и вяло поедал гречневую кашу, которая, постепенно становясь частью моей крови, перемалывалась ею в железную руду; снова он появился только через много-много лет: в животе у него отрос громадный жировой шар, (следствие постоянного поедания гречневой каши), и когда он склонялся над моими картинками, его подбородок так занимался слюнями, что в нём отражались все цветные гаммы, какие только были на холсте; глаза при этом становились похожи на светло-зелёные очищенные кольраби.

Или это кто-то, с кем я провёл дни, играя в детской песочнице, в которой, казалось, чего только нельзя было отрыть: от мёртвой лягушки до отрезанной женской косы, ещё в позапрошлом веке выброшенной сюда хозяином усадьбы «Медные буки»?

Достав из кармана круглое зеркало на длинном железном штативе, — кажется, оно когда-то было снято с ручки велосипеда, — человек начинает изучать собственное лицо то ли в поиске мельчайших дефектов, то ли с целью принять решение о том, чтобы побриться; его скулы при повороте головы медленно растягиваются из подковы в прямую линию, разрезающую гладь пополам; через левое плечо он может видеть детские фигурки, играющие в пластмассовые городки, и, мучительно стараясь узнать хоть в одной из них самого себя, улавливает носом такой знакомый и терпкий запах рельсового масла, которое насквозь пропитало маленькие рубашки. Всё, — от молодой поросли зверобоя, пустившей в прибрежный песок десятки ветви-

стых сетей, до тонких гамаков кровеносной паутины, соединяющей карнизы домов и призванной помешать любому, кто захочет прыгнуть вниз, от картонных подставок для пива, которые вызывают маниакальное чувство овладеть ими и заставить впитать в себя как можно больше круглых следов пролитого напитка, до резкого запаха извёстки на стенах, когда-то соединявшихся в комнату, где ты, занимаясь любовью, чувствовал, как волоски твоего тела проникают в ткань её чулок и, оттого, ещё крепче сворачивал себя и её в кокон бархатного полотенца, от грецких орехов, трещавших в каменных тисках, до пьянящего запаха дачной жимолости, так и не проникнувшего в тебя целиком, потому что часть его должна была остаться на то время, когда придет брат, и ты испытывал двойственное чувство: досады и светозарного ожидания очередного приключения, придуманного его хитрым фантазийным прищуром, — всё вокруг стало неотделимой частью этого знакомого незнакомца, смотрящегося в зеркало велосипеда, частью моего существа и любого другого человека, который проживает свою жизнь целиком, не разделяя её на прошлое, настоящее и будущее, и который вполне для себя допускает, что Омар Хайям, Ван Гог и Робеспьер не только могли быть как-то взаимосвязаны, но даже вполне себе спокойно сосуществовать.

<...>

Пожалуй, я хорошо помню добрую половину тех, кто сейчас на берегу. Окажись они у меня на ладони, я, подобно шахматисту, умело восстанавливающему на память положение фигур во вчерашней партии, смогу взять этих людей и также безошибочно поставить в те самые клетки своей жизни, где я их встречал. Остальные же обменялись одеждой, голосом, частями тела, подвоепотрое слились в одного человека или, напротив, один человек разделился надвое, — словом, превратились в густую кашу, которая накапливается и варится в долговременной памяти, и в том случае, если некое воспоминание заставляет вылезти наружу только одного человека, у него ничего не получится, — он обязательно вытащит за собой кого-нибудь ещё, прилипшего к его рубашке или брюкам. Вот старик-булочник, с его дочерью я встречался несколько лет назад. Память одарила этого человека женскими руками, которые я не узнаю, и напялила на него несуразные очки. Вот Сердчай, шестилетний мальчишка, избивавший мне спину придорожными камнями, — с детского сада мы были врагами! Теперь у него отросли нелепые мужские усы, которые выглядят накладными. А вот человек, когда-то виденный мною в Дрезденской картинной галерее — по какой-то причине он одет в костюм маляра, — и так далее, и так далее... Сейчас я могу идентифицировать все несуразицы собственной памяти, но в следующий раз, когда воспоминания всплывут неожиданно: во время машинального взгляда на размытый по штриховке столб лунного света на поверхности лужи, или когда мои ноздри защепают от кострового дыма, или если я буду болтаться вниз головой на турнике, а в глазах замаячит одна из моих картин, — вот тогда на несколько секунд эти люди примут именно такой вид, какой имеют теперь.

Впереди виднеется арка моста с тремя судходными фонарями: два из них — зелёные, а третий, под которым следует проходить катеру, — красный, — но я не следую этому правилу и прохожу чуть левее. Справа за аркой раскинулось два десятка высотных домов, слева — чёрные механические тени завода-паука, который, как мне казалось в то время, когда дядя ещё учил меня водить катер, занимается переработкой человеческих костей.

Я оборачиваюсь и вижу, что Калядин и Дарья, — первые, кого охватывает безумная лихорадка. Он с видом опытного счетовода протягивает руку и, пренебрегая всякой перспективой, начинает передвигать светящиеся окна на высотных домах, кажущиеся отсюда маленькими слюдяными квадратиками, внутри которых виднеются застывшие тени плащей, микроскопических вешалок и горшочков с геранью:

вверх-вниз, влево-вправо,
вправо-влево, вверх-вниз,
вниз-вниз, вверх-влево,
вправо-влево, влево-вверх...

Дарья смотрит за борт и неуверенным движением колена сбрасывает руку Вадима; сначала мне кажется, что её взгляд скользит по водной глади, но на самом деле он устремлён на кого-то, невидимого для всех остальных.

— Милый... ты... домой... — слышу я слова, едва различимые из-за рёва мотора.

Калядин, вконец, передвинул окна таким образом, что все они начинают ритмично пульсировать разноцветью, как стеклянный вращающийся шар на дискотеке; на водной глади рисуются удивительно витиеватые световые лужайки, которые простираются к мосту, и несмотря на то, что катер несётся всё дальше и дальше, сам мост, как будто преследует нас. Мишка и Вадим выпрямляются и на несколько секунд задерживают взгляды на этом торчащем из воды исполине, на этом чудовище, постепенно проникающемся стеклом и винножёлтыми оттенками шампанского. Брызги воды ударяют им в лица, растекаясь по венам и лабиринтам слёз; если бы я был у себя в студии, мог бы ощутить то же самое, прижавшись щекою к оконной раме и наблюдая, как по её поверхности протекает и замыкается в цикл вся моя жизнь. Увидев в её проекционном течении книгу и холст, а затем, побежав к бельевой верёвке для того, чтобы взять полотенце и протереть глаза от измотавшего потока искр и отражений, возвращаешься и видишь на раме целую галерею собственного творчества, фундамент которой — кубовидные читальные залы библиотек; и в каждой библиотеке — ещё по одной галерее, но на сей раз — из старинных зеркал с отражениями нескольких книжных стеллажей и нескольких картин. И так повторяется с каждой парой вещей: с ночными столиками и зелёными лампами, с чайной коробкой «Lipton» и душевой комнатой, с луной и кукольными домами, украшающими новогоднюю ёлку... так повторяется даже с людьми... Я всегда любил созерцать их и стараться угадать мысли, одолевавшие беспокойные головы, а поскольку это никогда успехом не увенчивалось, я просто придумывал их мысли, и трудно было уже вер-

нуться к реальности; подобные иллюзии чреватые трагедиями...

Сейчас, когда я оглядываюсь и смотрю на Мишку, ворочающего головой по сторонам, мне приятно убеждать себя, что он видит наше общее детство, но в той его ретроспективе, как если бы мы были с ним одним и тем же человеком.

Вадим старается схватить Дарьину руку, но каждый раз, когда у него получается это сделать, спустя полминуты он обнаруживает, что это его собственная рука.

Людей на берегу стало заметно меньше, и сейчас они как будто мне уже незнакомы; они играют в чехарду, прыгают, танцуют, совершая подчас странные, почти нелепые телодвижения, а белый свет, который озаряет теперь берег и, поднимаясь от земли метра на два в высоту, оставляет после себя волшебное зрительное послевкусие, старается их растворить в себе.

Где источник этого света? Такое впечатление, будто где-то далеко, на самом горизонте, в точке, из которой проведена линия берега, установлен мощнейший невидимый прожектор.

А запах, который я теперь чувствую? Разве это не тот, который был на торфянке, когда мы с Мишкой обнаружили перевернутый велосипед моего двоюродного брата?

— Милый, — снова слышу я голос Дарьи; она манит к себе темноту руками, обнимает и целует невидимку, — возвращайся, милый... прошу тебя...

Я перевожу взгляд на Таню. Поверить не могу, она просто сидит и смотрит на меня, внимательно и с какой-то горчинкой во взгляде, с сочувствием. Но не с жалостью. Ни в коем случае. Почему на неё ничего не подействовало? Помешательством проникнуты только её волосы: они развеваются на ветру и рвутся ввысь так, как будто хотят обволочь собою всё небо.

Я хочу что-то у неё спросить, но внезапно Дарья раздражается рыданиями. Девушка падает с сиденья на дно катера, рвёт на себе волосы и прогибается так сильно, что мне кажется ещё немного, и она сломает себе позвоночник. Я кричу в испуге, но знаю, что нельзя резко останавливать катер, иначе они все сойдут с ума, и поэтому лишь чуть притормаживаю. Тут же все видения разом пропадают. Мои пассажиры сидят в тех же самых положениях, что и в начале нашей странной галлюцинативной прогулки, и только у Дарьи так и не проходит истерика. Вадим в испуге хватается за неё, обнимая, начинает успокаивать, пока я ищу глазами какой-нибудь мостик на берегу.

Наконец я причаливаю. Минуты две все сидят не двигаясь и как будто переваривая то, что с ними только что случилось. Вадим уже выпустил Дарью из объятий, смотрит на неё с удивлением и испугом, а потом будто бы пробуждается от столбняка и хочет помочь ей выбраться, но та ещё не пришла в себя и делает ему жест рукой, который можно истолковать следующим образом: «Пожалуйста, не трогай меня!» Она встаёт на мостик и через полминуты, будучи уже в темноте гаража, ещё раз даёт волю слезам.

— Кого она видела? — спрашивает Таня и долго не отводит взгляд от моего лица.

— Своего погибшего мужа.

— Но почему? Что с нами со всеми было?
 — Каждый видит то, что больше всего хочет увидеть. Только на тебя это, похоже не действует, — когда я говорю это, она опускает голову, как будто ей стыдно.

— Боже мой! — восклицает Мишка, становясь на мостик, — сегодня всё пошло наперекосяк!

— Не говори! — кивает Калядин, следует за ним, а потом поворачивается к Тане, — ты выходишь?

— Да, да... — отвечает она неуверенно, выпрямляется в полный рост, и опять внимательно смотрит на меня.

Спустя минуту мы остаёмся с Вадимом одни; он не двигается с места, полулежит на задних сиденьях, устремив неподвижный взгляд в чёрное небо, на котором не видно теперь ни единой звезды. Вадим абсолютно трезв, его руки обхватили бока; одна нога касается пола, а другая едва свисает с сиденья.

— Теперь ты должен помочь ей, — говорю я ему.

— Она не любит меня, — чуть погодя, отвечает он.

— Она полюбит тебя, если ты того захочешь.

— Я хочу.

— Тогда полюбит, — я подаюсь вперёд и осторожно прикасаюсь к рукаву его свитера.

Следует продолжительная пауза. Катер покачивается туда-сюда, и слышно два разных плеска воды: первый, очень глубокий, вдалеке, перемещающий огромные массы, и второй, быстрый и тоненький, подпевающий в унисон возле бортов — как будто кто-то ладонью бьёт по воде.

Наконец Вадим пробуждается от размышлений и смотрит на меня.

— Я готов спорить, что ты делал всё, как обычно. Почему тогда это так на неё подействовало?

Я качаю головой.

— Не знаю. Но я должен был догадаться, что что-то не так... Ты видел людей на берегу?.. Такое было впервые... Впрочем, нет, ты не мог видеть...

Он неудовлетворённо морщится, а затем переводит свой взгляд в прежнее положение, молчит некоторое время и, наконец, произносит:

— Ты никогда не замечал, что это ведь мы всегда тащим тебя куда-то... заваливаемся к тебе на пьяную ночь...

— Ну и что?

— Мне иногда кажется, что если мы перестанем тебе звонить, ты и не вспомнишь о нас...

Мы смотрим друг на друга очень внимательно. Я вижу, он думал, будто я начну возражать, однако я молчу, и это пробуждает в нём удивление. Он всё старается догадаться, какие же мысли посещают меня в этот момент, но безуспешно: я не даю слабину, не отворачиваюсь, а просто протягиваю ему руку, чтобы помочь вылезти из катера.

Глава 2

Сегодня моё одиночество было нарушено. случилось это довольно странным образом, и, кроме того, я удостоверился, что Берестов постоянно следит за мной.

Утром, позавтракав, я вернулся в плоскость спальни, нашёл на окно, и пока допивал кофе,

приметил на улице необычные движения; я ничего подобного раньше не видел и поэтому стал смотреть более внимательно. Вот какой-то человек прошмыгнул вдоль перекрёстка, от одного светофора к другому, от другого к третьему и скрылся между прямоугольниками домов, как спасающийся бегством таракан — за коробками из-под обуви. Быть может, его ещё и можно было увидеть, если встать в плоскости окна таким образом, чтобы мой глаз был на уровне форточки, — то есть подняться наверх, — однако тут моё внимание привлёк второй субъект — вид у него был и вовсе околтёлый. Знаете, что он делал? Пытался забраться на тот самый фургон «Скорой помощи», который так и остался стоять на дороге со вчерашнего дня. А когда у мужчины, наконец, получилось это сделать, он, будучи уже на верхней линии машины, с размаху перекувырнулся и так ударился кругом головы, что на точке темени тут же начал разрастаться синий бугорок-шишка.

Я стал перемещаться своим профилем туда-сюда по окну, и понял, что в плоскости улицы сплошь и рядом попадались теперь безумцы, вроде этого; они бегали, лупили друг друга складками одежды и размахивали кистями своих рук так быстро, что мне казалось, будто они играют ими в бадминтон. Линии лбов, меняющиеся местами с полугубами, случайные поцелуи в щёку, подушечки пальцев, красные, как спелые черешни, руки, закинутые таким образом, что локти, казалось, слипались с шеей. Один из них не заметил проезжавшей мимо машины, и она так поддала его, что он тут же отдал богу душу. Всё вдруг на секунду остановилось, почувствовав присутствие смерти, а потом общее сумасшествие продолжалось.

Впрочем, были на улице и люди, которых безумие не затронуло. Они спокойно шагали по линии тротуара, курили, пуская густые облачка дыма к ясному утреннему небу, которое между коробками из-под обуви было такого же цвета, как и кончики сигарет. Эти самые, «нормальные», не обращали на панику никакого внимания; она, так сказать, проходила мимо них, безо всякой химической реакции: если даже и проникала в их внутренности, то благополучно оттуда испарялась. Рентген и сталь.

Но находя то на одну часть окна, то на другую, и наблюдая за плоскостью улицы, я понимал: нечто сдвинулось с места и теперь будет только прогрессировать. И эти, «нормальные», тоже скоро присоединятся к панике, начнут заводить руками глазные круги, точно это колёсико в механических часах, состригать волосы двумя пальцами рук, указательным и средним, и делать бог знает ещё какие нелепости.

Но что такое всё же творилось?

Вдруг заслонив случайно своим глазом самую середину правого края окна, я заметил... мысок коричневого ботинка. Некоторое время я смотрел на него не моргая, а затем принялся тереть глаз, дабы удостовериться, что зрение мне не изменяет, а потом... мои руки и голос сделали всё сами, по галлюцинативной инерции, вроде той, что постепенно охватывала жителей города, — я отодвинул оконную форточку и громко произнёс:

— Берестов, это вы?..

Нет ответа.

— Вам нечего прятаться. Я давно чувствовал, что вы за мною наблюдаете, а теперь вижу вас воочию.

Мысок ботинка пошевелился, и спустя секунд пять, за окном показалась нога, обрезанная деревянной рамой, — просто удивительно, как это хватило ловкости у Берестова, — (сейчас я тем более уже нисколько не сомневался, что это он), — перемещаться по карнизу на высоте пятого этажа. Но какими бы феноменальными акробатическими способностями он ни обладал, всё же, на мой взгляд, излишне было так пасти меня.

Наконец-таки я увидел его профиль целиком: он зашёл на эту сторону окна, (в подплоскость плоскости комнаты), соскочил с подоконника на пол и улыбнулся. Его лицо было красным от напряжения и напоминало стеклянный чайник, наполненный кровью.

— Здравствуйте, — он перевёл дух, — удивлены видеть меня?

— Нет, — я загородил Берестова собою и вдруг заметил, что он подморгнул мне.

— Вы наблюдательны. Не то, чтобы я забыл это учесть, просто я уже потерял всякую осторожность.

— Довольно опрометчиво с вашей стороны, если вы находитесь на такой высоте, — сухо произнёс я.

— Я не о том... забудьте. Кроме того, вы же знаете, что разбиться вряд ли возможно.

Я пожал плечом.

— Понятия не имею.

— Как же так? Вы разбираетесь в своих картинах, тогда почему относительно этого находитесь в неведении? Слушайте... только не подумайте, что я придираюсь к словам! — он стал вышагивать по плоскости комнаты и осматриваться, — так-так, я вижу, вы ничего здесь не поменяли с момента своего прибытия. Но мне кажется, это только потому, что вы здесь ещё очень мало времени.

— Я тоже так думаю. Мне действительно кое-что придётся изменить. Я ведь продолжаю картину, несмотря на то, что случилось.

Он заслонил меня собою, и на некоторое время мы слились в одного человека.

— Вы это уже говорили при нашей последней встрече. Очень чётко говорили.

— Да, и поэтому я был огорчён, что через несколько дней вы не пришли, хотя и обещали. Я уже настроил себя, а вы сорвали мои планы.

— О чём вы?

— Я собирался попросить вас купить мне теперу. У меня мало осталось.

Его бровь удивлённо подскочила кверху.

— Не понимаю. Вы разве сами не можете?

— Вы же сказали мне никуда отсюда не выходить, — произнёс я.

— Когда я вам говорил такое? Этого не было. Вы могли так подумать, ибо представили себе какую-то конспирацию. И то, что вы совершили, тоже могло загнать вас в четыре комнатные линии, однако всё это только ваши домыслы.

— Выходит, я свободен в передвижении?

— В пределах города — да.

— Отлично, — произнёс я голосом и обрадованным и упавшим одновременно, — тогда вы не будете возражать, если мы выйдем на улицу?

Он ничего не ответил и только согласно развёл руки в перекрест своему профилю.

Минуты через две мы оказались в плоскости улицы и принялись идти одним человеком; Берестов сказал:

— Теперь, когда вы поняли, что на самом-то деле никакой конспирации нет, вам главное не делать из этого никаких других выводов.

— Что вы имеете в виду?

— Ну... вы можете вообразить, что раз оно так, то и вообще ничего серьёзного не случилось, и убийства вы тоже не совершали. Не забывайте, расследование продолжается, и никаких окончательных выводов так и не сделано.

— Долго это ещё будет тянуться?

— Прилично, — ответил Берестов, — так что вы можете расслабиться и заканчивать свою картину. А что касается меня... моя задача состоит в том, чтобы направлять власти в нужное нам русло.

— Но почему вы, в таком случае, следите именно за мной? — я ничего не мог понять, и следующие слова принялся выговаривать язвительным тоном, — неужели для того, чтобы я не расслаблялся и помнил о серьёзности ситуации?

— Я скажу вам так: если бы я не захотел выдать вам своего присутствия, я бы этого и не сделал.

— Вы лжёте.

— Может быть, — он немного помолчал, — но скажите мне такую вещь: разве за короткий срок вашего пребывания на новом месте, вы ни разу не усомнились в том, что убили Великовского? То, что он умер — это абсолютно точно. (Кое-что в нашей жизни всё же необходимо принимать за непреложные истины). Но я говорю о вашей причастности... или непричастности.

— Усомнился, — признался я.

— Ну вот видите.

Что он пытался доказать мне? Я вообще ничего не мог понять. Мы вели очень странный разговор, в котором каждый из нас, казалось, отвечал на вопросы, осознавая их суть в лучшем случае на три четверти. В этот самый момент мимо нас промелькнул ещё один помешанный, и я понял, что так до сих пор и не спросил Берестова, в чём причина городской паники. (Его появление в квартире было настолько неожиданным, что сбilo меня с толку).

Однако прежде, чем я сподобился, он сам заговорил на эту тему.

— Вот. Видели? Это и есть последствия той самой непреложной истины.

— Смерти Великовского? Так они из-за этого так паникуют?

— Могли бы и сами догадаться. Или вы об этом не подумали, потому как напрочь забыли, что он умер?

— Постойте, я что-то не понимаю... — я остановился, и Берестов, наконец-то, сошёл с меня, — разве в городе не жаждали его смерти?.. Нет-нет, мне кажется, причина здесь совершенно в другом.

— Правда? И в чём же? — осведомился Берестов совершенно спокойно.

— В образовательной программе, например. Великовский умер, всё покатило в тартарары, больше никакой системы, а студенты здорово на неё подсели и не могут вернуться к прежней жизни.

— Дружище, — он положил мне свою руку на плечо и со стороны мы, должно быть, напоминали теперь букву «П», — не понимаю, откуда вы всё это взяли? Да и тот, кто пробежал сейчас мимо нас — не студент. Вы обратили внимание? Ему лет пятьдесят.

— Думаю, они паникуют потому, что так им подсказывает инстинкт, — произнёс я вкрадчиво, — а смерть Великовского — это просто повод выплеснуть наружу страх, покоившийся в центре их профилей уже очень давно.

Берестов снял руку с моего плеча, чтобы в следующий момент начать жестиковать ею во время речи.

— Раз вас это так интересует, сами их спросите. А если не ответят — берите в охапку и пытайте.

— Бесполезно. Вы и сами это знаете. Они вряд ли сейчас что-то соображают, да я и не такой человек, чтобы насильно к чему-нибудь принуждать. Вы смеётесь? Но ведь это правда.

— Обеляете себя? — в голосе Берестова послышалась насмешливая хитреца, а перед следующим своим вопросом он, наверное, кивнул мне подбородком, — вы собираетесь доделать портрет Великовского, но зачем?

— Его смерть — не повод, чтобы бросать работу, она лишь повод повернуть её в иное русло. Совсем, всё изобразить по-другому.

— То есть? — в этот момент он опять остановился и придержал меня руками, чтобы заслонить и очень внимательно посмотреть на меня. Разумеется, почувствовал в моих словах подтекст.

Я решил помалкивать. Берестов, конечно, это понял, но расспрашивать не стал. Я сказал только:

— Великовский, будучи привешенным к крюку, похож был на картину, я ведь говорил вам? Многие, наверное, и не заметили бы покойника. Единственное, что могло открыть правду, — отсутствие фона.

— Да, говорили, — признал Берестов.

— Ну а поскольку это так, в чём же смысл того, что я делал? Моего искусства? Выходит, ничего не стоит за ним? Только передача лица на бумаге? Нет, мы живём в XXI веке. Так не пойдёт.

— Вы уже знаете, в каком направлении следует работать?

— Конечно. Но что делать конкретно — ещё не вполне. Одним словом, подождите, пока картина будет готова. Вы всё сами увидите и поймёте. С другой же стороны, я пока не уверен, что смогу написать именно так, как надо. Я говорю о перспективе.

— О перспективе? Вы имеете в виду какое-то развитие? Человеческое?

— Может быть. А может быть и нет. Но я больше ничего вам не скажу, — раз он играл со мной, то почему бы и мне не ответить ему тем же? С другой стороны, сейчас я сказал ему то, чего ещё никому не говорил.

Некоторое время мы стояли молча, потом он стал прощаться.

— Если вы понадобитесь суду, я разыщу вас. Но прежде, я постараюсь всеми силами не допустить этого.

— Почему вы так хотите помочь мне? — не выдержал я, — и хотите ли на самом деле?

Он ничего не ответил, и через пару секунд я почувствовал, что он уходит.

— Михаил!

— Что случилось?

— Подождите секунду... — я снова приблизился к нему, но по-прежнему не видел, — я так и не разобрался, что же такое здесь творилось. Являлось это плодом моего воображения или некто старается меня в этом убедить.

— Вы на меня намекаете? — осведомился Берестов, — но зачем тогда задаёте такие вопросы?

Я ничего ему не отвечал, и он улыбнулся.

— Сами скоро во всём разберётесь.

Я помедлил.

— Слушайте, да не от того ли город паникует, что я решил продолжать писать картину?

— Очень славно, что вы верите в предвестие успеха, — сказал он.

2005-й июль, 22-й день

Я проснулся часов в одиннадцать, и только успел одеться, как вдруг в квартиру позвонили. Я открыл дверь и увидел Татьяну.

— Привет. Как дела? — поинтересовалась она, заметив секундное удивление в моём взгляде, прибавила, — вы не забыли, что пригласили меня?

— Нет, нет... — солгал я и впустил её. (Если бы она пришла на день раньше, мне бы, наверное, не пришлось лгать, ибо вчера я просто мог думать, что она не придёт, а потом, на следующий день, и вовсе выкинул это из головы).

— А мне кажется, забыли. Но я не обижаюсь, — сказала она, осматриваясь.

— Очень хорошо. Мне приятно, что вы на этом остановились и не говорите, что у таких, как я, вечно отсутствуют память, тормоза и прочее.

— А так оно и есть на самом деле?

Я улыбнулся.

— Возможно. Но когда художник отдаёт свою картину в галерею, не будет же он бегать за каждым, кто подошёл к его творению дабы узнать, что он об этом думает. А знаете из-за чего? Из-за страха, что его обобщат.

— Но почему вы говорите «его»? Обобщает ведь он.

— Вот в этом-то и суть. Одна из самых важных вещей в живописи — поставить себя на место созерцателя. Так же как и в любом другом искусстве.

Мы прошли на кухню, и я предложил ей чаю.

— Да, спасибо. А вы и ваши друзья учились вместе в Художественной академии?

— Да. Не все, конечно, но по большей части. Кое-кого из них я знаю уже очень давно, а Мишку — до такой степени, что временами, когда мы встречаемся глазами, я понимаю, сколь верным было моё предположение этого взгляда много лет назад, во время моего детства, в котором до сих пор живёт какой-то похожий эпизод.

— Вы очень часто говорите необычные вещи, — заметила она, — но готова спорить, вам они такими не кажутся. И, кроме того, вам это нравится.

Я пожал плечами.

Она сказала, что большинство тех, кто был с нами позавчера, она видела впервые.

— Я знала только Павла. Мы познакомились на какой-то вечеринке. Он разговаривал с друзьями, всё им что-то доказывал по поводу завещания Шагала, а заодно приговаривал, что в его собственных картинах нет ничего от этого художника, (в противовес тому, что они увидели); потом вдруг резко повернулся и посмотрел на меня... Я стояла у стены, и тут он кивнул мне и подошёл...

«Как человек, который ведёт с кем-то диалог, а затем, поведав собеседнику важную новость, бежит к двери, чтобы отворить её и посмотреть, какое впечатление произвели его слова на того, кто за нею подслушивает».

— Кажется, позавчера о чём-то подобном он спорил и с Вадимом, — прибавила она.

Я задумчиво отпивал из чашки, а потом пристально вглядывался в тёмно-оранжевую поверхность, как будто изучая, меняется ли от каждого следующего моего глотка Татьянино отражение.

— А его картины ты видела?

— Нет.

Она спросила меня про Мишку.

— Скажи, он тоже художник?

— Нет. Музыкант.

— Как интересно! Я тоже этим раньше увлекалась.

— Саксофонист. Даёт в барах концерты по четыре раза в месяц, и в конце каждого спускается в зрительный зал в поисках зубочистки.

Татьяна засмеялась.

— Теперь, мне кажется, я вполне готов.

— К чему?

— К тому, чтобы показать вам свои полотна.

Не думаю, что я действительно к чему-то морально готовился, но зато чувствовал всю необходимость этих слов в хитросплетениях нашего разговора, а разве не является это эквивалентом если и не искренности, то, во всяком случае, положительного созидания?

— Картины тоже умеют разговаривать, уверяю вас, — сказал я, идя по коридору и то и дело оборачиваясь, чтобы посмотреть на Татьяну, — если вы прочитали в какой-то скучной сухой энциклопедии, что занятия живописью привело Гогена к разрыву с семьёй, а потом увидели в галерее его картину, то спустя десять лет вам будет уже казаться, что это полотно рассказало вам о судьбе своего автора. А вот другой пример: если два человека разговаривают друг с другом в закрытой квартире, одни на протяжении всего вечера, то почему бы дня через два, когда они снова встретятся им обоим не вспомнить, будто к ним во время предыдущей встречи заходил ещё кто-нибудь?

— Но это же нечто вроде самообмана, разве не так? — возразила она.

— Возможно. До какой-то степени. Но с другой стороны, с чего вы взяли, что в жизни всё подчинено логике и не может быть никакого её нарушения? Смотря на себя из будущего, мы лишь на короткое время оказываемся во власти своей оперативной памяти — потом всё перемешивается в различных взаимосвязях.

Я толкнул дверь студии и, войдя, сделал то, чего до этого ещё не делал ни разу: подошёл по очереди

ко всем полотнам и сорвал с них белые покрывала. Пожалуй, теперь я ощущал себя как актёр, вышедший на сцену перед публикой и содравший с себя всю одежду, а затем и кожу, — но впервые мне это нравилось.

— Взгляните. Они и есть те самые различные возможности, и когда я рождал их из плотной белизны, они огрызались, скалили зубы, разговаривали со мной и другими своими собратьями на странном языке, но всё же в результате мы подружились. И знаете, на что похожа наша дружба?..

— Нет, на что же? — в этот момент Татьяна подошла к картине, на которой изображена была пишущая машинка с маленькими краснолицыми человечками, стоящими на клавишах.

— Вы будете разочарованы, когда узнаете. Во всяком случае, если настроение у меня ни к чёрту, я воображаю, что передо мной не картины, а клетки с попугаями.

— Именно поэтому вы и накрываете их?

— Нет. Возможно я и склонен к садомазохизму, но могу точно сказать вам, что не здесь вы его ищете.

Татьяна всё рассматривала эту картину, и я сказал:

— Когда я закончил её, всё никак не мог придумать названия, а потом пришёл Вадим и сказал, что это машинка похожа на ту, которая была у Тенниси Уильямса. Не знаю, почему ему пришлось в голову такое сравнение, но когда Уильямс во времена Великой Депрессии жил в Нью-Орлеане и вынужден был ловить и жарить голубей, он заложил все свои вещи, кроме пишущей машинки.

Она отметила, что во всех моих картинах очень разный стиль и техника.

— А это что-то навеянное Дельво? — спросила она, подойдя к другому полотну.

— Вы всё верно чувствуете.

Я умолк на некоторое время и внимательно наблюдал, как она переходит от одной картины к другой, а потом вдруг сказал:

— После смерти художника на его полотна ложится громадная ответственность. Передавать те импульсы, которые доносятся из его могилы, осторожно пронзая землю. Поэтому автопортрет художника — это икона, это самое святое, что есть у него... Эпос, метафора, лирика — разве эти понятия не существуют в живописи? Как по вашему?

Таня стояла ко мне спиной и ничего не отвечала, всё так же внимательно изучая мои полотна, но я знал, что она прекрасно меня слышит и ответ у неё готов, ибо он очевиден, однако что-то её удерживало произнести его вслух, как будто она боялась этим перейти некую черту, на этот раз совершенно мне неведомую.

В этот самый момент она подошла к «Руинам» — полотну годичной давности. Я подошёл к ней очень близко и почти что прошептал на ухо:

— Прислушайтесь... вы слышите?..

— Что?.. — она тоже понизила голос.

— Эта старинная каменная арка с тремя колоколами и бивни, воинственно торчащие из земли... и слова... их слова...

— Я ничего не слышу...

— И пусть я ещё жив, но почувствуй тогда других... тех, кто тоже причастен...

Я чуть наклонился к её волосам и зашептал еле слышно — она, пожалуй, и не поняла, что это был мой голос.

<...>

Я проводил её до дома. По дороге она высказала несколько замечаний по поводу того, что увидела, но пока она говорила, я то и дело обводил рассеянным взглядом прохожих.

— Что случилось? — спросила она, наконец, — вам неинтересно моё мнение?

И даже в этот момент я мог почувствовать, что в её голосе нет ни капли укора.

— Я не вижу, ради чего мне хотелось бы что-то от вас узнать, — заметил я тоном неожиданно сухим даже для самого себя, — я уже наслушался столько версий и впечатлений, что мне становится скучно.

Думаю, мы всё ещё находились с ней в пограничном состоянии между зарождающимся доверием и тем, что принято называть «страхом неизвестного». Поэтому-то и переходили всё время на «ты», а потом снова возвращались к «вы» и так далее продолжали скакать с нижней ступеньки на верхнюю и с верхней на нижнюю. Когда мужчина и женщина играют в такую игру, они подспудно предвосхищают близость, то и дело передавая друг другу эстафетную палочку, с целью понаблюдать, как ею распорядятся и допустят ли какой-нибудь просчёт, который навсегда закроет дверь к самой вершине.

— Вы слишком зарылись в своё искусство.

— У меня, во всяком случае, есть отговорка, которая меня спасает.

— И какая же?

— То, что вы сегодня увидели, — единственно дорогое, оставшееся в моей жизни. Больше нет ровно ничего.

Она вдруг остановилась и повернулась ко мне, подойдя почти вплотную. Этого я не ожидал и чуть было не вздрогнул.

— Совсем ничего?

— Ну... почти... — она видела, что я замялся, но всеми силами это скрываю, и от того мне стало не по себе, — забудьте об этом. Если бы вы спросили меня о позавчерашней ночи на реке, и то мне легче было бы ответить. Но за весь наш сегодняшний разговор вы не упомянули об этом ни слова. Почему? Я же знаю, что вас это интересует.

— Возможно. Но попытаюсь угадать этот интерес в других, вы совершенно не видите ещё более сильное его проявление в самом себе.

— Если он и есть, то появился совсем недавно и связан только с вами.

— Со мной?

Я отвернулся и пошёл дальше.

— Да. Всё остальное я уже изучил. Так что именно с вами.

— Но почему?

— Как?... — я бросил на неё удивлённый взгляд, — не думал, что вы так себя недооцениваете. Ведь вы первая, на кого эта прогулка не оказала никакого воздействия.

— Только и всего?

— Это немало, поверь.

— Лишь для тебя, потому что... — я уверен, она хотела сказать: «потому что я не оказалась

в твоей власти», — но передумала, — я видела то, что видел ты...

— Так тем более не должно было быть.

— Ты это говоришь и ничего в то же время не объясняешь. А почему? Потому что никаких ясных объяснений у тебя нет. У твоего тела, которое совершало движения, они, быть может, и имеются, но оно слишком далеко от всего остального, что тебя составляет, и поэтому не может выразить словами этот необузданный выплеск энергии.

Я рассмеялся.

— Наверное, ты права. Но готов спорить, Вадим, Мишка и остальные объясняют его алкоголем и скоростью, больше ничем. А блестящие способности приписывают мне только в шутку. Конечно, иногда они забрасывают меня вопросами, но на самом деле им наплевать, как и всем людям, которые получают безмерное удовольствие.

— Если ты научишься выплёскивать на холст всего себя, а не оставлять добрую половину на берегу, — вот тогда они оценят.

Я пожал плечами. Минуту мы шли молча. Потом я вытянул руку и сказал:

— Видишь эту сосну? — Таня ничего не ответила и лишь посмотрела туда, куда я указывал, — говорят, когда Левитан ехал на Волгу, он на один день останавливался в нашем городе и отдыхал под нею.

Таня обернулась и молча смотрела на меня, чуть наклонив голову; от ветра её волосы хлестали по щекам; она достала блестящую заколку и собрала их. Потом сказала:

— Знаешь, я действительно что-то слышала, когда была в студии.

— Оставь. Это именно тот самообман, о котором ты говорила.

— Самообман или твой обман?

— А это имеет значение? — осведомился я, улыбаясь.

— Для меня — огромное.

Не знаю, почему она так сказала, совершенно не знаю, и что имела в виду. Во всяком случае это было не простое влечение ко мне. Не та это была интонация.

На прощание мы договорились, что я зайду к ней на днях.

<...>

День

2005-й июль, 24-й день

Таня не выходит у меня из головы. В вечер нашего знакомства и позже, когда мы катались по реке, я мог бы угадывать в её ресницах и подёрнутых янтарём губах собственную мать, и испытывать нерешительность, но после того, как мне удалось поверить, что она по-настоящему понимает меня, я всё больше и больше желаю подарить и открыть ей то, чего в своё время так и не получили мои близкие.

Сейчас уже день, но послед луны так и не сходит с неба; луна как будто пытается вспомнить своё детство. Иногда я поднимаю голову, снова и снова обвожу глазами полукруглый контур, и мне кажется, будто мой взгляд качается на маятнике: раз, два, три, — в прошлое, всё дальше и дальше.

Я очень переживал, когда остался совсем один, хотя и недолго, заметно меньше, чем после смерти деда, а быть может мне даже было приятно и, вме-

сте с тем, благоговейно-боязно вступать в новую одинокую жизнь, которой я к тому времени очень ждал.

Но сегодня мне уже не хочется думать об одиночестве.

Редко, но всё же иногда случается, я вспоминаю о родных со слезами, однако это не боль утраты, другая: я вижу старые солнечные комнаты, берег моря, размытые мириады цветочных ковров, и ещё много того, чего на самом деле не было или же было, но в тот момент вызывало совсем иные ощущения, — словом, здесь не обходится без участия промелька, я уже упоминал о нём раньше.

Я переживал, когда остался один, но совершенно не так, как переживало бы на моём месте большинство людей, и когда мы с Таней были в студии, я никак не мог избавиться от ощущения, что она, изучая меня, будто бы перебирает картонную колоду, лежащую рубашками вверх; медленно, с расстановкой откладывает в сторону карту за картой, но на самом верху перед ней так и лежит одна-единственная, и создаётся впечатление, что все пятьдесят четыре карты одинаковы, но как только очередная отброшенная приземляется на стол, она уже отличается от тех, которые лежат рядом с ней, от других отброшенных. Не меняющаяся карта на вершине колоды, — это визуальная память Тани, она выделила для себя единственную карту и как бы примеряет её изображение на остальных.

После обеда

Свою мать я не любил. Уверен, что фундамент этому был заложен ещё в раннем детстве, но по-настоящему признаться самому себе «в такой чудовищной чёрствости» мне удалось лишь за месяц до её гибели. И всё же это отношение мама заранее предупредила: лет с шести во время наших ссор и за моё непослушание, она часто кричала, что если я не думаю меняться, не собираюсь помогать по дому, хорошо учиться, побыстрее слезть у неё с шеи и пр., «обязательно вырасту таким же ублюдком, как мой отец, — вот тогда-то мне прямиком дорога в Белоруссию». (А мне до него ни сейчас, ни тогда нет никакого дела).

К моему совершеннолетию наши ссоры сделались ежедневными.

Мама работала редактором в толстом литературном журнале, который после 1991-го года стал выходить тиражом 2500 тысячи экземпляров; деньги платили мизерные, и мы едва существовали на них. Она всё мне отдавала.

А что касается моей бабушки, то та, будучи по природе своей человеком властным, часто, но всегда безуспешно старалась подчинить меня «семейной воле», поэтому я и с ней жил как кошка с собакой.

◀...▶

2005-й июль, 27-й день

До вчерашнего дня я воспринимал течение времени спокойно, но по мере приближения моей встречи с Таней я как будто чувствовал, что стрелки часов всё более и более замедляют свой ход — это похоже было на преследование во сне, когда ты от кого-то убегаешь и вдруг твои ноги начинают прилипать к полу, или, наоборот,

стараешься настигнуть, но в последний момент объект преследования ускользает.

...Замедляющаяся лента кинопроектора...

А один раз, лет десять назад, мне приснился один из тех немногих снов, что я запомнил на всю жизнь; он больше никогда не повторялся, но, видно, и одного раза было вполне достаточно, — я превратился в главного героя боевика и стрелял в многочисленную банду, у которой не было никаких сил меня укокошить. В светлом железном зале люди с огромными револьверами подбегали ко мне и мазали практически в упор, а вот я не промахнулся ни единого раза. Очень быстро толпа превратилась в груды мёртвых тел, осталось только три человека — два телохранителя и главарь банды.

— Промахнёшься!.. Обязательно промахнёшься в последний момент! — закричал мне главарь, и вдруг в моей голове сверкнуло чудовищное открытие: у меня ведь осталось только три патрона!

Рука дрогнула, я выстрелил, но всё-таки попал — в правого телохранителя, хотя метился в левого. Он падает, и его ботинки взлетают, а один из них бьёт главаря чуть ли не в плечо.

Промахнёшься... Промахнёшься... *Всё равно промахнёшься!..*

Рука необъяснимым образом отводится от цели на добрые сорок пять градусов — я стреляю и попадаю в место, где сходятся железные стены. Дзынннн! Затем она наводится на последнего телохранителя. Выстрел! Он падает замертво, лизнув своим пиджаком бедро главаря.

— Вот, я же говорил! — главарь хохочет, — теперь тебе конец.

Я ещё раз спускаю курок — осечка... И тут же резко просыпаюсь.

Сон — это сценарий, от которого невозможно отступить только в самых ключевых моментах. Но ты знаешь, что финал его, — это продукт пассивного фатализма.

Итак, я пребывал в нетерпении. Господи, что такое со мной случилось? Давно не удавалось мне испытывать к кому-то столь сильный, попросту угрожающий интерес!

Без пяти минут два я уже звонил в домофон её подъезда.

— Это ты? — услышал я немного искажённый голос Тани.

— Да, привет.

— Заходи быстрее и поднимайся на третий этаж. Я оставлю дверь квартиры открытой, захлопни её за собой. Буду на балконе — не хочу упустить самой интересное!

Зуммерному сигналу открывающейся двери сопутствовал её весёлый смех. Нечто увлекло её так сильно, что она открыла входную дверь, — сама же не может ждать ни минуты, ей зачем-то надо на балкон. Что же там такое происходит? Пока я поднимался, меня охватывала странная смесь возбуждения и укора.

Дверь квартиры была приоткрыта.

— Эй, Пашка, быстрее иди сюда!

Таня уже знала, что я рядом, хотя ещё не скрипнула ни одна петля. Я прошёл через все комнаты на её голос и, очутившись на балконе, тут же рассмеялся. Вот оказывается в чём дело: она любила

последить за футбольной игрой. Довольно необычное увлечение для женщины, что и говорить, но её балкон был с видом на местный стадион, и Тане всё равно пришлось бы привыкать к отголоскам той бурной жизни, которая там творилась. Примерно раз в три дня к нам приезжала команда из какого-нибудь соседнего города, и начиналось зрелище сродни тому, которое могут устроить середняки бельгийского чемпионата.

Таня пила кофе и поднимавшийся от него пар ощупывал балконный козырёк до тех пор, пока очередной порыв тёплого ветра не выбрасывал его вон на улицу, поверх освещённых солнцем деревьев.

— Ага, так вот в чём дело! Я и представить не мог, что ты этим увлекаешься.

— А ты нет?

— Ну почему же. По мне это штука вполне сносная. Наши выигрывают?

— Да, но всего лишь 2:1, поэтому я не хотела пропустить концовку. Я часто слежу за ними отсюда, а один раз, когда стадион дисквалифицировали, я была единственным болельщиком, наблюдавшим с балкона. Пришлось здорово покричать, но нашим это всё равно не помогло — соперник их слопал... Ох, смотри как здорово! Они забили третий!

И в самом деле, в этот момент нападающий в синей форме с таким оттенком рыжих волос, что казалось, будто на его голове шапка из грейпфрутовой кожуры, прошёл по флангу, ударил почти наобум, но угодил прямо в дальнюю девятку. Болельщики на двух противоположащих трибунах взвыли, раздраемые бурными овациями. Таня тоже зааплодировала и кинулась мне на шею. Я удивлённо обнял её, и несколько секунд девушка в радостном экстазе хлопала меня ладонями по спине; потом она слегка меня оттолкнула и, чуть повернув голову, смущённо произнесла:

— Ну, вот теперь можно выпить ещё кофе. Будешь?

— Конечно, — я прошёл в комнату и опустился в кресло.

Она принесла кофе и поставила поднос на маленький столик из корейской сосны, стоявший у изголовья кровати.

— Это для эскизов? — я кивнул на треножник, задние ноги которого упирались в стеллаж с энциклопедиями.

Таня молча кивнула.

— А эскизы?... Вон на том столе?..

— Да.

— Я заметил их, когда ещё только зашёл. Часто ты забираешь их домой?

Я резко встал, а она, не двигаясь с места, внимательно следила за мной.

— Это что-то интересное? Я бы хотел посмотреть, если ты не возражаешь, — но только я взялся за краешек одного из эскизов перевернутых тыльной стороной, Таня тут же очутилась возле меня и сжала моё запястье.

— Возражаю.

— Но почему?

— Тут всё гораздо проще... шаблоннее... и тебе наверняка станет смешно, а ещё... ещё ты разочаруешься, а я этого не хочу.

— Что за самоуничижение! Неужели есть нечто такое, что в силах разочаровать меня в тебе? — я

уже держал её за руку и осторожно притягивал к себе.

— Есть, поверь мне.

— Сомневаюсь.

— Не говори банальных комплиментов...

— Я и не говорю... позволь мне посмотреть... — упрашивал я с улыбкой, наклоняясь к ней всё ближе; она не протестовала, а тоже придвигалась ко мне, медленно, медленно, и я чувствовал жасмин её тела и размывавшиеся тёплой водой контуры лица. Наши лица потихоньку сливались, утопали друг в друге, как плещ и стена, как разные стремления одного человека, настаивающие и хлопающие себя по витиеватым струнам, дабы вытеснить касанием губ лучи сверкающе-белого застеклённого дня.

Глава 3

Паника в городе продолжается; не могу сказать, каких размеров она уже достигла — (я ведь даже не знаю настоящей её причины, и могу только догадываться!) — но думаю, немалых, потому что вчера вечером, когда я зашёл в плоскость магазина «Мир искусства» — в нём не было ни покупателей, ни даже продавцов, я никого не почувствовал. Все куда-то исчезли, в спешке побросав товары. Почему? Они что-то увидели? Скорее всего, нет. Просто эта паника косит людей, как эпидемия.

Ладно, мне их несколько не жаль. Я заслонил собою четверть того прилавка, где в прошлый раз купил холст, походил туда-сюда и, в конце концов, обнаружил, что на прилавке ничего не стоит, а стена пустует и подавно. Тогда я зашёл за коричневый прямоугольник, поддаваясь скользнувшему в голове соображению присел и — о удача! — то, что я искал, предстало передо мной — со стороны моя голова вписалась в розоватый картонный квадрат. Я видел только один набор темперы, но сообразил, что за ним стоят ещё несколько.

Я взял два набора — второй на всякий случай — и отправился восвояси.

И вот снова плоскость улицы замельтешила паникёрами. Да-да, именно эпидемия — и никак иначе. Если бы им хоть что-то удалось осмыслить, они всячески пытались бы меня саботировать, и уж точно уничтожили все принадлежности для живописи, а не оставляли их без присмотра. Нет, они не знают о моих планах. Откуда им знать? Всё гораздо тоньше: они просто чувствуют опасность, а вот чем она вызвана — для них тёмный лес. Ну или дело вообще не в картине. У меня, впрочем, сомнений в этом всё меньше и меньше...

Я зашёл в другие магазины и убедился, что такое безлюдье не везде. В продуктовом была толпища ещё та: все сновали туда-сюда — несколько я не ошибся, когда назвал их тараканами, и ещё уточню — спины и усики их окрасились в белую морилку. Я остановился у одного из прилавков и как раз заслонил собою окно, в котором виднелась квадратная часть улицы. Знаете, что я увидел? Какой-то мужчина остановился посреди тротуара, чтобы закурить, и трое прохожих, намеревавшихся его обогнать, (ни один из них не был «паникующим»), вместо того, чтобы спокойно пройти по нему, врезались лбами в заднюю часть шеи и попадали вниз и на некоторое время превратились в одного горизонтально лежащего человека. «Что

такое случилось?!», «да дайте же пройти», — услышал я приглушённые голоса.

— А что я сделал?

Теперь прохожие походили на трёхстворчатый веер, потому что одновременно стали подниматься на ноги.

— Я говорю, дайте пройти, — повторил один из них.

— Да я и не препятствую.

Но только они снова попытались миновать профиль, пускавший вверх бумажные клубы дыма, — как будто упёрлись в стену, ничего не выходило.

— Не понимаю!

— Боже мой, это что-то из ряда вон выходящее! Слушайте, а давайте-ка вы пойдёте вперёд, а?

— Не буду же я курить на ходу. Так не полагайтесь, — возразил мужчина.

— Ну тогда раз вы такой упёртый, (во всех смыслах этого слова между прочим!), нам придётся перелезть через вас.

Тут я понял: с мужчиной, курившим сигарету, произошло то же самое, что и с Кожениным в той истории, которую рассказал мне не так давно Староверцев, — (хотя профессор математики и уверял, что мы никогда с ним не общались, я всё же до сих пор придерживаюсь обратной точки зрения. <...>

Теперь я знал, что раз произошёл рецидив, это необычное явление, скорее всего, получит широкое распространение. Коженин был раним, в отличие от остальных, кроме того, он был умнее, — вот почему его тело пришло в упадок много раньше. Но теперь, когда деградация наступила в человеке из серой массы большинства, — (и даже избавление от Великовского этому не помешало, ибо случилось оно слишком поздно), — разумеется, кризис начнёт размножаться как в зеркалах.

Я пришёл домой и, как будто сделавшись рисунком на холсте, долго созерцал, выбрав единственную его точку. Со дня смерти Великовского я лишь несколько продвинулся в работе, всё больше размышлял, и не только потому, что техническая сторона испытывала недостаток. Всё дело в том, что моя задача была проста и невероятно сложна одновременно. Блажен тот, кто открыл перспективу, но где, чёрт возьми, теперь откопать мне этот утраченный императив?! И ещё одна вещь занимала меня, не такая уж маловажная в сравнении с перспективой, (хотя так и может показаться на первый взгляд): как изменить композицию портрета? А говоря конкретнее: то лицо, которое было уже написано, — как относительно него должно было располагаться всё остальное, что мне ещё предстояло изобразить? Здесь я более всего склонялся к тому варианту, который один раз увидел ещё в детстве, теперь же он по какой-то причине — (видно, ею служила интуиция) — то и дело всплывал в моей памяти; это правда была не картина, а обложка книги Джона Фаулза «Кротовые норы», на которой автор был изображён в профиль, а на голове его возвышался огромный город с высотными домами, хитросплетениями вязов и детскими каруселями, дорогами и ветровыми стёклами автомобилей, на которых никогда не таяло солнце.

Думаю, я находился в положении молодого Эйнштейна, когда он ещё не открыл ни одного своего закона, и юношу посещали лишь интуитивные проблески, вгонявшие в такую депрессию, что хотелось оторвать себе голову и, перегнувшись пополам, зажать её между животом и чреслами. И всё же не прошло и часа, как я принялся за работу.

2005-й сентябрь, 12-й день

Вечером опять собрались всей компанией, как тогда, в июле, у Мишки на даче. То был день моего знакомства с Таней, а сегодня — она переезжает ко мне.

Стоило только обронить слово о переезде, сразу сбежались все мои друзья, — видно всё же чувствуют, что я обрёл именно то, что так долго искал. Меня это прельщает...

Мы сели за стол; потом собирались идти гулять: последние дни уходящего лета, нехолодно, и почему бы ни прокатиться на катере?

Я сразу обратил внимание, что Калядин пребывал в приподнятом настроении, и немудрено: в недавно открывшейся городской выставке картин попало ни одно, а даже целых два его полотна. Третьим или четвёртым тостом я предложил выпить за его творческие успехи.

— Всем большое спасибо! — проговорил он, ещё более окрылённый, когда мы осушили бокалы, — а скажи... — он обратился к Тане, — твоя квартира теперь пустует?

Она ответила, что нет, она сдала её, но скучает теперь лишь по своему балкону, с которого любила раньше посмотреть футбол.

— Футбол? — Калядин вскинул брови, а потом развернул голову в мою сторону, как будто искал у меня помощи, — в каком смысле?

— В прямом, — я улыбнулся, подморгнул Тане, и объяснил ему, о чём шла речь. Потом все смеялись — уж больно оригинальной показалась эта история, — все, кроме Дарьи. Она вообще по какой-то причине была в этот вечер не в меру серьёзной; наверное, не сильно-то хотела идти к нам, — скорее всего, Вадим её просто уговорил. Я сразу понял, что у них какие-то напруги во взаимоотношениях, ибо она не хмурилась, как это бывает обычно с людьми, которые не очень хорошо себя чувствуют, а довольно часто и намеренно встречалась с ним глазами, и тогда в её взгляде скользил укор, то лёгкий, то наигранный, то капризный, — его оттенок постоянно менялся, как и поза девушки, и лишь одно оставалось неизменным: Дарья то и дело нервно постукивала указательным пальцем по книге, которую принесла с собой. По мягкому переплёту и цветастой матовой обложке я мог заключить, что это, по всей видимости, какой-то бульварный детектив. Название гласило: «Возвращение». Поначалу Вадим старался не отвечать на игру, которую она вела с ним, и даже не перехватывать эти взгляды, но так или иначе он испытывал лёгкий дискомфорт, который грозил постепенно перерасти в раздражение, если только Дарья не уймётся. А она знала, что делала, и при следующем тосте даже не приоткрылась к бокалу.

Вот тогда Вадим не выдержал и устало обернулся.

— Ну что?

Он не говорил шёпотом, но я едва сумел слышать его голос, потому что Калядин в этот момент принялся рассказывать какую-то историю.

— Ничего, — Дарья укоризненно выпрямила спину.

— Что значит, «ничего»? Я же вижу, ты чего-то хочешь от меня.

— Мне надоело это. Что было сегодня утром, помнишь? Ты даже не извинился!

— За что я должен извиняться? — тут уж ему пришлось понизить голос.

— Ну всё, с меня хватит, — она встала, — я ухожу домой, — развернулась и пошла в коридор.

— Что с ней такое? — удивлённо осведомился Калядин.

— Отстань, — бросил ему Вадим и направился следом за своей девушкой. Он нагнал её в прихожей; мы услышали напряжённые голоса, но Вадим, по всей видимости, уговорил её остаться ненадолго, и они направились на кухню выяснять отношения.

— Они на ножах? — всё не унимался Павел, теперь ища объяснения у нас.

Я пожал плечами.

— Кто его знает! Так о чём ты там говорил?..

Вскоре Вадим заглянул в комнату и попросил меня открыть дверь. Я направился вместе с ним в прихожую.

— Вы уходите?

— Не на совсем. Просто выйдем на воздух поговорить. Будем на скамейке возле дома.

<...>

Я вернулся к остальным; мы просидели за столом ещё минут двадцать и выпили бутылку вина. <...>

У Калядина зазвонил мобильный телефон, который он оставил в куртке.

— Ага! Это, должно быть, мой друг! — сказал он, торопливо вставая из-за стола, — я попросил его толкнуть мои картины одной богатой дамочки. Ну или пусть хотя бы попытается, скажет: вот уже человека на выставку поставили, скоро прославится, так почему бы вам кое-что у него ни купить, пока ещё дёшево? Надеюсь, он был убедителен... Алло! — заорал Калядин; его уже не было видно, а голос доносился из коридора.

Я предложил перейти в другую комнату, надоело здесь сидеть, а когда Вадим и Дарья вернутся с улицы, — отправимся к реке.

— А заодно не будем ему мешать, — я подмигнул Мишке.

— Давай.

Когда я обогнул стол, неизвестно по какой причине моя рука сама собой потянулась и взяла книгу, которая так и осталась лежать на столе, забытая своей хозяйкой. С детства я не мог терпеть бульварные романы — один из тех немногих вкусов, который роднил меня с матерью, она ведь была настоящим литератором. Каким же образом книга оказалась в моих руках? «Возвращение». Чьё? Когда очутились в моей комнате, я положил книгу на журнальный столик возле кровати.

— У нас, кажется, повелось рассказывать истории о детстве. Что если продолжить традицию? — предложила Таня.

— Ты хочешь рассказать что-то о себе? — осведомился Мишка.

— Не угадал, — отвечала она; голос её при этом звучал очень спокойно и резонно, а на лицо опустился оранжевый свет солнца, — пусть Паша, как раньше.

— Из детства? Может о прятках в сене? — спросил я Мишку.

— О чём? — не поняла Таня.

— А это идея, — кивнул Мишка и повторил, — о прятках в сене. Давай...

«Мы так называем эту историю: «Прятки в сене», — начал я, — но на самом-то деле «прятки» там не так уж и много, только в самом начале. Нам было тогда по двенадцать лет, мы читались Марка Твена и, целиком находясь под его влиянием, решили, что дружбу нашу стоит узаконить не иначе, как посредством кровавой печати. Поводом этому послужило вот что. Была середина лета. Антон уехал вместе с матерью на юг, (к тому времени его родители уже развелись; он бывал на даче всё реже и реже, а его отец — мой дядя — пил всё чаще и чаще), и нам приходилось развлекаться без него. Конечно, его изобретательности нам не хватало, но «Приключения Тома Сойера», что называется, спасли ситуацию, ибо они волнуют сердце ребёнка точно так же, как величественные пейзажи Шотландии — сердце поэта. Неудивительно, что дня через два после того, как мы пропустили через себя последнюю страницу этой книги, одному из нас — это был я — пришла в голову идея устроить нечто вроде состязания, борьбы, и происходит она должна была в поле, которое находилось неподалёку; да к тому же там росла высокая трава — как этим не воспользоваться и не затеять игру в прятки! Условия придуманной мною игры были таковы: участники делятся на две команды, заходят в поле с разных сторон и стараются напасть на соперника тогда, когда тот меньше всего ожидает, после чего происходит рукопашная схватка, выявляющая победителя. (Возможно, что мне могла бы прийти в голову совсем другая идея — попытаться вырыть клад на этом поле, — но фантазия моя зашла гораздо дальше).

В тот день нас было четверо и те, против кого мы играли, — братья Аловы, Макс и Рома, — являлись если и не нашими «злейшими врагами», то, во всяком случае, мы их недолюбливали. <...>

Вперёд продвигались по-пластунски, или же перекаtywаясь со спины на колени и обратно; трава при этом сильно приминалась к земле не рваными узкими коридорами, а вполне себе цельными квадратными участками, — моя спина была уже достаточно широка, — и мне нравилось думать, что я не играю в детскую игру, а занимаюсь очень полезным и благим делом — превращаю траву в сено. <...>

Аловы набросились на нас первыми, когда мы продвинулись ещё на пару десятков метров, а вдальке высунулся из травы огромный трехкронный дуб, который в предвесье леса имел такой внушительный вид, что казалось, будто вся остальная древесная растительность, отступившая на приличное расстояние вправо — это, на самом деле, его собственные корни, мутировавшие из земли другими деревьями. Аловы набросились на нас, и

борьба была жаркой; Макс побеждал меня, я уже готовился к тому, чтобы оказаться на земле, но тут вдруг моё воображение сработало само собой, и я, (даже без особого страха, ибо просто не успел его почувствовать), представил себе, что борюсь с корнями дуба, и тут же мой соперник оказался подо мной. Мишка всё ещё копался, но скоро и ему улыбнулась удача.

— Матч реванш! Теперь матч реванш! — заорали Аловы в один голос.

Разумеется, мы согласились, но не только потому, что отказ выглядел бы трусостью: игра была действительно увлекательной.

Но реванш они не взяли. Мы сыграли ещё целых пять партий и в каждой победили.

Домой возвращались уже вечером.

— Теперь в честь нашей блистательной победы мы должны поклониться друг другу в вечной дружбе, — торжественно заявил я, изо всех сил стараясь при этом походить на своего брата или на Тома Сойера, но поскольку в тот момент я так окончательно и не решил для себя, на кого же я хочу походить больше, результат оказался не провальным, нет, — напротив, мои слова звучали гораздо убедительнее, чем могли бы быть. Мы взяли верх над неприятелем, и теперь просто необходимо было отметить такое событие нечто большим, чем просто взаимными поздравлениями.

— Давай! — Мишка принялся оживлённо потирать руками, — что для этого нужно?

— Лист бумаги и швейная игла, — заявил я без колебаний, — сможешь достать у себя дома?

— Конечно! Пойдём скорее!

— Напишем клятву кровью, как и следует, — прибавил я, когда мы уже свернули на родной проезд и подошли к Мишкиному дому.

— Правильно!

Мы уже отворили калитку, как вдруг произошло непредвиденное: со своего участка я услышал голоса матери и дяди, такие громкие, что их было слышно по всему проезду. Они ругались — последний год это происходило каждый раз, когда дядя напивался, а ему редко удавалось продержаться больше пяти дней.

— ...мне это надо?..

— А мне что ли это надо?

— Нет-нет, ты мне объясни...

— Я не понял, почему мне должно быть это надо!..

— Твои родственники так шумят, — сказал Мишка.

Мне стало так тошно от его слов, что я побыстрее прошмыгнул за калитку, но на беду мать, (я уже мог видеть и её, и дядю — они были возле дома), обернулась и заметила меня.

— Паша, ну-ка быстро иди домой!

— Но я хотел...

— Я сказала — домой!

— Хорошо, — я развернулся и, стараясь не смотреть на Мишку, направился обратно к калитке.

— Да-да, повоспитывай своего недоноска, — язвительно произнёс дядя; он уже трезвел и полулежал на ступеньках крыльца.

<...>

Поздно вечером, (думаю, время было около двенадцати), я проснулся, открыл глаза и тут же понял, что меня разбудили: дядя стоял над моей

кроватку, в руке его был зажат фонарь. Я чуть было не вскрикнул от удивления.

— Тише! — он предостерегающе поднял вверх палец, а затем приставил его к губам, — говори как я — шёпотом.

— Что случилось? — спросил я удивлённо; никогда ещё не будил он меня в такое время. Я понял, что он снова выпил — от него разило, и когда он наклонился, лицо его было малиновым и мокрым от пота, а мне казалось, будто это через поры вытекает напитавший его кожу алкоголь.

— Хочешь пойти на катере покататься?

— Конечно хочу! — я просиял, снова чуть не вскрикнул, но во время опомнился и сел на постели; ритм моего сердца участился от радости.

— Тише! — коротко повторил он, — одевайся скорее!

— Сейчас!

<...>

Когда мы вышли на крыльцо, он закурил, и продолжал выкуривать сигарету за сигаретой, пока мы не дошли до берега. Я всё давился со смеху от восторга и предвкушения невероятного приключения. Прогулка на катере ночью! Слышано ли это? И один раз дядя обернулся и спросил:

— Ты чего?

Я закрыл лицо руками и всхлипнул: если уж на меня накатывал глупый смех, я долго не мог унять его.

— Да так, ничего, ничего... — и отмахнулся.

— Давай, не зевай! Садись и отшвартуй. Кнехт-то разглядишь? Давай посвечу... — он вдруг заговорил совсем уж благодушным тоном, с каким ещё любил называть меня не иначе, как «племяшом», и от такой непривычности мне становилось некомфортно.

Обычно дядя отчаливал очень резко — и правда у него было настоящее моряцкое лихачество! — но на сей раз завёл двигатель осторожно, как будто нам до сих пор стоило опасаться преследования моей матери. Вода неуверенно вздохнула, забурлила, но мотор то и дело высовывался наружу — будто хотел согреться от лунного света, — и лишь когда тот покрывал его чуть тёплой капельной испариной реки, снова набрасывал на себя волны, (как будто умывался). Приземистое тело дяди закрывало большую часть приборного щитка, и руля не было видно вовсе; его жилистая рука чуть надавливала и поглаживала реверс, но вывернул он его только когда мы были уже в десяти метрах от берега. Воздух ударил мне в лицо, а река от отражавшейся в ней городской разноцвети превратилась во фреску.

На несколько мгновений дядя потерял равновесие и чуть было не свалился с сиденья вбок, но вовремя успел упереться руками в руль, отчего катер пару раз пьяно вильнул.

— Вот чёрт! — он кивнул головой своему отражению на стекле. От скорости алкоголь забирал его во второй раз, несмотря на то, что он успел уже немного протрезветь, и я представил себе, как водка перетекает в его теле из менее чувствительных к ней мест в более.

Я подсел к нему.

— Чего ты? — он посмотрел на меня. Его глаза были налиты кровью.

Я пожал плечами, ничего не ответил, но улыбнулся, и видно именно моя улыбка убедила дядю, что я и не подозреваю о его состоянии.

— Лучше иди назад!.. — всё же посоветовал он, отводя взгляд и стараясь перекричать шум мотора.

— Но я...

— Я сказал — иди назад!

Мне ничего не оставалось, как повиноваться, но теперь, когда я обнаружил, что он всё же не утратил своего тяжёлого характера, мне стало по-настоящему хорошо, таким он был мне привычнее, чем когда говорил противным благодушным тоном. <...>

Мы выжимали под сто. Река из фрески превратилась в глянцевое покрывало. Дядя, вероятно, рассчитывал, что скоро протрезвеет, но чем дальше мы летели вперёд, тем сочнее становились сырые, смрадные запахи реки, и он уже переставал себя контролировать, был совершенно пьян, его клонило ко сну и даже не хватало соображения отпустить ручку реверса.

Наконец, он сделал над собой последнее усилие и обернулся.

— Хочешь, научу водить тебя катер так, как умею только я? — его вопрос еле шевелил языком. Всё верно, я услышал не просьбу, а резкое предложение. Но что он имел в виду: «так, как умею только я»?

— Хочу!

— Отлично, садись за руль.

— Сейчас, — произнёс я с готовностью, и даже теперь из меня не хотела уходить гордость за оказанное доверие.

И тут вдруг я посмотрел вперёд и вытаращил глаза — мы летели прямо на буй, выросший внезапно в самой середине реки!

— Эй, дядя, смотри, осторожнее!

Он вывернул руль, но было уже поздно. Катер ударило снизу; миллионы капель с сумасшедшей скоростью брызнули мне в лицо и за шиворот. Мы подлетели, и когда меня и дядю отбросило на борт, он всё же успел закричать, не громко, а каким-то нерешительным, нарастающим криком, и по мере того, как тот креп, я всё больше и больше узнавал в нём свой собственный голос. А потом мы оказались в воде — нам ещё повезло, что не под перевёрнутым катером! — я погрузился с головой, и лишь приглушённо мог слышать чудовищный лязг железа... а потом, секунд через пять, почувствовал, как дядя порывисто схватил меня за руку, смяв рукав куртки, которую старалась стащить с меня вода. Я всплыл и, сам не зная почему, стоило мне только сделать несколько вдохов... тут же охватил меня безудержный, восторженный смех, почти истерический. Вот так приключение! Вот так радость! Я совершенно не соображал и не хотел соображать, в какую передрыгу мы угодили.

— Ты что совсем охренел? — я увидел перед собой мокрое, отплевывающееся лицо дяди; он злился, но даже это не останавливало мой смех — сейчас я совершенно его не боялся.

Думаю, я смеялся так заливисто, потому что любил его. Да, любил. И всё же когда через восемь лет он и моя мать погибли на реке в точно такой же аварии, я испытал облегчение».

Я повернулся от окна. Таня стояла прямо передо мной, а Мишка — в другом конце комнаты, — и руки его, упёртые в бока, отбрасывали на бельевого шкафа чёткую угловатую тень.

— Да, именно облегчение. Но так ли это ужасно, как кажется?

— Нет, — просто ответила Таня.

— Почему? — спросил я, испытывая секундную потребность придать своему голосу фальшивую боль, но тут же чуть было не рассмеялся этой непонятной глупости.

— Не знаю. Не могу этого объяснить и всё. Но я не осуждаю тебя.

<...>

Я продолжал:

— С Антоном я общался всё реже по мере того, как выросел. Возможно, так получилось потому, что он больше проводил время со своей матерью, а дядя после развода ушёл из их квартиры и переселился жить к нам, но всё же нет, дело не в этом. Когда Антон навещал своего отца, мы общались с ним так, как прежде, и никакого барьера от того, что мы, быть может, уже слишком долго не виделись, я не чувствовал. Потому что мы были братьями? Но каждый раз при встрече мы обещали созвониться завтра, на днях, на следующей неделе, и редко когда это выполняли. Как объяснить, что так получалось между людьми, которые любили друг друга? Не знаю, но я больше не хочу так жить, — я помолчал немного и снова отвернулся к окну, — когда моя мать и его отец погибли, мы вместе плакали на похоронах. А через месяц умерла и моя бабушка. Хотя бы это должно было воссоединить нас, и казалось, что так оно и случится. Но нет, спустя некоторое время я узнал, что он уехал вместе с матерью в другой город и даже не предупредил меня, ничего не сказал. Мы больше не созванивались, и я не видел его с тех пор.

Дело продвигается, — сегодня всю ночь писал темперой, потом долго правил, потом опять писал. Я хочу попробовать совместить на картине акварель и темперу. Как только сейчас ни экспериментируют; перепробовали практически всё, что можно было, а один мой собрат по ремеслу сказал как-то: «Может, лет через пятьдесят изобретут какой-нибудь новый вид краски, и тогда — держись! А пока... нет-нет, само изображение гораздо более плодотворная почва для эксперимента».

У меня ещё пока не вполне получается, но я чувствую, что скоро научусь. Мне кажется, что на холст нужно смотреть под правильным углом. Понимаете? Углом!

До марта.

Листок из дневника Гордеева (без даты)

Те несколько месяцев, до конца весны 99-го, которые мы прожили с Таней в моей квартире, были самыми счастливыми в моей жизни. Она продолжала свою дизайнерскую работу, а я, помимо того, что решил написать реалистическую картину, ещё и преподавал в художественной академии. Когда я возвращался с работы или после двух часов непрерывного творчества устало протирал глаза, Таня часто подходила сзади и прижималась к моей спине, или же она могла достать

из-под подушки мой свитер и заботливо накинуть на плечи так, что его расправленные рукава свисали на моей груди. А потом мы садились за стол и ели какой-нибудь салат — она охотница была готовить эти салаты, названия которых есть в каждой кулинарной книге с газетными страницами, и ещё ни один рецепт одного и того же салата не совпадал полностью в количественных ингредиентах, — особенно, если книгу составляет новый автор, обязательно добавит что-то своё, — это похоже было на методику древних летописцев, но результат у Тани всегда получался душевный; или мы могли слушать музыку, но не душа в душу, как плохо знакомые мужчина и женщина, неумело старающиеся идти на сближение, а спорили по поводу вкусов друг друга, (дело в том, что ей нравились современный и классический рок, а меня он несильно восторгал), после чего обычно начинали целоваться; или, наконец, просто разговаривали на те же отвлечённые и немного странные темы из первых наших встреч.

Я часто рассказывал ей о своей семье, а вот она — гораздо реже; я знал только, что её родители всю жизнь прожили в Омске, а она приехала сюда учиться, но не в институт, а ещё в средней школе, когда её отцу дали долговременную командировку.

— И обратно ты уже не вернулась.

— Он тоже не очень хотел. У него тогда с матерью не ладилось. Но потом они помирились, и он вернулся туда. Три года назад.

— Ты часто ездишь к родителям?

— Нет, — она покачала головой, — раз в год.

У Тани были близкие подруги, вернее, она называла их близкими подругами, но у меня складывалось впечатление, что это не особенно-то и правда. Как-то я видел одну из них — она зашла к нам на чай, — но в сравнении с Таней это была настоящая серая мышь, и я говорю так, конечно, не потому, что речь шла о моей девушке.

Я даже спросил её как-то после:

— А у тебя есть друзья поинтереснее?

— В каком смысле?

— В прямом.

Внезапно она загадочно улыбнулась.

— Ну, предположим, есть, и что?

— Где они?

— Разъехались кто куда после окончания школы.

— А-а... — протянул я неуверенно, и вдруг почувствовал, как некое странное чутьё остановило во мне желание продолжать этот разговор.

В чём было дело? Я не знал...

Изредка мы ссорились, но это ещё больше убеждало меня, что у нас действительно всё хорошо. Никогда не забуду Новый год, который мы встречали вместе: искры шампанского и снега, взрывы пиротехники за окном, — а потом, часа в два ночи, мы отправились гулять в лес, совершенно одни, но из-за ясной луны темнота разбавлялась серебром и сиренью, и всё было видно, как днём. Мне казалось, что ещё один шаг, и мы с Таней достигнем, наконец, той сказочной феерии, искушавшей меня всю сознательную жизнь. А галлюцинативные катания на катере? Да что там, это была просто детская забава!..

В эту зиму нас ждали и винные искры снега, и лыжи... встаёшь на них в тёмный и влажный вечер, и пока летишь вниз по горе, по обе стороны от лыжни мечутся хрустящие бенгальские огни, и кажется, будто это лыжи выбивают из-под себя колючие радостные искры... А потом по возвращении домой я помогал ей высвобождать ноги из лыжных ботинок, и покуда Таня краснела и вскрикивала от радостной досады, что ботинок не снимался, я слышал, как в другой комнате из невыключенного телевизора доносятся те самые возгласы и слова, которые недавно произносили мы и остальные люди, когда катались на горке. Потом она отправлялась готовить ужин, а я с опаской заглядывал в комнату, но... слава богу видел на экране всего лишь новогодний мультфильм. За низким деревянным столиком сидели мужчина и женщина, нарисованные в профиль так, что у каждого виднелось только по одному глазу и по половинке губы; на нём был фрак и длинный цилиндр, (вернее, прямоугольник), с розовой бархатной лентой, на ней — длинный красный пиджак...

Женщина. (Сверкает глазом). Посмотри!.. Они снова вернулись к нам.

Мужчина. Ого, отлично! Давай подарим им нашу музыкальную шкатулку.

Женщина. (Задорно улыбается и сверкает глазом). Но мой папочка сегодня забрал её отсюда. Он сказал: хочет снова поглядеть на крошку Мерелин.

Мужчина. (Качает кругом головой). Ах, как жаль... как жаль... но ладно мы всё равно уже подарили им целый пакет конфет и конфетти.

Женщина. Верно. А знаешь, у меня есть подарок для тебя.

Мужчина. Что это? Что за подарок?

Женщина. Я купила бритвенный набор для станка и за это отдала свои новые туфли.

Мужчина. Ох, дорогая, а я купил тебе пряжки для этих туфель и отдал за них свой бритвенный станок.

...И обоюдный наигранный смех, которым О. Генри, должно быть, набил бы себе изрядную оскомину. Я и сам улыбнулся.

Но было в этом мультфильме и нечто странное.

К весне я работал очень много — мне поступило предложение открыть выставку картин — но несколько не уставал, (ну или самую малость). У нас всё было хорошо, и я понимал теперь, что моя мать отчасти оказалась права; конечно, для неё-то счастье значило совершенно другое — деньги, — и она пыталась, что называется, вогнать меня пинком в свои собственные представления, но разве теперь, когда рядом со мной был человек, который по-настоящему меня понимал, а моё творчество открывало перед собой всё новые и новые горизонты, — разве не мог я простить её, просто простить и всё? В Таниных чертах действительно было нечто от моей матери... и я хотел полюбить свою мать хотя бы таким образом, если на другое оказался неспособен.

2006-й март, 15-й день

Сегодня разом случилась масса неожиданных событий; может, поэтому-то я сейчас и выбит из колеи, смертельно устал и с превеликим трудом заставляю себя скрипеть ручкой. Но всё же надо записать; Таня ушла спать в другую комнату, так что когда я выключу свет и лягу в постель, мне придётся наблюдать сквозь темноту лишь сверкание оставленных ею заколок, которые, размножаясь в оконных зеркалах, медленно пляшут и рисуют на полу каждый изгиб её волос, постепенно обретающий форму и превращающийся в резные предплечья паркета...

Утром, часов в одиннадцать, мы только позавтракали и сидели в студии, когда во входную дверь позвонили.

— Ты кого-то ждёшь? — спросил я.

— Нет... — Таня чуть помедлила, — пойду, посмотрю, кто это.

Она вышла в коридор, и через полминуты я услышал её радостный возглас.

— ...Боже мой, как я рада тебя видеть...

— Я тоже...

— Когда приехал?..

— Некоторое время назад...

— Некоторое время?.. И даже ничего не скажал!..

— ...Неотложные... Думаю задержаться здесь на несколько недель...

Я слышал, как эти голосовые всплески приближаются к моим ушным раковинам, но не потому что Таня и некто шли в студию, а по той причине, что я уже поднялся с высокого деревянного стула и спешил заглянуть в коридор.

Субъект, представший передо мной через пару секунд, выглядел довольно эксцентрично: вся верхняя одежда из чёрной кожи, короткая куртка, штаны, привязанные к талии серебряной цепью, которая заменяла ремень, и свитер с таким высоким воротом, что тот походил на шарф. В довершение ко всему голову его увенчивала огромная шляпа, перетянутая в основании ещё одной серебряной цепочкой и редко позволявшая увидеть за собою верхнюю часть лица. Всё же я разглядел, что он недурён собою, только черты уж больно крупные, а уши слишком придавлены к голове и оттого кажутся нарисованными.

— Павел, познакомься. Это Олег, мой бывший одноклассник. Год назад я так плакала, когда он уезжал в Стокгольм, думала, никогда его больше не увижу. Слава богу, ты вернулся.

— Я ненадолго, но потом приеду ещё. Обещаю.

— Вы здесь по делам? — осведомился я.

— Да. Но работа у меня в Швеции.

— Может, ты хочешь есть?

— Знаешь, милая, не откажусь. Ещё утро, но я уже так устал, что съел бы слона. Ездил на одну фирму, так там такие дебаты, что просто... — он сделал взмах рукой, заменяя им недостающее междометие.

Я подумал о том, как же обманчив бывает вид: Олег совершенно не производил впечатления делового человека.

— Ну и вот решил тебя проведать. Теперь у меня время будет побольше.

— Так сколько ты уже здесь?

— Две недели.

— Вот негодяй! Даже ничего не сообщил, — с притворной обидой вынесла вердикт Таня и отправилась на кухню.

Олег пошёл следом, а я вернулся в студию, дабы подправить несколько штрихов на холсте. Если честно мне совершенно не хотелось составить им компанию — с детства я плохо воспринимаю чужаков, да ещё таких, которые вторгаются внезапно, и предпочитаю их сторониться, пока они сами не проявят ко мне интерес.

Ровно через три минуты, Таня пришла в студию.

— Ты ещё не закончил?

— Нет.

— Не хочешь прогуляться? — предложила она.

— А как же Олег? Он пойдёт с нами?

— Олег уже ушёл.

— Как... — я обернулся, изумлённо посмотрел на неё, а затем инстинктивно покосился на запахнутую дверь, — когда же он успел?

— Ну вот так, успел и всё.

Я встал и направился в коридор, пробормотав, что хочу выпить стакан воды, но, конечно, намеревался удостовериться в этом исчезновении, попросту необычайном по своей внезапности. Заглянул в нашу комнату, пока она не видела. Обошёл всю квартиру. Действительно его нигде не было, а на кухне все тарелки были чистые — Таня ничего не готовила.

— Он же собирался позавтракать, — сказал я, продолжая таращить глаза.

— Передумал. У него опять какие-то дела, — крикнула она мне.

Я зашёл в комнату. Таня переодевалась.

— Послушай, а как он узнал, что ты теперь живёшь здесь?

— Понятия не имею, — она пожала плечами, — может, позвонил кому-то из моих знакомых, и там ему сообщили.

— Неужели... вот ещё новости, — пробормотал я.

Она вышла в прихожую и накинула куртку.

— Раз ты не идёшь, я пойду одна, — и прежде чем я успел вымолвить хоть слово, её и след простыл.

Вот так самым неожиданным образом я остался в полном одиночестве. Но куда же он всё-таки делся? Нет, не мог он уйти, я бы услышал. Но тогда где он? Не запихнула же она своего эксцентричного друга на коридорные антресоли, — (а это единственное место, куда я ещё не заглядывал).

...на антресолях много пустых банок, до сих пор хранящих на себе отпечатки ладоней моей матери. Ряды и ряды пустых банок...

Таня вернулась около двух часов дня. Когда она вошла в студию, я увидел боковым зрением, что её щёки красны, как будто она поднималась на пятый этаж пешком.

— Где ты была?

— Просто гуляла. Потом пошла в кафе.

— Одна?

— Нет, с Олегом.

До этого я улавливал её ответы затылком, осторожно выводя на холсте жёлтые запонки, но как только услышал его имя, обернулся:

— Мне казалось, он куда-то ушёл, потому что торопился по делам.

— Вот я и встретила его на улице. Опять... Случайно.

Я снова принялся писать и в продолжении разговора уже не отрывал взгляда от холста.

— Как провели время?

— Замечательно. Он рассказывал мне о Стокгольме. Потом начали вспоминать былые времена.

— И что же вы вспоминали?

— В каком смысле? — она, разумеется, почувствовала подвох в моём вопросе, потому что её голос изменился, — ты хочешь спросить, встречались ли мы раньше?

— Да. Тебя это удивляет? Мне кажется, я имею право знать.

— Хорошо, я скажу тебе. Нет, между нами никогда ничего не было.

Не знаю почему, но в этот момент я вздрогнул. Так вздрагивает человек, проходящий по улицы мимо продуктового ларька и видящий вдруг, как из-за сверкающего угла резко материализуется рыжеусый субъект, похожий на кота.

Я представлял себе её лицо в этот момент, но совершенно неотчётливо, — оно похоже было на пятно бесформенной жидкости, случайно пролитой на пол.

Она спросила, доволен ли я теперь, когда узнал.

— Честно говоря, да.

— Отлично. Теперь... иди ко мне.

— Что?

— Ты меня слышал, — сказала она тихо.

Вечером я заглянул к Вадиму, и как только увидел его, сразу понял: произошли какие-то неприятности. Дарья была на кухне и, посмотрев в мою сторону, даже не поздоровалась, а только кивнула.

— Что-то случилось? — шепнул я ему на ухо.

— Да, — ответил он так же тихо, провёл меня в свободную комнату и усадил на стул, — его скулы и брови нервно пульсировали, и это лишь усилило моё впечатление беды и чёрной усталости, — жди меня здесь.

Он исчез, и через пару мгновений я услышал на кухне разговор на повышенных тонах, угрожающий звон посуды и, в самом конце, быстрый звук удаляющихся шагов.

Вадим вошёл в комнату. Я видел, как он всеми силами старается сохранять спокойствие, но руки его дрожали, и когда он метнул взгляд на стеклянный стакан, стоявший на пианино, я понял, что в голове у него мелькнула мысль схватить его и разбить о стенку.

— Да что же это такое, наконец? — не выдержал я.

— А вот что: похоже, Дарья завела себе любовника.

Я удивлённо посмотрел на него.

— С чего ты взял? Пожалуйста, успокойся и расскажи всё по порядку.

Он сел в кресло в дальнем углу комнаты.

— Ладно. Начнём с того, что всё последнее время, она пребывает в каком-то приподнятом настроении. Разумеется, сначала меня это воодушевляло, но я всё больше изучал её поведение и постепенно стал убеждаться, что это настроение вообще никак со мною не связано. Есть ещё кое-что... — он немного помедлил, — э-э... между нами ничего не было уже две недели. Она теперь спит в другой комнате, и её часто не бывает дома. Позавчера она ушла рано утром и вернулась только поздно вечером.

— Вы с ней ссорились до этого дня?

— Нет.

— Понятно. А что случилось сегодня?

Вадим помедлил.

— Сегодня... мне кажется, я его видел.

— Как это было?

— Она снова ушла на целый день и вернулась недавно. Когда она подходила к дому, я случайно увидел её в окно. С ней был какой-то человек. Они попрощались, и он поцеловал её в щёку. Видел бы ты её счастливое лицо в этот момент!

— И ты закатил ей скандал?

Он ничего мне не ответил. Его взгляд был устремлён на стенной ковёр.

— Послушай, что-то здесь не так. Если это был её любовник, разве стал бы он провожать её до дома, где его может увидеть другой человек, с которым она живёт? Так в результате и вышло.

— Может, она хочет уйти от меня.

— Тогда почему она тебе до сих пор ничего не сообщила? Нет-нет, тебе нужно было вести себя мягче, — я покачал головой, — она не сказала тебе, кто он?

— Говорит: какой-то её приятель. Чепуха! Она аж подпрыгнула от испуга, когда я спросил о нём, а потом приложила громадные усилия, дабы взять себя в руки.

— Ладно, теперь слушай. Если хочешь что-то выяснить, сделай, как я скажу. Завтра помирись с ней, и всё спокойно обсуди. Попытайся сделать так, чтобы она сама тебе всё рассказала. Если твоя попытка успехом не увенчается, останется только один выход: найти человека, которого ты сегодня видел и поговорить с ним. Для твоего же собственного успокоения. Я верно рассуждаю?

— Да, но как его найти?

— Очень просто. Ты выследишь Дарью, когда она снова пойдёт к нему, и именно таким путём ты, быть может, узнаешь, где он живёт. Но не вздумай идти на конфликт и выяснять с ним отношения.

— А что же мне делать? — недовольно поинтересовался он.

— Связаться со мной. Мы придумаем наилучший план действий, если его необходимость ещё не отпадёт.

Сказать по правде, я более склонялся к тому, что дело не стоит выеденного яйца, и Вадим просто заболел ревностью. Я с трудом мог представить себе, будто за всей этой историей кроется нечто серьёзное, — скорее всего, в его рассказе было много преувеличений; лишь его вид всё как будто старался внушить мне обратное, и когда Вадим снова заговорил, я услышал интонацию, какая была в его голосе ещё в ночь нашего возвращения с прогулки по реке, больше полугода назад:

— Я просто боюсь потерять её, вот и всё. Столько боролся за то, чтобы она меня полюбила, и вдруг происходит неожиданная вещь, которая рушит все мои надежды.

— Разумеется, я понимаю тебя. Ты мне всё рассказал? Ничего не упустил? Она не могла о чём-нибудь не проговориться, пока вы спорили. Подумай и попытайся вспомнить.

— Сказала, что этот человек — её друг, которого она знает ещё со школы, и между ними ничего нет. А если я ей не верю, она уйдёт от меня. Но не к нему, а просто уйдёт.

Домой я вернулся около десяти вечера. Татьяна лежала на кушетке и смотрела телевизор; я не сказал ей ни слова о том, что случилось у Вадима, а только лёг рядом, обнял и принялся осторожно ласкать холмики груди, дотрагиваясь до волос, которые клубами дыма вились вокруг темени. Рассматривая зигзаг её голых стоп, я чувствовал, как меня потихоньку забирает возбуждение...

Утро 2006-й март, 16-й день

Я даже научился определять, когда она дома, а когда — квартира пуста, — (за исключением моего собственного присутствия, но оно не считается), — вот насколько хорошо я чувствую Таню, и когда сегодня проснулся и, открыв глаза, посмотрел на потолок, уже знал, что её нигде нет. Спустя некоторое время я звякнул ей на сотовый, но мне так никто и не ответил... <···>

День

Ещё с тех времён, когда мне не исполнилось и четырёх, моя мать боялась, страшно боялась, что я могу не любить её. Изначально не любить. От рождения. И всё время она пичкала меня байками про отца и доводила до слёз. Но её оправдывала «благородная цель»: воспитать «другую личность» и «любящего отпрыска». Удивительно ли, что она получила обратный эффект?

Ну а ещё... один раз она прибегла к фальши, необдуманной и от того ещё более нелепой, а поскольку мне было тогда всего шесть лет, я навсегда это запомнил. Как всегда всё началось с одного моего забавного закидона, который пару недель преследовал меня так же сильно, как преследует сумасшедшего навязчивая идея. Заключение он в том, что я боялся умереть. От любой незнакомой вещи, которую брал в рот, от еды, от боли в животе, от пристального взгляда, от сидения на письменном столе по-турецки и прочее.

В один из тех самых дней мать принесла с рынка пачку ирисок; я всегда обожал ириски, но из-за своей причуды и к ним отнёсся с недоверием, и когда мама протянула мне фольговый столбик сантиметров в пятнадцать длиной, который состоял внутри из податливых зубу кирпичиков, завернутых в золотинку с улыбающимися кошачьими рожицами, я взял его, покрутил и, нахмутив лоб, осведомился:

— А я не умру, если съем?

— Нет-нет, не умрёшь, успокойся, — ответила мать. В её голосе проскользнуло два противоречивых оттенка: машинальность — потому как я уже сотни раз задавал этот вопрос относительно

других вещей, — и секундное удивление — ибо она всё же не предполагала, что и по поводу ирисок, любимых мною так пылко и всецело, я буду испытывать страх.

Этот разговор происходил в её комнате; я разорвал фольгу на самом краю батончика и вытащил кирпичик; освободил от золотинки и, сунув её в нагрудной карман рубахи, — я всегда любил сохранять всякий бесформенный хлам, ибо считал его сокровищем, — стал жевать ириску, радуясь при этом двум вещам: во-первых, она была такая вкусная и совершенно для меня безопасная и, во-вторых, если я открою рот, мама забудет очередной раз пошутить, что я беззубый, — две недели назад я ударился челюстью о стол, и у меня выпал молочный клык, а тянучка теперь скроет обрзовавшуюся прорезь.

— Ну как, вкусно? — спросила она, вороша рукой мои волосы на голове.

— Да, оч-ч-чень.

— А теперь угости свою маму.

Я вытащил ещё один кирпичик и дал матери, но тут же спохватился

— Постой-ка, не ешь. Ты уверена, что не умрёшь от неё?

Когда я это сказал, что-то промелькнуло в её глазах. Она быстро сунула в рот ириску, и вдруг, закинув голову назад, упала на кровать, боком.

Я закричал:

— Мама, мама!.. — бросился на неё и, в испуге теребя плечо, захныкал.

Обман длился недолго — секунды через две мать посмотрела на меня и, засмеявшись, села на кровать.

— Напугался?

— Боже мой, с тобой всё в порядке? — спросил я с облегчением.

— Ну да, я просто пошутила.

— Дай, обниму тебя, — я повис у неё на шее...

Но всё это не так жестоко, как может показаться на первый взгляд.

Если бы подобный эпизод поместили в какой-нибудь дешёвый кинофильм, обязательно после объятий, когда ребёнок уже успокоился, показали бы его лицо — глаза прищурены, на лбу глубокие складки. Он сделал какую-то отметку в своём мозгу. Я вот что скажу: моё отгораживание произошло не посредством отметок и засечек на корке головного мозга, кои являются рывками, — нет, оно происходило очень плавно, воспоминаниями, превращавшимися в осадок, который постепенно заполнял моё сердце. Поэтому не было никакого «обиженного лица». Я просто жил дальше, но моё поведение менялось, по инерции, состоявшей из таких же рефлексов, которые заставили мою мать пойти на обман.

Вычеркнул бы я этот эпизод из своего детства, если бы у меня появилась такая возможность? Нет. Я не жалею, что я такой, какой есть.

Вечер

Таня объявилась только к пяти часам; более всего я опасался, что она придёт с ним, — и не ошибся. Дверь отворилась, и в прихожую ввалились две фигуры, охваченные не экстазом, нет, — они были просто на седьмом небе! Слово раз-

горячённые индейские ожерелья сверкали ряды эмалированных зубов, и мне казалось, что две близко наклонённые друг к другу головы обменивались теми самыми кулуарными словами и подтекстами, которые во время повседневной речи настойчиво пристают к оборотной стороне любого намёка, разговора или, наконец, слова талантливого оратора.

— Боже мой, как это было классно! — Таня азартно взвизгнула.

— Да, и правда, — подтвердил Олег, — ага, вот и Павел. Как у вас дела?

— Где вы были? — поинтересовался я безо всяких предисловий.

— На рок-концерте, — с готовностью ответила Таня.

— На рок-концерте?

— Да, в клубе. Мы раньше часто шастали по таким местам, верно Таня?

— Верно.

— Когда-нибудь она вам расскажет, Павел. Если вы захотите, конечно.

Я развернулся и скрылся в студии; уже оттуда, как и вчера я мог слышать их приглушённые голоса, только теперь, поскольку я был взволнован, моё ухо улавливало абсолютно всё, дословно.

— Я, наверное, пойду.

— Шутишь! Раз уж заглянул, оставайся, пообещаем.

— Нет, я просто хотел проводить тебя. А почему до самого порога?.. Ну... будем считать, что мне просто хотелось ещё раз взглянуть на эту квартиру, — я представил себе, как при этой странной, непонятной фразе, Олег невинно пожал плечами, — теперь у меня дела.

— Опять?

— Конечно. Не переживай, скоро увидимся.

Таня вошла в студию. Я стоял у окна, спиной к ней и внимательно бродил по вечернему лабиринту её отражения на стекле.

— Куда ты исчезла?

— Прости, он так внезапно позвонил мне! Пришлось сорваться с места. Хорошо ещё, что я сегодня рано встала.

Я сказал, что весь день искал её: позвонил на работу, даже несмотря на то, что она теперь в отпуску, — но мне для начала необходимо было обследовать те места, куда я звонил и раньше, а потом уже связываться с людьми менее мне знакомыми, — например, с той её подругой, которую я видел всего один раз в жизни. Так или иначе, ни одна моя попытка успехом не увенчалась.

— Я же оставила тебе записку! — возразила Таня.

— Ту самую, что лежала на комодe под книжкой Борхеса? Я нашёл её всего полчаса назад, — я говорил это очень хладнокровно и совершенно не собиравшись повышать голос — мне казалось, что подобный тон оказался бы гораздо действеннее, чем если бы я просто затеял ссору, и не ошибся.

Таня подошла ко мне и обняла со спины.

— Прости. Мне нужно было прикрепить эту записку прямо к двери. В следующий раз я так и сделаю.

Я развернулся.

— В следующий раз?.. — некоторое время я внимательно разглядывал её, — знаешь, я... я

пожалуй пойду выпью чего-нибудь. И так уже переволновался.

— Паша, не расстраивайся!

— Ничего страшного, — эти слова я кинул на ходу, как бы невзначай, и оттого они, возможно, выглядели менее фальшиво.

Не знаю.

С Вадимом я разговаривал по телефону, поздно вечером. С Дарьей он помирился, но так ничего и не узнал.

— Ладно, не беда. Я всё равно докопаюсь.

— Будешь следить за ней? — спросил я.

— Ну да. Ты ведь сам мне это посоветовал.

2006-й март, 18-й день

Сегодня утром Таня сказала, что Олег придёт к нам на обед. В два часа.

— Давно вы с ним договорились?

— Позавчера. А что такое?

Я пожал плечами.

— Надо было раньше меня предупредить.

— Зачем? Ты что, против того, чтобы он пришёл?

— Всё нет.

Она остановилась посреди комнаты и смотрела на меня в ожидании, что же я скажу дальше, но я молчал. Всё дело было в том, что я взял билеты в кино как раз на это время, хотел сделать ей сюрприз, и вдруг всё разом сорвалось. <...>

Олег пришёл в точно назначенный срок; я опять был в студии, когда Таня открыла ему дверь, но тут же отправился к ним, возможно даже чуть быстрее, чем следовало. Увидев Олега, я опешил. Боже мой, он ли это?! Нет, не может быть, чтобы человек так поменялся за каких-то пару дней! Во-первых, у него выросла борода, ещё не окладистая, но в перспективе могущая такую стать; во-вторых, в его одежде не было теперь ни кусочка кожи: длинный узкий плащ, похожий на кимоно, штаны из потёртой джинсовой ткани. Всё же я узнал Олега в лицо — когда он снял квадратные тёмные очки, — а если бы он это не сделал, мне, вероятно, пришлось бы идентифицировать его по железным наручным часам, толстым, с чёрным циферблатом, которые, высовываясь из-под синего рукава рубахи, глазели на мочку моего правого уха; впрочем, и этих часов тоже никогда доселе не было — у меня просто создавалось впечатление, что они гораздо больше подошли бы к его прежнему наряду, живущему теперь в недавнем прошлом.

— О-о, Павел, здравствуйте, — произнёс он очень вежливо и протянул мне руку, — вы, наверное, удивлены видеть меня таким?

— Д-да... признаться, да, удивлён, — произнёс я, продолжая таращить на него глаза.

— Не удивляйтесь. Взгляните на Таню. Разве она удивлена? — он посмотрел на неё, — Таня?

— Я? Нисколько.

— Вот видите, — сказал он мне, — а всё потому, что она давно знает мою привычку постоянно менять свой имидж.

— Э-э... — протянул я, — ну что же, логично. Раздевайтесь и присаживайтесь за стол.

— Спасибо, — он снял плащ.

— Как вам удалось за такой короткий срок отрастить бороду?

— У меня быстро растут волосы на лице.

В моём воображении вдруг возникло лицо Олега, увеличенное до самой крайней степени — как будто он подошёл ко мне вплотную, нос к носу, только вместо этого самого носа у него врос в лицо пень, глаза превратились в дупла на коричневых (серых) деревьях-бровях, а рот — в птичью стаю, летящую вдоль поля брошенной горстью кедровых орехов... и трава, трава проросла земляными червями сквозь кожные поры почвы так быстро, словно кто-то несколько лет делал стационарную съёмку на камеру, а потом решил прокрутить всё снятое с такой скоростью, чтобы секунды превратились в дни...

За столом мы просидели часа три, если не больше. Олег всё рассказывал о Швеции, обращаясь в основном к Тане, а на меня поглядывал лишь изредка. Поначалу я умирал со скуки, а затем уставился в телевизор и переводил на них взгляд лишь для того, чтобы посмотреть, на каком расстоянии друг от друга они сидят, и не сократилось ли оно; когда удостоверился, в очередной раз, что нет, не сократилось, струна облегчения, протянутая от одной стенки моего живота к другой и на которой как белке на леске висели все мои внутренние органы, делала судорожный всполох. И только когда я отворачивался к экрану, его диссонанс гасила голубоватая нить Ариадны, галлюцинирующая и заплетавшаяся в тысячи виртуальных фигур-клубков.

Всё же я чувствовал, что так и не успокоюсь, если не узнаю наверняка, и ждал, когда же у меня появится возможность это сделать...

— Я вчера виделся с Субботиным.

— С Максом? Быть такого не может!

Голос Олега принял шутливый тон.

— Он несколько не изменился. Я бы даже сказал, поглупел ещё больше.

— Да ты что! — Таня расхохоталась, обнажив прелестные белые зубы, и хлопнула в ладоши.

— Точно тебе говорю. Знаешь, что он спросил меня о Швеции?

— Нет.

— Никак, говорит, не могу понять, почему вы все там такие состоятельные, если платите государству подоходные налоги под девятые проценты. А я решил пошутить и говорю: «да нет, мы там с голоду умираем». Макс на меня смотрит, очень долго так и внимательно, и вдруг говорит: «Врёшь».

Обоюдный взрыв хохота.

— Слушай, а есть ещё у нас вино? — осведомился Олег.

Таня перевела взгляд на две пустые бутылки.

— На столе не осталось... Я пойду принесу из кухни.

Я понял, что случай, наконец-то, представился.

— Нет-нет, милая, сидите, не прерывайтесь. Я пойду, схожу за вас. Не возражаешь?

— Иди, — сказала она, и после этого моё лицо на некоторое время сохранило её острый взгляд, который был бы почти испуганным, если не принимать в расчёт его длительность — одна секунда.

Пройдя на кухню, я достал бутылку из шкафа и, прислушиваясь к смеху в соседней комнате, старался собрать его глазами на поверхности пенковой пробки и, заставив центрифугировать, превратить в результате в удобную мишень, куда можно было бы вонзить штопор. Спираль уже начала крошить пробку, и тут я выпрямился и, стараясь делать как можно меньше шума, прокрался по коридору и заглянул в комнату. Олег уже пересел на другое место; он всё так же весело болтал с ней, но был гораздо ближе; его правая рука обнимала спинку стула, и со стороны могло показаться, что на самом деле он обнимает её за талию. Я перевёл взгляд на её лицо и сделал вывод, что она, скорее всего, несколько не возражала бы против такого поворота событий.

— ...я ведь менеджер, и мне повезло, что меня посылали в командировки чуть ли не во все концы страны. Встречи, встречи... с одной стороны это очень хорошо, просто здорово, но...

— Что? — удивлённый вопрос, едва ли не шёпот.

— Я из-за этого чувствую себя так... как будто мне уже лет тридцать пять, кто-то съел добрый десяток с лишком.

— Ну, не может этого быть.

— Точно тебе говорю. А ведь нам всем ещё и за двадцать пять не перевалило... Я многое повидал, понимаешь? Ты же знаешь, о чём я. Здесь дело не только в путешествиях...

— Знаю...

Я вернулся на кухню, чтобы открыть бутылку, но с трудом сумел это сделать — руки меня не слушались. Я знал, что ко мне подступает гнетущая апатия, возможно даже депрессия, и если я в таком состоянии выпью хоть одну рюмку, то тут же опьянею.

А что меня собственно удерживает?

Я принёс бутылку к столу, и мы довольно быстро распили её. Я продолжал слушать их слова, которые, как мне казалось, подёрнулись винной слюною, и, всё так же продолжая смотреть на экран, очень медленно сползал по спинке кушетки в лежачее положение.

Слова, слова... слова... Мог ли я разобрать, о чём они говорили? Мне казалось, что да...

...нашу музыкальную шкатулку... Но мой папочка сегодня забрал её отсюда... Ах, как жаль... как жаль... но ладно мы всё равно уже подарили им целый пакет конфет и конфетти из кафе «Дежавю»... А знаешь, у меня есть подарок для тебя... Что это?... Что за подарок?... Я купила бритвенный набор для станка и за это отдала свои новые туфли... Ох, дорогая, а я купил тебе пряжки для этих туфель и отдал за них свой бритвенный станок...

Я открыл глаза и чуть приподнял голову. Где я? Вокруг была кромешная темнота, но что-то подсказывало мне, что сейчас ещё не ночь. Возможно, где-то полодиннадцатого. Я поворочал плечами, и мою спину посетило осознание, что я всё ещё лежу на кушетке. Телевизор был выключен, шторы на окнах задёрнуты. Где Таня и Олег? Их и след простыл. Я был трезв, и в голове не шумело, потому что выпил я не очень много, однако я ещё не способен был нормально соображать: в горле у меня пересохло, а глаза превратились в два жарких

пустынных хрусталика, — и только когда я прошёл на кухню и опорожнил стакан воды, почувствовал, что прихожу в норму.

Я должен их найти. Но где мне их искать?.. Помнится, сквозь сон я слышал о каком-то кафе... кафе «Дежавю»? Кажется, так, я почти уверен. Но было ли сказано о нём в связи с тем, что они собирались туда отправиться? Понятия не имею, но так или иначе это единственная зацепка, которая осталась у меня в руках. Звонить не буду, а то ещё спугну дичь.

Кафе «Дежавю»... это Кутузовская улица... Я накинул куртку и вышел. Мне предстояло ехать на маршрутке две остановки, а затем пройти ещё квартала четыре...

...Я свернул за угловой дом и мигом скользнул обратно: они были там, стояли на тротуаре, прямо возле дверей кафе, о чём-то болтали, но скорее всего уже прощались. Я осторожно высунул голову и принялся наблюдать за ними. Случайный прохожий чиркнул своей талией об мою, удивлённо посмотрел на меня, но свернул на Кутузовскую, так и не произнес ни слова. Таня и Олег поцеловались в щёки. Больше всего я опасался, что она отправится в мою сторону, — так и вышло; мне пришлось спрятаться в близлежащий подъезд и ждать, пока она пройдёт мимо. Потом я быстро выбежал на Кутузовскую и стал лихорадочно искать глазами его фигуру. Есть, вот она! Олег перешёл на другую сторону улицы и издали напоминал теперь чёрного слона в дорожных шахматах. Я бежал до тех пор, пока расстояние между нами не сократилось до метров десяти — немногочисленные лица прохожих, мелькая передо мной затёртыми от времени каменными масками, сваливались вниз, раскалывались на тысячи черепков и превращались в дорожную пыль — а затем резко замедлил шаг и следовал за Олегом очень осторожно, часто останавливаясь, а иногда даже прижимаясь к стенам домов.

◀...▶

Олег ускорил шаг и минут через десять мы, свернув на проспект, оказались в центре города. Ага, так вот где он остановился! «Корабельная» гостиница! Теперь у него не было квартиры в городе, так как в Швецию он, вероятно, переехал вместе с родственниками, (если таковые у него вообще хоть когда-нибудь были). Я почувствовал секундный соблазн зайти в неприветливое двухэтажное здание, подняться в Олегов номер и поговорить с ним прямо сейчас, но тут же призвал себя к здравому смыслу — я устал, — (он, вероятно, тоже), — и совершенно не был готов к серьёзному разговору, мне следовало всё как следует обмозговать, выработать правильную тактику поведения, а потом уже действовать. Я помедлил с минуту, наблюдая за окнами, затем развернулся и пошёл в обратном направлении.

Ночью мне приснился странный сон: я снова оказался на рельсах, но ни Олега, ни железнодорожника нигде не было, и ещё кое-что изменилось: светофоры... вернее, их количество... теперь их оказалось больше раз в десять. Они стояли очень близко друг к другу, иногда даже на рельсовых колеях, и я ходил туда-сюда, заглядывая в разно-

цветные глаза и табло-рот то одному, то другому. Одни иллюминировали и высвечивали на табло непонятные мозаичные фигуры, иные проявляли большую уверенность, не метались в мимической лихорадке и давали мне единственный сигнал, значение которого я, между тем, не в силах был разгадать.

А маленьких двухсигнальных светофоров-карликов и вовсе было бессчётное количество; киша и соединяясь в наземные фиалковые гирлянды, они простирались до самого горизонта и там уже вплетались в блистающе-зыбкий ковёр ночного города.

2006-й март, 19-й день

Вадим позвонил мне часов в пять вечера. Он был взволнован, и голос его не предвещал ничего хорошего; попросил встретиться в кафе рядом со своим домом через полчаса.

— Скажи хотя бы вкратце, что ты узнал, — не выдержал я.

— Хорошо, скажу. Этот человек — Григорий Аверченко. Её муж.

— Что?!

— Да, да, ты не ослышался. Оказывается, он никогда не погибал, а жив-здоров, и вернулся, чтобы забрать её у меня.

Вот что рассказал мне Вадим, когда я пришёл на встречу.

Утром, в девять часов утра он проснулся от того, что в прихожей кто-то поворачивал ключ в замочной скважине; он протёр глаза, взглянул на чуть приоткрытую дверь своей комнаты и увидел, как на секунду узкую, мерцающую дневным светом щель заслонило платье Дарьи. Через пару секунд дверь открылась и тут же захлопнулась.

На счастье ночью Вадим заснул одетым, в кресле, и теперь, не теряя времени, мог следовать за своей девушкой.

Когда он вышел из подъезда, Дарья была уже в отдалении, на другой стороне улицы; проголо-совала и взяла маршрутное такси. Вадим быстро остановил машину, проезжавшую мимо, и попросил водителя ехать следом.

Дарья вышла в самом центре города, в начале Суворовской улицы, затем прошла ещё несколько кварталов и свернула к дверям кофейни.

За столиком у окна её ждал вчерашний мужчина. Сейчас, наблюдая с улицы, Вадим мог тщательнее рассмотреть его лицо...

— Это был он, я абсолютно в этом уверен.

— Откуда ты знаешь? Дарья когда-нибудь показывала тебе его фотографию?

— Нет, я сам как-то увидел его изображение. У Дарьи есть кулон. Однажды она оставила его на ночном столике, среди своей косметики. Я открыл его и увидел фотографию, а под нею гравировку: Г. А.

— Да, — согласился я, — значит, и правда нет никаких сомнений. Но Боже мой, это же просто... просто... у меня нет слов... Что было потом?

— В кофейне они провели полчаса. Затем вышли на улицу. Я предполагал, что она отправится к нему, но ошибся — они поцеловались и попрощались. Я последовал за ним. Мы долго

плутали — (он почему-то никак не хотел возвращаться домой, а решил прогуляться по городу, и, в результате, где мы только не побывали, даже на местной железной дороге!) — но всё же когда-то это должно было закончиться. Он снимает мебелированную комнату на южной окраине города. Я сумел выяснить адрес.

— Ты говорил с Дарьей, когда вернулся домой?

— Конечно. Я сказал ей, что следил за ней, и мне всё известно...

«Что тебе известно?» — спросила она. В её голосе слышался испуг.

«Этот человек твой муж. Григорий. Я узнал его».

Она побледнела и долгое время не хотела ничего говорить, но потом, видно, поняла, что теперь отрицать что-либо не имеет смысла. Она сказала:

«Я узнала, что он жив две с половиной недели назад, — при этих словах лицо её озарилось счастливым проблеском, но затем тотчас же сделалось совершенно серьёзным — Дарья посмотрела на меня, и лишь когда я заметил сверкающую зелёную заколку, ту самую, которая пряталась в её волосах и в день нашей первой встречи, я понял, куда перебежало счастье с её лица, — я прошу тебя только об одном: мне нужно пожить здесь ещё месяц. Потом мы с ним уедем».

Бессмысленно было спрашивать её, уверена ли она в своём выборе, — я видел, что совершенно ничего для неё не значу; всё, что между нами было, моя любовь к ней, совместная жизнь — всё это было забыто и разом перечёркнуто. Да, она любила своего мужа, и я должен был её отпустить, но я не видел в ней никаких колебаний, а следовательно она всегда со мною лицемерила и просто боялась остаться одна.

Мне хотелось знать, зачем теперь, когда он объявился, ему понадобилась конспирация. Как ему удалось спастись и почему он дал о себе знать только сейчас? Я спросил её.

«Вадим, я прошу тебя, если ты меня любишь, отпусти и не проси, чтобы я сообщила тебе больше».

«Мне кажется, я имею право знать», — возразил я.

«Это не моя тайна, пойми. Когда всё будет закончено, возможно, я расскажу тебе».

Возможно? Снова я, как и несколько дней назад, почувствовал рождающуюся во мне ярость. Меня ни во что не ставили, ни во что не хотели посвящать, да ещё при этом просили об одолжении.

«Ты, наверное, хочешь сказать: если он тебе позволит, тогда ты расскажешь», — произнёс я, стараясь быть при этом как можно более резким и язвительным.

Дарья посмотрела на меня. Я видел, что мои слова её задели; всё же она попыталась избежать назревавшей ссоры и сказала очень ровно, чуть ли не мягко, (таким тоном она обычно разговаривала со своей престарелой матерью, по телефону, провод которого растягивался на тысячу с лишним километров):

«Вадим, давай не будем начинать то же самое».

«Как ты сказала? — я сделал вид, что ошарашен её спокойствием, — не хочешь продолжать? Нет, дорогая, мы ещё как будем продолжать. Ещё как будем...»

После этого я по-настоящему взвился, и меня было уже не остановить. Я кричал, чтобы она убиралась ко всем чертям — я не позволю ей больше играть со мной, не позволю остаться в моём доме ни на минуту, пусть не рассчитывает, — кажется, так я говорил; она дала мне пощёчину — думала, вероятно, что после этого я утихомирюсь, но это только ещё больше меня раззадорило — я схватил её за плечи, стал трясти и при этом всё продолжал кричать, теперь уже совершеннейшую бессмыслицу вперемежку с чудовищными проклятиями. Вдруг что-то сверкнуло в разгорячённых извилинах моего мозга. Я прижал Дарью к себе и начал срывать с неё блузку. Понимая, что я собираюсь с ней сделать, она начала вырываться и звать на помощь; заколка слетела с её головы и упала на пол; волосы растрепались, и на меня хлынуло жасмином... Вероятно, я действительно сделал бы это, но вдруг что-то произошло — я даже сам не могу точно сказать, что это такое было; я почувствовал внутри себя некие странные приближающиеся шаги, разом снявшие с меня всю горячность и заставившие меня ослабить хватку... Это было похоже... — Вадим остановился, прищурился и в раздумье обвёл взглядом помещение кафе, — ты не смотрел в детстве один странный мультфильм про человека, который шёл на работу: по улице, потом сел в автобус, и всё это время внутри его живота просвечивал ещё один человек, абсолютный его двойник, только размером в десять раз меньше, почти что гомункулус, несчастный гомункулус при всём при том — видишь ли, он повторял всё то же самое, что делал его хозяин — так же шёл, только как будто на одном месте, ибо так и не выходил за пределы живота, — но как только большой человек где-нибудь останавливался — на автобусной остановке или же случайно встретив на тротуаре хорошего знакомого — маленький всё время запаздывал и ударялся о мягкие стенки туловища?.. Нет, не помнишь такого мультфильма? Ладно. Но это настолько угнетало его, что он начинал рыдать и приходил в себя лишь тогда, когда большой продолжал своё размеренное шествие по ровной дороге. И никогда не мог маленький взять дело под свой контроль. Но на самом деле это неправда — ведь в тот момент, когда я, пребывая в полном беспамятстве, навалился на Дарью, этот маленький человек, другой Вадим, живущий внутри меня, победил и заставил отступить, несмотря на то, что переживал не меньше моего. Я уверен, что услышал именно его шаги, понимаешь?.. Павел, знаешь, я думаю, в каждом из нас живёт вот такой вот маленький двойник нас самих. Только значит он далеко не одно и то же. И всегда старается взять дело под свой контроль, но редко удаётся. Я думаю, если бы этот человек вырос и заполнил всё оставшееся пространство внутри... нам ровно ничего не нужно было бы менять в себе после этого.

Минуты две мы сидели молча. Я внимательно наблюдал за ним и вдруг понял, что сейчас, в этот самый момент совершенно не могу описать

Вадима словами, (а изобразить рукой — и подавно). Не подбирался ни один эпитет.

Я спросил:

— Где сейчас Дарья? У тебя дома?

— Да... когда я отпустил её, она зарыдала — просто от испуга, а не от тех страданий, которые были во мне, — и убежала в свою комнату.

— Что ты теперь думаешь делать?

— Мне нужно только одно: наведаться к Григорию и заставить его ответить на интересующие меня вопросы.

— Предположим, ты узнаешь, а что потом? Отпустишь её с миром?

— Да. Если ей нужно пожить у меня ещё какое-то время — пусть. Я не буду препятствовать.

Я прекрасно видел, что сейчас он кривит душой и надеется отыскать способ оставить Дарью около себя. Неразделённая любовь всегда обращается эгоизмом, если только его не успеет перебороть великая гордость. На языке Вадима это, наверное, выглядело бы следующим образом: большой человек целиком взял под свой контроль маленького. Не очень он следовал собственным выводам, что всё должно быть наоборот.

— Итак, ты поможешь мне?

— Конечно.

Я сказал «конечно», но думаю, должен был сказать просто «да», ибо в том случае, если бы он признался в своих истинных намерениях, я стал бы его отговаривать.

В гостиничном холле я спросил, где остановился Олег Строганов.

— Номер 207, — ответил мне «resertion», посмотрев в журнал.

Я поднялся на второй этаж и позвонил в дверь; открыли мне не сразу, — только спустя минуту Олег появился на пороге, в серой майке и тренировочных штанах, зевающий, но с весёлыми искрами в глазах. Вид его был настолько домашним, что это меня, признаться, обезоружило. Я готовился к бою, а он так ловко остудил весь мой пыл.

— Привет, проходите.

Я молча прошёл в комнаты.

— Неплохо я здесь устроился, а? Хотел даже люстру в ванной сменить, но мне сказали — не положено. Я же не комнату снимаю у старушки. Да я и всё забываю, что приехал-то ненадолго... А ещё говорили, что...

— Вы действительно несколько не удивлены моему приходу или только делаете вид? — оборвал я его.

Олег опустил голову и рассмеялся. Его борода упёрлась в грудь.

— Нет, на самом деле не удивлён. Я даже больше скажу: я ждал вас со дня на день.

— Неужели? Тогда вы, возможно, знаете, о чём я хочу поговорить с вами?

— Да, знаю. Прошу вас, оставьте свой недружелюбный тон. Садитесь вон в то кресло, я принесу вам чаю.

Он открыл балконную дверь и на минуту исчез за ажурной занавеской, а когда появился снова, в руках у него был поднос с узкими стаканами, которые, подобно мензурам, извергали из себя апельсиновый дым.

— Итак, вы пришли поговорить о Татьяне.

— Совершенно верно, — я чуть откинулся назад и выпрямил ноги, — происходит нечто, и я хочу знать, что именно.

— Я...

— Позвольте вас спросить, зачем вы вообще сюда приехали?

— По делам. Кажется, я говорил при первой нашей встрече, — просто ответил он.

— По каким делам? Вы приходите к нам чуть ли не каждый день.

— Слушайте, давайте говорить напрямик. Неужели вы действительно думаете, что она вам изменяет со мной?

Короткая пауза.

— Нет, — произнёс я очень тихо, — если бы я так думал, знаете, что бы я сделал?.. — внезапно голос мой задрожал, а кулаки сами собою сжались в два гранёных камня. Я почувствовал, что бледнею.

— Знаю. Вы ведь её любите, и это взаимно. Как вы можете сомневаться? Но ведь таким простым вопросом мне вас не переубедить. Вы хотите знать, было ли что-нибудь между нами раньше, но если я отвечу «нет», всё равно до конца мне не поверите. Пожалуй, дойдёт до того, что вам легче будет услышать положительный ответ. Но разве дело в ней или во мне?.. Вы хотите, чтобы её у вас украли.

— Как интересно. И зачем же мне это нужно?

— Для того, чтобы творить. Вы видели хоть одного настоящего художника, композитора или писателя, который творил бы, потому что ему хорошо? Потому что он бесконфликтно счастлив?

Тут я почувствовал то, чего боялся более всего — симпатию к Олегу. Но он действительно понимал суть того процесса, о котором говорил, — я не мог этого не признать.

И всё же я возразил:

— У каждого свой подход. Слишком самонадеянно делать такие обобщения.

— Возможно, — согласился он, — но всё же я зацепил правдивую струнку, разве не так? — Олег помолчал, а потом вдруг произнёс, — она уже многое успела рассказать мне о вас.

Я внимательно посмотрел на него.

— В каком смысле? Что именно она вам рассказала?

— То, что кроме неё у вас никого нет.

— Только это?

— Нет... Послушайте, исполните одну мою просьбу, хорошо? Вам ничего не стоит... — он вдруг указал мне на стенные часы — усатую пластмассовую таблетку, висевшую слева, под самым потолком, — ...взглянуть на них.

— Ну и что? — спросил я, решив поначалу, что у него какое-то дело, и он хочет меня выпроводить, как выпроваживают от телевизора маленького ребёнка, когда подошло время ко сну.

— Не кажется вам, что они идут назад?

Я ещё раз пригляделся, но потом заметил лукавый взгляд Олега и почувствовал некую странную игру, которую он пытался вести со мной.

— Нет, не кажется, — произнёс я сухо. Что это была за игра? Он старался уйти от разговора? Непохоже. Или хотел показать, что знает обо мне гораздо больше, чем я думаю? Но это слишком скудная цель.

Олег произнёс:

— Таня привыкла мне многое рассказывать. Многое — так уж повелось. Мы с ней друзья, а вот что касается остальных — она никому не доверяет историю своей жизни, которая, между прочим, была не из лёгких. Скажите... — он посмотрел на меня, — за что вы, собственно, полюбили её?

— Как...

— Не волнуйтесь, — он улыбнулся и похлопал меня по колену, — лишь одно я хотел сказать этим: вы и сами о ней мало знаете, а, стало быть, подтверждается то, что я говорил до того. Быть может, вам стоило бы волноваться — раз уж она доверила мне больше? Нет, я так не думаю, ибо, как я уже говорил, так просто повелось, а что касается вас — если бы вы сильно настояли, уверен, она тоже открыла бы вам свою душу.

Что тут скажешь — его слова звучали убедительно, и я не мог не смягчиться.

— О чём всё-таки идёт речь?

— О вас, только о вас. Вы полюбили её по какой-то другой причине, мне неизвестной, но я и не хочу её знать — это не моё дело.

— Так ли уж нужна причина?

— Верно. Не нужна. Однако из того, что она мне говорила, я делаю вывод, что вас стоит предостеречь. Видите ли... когда мы с Таней ещё вместе учились, она встречалась с одним человеком. У них всё было хорошо, но один раз он приревновал, и она довольно быстро бросила его. А знаете почему? Она всегда, всегда хотела быть свободной.

Я усмехнулся.

— Не к вам ли он приревновал?

— Ну вот опять вы начинаете! Нет, не ко мне.

— Ладно... хорошо.

Он продолжал.

— Вам следует вести себя совершенно иначе, если не хотите потерять её. Зачем вы, к примеру, начали ссориться с ней сегодня?

— Вам и это известно?

— Ну а как же? Она позвонила мне и рассказала. Вы всё никак не желали ей верить и, в конце концов, даже набросились на неё.

Тут мне стало совершенно ясно, что я и правда ошибался: если между ними было бы хоть что-нибудь или существовал действительно к этому посыл, она после такого эпизода просто ушла бы к нему, а не стала звонить по телефону и рассказывать о нашей ссоре. Во мне боролись ревность и здравый смысл, но...

...В конце концов победил последний. Очевидно, Таня доверяла этому человеку, как обычно доверяют близкой подруге, (вот оказывается кто её настоящий друг!), а стало быть, мне бессмысленно было препятствовать их общению и лучше всего пойти на сближение с Олегом. Сумел бы я так скоро и невзирая на те странные явления, которые стали происходить после его приезда, (я имею в виду внезапное исчезновение из моей квартиры в самый первый день, а затем ещё противоестественно быструю перемену его облика), изменить своё отношение? Да, он был мне не очень приятен, но я должен сделать над собой усилие, иначе потеряю самого дорогого мне человека. Я сказал Олегу, что сожалею о произошедшей ссоре.

— Несмотря на то, что вы серьёзно её обидели, я думаю, стоит вам только извиниться перед ней и всё будет забыто.

— Это она вам сказала?

— Нет. Но я чувствовал это по её голосу.

С минуту мы сидели молча. Потом я произнёс, (это был не вопрос, но утверждение):

— Вы очень давно с ней знакомы.

— Да. С тех самых пор, как она приехала сюда. Чуть позже я стал заниматься музыкой, играл в рок-группе на соло и на басах; у меня не шибко получалось, но Таня всегда была рядом и говорила: «Давай, Олег, дерзай. Я верю в тебя», — он усмехнулся собственным воспоминаниям, — впрочем, она говорила так всегда — за что бы я ни брался. Но она сама любит музыку, и когда у меня не ладилось, она тоже принимала участие в выступлениях нашей группы, пела. Она хорошо поёт. Вы и этого не знали?

— Нет, — я покачал головой.

— Ну вот видите. Попросите её спеть как-нибудь.

— Хорошо, — я чувствовал себя обманутым, но с положительной точки зрения; я говорю о том, что Таня открылась мне по-новому, а я-то думал, ничего такого уже не произойдёт, и даже если я и плохо знал её прошлое, так бы оно и оставалось.

Я сказал, что мне пора уходить. Когда мы были уже у дверей, Олег сообщил:

— Через некоторое время я уеду. (Самое большее, пройдёт ещё недели две). Но пока я здесь, прошу вас не препятствовать нашим с не встречам.

— Не буду.

— И главное, не ссорьтесь с нею больше. Не ищите повода, если действительно хотите продлить с нею отношения. Таня не будет смотреть вам в рот и не уступит.

Я улыбнулся, пожал ему руку и сказал, что помирюсь с ней сразу, как приду домой.

Глава 4

Сегодня в полдень я увидел, наконец, (или думаю, что увидел), тот самый апогей, ту вершину, достигнув которой птица перестаёт быть собой, ибо, умаляя всякий триумф, она чувствует такой голод, что съедает собственные крылья и превращается в ущелённое облако, не парит, а двигается уже еле слышно и с безнадёжностью в седых локонах созерцает. Вот так созерцал меня сегодня человек, стоявший по ту сторону оконного квадрата. Я увидел этого субъекта ещё до того, как приступил сегодня к работе — повернулся и посмотрел в окно — я не мог сначала поверить, что на меня могут смотреть снизу, стоя на тротуаре и увидеть нечто за темнеющим от расстояния стеклом, но потом всё же понял, что этот долгий и безнадёжно умаляющий взгляд единственного глаза был обращён именно ко мне; человек смотрел на меня так, будто между нами простиралась железная решётка, строительство которой я уже завершал, завязывая последние прутья в узел, словно шнурки, спрятав пару ботинок за спиной. Я не подозревал, что результат, вернее предрезультат, подступ, будет резко контрастировать с той разгонявшейся паникой, которая наблюдала меня в течение последних дней; и в то же время я пре-

красно понимал, что изменился лишь наружный её характер, а внутреннее содержание ещё более участилось, ввергнув самоё себя уже в область бессознательного. Пожалуй, это было похоже на то, как человек, надрывая своё тело электрическим током и прогибаясь назад так часто, что это перестают замечать сторонние глаза, летит по виртуальному коридору...

Да, я знал, что в людях ничего не изменилось; всё подходит к своему завершению, и лишь тогда это, быть может, произойдёт. Но изменятся ли они с качественной стороны? Если приглядеться, я, наверное, мог бы увидеть на сетчатке застывшего посреди улицы человека отражение своего деда или кого-то ещё, отнятого у меня течением жизни — вором, залезающим в твой карман так глубоко, что в руке его остаётся не кошелек, а сердце. А может быть лица ушедших слились, образовали нечто общее, и результат на сетчатке напоминает примерно то, что видел я ещё давно, во время своих ночных прогулок на катере. Всё дело в том, что тот, в чьём глазу это лицо могло отразиться, никогда бы не узнал о нём и не разделил бы моей ненадёжной любви.

Возможно поэтому я недолго смотрел на застывшего и умолявшего меня взглядом субъекта. Я сошёл с окна и, заслонив собою холст, принялся за работу; выводил цветными мелками линии под углом, всё больше и больше прикладывая усилий к тому, чтобы придать им отклик дальнего эхо.

Работал я с полчаса, а потом всё же не удержался и снова нашёл на окно. Их стало двое! Два профиля, обращённые друг к другу, стояли близко-близко; чем-то напоминали они идолов с обложки «The division bell», последнего альбома Pink Floyd, слышали о таком? Вот только они не спорили, и рты их были замкнуты, — пожалуй, не до того им было, чтобы спорить; два человека стояли на тротуаре и смотрели перед собой, но из-за отсутствия перспективы — будто бы на пятый этаж...

И тут меня посетило соображение, ещё больше меня уверившее, и, в то же время, в очередной раз подтвердившее исходную причину паники и следствие, поддерживавшее её. Ведь когда я проживал у Великовского, мог видеть через окно — даже только второго этажа, а никак не пятого — небо, звёзды, зелёную мозаику листов на деревьях с черенками-лабиринтами — и всё. (Не представляю, были ли в этом законы плоскости, но, во всяком случае, так бы нарисовал это ребёнок). Почему же я теперь вижу улицу? Моя работа на холсте даёт первые результаты? Но я видел улицу именно таким образом ещё и в первые дни своего пребывания в плоскости этой квартиры, когда сломался фургон «Скорой помощи». Так. А что я помню после того момента, когда Берестов только привёл меня сюда и сказал: «Располагайтесь»? Находил ли я на окно? Наверняка, но, видимо, не так много раз, чтобы потом сообразить о перемене, а теперь мне действительно кажется, что сначала я видел через окно только небо — больше ничего.

Почему же это простое заключение не посетило меня много раньше? Выходит, я и сам менялся на глазах.

Найдя в очередной раз на картину, я к своему удивлению почувствовал, что не могу дальше

писать, пренебрегая людьми на улице, смотревшими на меня. Но это происходило не от того, что мне хотелось пойти на попятную и выполнить то, о чём они меня так умоляли, — нет! В том, как эти два человека выглядели в совокупности, я заметил очень странную, и оригинальную идею-позицию. Я подумал, что если соединить две наклонные стороны носа, смотревшие наружу, тогда получится весьма необычная конфигурация. Почему мне казалось, будто что-то в ней такое есть, и, помимо всего прочего, я должен и дальше следовать в этом же направлении? Трудно объяснить. Возможно, эти два объединённых лица являлись для меня кусочками воспоминаний; соединившись, они явили бы именно ту истину моего прошлого, которую я теперь так искал для того, чтобы вставить ключ.

Я снова нашёл на картину, подобрал кисть и принялся выводить нос в новом его выражении. Когда работа была закончена, я понял, что получилось очень неплохо, и решил объединить теперь полугубы. Разумеется, я снова должен был посмотреть в окно, дабы отразить их на холсте как можно достовернее, и тут произошло событие на некоторое время вызвавшее во мне смущение: профили на тротуаре теперь стало три, к первым двум добавился ещё один, женский. Не то, чтобы я не ожидал этого — наоборот, вполне логичное развитие событий, — и всё же да, я усомнился в правильности своей находки и испытал настойчивый укол в самый центр живота.

Поборов в себе неуверенность, я принялся рассматривать полугубы первых двух, а вскоре, когда идолов снова стало чётное количество, по какой-то причине почувствовал невыразимое облегчение...

В продолжении дня профили-идолы размножились, словно карты из колоды, перевёрнутые рубашками вверх, во власти умелых рук сдающего, а я сливал их на холсте.

В довершение ко всему я присоединил Велико-вскому вторую половину лица.

Вечер 2006-й март, 19-й день. (Продолжение)

Узнав, что мы навещали Григория и то, что наше пребывание у него в квартире закончилось грубой ссорой, Дарья закатаила Вадиму скандал. Она кричала, что он не имеет никакого права вмешиваться в их жизнь, Григорий любит её, поэтому и вернулся. Вадим назвал её дурой: этот человек инсценировал свою гибель, потому что задолжал денег, обманул Дарью, растоптал, причинив ей невыносимые страдания, а теперь, видите ли, ему захотелось спокойной жизни: он расплатится, заберёт Дарью, и они будут жить счастливо где-нибудь на солнечном берегу Средиземного моря. Чепуха! А люди, которым он должен? Ходят слухи, что это настоящая мафия!

— Неужели ты готова дать ему ещё один шанс? Он играет с тобой и опять обманывает, — сказал Вадим. Они были на кухне, а я наблюдал за ними, стоя в коридоре. Вадим прошёл туда, не раздеваясь и не сняв обуви; Дарья стояла перед ним. Заколка всё ещё валялась на полу, под ногами — её до сих пор так никто и не поднял.

— С чего ты это взял?

— Да с того что если бы он говорил правду, то давно бы уже расплатился с этими людьми, и вы уехали бы. Зачем он тянет, да ещё и попросил тебя на некоторое время остаться здесь?

— Иди к чёрту. Тебя попросили об одолжении, а остальное не твоё дело. Раз не хочешь выполнять, я ухожу.

Она направилась в свою комнату. Больше всего я боялся, что Вадим пойдёт на попятную и начнёт уговаривать её остаться — так и вышло, он пошёл за ней следом.

— Куда ты? — спросил я, перегородив ему дорогу.

— Оставь меня, я должен с ней поговорить.

— Зачем?

— Я сказал, оставь меня.

— Как угодно...

Он ушёл, а я достал из шкафа вино, сел за стол и пока пил, слышал, как из соседней комнаты доносились их приглушённые голоса. Он убеждал её остаться, говорил, что всегда готов ей помочь и прочую ерунду.

— Зачем тебе всё это? — сказала Дарья, по всей видимости, не прекращая собирать вещи, ибо её вопросу сопутствовал скрип открывающегося шкафа.

Ответ последовал не сразу. Я знал, что в Вадиме борется огромное количество внутренних сил. Он любил Дарью, и ему было наплевать на то, каким способом оставить её возле себя, но в то же время он не мог сказать это напрямую, ибо его выбросили за борт. В конце концов, когда он почувствовал, что молчание затянулось, начал что-то лепетать, очень тихо, я уже не слышал, а минут через пять она появилась в прихожей и попросила меня закрыть за нею дверь.

Когда я вошёл в комнату, он сидел на её кровати, опустив голову, — точно как все люди, у которых украли любовь.

— Советую тебе отступить... — сказал я тихо, и всё не сводил с него взгляда.

Он ничего не ответил, и даже поза его не изменилась. Мне не нравилось это молчание.

Первое, что я сделал по возвращении домой, открыл двери спальни и поднял заколку Татьяны, обронённую у самого порога. Затем прошёл в студию — Таня была там, и я чувствовал запах жасмина...

Я знал, что застывшие профили за моим окном — это предзнаменование, которое предоставит всё в ином свете, — а ровно этого я и добивался. Я пошёл по наитию и, как мне казалось, отыскал в результате верное решение.

На следующий день они исчезли — кто-то убрал их с улицы подобно тому, как антиквар убирает в шкаф статуэтки. <...>

2006-й апрель, 3-й день

Я очень хочу написать, что у Вадима всё так же хорошо, как у меня, но не могу, — просто смелости не хватает. Больше двух недель не садился за дневник, — (иногда мне вообще хочется бросить его; я не понимаю, зачем всё это пишу, но потом моя тетрадь со стёртыми по краям буквами и превратившаяся от давления локтей в гармонику,

снова уговаривает меня взять ручку), — в результате накопилось много всего любопытного.

Я подозревал, что Вадим так и не отступит, будет продолжать отыскивать способ оставить Дарью у себя, а теперь даже выясняется, что чём больше терпит он неудач, тем упрямее становится. Стоило ему хоть один раз забыть о гордости, и он очень быстро утратил её целиком.

20-го марта, то есть на следующий день после ссоры, он заявился к Григорию с извинениями; тот принял их, но скорее равнодушно, чем даже холодно, после чего Вадим попросил его позвать Дарью.

— Она ведь у вас, не так ли?

— Зачем она вам нужна?

— Я хочу извиниться и перед ней тоже, — сказал Вадим.

— В этом нет необходимости. Я передам ей ваши извинения, если вы так этого хотите, а теперь я прошу вас уйти.

Вадим принялся настаивать; он говорил Аверченко, что прожил с его женой достаточно времени, чтобы занять друг перед другом какие-то обязательства, и теперь он просит не так уж много. Увещевания длились недолго: думаю, Григорий решил, что самый простой способ «избавиться от докучливого субъекта», — это выполнить его просьбу. Через минуту Дарья появилась на пороге. Вадим сказал, что ему стыдно за своё поведение, а затем предложил Дарье снова перебраться к нему.

— Мы благодарим вас, но это лишнее, — тут же вмешался Аверченко, и стал уже закрывать дверь, но Вадим успел схватиться за неё рукой.

— Но ведь учитывая ваши неприятности, ей действительно опасно здесь находиться — вы и сами это знаете.

— Опасно? Ничего подобного. Извините, теперь мы не нуждаемся в вашей помощи.

— Но что же изменилось? — поинтересовался Вадим.

— Я не собираюсь вам это объяснять. Прощайте, — и захлопнул дверь.

Этот эпизод Вадим пересказал мне в тот же день при нашей встрече. Что я мог сделать? Стоило ли и дальше пытаться убедить его отступить? Я уже понял, что он меня ни за что не послушает, а если я напомину ему о гордости, попросит убраться ко всем чертям. Я спросил его, что он теперь собирается делать.

— Я верну её, — ответил он.

— Ты будешь бороться за человека, который тебя ни во что не ставит?

Вадим бросил на меня секундный взгляд, и я понял, что мои слова угодили в цель. Но он тут же взял себя в руки и, помедлив немного, произнёс:

— Я не позволю ей уйти от меня так.

— Это бессмысленно, — сказал я.

— Мне плевать. Я найду способ вернуть её.

Днём позже ко мне зашёл Мишка. Он стал расспрашивать меня, куда я исчез и почему не звоню.

— У тебя неприятности?

— С чего ты взял?

— Калядин сказал, что ты пребываешь в плохом настроении.

— Калядин? — переспросил я, словно бы не мог понять, о ком идёт речь, но на самом деле старался сообразить, когда это Павел успел сделать обо мне такое заключение, и тут вспомнил, что на днях встретил его на улице, — ах, да... но он ошибся, у меня всё в порядке.

— Послушай, мы ведь с тобой друзья, и всегда и во всем друг другу доверяли...

— Разумеется, — я перебил его, и он удивлённо покосился на меня; конечно, мне стоило согласиться, но только не обрывая его на полуслове, а теперь, поскольку я совершил тактическую ошибку, Мишка и сам почувствовал неладное.

◀...▶

По лицу его скользнула лёгкая тревога, а потом он продолжал:

— ...поэтому если у тебя что-то случилось, я всегда готов помочь.

— У меня всё в порядке, — твёрдо повторил я.

◀...▶

В клубе я их не нашёл; бармен сказал, что белокурая девушка и мужчина с бакенбардами ушли четверть часа назад.

Я тут же позвонил Тане, но её телефон был выключен. Я снова обратился к бармену:

— Вы не знаете, куда они отправились? Может, слышали из разговора?

— Нет, ни слова.

Я понял, что мне остаётся только гадать, и после недолгого раздумья решил попытаться счастья и поехать в гостиницу. Я не ошибся — выйдя минут через пять на центральном проспекте, я увидел Олега, стоящим у винной лавки напротив отеля. Я не обратил особого внимания, когда бармен сказал о «человеке с бакенбардами», но теперь обнаружил, что вид Олега снова изменился, — (слава богу, не так сильно, как в прошлый раз, иначе я вряд ли сумел бы узнать его издалека), — помимо этих самых бакенбард, я заметил немного переменявшийся оттенок волос: из чёрных они сделались тёмно-каштановыми.

— Ей-богу, Олег, на вас посмотреть — и впрямь вообразишь, будто вы от кого-то скрываетесь.

Он поднял голову и посмотрел на меня.

— А-а, это вы? Скрываюсь, говорите? Понятно, вы о моей переменчивой внешности.

— Я, быть может, и раньше сталкивался с чем-то подобным, но чтоб такая быстрая перемена имиджа, — нет, подобного я ещё не видел.

— Вот поэтому я и не художник, — сказал Олег, — ◀...▶ слушайте, вас устроит «Кларет»?

— Что? — не понял я.

— Я говорю о вине, — Олег взял бутылку с лавки и передал её мне.

— Да, вполне, если мы собираемся пообедать. Таня осталась у вас в номере?

— Да.

— В таком случае, давайте поспешим к ней, она, наверное, уже заждалась.

Я понимал, что Вадим может совсем потерять голову и наделать глупостей, поэтому решил как можно чаще навещать его, — так я мог если не контролировать ситуацию, то хотя бы

попытаться предотвратить нежелательное развитие событий. Вот что я выяснил, зайдя к нему через два дня. Возможно он, зная мою позицию, не стал бы рассказывать об этом сам, но поскольку я этим интересовался, его резонное желание с кем-нибудь поделиться одерживало вверх.

— Я установил наблюдение за домом, — сказал он.

— С какой целью?

— Хочу выследить его и узнать, что на самом деле стоит за этим возвращением, и говорил ли он нам правду.

Я сказал, что если и да, то, наверное, действительно не всю, — в этом Вадим прав. Ну а что потом?

— Если он ведёт какие-то махинации, я расскажу об этом Дарье, и она бросит его.

— Не уверен, — произнёс я с сомнением, — она упряма, точно так же, как и ты.

— Упряма, говоришь?

Даже не обратив внимания на окончание моей фразы, Вадим задыхался полукрытым ртом и, покраснев от напряжения, резко встал со стула. Его лоб искромсали глубокие колеи, на которых как на струнах играли два чернобровых смычка. Я не ожидал этого внезапного порыва и смотрел на Вадима широко открытыми глазами.

— Если она и тогда меня не послушает, я его... — он осёкся и тут же взял себя в руки, — я видел его вчера...

— Ты его видел?

— На улице перед его домом. Он вышел, чтобы что-то купить в лавке напротив, и когда заметил меня... ну, можешь представить себе его реакцию... Короче, он спросил, какого чёрта мне тут надо. А я... я собирался поговорить с ним, но уже более настойчиво. Хотел добиться от него правды. Он сказал мне убираться ко всем чертям и... если он меня ещё здесь увидит, все рёбра мне пересчитает, — ну что-то такое, — Вадим невесело рассмеялся, и, готов поклясться, в этот момент я уловил в его взгляде сумасшедший блеск, в котором было что-то сродни холодному бенгальскому огню.

— Лучше не связывайся с ним. Аверченко может быть опасен. Разве факты не говорят в пользу этого?

— Чепуха, — после своего полуминутного порыва, Вадим уже совершенно успокоился и сейчас только качнул головой, коротко и даже презрительно.

— Нет, не чепуха. Послушай меня...

Я наклонился вперёд всем телом, но он даже не дал договорить мне очередное предостережение: его скулы заработали интенсивно и жёстко, оставляя на коже короткие вмятинки, странно похожие на те, которыми время жестоко отмечает лицо человека.

— Знаешь, Павел, если тебя что-то не устраивает, можешь идти отсюда на все четыре стороны — я тебя сюда не звал, понял? Я уже сказал: Дарья останется со мной, я буду за неё бороться, — и точка.

Дальнейшее развитие событий показало, что упорство моего приятеля не покусится даже на борьбу с опасностью для жизни. Продолжая слезу за Григорием, он играл уже более острожно и тщательно укрывался от любого случай-

...

ного взгляда, которым могли обнаружить его два человека, рождавшие в душе столь рознящиеся чувства. В конце недели приложенные усилия получили вознаграждение, (если только можно дать подобное определение финалу всей этой истории).

2006-й апрель, 4-й день

В это позднее утро, когда Вадим уже добрые два часа занимал свой наблюдательный пост у дома, где остановился Григорий, тот вышел из подъезда и направился к центру города. На Кутузовской улице он зашёл в небольшой магазин под названием «Дежавю». Вадим остановился перед дверью и стал внимательно наблюдать за тем, что происходило внутри; он чувствовал уже, что, вероятнее всего, именно теперь приблизился к разгадке. В ушах его ожесточённо пульсировала кровь, и на несколько секунд он даже потерял всякую осторожность: подойдя к двери вплотную, Вадим неприкрыто следил за Григорием, который, стоя к нему спиной, о чём-то разговаривал с продавцом за прилавком, — словом, его вполне могли заметить, но в следующий момент он всё же опомнился, и когда Григорий развернулся и направился к выходу, был уже на приличном расстоянии. Аверченко обошёл магазин и, очутившись на заднем дворе, застыл в ожидании под козырьком чёрного входа, соединённым со стеной косыми железными прутами. Теперь Вадим прятался за углом; двор был пустынным, грязным и фигуру Аверченко закрывала для него сваленная тут же куча отсыревших картонных коробок.

Дверь скрипнула, и из-за неё показался толстый человек, небольшой, но внушительный, в тёмных очках и с золотыми карманными часами, цепочка которых свисала у него из правого кармана на бедро, — впрочем, все эти детали Вадим сумел увидеть чуть позже, когда Аверченко вздрогнул и отошёл от двери на добрые три метра, а толстяк молча и уверенно приблизился к нему вплотную.

— Ну... вы достали фотографию?

Уверенный смех толстяка.

— Разве это очень сложно? Завтра в восемь вечера он будет ужинать в ресторане «Зеркальный шар». Вы должны быть там и... ну, словом, вы знаете, что нужно делать.

— Я хочу, чтобы это было последний раз. Я вернулся выполнить свои обязанности и взамен хочу только одного — покоя. Мне надоело прятаться.

— Вы уже и не спрячетесь.

Аверченко побледнел.

— Что, чёрт подери, вы хотите этим сказать?

Толстяк снова рассмеялся, но на сей раз более сдержанно.

— Без нервов, мой друг, без нервов. Если не будете сохранять душевное равновесие, ничего у нас не выйдет. А если проколите, ну, тогда... — толстяк сделал внушительную паузу, и Григорий вздрогнул, — ладно, ладно, не бойтесь. Всё будет хорошо. Пистолет ещё остался у вас?

— Да...

Вадим позвонил в дверь, потом ещё и ещё, но его настойчивость была вознаграждена лишь через полторы минуты: резкий поворот дверной

вертушки, и Дарья появилась на пороге, в розовом халате, с мокрыми растрёпанными волосами.

— Что тебе нужно? Уходи.

— Нет, прошу тебя, не прогоняй меня. Ты не знаешь, как на самом деле обстоят дела.

— Вадим, мы всё уже обсудили.

— Ты не понимаешь. Я выследил его и всё выяснил. Он собирается убить человека!

— Что?

— Да, именно так. Впусти меня, я всё тебе расскажу, а верить или нет — дело твоё.

— Ты с ума сошёл! Он будет здесь с минуты на минуту.

— Вот и отлично. Мы припрём его к стене.

— Нет, если действительно не хочешь тратить время, рассказывай здесь.

— Как угодно...

Вадим постарался быть как можно более кратким, и в то же время не упустить ни одной мелочи. По окончании рассказа он спросил, есть ли у Григория пистолет.

— Я не знаю... послушай, нет, это не может быть правдой.

— Даша, вспомни, что между нами было. Я потратил много сил, чтобы докопаться до истины, и теперь хочу только одного: уберечь тебя... Фотографию он сунул в левый карман брюк. Ты можешь спросить его, когда он появится.

На минуту решительность изменила Дарье: она пристально посмотрела на человека, который до недавних пор был единственным, кто по-настоящему заботился о ней; казалось, в её глазах, подобно ленте в кинопроекторе, мелькают фрагменты жизни, связанные с двумя мужчинами, мелькают и борются своими антагонистическими половинами.

— Хорошо, проходи. Когда он будет здесь, мы сможем всё окончательно прояснить. Я пойду, оденусь.

Вадим облегчённо вздохнул. Несмотря на то, что ему всего лишь удалось заставить себя выслушать и добиться единственной уступки, не более того, у него будто гора с плеч свалилась; видно, он теперь нисколько не сомневался в успехе своего предприятия. Сел на стул в конце коридора так, чтобы можно было видеть входную дверь, и всё ждал, ждал...

Глава 5

2006-й апрель, 4-й день. (Продолжение)

Олег заявился часа в два.

— Здравствуй, Павел. Я завтра уезжаю, поэтому уж позволь мне увести её до вечера, хорошо? — сказал он прямо с порога.

— Как тебе будет угодно, — произнёс я сухо, — заходи, я пойду, позову её.

Заглянув в её комнату, я столкнулся с ней в дверях: она была уже одета, и от неё пахло жасмином. Мы встретились глазами. Я был удивлён, и она тоже. Шагнув в сторону, я пропустил её и не оборачивался до тех пор, пока входная дверь за ними не захлопнулась. Потом только я прошёл на кухню, достал из шкафа бутылку вина и стал пить прямо из горла. Я, видно, выпил бы очень много, но вдруг не с того ни с сего заснул, сидя прямо на деревянном стуле, а когда проснулся, понял, что у меня затекли руки; я совершенно их не чувствовал

и начал испуганно кричать. Как ребёнок. Потом, когда моё кровообращение нормализовалось, я долго думал, почему вдруг так запаниковал? Мне кажется, всё дело в том, что я не просто не ощущал своих рук, но не ощущал их именно затёкшими, а думал, будто произошло нечто иное: мог ли мне их кто-то вывернуть с умыслом отжать кровь, как воду с пуховых полотенец? А потом, когда я это обнаружу и начну орать, ко мне прибегут на помощь и рванут за них так сильно, что не только руки оторвутся, но вслед за ними наружу вылезут моя печень, кишки и сердце, подвешенные к кости окровавленными патлами?..

...Вечером я решил позвонить ей. Ответила она не сразу, а когда всё же подняла трубку, её голос заглушила уличная какофония.

— Ты где? — спросил я.

— В баре у реки. Приходи, если хочешь.

Я спрятал телефон в карман, немного помедлил, но затем всё же оделся и, выйдя на улицу, отправился к парку.

Солнце ещё не зашло, и пока я шагал по тротуарам, его красный диск то и дело запутывался в ветвях деревьев, которыми было усыплено небо; затем он выбирался из них и ласкал мою сетчатку так слепо, что я сумел различить чёрные ворота парка только когда подошёл к ним вплотную. Солнце попало в самую большую и тернистую сетку, никак не могло из неё выбраться, и когда моё зрение пришло в норму, я увидел следующую картину: слева от ворот, у железной калитки стоял мужчина лет сорока, в совершенно обычной одежде, но с карнавальной маской в руке. Разговаривая о чём-то с охранником, он то и дело засовывал большой и указательный пальцы в прорези для глаз. В другой руке он держал бульварный роман про убийство, «Возвращение», — тот самый, который когда-то принесла с собой Дарья на вечеринку в моей квартире и который я после этого прочитал.

Я прошёл мимо и стал спускаться к воде. Бар — открытая терраса с тёмно-красными столбами, обвитыми плющом, и гранёными железными фонарями — располагался в конце бетонной дороги, у самого берега. Подойдя к нему, я отыскал глазами Таню очень быстро — она сидела за угловым столиком. Одна.

Я подошёл.

— Здравствуй.

— Привет. Он уже ушёл? — я сел.

— Как видишь.

— Нет, я этого не увидел. Это началось с первого дня его появления. Вообще, каждый раз, когда он возвращается, я начинаю думать, что этот человек всё время был с нами, — рассчитывая выбить почву у неё из-под ног, я старался говорить неестественно ровным голосом, но вдруг посмотрел на неё и понял, что мои слова не оказывают никакого действия: правая бровь Тани была чуть отведена в сторону, а рука мерно прикасалась к бокалу, задумчиво, но с тем оттенком удивления, какой бывает у чужих женщин, если ты зачем-то решил признаться им в любви.

И тут я почувствовал, как снова внутри меня всё меняется. Ровный голос? Да к чёрту его! Не мог я подавить эту странную, тупую злобу, рож-

давшуюся во мне; самому не верилось! Я был сбит с толку — возможно поэтому?

Я спросил её очень язвительно, не собирается ли она поехать вместе со своим другом. Боже, какая глупость! Я ведь прекрасно знал, что между ними ничего нет. Но как же мне в тот момент хотелось задеть её за живое, больно уколоть! И в результате я потерпел неудачу, (так мне и надо), — Таня только повернула голову, а потом сказала, что не собирается уезжать с Олегом, но и со мной тоже не останется.

В этот самый момент мне и показалось, будто она кривит душой, хочет напугать меня, дабы я сам пошёл на примирение — ну, что-то такое. И тогда я набросился на неё как коршун. Хотел убить в ней последний маленький порыв, отвернуться от единственно оставшейся тропки; если раньше причиной всех наших ссор была моя ревность, придирчивость и желание подчинить её себе всецело, то теперь я лишь испытывал досаду, что меня собираются бросить, и решил сделать это первым.

— Буду ждать этого с нетерпением. Ты мне больше не нужна.

— Паша, оставь это. Не надо. Ты же так не думаешь, — сказала она вдруг.

— Думаю, ещё как думаю! — накинулся я опять. Вряд ли в этот момент меня кто-то слышал, кроме неё, однако я изрядно повысил голос.

— Хорошо, я поняла... — она опустила голову, взяла в руку бокал с вином и принялась им тихо покачивать. В этот момент он похож был на отчаявшегося человека, который, раскачиваясь во все стороны, бьётся головой о стену. Она была этим человеком? Должно быть так.

Внезапно моя злоба исчезла. Так же быстро, как и появилась. Но теперь-то никакой дороги назад уже не было, да я в тот момент и несколько не жалел об этом, мысленно продолжал гнуть свою линию, настраивал себя, но не так яростно, а просто уверенно. По какой-то причине мне хотелось пойти на принцип, проявить твёрдость и наконец-таки расстаться с ней.

Я сказал ей, что когда мы только познакомились, я представлял её себе совершенно другой, и всё то время, пока мы вместе жили, на меня постепенно находило прозрение.

— На меня тоже.

— Что ты хочешь сказать?

— Помнишь... — она поставила бокал. Вино замедлило своё вращение и, в конце концов, остановилось, — ты говорил о девушке, с которой хотел бы жить в доме на берегу моря?.. Об утрах, свежих и солнечных, о светозарных вечерах, отбрасывающих на воду столбы алых искр.

Я помедлил.

— Да, помню, — сказал я тихо, — что-то в этом роде.

— Но это же не море. Посмотри... разве ты не видишь? Это всего лишь река. И когда она уносит нас, а мы оглядываемся и смотрим в наше прошлое, оно кажется именно таким, какой ты видишь и свою мечту: город заката, миражи, море из солнечной мозаики... А на самом деле ничего этого нет и никогда не было.

— Я бы сказал немного иначе. Это мелькало, надев другое обличье... — смягчился я, повернул

голову и некоторое время наблюдал за бордовой водой, — река времени...

К моему удивлению она встала и, не выпуская из рук бокала, быстро направилась к берегу. Подойдя к самой воде, она некоторое время смотрела перед собой, потом чуть окунула правую ногу и больше уже не двигалась.

Я навсегда запомню её такой. Тенью на фоне рубинового неба. И только бокал с вином нестерпимо сверкал в её руке, переливаясь всеми цветами радуги. Сверкал яростно и равнодушно, проникаясь огнём из какого-то невидимого мне источника.

Домой я, конечно, возвращался один. По дороге встретил Дарью и Вадима. Они шли в обнимку, весело болтали, смеялись.

— Здорово, вот так встреча! Ты откуда?

— Из парка. Только что был там с Таней.

— А где она сама? — удивлённо спросила Дарья.

Я невесело улыбнулся.

— Лучше не спрашивай.

— Как? Вы что, поссорились?

— Хуже... но главное, у вас всё хорошо...

— Ну да, даже очень хорошо... — удивлённо произнёс Вадим, — а почему ты это говоришь? Не понимаю... Слушай, по поводу Тани... ты что...

Он не договорил, но подразумевал наше расставание; а я не отвечал, но он и так всё понял без слов.

— Как же это?... Чёрт возьми, да разве...

Я оборвал его:

— Не стоит. Теперь уже поздно что-то менять. Простите меня.

— Простить тебя? За что?

— Неважно...

Я минул их и шествовал дальше, глядя сугубо себе под ноги; только когда был уже на приличном расстоянии, решился вдруг и, обернувшись, крикнул:

— Простите, что сочинил о вас такую нелепую историю! — и тотчас же пошёл дальше.

Вадим и Дарья тоже обернулись на мои слова, но, разумеется, так ничего и не поняли, и покуда я ни свернул за угол, чувствовал на своём затылке две пары удивлённых глаз. Они, должно быть, подумали, что я сошёл с ума, и действительно недалеко были от истины.

Я действительно плохой человек, раз даже своим друзьям желаю зла. Боль, таящаяся в других людях, которую ты переживаешь как свою, — вот удел настоящего творчества; это говорил ещё наш маэстро на семинаре живописи, в академии; я всегда думал, что уважаю этого сухощавого старичка-фанатика, но, видно, не слишком я внял ему, раз в один прекрасный день переставил всё с точностью до наоборот.

2006-й июнь, 5-й день

Меня часто одолевают очень странные размышления о взаимоотношениях между людьми, (не только между мужчиной и женщиной, — я делаю обобщение: друзья, просто приятели). Я обратил внимание на одну вполне логичную вещь, но нечто заставляет меня реагировать на неё с

удивлением. Я говорю о побочных событиях или даже можно сказать выгодах, которые получают люди от обоюдного времяпрепровождения. К примеру, если я иду домой к Мишке, то он может угостить меня бутылкой пива, стоящей у него в холодильнике, а я прокачу его на катере, но всё это прекратится, если мы с ним рассоримся; аналогично, одно-единственное решение мужчины и женщины о том, встречаться или не встречаться друг с другом влечёт за собой огромную цепочку последствий: она получает от него букеты цветов, переселяется к нему на постоянное сожительство, готовит еду и проч.; всего один положительный отзыв о твоём творчестве от известного искусствоведа может обеспечить тебе не только кусок хлеба, но даже славу на всю оставшуюся жизнь и много дальше. Выходит, что твоя судьба зависит от каких-то кратких эпизодов «^{АВ}/нет», единичных решений. Но справедливо ли это?..

Сегодня, когда Таня вошла в мою комнату и сказала, что ей придётся остаться здесь ещё на пару недель — примерно столько времени понадобится жильцам, снимающим у неё квартиру, для того, чтобы подыскать себе новое место, — я понял, что у меня появился шанс найти ответ на этот вопрос, ибо мы уже не вместе, а связи, не человеческие, но вещественные, сохранялись в том роде, в каком были и раньше.

В два часа дня она как всегда приготовила обед, а затем сварила кофе, и мы пили его, сидя на кухне друг против друга, но так и не обмолвились ни словом. Как мне было удивительно: я будто бы видел нас обоих со стороны, наши чашки, которые, подчас синхронно поднимаясь ко ртам, могли бы раньше коснуться друг друга, но теперь, чуть только сблизившись на уровне шей, тут же и расходились, рисуя в воздухе надбровные дуги.

Во второй половине дня Таня всегда любила смотреть, как я работаю; заглянула она в студию и на сей раз. Я удивлённо повернул голову, но она тут же отвела взгляд и, подойдя к окну, взяла несколько полотенец, висевших на спинке стула.

— Что ты собираешься делать? — не выдержал я.

— Хочу положить в машинку. Постираю свои вещи, а потом уже определю их в чемодан. Возьму и твои заодно.

Её поступки, желания, возникавшие в голове как будто вынуждали её оказываться в тех же самых местах, что и до нашего расставания, — при этом неважны были настоящие цели подобного присутствия, — и если бы меня избавили от этих совпадений, я испытал бы то самое удивление, о котором уже упоминал, но теперь же смирили странный холод и испуг, ощущения, на первый взгляд, мягкие и ласковые, а на самом деле обладавшие способностью выйти из-под контроля со скоростью размножения человека в зеркальном коридоре, — вот по этой-то причине я сразу и догадался об их змеинных ухищрениях и прирождённой тяге пускать пыль в глаза. Насмотревшись на мои творческие изыскания, Таня обычно отправлялась на кухню, чтобы вскипятить чайник и машинально включала старый приёмник, стоявший на столе, — ровно так произошло и на сей раз: через полминуты я услышал отдалённый голос диктора, который, словно стараясь вести со мной

диалог, уговаривал меня механическим голосом, понуждал к тому, чтобы я пришёл, пришёл, *пришёл*, и предстал своим торсом перед тысячьёю глаз, ощупывавших зрачками алюминиевую решётку динамика, а затем, обменявшись с ними взглядом, (быть может, даже имелся в виду буквальный смысл), продолжал бы наблюдение за Татьяной, — мне важно, жизненно необходимо было определить, по какой причине она оказывалась в тех же самых местах, что и раньше, — или это было простое совпадение, и я, как только приступил бы к более пристальному наблюдению, сразу понял бы всю беспечность своих подозрений; управлял ею кто-то или же я просто раздувал из мухи слона. Я, верно, ещё сумел бы остановить свои ноги, свои колени с их бамбуковыми хитросплетениями, которые могли бы в точности совпасть по форме с любым закоулком моей квартиры и с каждой её вентиляционной решёткой, но когда услышал короткий звон поджига на плите, понял, что нет, я не в силах, встал и, покачиваясь так, словно зомбирующая рука Всевышнего схватила меня за голову и кидала её от одной стены к другой с целью свернуть шею, проглотил чёрную пасть коридора...

Таня стояла у плиты, и чайник обдавал паром её грудь, он уже почти кипел, — а мне казалось, что с того момента, как я услышал щелчок поджига на плите, прошло каких-то полминуты!

— А куда ты дела бельё? — осведомился я, и она удивлённо взглянула на меня, потому как, видимо, уловила оттенок подозрительности, звучавший в моём голосе.

— Оно в машинке, — Таня равнодушно пожала плечами.

— Почему же ты её не запустила? — не отставал я.

— Сейчас. Я собираюсь приготовить чай, разве не видишь?

И тут я осознал вещь, которая меня ужаснула: всегда, когда она готовила чай, я прерывал работу и отправлялся на кухню, и теперь сделал то же самое, — стало быть, и мною управляли. Я побледнел, развернулся и пошёл обратно в студию...

Шум в голове, где-то выше потолка.

<...>

2006-й июнь, 6-й день

Сегодня я проснулся в девять часов утра.

Открыл глаз...

Что-то изменилось. Я сошёл с кровати и некоторое время созерцал то, что выхватило моё зрение: ободок зеркала, в котором отражалась полка с бордовыми энциклопедическими томами, и рядом — карточка с изображением профиля Афанасия Никитина. Та самая, которая когда-то не давала мне покоя? Нет. Откуда она взялась? Я стал передвигаться по комнате вверх-вниз, вправо-влево и внимательно рассматривал каждую вещь, которую мне удавалось заслонить. Все предметы напоминали теперь планиметрические фигуры, но я легко узнавал каждый из них; выходит, эта карточка оказалась единственной новой (старой) вещью, и, безусловно, несла какое-то тайное значение.

Потом отправился в плоскость студии. Закрытые холсты превратились в белые прямоугольники,

и когда я убирал с них материю, мне требовалась целых полминуты, чтобы только разглядеть холст, потому как мой глаз видел по отдельному его квадрату. Та незначительная часть моих полотен, которая когда-то была написана с соблюдением традиционной перспективы, утратила её и ничем уже не отличалась от всего остального. Признаю, меня не так сильно это огорчило — в своём новом выражении было даже ещё лучше; если сам мир не румянился здоровьем, могло ли это распространиться на моих полотнах?

Вообще по какой-то причине мне совершенно не хотелось удивляться тому, что происходило, и в последствии, я думаю, мне с лёгкостью удастся держать себя в узде — я буду испытывать безразличие даже тогда, когда этот мир сильно постареется удивить меня своей причудливостью. Но откуда я знаю о его намерениях? Не знаю.

Потом... я заслонил окно. Я чувствовал, что моя Таня там, внизу, но не мог увидеть её, потому что не способен был высунуться и посмотреть вниз, как раньше; я, пожалуй, и не хотел. Этот мёртвый профиль, вокруг которого стекались прохожие. Таня не должна была быть профилем, потому что я любил её... раньше. А теперь ничто, даже её смерть, не вызывала у меня ни капли страдания. Я видел лишь квадратный участок неба; одна его половина голубая, а другая — с кружевной облачной поволокой, — словом то, что находилось перед моим глазом.

Чуть позже линия входной двери завибрировала от того, что кто-то стучал, а затем я почувствовал, как из-за неё показались двое. На одном белел бумажный халат «Скорой помощи», другой был в милицейской форме. Я не мог открыть им дверь, потому как теперь не воспринимал замка на ней, вот почему они попросту вошли сами.

В продолжение всего дня они задали мне кучу разных вопросов, (я посчитал — ровно 117 штук, а в минуту — в среднем по три), и всё время, когда заслоняли меня, я видел в глазу подозрение.

Я тоже подзреваю себя, но почему я не помню, как выбросил её и ссоры, которая должна была бы этому предшествовать? Будто кто-то вырезал это из круга моей головы.

Так или иначе, это только кажется, будто она упала с высоты, а на самом деле, — и я уже говорил это, — её просто не должно было быть здесь. Вот и всё.

Теперь я должен завершить картину. Я рассчитывал, что она будет готова сегодня к полудню, но когда намеревался сделать последний мазок кистью, что-то остановило мою руку; я сел в кресло и даже не заметил, как заснул, а когда проснулся, ощутил волнительную потребность немедленно выйти на улицу. С того момента прошло уже ровно 17 часов и 22 минуты, утро зреет и набухает, точно несколько сотен весенних почек на ветках, но я так и продолжаю без усталости ходить туда-сюда по змеистым, сцепившимся друг с другом улицам. Всё думаю о том, что мне осталось сделать и хочу ли я этого на самом деле. Последний штрих и всё начнёт раскладываться в динамическую идиллию: конверт для писем превратится в коробку с теннисными туфлями, монеты — в лучи восходящего солнца, журнальная страница — в книгу, из двери

выправится зеркальный шкаф и так далее и так далее... Мир снова станет трёхмерным.

Я шёл по мостовой, и прохожими были мне только сияющие фонарные столбы. Все, все вокруг долго готовилось к тому, что я собираюсь сделать, — видно, никто не жаждет внезапных изменений: город умер, но не по причине, что было ещё слишком рано, — невидимая рука убрала с улиц застывших людей и не вернёт их обратно, пока не произойдёт это. Заботливо убрала, для того, чтобы с ними не случилось того, что случилось с Таней...

Сегодня мою руку остановило сомнение, и всё же странный сон, который я увидел, заснув в кресле, лишь подтвердил неизбежность того, что должно произойти. Я ехал в поезде и вышел в тамбур для того, чтобы посмотреть на помощника машиниста: тот сидел возле автоматических дверей и регулировал спрадник — двустворчатый, как жилище моллюска, вделанный в пол железный бугор, на котором помощник, сидя, балансировал в такт покачивающемуся вагону, чтобы поезд не сошёл с рельс. Солнечный свет, проникавший через пыльное с потёками ржавчины стекло, золотил этому человеку лысину и венчик рыжих волос по краям; его рабочий халат, длинный и синий, как у гардеробщика, то и дело хмурился на спине десятками складок-морщин. Помощник замечательно регулировал спрадник, так умело сдерживал поезд от сильных покачиваний, что этому можно было только восхититься, но вдруг произошло недоразумение: спрадник со скрипом качнулся, ещё раз-другой шевельнул створками, а потом я понял, что помощник проскальзывает, и поезд ему больше не подчиняется. Тут же в динамике послышался строгий голос машиниста, начавший перечислять наказания, которые последуют за неумелое использование спрадника. Не унимался он довольно долго: «... сначала ты разовьёшь память, выучив наизусть роман Достоевского «Бесы», затем напишешь в тетради слово «спрадник» пять миллионов раз, затем столько же подтянешься на турнике — это позволит тебе развить мозжечек, затем, затем, затем, затем...» — голос становился всё более занудным и кое-кто из людей, вышедших в тамбур, даже рассмеялся. В то же время помощник сохранял полное спокойствие, так и сидел, отвернувшись, как будто эти слова не имели к нему никакого отношения. Поезд остановился у платформы, и автоматические двери открылись — за ними показался машинист; это был мужчина серьёзный и уверенный в себе, но всё же приветливый, и вот этого никто из нас не ожидал.

— Я ни в чём не виноват, здесь какая-то поломка, — заявил помощник.

— Хорошо, давай посмотрим.

Солнца уже не было видно, и через запутавшиеся ветви деревьев я мог видеть однородную кучевую мозаику пасмурного неба. Двое мужчин развинтили на спраднике несколько болтов и вызволили из пола левую его створку. (В полу виднелась теперь чёрная полулунка).

— Да, и правда поломка! Видишь, он немного покорёжился?

— Ну а я что говорил, — помощник утвердительно кивнул.

Пока они меняли испорченную часть, с другой стороны по высокому холму прогрехотал поезд.

— Мы никого не задерживаем? — спросил кто-то.

— Что вы, конечно нет, — ответил машинист. Руки его были в масле, — здесь вокруг одиннадцать свободных путей.

Когда работа была закончена, один из пассажиров — парень, стоявший впереди меня, держа под руку свою девушку, и всё это время внимательно наблюдавший за происходящим, протянул машинисту сто рублей.

— Зачем это?

— Можно я куплю испорченную часть?

Тот пожал плечами.

— Пожалуйста, если она вам нужна...

Спустя минуту помощник снова уселся на спрадник, и поезд двинулся дальше. Солнце вышло на волю; я прошёл в вагон и, расположившись напротив парня, купившего левую створку спрадника, осведомился, зачем она ему понадобилась.

Парень улыбнулся. Я узнал себя. И подобно тому, как за чертами девушки я тщетно старался угадать Таню, так же и он, (то есть я), старался ответить, схватить губами хоть слово, но не мог издать ни звука, и я вдруг поймал себя на том, что сам уже мысленно помогаю ему... самому себе, придумывая ответ...

Я пробуждался, и снова испытывал то самое чувство, которое до этого посещало меня лишь однажды, лет десять назад: тогда я проснулся и сказал себе, что грядут перемены... и это невыразимое облегчение, вдыхавшее в меня свежий воздух, — я не знал причин его, но надеялся, что оно останется со мною дольше, а мириады истин, устав развенчивать и надирать друг друга, прилягут ненадолго и сольются в то, чего никогда не могло быть.

г. Москва

Николай Ерёмин Меж нами — ЖИЗНЬ

К 65-летнему юбилею!



Стихи Николая Ерёмина подкупают своей искренностью, исповедальностью, присущим самой их природе музыкальным ладом. Не случайно столь многие из них стали популярными песнями. Проза же этого поэта — иронически заострена, приправлена гротеском и парадоксом, злободневна и причудлива одновременно. Без Ерёмина, поэта, прозаика, редактора, издателя, невозможно представить себе литературную жизнь Красноярска — в её прошлом, настоящем и — уверены! — в будущем. Здоровья и благополучия Вам, Николай Николаевич! Новых книг, новых благодарных читателей и благосклонного неба над головой!

Редакция «ДиН»

Девочка и скрипка

Эти люди — цены изменяли.
Эти люди — скрипку уценили.
Струны позолоченные сняли,
А колки, конечно, обронили...

Скрипка в полусумраке лежала
И разочарованно пылилась...
Девочка случайно забежала,
Разглядела скрипку, удивилась —

И свои незвонкие монеты
Этим пыльным людям отсчитала...
К мастерам ходила за советом,
Починила скрипку, приласкала.

И когда играть она училась,
Звуки ей легко-легко давались;
Скрипка вместе с девочка лучилась,
А плохие люди — забывались...



Ни спички нет. Погашена свеча.
Стакан вина бессонной ночью выпит.
Поэт сошёл с ума — и, бормоча,
При свете звёзд пешком пошёл в Египет.

Увы, кому нужны его слова?
Он был и есть — один — на целом свете.
Всё горячее под солнцем голова.
Листики поэм разбрасывает ветер...

Уходит он — от счастья, от беды,
Чтоб жизнь остановить на половине...
И не стакан вина — стакан воды
Мерещится ему в его пустыне.



Вот и чахнет плоть моя земная...
Одинокий, посреди Руси
Я не к Богу, я к Тебе взываю:
Милая, помилуй и спаси!

Гаснет разум — пишешь ли, читаешь,
Слабый отблеск там, на небеси...
Для меня ты всех умней одна лишь.
Милая, помилуй и спаси!

Видишь, как в душе и в мире пусто —
Только звёзды да огни такси...
Милая! Верни былые чувства!
Позови, помилуй и спаси...



Меж нами — жизнь, сомнения и муки.
Ты на восход глядишь, я — на закат.
Друг друга отпускают наши руки,
И вот — никто ни в чём не виноват.

Заходит солнце, и луна восходит.
Бег времени, увы, необратим.
Но — в одиночестве и при народе —
Люблю тебя и знаю, что любим...

И перед тьмой вселенскую рыдая,
Вновь повторяю на закате дня:
Забудь меня, забудь меня... Родная!
Любимая! Не забывай меня!



Осенние, дымят костры листья...
Бегут сквозь дым в слоистом полумраке
Навстречу мне бездомные, увы,
Голодные, холодные собаки...

Как много их, бродячих, развелось!
(Здесь был посёлок, а теперь не стало)
В глазах собачьих — ненависть и злость,
В зубах — слюна враждебного оскала.

Бегут сквозь дым, который им не мил,
Дичают, превращаясь в волчью стаю...
О, я бы всех собак усыновил,
Да сам, как блудный сын, пути не знаю...

Всё гуще дым... Живей горит листва...
Бегут собаки... Люди прячут лица...
И я спешу... Кружится голова...
Скорей! Здесь может всякое случиться.

г. Красноярск

117

ЖИЗНЬ

Николай Ерёмин ■ Меж нами



Юрий Тубольцев Заабсурдые

поэтика развёрнутого абсурда

Резонанс строк

— Судя по линии снега, тут описана
Какая-то перекошенная виртуальность
И слишком прямая реальность, —
Прочитал, глядя на листок с многоточиями,
Учёный Пинг Винг и мокнул листок в снег ещё
раз.

— Форма некрутая, нелепица какая-то, —
Глядя на сугроб с отпечатками листка, решил
Снеговик.

— Может, поднести этот листочек ко льду и
посмотреть, что отразится? — предложило Эхо.

Но подул ветер, листочек выскользнул и улетел.

— А ветру-то листок зачем, он же не умеет
читать, —

Удивился Пинг Винг.

— Не умеет, — подтвердило Эхо.

Легенда о дереве

Однажды одно распятые превратилось в дерево.
Потомки этого дерева со временем образовали
лес. Легенда гласит, что, если люди будут плохо
молиться, лес этот может обратно превратиться
в распятыя.

Точилка для воды

Буратино мечтал заняться подводным плаванием,
но у него не получалось.

Инструктор сказал, что нос слишком длинный.

Прямолинейность

— В этом круге где-то есть угол.

— Найди.

— И найду!

Бумажные беглецы

— Слушай, писатель! Что ты вообще имел в
виду?

— Даже не знаю, надо спросить у моих персонажей.

— А я думала, это ты сочинил.

— Да, но, оказавшись “на бумаге”, герои стали
жить своей жизнью и думать по-своему. Им уже
нет дела до того, что я в них вкладывал.

Снег и Вика

— Слушай, снеговик, что ты делаешь летом?

— А что такое лето?

— Время, когда растёт морковка.

— Морковкой почему-то называют мой нос, но
он не растёт.

— Ты, вообще, где живёшь? Элементарных
вещей не понимаешь.

— А ты, я уверен, не знаешь, что такое снег.

Неодарвинисты (разговор двух бибизян)

— Ты веришь в чудо?

— Нет.

— А мне рассказывали, что мы произошли от
людей.

— Не, вряд ли, живут они как-то по-тупому,
даже бананы не с той стороны чистят.

— Ну да, действительно, есть мнение, что раз
за последние 100 лет ни одна обезьяна не деградировала
в человека, значит это в принципе не возможно.

— Ты веришь в чудо?

— Нет.

— А я верю, что люди когда-нибудь обратно
станут обезьянами!

Взаимность

— Ты кто?

— Пастух облаков.

— Ты можешь нарисовать дождь зимой?

— Могу, но зачем?

— Ладно, не надо. Сделай так, чтобы в одной
капле дождя сконцентрировался весь мир!

— Для этого не нужно ничего делать. Каждая
капля — это вселенная...

— А можно, я тоже буду пастухом облаков?

— Конечно...

Разговор двух часов

— Как думаешь, если все люди на земле вдруг
забудут завести часы, время действительно остановится?

— Да, если время вовремя не заводить, оно не
будет дальше идти...

Зри в корень

— Ты кто?

— Облако.

— Я тебя сейчас разоблачу.

Не лепестками едиными

Однажды парасёнок нашёл хрюзантем и победил
показывать его мишке и зайчику.

— да это же ромашка! — сказал зайчик

— угу, тут ромашковый мёд делают, — подтвердил
мишка

— ничего вы в цветочках не понимаете! — сказал
парасёнок и пошёл искать другие хрюзантемы...

Забывалка

Однажды незабудка забыла, кто она такая.

— а ты не знаешь, кто я? — поинтересовалась
она у дракончика

— если ты забыла, кто ты, значит ты уже не
незабудка

— а кто я?

— наверно, забывалка

Так появился новый цветочек — забывалка. Единственный и неповторимый!

Квакушки

Однажды лягушка обнаружила клюкву.

— клюква, а ты почему не квакаешь? — поинтересовалась лягушка

— а букварь и москва — тоже не квакают

— ну, это ещё не известно, — сказала лягушка и пошла искать москву или букварь. Действительно, интересно, квакают они или нет...

Дведевочки

Одна девочка посмотрела сразу в два зеркала и поняла, что она — две девочки...

Кощеева тупость

Однажды Кощей Безбашенный встретил Ивана Бессмертного.

— где мудрость твоя хранится? — спросил Кощей у Ивана

— а у меня просто много жизней, — ответил Иван, если в одной жизни я натуплю, то начинаю жить в другой, в другой натуплю — перехожу жить в третью и так до бесконечности

— а если не тупить? — поинтересовался Кощей

— неа, тупость — она бессмертна! — ответил Иван

И Кощей призадумался...

Соревновались

Однажды две мухи соревновались, кто сильнее врежется в окно.

Рядом была открытая форточка, но это было не важно. Мухи соревновались...

Школьник-старик

Сергей почему-то проснулся не как обычно, в семь, а на два часа позже. У него почему-то болела голова и ныли кости. «Ладно, в школу не пойду, буду готовиться к вступительным экзаменам в институт», — решил он. Но, почему-то вместо этого пошёл на улицу и сел на лавочку, рядом с домом. Около него сидел старичок.

— дедушка, вы зачем? — хотел он спросить у старичка, но понял, что старичок — это он...

Самый важный поединок

— папа, я хочу вызвать на поединок самого себя! — сказал маленький ниндзя

— как это? — удивился папа-ниндзя

— самый важный поединок в жизни — это поединок с самим собой, — ответил маленький ниндзя и, на всякий случай, спрятал от папы подальше учебник философии.

Ы

Он многозначительно молвил: Ы

Она, ещё более многозначительно, ответила: Ы

К ним подлетел ангел и тоже сказал: Ы

Ы — было у них в душе. Они чувствовали это Ы.

И было Ы. И Ы витало везде!

Чайка Джонатан Л.

— а сколько ещё грызть?

— ещё грызть и грызть...

— а зачем грызть?

— ну, мы же бобры

— а зачем это?

— чтобы грызть...

Эскиз

В солнце вонзился одуванчик. Подул ветер, и лучики одуванчика переплелись с лепестками солнышка.



Однажды стёршийся иероглиф влюбился. Чувства к ненаписанной мечте воспламенили его, и в библиотеке начался пожар. Каждая буква каждой книги почувствовала, что такое любовь, и потушить их было уже не возможно...

Путь мастера

Сухим разломом китайской кисточки он писал без чернил. Его называли лучшим каллиграфом Японии, а он считал себя безграмотным...

Неробот

— сколько будет дважды два?

— пять

— а мне кажется, что семь

— а почему не пять?

— семь лучше

— а может, всё-таки четыре?

— нет, я не робот...

Хвостоборец

Писатель-хвостоборец не ставил запятых.

Бесхвостыми шедеврами боролся он за мир!

Солнцесфальт

— почему асфальт холодный?

— солнце сегодня тупое

— давай его заточим

— нельзя, солнце сегодня чужое

— но меня не греет асфальт

— а ты закутайся в два асфальта...

Семечки

— взвесьте мне, пожалуйста, килограмм оди-ночества

— вы так долго стояли в очереди, чтобы так мало взять?

— а я ещё одновременно стою в двух других очередях

— наверное, за счастьем?

— не угадали?

— а за чем же ещё?

— за семечками

— на улице семечки грызть не прилично!

В любви нужны лишь столкновенья

Однажды
Влюбились
Друг в друга
Два трамвая.
Но рельсы,
Чувств не понимали.
И машинисты —
Чувств не понимали.
Мимо, мимо, мимо.
Мимо друг друга
Всегда трамваи проезжали...
м м м м
и и и и
м м м м
о о о о

Генеалогия

Волшебник сидел около берёзы и мечтал.
— а хочешь, я угощу тебя берёзовым соком? —
предложила берёза
— давай, а я исполню любое твоё желание —
ответил волшебник.
— я хочу, чтобы из моего семени вырос дуб —
сказала берёза
— у семени не могут быть чужие корни, — отве-
тил волшебник...

Учитель Хрю

Теория и практика.
— сейчас будет лекция о тишине, — сказал учи-
тель Хрю и замолчал на 1,5 часа. Ученики тоже мол-
чали. Они пытались понять, что такое тишина...

Непохожее «я»

— как познать себя? — спросили ученики у учи-
теля Хрю
— найдите десять различий между собой и
своим отражением в зеркале, — ответил старик
Хрю

Зеркало учителя Хрю

— что увидит заглянувшее в себя зеркало? —
спросил у учеников учитель Хрю
— то, что напротив, — ответили ученики
— нет, себя, — сказал старик Хрю и попросил
всех прийти на следующую лекцию с зеркалами

Мудрость учителя Хрю

— почему всё, что вы говорите, пустые слова? —
спросили ученики у учителя Хрю
— черпать можно сколько угодно, но зачерпнуть
ничего нельзя, ведь мудрость черпается в двойное
дно бездонной жизни, — ответил старик Хрю

Шахрюархат

Он придумал новую шахматную фигуру и
назвал её «парасёнок». С тех пор началась новая
эпоха в мире шахмат... Шахрюархат...

Гений

Он считал себя великим писателем. Хотя... Он
был автор только одной книги. Но эту книгу он

перечитывал всю жизнь. Это была его записная
книжка...

Постматигра

— мат!
— давай играть дальше
— зачем?
— мы живём в такую эпоху, если не продолжать
играть в шахматы после мата, ты не поймёшь, что
такое двадцать первый век...

Ктулху фхтагн

— зачем ты расставил свои фигуры — как
шашки, а мои — как шахматы?
— ты будешь играть по правилам шашек, а я
против тебя — по правилам шахмат
— но зачем?
— чтобы игра была похожа на жизнь...

Противник тоталитаризма

— а давай у нас в шахматах будет по два
короля
— зачем?
— а я принципиальный противник тоталита-
ризма!

Парасёнок

— ты парасёнок?
— неа, я — пара сёнок
— а что такое сёнок?
— это полуя
— а ты, значит, дважды сёнок
— ага, я парасёнок...
— а бывают триждысёнки?
— конечно!
— а четырёхждысёнки?
— нет, слишком много сёнок получается...

Особозабавный разыскивается

— так... значит это Вы Рогакрыл Носопотамо-
вич Клювохобот ака Носохвост?
— а как Вы догадались?
— а Вы на него похожи!

Выхухоль

— а можно с тобой на ты?
— нет, нельзя. Я же выхухоль!
— а тыхухоли бывают?
— конечно.

Тыхухоль

— а Вы не подскажите, который час?
— я не выхухоль! Я тыхухоль! Не надо мне
выкаты!
— извините, а я Вас за выхухоля принял
— тыхухоли совсем другие. Не понимаю, почему
все нас путают...

Тыдра и Выдра

Жили были две подружки. тыдра и выдра.
Жили — не тужили. И вдруг однажды тыдра
неожиданно заявила, что выдр — не существует.
И что выдра — это тоже тыдра!
Выдра возмутилась и... пошла на конфрон-
тацию. Она заявила, что тыдр — не существует,
а бывают только выдры. И с тех пор жили были
две уже не подружки, тыдра и выдра...

Любопытный свинёнок

— а правда, что, кроме свинок, есть ежи?
 — неа, ежи — это тоже свинки
 — а кто не свинки?
 — да все на свете свинки. Спи, сыночек, спи...

Нособытизнание

— сколько носоножек множек? — поинтересовался носокрылый слонохвост у учёной сороконожки
 — нособытие не определяет носознание, — множек подумав, ответила учёная сороконожка...

Отражение ЁЖИКА

— это, наверное, ежиконос, — сказал зебронос
 — нет, это ежикокрыл, — сказал рожекрыл
 — нет, это хоботоежик, — сказал хобокрыл
 — нет, это ежиконог, — сказал крылоног
 — нет, это рогоежик, — сказал рогохвост
 — ну, кто же я? — удивился ёжик, глядя на себя в зеркало
 — ты — зеркало, — ответило зеркало...

Просто ёжик

Зебронос — ежиконос, рожекрыл-ежикокрыл, хобокрыл — хоботоежик, крылоног — ежиконог, рогохвост — рогоежик, а если просто ёжик, то кто? — подумал любопытный ёжик и задумался...

Четыресёнок

— парасёнок плюс парасёнок — будет четыресёнок! — немного подумав, сказал любопытный ёжик парасёнку
 — ты бы лучше ёжиков складывал, — ответил удивлённый парасёнок

Человек-бюллетень

Человек-бюллетень никогда ни за кого не голодовал — принципиально.
 Он считал, что тени от бюллетеней не оттеняются ничем, кроме случайности. Но вдруг однажды он всё-таки пошёл на выборы. Он хотел проголосовать против всех, но... Его спутали с бюллетеню и проголосовали им самим...

Философики

— во что ты веришь?
 — в Микки Маусов
 — я тоже в них верю, а ещё?
 — а ещё я думаю, что весь мир — это деревня мультяшкино, а все люди — персонажи мультяшников
 — я тоже так считаю...
 — а ты веришь в религию?
 — а что это такое?
 — я тоже не знаю, что это. Воспитывался в СССР.
 А во что ты веришь ещё?
 — я верю в искусство
 — как это?
 — ну, я думаю, что искусство делает мир светлее, воспитывает людей
 — я тоже так думаю
 — так, наверное, все думали в СССР
 — наверно...

Пятачок

— ой! А почему у меня пяточок вместо носа? — удивился он, глядя в зеркало
 — а я свиношек люблю — ответило зеркало
 — но я же не свиношка
 — а я прикалываюсь, — ответило зеркало и засмеялось...

Постмодерн парасёнок

— нарисуйте меня, пожалуйста, так, чтобы никто не догадался, что это я, чтобы я был на себя вообще не похож, — попросил парасёнок у художника
 — а зачем? За портрет ведь надо будет заплатить.
 — а это буду я в стиле постмодернизм! — ответил довольный своим остроумием парасёнок

Свиносapiенс

— а люди — это парасята? — поинтересовался у мамы парасёнок
 — нет, люди — это свиньи! — ответила мама...

Пятачок или нос

— а почему у людей носы, а не пяточки? — поинтересовался у мамы парасёнок
 — это у нас носы, а у людей — пяточки — ответила мама...

Сложноносие

— а щёлкнуться по носу — это как? — поинтересовалась утконосиха
 — это когда ты не просто щёлкаешь по носу, а сложно щёлкаешь по носу, — ответил утконос и щёлкнулся по носу утконосихи.

Хрюня

— я таким тоже был когда-то, это хрюня! — обрадовался хрюня, глядя в зеркало
 — это ты, — сказала зеркало
 — нет, теперь я совсем другой. Я мыслю иначе. У меня нос, а не пяточок. — сказал хрюня, а зеркало хрюкнуло...

Хрюшково

— а я умно хрюкаю или глупо? — поинтересовался у мамы парасёнок
 — глупота и умнота — удел человекней, а мы, парасята, хрюкаем хрюшково, — ответила мама

Солнцелов

Он поймал солнышко и щёлкнул его по носу. Солнышко щёлкнулось по носу и засмеялось.

Тигробыкоголосие

— как-то не тигролосьно! — сказал тигролось
 — это как так? Не тигробычно, что ли? — поинтересовался тигробык
 — это не тигролосьно... — ответил тигролось...

Хрюди

— а зачем хрюди создали мир, в котором не хрюкают? — поинтересовался хрюшка
 — а мне всё равно, — ответила мама
 — а мне нет, — сказал хрюшка и пошёл учить хрюдей хрюкать...

Хрюмохрюпиус

— а хрюди как мы хрюкают? — поинтересовался у мамы хрюшка
— хрюди вообще не хрюкают — ответила мама
— тогда какие же они хрюди? — удивился хрюшка

Хрюдь

— ты хрюдь? — поинтересовался хрюшка у человека
— неа, я просто людь — ответил человек
— а я и говорю, хрюдь — обрадовался хрюшка

Хрюбы

— а хрюбы тоже хрюкают? — поинтересовался хрюшка
— хрюбы в воде хрюзырикамигавариваются — ответила мама
— значит, на суше они просто хрюкают
— нет, на суше они хрюкают молча, — объяснила мама.

Хрюшкам свинья не товарищ!

— а парасята — это тоже хрюшки — поинтересовался хрюшка у мамы
— да, парасята, свиньи и хрюшки — это одно и тоже
— нет, свиньи — мне не товарищи! — возмутился хрюшка.

Хрюшкалет

— а что, когда летаешь, хрюкать сложно? — поинтересовался у мамы хрюшка
— хрюшки не летают, а птички — не хрюкают — ответила мама
Хрюшка подпрыгнул, хрюкнул и шлёпнулся в лужу.
— хрюшки летают! — сказал он.

Крыскохрюшки

— а если крысок научить хрюкать, они перестанут крыситься? — спросил у мамы хрюшка
— а что такое крыситься? — удивилась мама
— ну, раз хрюшки — хрюкают, значит крыски — крысятя, — объяснил хрюшка...

Хрюсофы

— а что говорят о хрюдях великие хрюсофы? — поинтересовался у мамы хрюшка
— чем крупнее хрюсоф, тем больше ему на хрюдей нахрюкать! — объяснила мама.

Домашние хрюди

— а зачем хрюшки приручили хрюдей? — спросил хрюшка у мамы
— просто весело, когда есть домашние хрюди — ответила мама
— а дикие хрюди бывают?
— нет, но хрюди почему-то считают дикими хрюбизьян, хотя те такие же, как и они...

Хрюнглиш

— а зачем хрюди хрюкают, они же не хрюшки? — поинтересовался у мамы хрюшка
— а это просто хрюдинственный разумный способ общения — объяснила мама.

Хрютература

— а кто самый хрюкающий писатель? — поинтересовался у мамы хрюшка
— больше хрю, это не значит лучше, — объяснила мама
Эту миниатюрку прочёл читатель и не понял.
— и о чём же ты написал? — поинтересовался он у Юрия Тубольцева
— вообще, Юрий Тубольцев — самый хрюкающий писатель, я прежде о себе хотел написать, а потом нашёл другой смысл в этом, она объяснила хрюшке, что не надо мерить текст количеством хрю, а стоит обратить внимание на качество, поэтому так и ответила — ясно?
— не ясно, — заявил читатель и стал читать другого писателя...

Писатель

— я придумал роман из одного слова, и это слово — хрю! — сказал маме хрюшка
— когда ты научишься писать вообще без слов, только тогда ты станешь писателем, — ответила мама...

Хрюбовь

— а что такое хрюбовь? — спросил у мамы хрюшка
— это тема не для хрюкания — ответила мама

Шлангбаум

— а почему в картине Дали «Слон на комариных ногах» у слона шланг вместо пяточка? — удивился хрюшка
— пяточок не больше, и не меньше пяти, Дали считать не умеет — объяснила мама
— пойду в Музей, исправлю эту картину — решил хрюшка...

Новое поколение выбирает паркер

Человек-карандаш всегда себя стирал. На другом конце у него был ластик. Он считал, что на свете и так написано уже слишком много слов, и, если слова не стирать, то писать уже будет негде.
Но вдруг появился человек-ручка.
— пардон? Вы... вы... вы... — человек-карандаш даже не знал, что сказать...
— я — человек-ручка... — ответил человек-ручка и обвёл только что написанные человеком-карандашом слова
— как? Но зачем вы это сделали? Теперь же моё творчество нельзя будет стереть? — возмутился человек-карандаш
— а это уже не Ваше творчество, а моё! — возразил человек-ручка
— человек карандаш, удивлённый происходящим, начал писать и... сломался.
Больше после этого он вообще никогда не писал...

Люди и гуси

Он был современником Пушкина и Ломоносова, у него даже были дальние родственники из хозяйства Екатерины... Все были гуси как гуси, а он... изучал людей. Читал Лермонтова и Некрасова. Однако...

— людям вообще не стоит писать! — считал он... Да, кстати, гуся звали Никифор Петрович...

Никифор Петрович мечтал обсудить этот вопрос в дворянском собрании. А потом — записаться на аудиенцию к его императорскому величеству и, заручившись поддержкой благородного общества, — ...отменить письмо...

— вы гусь утончённый, наверняка вам не чужда поэзия — наверняка скажет, сидя в роскошном пушистом кресле, Никифору Петровичу государь

— о! Да... — ответит Никифор Петрович. Но позвольте... перья, которыми вы пишете. Они же, они же... И тут он многозначительно промолчит... Государь всё поймёт сам...

Вдруг... Никифор Петрович проснулся... И... опять наступил 21 век. Увы...

— за что бороться? Зачем жить? — безысходно вздохнул он...

Сон

Он любовался собой в зеркале. Вдруг его отражение исчезло.

— самый красивый, что ли? — услышал он голос зеркала

— да, и самый умный! — немного удивившись, ответил он

Вдруг в зеркале вместо себя он увидел обезьяну.

— ну и шуточки! — засмеялся он

— ой! Обезьяна! — заорала его жена, глядя на него

— это зеркало прикалывается! — объяснил он

— говорящая обезьяна! — ещё громче заорала его жена

— возмутительно! — сказал он и проснулся...

Иероглиф клякса

— чем тоньше каллиграф, тем острее смысл — сказал ученик

— наоборот, чем неразборчивее ты пишешь, тем лучше, а самый ёмкий иероглиф — это иероглиф клякса — ответил учитель Хрю

Дзыньдзыньизм

— всё на свете звенит — говорил великий китайский мастер Дзынь-дзынь. И всё вокруг, действительно, звенело.

Пустозвонство

— всё, что ни говорится — пустозвонство! — говорил великий китайский мастер Дзынь-дзынь.

— даже Ваши слова? — спрашивали у него ученики

— «дзынь-дзынь» — отвечал им великий китайский мастер Дзынь-дзынь.

Великий китайский мастер Дзынь-дзынь

— чем звонче учитель, тем он тише — говорил великий китайский мастер Дзынь-дзынь, а ученики его даже и не слышали

Дзынизм

— перезвон мудрости — это тишина — говорил великий китайский мастер Дзынь-дзынь про себя, но ученики его всё равно слышали

Незвенящая Незвеняна

Пришла однажды царевна Незвеняна уму разуму у великого китайского мастера Дзынь-дзынь учиться.

— звени! — сказал царевне Незвеняне великий китайский мастер Дзынь-дзынь

А царевна Незвеняна незазвенела.

С тех пор мудрость великого китайского мастера Дзынь-дзынь стала известна не только в Китае, но и во всём мире.

Дзынь-буддизм

— мы Вас не понимаем — сказали великому китайскому мастеру Дзынь-дзынь ученики

— на то он и Дзынь-буддизм, чтобы его не понимали — дзынькнул Великий Китайский мастер Дзынь-дзынь и его протяжный дзынь услышали даже те его ученики, которые были далеко в горах, но, как всегда, не поняли, зачем это дзынь-дзынь звенит

Дзынь-дзынь

— однажды великий китайский мастер Дзынь-дзынь дзынькнул

— Вы постоянно дзынькаете, а не однажды — сказали ученики

Дважды дзынь

За глубокомысленное дзыньканье великого китайского мастера Дзынь-дзынь прозвали дважды дзынем. Но великий китайский мастер Дзынь-дзынь отрицал, что он дважды дзынь.

— дзынь удваивать не стоит — скромно говорил великий китайский мастер Дзынь-дзынь

Кенгуру отдыхают

Великий австралийский подпрыгивальщик Шлепнапопу всегда подпрыгивал выше всех.

— а себя я всё равно не перепрыгну — говорил великий австралийский подпрыгивальщик Шлепнапопу

Й

— буквой Й можно объяснить весь мир! — говорил выдающийся японский мыслитель Й и говорил «Й». А ученики его слушали часами...

Выдающийся японский мыслитель

— сочините песню из буквы «Й» — выдал задание ученикам выдающийся японский мыслитель Й. Но ученики у него этого задания не взяли.

непроизносимое Й

— чтобы понять и постигнуть «Й», надо «Й» не произнести — сказал ученикам, не произнеся «Й», выдающийся японский мыслитель Й. Ученики «Й» не услышали и поняли и постигли «Й»

полифониИя

— Й можно произносить двухстами различными способами — говорил ученикам выдающийся японский мыслитель Й, а сам почему-то одинаково произносил «Й». Но ученики слушали «Й» каждый раз по-новому.

Великий Неуч Йо

Скромный гон-конгский великий Неуч Йо мечтал стать образованным. Но не он ходил к учителям, а учителя ходили к скромному гон-конгскому великому Неучу Йо и... мечтали стать неучами.

Зоосвестизм

На дворе был 29-й век. В моде господствовал зоосвестизм. Люди переодевались в зверюшек.

— а, правда, что в 21-м веке даже термина «зоосвестит» не было? — удивлялись учёные и искали в нашей эпохе следы зарождения зоосвестизма...

Наполнение Дзын

— а дзынькает только то, что пусто? — спросили ученики

— да, без пуста дзынькнуть не возможно. В слове «дзынь» есть много пустых мест, которые каждый заполняет по-своему — объяснил великий китайский мастер Дзынь-дзынь

гороха.net

— как жаль, что в интернете нет гороха
— а почему?
— принцесс от лжепринцесс не отличить...

Бараноосел

Однажды бараноосел посмотрел в зеркало и увидел там ослобарана.

— вы осла с бараном перепутали! — сказал бараноосел зеркалу

— а ты учись смотреть на себя по-новому! — ответило зеркало

Дегустатор смыслов

Однажды дегустатор смыслов попал в заабсурдье. Заабсурд его проглотил.

— не все смыслы можно дегустировать, некоторые смыслы могут съесть тебя самого! — понял дегустатор смыслов.

Сверхзадача мимоцентризма

Они играли в мимофутбол, били по заворотью, но ворота были кругом.

В заворотье никто так и не попал...

г. Регенсбург, Германия

Валентина Гуркова**Праздник поэтов**

Лето — Палящий праздник.
К памятникам соберёмся.
Подтягивается молодёжь...
Может быть, напьёмся...
Соку. Да ты поймёшь...
Каждого жжёным боком
Солнечный глянец находит.
Кто-то ходит под Богом,
Кто-то — под Пушкиным ходит.
Пушкины запрудили
Улицы и проспекты.
Пушкиных запретили.
Пушкины — это секта.
Люди всё прибывали...
Словно к пеньку зверушки.
Праздник мы отмечали,
В полдень палили с пушки,
Что на горе-Покровке.
Пушкины-полубратья,
Летние полукровки,
Все — близнецы... Гадать я,
Нет, не хочу. Поэты
В легкой пыли, как в кляре,
Жарены. Перегреты...
Празднуйте, краснаяре!

г. Красноярск

Никита Кобелев

Учительница

1.

В городе N стояла поздняя осень. Это время года лучше всего идёт к его лицу. На нём появляется бледный румянец, от оголённых стволов и коричневых луж возникают неровные морщины, а обилие осадков и слякоти делают глаза города невероятно живыми, хоть и с тоскливым отпечатком. Это осеннее городское лицо начинает странным образом напоминать лицо русского интеллигента, смотревшего в годы революции на свою родину перед отъездом куда-нибудь на Запад в последний раз.

Но особенно лицо города N преображалось в то время, когда часовая и секундная стрелки соединялись в единую полосу, делившую циферблат на две ровные вертикальные половинки, когда машины ещё отдыхают в гаражах и на стоянках, когда сонные автобусы возят в своих пустых салонах одиноких рыбаков и непонятно, почему так рано вставших пенсионеров, когда на холме, словно Змей Горыныч, ещё мирно посапывает химический завод, а три его трубы-головы еле заметно дышат...

В этот предутренний крадущийся час на улице Комсомольцев на третьем этаже старой тёмно-зелёной хрущёвки под номером 19 горело маленькое окно. В шесть утра оно одно горело во всём доме.

Если бы люди умели летать, то они, подлетев к одинокому окну, могли бы разглядеть, что за письменным столом, стоящим перпендикулярно к оконной раме, в старом крутящемся кресле при свете настольной лампы сидит немолодая женщина. За нею видна аккуратно заправленная кровать и огромное количество полок с книгами, а за слегка приоткрытой дверью — кусок темной прихожей.

Но люди ходят пешком и чаще смотрят, опустив голову, себе под ноги, а не на небо, деревья, лица других людей и одинокие окна на третьих этажах. А потому никто в этот ранний час не видел, как Кошкина Катерина Ивановна делала пометки ручкой с красной пастой в 12-листных тетрадках. Как вы, наверно, догадались, она была учительницей литературы в средней общеобразовательной школе и в данный момент проверяла сочинения своих учеников.

2.

Катерина Ивановна вот уже несколько лет жила по строго заведённому распорядку. Её будильник всегда ровно в пять начинал громко ворчать, добиваясь пробуждения хозяйки, пока от нажатия указательным пальцем на его металлическую голову не замолкал ровно на сутки. Хозяйка его пробуждалась без труда, быстро заправляла кровать и шла в ванную, предварительно поставив на газовую

плиту чайник. После водных процедур она наливала в свою любимую кружку с нарисованной на ней коричневой лошадкой чай и отправлялась к окну, чтобы увидеть любимую берёзу, понаблюдать за птицами на фоне просыпающегося неба, а также послушать тишину, изредка нарушаемую мерным стуком поезда, доносившимся со стороны заброшенной лесопилки.

Около половины шестого она садилась за сочинения и следующие час двадцать проводила за чтением, исправлением ошибок и выставлением оценок. Катерина Ивановна очень серьёзно относилась к работам своих подопечных, всегда внимательно их перечитывала, где-то смеялась, где-то негодовала, но старалась всегда быть справедливой и в то же время снисходительной — когда ставила плохую оценку, она подробно писала в тетрадке, почему поставила именно эту оценку. Она считала, что утро — самое благоприятное время для работы: мысли ясны, а помыслы чисты.

Проверив тетради, она складывала всю кипу в чёрную сумку, довольно большую и бесхитростную в сравнении со стандартными дамскими сумочками, после чего быстро и ловко одевалась. В её одежде не было ничего такого, на чём бы стоило остановить внимание, за исключением потёртого тёмно-зелёного плаща. В нём Катерина Ивановна проводила большую часть года — с конца февраля по май и с конца августа до середины декабря. Этот плащ был куплен ещё в конце 80-х, в пору дефицита, когда большую партию товара завезли на химический завод. Тогда весь город N ринулся правдами и неправдами скупать в заводском магазине продукт залежалого советского текстиля, после чего в одночасье превратился в зелёное болото, потому что в плащах стало ходить всё женское население — и старые, и молодые, и толстые, и худые. Это был истинно советский продукт — по размеру и к лицу всем и каждому. Началась забавная фантазмагория: люди постоянно путали друг друга, мужчины, назначая свидание на улицах, постоянно обозначались, очереди в магазинах напоминали толстых гигантских гусениц, а гардеробщицы начали увольняться одна за другой из-за расстройства нервов, так как беспрестанно путали эти плащи, за что им приходилось выслушивать огромное количество недовольств и оскорблений от слабого пола.

Но потихоньку за два-три года тёмно-зелёные плащи исчезли — переместились в пыльные кладовки и на антресоли. Только одна Катерина Ивановна продолжала в нём ходить. И сегодня именно по этому тёмно-зелёному плащу, повидавшему на своём веку множество весенних и осенних дней, её и узнавали, завидев ещё издалека.

Фигура, которую облегал плащ, под бременем лет немного погрузнела, хотя природная стройность в ней ещё всё ещё жила. Руки учительницы уже были изрезаны морщинами, но мягкие пальцы сохраняли подвижность. На лице висели большие круглые очки в роговой оправе, отделявшие от всего остального мира её грустные серые глаза с маленькими ресницами. Лицо её ещё не подверглось мощной атаке старости, однако с каждым годом принимало всё более и более бледный цвет. Нос с продолговатой переносицей был похож на нос святых с икон, рот же казался небольшим, застывшим в вечной, еле заметной усмешке.

Итак, надев свой плащ и накинув на плечо сумку с тетрадами, Катерина Ивановна ровно в семь часов закрывала дверь своей квартиры и спускалась по лестнице к подъездному крыльцу, после чего квартира на полдня застывала в ожидании хозяйки. Ведь больше в ней никто не жил — ни муж, ни дети, ни собака, ни кошка... Кошкина Катерина Ивановна вот уже неизвестно сколько лет жила совершенно одна...

3.

За час, прошедший с того момента, как мы застали Катерину Ивановну за работой, в городе многое изменилось. Завод на холме уже дышал во всю грудь. Фонари, окончив своё дежурство, мирно передавали смену желавшему войти в свои права дневному свету. Количество запаха бензина и выхлопных газов в воздухе увеличивалось в геометрической прогрессии. Люди с заспанными и обреченными лицами покидали свои жилища, одним усилием воли заставляя себя спешить на остановки и автостоянки. Лицо города постепенно теряло поэтические краски и становилось всё более прозаичным, сосредоточенным: вечное сменялось насущным.

Катерина Ивановна выходила из дому в семь часов, а занятия в школе начинались только в восемь... Ей было далеко ехать? Нет, совсем нет. Школа находилась в десяти минутах езды от ближайшей остановки. Дело было в том, что Катерина Ивановна любила ходить в школу пешком и затрачивала на свой путь 40 минут, оставляя ещё 20 минут на подготовку к занятиям. Она не любила толкотню в автобусе, шум, давку и большие скопления людей с нехорошим настроением, а может быть, просто экономила. А может быть, дорога до школы была для неё очень дорога... Сложно сказать... Дорожная нить пролегла вдоль детского сада, тянулась сквозь улицу со старинными домами и институтами, парк с лежащими на лавочках жёлтыми листочками и памятником Грибоедову, а затем пересекала мост через NN-скую речку.

Детский сад в это время только начинал наполняться детьми. Тень какой-то первозданности витала над старым кирпичным зданием и всей прилегающей территорией в тот миг, когда Катерина Ивановна вдруг остановилась на минутку у забора, чтобы посмотреть на песочницы и выцветшие веранды. Рядом не было никого, стояла тишина. Легкий туман и осенний холодок мягко укутывали сырую землю и всё вокруг. Учительница вспомнила старую мамину колыбельную, под которую в её сознании то появлялись, то исчезали

игрушечные железные машинки, такие же самолетики с красными звёздочками на крыльях, ракеты и пароходики. Окружали всю эту детскую технику уснувшие яблони, а над всем пространством возвышался могучий тополь с редкими жёлтыми точками. Он был словно дуб у лукоморья, по цепи которого ходил кот учёный. Но взгляд Катерины Ивановны привлекло резиновое колесо, врытое в землю рядом с тополем. На нём вместе с опавшими листьями и комками грязи, лежал светло-зелёный бант, забытый, по-видимому, какой-то девочкой. Вдруг в душе у Катерины Ивановны на секунду всё сжалось, затрепетало, будто она услышала невероятно высокую и щемящую ноту... В этот момент раздался чей-то радостный крик, разорвавший тонкую материю тишины. Это крошечный ребёнок вошёл на площадку и увидел свою любимую железную красную коняшку. Он оторвался от родительской руки и бросился к ней, чтобы её разбудить, поздороваться и лихо оседлать. Учительница резко очнулась, посмотрела на часы, поняла, что непозволительно задержалась и поспешила дальше, коря себя за бездарно потраченное время.

Далее путь её пролегал через новые кварталы с гладко отполированными девяти- и двенадцатизэтажками, имевшими форму параллелепипедов. Она прекрасно понимала, что эти геометрически точные строения удобны и экономны, понимала, зачем они стоят и сверкают окнами, но в их окружении она начинала ощущать себя такой ничтожной и беспомощной, будто перед ней стояли не дома, а сонм великанов, готовящихся её раздавить. А потому спешила скорее пройти мимо и очутиться на своей самой любимой улице, названной в честь великого русского фельдмаршала Кутузова. Она шла мимо старинных построек XVIII и XIX веков, в которых когда-то жили дворяне, богатые купцы, высшего ранга чиновники и даже сам городничий. Катерине Ивановне всегда казалось, что именно в этом городе более 150 лет назад, городничий сообщил чиновникам знаменитое пренеприятнейшее известие: «К нам едет ревизор». Её почему-то это очень забавляло. Сегодня изменилось многое: дома постепенно теряли свой исторический облик и превращались в здания с современной отделкой, с множеством пластиковых окон, которые словно кричали: «Посмотрите на нас! Посмотрите, как мы открыты и прозрачны!».

Она шла мимо нависающих рекламных щитов и вывесок, мимо недавно возникших бутиков, крупных офисов. Поднимая глаза, она всё-таки видела сохранявшие ещё дыхание старины фонари, редкие цветущие мансарды. С сожалением смотрела на памятник полководцу, на голове которого в беспорядке лежало несколько ржавых листочков. Сегодня, остановившись здесь, она вспомнила об одном кафе, в котором любила с мужем пить кофе, изредка сквозь стекло поглядывая на гордую спину полководца. Это кафе вот уже несколько лет как закрылось, на его месте сейчас находится нотариальная контора, а сам памятник хотят снести для расширения торговых площадей, да всё никак не решаются.

Единственное, что до сих пор не потеряло своего первозданного облика, так это фасад столетнего химического института. Он стойко пережил

революцию и перестройку, в нём читали лекции лучшие химики российской империи и СССР, в него стекались учиться со всей страны. Но в новое время качество образования каким-то неуловимым образом снизилось. И приезжают сюда теперь немногие, но институт всё-таки старается держать марку, иначе и быть не может, ведь на нём держится завод, а на заводе — весь город.

Дорога, как послушный проводник, вела её всё дальше... и вот Кошкина, наконец, очутилась в своём самом любимом месте в городе, в парке. N-цы называли его просто — центральный городской парк. При виде черных деревьев и жёлтой листвы, усыпавшей землю, она вспоминала стихотворение «Осень» Александра Сергеевича Пушкина:

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье...

И думала: «Боже, сколько в двенадцати строках мудрости, спокойствия, размышления, принятия жизни и смутного прощания с нею. Двенадцать строк — двенадцать месяцев, целая жизнь...». Больше всего в творчестве Пушкина ей нравился поздний период, после 1830 года. Это уже зрелый Пушкин с грустной улыбкой — не со смехом, а с усмешкой, не со страстью, но со Знанием.

... Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

Один вопрос оставался у Александра Сергеевича, на который ответ был ещё впереди. Вопрос, которым заканчивается стихотворение и начинается последняя строфа: «Плывёт. Куда ж нам плыть?». Это единственная строчка в 12-й строфе, а после неё — точки, точки, точки и обрыв... Стихотворение не заканчивается!.. У него есть странный подзаголовок: «Отрывок». Жизнь ещё не закончена, но через четыре года Дантес делает свой выстрел на Чёрной речке... Так куда ж нам плыть? Теперь... Таким непростым вопросом задавалась Катерина Ивановна, ступая по жёлтым и красным листьям осеннего парка...

Она решила присесть на скамейку, чтобы покорить голубей, которые загодя рассаживались на ветках деревьев и ждали её. Каждое утро она брала с собой полбуханки серого хлеба, разламывала его и кормила птиц. Голуби садились к ней чуть ли не на колени, благодарно брали хлеб с её рук и клевали, клевали, клевали... А она смотрела на верхушки деревьев, на дрожащие на ветках листья, смотрела, как они медленно и безропотно падают... и задавалась вопросом — зачем? Зачем, в самом деле, им падать... чтобы уступить место другим, новым? И всё? Только за этим? Это же бессмысленно — просто умереть. Должен же быть смысл в их жизни! Иначе, зачем они распускаются, расцветают, отцветают, падают? И сегодня она вдруг поняла... поняла, как ей казалось очень важное, она поняла, зачем они падают! Они падают для того, чтобы прикрыть всю грязь, которую накопила земля за весь год! Они жертвуют своей жизнью, чтобы закрыть мусор, нечистоты, отбросы!

А потом белый чистый снег укрывает эти листья, и они мирно засыпают, а земля тем временем очищается и продолжает жить дальше. Катерина Ивановна находилась в возбуждении... Ведь это ответ, может, не окончательный, и, наверняка, его многие бы оспорили. Но она была довольна появившейся мыслью — действительно, есть ли в мире что-то выше самопожертвования? Выше жертвы Христа? «Природа мудра, очень мудра, и мы даже не догадываемся, что в ней сокрыто, вся философия, весь смысл существования в ней заключен, в ней код жизни...», — взволнованно думала она. И в это мгновение посмотрела на часы — они показывали полвосьмого. Учительница опаздывала. Она оставила голубям на скамейке не разломанную до конца буханку и поспешила дальше.

Впереди маячил памятник ещё одному Александру Сергеевичу, Грибоедову. Странная история связана с тем, почему n-ские жители решили именно ему установить памятник. В городе N никогда не жили и не умирали известные личности, да и бывали они здесь редко. Но n-цы тщательно выискивают и прилежно фиксируют любой повод присутствия в своей истории той или иной личности. Один из таких поводов — приезд Грибоедова. Точнее, не приезд, а проезд. По преданию, Грибоедов провёл в городе N одну ночь на пути в злополучную Персию, где он и погиб. Лет сто спустя n-цы подумали-подумали и решили, что неплохо по такому случаю водрузить в парке памятник, а в доме, где автор «Горя от ума» ночевал, соорудить музей, в котором главным экспонатом стал бы ржавый гвоздь — на нём, якобы, висел в ту ночь его сюртук. Именно грибоедовский музей и памятник n-цы с гордостью показывали многочисленным туристам и почётным гостям, рассказывая в подробностях о нескольких часах пребывания писателя в своём городе. Но Катерина Ивановна любила этот памятник. Каждое утро, проходя мимо него, она собирала оставшиеся с вечера у его ног разбросанные пивные баллоны, пластиковые стаканчики и сигаретные окурки. Она не сердилась на тех, кто разбросал всё это. Нет, она даже была им благодарна, ведь ей казалось, что таким образом она выказывает свою благодарность автору одного из самых чтимых ею произведений. И сегодня, сделав всё быстро и с удовольствием, Катерина Ивановна торопливым шагом поспешила к выходу из парка, за которым виднелся старый деревянный пешеходный мост через NN-скую речку.

NN-ская являлась мелкой речушкой, одним из многочисленных капилляров, расходящихся в разные стороны от основной, градообразующей артерии. Её запросто летом переплывали местные мальчишки, а зимой они же частенько катались на коньках, рискуя здоровьем и родительскими нервами. Но в переходное осеннее время речку оставляли в покое, и она отдыхала, спокойно готовясь затвердеть на четыре месяца. Единственное, что в это время не давало речке окончательно успокоиться, так это регулярные прикосновения различных ботинок, сапог и кроссовок к деревянному телу моста, от которых его кости-доски ужасно скрипели. Мост сильно устарел, его надо было ремонтировать. На противоположном берегу Катерину Ивановну дожидалась школа. Сегодня

она шла по мосту небрежно, с чувством, подобным тому, что испытывают супруги, находящиеся в браке уже лет десять, когда целуют друг друга перед уходом на работу. Вот уже около 20 лет почти каждое утро Катерина Ивановна пересекала мост, любила его, а он отвечал ей взаимностью. Вдруг, уже почти перейдя мост, она увидела табличку с красными буквами. Табличка гласила, что мост с завтрашнего дня закрывают на снос, и на его месте будут строить другой — бетонный...

4.

Школа, в которой преподавала Катерина Ивановна, как и любая другая школа, была ужасно непоэтичным местом. Её скучные, коричнево-белые стены стойко отдавали казёнщиной, на стенах недоуменно, словно не понимая, зачем они здесь, висели цветочные горшки, белые подоконники были расписаны нецензурными выражениями. Ну а школьной гордостью, разумеется, являлась прибитая на втором этаже доска почёта во главе с изображением самодовольного и улыбающегося директора школы — заслуженного работника образования. Когда какой-нибудь человек вдруг подходил поближе к портрету, желая разглядеть, что скрывает в себе это заслуженное лицо, то непременно чувствовал ароматный запах курева из близлежащего туалета.

Словом, это была совершенно обычная школа, в которой учились обычные дети обычных родителей. Они выходили из своих обычных домов обычным утром и шли к школе своим обычным путем, неся в своих обычных сумках, рюкзаках, пакетах обычные ручки, тетрадки и учебники. Потом они садились за обычные парты, слушали и писали, что им говорят обычные учителя, отчитывались за обычные домашние занятия и получали обычные отметки.

Кошкина преподавала в старших классах. И преподавала так изобретательно, что её не раз звали работать в различные институты, университеты, на более высокую зарплату. Но она говорила всегда, что её место здесь, в обычной школе, что её родители тоже работали обычными школьными учителями.

Ученики не то чтобы любили Катерину Ивановну, они, скорее, уважали её, как и она их. Она рассказывала о писателях, дети тихонько занимались своими делами, и всем было хорошо. Если в классе находилось два-три благодарных слушателя, то этого было вполне достаточно. Она была строга к своим ученикам, но заставлять никого не желала, хоть и не выносила, когда ей мешали рассказывать. Она просто прекращала говорить, снимала очки и пристально смотрела в глаза тому, кто ей мешал. Даже самые отъявленные хулиганы терялись от взгляда серых глаз, полного силы и горечи, и пауза держалась до того момента, пока, наконец, красный цвет не заливал лицо нашкодившего школьника, и он под своё же неразборчивое бормотание опускал виноватые глаза. Учительница надевала очки и вновь, как ни в чем не бывало, продолжала занятие, а самые отъявленные хулиганы вели себя так, чтобы не дай бог, её взгляд ещё раз не встретился с их глазами.

Больше всего она знала и любила русскую литературу девятнадцатого века. Нет, и восемнадца-

тый, и двадцатый век она тоже знала хорошо, но литература девятнадцатого века была ей ближе. Она часто говорила своим десятиклассникам примерно следующее: «Мне иногда кажется, что нынешний человек стал более... не глуп, нет, но, может быть, более беден душою, нежели сто лет назад. Я смотрю на вас, на людей вокруг себя, и не могу представить, что сегодня может существовать Раскольников или Катерина из «Грозы». Сегодня почти у каждого только два-три чувства в душе, только две-три мысли в голове... Впрочем, я, наверное, не совсем хорошо знаю и понимаю нынешнюю действительность. Вам, может быть, виднее. Как вы думаете, отличается чем-то ваш современник от тех, кто жил сто лет назад?».

Этот вопрос Катерина Ивановна задала классу несколько дней назад. Сегодня же, переходя мост, она готовилась к разговору о «Мёртвых душах». В большой чёрной сумке она несла кипу сочинений на тему «Актуальность великой поэмы Гоголя». Надо сказать, что пятёрки она несла немного, потому что пятёрки ставила только за сочинения с индивидуальными суждениями, пусть и спорными. С теми, кто писал такие работы, она старалась ближе познакомиться, больше заниматься, именно такие её ученики в итоге выезжали на всероссийские олимпиады и привозили призовые места.

Но сама Катерина Ивановна никуда не ездила — не сложились отношения с назначенным не так давно новым директором. Всему виной было полное расхождение во взглядах на образование — демократичность, практикуемая Кошкиной, не приветствовалась. А самым страшным грехом Катерины Ивановны было отсутствие некоторой почтительности, которую на правах начальника молодой, но уже заслуженный директор требовал по отношению к себе. И её роль в успехах учеников тактично замалчивалась. Наверное, эту ситуацию можно было как-то изменить, но нужных сил в себе для этого Катерина Ивановна не находила.

От своих коллег она отгородилась ледяной стеной безразличия. Только две самые старые её подруги могли проникать сквозь щели в этой стене и имели хоть какое-то представление о том, чем жила Кошкина. Молодые коллеги находили её высокомерной и заносчивой, а те, кто постарше, относились к ней со снисхождением. Они рассказывали, что когда-то Катерина Ивановна была совсем другой — чуткой и приветливой, к каждому проявляла участие, была душой компании. Всё изменилось после смерти сына, погибшего лет десять назад в бандитских разборках, после чего её бросил муж и уехал на Север, где, как говорили, спился и умер. Они говорили, что Кошкина не смогла справиться с жизненной драмой, а потому оставили её в покое. Тут уж, дескать, ничего не поделаешь.

Как уже говорилось, учительница жила по строго заведенному распорядку. Закончив школьные дела, она сразу же шла домой и делала то, что делают многие в городе N, — смотрела бесконечно фальшивые, низкопробные сериалы.

Вы удивлены, читатель? Но не спешите с выводами. Сама Катерина Ивановна объясняла своё увлечение просто и жёстко: сериалы смотрят те, у кого нет собственной содержательной жизни.

Нам представляется, что жизнь-то у пожилой учительницы была, только похожая на крохотный спичечный коробок, спрятанный где-то глубоко внутри.

В той мильной опере, что она смотрела последний месяц, её интересовали только актёры, точнее — один из них. По этому баловню судьбы, взлетевшему на олимп популярности не так давно, сегодня с ума сходила вся страна. Что-то обнаружил в нём и Катерина Ивановна. По какой-то неведомой даже для себя самой причине она целыми днями только и думала о том, как придёт домой и целый час будет на него смотреть, впившись в экран, будто загипнотизированная...

Сегодняшний день не предвещал изменений. Проговорив шесть уроков об актуальности «Мёртвых душ» и отсидев нудную школьную планёрку, она с облегчением вышла на улицу, вдохнула воздуха и направилась в сторону своей неказистой хрущёвки (возвращалась она уже другой дорогой — необходимо было зайти в супермаркет и на почту), чтобы провести остаток дня с блестящим молодым актёром по ту сторону экрана. И весь день закончился бы так, как заканчивались сотни дней её жизни, если бы после супермаркета и почты, где она получила письмо от своей сестры из города Богоявленска, уже на подходе к дому её взгляд не скользнул по афишной тумбе. Она смогла разглядеть очень знакомое сочетание букв, которое не раз наблюдала в титрах. Катерина Ивановна подошла поближе. Вот так сюрприз: оказывается, герой сериалов приезжает на гастроли в город N! Перед глазами всё поплыло... Катерина Ивановна с силой зажмурила глаза и... потеряла сознание.

5.

Строго заведённый распорядок впервые за много лет оказался нарушен — она проснулась сама, забыв с вечера завести будильник, немного раньше обычного. Как-то растерянно встала, с четверть часа, как призрак, кружила по квартире, наконец заставила себя налить чай в любимую кружку с коричневой лошадкой и подойти к окну. А за окном на город N медленно опускался первый снег.

Он падал робко и нежно, словно стесняясь прикоснуться к земле. Большинство пушинок таяло в воздухе, не успев её достичь, но некоторые, самые упорные, всё-таки успевали осесть на берёзе и других деревьях, или образовать белые островки в жёлто-коричневом земляном море. Вместе с учительницей за снегом наблюдало только несколько неподвижно рассеявшихся на ветках ворон. От этого обыкновенного чуда у Катерины Ивановны увлажнились глаза. В падении снежинок не было ничего лишнего, это было так просто и так завораживающе.

— Что за миссия такая — тихо падать на землю? А люди всё хотят летать, взмывать вверх, как птицы, покорять горизонты. Их гордости нет предела, они все чего-то ждут, что-то ищут, мечтают в поисках счастья. А когда засыпают, счастье вдруг приходит... — говорила она вслух самой себе.

Поставив кружку на стол, Катерина Ивановна с треском отворила окно и протянула руку навстречу снегу. Пушинки, обжигаясь о горячую

ладонь, мгновенно таяли и превращались в капли, отчего учительница испытывала какое-то неземное наслаждение.

Так случилось, что сегодня проверять тетради не было надобности, учительница принялась в раздумьях ходить по комнате, вспоминая вчерашний вечер. Её больше всего беспокоило то обстоятельство, что с ней никогда ничего подобного не происходило. Она никак не могла понять, отчего случился злополучный обморок. Не оттого же, что к ним приезжает актёр, который ей очень нравится. «Что со мной?».

Уцепившись за еле уловимую ниточку в мутном потоке памяти, Катерина Ивановна вспомнила, что было после обморока. Её кто-то поднял и донёс до ближайшей скамейки, попросив при этом народ не толпиться и идти по своим делам. Он говорил всем, что она его родственница и объяснял обморок тяжёлой болезнью. Когда Кошкина окончательно пришла в себя, его уже не было рядом, а рядом были, как всегда, спящие ноги и плечи множества людей, шум машин и высокие дома, стоявшие так, как стояли всегда. Она вновь подошла к афишной тумбе и теперь уже спокойно прочитала, что гастроли актёра состоятся в середине декабря в местном ДК, находившемся неподалёку от школы. Играть будет какая-то современная пьеса, а актёры приезжают по личному приглашению мэра, захотевшего сделать новогодний подарок горожанам. Решив после работы зайти в ДК, чтобы узнать стоимость билетов, Катерина Ивановна в лёгком забытье дошла до дома. А там, небрежно бросив сумки на пол и скинув плащ, повалилась прямо в одежде на кровать и тут же, испытывая вековую усталость, заснула. Вспомнив это всё, учительница сильно удивилась самой себе.

Но сейчас её посетила достаточно скверная мысль — ей придётся сегодня ехать в школу на автобусе, ведь мост закрыли на снос. Это значило, что не удастся пройти по Кутузовской, погулять в парке, покормить голубей, убраться у памятника Грибоедову. Она стала беспокоиться, что голуби без неё будут голодать, что никто не догадается собрать пивные баллоны и сигаретные окурки в урну. Никто. Она решила, что на выходных обязательно сходит попрощаться с мостом, заодно покормит голубей и уберётся у памятника. Эта мысль её немного успокоила.

На остановке было полно народу и стойко пахло бензином. Катерина Ивановна отвыкла от многолюдных поездок на транспорте. Снег всё шёл и шёл, не обращая внимания на людей, как, впрочем, и люди на него. Они смотрели на проезжую часть, поджидая свой автобус. Наконец подъехал её номер, полупустой, что позволило удобно усестись возле окна. До школы надо было ехать десять минут. Через призму автобусного стекла она вдруг увидела *город*. Автобус вёз её через те кварталы, в которых она давно не была. «Как он изменился, боже мой, я ничего не узнаю, хотя прожила здесь двадцать лет. А люди, люди-то какие, как они одеваются, как смотрят...»

6.

В ДК она узнала, что билеты на спектакль довольно дорого стоят, самые дешёвые — при-

мерно четверть её заработка. Полная кассирша предупредила, что билеты надо покупать раньше, а то скоро закончатся, тем более дешёвые. Это обстоятельство повергло Катерину Ивановну в беспокойство — в данный момент у неё не было нужной суммы, а зарплату выдадут дней через десять.

«Мне нужно попасть на этот спектакль, пусть даже я откажу себе в чём-то...» — думала учительница, спускаясь к тротуару по ступенькам дк. Повеселев от своего твёрдого убеждения, она вдруг представила себя в красивом шёлковом платье, идеально облегаящем её стройную фигуру, представила вокруг интеллигентную утонченную публику, окутанную волнительным ожиданием театрального волшебства... и засмеялась. Влекая радостными предчувствиями и видениями, придавшими ей давно забытую лёгкость, она совсем не заметила, что пришла туда, куда совсем не должна была прийти.

Она резко оглянулась, увидела людей, мелькавшие машины, удивительные дома и вспомнила своё утреннее ощущение, возникшее, когда она смотрела на город из автобуса. И ноги сами пошли по тротуару... Она внезапно почувствовала сильнейшую тягу к познанию, которая, казалось, уснула в ней навсегда. Ей захотелось обойти весь город. И она пошла, не помня себя, в совершенно противоположную сторону от дома.

Она шла к новым кварталам, прибавляя шаг, развивая невероятную для себя скорость. Она не успевала ни о чём думать, мимо неё пробежали улыбочивые и тусклые лица, кинотеатр с афишами, привлекательные магазины, обшарпанные забеголовки, набитые автобусы, её обнюхивали непризорные собаки. По рельсам то и дело скользили трамваи, питавшиеся от окутавшей небо паутины проводов. Ей кивали фонари и слепили глаза автомобильные фары, заставляя щуриться. Она безостановочно неслась, впитывая обрывки фраз, глупый смех, звуки машин, карканье ворон, шаги сапог, ботинок, цоканье каблучков. Всё это создавало единый городской шум, такой бесконечный и оглушающий...

Постепенно улицы стали пустеть, и Катерина Ивановна не заметила, как дошла до спального района, где было уже довольно спокойно. Остановившись, она вдруг почувствовала жуткую усталость и захотела присесть на лавочку возле продуктового магазина. Напротив стоял обыкновенный пятиэтажный дом, в котором ещё горели почти все окна. Его обрамляли чёрные стволы деревьев да два фонаря с вытянутыми шеями.

И вдруг учительница увидела людей. На третьем этаже она заметила маленького ребёнка с мамой. Мама, может быть, объясняла ему, что там, за окном. В других окнах можно было различить мелькание телевизора — кто-то, наверняка, смотрит сериал, который согласно своему расписанию и она должна бы сейчас смотреть... А на втором этаже страстно целовались парень и девушка. Девушка, будто почувствовав на себе чей-то взгляд, в смущении задернула шторы. Откуда-то доносились бранные крики, где-то играли на фортепиано... Всё, всё это слышала и впитывала Кошкина. «Люди живут, как-то тратят время, даже не подозревая о том, как живут и что

делают другие, каждый думает о себе, у каждого на завтра свои планы... но как-то так получается при этом, что они вместе. Вместе живут. Нет одиночества. Хотя бы потому, что я их всех вижу и слышу», — размышляла, сидя на лавочке, усталая учительница в тёмно-зелёном плаще и большими круглыми очками на глазах.

И вновь пошёл снег. Тот первый утренний снег уже давно растаял и превратился в лужицы, по которым ходили люди, проезжали машины — город его уже прочно впитал. А сейчас шёл второй... Первый снег ещё как-то ждут, смотрят на него из окошек, и восклицают, зайдя куда-нибудь: «Там первый снег идёт!». Это событие особенное. А о втором снеге никто не думает, потому что он уже стал привычен. Важен только первый, а остальные?.. Кто их считает!.. Но Катерина Ивановна вдруг чётко осознала, что с неба падает именно второй снег. Он мелькал в синих лучах фонарей и в темноте спокойно приземлялся на землю.

От продолжительного сидения на лавочке она стала слегка подмерззать и подумывать о том, что пора бы и домой идти. Часы показывали девять, что её привело в некоторое замешательство — она совсем не подозревала, что прошло так много времени. Учительница встала со скамейки и, совершенно не зная, куда идти, двинулась вперед по главной улице района в поисках остановки. Наконец, найдя какую-то остановку с маленьким козырьком и такой же маленькой лавочкой, она около получаса ждала свой автобус. Но он никак не хотел приходить. Катерина Ивановна догадалась спросить у стоявшего на той же остановке мужчины, что ей делать. Мужчина сказал, что ей надо бы на трамвай идти и указал, как до него дойти. Борясь с подступающим холодом, она через некоторое время дошла до остановки и тут же села в подъехавший красный трамвай.

Учительница села в первое попавшееся кресло, почувствовала тепло и стала потихоньку закрывать глаза, потому что силы её были на исходе. А трамвайные колёса, питаясь электричеством, усталости не знали — они были почти единственными, кто в эту минуту разрушал тишину утихомирившегося города, ещё только готовящегося видеть свой первый сон.

Она чуть не проехала свою остановку. Слава богу, кондуктор, увидев, что в холодном салоне почти никого не осталось, разбудила учительницу, чтобы узнать, где она выходит. Тяжело открыв глаза, Катерина Ивановна машинально ответила: «Не знаю...» — и вновь наклонила голову к груди. Услышав такой ответ и внимательно оглядев старый поношенный плащ пассажирки, кондукторша решила, что перед ней самая натуральная бомжиха. Крики и оскорбления разбудили Катерину Ивановну. Благо, её остановка была следующей. Увидев в окне знакомые дома, она, ничего не отвечая, с красным от стыда лицом быстро выскочила в открывшуюся дверь. Домой шла, опустив голову. Весь так прекрасно прожитый день исчез из памяти, словно и не было ничего. Осталось только бешено колотившееся от жгучей обиды и какой-то страшной, глухой тоски сердце.

Но дома, засыпая в своей кровати, Кошкина всё же смогла откинуть дурные мысли и посмотреть на уходящий день с другой стороны. Вроде бы с

ней ничего особого не произошло, но... В этот день она просто почувствовала жизнь. Окутанная этим забытым чувством, учительница мирно уснула в своей кровати, решив обойти от начала до конца весь город N.

7.

Все десять дней до зарплаты прошли примерно одинаково. Утром Катерина Ивановна садилась в автобус и ехала в школу. Она заметила, что ей чаще стали уступать место в автобусе. На подобные предложения учительница реагировала мгновенно, говоря с тихой яростью: «Сидите!», и продолжала стоять, даже если место, несмотря на возражения, всё-таки уступали. Потом была школа с детьми, уроками, планёрками, коллегами, а дальше — город... В день она проходила несколько километров, развивая невероятную скорость. N бывал то однообразным, то разительно меняющим свои краски. Дома, как и люди, то заставляли на себя взглянуть, то прятались в серой массе. Природным фоном к этим прогулкам явился снег, который то выпадал и назойливо лежал, то таял и снова выпадал. То ли осень хотела подольше задержаться в городе, то ли зиме было лень серьёзно взяться за дело. У людей из-за перепадов давления в это время часто болит голова. Переходный период...

Настроение же у Кошкиной заметно поднялось, прогулки доставляли ей радость, а предстоящий спектакль вселял какую-то надежду.

Людам важно знать, что такого-то числа случится то-то, и то-то. На этой дате они начинают строить будущее. Впереди всегда должен быть буйёк, только тогда ты будешь знать, куда плыть. Все локальные проблемы, неудачи уходят на второй план, ты не сдаёшься, ты смотришь только вперёд. Но что будет за этим буйком — ты не знаешь. Главное — будет процесс, заполненный стремлением к цели. И когда буйёк достигнут, наступает свобода. Это очень короткое чувство. Вслед за ним день вновь становится похож на следующий, а тот ещё на следующий и так далее. И появляется растерянность, а чуть позже — безвременье и страх. Смысл улетучивается, глаза потухают, и душа медленно обрастает коростой. И ты снова придумываешь себе что-то, какую-нибудь новую цель, новую дату. И снова живёшь с надеждой...

Катерина Ивановна стала больше разговаривать с учениками на отвлечённые темы, а одной из своих коллег, тоже преподавательнице литературы, сделала комплимент по поводу нового платья, а двум своим близким приятельницам рассказала о предстоящем походе на спектакль и всё ходила, ходила по городским улицам...

В один из последних ноябрьских дней, решив после прогулки по городу перебрать вещи, накопившиеся в сумке, она обнаружила белый конверт. Несколько секунд недоумения быстро сменились догадкой о том, что это письмо от сестры, которое она получила в тот странный день, когда впервые увидела жёлтую афишу с актёром, чьё изображение теперь попадалось уже на каждом шагу. Написанный гладким почерком адрес подтвердил её догадку, после чего Катерина Ивановна, коря себя за забывчивость, поспешно открыла конверт. Письмо было небольшим, но конкретным.

«Здравствуй, родненькая моя Катенька! Наконец-то собралась тебе написать. Прости, что долго не писала. Твои последние письма меня очень расстроили, я всё думала о тебе, о том, как ты страдаешь, как тебе тяжело, поэтому не хотела писать. Всё терпела, ждала того часа, когда смогла бы помочь тебе не словом, а делом. Слова ничегошеньки не значат. Я скоро переезжаю из своей клетушки в трёхкомнатную квартиру, дождалась-таки. Квартира большая, сынок-то мой женился давно, отдельно живёт, скучно мне будет одной-то. Знаешь что, ты ко мне переезжай, хорошо нам вместе-то будет. А то живёшь там одна-одинешенька, никого у тебя не осталось, я только.

Городишко у нас небольшой, улиц немного, зато дома все белые, красивые, низенькие, всего два-три этажа. А на Новый год и Рождество, каждый двор ставит на крыше большую ёлку и украшает дом всякими гирляндами. Потом вся улица накрывает прямо на воздухе один большой стол и все за ним сидят, радуются. Зимы-то у нас не суровые, сильно не мёрзнем, да и соседи хорошие, да и весь народ приличный, приветливый, каждый на помощь придёт, руку подаст в беде. Все культурные, обходительные. Никаких страшных людей нет, мирно живём, богу молимся, может, и нет у нас всего, чего хочется, зато есть всё, что нужно.

Много у меня друзей хороших, со всеми тебя познакомлю, будешь с ними твои любимые книжки обсуждать, на концерты симфонические ходить. Работу найдёшь быстро, я уже узнавала, ведь таких преподавателей, как ты, ещё поискать надо. Глава города сказал, что без раздумий тебя примет, такую умную, особенно после того, как узнал, чего ты там натерпелась. Он ведь у нас мудрый, всё знает, даже то, что в N делается. И зарабатывать прилично будешь. У нас в Богоявленске такие люди, как ты, всегда в цене. Потом по свету поездить сможешь. Знаю, хорошо тебе будет, ты заслужила это, Катенька. Жду тебя сильно, приезжай скорее, не раздумывай! С молитвами о твоей душе прощаюсь и жду нашей скорейшей встречи!

*Горячо любящая тебя
твоя сестра Тамара».*

Катерина Ивановна прочитала письмо ещё два раза, после чего её влажные пальцы ещё долго сжимали белый листочек. Наконец, что-то решив, она села за стол, включила настольную лампу, вырвала из тетради клетчатый лист, взяла в руки ручку и начала спокойным почерком выводить сестре ответ.

8.

Наступил последний день перед спектаклем. Завтра случится то, чем она жила прошедший месяц. Внутри появилось не только мучительно-сладостное предчувствие, но и малодушный страх. Осознание неизбежности события начинало на неё давить. Всё стало таким близким...

А, между тем, билет на постановку достался Кошкиной совсем непросто. Наивно полагая, что в кассе могут остаться дешёвые билеты, она с зарплатой в сумке, уверенно шагала прямиком к кассе ДК. И, конечно, полная кассирша сказала

ей, что билетов вообще нет никаких и не будет, и что ей все уже надоели подобными вопросами. Катерина Ивановна растерялась и никак не могла найти нужных слов. Возгласы кассирши: «Что встали?», заставили её покинуть закуток и выйти на улицу. На ступеньках она резко опомнилась, бросилась обратно к кассирше, истощенно прося её хоть что-нибудь сделать. Она говорила о том, что всю жизнь ждала этого спектакля, что... Кассирша от неожиданного напора призналась, что у неё ещё есть несколько очень дорогих билетов, эти билеты предназначены только важным лицам, что она даже не имеет права их продавать. Катерина Ивановна не прекращала свои мольбы: «Я готова заплатить и за Ваш риск». В итоге получилась сумма, составившая три четверти зарплаты учительницы. Но она её заплатила...

Прогулки по вечернему городу не прекращались ни на один день с передышками на сон и работу. Сегодня Катерине Ивановне оставалось посетить последний район на окраине.

Она никогда не думала, что город, в котором она прожила половину своей жизни, может быть таким большим. Для того, чтобы обойти этот великанский организм, ей понадобился целый месяц. И чем больше проходило времени с момента первой прогулки, тем сильнее она чувствовала себя маленькой песчинкой на безграничных просторах. Её темно-зелёный плащ мелькал повсюду, но его никто не замечал. Он утопал в среде тысяч таких же песчинок. Ей ни разу не попались на улицах ни знакомые, ни коллеги, ни ученики. Все, кто ей попадался, были чужими. Но она им улыбалась. Она улыбалась, переходя зебры, улыбалась, поворачивая на другую улицу, улыбалась, переступая через бордюры, улыбалась, глядя на окна и брошенные фонтаны, улыбалась, переходя дорогу на зелёный свет. Только свой некогда любимый маршрут она обходила стороной. На вопрос, почему так происходило, она и сама не могла дать ответа, её, вроде бы, и тянуло туда, и соскучилась она по своим любимым местам, но не выходило как-то всё...

Всю неделю, не переставая, шёл снег. Подобное в городе N было зафиксировано лишь единожды — не то в 17-м, не то в 18-м году XX столетия. Сначала снег был в радость — дети лепили снеговиков, взрослые мечтательно говорили о том, что вот бы такую погоду на Новый год. На третий — четвёртый день снег уже начал раздражать, а когда к нему добавились сильнее морозы, то стало совсем плохо.

Несмотря на холод, отказать себе в изучении города она никак не могла. И во время прогулок испытывала на себе бог весть какие страдания. Наверно, никто в эти дни не провёл на улице столько времени, сколько провела она. И никто так не мёрз, потому что, хоть она и надевала тёплые свитера, но сверху носила всё тот же старый плащ. Её спасало только движение.

В связи с холодами люди поменялись; лица и улыбки спрятались за тёплые шарфы и приподнятые воротники шуб и пуховиков. Учительница видела у всех только одно живое место — глаза. Движение транспорта из-за заносов оказалось серьёзно парализованным, участились пробки, что

не добавляло настроения. Все разговоры тонули в клубах горячего воздуха, шедшего изо ртов.

— Когда эти собачьи холода закончатся?

— Да почему я знаю... побыстрее бы уж.

— У меня жена вчера гуляла с собакой, чуть ноги себе не отморозила...

— И не говори... скоро все превратимся в сосульки, а город в Антарктиду.

— Да... хоть из дома не выходи.

— Да и дома холодина достаёт, зараза! Я и дома свитер не снимаю...

— Господи, как лета-то хочется!

Такой диалог двух молодых людей Катерина Ивановна услышала сегодня утром в автобусе. А вечером она уже находилась на окраине города. Но прогулка как-то не клеилась, настроения не было. Уже не было того восторга и стремления, которые сопровождали её в начале путешествий, остались только глухая усталость и постоянный холод. Улицы пустовали — люди прятались от мороза. Всё зримое пространство поделилось на две части: белую и чёрную. Снежный покров боролся с чёрными стволами и сгустком тьмы. Было тихо-тихо — ни машин, ни птиц, только вьюга улюлюкала в гордом одиночестве, а сухой холод убирал с пространства все проявления жизни, которая как будто остановилась...

Только Катерина Ивановна сопротивляясь метели и упрямо брела по белой паутине улиц. Её спутниками стали фонари и бесконечные вереницы горящих окон, аккуратно прилепленных к серым бетонным блокам. Они не давали городу погрузиться во мрак и оставить учительницу в абсолютном одиночестве. За ними сидели какие-то люди, но их не было видно за толстой коркой льда, приставшей к оконным стеклам. Они были там, а здесь... здесь не было никого.

Учительница плохо себя чувствовала, ей было тяжело, но она изо всех сил шла дальше. Хотя другие, если бы знали, что её хождение в такую погоду не имеет никакой понятной цели, точно бы назвали её сумасшедшей. Но она шла и думала о завтрашнем вечере, обо всей своей жизни, а метель всё пыталась пригвоздить её то к стенам домов, то к остановкам, то к корягам, торчавшим из-под земли.

Наконец вдалеке блеснули фары старенького автобуса, и она, почувствовав, что уже нет сил сопротивляться с облегчением вошла в пустой обледенелый салон, поехала сквозь пургу домой. В автобусе было пусто, только вдалеке, у первой двери, кондукторша о чем-то говорила с водителем.

«Мама!» — раздалось вдруг, то ли сзади, то ли внутри неё. Катерина Ивановна обернулась, но увидела сзади только пустые кресла.

— Мама, я пришёл пригласить тебя на спектакль. Ты ведь придёшь завтра?

— Конечно, родной... А как ты думаешь? Ты не представляешь, сколько я тебя ждала. Мне ведь больше ничего не надо, только тебя увидеть... Каким ты стал большим, совсем не похожим на отца...

— У тебя есть билет? Ты ведь купила билет?

— Конечно. Вот... — сказала учительница и начала суетливо рыться в сумке. Наконец она нашла билет, и тот, кто сидел рядом, увидел на

этой глянцевой бумажке своё точное отображение.

— Значит, ты придёшь. Увидишь меня на сцене, увидишь, что я умею, чего я добился, как меня любят...

— Мне так тебя не хватает... Почему ты не приедешь ко мне? Я бы тебя накормила вкусно, а то ты худенький такой, — сказала Кошкина и тут же засмеялась.

— Буду завтра тебя ждать. Знаешь, очень приятно играть, когда на тебя смотрят близкие люди. Мне пора.

— Подожди, мне много надо тебе рассказать...

— Всё завтра, мама. Завтра...

— Погоди, ты ведь замёрзнешь, на улице так холодно!

— Главное, чтобы ты не замёрзла.

«Следующая остановка «Улица Комсомольцев» — громко прозвучало в салоне. Катерина Ивановна огляделась: вокруг стояли только пустые кресла, а у первой двери водитель по-прежнему разговаривал с кондукторшей. «Как тепло стало», — подумала, направившись к выходу, учительница.

9.

Холод не иссякал. Утро стояло безрадостное. Небо, как и всю неделю, оставалось серым. Противоположный дом угрюмо смотрел сотнями своих глаз, а бедная берёза за оконной рамой от дрожи беспокойно кивала в такт беспокойным мыслям учительницы. Она встречала воскресенье, день, который так ждала...

Не надо было идти в школу, вечером надо было идти на спектакль. А утро она решила потратить на уборку.

Она тщательно вычищала квартиру — мыла полы, стирала пыль с книг и полок, перебирала хлам, выходила не раз на улицу с полным ведром мусора. В квартире впервые за много месяцев перестали витать над квартирой, отчего появилась радость. Потом Катерина Ивановна хорошенько вымылась, почистила очки, погладила своё самое дорогое красное платье с красивым приподнятым воротником. Её тело совершенно отвыкло носить красивые вещи, хотя ещё несколько лет назад чувствовало в этом платье себя уютно и гордо. Когда-то платье просто так, без всякого повода ей подарил муж.

Перед выходом она немного подумала о том, что ей надеть сверху — то ли более утеплённое и красивое пальто, то ли свой несчастный плащ. Учительница выбрала плащ, закрыла двери и отправилась к остановке, чувствуя себя помолодевшей.

10.

Когда-то, лет тридцать назад, худенькая девочка с двумя смешными косичками и ворохом надежд приехала летом в Москву из небольшого карельского городка поступать в педагогический, чтобы получить самое лучшее в мире образование. Она хотела стать такой же доброй и умной учительницей, как и её родители.

Оказавшись после родного городишки в бурлящей, сверху донизу залитой солнцем Москве,

она принялась жадно её открывать, испытывая при этом те же чувства, что испытывал, наверное, Джордж Ливингстон, пробираясь к сердцу Африки, или Кук, когда бороздил нетронутые ещё просторы Тихого океана.

Весь организм её вдруг заразился невиданным доселе вирусом молодости и вылечиваться от него явно не хотел.

Она еле успевала складировать впечатления — подземные поезда, эскалаторы, куранты со страшным звуком, мумия Ленина, «Чёрный квадрат» Малевича, взмыленная тройка на крыше Большого, мелкие пароходики на Москва-реке, индустриальный музей Маяковского, Новый Арбат, Старый Арбат, Красная площадь, оказавшаяся совсем не красной, могила неизвестного солдата, известные киноартисты, пятиэтажный универсальный магазин и, конечно, театр.

Настоящий спектакль она видела только однажды в детстве, когда ездила с родителями отдыхать в Ленинград. В Москве же попасть на хорошие постановки, о которых говорили повсюду, оказалось делом непростым, но как-то раз, сумев всё же проникнуть на представление, Катя навсегда влюбилась в театр. Будущая учительница старалась не пропускать ни одной премьеры, знала почти всех актёров и режиссёров по именам. Атмосфера таинственности и загадки, окутывавшая театральную сцену, заставляла учащённо биться сердце, неподдельные эмоции и искренний разговор тревожили душу, а неуёмная фантазия и тайна перевоплощения доставляли такие сладчайшие минуты, будто какое-нибудь наркотическое вещество пронзало всё её тело.

Спектакли будоражили, заставляли задумываться о своём месте в этом мире... и наталкивали на размышления.

После одной из громких премьер в театральном фойе оживлённо вели беседу две подруги. Их диалог о только что увиденной постановке привлек к себе внимание молодого студента. Завязался спор, который продолжился потом на улице и развивался до входа в метро. В итоге спор закончился ничем, но моральное преимущество осталось за девушками, потому что они настойчиво прощались с назойливым молодым человеком, желавшим продолжить с ними совместный путь. Однако высокий, с мелкими усиками студент не пал духом и сумел отыграться, сказав, что отпустит их только после того, как кто-то из них даст ему номер телефона.

Через несколько дней в квартире одной из подруг раздался звонок. Девушка сняла трубку и услышала на другом конце провода голос, тиснетно старавшийся скрыть волнение. Голос приглашал её лазить по деревьям. Девушка засмеявшись, согласилась. Они поехали в лес, студент, сидя на деревьях, изображал дятлов и кукушек, девушка, умирая от смеха, кидалась в него шишками, потом они пили вино, обнимали стволы, играли в прятки, потом встречи продолжились, завязались серьёзные, романтические отношения. Девушкой была Катерина Ивановна, студентом её будущий муж.

Получив диплом, она в конце 70-х по распределению попала в Н. Была возможность остаться в Москве, да и муж этого хотел, но молодая учительница посчитала, что её труд более необхо-

дим в провинции, нежели в Москве, и убедила мужа ехать. К тому времени они уже год как были женаты, у них родился сын...

Театральное искусство в городе N в то время было на серьёзном счету. N-ские театры демонстрировали высокий художественный уровень — это подтверждали и ведущие критики, приезжавшие в N на всесоюзные театральные фестивали, так что учительница сполна могла утолить свою страсть к театру. Но с развалом СССР последовал жуткий кризис, оставивший театры закрыть свои двери. В городе остался только один театр, да и он был уже далеко не тем, что раньше. Будто бы душа из него вылетела, выветрилась завеса той самой тайны, а здания, интриги и костюмы остались. Это же почувствовала Кошкина, после чего потеряла к театру всякий интерес.

И вот сегодня, в морозный воскресный вечер, она впервые за много лет сидела в зрительном зале в предвкушении спектакля. На афишах в фойе мелькало улыбочное лицо приезжей знаменитости, все разговоры и кривотолки сводились к его обсуждению женской частью зала. Мужчины, которых было заметно меньше, ничего не оставалось, как только терпеливо слушать этот пустопорожний, по их мнению, щебет.

Но Катерина Ивановна думала о другом. Пусть это был не театр, а всего лишь ДК, но шелест программ, нарядные люди, шёпот красных кулис, замысловатая декорация... всё это быстро ожило в ней давно забытые театральные чувства. Но даже не это было главным, главной была долгожданная встреча...

Пьеса называлась «Жизнь по расчёту». После небольшого вступления на сцене, наконец, появилась звезда. Зал взревел от восторга и минуты три неистово аплодировал, а актёр роскошно улыбался и упивался собой. Учительница тоже восторженно аплодировала, но ей немного успели подпортить настроение соседи. Рядом с ней, так как у неё оказался VIP-билет, сидели несколько богатых и значительных персон. Она чувствовала, как из их ртов тащит смесь водки с коньяком, она вдыхала запах их перенадушенных дорогим парфюмом полных тел, она видела их дам с килограммами косметики в одеждах, похожих на обрезки шкур, она слышала их пошлые разговоры, их полупьяные выкрики. Возмущение подкатывало к горлу, но учительница держала себя в руках.

А на сцене разыгрывалась история на тему «нелёгкая жизнь альфонса». Актёр играет несчастного героя, вынужденного зарабатывать на жизнь своим собственным накачанным телом. Одинокие томные дамы его любят, он любит деньги, и зрители в восторге от слезоточивой истории и чёрных плавок актёра.

Учительница, конечно, ничего не понимала, ничего не узнавала. Кто это там носится по сцене? Это тот молодой, интеллигентный и аккуратный человек, на которого она потратила столько времени, которым жила несколько месяцев? Это тот, с которым она разговаривала вчера? Тот, который в её помутнившемся сознании сросся с её собственным сыном?.. Катерине Ивановне становилось всё труднее смотреть на происходящее. Она хотела закрыть глаза и больше не открывать их никогда, тихонько выйти из зала и бежать, бежать, бежать

куда-нибудь подальше отсюда. Маленькие слезинки прорывались наружу и обжигали щеки, но она продолжала смотреть, приглушая жгучий стыд. Она думала, глядя на других зрителей: «Может, я ничего не понимаю?». Публика рядом вела себя ещё развязней — на просьбу учительницы немного успокоиться они не обратили никакого внимания. А спектакль продолжался.

Оказалось, что у этого альфонса есть ещё и нормальная девушка, которую он, вроде бы, любит и на заработанные средства покупает ей подарки. Девушка, namного его моложе, конечно, ни о чём не догадывается. Девушка признаётся, что беременна, и они решают пожениться. Но отец девушки против. Тем временем парень попадает в гости к очень одинокой даме, утешает её, они, понятно, занимаются, чем положено, после чего дама не хочет расставаться с молодым человеком. Она пытается удержать его и обещает богато одарить. Парень отказывается от предложения и уходит.

Катерина Ивановна стала замерзать. Ей вдруг сделалось настолько холодно, что она вжалась в кресло, обняла себя руками, отключилась от всего, что было вокруг, и смотрела на происходящее отстранённо. Она не испытывала уже ничего. Хуже всего был даже не сюжет, не откровенные сцены, не примитивный текст, не пошлость, которая лезла отовсюду. Хуже всего было то, что ужасно играли актёры, особенно тот, кем она жила целый месяц. Но вокруг люди смеялись, переживали и восхищались.

Декорации поменялись — на сцене вместо большой кровати поставили старый красноватый диван с торчащими пружинами. У дивана стоял журнальный столик, на нём бутылка водки и банка солёных огурцов. Всё это обозначило квартиру девушки. За столом сидели трое мужчин с бородами до колен «а-ля Толстой и Достоевский» и пили водку, закусывая огурчиками. Вся эта сцена являла собой режиссерскую иронию по отношению к тем, кого раньше называли интеллигенцией. Впрочем, это мало кто понял. Но Катерина Ивановна поняла.

Когда парень с девушкой вошли в квартиру, один из старцев, видимо, её отец, гневно бросился на парня с возгласами: «Что ж ты делаешь?». Разразился скандал, начался жёсткий обмен репликами, который закончился тем, что парень схватил отца за бороду и начал громко кричать:

«Ты посмотри на себя! Куда ты лезешь? Я спрашиваю тебя, куда ты лезешь со своими понятиями? Отжили твои понятия, папаша. Нет их. Нет. Ну и что, что ей семнадцать? Сейчас знаешь, во сколько рожают? Ты знаешь, нет? В тринадцать, в четырнадцать. Понял? И никто не против, потому что сегодня это нормально. Ты посмотри на себя. Ты в зеркало смотрелся, ты себя видел? Ты со своей бородой ни хрена про жизнь не знаешь и ещё галдычишь мне тут про понятия, про мораль. Ты посмотри, какая у тебя дочь! Что ты ей дал? Вместо того, чтобы водку жрать да думать: «Что делать?» пошёл бы и сделал что-нибудь. Пойми, щас не думать надо, а делать! Зарабатывать! Зарабатывать, отец!..»

Я тоже когда-то хотел стать умным, рассуждать вот, как ты, бороду отрастить. Закончил матема-

тический, и что? Я голодал, потому что никому умный такой не нужен был! Не нужен, понял! Я стал мыслить по-другому и сейчас у меня всё есть — квартира, одежда, еда, мебель нормальная. Я сам себя обеспечиваю. И что? Я плохой человек? У нас, кто с деньгами, сразу плохой. Нет, и дочь вот твоя скажет, что я нормальный, и я её люблю, и мы поженимся. Так что успокойся и засунь куда подальше, что ты знал до этого. Начни сначала, я тебе помогу, отец. А сейчас она пойдёт со мной и будет жить со мной. Со мной! Ты понял, нет?»

«Наконец-то сыграл, как нужно», — отметила про себя Катерина Ивановна.

Далее сюжет развивался банально и страшно. Парню позвонила та одинокая дама и сделала ему предложение, от которого невозможно было отказаться, альфонс бросает девушку, уходит к даме. После чего девушка делает аборт и бросается из окна. Спектакль заканчивается сценой в Турции на пляже, где дама отдыхает с молодым человеком. И вдруг она встречает свою прежнюю любовь, они мирятся, и она остаётся с ним. А жиголо даёт пачку денег и просит его побыстрее отсюда убраться, вычеркнуть её из своей жизни и больше никогда к ней не звонить, не приходить. Свет гаснет в тот момент, когда парень остаётся сидеть на шезлонге в плавках с расстроенным лицом и пачкой денег.

Мелодрама попала в точку — более половины зала ревело, казалось, что дк потонет в потоках девичьих слёз. Даже некоторые мужчины пустили скупую слезу. С дам, окружавших Кошкину, вместе со слезами текли их килограммы косметики, сквозь горькие слёзы они спрашивали у своих полусонных мужчин, когда те повезут их в Турцию. Зал дружно и бесконечно аплодировал, актёра завалили цветами и поцелуями, девчонки, расталкивая друг друга, лезли на сцену за автографами. Когда началось это вавилонское столпотворение, учительницы в зале уже не было.

11.

В своём тёмно-зелёном плаще она уже вышла на улицу и спускалась по лестнице. Жутко выла метель, её звуки оглушали дома, деревья, фонари, бесцеремонно врывались в подъезды и форточки, будто какой-то неумелый великан сел за снежный орган и выводил на нём свою никому не понятную фугу. Вьюга жестоко хлестала снегом по лицу учительницы. В голове у неё не было никаких мыслей, в душе не осталось чувств, тело настолько озябло, что перестало что-либо чувствовать, кроме беспрерывно колотившей дрожи. Учительница шла, сама не зная куда. На каждом шагу на неё с афишных тумб смотрели эти пошлые жёлтые афиши с белозубой актёрской улыбкой. Она отворачивала от них взгляд, но они были повсюду. Белые фонари, свесившие свои головы, будто увядшие бутоны, пытались хоть как-то ей помочь, осветив дорогу, но справиться с тьмой полностью им было не под силу.

Кошкина прибавляла шаг, перед глазами всё плыло. Куда она могла держать путь в такой час, было не совсем понятно, её остановка находилась в другом направлении. Слава Богу, хоть дороги оказались очищенными от снега, а то спотыкиваться и метели, и сугробам она бы не смогла.

Город обезлюдел, только изредка сквозь метельную фугу прорывался жалобный собачий вой. Дома тонули во тьме, как и деревья, как и небо. Такого угрюмого лица город N не носил давно.

Сквозь еле заметные очертания, она узнала на горизонте свою школу. Теперь она казалась настолько чужой и мрачной, что хотелось скорее пройти мимо неё. Силы таяли. «Только бы дойти, только бы успеть...», — вертелось в её голове.

У школьного фонаря стояло несколько мальчишек. Непонятно, что они тут делали в такую скверную погоду. Вдруг у школьной калитки мальчишки заметили тёмную грузную фигуру. Свет фонаря, выхвативший её, определил, что она зелёного цвета. Мальчишки узнали этот плащ — такой плащ носила только их учительница литературы. Они почувствовали, что с их Катериной Ивановной что-то не то и ринулись за ней в погоню.

Но догнать её оказалось не так просто, она развила необычайную скорость. Они пытались бежать, но в данных условиях это было невозможно. Они пытались кричать, но Кошкина уже ничего не слышала. Верхняя часть её тела замёрзла практически полностью, только ноги ещё её слушались, и глаза могли что-то различать во тьме. «Хороший спектакль, отрезвляющий», — только одну эту фразу прошевеливали её губы. После школы взгляду серых глаз Катерины Ивановны предстало ледяное поле NN-ской речки. За речкой сразу начинался её парк, любимая улица, а там рукой было подать до дома, стоило только перейти мост. Но, к своему удивлению, моста учительница не обнаружила. Снесли! Только обломки чёрными корягами светились на белом льду. Мальчишки уже бежали, кричали, что было сил...

Кошкина принялась спускаться к реке, она рассчитывала переправиться на другую сторону по льду. Она перелезла через несколько коряг, оставила свои следы на сугробе, после чего, наконец, спустилась вниз. По льду шла уверенно, не боялась, даже не смотрела вниз, смотрела лишь на тот берег, на котором среди голых деревьев вырисовывался одинокий памятник Грибоедову и совсем опустевший парк. Вдруг на грубых руках деревьев, откуда ни возьмись, стали появляться чёрные точки, с каждым шагом учительницы их становилось всё больше и больше. При виде беззащитных голубей её сердце что-то больно кольнуло, из глаз потекли слёзы, лицо вдруг моментально ожило, она прибавила шаг, устремясь к ним навстречу... и тут ветер дунул с особенной силой. Кошкина в тот же миг потеряла равновесие и споткнулась о старую доску — обломок моста. Её тело всей мощью упало на лёд и покатило. Уши слышали неприятный треск, треска становилось всё больше, наконец, под грузом тела ткань льда окончательно разорвалась, и мутная вода поглотила её. От звука воды голуби резко встрепенулись и беспокойно залетали от дерева к дереву, пытаясь что-то кому-то прокричать.

Мальчишки же, подбежав к берегу, удивились, не заметив никого на белом полотне, но через некоторое время один из них увидел странное зелёное пятно. Аккуратно спустившись к реке, они обнаружили всплывший плащ учительницы, который слез с неё под водой, словно шершавая кожа царевны-лягушки...

А сама учительница тем временем плыла куда-то далеко-далеко от так и не ставшего для неё своим города N...

12.

Мальчишки с помощью длинной палки вытащили плащ и отнесли его в милицию. Плащ осмотрели и не обнаружили ровным счётом ничего, кроме билета на представление.

Милиционеры взломали дверь квартиры на улице Комсомольцев. Немного удивившись идеальной чистоте, они принялись искать адреса родственников, друзей, но не обнаружили ничего, кроме письма сестры учительницы, присланного из города Богоявленска. Сколько потом ни пытались они найти, где находится такой город, всё было тщетно. Не было нигде такого города. А больше никаких адресов в квартире так и не нашли. Правда, нашли коротенький ответ учительницы на это письмо. В нём была написана всего одна фраза: «Не волнуйся, скоро встретимся...».

Похоронили её спокойно, на том же кладбище, где лежал её сын. На похоронах присутствовали только ученики и коллеги, для которых известие о смерти Кошкиной стало неожиданным и печальным событием. Даже директор пролил слезу.

Об этой истории написали в местных газетах, но со временем вся шумиха поутихла, и жизнь снова повернула на свою повседневную колею. Город N продолжал жить своей обычной и только ему понятной жизнью.

Спустя несколько месяцев новые жильцы учительской квартиры срубили берёзу, на которую так любила любоваться из окна Кошкина Катерина Ивановна.

P. S.

Эту историю рассказал мне мой приятель, студент филфака мгу, когда мы сидели с ним на Тверском бульваре и пили пиво. В тот день от меня ушла девушка, и я жаловался ему на свою несчастную жизнь. После разговора я сел и начал записывать эту историю. Почему? Я сам не знаю. Ведь, и в самом деле, моя жизнь бесконечно далека от жизни захолустного города под банальным названием N. Да и что мне, двадцатилетнему, до жизни пятидесятилетней учительницы? Но с тех пор я никогда не называл свою жизнь несчастной.

А мой приятель являлся одним из тех самых заинтересованных и внимательных учеников Катерины Ивановны, кто в тот холодный день вытаскивал длинной палкой её мокрый тёмно-зелёный плащ...

г. Москва

ДиН память Зинаида Гиппиус



Господи, дай увидеть!
Молюсь я в часы ночные.
Дай мне ещё увидеть
Родную мою Россию.

Как Симеону увидеть
Дал Ты, Господь, Мессию,
Дай мне, дай увидеть
Родную мою Россию.

Молодому веку

Тринадцать лет! Мы так недавно
Его приветили, любя.
В тринадцать лет он своенравно
И дерзко показал себя.

Вновь наступает день рожденья...
Мальчишка злой! На этот раз
Ни праздника, ни поздравленья
Не требуй и не жди от нас.

И если раньше землю смели
Огнём сражений зажигать —
Тебе ли, Юному, тебе ли
Отцам и дедам подражать?

Они — не ты. Ты больше знаешь.
Тебе иное суждено.
Но в старые мехи вливаешь
Ты наше новое вино!

Ты плачешь, каешься? Ну что же!
Мир говорит тебе: «Я жду».
Сойди с кровавых бездорожий
Хоть на пятнадцатом году!

Валентин Курбатов Сёстры тяжесть и нежность

из итальянского дневника



«...Здесь шёл снег на августовские Ноны; отсюда масляная река текла в Тибр; тут, как гласит молва, Сивилла показала старому Августу младенца Христа. ...Могут ли на жалком листе описать целый Рим?»

Франческо Петрарка

Не знаю, отчего это? Скорее оттого, что уже никуда не денешь своё деревенское происхождение, всё никак не можешь удивиться миру. Городской твоей товарищ полмира объездил — и ничего. Ну, расскажет вечером семье и друзьям, где был, покажет фотографии и живёт себе дальше до следующей поездки. А ты и там норочишь каждый день записать и вернуться — покоя нет. Как будто непременно всё надо досмотреть и додумать, и ты, Бог весть зачем, пишешь дневник. И добро бы о каком-нибудь неведомом уголке мира. Нет, пишешь о, об Италии, о которой написаны даже не тома, а целые библиотеки. И ты ещё до поездки читал эти тома, чтобы самому не переводить бумагу. Но приедешь, полетишь по улицам, кончится день и ты, хоть падая от усталости, а всё торопишься за неудобный гостиничный стол.

Это уж от века так — ничто чужое, как бы оно ни было умно и тонко, не кажется нам нашим. Как ничьи — и блестящие — фотографии не отражают того, что видим мы.

И потом я до этого много писал о Византии и, наверно, поэтому прежде всего искал голоса христианства, а в чужих страницах находил больше следов высокой мысли Плиния и Аврелия, чем молитвы апостолов Петра и Павла. И ноги сами прежде всего поворачивали в храмы — услышать Христову и апостольскую мысль, недавно слышанную в христианских руинах Малой Азии. Увидеть, как хранит старая Европа этот свет и опыт.

Но я уж знаю, что всего не расскажешь, и вот думаю, что коли уж на дворе время постмодерна и игры, то не воспользоваться ли чужим приёмом, давно используемым литературой: мол, вот нашлась старая тетрадь на дачном чердаке, где жил до тебя литератор. Там многие страницы вырваны на растопку, остальные погрызли мыши (видать литератор не всегда мыл руки, торопясь за стол, и мыши чувствовали на страницах запахи римских сыров и неизбежной «пасты»). Но вот, оказывается, и то, что осталось, хранит живой след чужого восхищения и раздумья и, может быть, интересно не только тебе.

9 декабря

Вчера вечером был прекрасный новогодне-рождественский Петербург — в искусственных ёлках и чужих электрических роскошах с впервые являющимися на ёлках крестами из огней. Рождество протискивается к нам в европейском платье. А уж Невский сиял, сверкал, переливался, роскошествовал, удивлял. Поневоле все беды забудешь и только по-детски разинешь рот.

А уж в 5 утра надо было вставать. Слава Богу, вылетели по расписанию. Где-то над Австрией облака разошлись — и как была прекрасна земля, населенная аккуратными половичками полей и как были трогательны малые черепичные городки, к которым были посланы эти половички. А там уж до самого Рима — облака. И только перед посадкой, когда вынырнули из облаков — море с каймой прибоа, пинии в сплошных приморских городах.

Аэропорт Леонардо да Винчи огромен — стинешь и ищи-свищи. Найдут через несколько лет обросшего, потерявшего гражданство и национальность. Слава Богу, нас встретил представитель фирмы и помчал прекрасной трассой среди пальм, облепихи (!), камышей.

Рим ■ 11 декабря

...И державный шаг Колизея внизу. Странно привычного Колизея — то ли от памяти фотографий, то ли от втягивающегося зрения. Но когда выходишь к нему через станцию метро снизу, то тут уж привычка в сторону! И так жалка перед этим величием суета непременных «гладиаторов» в лжедоспехах с их лжемечами и ухватками уличных приставал. Вроде наших «лениных» и «николаев» на Красной площади. Потом подьедет «лжеимператор», и они станут набрасываться на бедных, чаще японских туристов, втроём.

Да уж Колизей! Колосс. Великан. Молох. Каменное чудовище. Бойня. Завод по переработке человечины. И построен, говоря шёпотом, в основном евреями, которые били когда-то в скалах поразивший меня 5-этажный водоводный тоннель Тита в Пиерии Селевкии в Малой Азии. А тут вот тем же Титом приведённые из перепуханного Иерусалима, ставили циклопический театр, в котором, как будто только то и делали, что убивали христиан. Довольно было того, что здесь звери разорвали Игнатия Богоносца, кого, когда он был ещё ребёнком, носил на руках Иисус Христос, призывая «Аще не будете как дети» и на чьём разорванном сердце впервые вспыхнуло никого не образумившее ис.хс. ника. Но и потом христиане гибли здесь тысячами, скармливаемые зверям за то, что переполнился Тибр, за то, что жара, за то, что дождь, за то, что стареет империя. И не зря Григорий Двоеслов посылал отсюда Юстиниану в Константинополь в качестве самой большой святыни горсть земли с арены Колизея, как мощи святых мучеников. Да если и не мучили физически, то духовно-то всё равно ничем иным не занимались, растлевая роскошью зрелищ и возгревая жестокость и притязательность. И, глядя на ободранные, лишённые прежних мраморов стены, поневоле думаешь, что история не грабила

некогда одевавшие Колизей чудеса украшений, не воровала для других нужд и римских дворцов золото одежд этого колосса, а только обнажала механизм, открывала ледяное нутро, железную сущность этого каменного римского зверя.

А молодцы лжегладиаторы внизу, которые выколачивают копеечку из японцев — всё ещё дети тех, тысячелетних. Те тоже так играли мечами и мускулами для зрителя, только платили за это смертью, а эти получают плату насмешливыми взглядами, но кураж тут тот же — опустошённой или просто ещё не рождённой души. Как, должно быть, хохотали они над бедным иноком Телемахом, пришедшим сюда в начале пятого века из Византии и вставшим между гладиаторами, чтобы сказать о небе и любви. Английский историк Э. Гиббон сказал о нём, что его смерть «оказалась необходимее, чем жизнь». Как жадно и весело его тут же забили камнями. Тоже, поди, кричали: Убей его, кровь его на нас! И думали, что тем отстаивают Рим. И все эти маски, эти мраморные акробаты и актёры, танцовщицы и музыканты, насмешники и гистрионы, выставленные на галереях, тоже ведь обнаруживают не самую светлую человеческую историю. И оттого и смотришь на них без веселья, а будто слышишь всё то же вековечное, отлившееся здесь в формулу требование хлеба и зрелищ.

...Арки Константина, Тита, Септимия Севера шествуют «путём своим железным» вокруг Капитолия. Их фризы прекрасны и холодны. Рабы, колесницы, триумфы, «дориносимые чинми» императоры, пустые глаза торжества и всесия. Странствующие леса колонн, которые одни гордцы воруют у других, заполняя свои пантеоны и величавые капища. А потом эти же колонны начнут приручать уже христианские храмы (куда денешь римскую кровь?), смиряя их гордую кровь «молитвой и постом», оставляя их без прежних жертвенных воскурений и гекатомб. Мы увидим их в Санта Мария ин Космедин и Георгия на болоте, и в церкви Варфоломея на Тибериуме. Их окрестят и заставят держать небо, и они успокоятся и будут прекрасны, а разнородность их капителей, порфиоров и мраморов ночами будет только напоминать им о родине.

...А Форум Романум прошёл, словно не видел, хотя был восхищён каждым метром и поражающим пространством. Глаз-то остановился, а мысль — нет. Дежурное переживание.

Вздывается море, и тополь кипит.
Британик отравлен, Германик убит
За рошцей статуй, за лесом колонн,
А правят Калигула, Клавдий, Нерон.

Зато как сразу вскинулась душа в Санта Мария Арачелли. Как ревниво глядела на писанную Лукой Богородицу, такую отличную от нашей его же руки Владимирской, словно для Рима он писал в Ней строгую римлянку, а для нас — смиренно-нежную славянку. И как странна русскому сердцу капелла Младенца, где в алтаре царит Спаситель — толстый, обременённый золотом римский младенец в золотой же короне (под этим золотом уже не прочитаешь малой статуи Богомладенца, вырезанной якобы из оливы Гефсиманского сада). Ну и

естественно: как же ещё, как не в золоте, мог представить Его царственный Август, узнавший от сивиллы о скором рождении Первенца Божьего и постаравшийся отметить это грядущее рождение храмом? И как, поди, смеялся бы над собой император, если бы ему было «доложено» о рождении этого Младенца в далёкой Иудее, в Вифлеемской пещере среди волов и ослов. Да и что за предсказание о Первенце Божьем, когда для Августа Боги ещё едва помещаются на Олимпе? Разве поставить алтарь, как добрые Афины, «неведомому Богу», а там уж история найдёт ему имя.

Ну, вот история и постаралась, и Августова сивилла «угадала». А он, к его чести, не устранился приветствовать неведомого Бога. А надпись в храме даже гласит, что это он сам увидел Богородицу с предвечным Младенцем и, ужаснувшись, отказался от чести быть причисленным к лику богов — тогда, да и ещё чуть не два столетия позже, ходить в богах для римских императоров было в обыкновении. Впрочем, это ведь при нём была писана Вергилием и четвёртая его эклога, предсказывающая рождение Богомладенца, которую читал на первом Никейском соборе император Константин («Сызнова ныне времён зачинается строй величавый, Дева грядёт к нам... Снова с высоких небес посылается новое племя»). Значит, так готов был мир, так близко было рождение Спасителя.

...А уж у Ватиканских музеев очередь. Декабрь. Половина девятого утра — очередь!

Через час мы — там. Человечество скульптуры со всего света — мраморная перепись населения. Матроны, философы и ораторы империи скучны и добродетельны, как чужие предки на фотографиях. И вдруг замечаешь, как много в этом мраморе некрасивых лиц и догадываешься, что роскошная жизнь была жестка и беспокойна, а кровавые зрелища не красили лиц — ни мужских, ни женских. Лица не светали Богом. Через час от этого человечества богов, муз, императоров, гладиаторов, героев, пап, венер, аполлонов, весталок, юпитеров, а ещё тигров, собак, львов, волков, крокодилов (см. монолог Треплева: «Люди, львы, орлы куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, морские звёзды... словом все жизни, все жизни», словно бедный Треплев писал это, не выходя отсюда) устаешь, словно перед тобой и правда прошли все жизни, все жизни... И радуешься нечаянному окну на Рим, во двор Ватикана, как форточке из истории в живой день. Потоп истории, жуткая теснота честолюбий. Видно, как всем хочется остаться, остаться, не уходить. Немудрено, что Марциал мог стращать толстяков патрициев: вот возьму не воспою, и пропадите в безвестности, если не заплатите. Вот и держались, да ещё тащили с собой весь привычный мир, чтобы и там, в мраморной вечности вокруг те же павлины, лошади, львы, чтобы так было всегда! Всегда! И опять Приамы, Антиной, эскулапы, августы, трибуны, консулы, победы, триумфы...

Но сквозь всё и через всё указатели зовут, маняют, обещают — Капелла Систина. Жди, не торопись, копи волнение. Постой ещё перед полками героев, загляни в витрины монет, медалей, золотых крестов, евангелий, подивись роскоши

гобеленов. Подними глаза на победы Константина и Домициана, где, кажется, изображены во фресках воюющие стороны в полной своей численности, и каждый воин бьётся и погибает в вечном бою под вечным «Сим победиши!». «Призри с небесе, Боже, и виждь виноград сей!». Подлинно — виноград, «где кудрявые всадники бьются в кудрявом порядке». И какой руки! Себастьяно дель Пьомбо, Джотто, Филиппо Липпи. И вот уже Станцы Рафаэля — «Афинская школа» и падающие вериги Петра. А залы-то, оказывается, тесны и живое человечество японцев и европейцев (японцев всегда больше) мешается с населением рафаэлевых Афин и, кажется, что шум нашей толпы мешается с диспутом фресок. И неожиданно ловишь себя на том, что благословляешь эту тесноту толпы. Страшно представить, как бы ты оказался один перед этим сонмом отлетевших мраморных и живописных жизней, которые накнулись бы на одного тебя, требуя взгляда, ища твои глаза, чтобы на минуту воскреснуть Тебя бы не хватило на всех, и ты кончил безумием. А так один ухватится за одного, другой за другого и, глядишь, смерть и отступила.

Мы спасли их, они продлили нас. И полотно вечности всё ткётся, как у бедной Пенелопы, чтобы за ночь распуститься и к утру опять начаться с первой петли. И (по высокой драматургии устройств) мы ещё окажемся пропущены чрез мясорубку современного религиозного искусства в залах Борджиа от Эрнста Барлаха до Эрнста Неизвестного. И только тогда — пожалуйста, наконец, она — Сиктинская капелла!

Варево народа, митинг, вокзал, непрерывное «тш-ш-ш» охраны и радио: Силенцио! Все головы вверх. И тыходишь к Страшному суду спиной и пока видишь только сивилл, пророков, час творения человека, дивные ультрамарины и кармины фресок Боттичелли и изумляющие золотые и серебряные драпировки в тяжёлых складках мрачного бархата. Всё откладывает миг, всё оттягивает минуту главного события. Но пора и к трубам Страшного суда.

Разверзается вертикально поставленное небо, населённое больше, чем земля этой великой фрески. И там в отличие от столь памятного тебе Страшного суда византийской церкви Хоры, где весь небесный чин, кажется, молится за человека, бережно адвокатствует душе и жаждет принять её в своё братство, тут всё полно гнева и прощённые не счастливее осуждённых. Да и никто ещё не прощён. Всё будет вот-вот, и пламенный жест гневного Спасителя не сулит благословения. Не зря, говорят, здесь особенно грозно звучит на Страстной неделе *Miserere mei Deus* («наш» пятидесятый псалом — «Помилуй мя, Боже»)

Потом уже ничего смотреть нельзя. И глаз уже скользит безвольно и тропится к выходу, где небо уже на месте, где оно безмятежно и сине, где припекает и радуется солнышко.

Мы едем за городские стены к апостолу Павлу, в храм, который ставлен на месте его погребения после «благородной» римской казни — усечения мечом. Поезда метро исписаны, как наши подворотни, и ты поневоле отворачиваешься, чтобы не испачкать ещё полного капеллой и храмом зре-

ния. Но и поневоле благодаришь эту живописную низость, потому что она омывает твоё зрение, опускает его, чтобы не держать на нестерпимой высоте и приготовить для нового восприятия.

Павел выходит к нам боком, пряча фасад, и входя через пинакотеку, ты ещё не знаешь, что тебя ожидает. Слово храм нарочито начинает с вступительного пьяно, чтобы разворачиваться всё величественнее и грознее, аккорд за аккордом до грозного форте и тутти. Пока ты не увидишь, что это второй по величине после Петра храм Рима.

Сначала удивит квадрат двора, галерея, чьи стены затканы археологией и крестами, обломками полов и фризов, фрагментами колонн и саркофагов, мозаик и эпитафий — всем, что уцелело после чудовищного пожара, опустошившего храм в середине 19 века. Этот бедный «текст» уже не читаем, как рассыпанный набор, но хорошо готовит сердце к главному «тексту». Как и пинакотека, которую ты пересекаешь по дороге в храм. Там глядит на тебя со стен второстепенная, но всё же римская кровью живопись и пыльные листы старых гравюр, напоминающие, как величав был собор до несчастья и каков он был тотчас после пожара. Эта «увертюра» старит душу до должной глубины, чтобы ты мог вместить сердцем весь свод святынь капеллы реликвий, где хранятся частицы мощей апостолов Иакова Заведеева и апостола Варфоломея, Иакова Брата Господня и апостола Анании, архидиакона Стефана и праведной Анны, матери Девы Марии. И вериги Павла и часть его посоха и Животворящего креста. И десятки других святынь. И надо постоять минуту как после причастия, чтобы успокоить сердце. И только тогда можно войти в корабль собора. В холодный, серый царственный шаг колонн к трибуне, как зовётся там горнее место, с золотым небом мозаик, где воссияет над тобой Спаситель в предстоянии Андрея и Петра, Луки и Павла. А под ними апостолы уже сойдутся к Кресту, чтобы получить благословение на подвиг проповеди.

Нам, редко оказывающимся в алтарях наших храмов, не часто удаётся встать вот так под парусом свода, под самым обнимающим небом и почувствовать ужас и счастье этого объятия. И ты, стоишь и стоишь, пока твои копейки не иссякнут (автоматика освещения срабатывает на центры и евро), и небо не погаснет. Но и тогда не уйдёшь, потому что мозаика притихнет и исполнится новой тайны и вечерней тишины, как у нас перед утреней на шестопсалмии, когда храм, кажется, освящён одними ликами икон.

И только потом спустишься в крипту, где под престолом покоится апостол Павел рядом со своим спутником в долгих скитаниях апостолом Тимофеем, которого Павел звал «истинным сыном в вере». Вот, значит, где они нашли успокоение, эти скитальцы по Господню поручению, которые пешком прошли больше, чем иной за жизнь пролетает на самолёте. И вот, значит, как судьба присматривает за нами и глядит, чтобы всякий сюжет был дописан до точки. Значит, мне надо было пройти по их следам часть дорог Малой Азии, начиная с родины апостола Павла в Тарсе и мест их проповеди в Эфесе и Листре, Конье и Антиохии, надо было написать предисловие к книге Алена Деко «Апостол Павел», чтобы теперь поклониться их

последнему приюту и снова почувствовать правду и плоть христианства его живую историю, которая пересекает твоё сердце, чтобы ты понял, что небо начинается на земле.

А поднимешь глаза, выходя из крипты, и сразу согрешишь (таково уж видно слабое человеческое устройство). По фризу над колонами встанут в сумеречном свете храма медальоны с десятками портретов пап, где будет освещён один последний с портретом нынешнего папы, вздохнёшь, что уже погас медальон с портретом папы Иоанна-Павла II, с которым ты чувствовал (по славянству ли, по духовному ли устремлению) много родного. А потом оглянешься на их предшественников и застанешь себя на мысли, что портреты примасов за предшествующие столетия могли бы стать «журналом мод» лиц и одежд римских первосвященников. Там отразятся все века, как всегда они отражаются в наших лицах. Там будет простота и сила первых веков, жёсткая ясность средневековья, коварство и расчёт времён Возрождения, смирение и дерзость последнего времени. Там будет весь человек во всей его сложности, ибо он и там, в папском поднебесье — всё человек. А за Бенедиктом XVI-м ждут своего часа ещё пустые медальоны — «продолжение следует». Это хорошо смиряет и можно предположить, что нынешний папа уже видит там, в следующем медальоне известные ему одному черты того, кто будет светить там, когда он отойдёт в тень следом за Иоанном-Павлом.

14 декабря.

А сегодня нас ждёт Сан Джованни ин Латерано — Иоанн Предтеча на Латеранском холме. Церковь, рождённая ещё в четвёртом веке и звавшаяся «матерью всех церквей Рима и мира» (а как же — непременно мира!) В лесу римских статуй есть и народ Сан Джованни — пятнадцать статуй по фасаду со Святителем и папами венчают роскошный фасад Алессандро Галилеи. Но мы, неблагодарные, уже как-то фасады в храмах и не видим, торопясь скорее под своды, где опять, горят тяжёлым золотом кессоны потолков и пируют сотканые из камня «половики» и «ковры» Космати. Где в борроминиевых роскошных арках стоят мощные, полные пламени и силы статуи апостолов с орудиями своей казни. Не рыбаки — Геркулесы. Они таковы здесь всюду. Полководцы прогресса. Строители мира. Христианство силы и победы перед нашим христианством терпения и любви. Как крепкое физическое дело перед духовным деланием.

Их державное шествие венчается надпрестольной сенью, где в золотой клетке стоят золотые же бюсты апостолов Петра и Павла. И клетка эта была бы странна, когда бы ты не знал, что в ней, очевидно, ещё и охраняемой скрытыми чудесами электроники, дорого не золото крестов, а заключённые в них первые святые христианского мира — честные главы первоапостолов. Те единственные главы, которые по Христову слову подняли мир на дыбы. И от этого на минуту так страшно, что и под золотым небом мозаики в своде, где под Спасителем с девятью чинами ангельскими, под голгофским Крестом с Иоанном и Девой Марией, Петром и Павлом, ты уже

не можешь забыть, а всё будто оглядываешься, как от взгляда в спину.

Здесь была выношена идея Крестовых походов и объявлено об одном из них, здесь проходил двенадцатый Вселенский (Латеранский) собор. Немудрено, что здесь, на престоле под главами Петра и Павла, над мощами Иоанна Предтечи в крипте может служить мессе только Папа. И каждый папа строил здесь свои приделы, ставил лучшие статуи, заказывал прекрасные изображения. В этом, верно, было немного и от честолюбия и тайного соревнования в гордости и величии, но больше от правильного сознания преемства, словно папы были одной семьёй и папа-«отец» передавал «дело» папе-«сыну», как тот в свою очередь — папе-«внуку». И древо жизни «вечно зеленело» и тянулось к небу. И было, конечно, исповедничество и благодарение не только начавшим здесь христианство первоапостолам, но и сонму мучеников, прошедшему через этот город, как ни через какой другой. К тем, кто был скормлен зверям, брошен в железных быков, обезглавлен, распят, кто пылал в живых факелах вдоль Аппиевой дороги, чтобы Нерону не было темно в вечерних прогулках.

Страшную славу надо было заслонить великой. И никакая благодарность тут не была чрезмерна. Не оттого ли Константин, чья статуя стоит здесь при входе, основавший этот храм и освятивший его за год до Никейского собора, и перенёс столицу во второй Рим, что первый был для христиан слишком страшно памятен? Хотел начать с новой страницы. Но история не хотела переписываться и вернулась в Рим, чтобы там, на мощах начать путь Преображения. Мучениками город было обесславлен, ими же и вознесён. О чём так чудно писал Иоанн Златоуст, прежде всего как раз об этих первых и главных — в золотых бюстах: «Не так блистательно небо, когда оно разливает свои лучи, как блистателен город римлян... Оттуда будет восхищён Павел, оттуда — Пётр. Помыслите и содрогнитесь, какое зрелище представит Рим, когда Павел и Пётр восстанут из своих гробов и будут восхищены во сретение Христа, какую розу подносит Рим Христу, какие золотые цепи опоясывают его, каким обладает он источниками».

И подлинно — какими! В одном этом Сан Джованни найдёте вы стол, на котором Спаситель совершал последнюю трапезу, и плат, который видел Пётр по кончине Спасителя первым — «который был на главе Его не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте» (Ин.20,7). И часть Креста и багряницу, и тёрн от венца. И вериги апостола Иоанна Богослова, и частицы мощей царицы Елены, Марии Египетской и Марии Магдалины. И пострадавших при Декии, при котором пострадали и семь отроков эфесских, славянских мучеников Анастасия, Мавра, Септимия и, и, и...

Всякая капелла, всякий придел повернётся к вам со своими святынями. Казалось, храм поднимется и полетит. Только сестра тяжесть мощных его камней не даёт. А выйдете в пустынный посреди декабрьского дня храмовый двор и увидите устье колодца, у которого Спаситель беседовал с самарянкой, окровавленную плиту, на которой солдаты «об одежде Его меташа жребий»,

колонны храма Иерусалимского. Тут целое тысячелетие жили папы и каждый нёс свою лепту. День за днём можно отдавать храму, а он будет только шириться в душе и полниться всё новой силой, не истощаясь.

Флоренция ■ 16 декабря

Утро серо и холодно, но разрывы в тучах уже сулят солнце. И хочется ухватить в кадре Санта Мария дель Фьоре. А собор не даётся. Углы, повороты, фрагменты. Теснота площадей никак не даёт увидеть его разом, разве сделавшись птицей.

И мы прячемся от утренней сырости и прохлады в собор, чтобы увидеть его уже во фреске Доменико ди Микелино, на которой «местный» поэт Данте в алом плаще и венке из лавра (словно его никогда не изгоняли этого города) без укора показывает родному городу и миру свою «Божественную комедию», чьи круги изображены там, за ним, как Вавилонская башня, увенчанная райским садом с Адамом и Евой. А там — только поворачивайся, — Паоло Учелло и Андреа дель Кастаньо, Лука дела Робиа и Лоренцо ди Креди. И в куполе Брунеллески странно знакомый Страшный суд, в котором ты узнаёшь ещё не ушедшее из памяти вертикальное небо Микеланджело. Но это не он. Это оглядывающийся на Него Джорджо Вазари. А иконы Джотто отсылают нас к родным образам и на минуту в них слышно душе краткое объятие наших, в его пору ещё не успевших далеко разойтись вер, как свидание Мария и Елизаветы («И откуда мне сие...»). Это потом, уже много позднее, они разойдутся, как Мария и Марфа — та, что у ног Господних, и та, что хлопочет о земном. И в соборе ты слышишь и видишь этот путь, дорогу расхождения, дальнее эхо своего и долгий путь чужого, для тебя уже проходящего не по вере, а по великой мировой культуре.

А солнце на улице расходится вовсю и уже манит к сверкающей Арно. И мы через Понте Веккио в золотых (сплошь золотых!) лавках — пусть ими пленяются те, у кого звенит в карманах больше эскудо, чем у нас, — вверх, вверх, в гору, чтобы поглядеть на город оттуда. По Сан Джорджо, мимо дома Галилея (да вот так просто: здесь с такого-то по такой-то год жил Галилей и рядом была его обсерватория), мимо дома Чайковского, к кипарисам и оливам окраины, к церкви Сан Миниато аль Монте, которая реет над городом белым замком и знаменем опять в белых мраморах Каррара, зелёных — Прато и розовых — Марремо. Её лестница и сама она восславлены Данте в 12 песни «Чистилища».

Там горит в небесах совершенно византийская мозаика (хотя сейчас в церковь Хоры или Константинопольскую Софию) со Спасителем между Девой Марией и Сан Миниато. Там ещё тлеют вокруг мощей Сан Миниато в полутёмной крипте меркнувшие фрески Тадио Гадди. А наверху, справа от пресвитерия в Сакристии сияют чудной свежестью, словно писаны не шесть с половиной столетий назад, а вот вчера и закончены фрески совершенно джоттовой руки, писанные его учеником Спинелло Аретино. Наболовавшийся старой Италией, узнавший каждый её метр Павел Муратов будет снисходительно звать этих учеников и подражателей «джоттесками», но нам ещё далеко

до такого снисхождения и вот не оторваться, не уйти из капеллы, развернувшей перед тобой неведомую жизнь святого Бернарда. И молитва твоя там собрана, а душа так покойна и тревожна одновременно, как всегда в присутствии великой святости.

И когда выходишь из храма, Флоренция как на ладони: Санта Мария дель Фьоре, Санта Мария Новелла и понте Веккио на золотой нитке Арно, как цитата из старых флорентийских пейзажей. А чуть ниже, за аббатством бенедиктинцев на прекрасной пустынной площади, назначенной только для любования Флоренцией, высится в небесах, возносится, летит в небеса всё тот же бронзовый Давид, как герб и знамя города как его небесный покровитель в охране микеланджеловых Утра, Вечера, Ночи и Дня, мраморные оригиналы которых мы увидим завтра в капелле Медичи. И сам он под золотыми ветренными облаками в ограде гор Казентина, не может наглядеться на свой город, на Санта Кроче, где покоится его создатель.

...А город, когда мы спускаемся по лестнице, по которой флорентийцы поднимаются с молитвой в дни воспоминания о Крестном страдании Иисуса, уже закипает вечерней жизнью. Дети катаются на велосипедах вокруг памятника Демидову сан-Донатто, молодые люди не то в спортзале, не то в аскетической церкви по соседству с галереей Уффици, куда я заглядываю вовлечённым пением, все в лёгких белых одеждах поют что-то беспечное, лёгкое, счастливое и, кажется, обнимают друг друга взглядами, — молодые прекрасные.

К ночи я ещё успеваю забежать в Санта Мария Маджоре. Там опять с улыбкой останавливаюсь перед рождественским вертепом...

...Луна восходит над Флоренцией, над Понте Веккио с закрытыми к ночи лавочками, хотя одна-другая, видно ещё припозднились с закрытием. Тащится с пирушки щеголеватый молодец, разогретый вином настолько, что в карете ему душно и он, отпустив кучера, сам ведёт лошадь под уздцы — проветривается, поглядывая со здоровым интересом на молодич, Бог весть, зачем выкатившихся на лунную площадь в такой поздний час. Последний нищий, который, верно, снул, было, за своей «работой», услышал топот копыт и вот приободорился, и опять «на службе» — тянет усталую руку. А уже на самом повороте с моста на набережную, по дороге к пьядца дель Дуомо, оказывается, родила Дева Мария и Иосиф сидит над яслями и не знает, как теперь поспеть к августовой переписи. И ещё ни пастухов, ни волхвов — видно, им до Флоренции далековато. Христос рождается — славите! Славите везде — в Риме, во Флоренции, на каждой площади и в каждом храме, ибо Он (и это здесь так радостно видеть) рождается для каждого сердца в своём углу. В Санта Мария Новелла, в Сан Лоренцо, в Санта Кроче...

Сиена ■ 18 декабря

...город высоко на холме и надо, как третьего дня на Яникуле в Риме, долго идти серпантинном без тротуара под рёв машин и мотоциклов, пока не откроются в гербах и фризах прекрасные врата Камоллиа и за ними город, обещающий, судя по надписи на воротах «открыть тебе своё сердце». И

теперь только определить по плану, где мы — ага, вот как раз и виа Камолиа — значит, вперёд по ней до Дуомо, главного Съенского собора и до piazzа Кампо. И так бы и шёл по стрелке. Но как пойдёшь, когда на каждом углу, то Сан Пьетро, то Сан Бернардо, когда на каждом углу озарённые лампадой то живописные, то скульптурные Санта Марии, когда уже вглядываешься в фигурки дикобразов, единорогов, улиток, которыми всякий район города ревниво отделяется от другого, когда всякая улица манит свернуть туда и сюда, когда волчица с Ромулом и Ремом глядит чуть не с каждой площади, которая размером в носовой платок, но не забывает, что она площадь и норовит выставить перед глазами свои бюсты и статуи, портики и фронтоны. Но вон уж мой спутник машет: сюда! сюда! и по его взволнованному лицу видно, что действительно — туда.

И сердце, Бог весть отчего тревожится и ты торопишься, торопишься, предчувствуя по откуда-то снизу поднимающемуся свету, что тебя действительно ждёт что-то необыкновенное и идёшь по лестнице переулка медленнее, сдерживая дыхание — ну, чего ты ещё не видал — площадью меньше, площадью больше. И всё равно оказываешься не готов.

Площадь (та, с каждого угла зовущая тебя Piazzа ди Кампо) распаивается перед тобой таким длинным счастливым а-а-ах, что ты почти задыхаешься и останавливаешься, не зная, идти ли дальше. Так вот что такое вообще значит в человеческом замысле площадь — именно это а-а-ах или почти мучительное скрипичное гутти в адажио Альбинони. Или пленившее Пьетро Паоло Пазолини в его «Евангелии от Матфея» широкое русское «Ах, ты степь широ-о-окая...», под чью страшную даль выходил на проповедь и последнее служение его Спаситель. Ах, Кампо, Кампо! Подлинно «площадь Поля». Широкая, как ликующий простор, как призыв к чему-то гордому, как счастье! Её Торре Манджиа — стремительная башня палатцо Пубблико неведомым образом не удерживает разлетевшийся взгляд своей вертикалью, а как будто ещё поднимает всю площадь в небо и она горит там, в небе Тосканы, как будто за ней никогда не сгорает закат. Тут и понимаешь, почему Павел Муратов в главе о Сиене пишет скорее песнь, чем воспоминание. И так и надо, именно по-муратовски — не «Сиена» с острым и чуть мешающим «и», а Съена — горячее кирпичное скольжение музыки и счастья. И тут забываешь римских сестёр — тяжесть и нежность, и видишь только сестёр-близнецов: нежность и нежность.

Но сегодня небо серенькое, камень холоден и вечность повседневна и оттого ещё более ненаглядна. Площадь почти пуста при кипении улиц и обнимает твоё ошеломлённое, уже навсегда теперь отданное ей сердце с материнской нежностью.

И не уходил бы век. Но ведь ещё обещано путеводителем чудо Дуомо, главного собора. И мы вверх, вверх тесными улицами, всё оглядываясь на площадь, на не отпускающую Торре Манджиа к соборной площади. И как-то само собой сначала в Санта Мария дела Скала под грозное, завораживающее небо «Страшного суда» Мартино ди Бартоломео, но друзья уже торопят: нечего, нечего — главного не увидите. И вот он — Дуомо!

Ах, это вековое соперничество гибеллинов Съены с гвельфами Флоренции! Вот оно во всей красе! Ведь эта ослепительная мраморная готическая риза фасада надета на романское платье, как архиерейская парча на холщовый подрясник. Каков был первый фасад, ты догадаешься сразу, как только, изумлённый и смущённый увиденным, сбежишь по уличным ступенькам к баптистерию Сан Джованни (не может, не может быть, чтобы тогда, при покойной и сильной вере, всё было так роскошно!). Или поднимешь глаза на летящую в небо кампаниллу, с каждым пролётом увеличивающую количество «окошек», чтобы тому, кто поднимался по её ступеням пятьсот лет назад в жажде увидеть Съену с высоты птичьего полёта, было так же видно золотое небо Тосканы, как тем, кто нашёл силы подняться туда сегодня.

Царственные «кокошники» порталов, пламя мозаик «во главе» с «Коронованием Марии» в поднебесном тимпане, тяжёлая роскошь витражной «розы». Никак не обнять всего сразу! Взор мечется со знакомым чувством неутолимого голода. И уже поневоле неблагоприятно думаешь (куда денешь русское сердце?): надо ли так роскошествовать? И, оборачиваясь, видишь, что и с самого начала мысль твоя кружилась вокруг этого. Ты ещё ничего не сознавал, только ненасытно глядел вокруг, а русское сердце (ах, это неблагоприятное русское сердце!) всё взвешивало, всё прикладывало к себе, всё мерило собою. Мы как-то таинственно (не от Достоевского ли?) — получили (или — присвоили себе?) это право — судить мир нашей мерой.

Сегодня (а надо ли говорить, что дневник, написанный там и тогда, проверяется при перепечатывании — хотя бы и всего неделю позже — уже дома, когда ты уже что-то и из литературы посмотрел, о чём-то подумал и оглядываешься на вчера оставленные дни чуть охлаждённым сердцем?) я думаю и думаю, проверяю и проверяю себя — что видело сердце? Только ли то, что глаза? Или душа была умнее и что-то пыталась понять сразу, когда ум ещё только запоминал «показанное», и только до возвращения не находила слов. А в глубине-то душа «ворочалась с боку на бок» и примеряла увиденное к своему. Во всяком случае, она недолго смотрела на фасад Дуомо, смущённая расхождением только увиденной совершенной тёплой земной красоты площади Кампо с холодным небесным рассудочным совершенством собора, расхождением простоты и поражающего чуда верующей жизни с тонкостью веками наживаемого умозрительного богословия. Вот написал эти строки, смутился, заглянул в «Съену» П. П. Муратова, а там (какое счастье!) сразу бросились в глаза строки: «нынешний собор с его напрасно прославленным фасадом». Да, да Павел Петрович, напрасно, напрасно! Во всяком случае, на родной православный вкус.

Душа не спрашивает, а сама «пропускает» (потом! потом!) чудеса фасада, и торопится, торопится внутрь, уверенная, что настоящие сокровища там, в самом соборе. И ведь это так и есть! Не в роскоши же камня они, не в розах витражей, не в хороводе чуть читаемых, известных разве скульптору святых и съенских героев портала, а там, там, — у престола. Но и там, ещё до престола ты сначала увидишь полы. Они поражали тебя в

Риме, во Флоренции, А тут они таковы, что ты, можно сказать, и не увидишь их, кроме нескольких фрагментов. Заботливые съенцы закроют их почти все, кроме двух-трёх плит, многотерпеливой фанерой, заслуживающей за свою охранительную (а в наших храмах, при едва рождающихся алтарях) и созидательную службу — благодарного памятника (может быть, даже летуче повсеместного, вызывающего в памяти знаменитую строку о неизвестном герое, пролетевшем, «как фанера над Парижем»). Это было уже и при Муратове и он тоже видел только их часть и успел сказать нам, что каждая плита принадлежит разным мастерам и называет Маттео ди Джованни и Пьетро дель Минелла, но говорит, что есть и Пинтуриккио и Беккафуми. И особенно отметит Антонио Федериги.

Кажется, это действительно самый завершённый собор из виденных тобой за эти дни. Во всех предшествующих ты непременно там или тут почувствуешь «паузу», невозделанный участок, «приглашение к продолжению», словно мастера оставляют зазор как при передаче эстафеты, чтобы всегда мог подхватить, продолжить служение другой. А тут — всё! Тут только молись и слушай глубину веков, остановленных, в полосах чёрного и белого мрамора, словно в волнах вечности или в культурных слоях растущего времени. И при молчании услышишь всю органную мощь этого полёта, этой оградившейся от улицы и мира «катакомбы», где неизбежные в готических храмах сумерки только подчёркивают густую тяжесть столетий. Её не разбивает и прекрасное алтарное окно с неизменным «Коронованием Марии», её «Молением» и «Успением» и только подхватывает и восхищает каким-то уж очень нынешним символизмом пустая сияющая ниша Спасителя («что вы ищите живого между мёртвыми, Его нет здесь. Он воскрес» - Лк. 24;5,6) над окном в предстоянии прямящихся по сторонам в своих нишах апостолов.

И всё время сбоку будто лишнее окно будет манить светом, пока ты не уступишь, не повернёшься и не увидишь капеллу Пикколомини, где кинется на тебя столько синевы, золота и света, что ты заморожено переступишь порог капеллы и возблаговаришь Бога за счастье увидеть её. Я не знаю, в какой час дня и душевного расположения входил в неё П. П. Муратов, назвавший работу Пинтуриккио в этой капелле «тусклым провинциализмом». Но мы, уже навидавшиеся за двадцатый век художественной грязи и низости, входили в этот ликующий сад белизны, золота, карминов и ультрамаринов с острым чувством радости, смущённые разве тем, что нас включали в этот праздник интронизации пап, возведения кардиналов и коронавания поэтов с равноправием, а мы одеты темно и «не по сезону». В этой дивной музыкальной пьесе общего праздника все были малы, и теперь никто никогда не состарится, потому что Пинтуриккио подарил им вечную весну, золотое юное утро, которое никогда не склонится к полдню, а тем более вечеру. Может быть, это и есть «чувственный культ художественного католицизма», как звал его Мережковский, но душа иногда просит этого света, как обещания рая.

Но это уже начало 16-го века, а собор-то конца 13-го, когда ещё глядела в окна золотая Византия, когда небом христианства была горячая золотая икона и молитва ещё не одевалась в светские одежды. И нельзя было и помыслить чудес Пинтуриккио с его пышным юношеством в храмах, где все в шляпах и перьях всех моделей века с редкими простоволосыми дамами на венчаниях пап и поставлениях кардиналов. Может быть, это и смутило Муратова, его православную строгую душу. Он, напитанный закатным солнцем Съены, конечно предпочитал великого Дуччо ди Буонисеньи и, кажется, сам участвовал в торжестве перенесения его Богородицы из мастерской в Дуомо, когда за только рождённой иконой шёл весь город, благодаря мастера за то, что он крепил их молитву великим образом. И город в своём вечном закатном свете был под стать Образу, словно тот был писан его камнями, его солнцем, его мужеством и строгой красотой его юношей и старцев. Теперь Образа в храме нет — как всюду, государство похищает лучшее для музеев.

Но зато в храме в капелле Понтифика всё глядит из киота, который держат ангелы Бернини, Мадонна дель Вото, такая близкая русскому сердцу, как наша Тихвинская и Смоленская, Богородица обета в немного простодушной золотой короне в дорогих камнях поверх живописи, как и строгий Богомладенец. И хранят её святой Лоренцо и прославившая этот город Екатерина Сиенская. Этой ей, Богородице дель Вото город посвящал себя и нёс ключи в тяжкий час осады, чтобы она оберегла его. И она вставала на его защиту. И тут уж никакой музей не властен — Богородица не выйдет из собора, пока этот город стоит под небом Тосканы.

И мы ещё успеем до сумерек поклониться ему, порадоваться Пьяцце Кампо, её прекрасному фонтану, где бесстрашные голуби пьют из пасти волчиц, воспитавших ромулов и ремов, наглядеться на Торре Манджиа норовящей, из створа всякой улицы удерживать тебя. И так и уйдём из города с повернутым назад лицом, чтобы унести его в сны.

Венеция ■ 19 декабря

...И вон она там, на горизонте за лагуной, чтобы дать тебе приготовить сердце. Серое пасмурное море, катера, чуть читаемая линия города, долгий австрийский мост через пролив — готовься! готовься! Поезд останавливается прямо перед каналом Гранде. И мы чуть не из вагона прыгаем в первый же катер.

Ну что — приготовился? Мечусь с борта на борт в отчаянии — как увидеть и ту, и эту стороны, да ещё бы хорошо и воду, и небо, и каждый дворец по сторонам? А домов-то и правда нет: дворцы, дворцы — старые, даже, кажется, покосившиеся. Во всяком случае, с покосившимися карнизам, пооблупившейся штукатуркой, выцветшими и как будто запылившимися фресками по фасаду, хотя какая тут пыль? Лёгкие арки окон, «коновязи» (замечательное слово нашёл Бородский!) гондол, сами они стайками покачивающиеся на волнах. Все, как скрипки одной руки, — чёрное сверкающее вороново крыло (нет, опять лучше Бродский, которого ты прочитаешь потом, и пой-

мёшь, что значит поэт: «Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая вразнобой тишину»). И ни в одном окошке любопытного лица, словно город живёт обёрнутый во двор, а фасад — это так, для туриста. Катер останавливается через аркады, выпуская одних пассажиров и принимая новых — автобус, а не катер: коляски, покупки, «вы сходите?». И «остановка» объявляется, кажется, только одна — для нашего брата: «Сан Марко»!

Мы выходим прямо под благословение дворца дождей, колонны льва Святого Марка, под сень торжественной башни с тем же львом наверху (как они перекликаются в европейской ночи — эти башни ратуш и парламентов, как удерживающий свод законов), в неожиданный простор безупречной площади в неизменных вихрях голубей, тотчас набрасывающихся на каждого, кто протянет руку. Но уж до площади ли, когда рядом Сан Марко? Не архитектура, а скульптура глубокой и сильной лепки, будто ни одной прямой линии и плоскости — всё в упругой подвижности, в натяжении и чудящемся насилии — не дать тебе успокоиться («главы ваша Господеви преклоните!» — только тут не Господеви, а воле и вычуре архитектора). Бог весть, почему припомнился великий испанец Гауди. И всё движение устремлено внутрь, вглубь, в «клубок» собора — не дать тебе вырваться. Да ты и не хочешь вырваться. Ты уже сам весь там. Ты уже сам жадно подталкиваешь себя вперёд.

Слава Богу, день почти без солнца. А то представить нельзя, как бы всё это пело, гремело, пылало — эти арки, купола, шпили, фрески, мозаики! Как хорошо, что мы приехали в декабре, что «Италия на ремонте», что мы видим её будний день, её рабочую обыденность, хотя она и в будни «работает Италией» — украшением мира.

Сколько раз я видел Сан Марко в кино, в альбомах. А вот ничего общего. Эта золотая старость не передаваема и как-то чудно рукотворна. Словно детский замок из песка... Но день-то мимолётен — скорее в собор!

...Темно, тускло, запылено, как на старых чердаках, Это почти везде и по всем соборам Италии. И даже в Венеции, где пыль может быть только водяная. Тут-то и понимаешь, что такое пыль веков («и пыль веков от хартий отряхнув...»). Это время пропихивает стены, это носится над городами, странами, людьми земля границ и цивилизаций. Всякая революция, война, духовное потрясение возносит поколения, меняет столицы, передвигает пределы. И след этих потрясений таинственно оседает в тяжести стен и придаёт им очарование, тайна которого в том и есть, что мы касаемся материи истории и догадываемся, что страницы хроник под бегом букв полны плоти и тяжести. А уж венецианская задорная история нанесла на свои площади этой пыли больше других. Да и одной ли пыли? Вон хоть кони на соборе свои ли? Не Константинопольской ли крови? Не горькой ли след наших разделений, когда мы в пределах одной веры с молодой жадностью рвали молодое тело Византии в крестовых походах, когда и мощи святых не знали покоя, уносимые от мест упокоения как дорогие трофеи по чужим землям. Конечно, они уже принадлежали человечеству. Но как археологи берегут каждый камень на своём

месте, потому что он только в «месте прописки» говорит с особенной полнотой, так ведь, верно, и голос святых слышнее всего там, где вместе с ними говорят их земля, их небо, их воздух.

Мерцает, пробивает тьму времени золото невероятных мозаик, как бывало в константинопольской Софии, — вино и золото подвалов вечности. Алтарная преграда пуста. Икон нет. Только шествуют колонны, охраняя незримые образа, и венчает преграду Богоматерь с Иоанном у креста тёмного дерева (кипарис? кедр?) в торжественной охране 12 апостолов по сторонам. И пылает Мадонна Никопея, плывая в золоте фона и истаивая в нём, так что Богомладенец уже чуть читается и, когда бы не усилия реставраторов, исчез. Крестовидные светильники давно не вспоминают о свечах, день ото дня тяжелея от воспоминаний о прежних сияниях. Восточные тюрбаны кафедр в золоте орнамента, лампы как золотые кувшины со змеиным горлом, больше уже зовут Стамбул, чем Константинополь. Время течёт и гнётся, как отражение в волнах канала.

Наверное, об этом алтаре можно было написать роман. Даже если бы в романе не было ни слова о церкви, а он был бы просто о человеке посреди дня и страдания. И роман был бы тяжёл, как медовое золото, как закат над лагуной, как громоздкое *largo* Вагнера. И я хожу, мечусь между колоннами, впиваюсь в мозаики, пытаюсь прочесть их богословие, ведь в каждом храме и под каждой рукой они, даже и при одних и тех же сюжетах, ставятся в своём порядке и этот порядок и обнаруживает свет веры или печаль усталости творящего их мастера. Сколько уже здесь «психологии» в «Тайной вечере», в её парадной стройности, в диалоге взглядов Петра и Спасителя по краям стола, так тонко подчёркивающего преемство первоапостола. Как изощрённо эффектен «Поцелуй Иуды» с покойно ироническим взглядом Спасителя, останавливающего Петра, урезающего рабу Малху ухо. И как печален Пилат, ещё пытающийся образумить Иерусалим: «Сё Человек!». И как спокоен Христос в багрянице перед тем, как спуститься по той лестнице, которая через три столетия сделается святой и переедет в Рим. Читал бы и читал сюжет за сюжетом, но уже товарищи не зовут меня: хватит!

Да я и сам чувствую: хватит! Всё во мне уже болит от этой непередаваемости, этой тяжкой (неотступное слово!) мерной поступи колонн, золотой вечности, слежавшегося времени стоячих утомлённых столетий. Эта плоть времени, эта медленная кровь веков уже грозит остановкой сердца. Здесь молитва смешалась с дыханием дней, с жестокостью кровавой молодости, дипломатией и коварством дождей, подвигами духа и честолюбием пышности. Этот воздух застоялся и его надо преодолеть, дышать через силу, вырваться из его вязкой власти.

Рим ■ 22 декабря

Машина уже «у подъезда»: Прего! И аванти! Я ещё мучаюсь, сидя рядом с представителем фирмы, от безъязыкости, а он уже торопится напоследок показать город: «Пьяцца република! Базилика...» Ну, это мы знаем, и я, опережая его: «Санта Мария дельи Анжели». Он: «Браво, дотторе!». А уж впереди площадь Венеции, и я тычу пальцем: «Пьяцца Венециа!». Он: «Браво, дотторе!». А уж там прямая как стрела виа Серпенти, и мне хватает бесстыдства спросить: пёрке она серпенти? если она прямая, а серпенти — это змея, которая (и уж тут только жестами...). А он уже кричит, подозревая, что я всё понимаю: «Баста, дотторе», и весело пускается во что-то о змеях, не забывая показывать: а это церковь Петра и Павла. Господи, ничего не успеешь увидеть — ведь это отсюда их повели — Петра и Павла из Мамертинской темницы. И это здесь, как я помню из путеводителя, написано, что Павел, якобы сказал Петру: «Да будет мир с тобою, основание Церкви и пастырь всех овец Христовых».

И может быть, для этого мне и показывает эту церковь на дороге добрый католик, чтобы я ещё раз уверился, что тут центр мира. Но я уже и не сержусь на это настойчивое самоутверждение, а только грущу, что всё, всё. Уже и не поспоришь. Баста, баста, дотторе! (а понравилось мне это обращение!). Простимся, добрый чичероне. Простимся лакримоза — пусть плачу только я.

Домой! Домой! Арриведерчи, Рома!

Рим — Псков
— вот так.

Денис Колчин

Tombe la neige



В холодильнике мышь задавилась,
Иногда подвываю дворянгой,
И шепчу: «Ну, и что, ваша милость?
Наплевать! Ты не видел журфака!
А я видел! И чё тут горланить?!»
За окном налетают потёмки,
О любви надрывается память,
Октябрины до судорог тонки.
Рок-н-ролл, рестораны, кик-боксинг...
Я шепчу: «Дорогая, прочтите.
Это вам посвящение, осень.
Вы теперь в абсолютной защите».
И вот здесь появляется мельком
В тишине, на глазах, в полусвете —
Замерцает у самого века,
Цзинь-ци-ринь на прохладном паркете.



Ты немного похожа на Вивьен Ли,
Чуть-чуть уловимо.
Все приборы показывают нули —
Уж полночь, вестимо.
Мы стоим у подъезда, не говоря,
Глядим друг на друга.
Голливудская осень, если игра,
Наверное, — скука.
Мы стоим в распростуженном октябре,
Друг друга обнявши.
Дребезжит козырёк: «Ре-ре. Ре-ре-ре», —
Над нежностью нашей.



От несчастной любви — на Кавказ.
От счастливой, конечно, туда же.
А приедешь, промолвишь: «Прекрас...»
По колонне подствольные вмажут.
Раскорёжен передний уаз,
А внутри вперемешку останки:
Руки-ноги, кровяца, «Атас...»
И кишки, и мозги, и портянки.
Никакой здесь романтики нет.
Да и не было. Это уж точно.
От несчастной любви — тет-а-тет.
От счастливой — плохое нарочно.



От Кизляра до Моздока — белая степь.
В голове играет «Tombe la neige».
Едешь в кузове и знаешь — надо успеть.
А куда? Не помнишь, обезмятежен.
Понемногу засыпаешь, такой-сякой,
Успокоен музыкою, движеньем.
Холодину ощущаешь левой щекой —
Из-за тента дует зимовращенье.

г. Екатеринбург

Юлия Тамкович-Лалуа Разговоры еле слышны

Мир через дырку в ломтике сыра

Из дальнего конца коридора, через всю квартиру, с решительным видом топает малыш, везёт за собой по полупрозрачный мешок с конструктором. Шлёпает голыми ногами — как всегда стасил с себя и носочки, и тапочки. Мешок шуршит и цепляется за плинтус, кубики грохочут. Рот человечка измазан начинкой от шоколадного «Принца», кучеряшки взъерошены, домашние штаны на резинке перекручены и вот-вот спадут вообще, из носа висит. Малыш сосредоточенно и нетерпеливо оглядывается по сторонам:

«Маа-ма, где ты?! Иди! Иди! В моей комнате дождь!».

— Дождь на улице?

— Нет! В моей комнате! И на кухне тоже! Открой, ну, открой зонт!

— Да ведь и вправду, какой мокрый мальчик! Осторожно, в голубой комнате, наверное, тоже гроза?

— Нет! Только в моей комнате! А в зале хорошая погода!..

...Знаете, было такое песочное пирожное-кольцо за 22 копейки? Ну, большое, жёлтое, сладкое, в сантиметр толщиной, зубчики-лепестки, как у шестерёнки, обсыпано крупной коричневой крошкой, с дыркой посередине — надевай на палец и обкусывай.

От него ещё оставался слабый жирный след на тонкой обёрточной бумажке.

А разноцветные леденцы «Монпасье» в круглой жестяной коробке с синими завитками-узорами — помните? Запах эссенции, маленькие слипшиеся двойные, тройные шарики, как молекулы из кабинета химии? Коробки ещё всегда так туго открывались: надо было подцеплять ногтем крышку, рискуя всё рассыпать или ободрать палец. Когда же леденцы совсем не отковыривались, приходилось совать в рот целый пупырчатый ком, и потом щипало язык...

А вот ещё был детский парфюмерный набор «Чиполлино» — оранжевая картонная упаковка, в углублениях которой тюбик крема, сладкая зубная паста и настоящий стеклянный одеколон! Строгий такой прямоугольный флакон с этикеткой и ребристой оранжевой крышкой...

И шоколадный набор «Курочка Ряба»... Интересно, вы знаете? Мне его раза два присылали бандеролью из другого города. В гнездышке из белой бумажной стружки кружочком лежали тёмно-коричневые яички с белым кремом внутри, а посередине блестело в фольге самое лучшее — не простое, а золотое!..

Как-то по дороге домой я нашла в канаве три орешка лещины на общей ветке и, конечно, забрала их с собой. Сколько раз я потом вни-

мательно оглядывала их со всех сторон, нюхала и бережно перекладывала в тайнике — в шкафу, где книги. Светло-зелёная кожура орехов блекла, меняла цвет, со временем они совсем засохли, на них садилась пыль, но как долго я не решалась их разбить! Вдруг эта находка, представьте, как в сказке «Три орешка для Золушки»? Может, там внутри и платье, и украшения, и башмачки? Счастье нельзя разбазаривать просто так!..

Кстати, в шкафу, на оставшемся от книг месте, сидела маленькая белобрысая немецкая кукла с тонкой сеточкой на голове. Её мордашка была очень похожа на морду мопса: какая-то непропорционально большая, плоская, капризная. Но ведь немецкая!!! Рядом с ней стоял Винни Пух с деревянными лапами, меховым туловищем и опущенными, полузакрытыми, грустными, как у Арлекина, глазами. Там же прятался такой домашний, картонно-фетровый коричневый оленёнок с давнишней ярмарки школьных поделок и ещё один, совсем другой, синтетический, на гнувшихся проволочных ножках — с последнего для нашего класса новогоднего утренника, после которого были уже только «вечера». На нижней полке белорусская плетёная вазочка из блестящей лакированной соломы — бесценный сувенир из маминой поездки в Минск — была прислонена к синему корешку Ожегова и сиреневому Гаку-Ганшиной. И ещё у меня там лежал сегмент узкой розовой клешни от какого-то диковинного то ли паука, то ли краба. Может, вы такое тоже когда-нибудь пробовали? Когда нас угостили, мы с трудом выковыривали вязальной спицей солёное белое мясо из глубин этой длинной пупырчатой конечности. Запах в клешне, кстати, до сих пор остался!

Эта полка вообще особенная: здесь не обыкновенные книги, а Словари! Гладкий, торжественно-чёрный, двухтомник Хорнби (...как, он у вас есть?! От одного этого имени охватывает трепет!..). Словарь синонимов, политехнический, немецко-русский, энциклопедический словарь — все они такие непонятные, таинственные, тяжёлые. И невероятно толстые, пожелтевшие внутри, по-разному обтрёпанные, со стёртыми обложками или загнутыми последними страницами. Мама говорит, словари нужны, чтобы выучить язык, и надо так много работать, что каждый этот словарь будет разваливаться!.. Сколько же лет надо будет их листать! Ведь корешки у них такие прочные, нитками прошитые насквозь!

Вообще, где-то там, далеко-далеко, лично я любила съезжать по перилам вниз с пятого этажа на первый. И булькать трубочкой в стакане лимонада «Тархун», и, когда никто не видит, облизывать один за другим пальцы после пирожного и обку-

сывать заусеницы, и прикусывать губы изнутри. И говорить взрослым «привет» вместо «здравствуйте». И зажмуривать глаза, чтобы видеть, как расплываются внутри головы разноцветные круги. И просто представлять себе, как здорово проваливаться в толстые белые перины-облака...

Ещё стоять на тумбочке, приклеившись носом к стеклу, и смотреть, как падает снег. Ведь если задрать голову, можно подумать, что он идёт не вниз, а вверх... Надо только крепко держаться за подоконник, смотреть, и не двигаться, и не дышать: и вот дом взмывает всё выше и выше, и мы летим, летим, летим в тишине, а вокруг только безмолвно кружатся хлопья, и шлёпаются о стекло, и распадаются на снежинки, и виден их тончайший узор. Коленки упираются в батарею, и от этого тепло, от цветов на окне пахнет сыростью и пылью, рамы заклеены полосками пожелтевшей бумаги и бинтом, на листьях фиалки сидит серая пластмассовая муха из зоомагазина и такая же, как настоящая, стрекоза. Дома совсем тихо, никого нет. А небо такое белое и серое одновременно. От тишины в ушах гудит, дом набирает скорость. Ещё выше, ещё! Мы летим! Захватывает дух! Мы, конечно, летим! Только не смотреть вниз! А за окном, с той стороны, на подоконнике, снега всё больше, и он идёт, идёт...

Кстати, а вы читали Джанни Родари? Ну, не про классовую борьбу, Синьора-Помидора и Тыковку, а про гигантский торт с кремом, зефиром, беже и шоколадом — он упал на землю, и все его ели! И ещё там было что-то про конфеты со всех сторон, и про лифт, который улетел из дома прямо в звёздное небо. А на обложке книжки была нарисована старинная кирпичная стена и дверь с серебристой замочной скважиной, почти как в «Буратино»! Может, вам попался тот старый картонный альбом-раскладушка «Кот в сапогах»? С волшебной объёмной каретой, в которой створки-стёкла из прозрачной хрустящей плёнки, с голым встрёпаным сыном мельника, который brassом переплывает бурную реку, если тянуть его за специальный рычажок-хвостик, и с факелами в замке Людоода, где — раз — и злодей превращается в свирепого льва, а если двигать картонку дальше, постепенно становится беспомощной мышкой!

О, а волковский «Волшебник Изумрудного города»! Я ведь так и не прочитала все пять продолжений. Очередь на детском абонементе была слишком долгой. Взамен мне дали, кажется, чешскую сказку «Волшебный свёрток» — про огнедышащих Василисков и Дульчибеллу, которая пудрила нос и обижалась: «Я буду дуться!».

Книжки с картинками, мультики, фильмы... Это далёкое измерение, где ветер колышет юбки Мэри Поппинс, и строит в саду шалаши Пэппи Длинный Чулок, и ищет вереск в лесу Рони дочь разбойника, и несётся куда-то на белом коне Мио мой Мио. И сдвигается стрелка, скрипят и крутятся опутанные паутиной шестерёнки, бьют часы в «Электронике», и выжимает виноградный сок ногами в «Петрове и Васечкине» грузинская Дульсинья...

И Майка, девочка из другой галактики, поднимает на себе самолёт и везёт друзей в Луну-

парк, и выигрывает море мягких игрушек, а потом ходит вверх ногами по потолку!!! И, в конце концов, находится миелофон, открывается проход в кирпичной стене, и пти-ца Го-во-рун отличается умом и со-о-бразительностью, умом и сообразительностью...

Я столько всего тогда любила: обгрызать печенье «Курабье», оставляя на потом самое вкусное — тёмную джемовую серединку, и делить мандарины на дольки, надкусывать вдоль по «шву», снимая с каждой плёнку, чтобы сразу же чувствовать языком сочную гладкую волокнистую мякоть.

И кизиловое варенье: бархатно-бордовый сироп, кисловатый вкус, острые бусины обсохших косточек, из которых можно складывать буквы. И квадратные ириски Кис-Кис, и маленькие шоколадки-сюрпризы с выдвинутыми слониками и обезьянками, и барбарис, от которого тоже разъедает язык, и толстую зелёную, с чешуёй, мармеладную рыбу в сахаре, и просто арбуз с хлебом — когда, вгрызаешься по самую корку, и течёт по рукам, течёт «по бороде», и капает вокруг. И половинки огурца, разрезанного вдоль, с перекрёстными надсечками и каплями сока от соли, и горячие хрустящие пончики, посыпанные сахарной пудрой, в кулинарии, и пенный молочный коктейль из кафетерия магазина Центральный. Простое мороженое пломбир в вафельном стаканчике. И пирожное «Корзиночка» с двумя кремовыми грибочками внутри, и свежие рогалики за пять копеек из хлебного магазина, с маслом и чаем, утром по воскресеньям.

А ещё яркого керамического гнома-светильник, и пластмассового утёнка с узелком на палочке, и трещащую заводную клюющую курицу, и картонную, как бы вьетнамскую, шляпу-мухомор на резинке, и маленькие игрушечные кухонные табуретки. И пупсов-близнецов в двойных конвертиках, и белую сумочку с коричневыми цветками на ручках, и аппликацию собак на карманах куртки — с них можно было потихоньку выщипывать шерсть. И косточки дыни, — их сушат и красят чайной заваркой, и шарики пенопласта, из которых тоже можно делать разноцветные бусы.

И, конечно, скрипучие, с деревянными скамейками, узкие качели-лодочки в парке. В них надо стоять и держаться за цепи, и приседать, чтобы разогнаться всё выше и выше — и взмывать над деревьями — и видеть другую кресельную карусель, и чёртово колесо, и вход в королевство кри-вых зеркал, где все люди такие странные — просто какие-то уроды...

Я любила игру «в домики» в гостях у соседки, когда раскладной стол-книжка завешен одеялом, а внутри каждая створка — комната.

И столько всяких других игр! Вот, например, если нарочно рассыпать по ковру мелкий бисер, его можно «вдруг» находить через несколько дней, когда забудешь и ничего интересного не ждёшь.

И делать летом мозаики-тайники во дворе: выкапываешь ямку, кладёшь в неё маргаритки или просто одуванчик, потом надо найти стёклышко, накрыть цветы, утрамбовать и засыпать землёй. Представьте, говорят, узор может так пролежать всю весну, сколько захочешь!

И ещё хорошо после ночного дождя и ветра тайком подтягивать нападвшие в соседском саду орехи длинной палкой через сетку забора. И смотреть, как встречаются на Машуке две канатки — красный вагончик ползёт вверх, жёлтый неспешно скользит вниз, вот поровнялись на мгновение, и... обе зависли над лесом — такое бывает!

А скакать на огромной дырявой шине, которую кто-то подбросил во двор! И качаться на продавленной сетке кровати. И гладить невиданного рыжего пекинеса китайского на поводке у какой-то женщины. Представляете, название! Пекинес! Китайский!..

А потом здорово просто скручивать золотинки от шоколадных конфет в тугие трубочки и после конфеты жевать фольгу. Она такая кисленькая!

И вешать на уши вишнёвые серёжки, и делать пир на весь мир из абрикоса, грозди красной смородины и четырёх ягод крыжовника, когда мама принесёт с рынка фрукты.

И готовить понарошку суп во дворе из сырой воды, колбасы, петрушки и куска варёной картошки. Разливать обед в бордовые кукольные тарелки и по-настоящему есть с подружками в тени дырявой беседки. И ходить по узкому бордюру вдоль клумбы, пускать мыльные пузыри из перьев зелёного лука, собирать божьих коровок и вытряхивать их красным облаком одновременно из банки, и рисовать мелками на неровном асфальте, и водить пальцем по пыли на полированной тумбочке.

И ещё зимой делать шалаш из выброшенных к мусорнику, опутанных остатками дождика, ёлок и представлять себя в снежном королевстве, пробираясь воскресным утром в соседний магазин за хлебом по заледеневшей улице. Конечно, это злая колдунья, заковала все проходы в лёд, чтобы скользить и падать. С домов угрожающе свисают длинные жирные сосульки — сейчас одна как свалится прямо на голову! Зато те, что потоньше, можно сосать, как конфеты!

А ещё хорошо прийти в мастерскую к Михаилу Георгиевичу. Он скульптор. У него весь пол усыпан мягкой тонкой стружкой, пахнет деревом, в центре комнаты стол-пень, на нём острые скальпели, с ними осторожно. Всё заставлено и завешено тяжёлыми корягами, косматыми лешими, сказочными персонажами. Вон там русалка, глубокая напольная ваза, там грустная женщина с длинными на пробор волосами, домовая с двумя лицами. У нижнего лица рот дуплом — в него мизинец уходит глубоко, целиком, и становится страшно: а вдруг домовая оживёт и укусит? Это не то, что безобидный круглый бегемотик на кочке, и змейка с выпуклыми глазками, и мой любимый дельфинёнок. На окнах мастерской — мозаика из разноцветных ромбов. В солнечный день эти стёкла играют. На балконе — вьющийся виноград и фасоль. Синие грозди, вперемешку ещё зелёные и уже бурые хрустящие стручки. Шум улицы и скрежет трамваев. Вихрь осенних листьев на мостовой. Вот на перила садится воробей: «Юля, бросай веник, носи скорей карандаш и альбом. Смотри, какие разные у птиц перья, целая палитра, они ведь далеко не все серые!»...

А ещё, как вкусно делать пирожные из сухих пластинок вафель, промазывая их вареньем, мёдом и сгущёнкой! И вырезать формочками из теста песочные сердечки, месяцы и ромбы. И вставлять глаза и пупок из изюма подходящим на противне человечкам. И лепить с мамой кутабы вечером в субботу или воскресенье. И жарить глазунью под тётиным руководством на маленькой порционной сковородке. И макать в джем горячие бабушкины оладушки. И выедать маковую и коричневую начинку из булок.

А проявлять фотографии с дядей в темноте и тесноте тётиной ванной под красным светом тяжёлого увеличителя! Окно и щель двери забаррикадированы фанерой. На досках поперёк ванны расставлены корытца с реактивами и просто водой, там плавают мокрые чёрно-белые снимки. Пахнет фиксатором и закрепителем, на коленях дырявое полотенце, ножницы, хорошо закрытый чёрный светонепроницаемый пакет глянцевого бумажного — её надо экономить. Мы сидим уже с час, положим в кювете пинцетом очередную серию и молча вглядываемся в контуры медленно поступающей картинки. Из крана тихо капает вода, жужжит лампочка, издали доносятся шумы квартиры. Потом мы разложим эти фотографии сушиться на газетах по всему полу, и даже будем их ламинировать на допотопном электрическом аппарате...

Ещё я любила мотать шерсть из пасм в клубки, держа нитки на согнутых в локтях руках. И вышивать на наволочке зайца и черепаху — гладью и стебельчатым швом — искусственным шёлком, выдернутым из купленных синтетических кружев, и немножко новой ниткой из косы настоящего мулине. И клеить на картон плоские камешки с моря и перебирать обкатанные водой бутылочные стекляшки. И представлять себе, как однажды волна принесёт в своей пене куриного бога или настоящий янтарь. И слушать прибор из огромной перламутровой раковины. И вырезать одежды для бумажных кукол. Играть в детский сад с шахматными фигурами, где пешки-дети идут утром за ручку с ладьей-мамой или слон-папой, а в коробке их встречают подтянутые ферзи-воспитательницы. И собирать календарики, ходить в лес с бутербродами, выискивать шиповник и красивые листья на гербарий, или чабрец и ароматную землянику.

А детский абонемент на зимних каникулах, когда каждый день отрываешь билетик на новый фильм-сказку. А яркие открытки «про семейку ёжиков» от двоюродной сестры, которая работала в гдр. И керамическая вазочка-сапожок, барометр со скользящими персонажами, малюсенькие четырёхсантиметровые куклы в кружевных платьях с подвижными суставами! Ох, уж эта граница!

А это редкостное птичье молоко, которое тает во рту, жареный на сковородке сыр, от которого дым коромыслом, глазированные шоколадные сырки, домашние сухарики из сладкой булки в духовке, макароны по-флотски или пюре с сосиской у телевизора под первые воскресные мультики про Дональд Дака и «Спасателей вперёд!»...

И ещё весёлый гул каждого застолья, когда все родственники в сборе, и после — шумное вталкивание шестером в такси, или долгое путешествие через весь город в трамвае, за окнами которого темнота и мигающие огни. И успокаивающий и такой домашний шум льющейся на кухне воды, и бормотание радио, и родной голос из коридора, под который так хорошо засыпать. Интересно, столько всё-таки букетов на одной стене на обоях?..

Мне как-то пришлось задержаться на работе в обеденный перерыв. Возвращаться домой было некогда, сухой паёк и термос — со мной. Сырой полдень, месяц октябрь. На пустой стоянке у детского сада я специально развернула машину так, чтобы лучи нежаркого солнца светили в лицо. Сидела, жевала хлеб с сыром, думала о работе, смотрела на зелёный мусорный бак на колёсах, на двух бойких сорок, на выбоины асфальта, на ровный бордюр и облетающие молодые тополя, на одинаковые обыкновенные розовые домишки напротив. И вдруг... мне так захотелось посмотреть на всё это через бутылочное стекло, или пробитый трамвайный талончик, или дырку в бублике, или дырку сыра! Я отлепила с бутерброда оплывший ломтик, на всякий случай огляделась по сторонам и приставила подходящую дырку к лицу.

Что там было? А примерно то, что у Алисы в стране чудес!

Не верите? Спросите у вашего трёхлетнего человечка, когда он, весь мокрый от комнатного дождя, подойдёт узнать, почему так далеко припарковалась луна, и куда так часто уходит свет, и день, и ночь, и заря, и радуга...

Разговоры еле слышны...

Девчонка лет десяти в приталенном клетчатом платье мелкими шажками идёт по бревну: переступает, шатаясь, теряет равновесие, старается удержаться, переводит дух и снова осторожно продвигается вперёд — переставляет ноги в белых туфлях на ремешке, с круглыми носами, и долго балансирует, раскинув в стороны руки. От очередного резкого движения синтетическая шляпа, прошитая концентрическими кругами, сваливается у неё с головы и повисает на ленточке между тощих лопаток.

Под облупленным, скошенным с одной стороны и крашенным когда-то бордовой краской бревном — трава и сухие стебли, бутры и рытвины земли, камни и куст колючки, липкие шарики которой пацаны всегда так и норовят бросить в волосы, прицепить на свитер и вообще, куда попало.

Солнце то слепит, то вдруг заходит за быстро бегущие облака. Ветер треплет тёмно-красный галстук с расщеплённым до ниток от частого накручивания на палец краем.

Девчонка снова покачивается и приседает, медленно выпрямляется, делает шагок вперёд и бросает задумчивый взгляд вдаль: на горные вершины Бештау, на расселину и проплешины поляну, а затем, поколебавшись, замирая всем сердцем, продолжает косить глазами правее по контуру склона, туда, где днём вырисовывается

таинственный выступ, про который рассказывают всякое. Сегодня его очертания точно такие же, как вчера, но днём, говорят, ничего и не может произойти.

Всадник без Головы оживает ночью. И горе тому, кто увидит его тогда!

Это август, четвёртый санаторный поток. Это мой лагерь.

...Скоро ужин, и вожатые придут строить нас парами — идти в столовку.

И я натяну свою любимую-модную, с рукавами «летучая мышь», чёрно-белую кофту на молнии — мама привезла её из Ленинграда, ни у кого такой нет — и возьму за руку Светку, и все вместе, вслед за Анжелой Юрьевной и Маргаритой Николаевной, размахивая руками и топя ногами, мы будем орать нашу любимую «кричалку», чётко отбивая такт и поднимая дорожную пыль:

« На берегу бо-льшой ре-ки
пчела ужа-лила медведя пря-мо в нос...»

И проходя мимо корпусов, выдавать её с каждым разом всё громче, чтобы показать всем другим, что мы самый бойкий, самый лучший отряд:

«Ой-ой-ой-ой, — вскри-чал медведь,
Сел на пчелу и на-чал петь:
Парару-рару — гей, парару-рару-гей
Парару-рару — гей, гей, гей, гей!!!»...

А Серёжка сегодня снова пытался дать мне руку. Девчонки говорят, что он влюбился! Вот, тоже мне, привязался! Я уже впереди, в паре со Светкой, и вообще, нам сказали, что надо становиться девочка — с девочкой, а пацаны отдельно. И так оно и лучше, каждый сам по себе, а то от них одни проблемы, от этих мальчишек.

— Свет, только подожди, у меня шнурок развязался и гольфы сползают!

Сегодня наш отряд дежурный по лагерю — поэтому мы и идём раньше других: ставить посуду, раскладывать хлеб, яблоки и конфеты и наливать компот. Надо, чтобы всё было накрыто вовремя, аккуратно и красиво, за это ставят оценки — при входе в столовую на большой доске. Самая лучшая оценка — клубничка, хуже огурец, ещё хуже — луковица. Каждую неделю победившему отряду дают целый кулёк конфет!!! Во-от такой кулёк! Сегодня мы идём хорошо, пока что с тремя клубниками за завтрак, обед и полдник.

Главное — всё делать быстро, не копать и не разбивать стаканы. Тарелок-то стеклянных у нас почти нет — только для хлеба. На обед первое мы едим в металлических котелках, на которые сразу же ставят второе — мелкую плоскую тарелку из нержавеющей стали. Сегодня были продолговатые тефтели с макаронами. Ням-ням! Это самое вкусное и любимое! Так и хочется сразу наброситься на них! Но под тёплой, запотевшей снизу тарелкой — ещё гороховый суп или борщ...

Так вот, мы дежури́м, и, представьте, мне досталось раскладывать ложки. Классно! Это лучше, чем разливать компот и выдавливать пальцем кругляшки масла по количеству человек в отряде.

Полные чайники с компотом тяжёлые, жидкость расплёскивается, когда наливаешь. А полупустой чайник так и норовит повернуться на ручке, или носик забивается гущей, и от этого ещё хуже. По норме — два чайника на отряд. А если не хватит? Эх, ты! Надо было наливать только до средней линии!..

Кстати, говорят, что маленькие белые палочки с точками на дне стакана — червяки. Но ведь этого не может быть? Такого не бывает! Как же тогда розовый сливовый компот всегда вкусный? А фрукты я в нём и дома не ем. Может, в мякоти всегда есть эти белые палочки, откуда я знаю?..

Вот большой помятый алюминиевый таз с ложками. Осторожно, дна не видно, но где-то там, в глубине, наверняка есть вода. Надо сначала выбрать все вилки для стола вожатых и самые красивые негнутые и блестящие ложки тоже. А потом отложить хорошие ложки для двух столов нашего отряда и для девочек из пятого, с которыми дружим, мы им обещали. Надо ещё сказать нашим, чтобы положили им яблоки получше.

«Дзынь»- ну вот, кто-то всё-таки уронил стакан. Даже два сразу! Терпеть не могу это разбитое стекло! Когда гранёный стакан падает на плиточный пол, он разлетается на множество таких кубиков-кристаллов, они катятся во все стороны, и их много-много, и так трудно собирать.

Старшая вожатая — добродушная Ирина Александровна — зашла посмотреть, как продвигается дело. Везёт же первому отряду, она у них работает! Она никогда не сердится и придумывает с ними столько всего. Сейчас вот она будет по радио объявлять обед, и через пять минут потоком хлынет в столовку весь лагерь. Надо скорее заканчивать, а то придётся идти к старшим незнакомым отрядам накрывать, когда они будут там орать и прикалываться за столами.

Между прочим, мы всё просчитали: сейчас быстро поедим и сразу начнём уборку, пока другие отряды сидят. Потом, когда они уйдут, нам останется только половина, значит, закончим быстрее. Если к восьми всё будет чисто, точно получим ещё одну клубнику и победи-и-им!!!

К тому же, через час в летнем театре начнётся концерт. Надо успеть занять хорошие ряды и сбежать в палату надеть джинсы и колготки: вечером на улице прохладно, и всегда больно кусают комары.

Вожатые и старшие отряды подготовили разные номера. А дежурных не заставляли. Нам повезло! Лично я ничего на сцене, перед всеми, не умею!..

Когда стемнеет, объявят начало. Мы будем тесно, впритык, сидеть на скамейках, чесать свежие укусы, хохотать до слёз и хлопать в ладоши, а потом, обнявшись за плечи, покачиваться и хором подпевать:

«Ребята, надо верить в чудеса
Когда-нибудь вечерним утром ранним
Над океаном алые взметнутся паруса
И скрипка пропоёт над океаном»...

И запоминать другие «Алые паруса», которые мы слышим в первый раз в жизни и которые так легко повторять за вожатыми:

«...Осеннюю ночью — осеннюю ночью
Когда все уснули — Когда все уснули,
Зажглися на небе — Зажглися на небе
Миллиарды огней — Миллиарды огней.
И этой ночью — И этой ночью
Случилось чудо — Случилось чудо:
Тот парень с девочкой —
Тот парень с девочкой...»

А дальше, набрав побольше кислорода в лёгкие, орать вместе с половиной зала и в зависимости от настроения: «Купили верблюда!» или «Влюбились друг в друга!».

Так закончится ещё один день. Останется только организованный выход в туалет на улице, гудящий фонарь с вьющимися вокруг него мошками, жёлуди и шишки под ногами, и там же, посреди дубов и елей, звонкий стук капель и брызги очень холодной воды из толстых высоких кранов под навесом, очередь к квадратным эмалированным раковинам с чёрными дырками стока. И так не хочется ни мыть, ни стирать, ни чистить зубы. Скорее бы забраться, наконец, под тёплое одеяло в палату, слушать поскрипывание сетчатой кровати, на которой запрещено качаться, и уже сквозь сон, болтовню девочек...

— А-ааааааааааааааааааааааааа! Мышь! Мыгыыгыгыгыгышь! А-аааааааааааааааааааааааа! Я её видела! Она выбежала из угла, где Танькина кровать, и шмыгнула под мою! Мамаааааа! Аааааа! Там же моя сумка! А если она залезет? Фууу, я никогда теперь не лягу!!! Как я буду спать, если она там?

Я вскакиваю с кровати и стою босиком на холодном полу. Танька, Ленка и Оксана сидят в постели, поджав ноги, и, свешиваясь вниз, заглядывают под кровать. На вопль сбегаются вожатая, девочки из соседней палаты и пацаны.

— Да нет там никого, там темно и ничего не видно.

— Да уж нет! Я её слышала, она там скребётся! Какая гадость! Ну, что я теперь буду делать?

— Да не съест она тебя, она же хорошенькая!

— Хорошенькая? Ну, так иди спать на мою кровать, а я пойду на твою.

— Ну, давай поменяемся!

— Не пойду я в вашу палату! Я хочу спать на моей постели!

— Ну, и спи.

— Как же я буду спать, там же мы-ыыышь!!!

— Так, девочки — мальчики, разошлись по палатам сейчас же, через четыре минуты будет отбой, и выключат свет! — это вторая вожатая стоит в коридоре и строго постукивает ногтем по часам. Считаю до десяти! Тебя, Юля, это тоже касается!
— Я не буду ложиться! У меня под кроватью мышь!..

Чего только не бывает ночью. Вот вчера пацаны собирались мазать девочек из четвёртой палаты, а те подслушали и притворились, как будто не знают, а сами нажаловались, что им страшно, и вожатая целый час сидела у них со свечкой. А мы теперь ставим за дверью ведро с водой и наи-

сось швабру, вдруг и к нам кто полезет? И ещё, на всякий случай, мы все наши зубные пасты на вкус перепробовали. У меня -зелёная «Лесная», она пахнет ёлкой, и тюбик такой маленький — я её не дам, а вот у Светки белая «Фтородент» такая гадкая! Она воняет, и если мажешь, сразу же щиплет. Светка ею не чистит, поэтому тюбик совсем новый, как чуть надавишь, из него сразу же лезет. Так что пусть только кто сунется! Мы так отомстим!

Кстати, если сегодня Димка опять попадётсЯ, ведь это наверняка снова его идея, завтра его накажут, так уже было на прошлой неделе: в тихий час в трусах поставят в угол в палате к девчонкам! Такой позор!

А вообще, мы в тихий час всё равно не спим. Мы болтаем. Только закрываем глаза и молчим, когда вожатые близко. Хорошо, у Анжелы Юрьевны каблук — её слышно издали...

— А давайте рассказывать страшные истории?

— Нет, не надо, лучше анекдоты, а то я потом ночью не усну!

— А я хочу страшные послушать!

— Тогда если что, ночью я тебя бужу, я одна в туалет не пойду!

— Ну, слушайте, девчА, чур я начинаю: «В одном чёрном, чёрном городе... стоял чёрный, чёрный дом. В этом чёрном чёрном доме была чёрная чёрная дверь... за этой чёрной чёрной дверью...» Вам что, не страшно? Ну чего вы смеётесь? Вы ещё не знаете, что там дальше будет!!!

И всё-таки, я мысленно затыкаю уши и стараюсь не слышать продолжения. Лучше отвлечься и тренировать пальцы, чтобы сгибать их, как Ирка — под прямым углом. Ну, никак у меня не получается!

— Кстати, а вы умеете сворачивать язык трубочкой?

— Это как? Покажи!

— Вот так, высовываешь язык, и с двух краёв загибаешь внутрь.

— Ух ты! У кого есть зеркало посмотреть? А то я так не могу.

— А у меня получается только с одной! Правильно? Вот. Ээм! Ну поему у меня с другой не выхоит?

— А я так вообще не умею, покажи ещё!.. Зато пальцами шевелить вот так вы умеете? Меня дядя дома научил. Я целый месяц тренировалась! Даже мой папа так не может!

— Кать, а покажи, как ты в верёвочку играешь. Смотри, с самого начала, я вот кладу петлю на четыре пальца — так, потом пропускаю между двумя в обратном направлении вот так, дальше наматываю на указательный палец с этой стороны, да? Ещё один раз так, а дальше надо тянуть петлю, чтобы всё развязалось, а у меня не получается. Что неправильно?

— Слушайте, девчА, а ведь вторая палата собиралась сегодня опять вызывать гномика!

Знаете, они вчера вечером уже вызывали! Поставили в шкаф два стакана с водой, между ними яркую нитку, а под ниткой печенье и вафлю. Потом надо положить зеркало вот так, углом,

чтобы было видно, и сидеть тихо-тихо. А то гномик испугается и убежит!

— И что, он, правда, приходил? Они его видели?

— Толком не видели, там темно в шкафу, но я видела у них вафлю с зубками. Он у них откусил вафлю! Такие хорошенькие малюсенькие зубки! И воды в стакане стало меньше. Значит, он пил.

— А давайте мы тоже будем вызывать!

— А я боюсь! А вдруг он злой?

— Нет, он бывает злой, если ты ему не положишь вкусенького. У нас же ещё есть печенье, и даже конфеты.

— Я могу даже дать персик!

— Кстати, пойдёмте сразу после полдника за орехами! Мне Костя показал, за радиорубкой в заборе — дырка. Если кто посторожит, можно быстро слазить за территорию, натрасти, а бить потом будем возле нашего корпуса. У меня есть непрозрачный кулёк.

— А знаете, как я делаю, чтобы руки не пачкать? Надо сначала ногой покатавать взад-вперёд, кожура треснет, а потом бить камнем и открывать только двумя пальцами. А тонкую жёлтую кожуру просто ногтем подковырнуть, она не пачкается, её вообще можно есть, но она невкусная, горчит. Обожаю зелёные орехи! Если хорошо разбить, ну не вдрызг, они разведируются на белые пластинки, такие нежные, сладкие!

— И ещё надо абрикосы положить запекаться на солнце. Потом будем бить косточки. И, кстати, спрятать шкурки от орехов в траве, а то Анжела Юрьевна спросит, откуда!..

А после сна нас, как всегда, отправят подметать гравий, бумажки и битое стекло вокруг корпуса, или дёргать амброзию и собирать её в большую кучу. У высокой амброзии ажурные листья и удобный стебель — если правильно тянуть, она хорошо вылезает с корнем! А щипать простую траву в клумбах — это я ненавижу. Это долго и скучно!

Я вот люблю, когда после уборки остаётся свободное время, вытачивать кулончики из серого сланца. Вчера как раз нашла осколок, из которого может получиться сердечко. Надо только не поломать, и не потерять. Иногда, пока трётся о бордюр, сланец становится слишком тонким и трескается. Так жалко! Обычно, мы все вместе сидим на корточках и трём. Светка сейчас делает большой овал, Катька — каплю, а у меня уже есть один ромбик. Надо поточить со всех сторон, потом промыть в луже возле скамейки и положить сушиться на широкие перила, туда где мой галстук и абрикосы.

Утюга у нас нет. Поэтому, если на улице жарко, в тихий час мы по очереди мочим галстуки под краном и разглаживаем на перилах.

А может, наш отряд сегодня поведут в бассейн? Лучше б не надо! Это такая цементированная яма с мутной водой, а по краям, когда идёшь мокрыми голыми ногами, скользко и ещё противно — там везде размазанные головастики. И в прошлый раз кто-то даже видел в воде лягушку! Пацанам-то всё равно, брызгаются, как бешеные, визжат, а пятый отряд вообще стащил свою вожатую в платье в воду. Представьте?! Вдруг наши до этого додумаются?

А лягушек у нас везде полным-полно. Брр! Ночью их слышно. Или это жабы? Я одну видела. Иду вон там по тропинке, а она как прыгнет, почти мне на ногу. А я как шарахнусь! Фу, гадость! Говорят, от них бывают бородавки. Их потом ещё выводить...

Вот бы в бассейн после обеда завтра, тогда мне повезёт. У меня же процедуры: три раза в неделю тубус-кварц и ингаляция. Ведь четвёртый поток — санаторный. Вот у Катьки раз в неделю грязи, их возят на автобусе в город. Ну, а мы просто ходим в главный корпус ровно в шестнадцать тридцать. Тубус — это такой аппарат со светом. Тебе дают песочные часы и белую трубку с лекарственным вкусом, её надо сначала повернуть скосом вправо — и в рот. А на половине песка перекрутить налево. Главное, чтобы язык был снизу. Сидишь так, тихо. Аппарат жужжит, песок сыпется потихоньку, медленно так, песчинка к песчинке, и с двух сторон занавески, чтобы других не видеть. Мы их всё время задираем, только разговаривать не выходит. А когда время истечёт, мне надо ещё поменять трубку на наконечник для носа и перевернуть вторые часы...

Нам ещё сказали записаться в секции. Я выбрала мягкую игрушку и поделки. А был ещё спорт — крутить обручи, рисунок и, кажется, танцы. Мы обычно сидим в пионерской комнате. Там какие-то вымпелы под стеклом, а в углу барабаны, горн и знамёна всех отрядов. Мы делаем человечков — юбки из шишек, руки из палок, головы из желудей в шапочках. Кто-то из старших с прошлого потока к конкурсу сделал на картоне картину: большое озеро из фольги с зелёными берегами из настоящего мха. Марина Александровна, которая ведёт кружок, говорит, что это композиция. Так красиво! А у меня всё время голова отваливается, я её уже и клею клеила, и пластилином лепила!

А шишки мы собирали, когда ходили в поход печь картошку. Так вкусно было, только потом быстро стемнело, и мы чуть не заблудились. Нам сказали держаться друг за другом цепочкой, и придерживать ветки, и мы, спотыкаясь, шли в темноте, а ветки цеплялись за куртку и царапали руки. Один вожатый с фонариком искал дорогу, а другой был замыкающим. Все девчонки боялись и хныкали, и вожатые сказали, чтобы пацаны помогали девчонкам, как рыцари, и Серёжка дал мне руку, а то в темноте было страшно, и ничего совсем не видно. Мы долго блуждали, и даже кричали «ау», и потом, наконец, вышли к дырке в решётке — и полезли в сетку, чтобы не идти через кпп. И вожатые сказали, что нельзя шуметь, а то нас заметит директор, и им достанется.

Директор у нас строгий, особенно утром на линейке: пока все построятся, пока дежурные отдают рапорт. Это всегда так долго!

Только один-единственный раз линейки у нас не было: в день лагеря. Мы с самого утра поехали на автобусах на экскурсию, и ещё были в волшебном саду: там на всех кустах и деревьях висели конфеты, груши и вафли, и можно было всё собирать. А потом был пикник с консервами — все раселись отрядами, и вожатые получали по ящику с тарелками, хлебом и сыром, и ещё у какого-то мальчика из седьмого отряда случился солнечный

удар. А вечером возле спортивного поля, где мы гуляем и делаем зарядку, был лагерный костёр для всех отрядов. И были языки пламени и тени всполохов на лицах, и хруст сучьев, и искры, летящие в стороны, и небо, в черноте которого мерцали звёзды — и даже ковш какой-то медведицы, то ли Большой, то ли Малой, и какие-то другие созвездия...

Закрываю глаза и вижу, как вчера: младшие и старшие, мы сидим тесным кругом, попеременно выставляем вперёд руки. От костра тепло. Нас окружает тишина и ночь, в пяти метрах за нашими спинами стоит в пояс трава. Мы сидим, обнявшись, задрав голову вверх, загадываем желание на падающую звезду и поём песню:

Разговоры еле слышны,
а над нами ночная тень
В круговерти забот не заметили мы,
Как был прожит ещё один день...

Я обвожу глазами вокруг и говорю себе, что этот день надо запомнить: кто-то притих, кто-то ковыряет палкой под ногами, кто-то шепчется, кто-то дальше поёт:

Согревая единство теплом,
Всё теснее орлятский круг
Если надо помочь, если вдруг тяжело,
Помни: каждый твой верный друг...

У нас остаётся ещё один такой костёр — в честь закрытия потока. Всего один, через несколько дней. Но пока это далеко, ещё есть время. Серёжка ещё предложит убрать мой стакан и тарелку в столовой после обеда, и я гордо скажу ему «нет», мы дважды вечером посмотрим «Человек - Амфибию», и каждый раз с девчонками долго не сможем уснуть, Димка сбежит домой через лес, и его будут искать, Светка махнетесь курткой и сумкой с подружкой из детдомовского отряда и в родительский день получит нагоняй, мы поедим в планетарий, и в цирк, и в парк в Пятигорске.

И только потом будем размазывать слёзы и вырывать из блокнота листки с адресами.

— Анжела Юрьевна, а вы дадите ваш адрес? Можно я и вам напишу?..

... Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой
Здорово, когда на свете есть друзья-а-а
Даже если мы расстанемся,
Дружба всё равно остаётся,
Дружба остаётся с нами навсегда.

...Почему-то я всё ещё помню и эти песни, и костры, и особенно Серёжку. Детскую преданность, бескорыстие, веру в чудо, веру в добро. И чем больше проходит лет, тем явнее я чувствую, что где-то там далеко-далеко, я не сделала что-то очень важное: обидела хорошего искреннего десятилетнего человечка, который так хотел просто дружить... Воистину, всё познаётся в сравнении. Тогда мы не знали, что самое главное, редкое, у нас уже было!

Замкнутым кругом

Ну вот, летим завтра. Рейс в пятнадцать десять, регистрация в полвторого. Какие-то Украинские Авиалинии. Вроде бы, официальная государственная авиакомпания... Из прямых рейсов на выбор был ещё Аэрофлот, но вылетал поздно, и Air France, но в три раза дороже. Были ещё klm и Britair практически за ту же цену, но с пересадкой.

...И что это за Украинские Авиалинии? Может, стоило всё-таки взять klm? Ну, с пересадкой, дольше в пути, зато с какой-то уверенностью в завтрашнем дне. Часом больше — часом меньше, а компания, вроде бы, на слуху, вроде надёжная.

С другой стороны, любая пересадка удваивает риск: два взлёта, два приземления... Ладно, посмотрим, люди ведь летают. И вообще, глупо убеждать себя, что с пересадкой лучше. Само собой разумеется, что напрямую удобней. К тому же, на главной странице их сайта написано: «Наша компания осуществляет регулярные перевозки». И, действительно, по поиску высвечивается несколько рейсов в день.

...Но почему тогда тариф оказался вдруг настолько дешевле, а агент турбюро, оформляющая билеты, ответила, что не знает такой компании? Подозрительно? Странно. Неприятно. И зачем это я у неё спросила... Что она, собственно, вообще знает? Её работа — в офисе — сплошная абстракция: проверять совпадение линий в компьютерной базе, периодически поднимать глаза, улыбаться, ставить виртуальные галочки напротив каких-то названий, клацать по клавишам, а не летать. В её резюме при приёме на работу никто ведь не требовал опыта полётов всеми компаниями мира, и в частности Украинскими Авиалиниями. Всё верно, не требовал. А зря. Откуда, скажите, у этой дамы возникнет чувство ответственности за тех, кого она отправляет за тридевять земель?

Бред какой-то: и чего я к человеку, собственно, привязалась? В самом деле! Ну не попадалось ей заказов на Киев и ладно. Отсюда народ вообще не часто летает в Восточную Европу. Естественно, не Марракеш, и не Лондон. По соотношению удалённости, цены и качества не тот туризм.

Вообще-то, нечего зря волноваться. Вот мой начальник-француз, никогда не бывал в странах бывшего Союза. Ему что Аэрофлот, что Украинские Авиалинии. У него нет опыта, но есть доверие профессионалам, и от этого он спокоен.

Между прочим, бесполезно накручивать себя выводами типа, если бы с Air France, летели бы спокойно. Если бы да кабы... Была же история с Конкордом?

Вероятность, конечно, незначительна... Но существует. И кто-то же оказывается там, в эпицентре проблемы?

Так что, теперь и не ездить никуда, кирпич-то может и дома на голову упасть? Тоже аргумент...

И всё же муторно это ожидание завтра. Слова застыли. Ничего не говори. И не думай. О плохом не будем. Это просто невозможно. Знаешь, надо бы оставить телефоны на всякий пожарный. Хотя наверняка они не пригодятся: ну, мало ли какие накладки. Что ты этим хочешь сказать? Ничего. Но просто оставь. Ну, если так настаиваешь, смотри: сначала набираешь выход на дешёвый

тариф, потом гудок, два ноля, семёрка, а дальше восемьсот семьдесят девять, тридцать три.... Фу, ну о чем мы?

Сколько самолётов летает по свету, разгоняется и взмывает в небо каждый день, садится, или гудит у нас над головой, чертит белые линии в небе? Сколько народа перелетает из страны в страну?

В конечном счёте, наземный транспорт ведь так же потенциально опасен. Но он настолько привычен, что мы не замечаем... Долой мысли! Надо срочно взбодриться и заняться делом, ведь ещё столько всего. Сумка не собрана, надо погладить, и стиральная машина уже высветила красным ноль.

Пожалуй, с неё и надо начинать. Приятней вывешивать бельё, пока оно ещё тёплое. Вот, этих маечек будет на неделю, и большому, и маленькому. В любом случае, после послезавтра я вернусь. А пока всё постирано. И супа тоже будет на всю неделю, считая, что есть его надо только на ужин. Суп на ужин — странная французская жизнь. Впрочем, их суп можно есть даже на завтрак. Есть или пить? Это такое жидкое витаминное пюре из смеси овощей. Нет, я-то варю наш куриный суп. Сейчас только сниму пену. Пока готовится бульон, будет ещё минут сорок. Почистищу картошку. Она попалась мелкая, придётся долго возиться...

Если подумать, всего делов-то — три часа лёту и возвращение через день. А сколько нервотрёпки. Границы, страны, «расстояния, вёрсты, дали». Такая мешанина мыслей и чувств! Когда вернусь, надо будет попробовать об этом написать...

Как объяснить? Положим, жизнь — череда мгновений... Но когда ты один, то различия нет. Предыдущее или последующее, стоп-кадр, быстрая перемотка, или наоборот, заело, может, даже раз — и порвалась лента. Совсем другое, когда о тебе думают, переживают. Она уже звонила? Из аэропорта или ещё с вокзала? Так вылет не задержался? Какое серое сегодня небо! Не забудь, пока в пути, не делай уборку, такая примета...

Отрываю лист календаря. Двадцать третье января, восход солнца — восемь тридцать девять, луна в знаке Овна. Сегодня именины Анатолия, Арсения, Григория, Павла. На обороте «Курица в красном вине». Это мой персональный «русский» календарь, и листки с него срывают только я. Каждый раз после отпуска накапливается по две недели, и я выдираю их разом. Такая пачечка прошедшего времени. Вот завтра улечу, и останется среда, двадцать четвёртое, и будет висеть, даже если поменяется долгота дня...

Согласитесь, мы редко попадаем в ситуации, где от нас ну ничего не зависит. А в самолёте ты точно ничего не контролируешь. Пожалуйста, пристегните ремни! Температура за бортом минус двадцать пять градусов, высота столько-то метров, просьба оставаться на своих местах. Лёгкое подрагивание, гул двигателей, мутный, как картина в затёртой рамке, серый иллюминатор. И что только не лезет в голову...

Надо чаще летать, а то это целая эпопея. Теряешь привычку и делаешь из мухи слона. Представить себе, что кто-то завтракает в Лондоне, а ужинает в Париже!.. Этак поёрзав в кресле, перед самым взлётом устраивается поудобнее и спо-

койно полистывает какой-нибудь «Times», или «Le Monde», или дурацкую брошурку из Duty Free.

А стюардессы? Синие мини-юбки, пилотки, маленькие строгие чемоданы на колёсах, цок, цок, цок — сегодня с международного рейса ночуют в Новотёле при аэропорте Шереметьево-2, а завтра утром снова в небо — цок, цок, цок — каблучки — на новый международный рейс.

«Почему люди не летают?», — Катерина, классика. Теперь ещё как летают, правда, не как птицы, наверное, потому долетают не все...

Всё, под супом пора выключать. Так, соли достаточно, ещё только добавить зелени. Надо же, бульон-то прозрачный! Даже на медленном огне такой получается не всегда. Постепенно разъединяются, образуя плёнку, жёлтые жиринки, оседают на дне кастрюли бантики-макаронки, перемешиваются с кубиками картошки яркие полоски моркови и пятна петрушки. Может глупо, но это просто красиво, и даже доставляет эстетическое наслаждение. Работа что надо! И малыш, и папа будут есть этот суп с удовольствием. Кто им ещё такой сварит?

Завтра перед уходом надо вылить воду из большого чайника и вымыть заварной. Чай пью тоже только я. И поливаю бамбук. Сколько, оказывается, в доме моих вещей! Этот бамбук года четыре назад нам подарили друзья. С десятка коротких веток стянутых блестящей ленточкой в тесном белом с синим керамическом горшке. Поскольку по расчётам, бамбук должен был надёжно завянуть, муж принципиально отказался его поливать. А бамбук желтел, но крепче сплетал корни и пускал листья. С тех пор мы переехали, те друзья разбежались. А я, как вспомню, всё так же заливаю в горшок воды, и раза два в год устраиваю растению комплексный душ. Кстати, это растение или трава? Нечто, живущее на одной лишь воде, — без земли, без витаминных добавок, — и даже без любви, как во французской пословице.

Поправляю скатерть на столе. Убираю альбом с фотографиями и чистую посуду. Всё это такое домашнее, такое знакомое. Почему нас тянет куда-то? Чего ради? Как-то не по себе...

Ну, всё, пойду, что ли, складывать вещи. Жаль, не успею перебрать бумаги. Как вернуться, надо будет обязательно этим заняться. Терпеть не могу уезжать, оставляя незаконченные дела. Хотя это не срочно, и можно вообще оставить, как есть. Но там такой бардак. Счета, справки с работы, субсидии на детский сад. Что старое, что ещё нужное: никто не разберётся без меня. Впрочем, кому это нужно? И кому какое дело до каких-то бумажек. Всё в кучу, и — не разбирая — в мусорное ведро...

Это как дом, который продавался здесь поблизости, и мы ходили смотреть. Хозяйка переехала в дом престарелых. Насовсем. Просто вышла и, уходя, закрыла дверь. Весь интерьер остался: гостиная с кружевными салфетками на столе и буфете, распятие в спальне над кроватью, банки солений в подсобке. Такое реальное присутствие чьей-то жизни. От которой пока ещё остаётся след. Пока...

Открою пошире окно, проветрю, от готовки на кухне жарко. Зима, а на улице ходят в демисезонных пальто. Можно даже вынести бельё на

балкон. Лёгкий ветерок колышет голые ветки. Со стоянки трогается машина. Вокруг тихо. Неужели это завтра надо лететь?

Пересечение границ — вечная тайна. Утром ты будешь протискиваться в поезд, автобус, метро, а затем в самолёт, извиняясь: «Pardon Madame» а вечером того же дня, сойдя по трапу и переведя часы назад, спросишь где-то: «Вы не выходите?» совсем с другой интонацией и другим напором. Три с половиной часа в воздухе, а за ними совсем другая жизнь.

И опять, как всегда: ведь хочется смотреться в эту командировку, но... как просто и хорошо думать о чём-то другом!

Уже конец года. Не верится, что скоро праздники. Ещё столько недоделанных вещей, недосказанных слов. Я обещала ответить на письма. Их будут ждать. Если не поздравлю с наступающим, будут волноваться. Хорошо, все посылки отправлены, они где-то в пути. Дойдут. Надеюсь, понравятся. Я выбирала подарки с любовью, старалась сделать приятное.

Кстати, родственники вчера постелили новый линолеум в зале. Приглашали посмотреть, но сегодня уже не успею. И к соседке уже поздно звонить в дверь. Так давно мы с ней не сталкивались, не совпадаем расписанием. Она-то и вообще не знает, что я уезжаю...

Улетел-прилетел. Ну и ладно, стоит ли об этом так долго?

Вообще интересно, почему в подобных ситуациях так легко разыгрывается фантазия. Крутятся мысли, сравнения, вспоминаются долги, замкнутым кругом возвращаются и ответственность, и какой-то страх.

Это всё ожидание... «Промедление смерти подобно». Была такая книжка. Не спрашивайте автора, помню только вытянутый формат издания, страниц восемьдесят-сто, твёрдую тёмно-синюю обложку: обязательное революционное внеклассное чтение. Вот ведь застревают в голове навсегда какая-то белиберда.

А я себя знаю, завтра в действии некогда будет волноваться. Всё станет на свои места. Всё уже решено и ничего особенного, собственно, не произойдёт. Просто чья-то ежедневная работа, как ралли для гонщика или, к примеру, вершина Монблана для скалолаза. Тому, кто у штурвала, надо просто доверять. Как хирургу, дантисту, как водителю маршрутки. Почему нам так необходимо всё контролировать? Всё контролировать невозможно...

Сумка уже практически собрана. Взять что ли с собой Умберто Эко? Осталось всего страниц пятьдесят. Но тащить из-за этого весь том на два дня? Ну и ладно, значит, пока так и не узнаю, чем закончится этот «Бодолино»...

Красный, чуть приплюснутый в стороны шар медленно тонет в облаках. Горизонтальная полоса розовых сочных тонов разрывает небо. Какой красивый сегодня закат!.. Почему мы никогда по-настоящему не всматриваемся в эти линии вечерней дали, ежедневно задёрнутая шторы? Мне всё равно, сколько в ней сейчас самолётов, но любопытно, сколько сегодня будет видно звёзд.

Мне завтра лететь, а по телевизору всё так же бесконечными потоками льётся реклама, и в бата-

реях всё так же свербит, и, как всегда, слишком медленно нагревается в душе вода. Всё, как всегда, только давит усталость, и не хочу больше думать. Вообще ничего не хочу. Уж скорее бы завтра, когда снова всё станет реальным, всё будет ясно, и от этого хорошо.

Проверить, не забыла ли билеты? Лучше переложить все бумажки в один карман, вот в этот, там легче искать. Видишь, снова переживаешь. Спрашивается, зачем?

Шипит утюг, всего переглядеть этим вечером явно не выйдет. Приготовлю минимум: одну рубашку для мужа и детские кофточки-штанишки. Среди них, кстати, некоторые уже пора отобрать и раздать. Складываю рукавчик к рукавичку, приглаживаю руками. В этот кармашек надо положить платочек. А за счёт этих отворотов маленькие джинсы можно удлиннить и поносить ещё.

Завтра утром я выйду рано, мой человечек будет спать. Сейчас приоткрою дверь и подойду на цыпочках. Вот он, сладкий, сопит, уткнувшись в своего незаменимого пингвинёнка. В детской кроватке он уже такой большой. Скоро научится вылезать, и надо будет покупать другую. Такая умильная мордашка. Малышовый запах. И везде на полу игрушки. Мишка, заяц-марионетка, пёс с жёлтым пупком и длинными коричневыми ушами, мягкая кричащая утка — всех их он выкинул, остался только пингвинёнок- друг, подушка, соска и, наверное, что-то ещё.

Ну и как я его оставлю?!

Затаив дыхание, осторожно закрываю дверь, и иду на цыпочках, чтобы не расплескать увиденное. Это всё так важно. Каждая такая деталь. Вот бы не забыть. И не забывать никогда. Останавливаюсь в тёмном коридоре и не вижу стен. Просто смотрю внутрь себя... Нашариваю дверь в комнату: светит слабая галогеновая настольная лампа, на автопилоте опускаюсь на стул, подруливаю к столу и хлопаю рукой по клавиатуре. Компьютер покрывает, экран просыпается. Сколько времени меня не было, что и он успел так заснуть? Мелькает заставка, выплывает открытый документ Word. Конец четвертой страницы, абзац, перечитываю последнюю фразу. Ставлю точку, смотрю на часы и пишу дальше.

...Я пишу?

...Значит, я уже снова здесь?!..

г. Лимож, Франция

ДиН память Дмитрий Мережковский

Любовь-вражда

Мы любим и любви не ценим,
И жаждем оба новизны,
Но мы друг другу не изменим,
Мгновенной прихотью полны.

Порой, стремясь к свободе прежней,
Мы думаем, что цепь порвём,
Но каждый раз всё безнадежней
Мы наше рабство сознаём.

И не хотим конца предвидеть,
И не умеем вместе жить, —
Ни всей душой возненавидеть,
Ни беспредельно полюбить.

О, эти вечные упрёки!
О, эта хитрая вражда!
Тоскуя — оба одиноки,
Враждуя — близки навсегда.

В борьбе с тобой изнемогая
И всё ж мучительно любя,
Я только чувствую, родная,
Что жизни нет, где нет тебя.

С каким коварством и обманом
Всю жизнь друг с другом спор ведём,
И каждый хочет быть тираном,
Никто не хочет быть рабом.

Меж тем, забыться не давая,
Она растёт всегда, везде,
Как смерть, могучая, слепая
Любовь, подобная вражде.

Когда другой сойдёт в могилу,
Тогда поймёт один из нас
Любви безжалостную силу —
В тот страшный час, в последний час.

155



Зинаида Кузнецова

Он обязательно вернётся...

Дэйзи

— Коля, вставай, уже шесть. Опять опоздаешь. — Катя стянула одеяло с мужа, включила светильник на прикроватной тумбочке, — вставай, сам же просил разбудить пораньше. Завтрак стынет...

— Слышу, не глухой, — пробурчал Николай. — Никуда не пойду сегодня. Надоело всё. Мёрзнешь, мёрзнешь по три часа, а толку нет: возьмут два человека, и всё, дверь перед носом захлопнут... Что ходить напрасно... Недовольно ворча, он всё-таки поднялся с постели, пошёл в ванную.

— А если не ходить, то и вообще можно с голоду помереть! — Катерина сердито стукнула о стол сковородкой со слипшимися серыми макаронами.

— Опять макароны! — скривился Николай. Он брезгливо поковырялся в сковородке, отложил вилку, — налей чаю!

Чай был жиденький, невкусный и несладкий. Сахар закончился ещё вчера. Катя перетрясла все пакеты, банки из-под сахара в надежде, что какие-то крупинки песка остались, но ничего не нашлось.

Николай выпил чай, Катя стала убирать со стола.

— Так что, пойдёшь на биржу? — спросила она, видя, что муж никуда не торопится.

— Пойду! — раздражённо бросил он и пошёл одеваться.

— Шарф не забудь, холодно на улице.

Он, ничего не ответив, вышел, хлопнув дверью. Катя, тяжело вздохнув, принялась мыть посуду. Хотелось плакать, но слёз не было. Как жить дальше, на что? Скоро и макароны закончатся. Масла уже месяц не видели, о мясе давно забыли. Хорошо, что хоть ребятишки в школе питаются бесплатно, а то бы не знала, что и делать. Правда, в школе тоже придумали — для бесплатно питающихся детей завели отдельный столик, дети стыдятся, большие уже, понимают, что это унижение. Для чего разделять-то? И так переживают, что одеты плохо, что не могут деньги сдавать на классные мероприятия, на подарки учительнице, а тут ещё этот бесплатный столик... Она оглядела комнату. Может, ковёр продать? Да кому теперь нужны ковры! Это раньше выстаивали очередь, гонялись за талонами, чтобы купить ковёр или шкуру... Был достаток, хотелось всё иметь, как у людей. Жили хорошо, грех жаловаться, и кто бы мог подумать, что всё так повернётся! Перестройка эта чёртова! Работал бы завод, и они бы не бедствовали. Коля хорошо зарабатывал, да и она, хоть и в садике работала, зарплата маленькая была, но всё-таки домой что-то приносила... А сейчас!.. Хорошо, хоть изредка от родителей из

деревни картошки-морковки привезут, а то бы вообще хана. Надо весной участок под картошку взять, иначе следующую зиму не пережить...

День прошёл в домашних хлопотах: помыла полы, постирала, погладила обветшавшее бельё... Скоро ребятишки из школы придут, а там и Николай вернётся. Господи, хоть бы повезло, подвернулась бы ему какая-нибудь работёнка. Что же сварить на ужин? Макароны в горло не лезут, надоели, да и они скоро кончатся. Где же взять денег? Пойду-ка к соседке, может, займёт рублей сто. Стыдно, правда, уже и так ей должна, всё никак отдать не могу.

Постучавшись к соседке и не дождавшись ответа, она вышла на улицу. На улице было сыро и промозгло, ветер остервенело гнул ветки тополей, поднимал в воздух сухие листья, обрывки газет, старые полиэтиленовые пакеты и другой мусор, в изобилии валявшийся на земле... От безрадостной картины на душе стало ещё тяжелее... Как изменилась жизнь!.. Ещё недавно жили не тужили, веселились, ездили в отпуск, с друзьями собирались... А сейчас и друзей-то не стало. Да что собираться — о своей беспросветной жизни говорить надоело, а больше не о чем. Все мысли о том, как выжить.

А Николай как изменился! Раньше весёлый был, энергии на десятерых хватало, а теперь лежит целыми днями на диване и молчит. Без работы уже два года. Опустился, озлобился. Раздражается по каждому поводу. Завод остановился, новые хозяева всё растащили, разворовали, а народ на улице оказался... Работы никакой. Кое-кто из знакомых занялся бизнесом — продаёт шмотки на рынке. Но чтобы вещи для продажи купить, тоже капитал нужен, а где же его взять! Да и не каждый может этим заниматься. Тем более, Николай. Был ведущим инженером на заводе, уважаемым человеком — и вдруг на рынке лифчики продавать!

Она вспомнила, как, поддавшись общему ажиотажу, они поехали однажды на соседнюю станцию, к поезду «Москва-Пекин», который стоял там минут тридцать, и едущие в нём китайцы продавали вещи прямо с поезда. Весь перрон был запружён народом, на привокзальной площади не было свободного места, чтобы припарковать машину. Люди стояли молча, вглядываясь вдаль, ждали поезда. И вот он подошёл. Что тут началось, Катя до сих пор вспоминает это со стыдом и отвращением. Люди, как сумасшедшие, кинулись к поезду, рвали друг у друга из руки китайские шмотки, ругались, кричали... Всё это напоминало кадры из фильма о гражданской войне, когда люди

с боем брали теплушки... Сверху, из окон вагонов скалились китайцы. Было нестерпимо стыдно.

Они с Николаем отошли в конец поезда, там было поменьше народа. «Купите куртку», — предложил молодой китаец. Рядом с ним красовалась в окне дородная русская деваха. Они неуверенно переглянулись — может, правда купить Николаю кожаную куртку? «Купите, купите, товар качественный», — девушка бросила им куртку. Николай примерил — очень даже неплохо сидела, да и качество вроде ничего. Катя выгащила деньги, протянула их в окно. «Куртку давайте», — заулыбался китаец. «Деньги возьми, мы покупаем», — нетерпеливо крикнул Николай, поезд вот-вот должен был отойти. «Давай сначала куртку сюда», — настаивал китаец. Николай, удивляясь его тупости, отпустил куртку, и тот скрылся с ней в глубине вагона. Поезд дёрнулся... «Давай деньги», — снова показался в окне китаец. «А куртка?» «Сначала давай деньги», — китаец выхватил из рук Николая деньги и бросил ему куртку... Поезд тронулся, парочка в окне весело смеялась — девица так просто умирала со смеху. Катя с мужем не понимали, чего они так веселятся... Потом поняли... Куртка была сильно поношенная, вся в дырках, подкладка висела лохмотьями... Катя заплакала — деньги были последние...

Так и не встретив никого из знакомых, она уныло побрела к своему подъезду. Придётся на ужин опять макароны подавать. Эх, было бы хоть одно яйцо, залила бы им эти проклятые макароны — и в духовку, всё повкуснее...

У самой двери подъезда копошился маленький чёрненький щенок. Всё его тельце сотрясала дрожь, он жалобно повизгивал, поджимал кривые лапки, которые расплозились на скользких плитках крыльца...

Бедненький, да кто же тебя выбросил, такого славненького? Или ты просто потерялся? Иди сюда, маленький, сейчас пойдём погреемся. Она взяла трясущегося щенка на руки, прижала к себе, из его чёрных красивых глаз-бусинок катились слёзы...

Дома укутала его своей вязаной кофтой, налила тёплого чаю в блюдечко. Щенок пить не стал, продолжал мелко-мелко дрожать. Молочка бы ему, да где взять... Потом он, видно, согрелся, и вскоре с дивана посыпалось тихо посапывание...

Катя написала несколько объявлений и расклеила их в подъезде — на каждом этаже. Может, кто откликнется. Такая собачка славная, наверно, породистая, вон уши как висят, чуть не до пола. И шерстка мягкая, блестящая. Сразу видно, что домашний, ухоженный...

С появлением Дэйзи, так называли щенка, в их дом вернулось что-то тёплое, почти забытое, когда вся семья собиралась вместе, когда дети не стремились убежать из дома — хоть куда, лишь бы не слышать ссор родителей. Они играли с ним, выводили гулять и уже стали бояться, как бы не нашли его настоящие хозяева. Но хозяева не находились, а потом про них и думать забыли.

Катя стала замечать, что и у Николая при взгляде на Дэйзи теплеют глаза, он часто играл с ним и даже сам купал. Он всё ещё нигде не работал, перебивался случайными заработками, денег в

доме по-прежнему не было. Среди этой нищеты, неопределённости, неуверенности и разочарований Дэйзи был как светлый лучик. Он оказался способным учеником и скоро уже выполнял различные трюки, стоял на задних ногах, приносил тапочки и так далее.

Когда у Николая случалась работа и появлялись деньги, он покупал своему любимцу молоко, свиные рёбрышки, варил супчик... Катя только удивлялась, глядя на эту трогательную дружбу... Николай стал просто неузнаваемый, вернее, стал почти таким, как был прежде — добрым, ласковым, заботливым. Он уже охотно выводил Дэйзи на прогулку, познакомился с другими владельцами собак, часто по телефону обсуждал с ними различные проблемы собачьей жизни, одним словом, у него появился какой-то интерес в жизни. Дэйзи признавал только Николая, даже спал с ним, примостившись в ногах. Когда Николай после недолгого отсутствия появлялся в доме, щенок не скрывал своей радости, прыгал, визжал, лизал ему руки, выражал восторг, как только мог.

Однажды на прогулке Николай разговорился с мужчиной средних лет, владельцем красавца дога. Сначала разговор вертелся вокруг их четвероногих друзей, потом перешли к политике, потом заговорили о семьях, о работе. Сергей Васильевич, так звали нового знакомого, работал директором строительной фирмы, довольно известной в городе. Николай не стал говорить, что он в настоящее время безработный, было стыдно — здоровый мужик, а не работает, как последний бич.

Услышав фамилию Николая, Сергей Васильевич сказал, что слышал о нём, как о грамотном, опытном инженере и поинтересовался, где он сейчас работает. Пришлось признаться, что нигде. Сергей Васильевич ничего не сказал, но видно было, что он очень удивлён. Хотя, конечно, все в городе знали ситуацию с заводом.

Через несколько дней они опять встретились и Сергей Васильевич предложил ему работу в своей фирме. Он сказал, что отзывы о нём, Николае, хорошие, а ему нужен инженер по снабжению.

— Катюха! — с порога закричал Николай, — Катюха, я устраиваюсь на работу! Ура!!!

— Господи, — обрадовалась Катя, — какая работа, куда устраиваешься? Место сторожа в детском садике освободилось, что ли? Ну, слава Богу!

— Какой сторож, Катя! Инженером берут в строительную фирму!

Катя заплакала. Потом она схватила Дэйзи и стала его тискать, целовать, чуть не задушила в объятиях. Дэйзи визжал и вырывался. Николай обнимал их обоих и чуть не плакал сам.

— Знаешь, Коля, — немного успокоившись, сказала Катя, — это всё Дэйзи. Это он принёс нам удачу!

Катя не узнавала мужа. Куда делся вечно недовольный, помятый, небритый человек, целыми днями лежащий на диване? Утром чуть свет бежал на работу, возвращался в приподнятом настроении, строил различные планы.

Жизнь потихоньку налаживалась. В доме появились деньги, можно было купить какие-то вещи детям, себе. Катя радовалась за мужа, ведь

у неё вся душа изболелась, видя, как он пропадал без работы. Она ещё больше полюбила Дэйзи. А Николай просто души в нём не чаял, возился с ним, баловал, купал, расчёсывал ему кудрявую шёрстку. Катя даже обижалась, когда муж, уезжая в командировку, расстраивался, что долго не увидит Дэйзи. Что с ней и с детьми расстанется, он не переживает, а собака, оказывается, ему дороже. «Не говори глупости, Катерина, — смеялся Николай, — ты что, ревнуешь меня к собаке?» «Поневоле заревнуешь», — сердито отвечала Катя, в душе совершенно не сердясь.

Из очередной командировки муж вернулся окрылённый. Всё удалось, начальник доволен, повысил зарплату. Катя не могла нарадоваться — вот как иногда бывает: кажется, нет никакого просвета в жизни, и вдруг сразу так много всего. И всё благодаря этой маленькой собачке. Она опять начинала тискать Дэйзи, но тот вырывался и бежал к Николаю, своему кумиру.

Жаль только, у хозяина оставалось всё меньше и меньше времени на игры с Дэйзи. Домой приходил поздно, по выходным тоже, бывало, вызывали на работу. Кате не нравилось, что у него частые командировки, но приходилось терпеть — она страшно боялась, что вдруг всё кончится, и опять вернётся та беспросветная нищенская жизнь.

Катя, весело напевая, убиралась в квартире. Вчера вечером закончила шить новые шторки в кухню, и теперь любовалась ими — ну такие милые, такие весёлые, сразу вся кухня преобразилась. Как, в сущности, женщине мало надо — вот повесила новые занавески и счастлива!

Запищал мобильник. Она посмотрела — нет никакого сообщения. Телефон продолжал пищать. Да ведь это же мелодия из мобильного Николая. Она по звуку нашла его, он лежал в прихожей на тумбочке. Забыл, вот Маша-растеряша! Так, пропущен один звонок и пришло какое-то сообщение. Она машинально нажала на кнопку: «Прости, я не могла вчера прийти. Давай сегодня в 7, там же. Целую.» Что это? Кто это? Катя растерянно смотрела на буквы, и вдруг она всё поняла... Так вот что означают его задержки на работе, частые командировки... Всё встало на свои места. А она и не догадывалась, была переполнена свалившимся на них счастьем, ничего не замечала...

Скоро он придёт с работы. Как быть? Сказать или не сказать, что она всё знает? Она старалась унять дрожь, сотрясавшую её с ног до головы. Было страшно...

— Да ты что выдумываешь, Катерина? — муж смотрел на неё с возмущением. — Это ошибка какая-то. Или розыгрыш. Мужики на работе прикалываются. Да и номер какой-то незнакомый.

Катя и верила и не верила ему. Хотелось верить, но сердце противилось, его не обманешь. Теперь в новом свете представлялись и странные звонки на мобильный, когда он уходил разговаривать на кухню или на балкон, и его внимание к собственной внешности и многое другое. «Не выдумывай, ничего нет, твердил он в ответ на её слёзы, — ничего нет и быть не может». Но она чувствовала, что есть, есть что-то такое, что занимает все его мысли и чувства.

Потом всё как-то улеглось, забылось, Николай приходил с работы вовремя, в командировки стал ездить реже, с ней был ласков, и она успокоилась.

Перед Новым годом на работе у Николая устраивалась корпоративная вечеринка. Участие было обязательным. Катя стеснялась идти в незнакомую компанию, но муж настоял.

— У тебя есть какое-нибудь красивое платье? Если нет, купи, и не жалея денег. Ты должна выглядеть. И в парикмахерскую сходи.

— Ну, зачем я буду ради одного вечера сумасшедшие деньги тратить? — сопротивлялась Катя, но в глубине души была довольна, что муж снова хочет видеть её красивой, гордиться ею как раньше.

Критически осмотрев жену, Николай остался доволен. Катя выглядела прекрасно: с новой причёской, в новом нарядном платье, в туфлях на шпильке она, казалось, помолодела на несколько лет. И сама она чувствовала себя молодой и красивой, и хорошо смотрелась рядом с мужем. Она немножко волновалась — идёт в незнакомую компанию, да и давно никуда не выходила. Но волнение было приятным.

Катя танцевала и веселилась от всей души. У мужчин она явно вызвала интерес, да и женщины посматривали на неё искоса, оценивая туалет и причёску. Её без конца приглашали танцевать, и она охотно соглашалась. Николай тоже танцевал, порой она даже теряла его из виду, но не переживала по этому поводу. Разгорячённая после быстрого танца, она вышла в зимний сад. В помещении никого не было, тишину нарушало лишь журчание миниатюрного водопада. Как давно она не была здесь! Экзотические растения разрослись, пальмы уже упирались верхушками в потолок. А где же русалочка? Может, в другое место перенесли? Она обошла вокруг, но русалочки нигде не было. Жаль, Катя всегда любовалась ею... На стенах висели картины местного художника. Кате понравилась одна из них, написанная в серых тонах, и называвшаяся «Дождь в Усть-Илимске». Она очень любила дождь, и просто физически ощутила, как, наверное, хорошо сейчас в этом самом Усть-Илимске, и ей захотелось там оказаться...

Она села на подоконник, за сдвинутые жалюзи, с наслаждением скинула новые туфли — пусть ноги отдохнут.

— Отстань! — послышался женский голос. — Мне теперь всё понятно... Всё!

Мужской голос что-то неразборчиво отвечал.

— Не надо, не надо, — возмущалась его собеседница, — нечего мне лапшу на уши вешать. Зачем ты привёл её с собой?

— Ну, зайка, прости, я не виноват, всем надо было прийти с жёнами и мужьями.

Послышался звук поцелуя.

— Отстань, говорю, — капризничала дама, — никак со своими старухами не можете расстаться... Пусть бы дома сидели, людям жизнь не портили. В общем, так: решай, или я или она. Мне надоело!

— Солнышко, подожди немножко...

— Мне надоело ждать! Мне, между прочим, двадцать два, и я найду себе мужа, а вот ты оставайся со своей старухой!!!

— Киска, не сердись... Я сегодня же всё ей скажу... Ну, подожди, куда ты?..

— Всё, я сказала. Не трогай меня.

Катя сидела, боясь шевельнуться. Голос мужа... В груди разливалось что-то горячее, жгущее. В голове шумело. Парочка стояла совсем рядом, слышались звуки поцелуев...

— Ну, что, мир? — голос Николая прерывался.

— Мир, мир... Так и быть, прощаю... Но смотри, долго ждать не буду, найду себе другого папика. Холостого... У-у, ты мой котик... Ты меня любишь? Любишь?.. Ну, хватит, хватит, причёску всю испортил... Ой, кто-то, кажется, сюда идёт... Слушай, давай удержём, ну её к чёрту, эту вечеринку! У меня ключ от Алискиной квартиры есть, а?

Катя вышла из-за шторы. Парочка целовалась.

— Как приятно смотреть на вашу любовь, — сказала она ровным голосом.

— Спасибо! — нахально ответила девица. Высокая, стройная, в мини-мини юбке, декольте до пупка. Эффектная, ничего не скажешь.

Николай при виде Кати побледнел, потом покрылся красными пятнами.

— Я не знал, что ты здесь, — промямлил он.

— Ну, извини, не предупредила. — Катя сама не знала, откуда у неё берутся силы говорить так спокойно.

— Мы потом поговорим, я тебе всё объясню...

— Ладно, — проворковала девица, — вы тут разбирайтесь, а я пойду. Очень было приятно с вами познакомиться, — она хихикнула и пошла к лестнице, вызывая покаянную бёдрами.

— Катя...

— Ты... ты... — Катя не могла продолжать. Знает, её подозрения были не напрасны. Просто она дала себя обмануть, потому что было страшно узнать правду. И вот она её узнала...

— Ну, что, брат Дэйзи? — Николай потрепал пёсика по загривку, — скучно тебе?.. Ты уж меня прости, что редко с тобой занимаюсь. Всё работа... Денежки надо зарабатывать, де-неж-ки, понимаешь? Не понимаешь...

Дэйзи, положив ему на колени голову и прикрыв глаза, блаженствовал. Напрасно хозяин так думает. Дэйзи всё понимает!

Николай, ласково поглаживая его за ухом, смотрел на экран телевизора, где шёл очередной сериал. И ведь кто-то смотрит такую ерунду! Он пощёлкал кнопками пульта — везде была реклама, — и сердито выключил телевизор. Посмотрел на часы — без четверти девять. Где же Вика? В кои-то веки придёшь домой пораньше, и вместо общения с молодой женой сиди, смотри дурацкие передачи...

Захотелось есть. Он прошёл на кухню, открыл дверцу нового холодильника — пусто... Да, поел, называется... Но он не винил Вику — молодая ещё, научится готовить... В кухне было довольно уютно: новый гарнитур, весёлые занавески, всякие безделушки... Правда, в раковине полно невытой посуды, но к этому он уже привык... Как и к раз-

бросанным по всей квартире вещам, беспорядку в ванной... Не это главное... Квартирка, конечно, маленькая, однокомнатная, но для двоих в самый раз. Появятся дети, тогда надо будет думать о другой, большей, но пока о детях речи не было. Сначала надо выплатить ссуду за квартиру, за машину... Приходится крутиться день и ночь... Алименты к тому же...

Дэйзи, заглядывая хозяину в глаза, тихонько скулил.

— Что, гулять хочешь? Ну, пойдём.

На улице было довольно холодно. Он отпустил Дэйзи, а сам сел на скамейку, лицом к арке, откуда должна появиться Вика, но её всё не было. На душе стало совсем паршиво... Дэйзи, чувствуя настроение хозяина, не носился, как обычно по двору, а, сбегав за кусты, примостился у его ног и тихонько сидел, шевеля хвостиком. Вернувшись домой, Николай вымыл Дэйзи лапы, вытер их мохнатым полотенцем. Пёсик тыкался мордочкой в его грудь, пытался лизнуть лицо. «Какая всё-таки умная псина, всё понимает», — в очередной раз восхитился Николай.

Наконец, часов в десять, щёлкнул замок.

Вика, оживлённая, румяная с мороза, налетела на него, как вихрь, начала тормошить, целовать...

— Прости, котик. Девчонки уговорили зайти в кафе, у Лерки день рождения...

— Могла бы предупредить, — оттаивая под её ласками, пробурчал Николай.

— Я звонила, ты не отвечал. Ну, прости, я больше не буду...

Николай, с любовью глядя на неё, думал: «Ну, за что мне такое счастье привалило на старости лет! Неужели она меня любит?»

— Как я люблю своего папика, — словно угадав его мысли, ворковала Вика. — А ты меня любишь? Ты соскучился по своей киске?

Сердце его таяло от нежности.

Ночью он проснулся от визга Дэйзи. Спросонья он ничего не мог понять. Вика, взлохмаченная, сердитая, ногой вытолкнула собачку за дверь и с громким стуком захлопнула её.

— Что случилось, малыш?

— Да что он опять лезет на постель, тварь такая!

— Ну, ладно тебе, что тут такого, он так привык...

— Пусть отвыкает! Терпеть не могу собак!

— Успокойся, солнышко. Будем закрывать его в кладовке или на кухне. Хорошо?

— Или я или он! — Вика демонстративно отвернулась к стенке и скоро ровно задышала.

А Николай никак не мог заснуть. Вика с первых дней невзлюбила собаку, предлагала оставить её у Кати. Зачем она им? Как зачем, робко возражал Николай, это ведь благодаря Дэйзи они познакомились. И вообще, если бы не Дэйзи, неизвестно, что с ним бы стало. Нет, он не мог оставить его. Дэйзи принёс ему счастье и удачу!

Вика смирилась, но собакой совершенно не занималась. Если Николай задерживался на работе допоздна, то собака оставалась без прогулки и не кормленной.

А в последнее время Вика всё чаще стала заводить разговор о том, чтобы собаку кому-нибудь

отдать. Николай отмалчивался, а если возражал, она сразу надувала губки: конечно, тебе собака дороже меня. А у меня аллергия на шерсть. Хотя никакой аллергии и в помине не было.

Он любил Дэйзи, но Вика! Его радость, его счастье, его подарок судьбы! Он готов был положить весь мир к её ногам! А тут всего-навсего собака. Может, правда, отвезти Дэйзи к Катерине?.. Нет, это невозможно. Он ни разу за два года не видел ни её, ни детей. Хотя по детям первое время скучал, особенно по сыну. Но Вика заполнила его целиком — молодая, горячая, красивая! Он смотрел на её лицо и не мог налюбоваться. Ему не верилось, что всё это наяву. Он боялся закрыть глаза — вдруг откроет, а её нет, исчезла...

Дэйзи радостно повизгивал, прыгал вокруг хозяина, охотно подставлял шею, когда тот застёгивал поводок. Это означало, что они едут на прогулку. Хорошо бы в лес, или на озеро! Дэйзи любил носиться по мелководью, поднимая тучи брызг, или играть на поляне с хозяином, приносить ему брошенную в кусты палку. Хозяин ласково трепал его по загривку, а Дэйзи в порыве восторга облизывал его лицо и был счастлив!

Но сегодня они ехали по какой-то незнакомой дороге. Хозяин был хмурый и неразговорчивый. Дэйзи подумал, что тот на него за что-то рассердился и заискивающе ловил взгляд хозяина в зеркале. Но хозяин отводил взгляд и продолжал хмуриться.

Ехали они сначала по асфальту, затем свернули на просёлочную дорогу. Дэйзи всё ждал, что покажется гладь озера или знакомый лесок, но вокруг было заросшее сорняками поле. Наконец, показался какой-то городок, совсем не похожий на их родной город. Хозяин остановил машину и, уронив голову на руль, долго оставался в таком положении. Дэйзи начал повизгивать, ему хотелось в туалет, но хозяин, кажется, совсем забыл о нём. Потом он включил двигатель и резко тронулся с места. Они долго ехали по кривым грязным улочкам, потом остановились у какого-то одноэтажного здания. Хозяин открыл дверцу, и Дэйзи с радостным визгом выскочил на улицу. Облегчившись, он хотел было снова залезть в машину, но хозяин взял его за поводок и повёл за собой. Они зашли во двор, заставленный пустыми ящиками, коробками, бочками. Дэйзи догадался, что это был магазин, потому что в дверь то и дело заходили люди, и выходили обратно с тяжёлыми пакетами и сумками — в одной из них Дэйзи углядел сосиски и уронил слюну. Сосиски он очень любил. Хозяин привязал его к металлической ограде и приказав: «Сидеть!», тоже зашёл в магазин. Дэйзи обрадовался — сейчас хозяин купит сосисок. Ничего, что они сырые, он так проголодался, что согласен и сырые съесть.

Но время шло, а хозяин всё не появлялся. Дэйзи занервничал, порывался куда-то бежать, но короткий поводок не пускал. На улице быстро темнело, Дэйзи замёрз, начал поскуливать, потом громко залаял — сейчас хозяин услышит и вернётся. В воздухе ещё витал его запах, и Дэйзи с удовольствием втягивал его своим чутким носом... Но вот в магазине погасили свет, из двери вышла

толстая тётка, закрыла дверь и пошла к воротам. Дэйзи остался один.

В домах погасли огни, на небе стали видны звёзды. Они были большие и яркие, Дэйзи никогда не видел таких в городе. Он вспомнил свой двор, скамейку, где они всегда сидели с хозяином, и загрустил. Где же он, почему так долго не приходит?.. Изредка мимо проезжали машины, и он тотчас же вскакивал, натягивая поводок, и радостно взлаивал, но ни одна из них не остановилась... Дэйзи стало страшно. Он поднял голову, и, глядя на незнакомые звёзды, громко завыл. Звёзды равнодушно смотрели на него из чёрной бездны. Хозяин не появлялся. Дэйзи, свернувшись клубочком, пытаясь согреться. Он представил себе светлую комнату, мягкий коврик, хозяина, сидящего на кресле и ласково гладившего его по блестящей шёрстке, и вздохнул... Ничего, Дэйзи подождёт... Хозяин обязательно вернётся за ним... Он обязательно вернётся...

Дружба народов и балет «Лебединое озеро»

Зоотехник Иван Ушков шагал по раскисшей дороге и злился: тащиться по непролазной грязи километр туда и километр обратно — удовольствие не из приятных! После бесконечных осенних дождей земля совсем раскислась, идти было тяжело — того и гляди, оставишь сапог в жидком ледяном месиве. Но ничего не поделаешь, надо, председателю колхоза зачем-то понадобился. Мог бы и по телефону сказать, так нет же — срочно прибыть в контору, и точка.

Правление колхоза находилось на другом берегу речушки, мелкой, заросшей камышом и осокой, летом пересыхающей, а дважды в году — весной и осенью, — превращающейся в бурный поток. Вот и сейчас вода поднялась почти на метр, так что старый деревянный мост оказался затопленным... Мостом его назвать язык не поворачивался — просто настил из брёвен, а сверху положены доски. Кому в голову пришло построить его в самой низине, неизвестно. Ездить по нему и летом-то было опасно, того и гляди, провалится, а уж в половодье и подавно. Не раз машины и трактора сваливались с шаткого устройства, слава Богу, без жертв обходилось... Иван шёл, осторожно нащупывая уцелевшие доски, преодолевая поток несущейся воды, и матерился. Который год собираются строить новый мост, но воз и ныне там.

На крыльце конторы и на завалинке сидели мужики, курили. Когда только они работают! Когда бы ни пришёл — сидят, курят... Поздоровавшись с каждым за руку, как принято в деревне, он поднялся на крыльцо, предварительно очистив сапоги о железную скобу, вбитую в землю. Бухгалтер Евдокия Ивановна, исполняющая также обязанности секретарши, уборщицы и истопницы, на его немой вопрос, зачем вызывают, так же молча качнула головой: иди, мол, сам разбирайся, и опять уткнулась в свои бумажки.

Председатель колхоза, присланный к ним из района, где он руководил «Вторчерметом», со страдальческим видом читал сводки. Мужик он

был неплохой, но в сельском хозяйстве мало что смыслил, к тому же был обижен, считал, что его направили в эту дыру как в ссылку.

Иван кашлянул. Председатель отложил бумаги в сторону, снял очки и изучающее посмотрел на Ивана, словно сомневаясь, стоит ли сообщать ему нечто важное, чего Иван ещё не знал.

— Зачем звали, товарищ председатель? — Иван устало опустил на табурет.

— В командировку тебя отправляем. Вот при-слали бумагу: курсы повышения квалификации.

— Какая командировка, Михал Михалыч? Работы полно. Да и учить учёного — только портить. Нет, не поеду.

— Ну, ты вот что: иди, собирайся. Не поедет он! Нас с тобой не спросили!

— Вот и плохо, что не спросили...

— Не понимаешь ты своего счастья, Ушков! — грустно сказал председатель. — В столицу едешь, в столи-и-цу-у! На месяц!

— В Москву? На месяц?... Что, правда?... — Иван никогда не был в Москве, в его представлении она была так же далека и нереальна, как, например, Филиппины. А тут на целый месяц! — Нет, всё равно не поеду, — вздохнув, сказал он, — у меня жена скоро должна родить, и в хозяйстве дел много...

— Родит и без тебя. Что ты ей в этом деле, помощник что ли? Короче говоря, вот тебе командировочное удостоверение, деньги получишь в кассе — и вперед!

— Михал Михалыч...

— Всё, я сказал. — Он помолчал. — Это ведь Москва — там театры, выставки, рестораны! Не надоело тебе на навоз смотреть? Отдохнёшь хоть по-человечески, по асфальту походишь.

— Да уж, с нашими деньгами только по театрам да ресторанам ходить! — Иван, тяжело вздохнув, понуро направился к двери.

Уже неделю Иван жил в столице. С утра шли занятия, а после обеда группу возили на экскурсии в передовые хозяйства Московской области. Вечера он проводил в одиночестве и сильно скучал. Пойти было некуда, знакомых у него в Москве не было. К тому же Иван отвык от большого города, и его пугали толпы вечно куда-то спешащих людей. Никто ни на кого не обращал внимания, кругом угрюмые, озабоченные лица, толкотня, давка и очереди — в мавзолей, в киоски «Союзпечати», за колбасой, за коврами, за билетами на метро... Тысячи людей, а поздороваться не с кем... Никогда ещё Иван не чувствовал себя таким одиноком. Хотелось домой. Его поселили в какой-то третьесортной гостинице на окраине Москвы. В номере на двоих, где он жил один, ни горячей, ни холодной воды, душ и туалет в конце коридора. Розетки забиты фанерными кружочками. Дежурная по этажу, неприветливая женщина лет пятидесяти с высоко взбитыми обесцвеченными волосами, предупредила, что включать электроприборы строго запрещается. На его вопрос, нельзя ли как-то организовать чайку, она злобно взглянула на него и ничего не ответила.

В субботу вечером Иван возвращался с занятий. Настроение было скверное — предстоял долгий тоскливый вечер. Завтра выходной, опять сидеть

в этой чёртовой гостинице, где даже радио нет. «Музеи, рестораны...», — вспомнил он председателя и горько усмехнулся. Суточных дали — кот наплакал, сходишь тут в ресторан. По пути он купил пакет пряников и бутылку лимонада — вот и весь ужин.

Администратор сказала, что к нему подселили жильца. Подселили так подселили, всё веселей будет.

Дежурная по этажу, как обычно, на его приветствие не ответила. Однако на лице её он заметил некоторое оживление, и даже затаённую улыбку. На столе лежала коробка конфет «Раздолье». Иван видел такую только на картинке в журнале.

В его номере играла музыка, весело кипел электрический чайник, включённый в освобождённую от деревянного плена розетку, на столе — бутылка коньяка, жареная курица, фрукты, ещё что-то. Вот это да! Уж не Ротшильд ли перепутал отель?

— Здравствуй, дарагой, — в дверях, громко напевая что-то, появился невысокий плотный человек с мокрыми, иссиня-чёрными курчавыми волосами, без рубашки, с полотенцем в руках. Наверно, в душе был. — Давай знакомиться. Сурэн, можно Сурик. Будём вместе жит. Не возражаешь?

Иван не возражал. Сурик ему понравился. И есть хотелось. При виде яств, лежащих на столе, сводило желудок.

Сурен работал экспедитором, привёз в столицу четыре вагона отборного армянского коньяка. Да вот незадача, оказалось, что этикетки на бутылках наклеили неправильно — вверх тормашками, теперь надо вручную переклеивать. Придётся задержаться в Москве на пару недель.

В воскресенье, выспавшись и вкусно пообедав, они вышли из гостиницы. Сурен собрался на товарную станцию, где в тупике стояли их вагоны со злополучными бутылками. Иван напросился с ним, всё равно делать нечего... Они долго бродили по путям, пока, наконец, не нашли вагоны в самом дальнем углу станции. В одном из них четверо мужчин кавказской внешности клеили этикетки. Сурен разговаривал с самым старшим по возрасту, маленьким сухощавым мужчиной в огромной суконной кепке. Они говорили на своём языке, Иван не понимал ни слова, но видно было, что Сурен очень недоволен. Мужчина оправдывался, а Сурен продолжал что-то сердито ему выговаривать. Остальные прекратили работу и бесстрастно смотрели на спорящих. Наконец, старший хмуро кивнул, и они все опять взялись за работу. Сурен с Иваном отправились назад, прихватив с собой несколько бутылок коньяка.

— Что, плохо работают? — спросил Иван.

— Нэт, дарагой, наоборот, слишком хорошо, — засмеялся Сурен. — Я сказал: двести бутылок в дэнь, а они дэлают по триста...

Иван непонимающе смотрел на него. А чем же он тогда недоволен?

— Смотри сюда, — Сурен снова стал серьёзным, — я приехал в столицу нашей родины — Москву, центр культуры и надежду всего прогрессивного человечества. Так?

— Так, — кивнул Иван.

— И ти считаэш, что я должен уехать из этого прекрасного города на второй дэнь?

Иван пожал плечами.

— Нэт, брат, я хачу жит здесь две, нет, три нэдэля... Вопрос: как это сделать? Просто. Я приглашаю в самый лючий ресторан Еревана нужных людей, которые тоже хотят жит хорошо. Мы пьём коньяк, едим форэль, далма и отдыхаем. Теперь смотри дальше: мы привозим коньяк в Москву, но... оказывается, этикетки на бутылках приклеены нэправильно. Чито дэлать? Переклеить! И мы переклеиваем...

— Так что, выходит, их специально наклеили нэправильно?

— К-а-а-нешно, дарагой! И ми двэ недели будем наслаждаться Москвой, самым лучшим в мире городом!

Иван покрутил головой. Ну и ну!

Они погуляли по Москве, пообедали в ресторане — угощал Сурен. Иван, видя, как его новый друг небрежно, не считая, кидает официанту пачку денег, уже ничему не удивлялся. Он начал догадываться, что параллельно существует какая-то другая, неизвестная ему жизнь.

Вечером Сурен, тщательно побрившись и нарядившись в коричневый замшевый пиджак, розовый батник, джинсы — Иван увидел их впервые, — и жёлтые остроносые туфли, отправился навестить земляков.

Стараясь не шуметь, Иван собирался на занятия. Пусть сосед поспит, вернулся поздно. Его каким-то образом пропустили в гостиницу, хотя всем остальным постояльцам позже одиннадцати приходиться запрещалось. Но, судя по тому, как неприступная дежурная встречает его подобострастной улыбкой, Сурен нашёл путь и к её сердцу.

— Ваня, — Сурен приподнял лохматую голову от подушки, — ты сэгодня вэчером что дэлаишь? Может, сходишь в театр, а?

Иван удивлённо посмотрел на него. Какой театр? Денег ни гроша, хорошо, что билет обратный заранее купил. А ещё надо десять дней жить. Хоть домой телеграмму посылай: срочно пришлите денег. Но на это Иван никогда не пойдёт, стыдно.

— У меня билет есть, хочэ-эшэ?

— Спасибо, Сурик, но у меня...э-э-э...

— Ты нэ понял, я тебе как брату хочу подарок дэлать.

— Нет, спасибо, дорогой.

— Ваня, тэбя как друга прошу, сходи в театр. Панымаэш, женщина!.. М-м-м! Какая женщина! — Он поцеловал кончики пальцев. — Пойдэш?

— Ну, так бы сразу и сказал. Конечно, пойду.

На следующее утро Иван горячо благодарил своего нового друга — от спектакля он получил огромное удовольствие, и был полон впечатлений. Сурен, ещё не совсем проснувшийся, не открывая глаз, порылся на тумбочке, протянул Ивану новый билет — на этот раз в Большой театр. О таком Иван не мог даже и мечтать.

Командировка близилась к концу. Каждое утро Сурен доставал из кармана новый билет: на, дорогой, сходи куда-нибудь. Иван пытался отказываться, он не привык жить на халяву, но Сурен укоризненно качал кучерявой головой: «Дарагой, ми же савэцкие люди, братья, ми должны помо-

гать друг другу. Ты мэня виручаешь, я — тебя». Как ему удавалось доставать билеты, непонятно. Но доставал! А однажды выдал Ивану билет аж в «Современник», попасть в который было практически невозможно... Иван побывал в цирке, на концерте Пьехи, посетил Третьяковку, но самое неизгладимое впечатление на него произвёл балет «Лебединое озеро». При первых же звуках музыки душа его наполнилась восторгом и как будто взлетела куда-то. Хотелось плакать, хотелось сделать что-то необыкновенное — но он не знал, что... За все свои почти сорок лет он никогда не испытывал ничего подобного...

По многолетней привычке Иван поднялся в пять. Жены рядом не было, куда-то уже уметелила с утра. Тоже, как и он, ранняя пташка. Да в деревне долго не залежишься — круглый год ни сна, ни отдыха. То в колхозе спину гни, то дома, и так всю жизнь... Правда, колхоз их, до перестройки довольно крепкое хозяйство, сейчас совсем развалился. Работать никто не хочет, богатых фермеров тоже что-то не видать, одна пьянь шатается по деревне... Зарастают бурьяном поля, ржавеет сельхозтехника, и никому до этого нет дела... Иван вздохнул. Второй год как ушёл на пенсию, а душа всё равно болит, не хватает сил смотреть на это безобразии.

Послonyaвшись по избе, он вышел на улицу. Солнце поднялось ещё не высоко, но день, по всей видимости, будет хороший. Середина августа. Он прошёл в сад, ещё мокрый от росы, собрал нападавшие за ночь яблоки. Урожай в этом году отменный, яблок уродилось — ветки ломаются, вишня вон вся осыпается, девать некуда. Им с женой много ли надо, а дети в городе живут, редко приезжают...

Чем бы ещё заняться? Пойти, что ли, молодой картошки подкопать? На огороде пахло укропом, помидорной и картофельной ботвой, он любил этот запах с детства и сейчас с удовольствием вдыхал его.

Он вернулся в дом, включил телевизор — посмотреть новости. Старенький телевизор долго нагревался, экран оставался тёмным, и вначале послышалась только музыка, при звуке которой Иван вздрогнул, как от удара молнии. Чайковский, танец маленьких лебедей — он узнал эту музыку сразу... Наконец, засветился экран, и Иван увидел сцену Большого театра и стайку девушек в пышных белых юбочках...

Был понедельник, 19 августа 1991 года.

г. Зеленогорск

Александр Кашанский

Знамение Чингис-хана

163

Александр Кашанский ■ Знамение Чингис-хана

Мой алтайский товарищ был потомственный ярлыкчи — служитель «белой веры», или по-алтайски «Ак-Тян». Впрочем, сам он этого мне не говорил, я узнал случайно от других людей. Мы считали его шаманом, а по его собственным словам он поклонялся Тенгри — Вечному Синему Небу. Звали его Олег, черты лица у него были монгольские, хоть портрет монгольского воина с него пиши. Сам он называл себя тюрком, говорил по-русски как преподаватель российской словесности, и только когда сердился, мог переходить на народный русский жаргон. На жизнь Олег зарабатывал тем, что водил туристов по всему Алтаю, и знал его как родной дом. Работу свою он выполнял с удовольствием и вдохновенно, поэтому каждый турист после его экскурсий становился чуть-чуть шаманистом, чуть-чуть пантюркистом и уж точно, «алтаистом», потому что, по твёрдому убеждению Олега, места, равного Алтаю по красоте и сакральному значению, на всей земле нет и быть не может. Духи гор, рек и перевалов, наверное, благодарили его за внимательное отношение к их персонам, а туристы восхищались и его знанием, и его несомненным талантом рассказчика и проповедника.

На этот раз мы путешествовали по Алтаю втроём: я, мой московский приятель Юрий и Олег. Мы, видимо, своим правильным поведением заслужили уважение Олега. И он, в знак особого к нам расположения, взялся показать нам древнее тюркское святилище, которое никому ещё не показывал.

Не знаю, чем мы так расположили к себе Олега? Думаю, это была не моя заслуга, а Юрия, сумевшего поразить нашего гида своими глубокими знаниями алтайской истории, культуры и неподдельным интересом ко всему, что он нам показывал и рассказывал. Меня удивляло: откуда Юрий это всё знает? Хотя, точнее, удивляло даже не столько это, сколько сам Юрий, умевший, когда надо быть неприметным, а иногда проявлять такую осведомлённость в вопросах очень специфических и тонких, что приводил меня в изумление. И самое главное, он всегда знал, что, как и когда надо делать для того, чтобы расположить к себе любого человека. Видимо, это было профессиональное, Юрий был военным, уже подполковником, несмотря на молодость, и служил по его словам в Генеральном Штабе, из чего без труда можно было заключить, что он был ГРУшником. Мы познакомились в Москве во время моей командировки, и когда я за столом в весёлой и подгулявшей компании завёл разговор об Алтае, и о том, что у меня есть друзья шаманы, это его очень заинтересовало. Он много расспрашивал об Алтае, потом мы ещё встречались, переписывались, а потом мы договорились в отпуске вместе проехать по Алтаю. Более всего Юрия интересовал алтайский бурха-

низм, «белая вера» или «Ак-Тян». Когда я спросил, что его так заинтересовало в алтайской вере, он отвечал, что — слово «белая». «Почему их вера белая?» — спрашивал Юрий. А я не мог ответить. «А ты знаешь, что знамя Чингисхана тоже было белое?» Я только пожал плечами: «Ну и что?» «Да ничего особенного, если не считать того, что под этим знаменем Чингисхан завоевал полмира, то есть больше чем кто-либо и когда-либо ещё». На этом тогда разговор и закончился.

Поколесив по Алтаю и насмотревшись природных красот и археологических достопримечательностей: курганов, петроглифов, оленных камней, — мы добрались, наконец, до конечной цели нашего путешествия — урочища Темучин. Здесь, если верить Олегу и древнему алтайскому преданию, монгольский хан Темучин получил посвящение от местных шаманов, после чего в 1206 году и был провозглашён Чингисханом.

Переночевав в маленькой алтайской деревне, мы отправились в путь к древнему тюркскому святилищу. Свернув с дороги, джип Олега попетлял между лиственницами, натужно гудя мотором на пониженной передаче, и наконец, заглох на крутом подъёме, упёршись задним мостом в камень, они здесь повсюду торчали из земли. Примерно через минуту под капотом что-то хлопнуло — это сорвало клапан с радиатора, и вода с шипением вытекла на надорвавшийся двигатель. Олег отнёсся к этому спокойно, своего стального коня он совсем не жалел.

— Ну что ж дальше придётся идти пешком. Это километров десять будет, — бодро сообщил он нам, выпрыгивая из автомобиля.

«Эге, парень, мы так не договаривались!» — возмущился я, хорошо представляя, что значит идти десять километров в гору и в гору по тайге и гольцам. Я глянул на Юрия, он был спокоен, как ни в чём ни бывало. Никакой экипировки у нас не было, палатки тоже не было, да и еды в обрез — на один хороший обед.

— А как ночевать будем? — поинтересовался я.

— У меня тент есть, — обрадовал Олег, доставая из багажника топор и свёрток прорезиненной ткани, — такой как на днищах старинных надувных лодок, — костёр разожжём.

Говорят, русские надеются на авось — пожалуй, но Олег своим непревзойдённым и неприступным разгильдяйством давал всем русским сто очков вперёд. «Значит, когда мы плюём на все обстоятельства, совершая малые и великие дела — это в нас, русских, играет тюркская кровь», — заключил я. Я посмотрел на низкое небо в клочковатых дождевых тучах и невольно поёжился, понимая, что экстрим нам обеспечен. И тут заметил на вершущке лиственницы большого серого орла, внимательно за нами наблюдавшего.

Можно даже было разглядеть его жёлтые глаза и мощный клюв. Я сказал об этом спутникам.

— Хозяин встречает, — покачал головой Олег, будто бы подтверждая: «Так и должно быть», — хорошая примета. Орёл, словно услышав комментарий Олега, расправил крылья, на мгновение став похожим на герб великой державы, мощно взмахнул ими и поднялся в потоке ветра. Он сделал над нами круг почёта и скрылся за ближайшей скалой.

— Это дух горы или леса? — спросил Юрий.

— Всей этой местности, — ответил Олег. — Его так близко не часто увидишь. Чем-то мы его сильно заинтересовали.

— А откуда идёт предание о том, что Темучин получил посвящение именно здесь?

— Это мало кто знает, только мой род, да и то далеко не всё, а только прямые потомки того шамана по мужской линии, кто проводил это посвящение. Прервётся наш род, прервётся и это знание. Записывать его нельзя, рассказывать тоже.

Я знал, что сын у Олега родился совсем недавно. «Неужели это правда? Неужели за восемьсот лет мужская линия того шамана не прервалась?»

— А почему ты нам рассказал? — спросил Юрий.

— Потому что мне так сказали, — пожал плечами Олег, — иначе бы никогда не рассказал.

— Кто?

— Они...

«Они» — это значит духи. Я уже знал, что они приходят, они уходят, они дают указания. Их всегда много, поэтому редко когда о ком из них говорят персонально и всегда почти шёпотом и потупив взор. И это «они» — говорит нам современный образованный человек! «Интересно хотя бы раз посмотреть на мир глазами Олега. Какой он — его мир? Что об этом всё думает Юрий?» — подумал я, глянул на Юрия, и вдруг понял, чем он отличается от меня, и почему «они» приказали поведать нам великую Олегову тайну. Пока я собирался с мыслями и размышлял, Юрий уже смотрел на мир глазами алтайского шамана! Это изменение мировидения было заметно в его глазах, вдруг ставших раскосыми, как у Олега. Или мне это показалось? Да конечно показалось! И, тем не менее, по спине пробежали мурашки. Говорят же, что великие актёры играют роль краешками глаз, так глубоко их внутреннее перевоплощение. Возможно, Юрий мог бы стать великим актёром, но уж наверное, он был великий разведчик, сумевший подняться над своей натурой, как орёл над горами, для того, чтобы выведать у Олега его сокровенную тайну. Ещё пять минут назад он был столичным сибаритом, вынужденным глотать пыль алтайских дорог, и вот уже передо мной стоит не то арийский жрец, не то тенгрианский шаман, хоть и в кроссовках. Видение было мимолётным, как наваждение, но очень ярким. Надо сказать, что Алтайское горное захолустье очень располагает ко всякого рода видениям. Уж столько про это написано, столько сказано! Начиная от Рериха и его экзальтированных последователей и до изнеженного городского «турья» — все несут с Алтая разные несусветные «бывальщины». То ли правда здесь что-то есть в атмосфере, то ли люди индуцируют друг друга

ожиданием всяческих чудес, но побывать на Алтае так, чтобы чего-нибудь да не привиделось или не открылось, мало кому удаётся.

— А ты можешь с ними разговаривать? — спросил Юрий.

Олег ответил не сразу. По всему было видно, что ему трудно сказать правду, а врать не хотелось, чтобы не потерять лицо. Он был человеком очень чутким и быстро нас раскусил, уяснив, нам лучше «картину не гнать», а говорить правду, по крайней мере, для того, чтобы больше заработать на нас в этот раз, а возможно и в будущем.

— Вообще могу, они меня посвятили, но я этого не делаю. Тяну пока. Туда, — Олег показал на землю под ногами, — нельзя, с тех пор как сожгли бубны, а туда, — он кивнул на небо, — не хочется. Раз отправишься, потом они не отпустят. И так-то... — и он осёкся, махнув рукой, видимо посчитав, что уже сказал нам лишнего.

История с сожжением бубнов была нам известна. В 1904 году пастуху Чету Челпанову и его приёмной 12-летней дочери явился всадник Ойрот, вестник Белого Бурхана. Бурхан — это одно из тюркских имён Бога. Он потребовал отказаться от сил зла, скрывающихся в нижнем мире, поклоняться только Белому Бурхану и ждать мессию — Хана Ойрота, который должен явиться на Алтай и установить царство благоденствия для всех бурханистов. Эта вера, выросшая из традиционного шаманизма, что-то взяла от ламаизма, что-то от христианства. Её последователей сразу разогнали русские войска, «на всякий случай», чтобы не бунтовали народ, ведь шла русско-японская война. Но память о ней и некоторые традиции сохранились, а в девяностых годах даже стали возрождаться усилиями подвижников в основном из алтайской интеллигенции.

— А какие они, ты видел их, где они находятся? — спросил Юрий.

— Да везде. У дерева есть, у камня есть, у воды, горы, неба, земли.

— А у человека?

— И у человека, конечно, — пожал плечами Олег, удивляясь, как можно задавать такие глупые вопросы. — У тебя же душа есть или нет?

— Должна быть, наверное, — усмехнулся Юрий.

— Ну вот...

— И её можно видеть?

— Конечно! А как же. Но сейчас это мало кто может. — Он огляделся по сторонам, посмотрел на небо, и, прерывая неприятный для себя разговор, скомандовал. — Ладно, пошли, а то до ночи не успеем.

Мы отправились в нелёгкий путь по горному лесу. Никакой тропинки не было, но Олег, по-видимому, хорошо знал дорогу. Впрочем, он всегда и везде, ночью и днём, и в любой местности, ориентировался прекрасно и без всякого GPS, потому что превосходный навигатор был у него в голове. Заблудиться мы не боялись, а вот идти было трудно, приходилось прыгать по камням, покрытым тонким слоем почвы, поросшей худосочной травой и мхом. Ботинки скользили, того и гляди упадёшь. Из деревьев здесь росли только лиственницы, да ещё какой-то кустарник, цеплявшийся за одежду.

— Стойте, — остановил нас Олег и сделал знак рукой. — Мы прислушались и переглянулись. Были отчётливо слышны какие-то странные звуки, похожие на глухие удары.

— Надо пойти посмотреть, — прошептал Юрий, — кажется это совсем недалеко, прямо за этим гребнем. — Он показал на гребень скалы, который мы обходили, поднимаясь вверх.

— Давай посмотрим, — согласился Олег, — только тихо, чтобы нас не заметили. Что-то здесь не то...

Мы стали идти осторожно, ступая след в след, стараясь ненароком не наступить на сухую ветку или не столкнуть камень. Уже вскоре гребень скалы закончился, и нам с высоты открылся вид на пологую расщелину, образовавшуюся между двумя гребнями скал, поросшую редкими лиственницами.

Там, внизу, между лиственницами, верхушки которых были на уровне наших глаз, четверо мужчин, одетых в странные костюмы, что-то по очереди толкли толстой палкой в ступе, выдолбленной из целого ствола дерева. Один из них был в разрисованной спиральными узорами кожаной маске. Он время от времени заглядывал в ступу и подбрасывал туда длинные светло-зелёные стебли растения, которые доставал из долблёного, наполненного водой корыта, стоявшего рядом со ступой. Действие сопровождалось пением торжественного гимна на каком-то странном и незнакомом мне языке. Палка с мерным чвяканьем опускалась во чрево ступы, задавая ритм гортанному песнопению. Можно было бы предположить, что всё происходит в каменном веке, если бы не рюкзаки и ружья, сложенные неподалёку. Судя по тому, что ряженные певцы заглядывали в блокноты, слова древнего гимна были им плохо знакомы.

— Что это за язык? — прошептал я на ухо Юрию, который, как было мне известно, владел несколькими иностранными языками.

— Какая-то смесь искажённого санскрита со старославянским, — ответил он и приложил палец к губам.

Тот, что был в маске, заглянул в ступу, зачерпнул содержимое деревянным ковшом с длинной ручкой и сказал:

— Достаточно, пора отжимать.

Русская речь нарушила чувство отчуждения от происходящего, позволявшее смотреть на этот обряд, как не театральное представление, и вернула меня к реальности.

Двое принесли большое, сделанное из бересты сито, наполненное овечьей шерстью. Они держали его над лагунным тазом, а человек в маске черпал из ступы жидкость и лил в сито, служившее фильтром. Из сита в таз бежала тонкая струйка, на просвет имевшая ядовитый жёлто-зелёный оттенок.

— А всё-таки я считаю, что сому¹ надо было давить камнями, а не толочь в ступе, — сказал распорядителю ритуала один из мужчин с некрасивым прыщавым лицом, у него на голове был рогатый головной убор.

— Разжигайте костёр и подавайте молоко, — приказал человек в маске.

— А если что будет не так? — не унимался рогатый. — Алкалоиды сомы крайне чувствительны к

добавкам, достаточно и несколько молекул, чтобы по-другому замкнуть цепь, и вместо галлюциногена получим опиат, или стимулятор, а колода-то осиновая, это знаете ли, чревато...

— Уймись, наконец, умник! — прервал его человек в маске. — Лишнее знание вредно.

Ряженные мужчины то и дело прятали улыбки, видимо действие вызывало у них невольный смех, и только тот, кто был в маске, судя по голосу, выражавшему твёрдую уверенность в важности ритуала, относился ко всему совершенно серьёзно.

Принесли глиняный сосуд с молоком.

— Сколько лить? — спросил «рогатый».

— Пополам, — ответил распорядитель.

— Это очень много. Отравимся к чёртовой матери. Обезглавим всю древле-ведическую веру.

Глаза яростно блеснули из прорезей маски.

— Лей!..

В чашу, подобную чаше Грааля, как она изображается в американских фильмах, налили выжатый сок и добавили молока.

Главный взял чашу и громко пропел на незнакомом языке слова гимна, а потом с воодушевлением повторил:

— О Сوما, вложи в нас великолепие тысячи мужей, великую славу мощного мужества! Да не повредят нам, о Сوما, ни препятствия, ни враждебность! Ты, Сوما, проявись через сознание! Ты веди нас самым прямым путём!

— Это откуда? — не утерпел я спросить у всезнающего Юры.

— Слова из разных гимнов Ригведы, только искажённые, — ответил он и блеснул глазами, выражая своё недовольство моей несвоевременной любознательностью.

Главный жрец, как я для себя определил человека в маске, подчёркивая торжественность момента, высоко поднял чашу, при этом его губы беззвучно шевелились в прорези маски, видимо он молился, потом поднёс чашу к губам, выпил несколько глотков и передал её по кругу. Когда чаша вернулась к нему, прыщавый прошептал:

— Э-эй, кажется действует круто, поплыло... Какой приход²!..

Его глаза остановились и остекленели, он пошатнулся и развёл руками, будто искал опору.

Другие участники обряда закивали головами, точнее, они у них болтались, как головки мака на ветру, питье также подействовало и на них, и только человек в маске стоял неподвижно, глядя на пламя костра, видимо, на него напиток не произвёл такого действия, как на остальных. Он не обращал внимания на своих соратников, повалившихся на траву, как снопы под порывом ветра.

Главный жрец выплеснул из чаши остаток напитка в огонь. Пар испарившейся сомы поднялся вверх вместе с искрами костра. Потом он снял висевший на ветке сухого дерева бубен, поднял его над головой, подошёл к костру, ударил

1 Сوما (санскр. सोम) — ведическое божество и одноимённо сакральное растение, сок которого, вызывавший экстатическое состояние, приносили в жертву богам в обрядах торжественного ритуала для умножения их силы и достижения бессмертия.

2 «Приход» — на сленге наркоманов начальная оргиастическая стадия действия сильного наркотика.

в бубен колотушкой, прислушался, потом сделал ещё удар и ещё, и медленно пошёл вокруг костра.

— О сома! Прекрасный, всё знающий и всё объясняющий, владыка человеческой души. Бог сома! Приветствую тебя, — шептал жрец, вдруг превратившийся в шамана.

Если раньше всё разыгрываемое было интересно и удивительно, хоть и вызывало некоторое чувство омерзения, связанное с неестественностью этого действия, то теперь стало страшновато.

— Что это может значить, Олег? — спросил Юрий

— Похоже, это славянские ведуны наш древний обряд делают. Их тут много разных ходит. Но таких я ещё не видел. Обычно у них всё тихомирно, а эти какие-то странные.

— И куда он сейчас отправится, в верхний или нижний мир? — поинтересовался Юрий.

— Да лишь бы концы не отдал. Чего они такого нажрались? Что ещё за сома? Где-то я об этом читал. Кажется, у древних арийцев был даже бог Сома? Да? — обратился он к Юрию.

— Да был, — подтвердил Юрий

— Наши-то шаманы тоже ели иногда всякую всячину, чтобы быстрее войти в транс, но понемногу, а эти смотри, лежат как убитые, может они умерли уже а?.. — Олег посмотрел на Юрия.

Над головой, бесшумно пролетела большая птица, может быть, сова. Мне показалось, что она задела волосы крылом. И тут же в подлеске неподалёку пробежал марал, а в довершение всего на глаза попала змея, скользкая по блестящему слюдой камню прочь от каменистой гряды. Животные будто спасались от начавшегося пожара. Меня охватило какое-то тревожное чувство, хотелось зажать ладонями уши, чтобы не слышать гул барабана, но гулкие звуки проникали в мозг, минуя органы чувств. А в воздухе чувствовался какой-то едва уловимый запах — запах костра и ещё чего-то горького, ни на что не похожего.

Борясь с ощущением нереальности происходящего, я закрыл глаза, чтобы собраться с духом. А когда открыл, то увидел: внизу на земле лежат вповалку трое мужчин, в странных одеяниях из шкур, увешанных побрякушками, а ещё один ряженный в маске исполняет диковинный танец, ритмично ударяя колотушкой в большой круглый бубен, — ничего не изменилось...

Звуки бубна становились всё громче, прыжки шамана выше, казалось человек в маске, танцующий этот жуткий танец, хотел зависнуть в воздухе, преодолев силу притяжения земли. Побрякушки, болтающиеся на его одежде, — костяные и металлические фигурки животных, брнчали в такт прыжкам. Ритм пляски стал запредельным. Вряд ли какой танцор или спортсмен мог долго выдержать такой темп прыжков и резких движений. «Арийский жрец» в образе шамана, отчаянно колота в бубен, кружился и подпрыгивал на высоту не менее полутора метров. И вдруг высоко подпрыгнув, повалился навзничь и стал неподвижен, только его грудь высоко вздымалась.

— Полетел? — обратился к Олегу Юрий.

— Слушай, пошли отсюда, а? Не могу больше на это смотреть. Это вообще запрещено. Это раньше можно было так, а сейчас-то зачем? Люди сей-

час стали совсем не те, что раньше, а эти — они вообще... — Он выразительно покрутил у виска. — Им вообще нельзя туда, они там и останутся.

— Продадут душу дьяволу, — уточнил Юрий.

— Да, можно и так сказать. Ведь ваш христианский дьявол — это все наши злые духи вместе взятые. Пошли отсюда а? А то не успеем к ночи, и не будет вам никакого Чингисхана.

— А что, тогда наш Бог — это все ваши добрые духи вместе взятые?

Олег, отполз от края обрыва, лёг на бок и внимательно посмотрел на Юрия, видимо расценив его вопрос, как провокацию.

— Кангый наш Бог и ваш Бог. А духи — это духи. Ладно, хватит болтать, пошли отсюда.

И мы продолжили путь. Долгое время шли молча, каждый старался осмыслить увиденное. Наконец, Юрий сказал:

— Вот если бы ты, Олег, с бубном прыгал и пил сому из мухоморов, я бы тебя меньше уважать не стал, хорошо тебя представляю в образе шамана. А русский мужик хоть с бубном, хоть с ведическим жезлом — это что-то противоестественное. Так я думаю.

— И я так думаю. Каждому своё, — согласился Олег.

— А Кангый?

— А Кангый один на всех.

— Ты меня заинтриговал своим Кангьем. Это Тенгри, да?

Олег аж подпрыгнул, то ли от возмущения, то ли, наоборот, от восторга.

— Тенгри — дух неба, великий всеобъемлющий, беспредельный, Небо — с большой буквы. Понял? Он и есть Вечное Синее Небо. Но он — дух всё же. Понял?.. А Кангый — не дух, это всё, что есть, но там, над небом, и там — ниже земли, и здесь — он ударил себя по груди, и не здесь... Ни один шаман не достигал Кангья, даже в древности, и не достигнет! Нет туда дороги.

— Объяснил, называется.

Олег вдруг резко остановился и, энергично взмахнув руками, выкрикнул:

— А как тебе объяснить?! Возьми, почитай Гегеля, может, поможет, или этого, как его, Кастанеду. Я веду вас показать место, где Темучин принял посвящение, а не лекцию читать. Я не лектор, понял? — и он в негодовании даже топнул ногой. Видимо, странный обряд вывел его из душевного равновесия, подобно тому, как вид солдат противника, вторгшихся на родную землю, заставляет волноваться сердце беспомощного дозорного.

Подъём становился всё круче, идти всё труднее, а лиственницы всё ниже и кривее. По-видимому, здесь уже было выше двух километров над уровнем моря. На такой высоте на Алтае деревья почти не растут. Я совсем запыхался, Олег тоже сильно замедлил шаг, то и дело, вытирая лоб рукавом, и только Юрий шёл, как ни в чём ни бывало. «Вот лось, — с уважением подумал я, — идёт как на прогулке».

Наконец, подъём закончился и мы вышли на плоскогорье, открытое всем ветрам. Деревья здесь уже не росли, слишком холодно и ветрено, но в ложбинках была хорошая трава, настоящие альпийские луга, а среди каменных осыпей и выступов скал было много небольших озёр. Идти стало

легко, я отдышался и стал смотреть по сторонам. Вид отсюда был во все стороны на десятки километров, куда хватало глаз, и везде только горная тайга и никаких признаков присутствия человека. А до холодного иссиня-голубого вечернего неба, казалось, можно было рукой достать. Солнце медленно спускалось вниз и уже коснулось далёкого горного хребта, находящегося, как казалось, ниже наших ног. К общей радости погода улучшилась, ветер стих, а тучи оттянулись к восточной линии горизонта. Мы остановились внимательно и огляделись. Примерно в километре от нас паслось стадо овец, но пастуха не было видно, хотя осёдланный конь щипал траву рядом с овцами.

Олег решительно направился в сторону от нашего прежнего курса. Мы поднялись ещё выше, наверное, на самое высокое место этого плоскогорья, и здесь посреди каменной пустоши увидели выросший в землю грубо отёсанный камень, примерно, метра полтора в диаметре. Он мог служить своеобразным столом, а может и жертвеником. Четыре других камня, стоявших от него метрах в пяти по сторонам света, очерчивали квадрат.

— Ну всё, пришли, — сказал Олег.

Главное, что произвело на меня впечатление — тишина. Ветра не было, что на высоте два с половиной километра большая редкость, а он здесь был единственным нарушителем безмолвия. «Вечное безмолвие, — подумал я. — Как хорошо...». Мою мысль прервал клёкот птицы. Я посмотрел на небо и увидел кружащего над нами орла. Наверное, это был тот самый орёл-хозяин, который встречал нас внизу.

— Ладно, отдыхать потом будем, давай за дровами, — скомандовал Олег, всегда уверенно выполнявший роль организатора неопытных городских туристов.

Идти к листовничному валежнику было с полкилометра. Когда мы натаскали изрядную поленницу сухих сучьев и тонких стволов, уже стали загораться звёзды. Костёр разожгли рядом со святилищем, если его можно было так назвать, но за пределами «магического квадрата». Я сел рядом с южным камнем, опёрся на него спиной и стал смотреть на огонь, ожидая, когда Олег начнёт свой рассказ о посвящении Темучина. Но тот не спешил, по всему было видно, что он не в настроении, а мы его не торопили. Я был переполнен впечатлениями нашего похода, они прокручивались в моём сознании, как цветная кинолента, а Юрий лежал и смотрел на небо.

У меня было странное ощущение, что я сижу на крыше небоскрёба, но вокруг меня не город Москва или, к примеру, Нью-Йорк, а весь мир. И если я закрою глаза и сделаю шагов двадцать в любую сторону, то непременно упаду вниз с сотого этажа.

— Это место священное, — наконец начал говорить Олег. — Таких мест на Алтае очень мало. Но священное оно не потому, что его освятили люди, как, например, алтарь в христианской церкви, а потому, что оно всегда было такое. Наши священные места связаны не с человеком, а с землёй и поэтому не создаются, а открываются и далеко не всем, а только тем, кто к этому готов. Оно открылось тысячи лет назад, и наши предки, древние тюрки, стали приносить здесь жертвы Тенгри —

Вечному Синему Небу, — и совершать обряды. Этот жертвенный камень — алтарь Неба. Отсюда на Полярную Звезду проходит ось мира, — Олег показал рукой на полыхающее звёздным пламенем небо. Здесь связаны между собой нижний мир духов, или, по-вашему, сверхпсихической дробной реальности, наш человеческий мир и небесный мир, высоких существ. Я не знаю, как это по-русски, но в общем можно сказать, что это мир добрых духов и творящих богов. Там, — он показал рукой на небо, — белое, тут, — он хлопнул по земле, — чёрное. Ваш Христос, Аллах, Будда, — там, на небе, а сатана, все черти, — тут. Все добрые боги-творцы — это один и тот же Кангый, но над Аравией он Аллах, над Европой — Христос, над Тибетом — Будда, а ось Кангыя здесь, на Алтае, потому что Алтай — центр Евразии, центр земли. Это всегда знали настоящие шаманы, а не такие шакалы... — Олег в сердцах сплюнул.

— Так что, Небо — это добро, а земля — зло и они равно значимы? — перебил я Олега.

— Ну, какие же вы люди! — Вдруг сорвался на меня Олег. — Не умеете ни слушать, ни понимать! А потом берёте бубен и колотите в него! Лучше бы по голове колотушкой постучали! Черти и злые духи в преисподней — по-вашему, а не в Земле. Земля — наша мать. А Небо так же везде, как и земля. Оно — наш отец. Мать-Отец, Инь-Ян — если по-китайски. Они везде и во всем. Причём здесь добро и зло?! Где единый Кынгый, создающий небо и землю, там рай, там истина, там вечная жизнь, где преисподняя, там зло, там страдания, там ложь, там смерть. Куда-то же надо спихнуть, всё, что здесь творится. — Он крикнул и зачем-то постучал кулаком по своей голове. — Вот в доме есть канализация, как жить без канализации? — Понятно?

— Так значит, Кангый творит и добро и зло? — спросил Юрий.

Олег надул щёки и шумно выдохнул воздух, удивляясь нашей непроходимой тупости.

— Знаешь, зачем сюда приезжал Темучин? — Олег почему-то обратился ко мне, а не к Юрию. — А ведь путь из монгольских степей не близкий.

Я пожал плечами.

— Узнать своё предназначение, вот зачем. И вы можете это сделать, я вас сюда за этим и привёл. А не для того, чтобы вы меня допрашивали. Вот тебе какая разница, как соотносится Небо и Кангый. Разве тебе это не всё равно? — Я промолчал, стараясь никак не выдать своего отношения к этому вопросу. — Потому что, когда человек знает своё предназначение, он не ведает страха, и что бы он ни делал, в конце концов, он всё сделает правильно. Это как компас, только не в кармане, а в голове. Как бы ни плутал, куда бы ни зашёл человек, всё равно выйдет к месту назначения. Конечно, можно идти по прямой, а можно и кругами, но всё равно выйдешь, если не помрёшь по пути, конечно.

— А я не согласен с тобой, — вдруг подал голос Юрий.

— Да?.. — воскликнул Олег, не скрывая своего удивления, потому что искренне считал себя непререкаемым авторитетом нашей маленькой компании в области священного.

— Вон он, компас, один на всех, — показал Юрий на Полярную Звезду. — Сам же говорил, что от этого места к Полярной Звезде идёт ось Кангья. Если Темучин это здесь узнал, понял, поверил, значит, он и получил абсолютный компас, с которым надо сверять жизненный курс. Как ты думаешь, что самое главное принёс людям Чингисхан?

— Это Яса — монгольский закон. — Уверенно сказал Олег. И я тут же вспомнил известный фильм о Чингисхане, в котором в самом конце фильма актёр строго и торжественно произносит заповеди ясы о неизбежной смерти за любое преступление против закона.

— Нет, — покачал головой Юрий.

— Откуда ты знаешь?

— Я сюда и пришёл, чтобы это узнать. И узнал...

— Ну и что же главное?

— Надо лишь душой верить в Единого для всех Бога, и придёт победа... — вот главное, что узнал здесь Чингисхан. Это его слова.

— Это ты говоришь! — возмутился Олег.

И тут мы все отчётливо услышали в тишине ночи топот копыт. Олег прервался на полуслове и подскочил, а мы повернулись в сторону, откуда доносились звуки.

И через ночную тьму увидели белого коня. Конь двигался мимо нас на фоне звёзд, открывая и закрывая собой их алмазные россыпи. Он скакал на север. Приблизившись на расстояние полёта стрелы, почему-то так я определил это расстояние, конь остановился, звонко заржал потом поднялся на дыбы, и, сделав красивый аллюр, поскакал дальше. Он исчез так же, как и появился неожиданно быстро, будто взлетел на небо.

— Это конь пастуха, наверное, — предположил я.

— У пастуха конь рыжий, — ответил Юрий.

Олег молчал, словно проглотил язык, впервые за всё время нашего путешествия. И так он молчал до самого утра, хотя как мне показалось, не спал всю ночь, как и мы. Он всё ворочался с боку на бок, глубоко вздыхал, то и дело поднимался, чтобы осмотреться по сторонам.

А я, не смыкая глаз, наблюдал, как медленно поворачивается надо мной звёздное небо. Каждая из тысяч звёзд шла своим путём, и лишь Полярная никуда не двигалась, потому что из моего глаза к ней проходила ось Кангья, задающая ориентир движения для каждой из триллионов звёзд. От этой мысли мне становилось почему-то легко и спокойно. И не надо было больше думать о дикой шаманской пляске, войне, ссоре с женой и ждущем меня дома разбитом в аварии автомобиле. Будто все мои проблемы унёс с собой таинственный белый конь.

Утром Юрий спросил у Олега:

— Слушай, а куда мог скакать этот белый конь без всадника?

— Ты опять ничего не видел, — возмутился Олег. — Конь был осёдлан, и звёзд над седлом не было видно... Понял?..

— Понял, — кивнул головой Юрий. — Значит, я всё правильно понял.

На это Олег промолчал.

г. Зеленогорск

Светлана Мель

Только не Вы...

Я была листиком самым обычным,
Яркой частичкой осенней канвы...
В этом узоре всё было привычным,
Строгим и будничным. Только не Вы.

Вы были, как инородное тело...
Стали вдрут мысли легки и резвы,
И, оторвавшись, я к Вам полетела.
Всё стало ближе. Но только не Вы.

Как понесло меня, как закрутило
В бурно кипящем потоке листов! —
Как это лихо, наверное, было!
Все оглянулись. Но только не Вы.

И оторвавшись в полёте от стаи,
Плавно парила я среди синевы,
В солнечном свете вся золотая...
Все любовались. Но только не Вы.

Ветра порывом, веселия ради,
Кепку сорвало у Вас с головы...
Я зацепилась за жёсткие пряди.
Все засмеялись. Но только не Вы.

Шли Вы, в каком-то незримом тумане,
Вне городской суеты и молвы.
Я же всё время летела за Вами.
Все это видели. Только не Вы.

Всё поутихло, ушло, миновало.
Цепкие сети пожухлой травы...
Помню, летела. Помню, упала.
Всё позабудется. Может, и Вы?

Ветер и улицы... Листья и люди...
Старые песни во многом правы.
Всё уже было... И всё ещё будет.
Всё повторяется. Только не Вы...

г. Железногорск

Светлана Ермолаева Мёд и соль



169

Светлана Ермолаева ■ Мёд и соль



Мир рассыпан и собран до крошек,
Мёд и соль на бессмертных губах...
У канавы мышиный горошек
Уцепился за жизнь впопыхах.

Под горячею ношей июля
Хорошо нам смотреть в небеса.
Мы с тобою запутались в гуле:
Здесь гудят грузовик и оса.

Столько неба — достаточно, слишком.
Захлебнёшься, ступив за порог.
Прибежит торопливая мышка
Собирать свой мышиный горох.

Что важнее для умного Бога?
Кто виднее Ему с высоты?
Человеческая дорога
Или тихие эти цветы?

И с рассыпчатым солнечным стуком
Распахнутся сухие стручки.
Бог протянет заботливо руку
Вам — горошины, люди, жучки...



В этом городе нет человека.
Здесь деревья, и снег, и дома.
Выбираясь из прошлого века,
Здесь мучительно сходят с ума.

Одиночество. Шарик на нитке.
Семь ступенек чужого пути.
Люди свёрнуты в тусклые свитки,
Человека уже не найти.

Новый снег замедляет ступени,
Новый снег замедляет беду.
Эти люди скользнули, как тени.
Человека уже не найду.

Хорошо, что остались деревья:
Кроны — в небо, а корни — в земле.
Я забуду земное кочевье,
Я качнусь на прохладном крыле.

Закружу над чужими домами
И забуду уже навсегда
Как металась, искала меж вами...

Холода, города, холода...



Господи, терпение и свет,
Музыка, усталость и терпенье...
В колыбели спрятавшихся лет
Мерно убаюканы мгновенья.

Эта та автобусная грусть,
От которой некуда деваться.
За окном мелькают наизусть
Фонари, деревья и дворы,
Успевая плавно повторяться,
Обозначив правила игры.

Нас везут, наверное, туда
Где нас ждут, как никогда не ждали.
Эта ломкость счастья и печали,
Гулкая сквозная череда
Улиц, и тоннелей, и бойниц,
Грохот рельсов, свист аэропланов...
Мы в копилке собственных изъянов
Розу засушили меж страниц.

Эти лица, стёртые, в тени,
Горькими морщинами прижаты.
Нас качает сон аэростата.
Отчего мы, Господи, одни?

Музыка, терпение и свет...
Скомкано автобусное счастье
В маленький надорванный билет.
Может, лучше и не возвращаться
В эту жизнь, и в жёлтой полумгле
Улететь в испуганный портрет,
Что живёт в автобусном стекле.



Когда-нибудь и музыка уйдёт,
Покинет нас, потерянных и тусклых.
В пространствах переполненных и узких
Мы не отыщем выхода на взлёт.

Останемся на горестной земле
Оплакивать осеннюю усталость.
От наших вздохов вмятина осталась
На сильном, на стремительном крыле.

Я тоже искорёженный причал,
Где вздыблены измученные доски,
И где мои земные перекрёстки
Так беспощадно ветер раскачал.

г. Железнодорожск



Лана Райберг Ангел и другие

Ангел

Смотрю на крышу дома напротив. Почему-то всё время кажется, что мой Ангел-Хранитель находится именно там. Я его не вижу, но представляю, как сидит он на самом краю крыши, свесив вниз босые ноги, с удовольствием уписывает бутерброд и запивает его бокалом холодного белого вина. Он роняет вниз крошки. Стайка жирных голубей тут же покидает свой пост у столиков кафе, в котором нет посетителей — время ланча ещё не наступило, а время завтрака прошло, лениво подхватывают пищу, сыплющуюся прямо с неба, и вновь с урчанием, переступая сизыми лапками, топчутся под ногами прохожих...

Ангел с детским любопытством наблюдает с высоты шестого этажа за суетой внизу. Иногда он свешивает вниз курчавую голову и, чтобы не упасть, растопыривает крылья. Крыло упирается в бурую кирпичную стену, и одно маленькое пёрышко, белоснежное и лёгкое, словно парус, плавно спускается прямо мне в руки. Бережно зажимаю пёрышко в руке и колдую, на удачу. Колдовство не помогает. Картины не покупают.

Солнце поднимается всё выше. Кажется, ему тоже любопытно посмотреть, что творится там, внизу. Я сижу в Сохо, на Вест Бродвее, на маленьком брезентовом стульчике возле стола, на котором разложены рисунки. К ножкам стола прилонены холсты.

Я слежу, как по серому асфальту, словно часовая стрелка, медленно передвигается солнечный луч. Температура по Цельсию зашкаливает за тридцать. Стопроцентная влажность. По тротуару течёт нарядная, беспечная толпа. Вот рядом продефилировали стройные женские ножки, всунутые в ковбойские сапоги. Следующие ножки цокают на шпильках, за ними раздаётся лягушачье шлёпанье вьетнамков. Искусством никто сегодня не интересуется. Все норовят найти передышку от страшной жары в кондиционированной прохладе магазинов.

Столик мой расположен напротив и чуть правее входа в магазин модной женской одежды, и невольно я становлюсь свидетельницей скучной жизни продавщиц, которые беззвучно плавают за стеклянной стеной, как экзотические рыбки в аквариуме. Рыбки по очереди выплывают из сумрачного стекляннно-металлического царства и курят возле входа, лениво рассматривая толпу. Я рассматриваю их, одетых в причудливые платья с шёлковыми и атласными вставками, рюшками и вышивками — такие платья очень модны в этом сезоне и стоят кучу денег. Несмотря на романтическую одежду, девушки эти — настоящие акулы бизнеса — твёрдыми холодными глазами они зондируют прохожих. В их тщательно продуманных

нарядах нет ничего от индивидуальности — это скорее торговая вывеска. Все три продавщицы — настоящие стервы, об этом предупредили коллеги художники, чтобы невзначай угол моего стола или стул не пересекли нарисованную мелом на асфальте линию, означающую частную территорию владелицы магазина. Вызовут полицию без предупреждения. Каждая из них, выходя покурить, не забывает взглядом проследить, не нарушается ли целостность границ. Периодически мы встречаемся глазами, но ни они, ни я не утруждаем себя такими глупостями, как традиционная вежливая улыбка или пожелание доброго утра. Владельцу магазина восточных ковров художники не мешают, он только попросил меня пересечь на противоположную сторону улицы, когда я, спасаясь от солнца, нашла крохотный оазис тени под крышей его магазина.

В одну из стен аквариума вделан огромный монитор и прямо на меня идут по подиуму нескончаемым потоком красавицы. Идут синхронно, монотонно и монолитно, чеканя шаг, как армия роботов, с застывшими выражениями на лицах-масках, однообразно взмахивая плетями рук и переплетая рахитичные ноги.

Мне становится страшно, и снова перевожу взгляд на крышу.

Ну, где же ты там? Помоги! Ты же всё можешь! Ну, Ангел, миленький! Я же не прошу многого... Сделай так, чтобы прямо сейчас кто-нибудь подошёл и купил холст, или два... Ну, хотя бы пару рисунков...

Ангел с сожалением отставляет в сторону пустой бокал, вытирает губы ладонью и укладывается на спину, на аккуратно сложенные крылья, и вперивает взгляд в голубую пустоту.

Я думаю: Какой он, Ангел? Похож ли на сладкого рождественского младенца или побитого жизнью мужика в валенках из песен Гарика Сукачёва?

Из-за нестерпимо яркого ореола вокруг него и расстояния я не могу рассмотреть его досконально. Так, то крыло свесит неосторожно, то мелькнёт крепкая розовая пятка. Старый он, или молодой, я не знаю. Не знаю также, во что он одет, и одет ли... В греческой ли он лёгкой тунике, в грубом ли домотканом хитоне, а может, он в джинсовых шортах и в белой майке, с пошлым красным сердцем и надписью на груди — Я люблю Нью-Йорк?

Ну что ты там делаешь, бессовестный? Насмеяешься над моими жалкими потугами, вначале создать, потом продать собственное творение?

Ну, я же художник! И пишу потому, что не могу не писать, и у каждого художника наступает момент, когда ему становится просто необходимо кому-то показать свои вещи... Продать тоже, конечно, хочется... Платить за квартиру нечем, телефон грозят отключить... Ангел, ответь, мало разве я ухаживала за чужими детьми и старухами, мало вымыла чужих домов... Ведь не отступила, не растеряла себя... Невзирая ни на что, пишу и рисую... А идти опять мыть полы или бегать с подносами больше нет сил. Лучше умереть... Так когда же будет награда, хоть маленькая, для радости и поддержки...

Ангел тяжело вздохнул, повернулся набок и смачно, с чувством сплюнул вниз...

Ступеньки

Вот уже пятый месяц каждое субботнее утро, как, кстати, и воскресное, начинается одинаково. Подъём в семь утра, быстрый душ, каша из паке-тика, чашка кофе... Маленькая сумочка из ткани вешается через голову. В ней — карточка для прохода в метро, несколько долларов, маленькое зер-кальце и губная помада. Не забыть положить в неё мобильный телефон. Беру из холодильника пакет с едой и — вперёд. В коридоре стоит упакованная с вечера пятницы ручная тележка. На подножке её укреплен пластмассовый ящик из-под пива. В нём — красивая, купленная в магазине сиреневая в цветочек коробка. В коробке уложены рисунки в пластиковых пакетах и сумочка с необходимыми вещами. Это — прищепки, ножницы, тубик клея, моток верёвки, скатерть из тонкой клеёнки и пакет с прозрачным полиэтиленом, на случай дождя, чтобы успеть накрыть работы... За ящиком привязан к длинным ручкам тележки складной стол, в котором уложены пакеты с рисунками. За столом в холщовой сумке — несколько картин маслом.

На ящике стоит рюкзак, в котором еда, альбом для рисования, кейсик с цветными ручками, тетрадь для записей и книга — проведу на улице весь день, и этим предметам предстоит скрасить мой досуг...

В небольшое пространство между стенкой коробки и ящика вставлен складной стул и термос с чаем или бутылка с замороженной водой, в зависимости от времени года... Вся эта конструкция неоднократно перевязана и перемотана сверху вниз и справа налево специальными толстыми резинками с крючками на концах. Крючками резинка закрепляется — на ручке тележки, на решётке дна, при необходимости можно соединить вместе две или три резинки...

С грохотом выкатываемся в коридор — муж провожает меня до метро.

Наша квартира находится рядом с квартирой, в которой живёт многочисленная семья супера — так в Америке называют человека, ответственного за порядок в доме, дворника-сантехника-домоуправления в одном лице. Почему-то в этом месте вниз, в холл ведут четыре ступени. В семье супера прибавление — год назад его сын женился, и молодые быстренько обзавелись дочкой. Как Олег не старается спустить вниз конструкцию потише — грохот стоит на весь подъезд. В утренние часы, когда весь дом спит, каждый звук усиливается эхом. Девочка просыпается и плачет.

Вначале из квартиры на шум выскакивала раздражённая мама или бабушка, посмотреть, что происходит. Мы мило улыбались и здоровались. Сказать нам вроде бы и нечего — не специально же шумим, и бдительные суперши, проклиная нас, очевидно, на все лады, больше не показываются.

Улица практически пуста. Все спят. Может только встретиться пожилая китайская пара, спешащая в парк, делать упражнения.

По широкой Бей Парквей ветер гонит мусор — пустые полиэтиленовые пакеты, окурки, стаканчики... Возле столбов и у углов дома, в траве или на тротуарах лежат маленькие бутылки из-под водки или виски. Магазины закрыты жалюзи — ещё очень рано. Только из круглосуточно открытых арабских минисупермаркетов омерзительно воняет пережаренным беконом.

В метро Олег платит за мой проезд — проводит карточкой в аппарате и провертывает вертушку, я же прохожу в решётчатую железную дверь, которую открывает для меня нажатием кнопки дежурная, сидящая в будочке... Она бдительно следит, что бы мы её не обманули — то есть чтобы Олег не прошёл бесплатно. Она наблюдает, как Олег протягивает мне через прутья решётки карточку, как мы обмениваемся ритуальным — Ни пуха ни пера, — К чёрту, — и вновь роняет лицо в сложенные ладони...

Я осторожно спускаюсь по всем двадцати ступеням, ощущая рёбрами каждый толчок... Спускаю одно колесо тележки, разворачивая её боком, потом второе... Грохот всё равно стоит невообразимый — бум, бум, бум...

Стоящие внизу на платформе люди поднимают головы и наблюдают за спуском. Мне приходится сильно наклоняться, кровь ударяет в голову, и внизу я уже красная и вспотевшая. Не обращая ни на кого внимания, привожу себя в порядок. В вагоне все меня рассматривают — изучают содержимое тележки, понимают, что я художница, и тогда отводят глаза (на таких тележках возят своё добро бездомные. Надеюсь, что на бездомную не похожа).

В город, как тут называют Манхеттен, в этот час и день недели едут в основном китайцы и латиноамериканцы. Китайцы все выйдут на Канал стрит. Там, в Чайна-Таун, сосредоточена вся их деловая, торговая и культурная жизнь. Латиносы потихоньку рассеиваются — в основном они работают в дайнерах, рано открывающихся ресторанчиках — грузчиками, мойщиками посуды, бас-боями и поварами... В вагоне можно встретить русских женщин — это скорее всего хомматенды, и едут они к своим пациентам на работу... Многие китайцы едят из пластиковых коробочек, мексиканцы в основном спят, русские женщины уткнуты в книжечки в ярких обложках... Иногда встречается парочка молодых людей — те явно студенты, спешат на утренние субботние занятия... Однажды в вагон зашёл китаец, точно с такой же тележкой, как и у меня, в которой были аккуратно уложены коробки и рулоны холстов. Мы ревностно изучали обмундирование друг друга в надежде подсмотреть полезную для себя деталь. Китаец вышел на Пасифик и пересел в другой поезд, который делает все остановки. Всё ясно, ему нужно в Баттери-парк, там, я слышала,

возле причала, от которого отправляются катера к Статуе Свободы, тоже стоят художники.

Я же выхожу на Принс стрит. Заранее встаю, покачиваясь, протаскиваю своё добро к дверям, извиваясь и стараясь не зацепить чьи-нибудь ноги. Обычно на Принс стрит никто не выходит.

Здесь начинается моё долгое и трудное восхождение наверх. Самое трудное — затащить тележку на первую ступеньку, дальше будет легче. Набираю воздуха, упираюсь двумя ногами в пол и резко, рывком, вздёргиваю сооружение на ступеньку... Бумц-бумц-бумц...

Если неправильно повернулась или вздохнула, то потом будет болеть спина. Где-то высоко вверху маячит и дразнит прямоугольник голубого неба, и мне до него непременно нужно добраться.

Кажется, я уже знаю лицо каждой из ступеней — у этой выщерблен край, эта стёрта больше других, эта слегка скособочена... Наконец, последняя... Чувствую себя чёртом, вылезавшим из преисподней.

Провела в метро меньше часа, но уже устала — от тряски, мелькания огней за окнами, от вида изысканных серых платформ.

Всё, я наверху, на улице, на пересечении Бродвея и Принс стрит. И хотя знаю, куда нужно идти, пару минут стою, приходя в себя. Тело, душу, и что там ещё затапливает восторг. Я не чувствую себя маленькой и потерянной в заводи высоченных домов, крыши которых теряются в утреннем тумане... Меня не раздражают кучи мусора под ногами, как они раздражают в Бруклине... Земля кажется выгнутой и небо лежит прямо на мостовой...

Тут я начинаю улыбаться, как идиотка, и здороваться с немногочисленными прохожими... Если этого не делаю, то здороваются со мной. Все. Как в деревне. Одной рукой тащу тележку за собой, пересекаю Бродвей и углубляюсь в Сохо. Иду по Принс до Вест Бродвей, там моё рабочее место. Принс стрит уже вся уставлена столиками, на которых позже выложат товар — бижутерию, сумочки, шарфы, куколки и всякую прочую хорошенькую дребедень. Кто-то из торговцев спит в машине, кто-то разгружает ящики с товаром, кто-то сидит на ступеньках домов и завтракает — кофе и бутербродами. Проезжая, раздаю улыбки и приветствия направо и налево. Некоторые столики привязаны, на пример велосипедов, цепями к столбам. Замечаю складной стол, спрятанный за почтовым ящиком. Иногда между торговцами происходит перебранка — за место...

Ещё нету девяти утра...

Старуха

Вначале был Голос — резкий, визгливый. Голос перекрывал шум оживлённой улицы. Здесь, на Вест Бродвее, довольно таки шумно — толпы прохожих, оживлённое движение... Но гул города ровен и привычен, он похож на морские волны, ритмичные и успокаивающие. Правда, иногда поднимается особо высокая волна — когда продирается сквозь вечный затор машина скорой помощи или с рокотом и визгом проезжают мотоциклисты. Голос походил на сирену скорой помощи, он возвышался над всеми остальными

звуками, резал ухо и нарушал гармонию весёлой суматохи и активного отдыха улицы...

Две женщины, рассматривающие мои рисунки, вздрогнули, положили их обратно на столик, и, как по команде, повернули головы в ту сторону, откуда доносился Голос. Там определённо что-то происходило — на пересечении Вест Бродвея и Принс стрит организовалась какая-то воронка, которая втягивала в себя всё больше и больше участников, зрителей и зевак. Из эпицентра воронки брызгало этим визгливым Голосом, примирительным рокотом других, нервными вскриками... Вскоре все прохожие оставили свои занятия — оторвались от созерцания витрин и выставленных на улице картин, даже вышли из магазинов, вместе с продавцами, и образовали концентрические круги, опасно держась на расстоянии от эпицентра. Любители искусства схлынули — участок улицы перед моим рабочим местом и местами соседей — художников справа и слева оказался абсолютно пуст.

Тайфун приближался. Природа его была ещё непонятна. Ясно было одно — как когда-то написал Михаил Булгаков, назревал гнусный, свинский, соблазнительный скандал.

Я попросила соседа присмотреть за моими вещами и пошла туда, к эпицентру скандала. Пришлось пройти, как сквозь полицейские кордоны, через несколько кругов зрителей. Источником нестерпимого визгливого звука оказалась сухая жилистая старуха.

(Позабуду на время о уважении к старшим и не буду лукавить, называя возмутительницу покоя пожилой женщиной.) Несмотря на то, что она была одета просто — в фиолетовую маечку с коротким рукавом и серые коротковатые брючки, чувствовала, что она богата. Лет ей явно не менее семидесяти, если не больше, — отвисшая шея, седые волосы... Лицо хранит следы былой красоты — избитая фраза, но я сразу почувствовала, что она была красавицей, причём властной и богатой... Обладающей властью... Белая-белая кожа ещё натянута на высоких скулах, длинные пальцы украшены аккуратным маникюром...

Старуха была разъярена. Когда-то стройная, сейчас она была согнута и опиралась на гладко отполированную трость с металлическим наконечником. Так вот, вопя во всё горло, старуха палкой сшибала со стендов художников, много лет продающих на этой улице свои работы, картины... Смахивала со столов разложенные на них холсты и рисунки... Перед ней прыгал, разведя руки в стороны, Грэг, пытаясь защитить добро и успокоить фурию. За его спиной маячило растерянное лицо Джоса...

Джос, худой, в очках китаец, напоминающий советского физика-лирика-шестидесятника, на своих картинах изображает влюблённые парочки, с по-лебединому выгнутыми длинными шеями. Парочки держат в руках такие же искривлённые длинные бокалы с вином...

Мы с подругой дали китайцу кличку — Пьяные Рюмки...

Пьяные Рюмки был бледен и растерян, он криво улыбался и суетился, закрывая костлявой спиной с пузырящейся над ней голубой рубашкой свои холсты...

Наконец мои уши настроились на частоту старушечьих воплей, и я стала различать слова.

— Китаец! — кричала она. — Китаец! Пошёл вон из Нью-Йорка! Что ты делаешь в этом городе! Этот город не для тебя! Развели тут бардак! Устроили Канал Стрит на Бродвее! Нью-Йорк для нью-йоркцев! Пошёл вон в свой Китай!

Грэг — его место обитания возле грузовика, на котором сидят металлические рабочие (Грэг продаёт уменьшенные копии фигур и взимает небольшую плату за возможность сфотографировать эту примечательную скульптурную композицию. В этом смысле ему повезло больше Остапа, не долго продававшего вид на малахитовую лужу) — ласково уговаривал хулиганку и, не причиняя той вреда, оттеснял её от столов, не позволяя производить разрушения.

Старуха оставила в покое китайца и двинулась к следующему дисплею. Толпа кольхнула следом и оживлённо внимала перипетиям. Сейчас эпицентром внимания стал испаноязычный художник. Бормотания Грэга я почти не слышала. Грэга мы называем Боссом — за его готовность прийти на помощь, за его бесстрашие и знание правил и пунктов конституции, которые не раз позволяли ему выходить победителем в схватке с владельцами магазинов и галерей, нападающих периодически на уличных художников... Происходило бы дело в России — двинули бы бабке пару раз и все дела. Здесь — попробуй тронь, не оберёшься неприятностей — затаскают по судам, заставят платить компенсацию... Вот никто не хочет связываться — а как успокоить бабку и защитить картины, тоже никто не знает и не может...

Следующей была я... Сжав кулаки, я приготовилась защищать свой столик и право стоять здесь, на улице... Но в тот раз битвы не произошло. Мы столкнёмся, и не раз, но позже... И старуха выйдет победительницей, но частично — я перейду в другое место... Тогда же, уперев край клюки в мой стол, она грозно спросила: — Ты американка?

— Ийесс, — процедила я, и она почему-то сразу потеряла ко мне интерес и через минуту вопли возобновились с новой силой — старуха лупила палкой портреты чёрных баскетболистов. Чёрный, милый и стеснительный Росс, мой сосед и собеседник, толкнул её в грудь. Старуха стала истоптанно молотить палкой, пытаясь ударить парня. Грэг её еле удерживал. В толпе стали кричать: — Полицию! Полицию!

Послышалась сирена скорой помощи. Я стала собираться домой — улица походила на взбудораженный муравейник — все собрались здесь, оставались машины, и из них глазели водители, из ресторана напротив тоже подошли любопытные... Понятно было, что сегодня уже ничего не купят... Когда я полностью упаковалась, крики, наконец, стихли. Злой, как чёрт, Росс разговаривал с полицейскими. Свидетели давали показания. Старуху держали за руку два медика — машина скорой помощи стояла рядом. Они ласково уговаривали её поехать с ними, мол, они ей помогут успокоиться... Старуха выглядела милой, интеллигентной, несправедливо обиженной женщиной... Она всхлипывала и повторяла: — Я не могу этого переносить, не могу...

Тогда её увезли в больницу, а Россу выписали штраф за то, что он толкнул старую женщину — он не имеет права её трогать, а должен был вызвать полицию...

Впоследствии я убедилась, что вредная старуха испытывала своего рода симпатию к Грэгу, и только он мог вступить с ней в диалог... Остальных она не слышала, не слушала и не щадила... Её задача — вносить дискомфорт, мешать бизнесу, прогнать художников с улицы... её называют сумасшедшей, но я бы этого не сказала... Она прекрасно знает, чего хочет, контролирует свои действия, знает о безнаказанности... Мне кто-то рассказал, что у старухи — влиятельный сын, приближённый к мэру города. Десять лет назад он возглавлял комитет по борьбе с уличными художниками, а мать была его первой помощницей... Вот и сейчас, как может, она выполняет свою миссию...

Всю зиму меня преследовал образ воинственной старухи, успевшей за прошлое лето укусьить за палец художницу-полячку. Та плакала, боясь СПИДА, показывала залитый флаконом духов кровотокающий палец полицейским, которые сочувствовали и советовали обратиться в госпиталь... Старуха к тому времени успела ушмыгнуть, раствориться в толпе... Художники собирались написать коллективное письмо и отнести его в полицейский участок, с просьбой принять меры к хулиганке. Наступили холода. Лишь самые стойкие служители искусств, владельцы вендов, остались на улицах внедрять искусства в массы... За зиму воинственная миссионерка постарела, ослабла... Первый же её выход в апреле на тропу войны закончился водворением в обезьянник в полицейском участке на три часа, и этого оказалось достаточным, чтобы сломить воинствующий дух... Говорят, что она совсем ослепла и город приставил к ней хомматенду и говорят, их видели в Вашингтон Сквере...

Скрюченная жалкая старушка сидела на лавке, с опаской прислушиваясь к телефонной болтовне своей смотрительницы — грудастой гороподобной чернокожей женщины...

Розовый зонтик

Очередной рабочий день, то есть суббота. В этом месяце приходится тяжело — чинят мою ветку метро, и никогда не знаю, с какими трудностями приходится добираться в Сохо. Пересадки грозят лишним физическим напряжением — приходится таскать тележку со своими «художествами» вниз и вверх по лестницам. Сегодня вышла на Канал стрит, то есть на одну остановку раньше. Канал стрит не люблю — это самая шумная и многолюдная улица Нью-Йорка, сердце Чайна Тауна, то есть Китай-города. Обычно стараюсь как можно быстрее проскочить её заводи и течения, не соблазняясь ни криками зазывал, ни яркой мишурой навязчиво лезущего в глаза товара. На Канал стрит приходится ездить — здесь расположен самый большой магазин художественных принадлежностей — Пёрл Пэйнт, пятиэтажное красное здание с белыми окнами, в котором я однажды оставила свою первую зарплату — все двести долларов...

Выход из подземелья на Канал стрит гораздо более мучителен, чем на Принс, здесь на пятнадцать ступенек больше... Когда моя согбенная спина и потная макушка просматриваются с поверхности, то на помощь устремляется какой-то сердобольный африканец, оставив на тротуаре свою тележку, гружёную ящиками с неиндентифицированным товаром. Под весёлое улюлюканье мексиканцев и арабов, которые открывают лавочки, устанавливают фургончики для продажи люля-кебаба и хот-догов, вытаскиваем моё добро. Благодаря, улыбаюсь и грохочу дальше... Чтобы дойти до своего рабочего места, нужно пересечь всё Сохо. Углубляюсь в ущелье всегда сумрачной Мерсер стрит, с разломанной, уложенной камнем мостовой... Мой путь сопровождается буханьем и стуком колёс о многочисленные выбоины...

Здесь я, как ворона, начинаю крутить голову во все стороны. Специально перехожу на левую сторону улицы, чтобы заглянуть в ещё закрытые решётками окна галереи Грант... Там выставляют русских художников, но меня туда не берут... Не подхожу... Ревниво исследую вывешенные в окно картины... Ничего особенного...

Как коршун выискивает жертву, я орлиным взором осматриваю окрестности, выискивая пищу для глаза. Зачем мне это нужно — не знаю... Я только радуюсь, как ребёнок, нашедший осколок бутылочного стекла — толстый, с обкатанными песком и временем боками, изумрудно зелёного, кирпичного или голубого цвета... Так и я — ищу типажи, которые трудно выдумать... Может быть, все эти странные личности, встреченные на улицах Нью-Йорка, когда-нибудь станут персонажами моих будущих рассказов... А пока я их коллекционирую — в собственной памяти, ключик от которой прячу среди этих торопливых строк... Загадочный мегаполис дразнит, выпуская на сцену жизни, как из волшебного ларчика, свои богатства понемногу...

Так опытный фокусник берегает на потом самый эффектный номер. Живые люди, судьбы которых я пытаюсь угадать, из трёхмерных, реальных, существующих по одним им ведомым законам и выписывающих замысловатые траектории по тротуарам города, благодаря моей фантазии превращаются в плоские вырезанные фигурки, плотно, одна к одной, укладываемые в многочисленные папки моей памяти... Частенько они там и остаются — забытые фантомы, оригиналы которых и не догадываются, что поразили чьё-то воображение и, возможно, дадут жизнь свои двойникам, которые уже будут подчиняться воле автора и обретут жизнь на, возможно, никем не прочитанных страницах... Но случайная вспышка ассоциации либо узнавания даёт мощный всплеск, и из открывшихся шлюзов памяти хлещет лавина образов и колоритных деталей...

Вот и сегодня... Угнездившись на законном месте на Вест Бродвее, (сосед-китаец приезжает сюда в пять утра и, заняв места для себя и меня, обморочно спит в машине), «мечу» территорию, отодвинув его столик и поставив свой, и затем совершаю утренний обязательный обход своих владений. Необходимо проверить — всё ли в порядке, всё ли течёт по негласно установленным правилам и законам. И ещё тешит надежда — вдруг

появилось что-нибудь новенькое или кто-нибудь колоритный порадует мой жадный до впечатлений глаз художника?

Ещё по дороге к месту дислокации обнаружила, что чуть подалее галереи Грант появился новый жилец. Бледнокожий, с пышной шапкой оранжево-рыжих волос, раздетый по поясу, он сосредоточенно читал утреннюю газету за стенами своего дома, сооружённого из картонных коробок. Аккуратно на железном пандусе он возвёл картонные стены, и как птица в гнезде, восседал в центре жилища, невозмутимостью и абсолютной отрешённостью от внешних шумов отвоевывая право на «праивеси» и неприкосновенность... Я со страшным грохотом бухала тележкой по плитам мостовой и вспоминала — есть ли у меня мелкие деньги? Хотела дать ему пару долларов на кофе... Но он даже не повернул головы, и был похож на менеджера, заключённого в стеклянный офис и решающего важные проблемы... Я струсилась, не решилась его побеспокоить, но скошенным правым глазом успела «сфотографировать» и ещё чистую белую кожу его спины, и загорелые кисти рук, и аккуратно сложенное одеяло, и стопки книг и газет, и тощий рюкзак, и прислонённые к стене холсты...

Рыжесть бездомного и его угрюмая, отчаянная сосредоточенность вызвали ассоциацию с Ван Гогом, переселившимся в наше время и странствующим по Земле Обетованной... Возможно, скоро мы станем находить на улицах холсты с нарисованными на нём стаями ворон и жёлто-фиолетовыми портретами уличных торговцев?

Оставив коробку с рисунками и пакет с холстами прямо на тротуаре, у разложенного стола, неспешно отправляюсь в Юнион сквер. Пересекаю Хаустон. Столики углового кафе все заняты. Пахнет тостами, яичницей и кофе. У низенькой ограды привязана огромная собака. Возле её морды стоит миска с водой. Зверюга шумно выгивает носом вкусные запахи и стучит по земле хвостом. На боковой Беккер стрит разгружают фургоны и устанавливают полотняные навесы — здесь будет субботняя ярмарка. Не спеша прохожу пару-тройку кварталов по Беккер... Шарю глазами по стойкам с одеждой, сумочками, шарфиками, бижутерией... Ранним посетителям улыбаются и предлагают — записаться в круиз, оформить медицинскую страховку, сделать массаж, попробовать сногшибательный шашлык...

Продираюсь сквозь липкую навязчивость торговцев и ныряю в тихий переулочек. Чудеса! Нет ни одной припаркованной машины, нет мусорных куч... Внезапная тишина и сумрак словно бросили меня на дно колодца. Только где-то сверху чирикают воробьи. С недоверием оглядываюсь... С двух сторон на меня строго и спокойно с красных кирпичных стен смотрят окна в белых наличниках. Вокруг — ни души... Подбираю с тротуара книжку в яркой обложке, с цветными иллюстрациями, 1959 года выпуска. Название книжки — Рыцари. Зажимаю рыцарей подмышкой и, выйдя за угол дома, опять окунаюсь в лавину света, звуков и запахов.

В сквере всё как обычно. Кузнечиками снуют по дорожкам игрушечные зелёные автомобильчики,

управляемые работниками парка. На скамейках лежат туловища, по самую макушку укрытые рваными тряпками. Из-под одного такого импровизированного одеяла выглядывает женская аккуратная ножка, у скамейки стоит пара ещё не стоптанных приличных туфель...

Уборщица туалета, невысокая пухленькая чернокожая девушка, как обычно, сидит у входа на складном стуле. Лицо её выражает смертельную скуку, а глаза подёрнуты мутной, как у мёртвой курицы, плёнкой... Бросив привычное и безответное «Хай», осторожно вхожу в полутёмное помещение с лужами воды на полу...

Следующее по расписанию — проверка собачьей площадки... Минут десять наблюдаю, как за вольером протекает радостная собачья жизнь — игры с мячиком, обнюхивание особей противоположного пола... Две такие особи соединились, пока их хозяева отвлеклись на беседу, и самозабвенно предаются любви... Одна собачка никак не может поймать бросаемый хозяйкой мячик, и раздражённо тявкает — «Растяпа! Не можешь бросить правильно!»

У фонтана раскладывают инструменты музыканты. Ещё нет десяти часов, а уже жарко, обещают сто градусов по Фаренгейту... На бордюре брошены вещи музыкантов — рюкзаки, стоптанные кроссовки... Пару минут, сидя на лавке, обозреваю окрестности, пытаюсь запомнить композицию и как распределяются свет и тень... Иногда подношу к глазу кружок, сложенный из большого и указательного пальца — своеобразная рамка, выхватывающая кусочек пейзажа... Прохожие смотрят с изумлением... Рядом присаживается гей, с подведёнными глазами и розовым ртом. Поднимаюсь и обхожу сквер по кругу.

Где же красавицы? В прошлый выходной я обнаружила, что в дальнем углу парка, где «прописались» шахматисты, живут две дамы. Увидев их впервые, я испугалась. Дамы постбальзаковского возраста, похожие на оживших кокоток с плакатов Тулуз-Лотрека, одетые в длинные платья, закутаные в прозрачные шали, с бантами в волосах двигались по направлению к туалету. Шикарные издали, вблизи они оказались отвратительными, тронутыми тленом и пороком. Роскошные вечерние платья оказались потёртыми велюровыми тряпками, напудренные лица — старыми, коралловые губы открывали провалы чёрных беззубых ртов. Из щедрых декольте их платьев выглядывали грязные лифчики, из-под изящно причёсанных париков выбивались седые пряди...

Сегодня дам не было. В ажурную железную решётку над столом, за которым расположилась компания чёрных парней, был воткнут розовый с оборочками зонтик, на серой выщербленной скамейке лежала крошечная дамская сумочка, поблёскивая защёлкой замка... На выходе из парка оглядываюсь и мне кажется, что вижу я картину импрессионистов — тени под деревьями сгущены до чернильной вязкости, резко освещённые поляны превращены в сценические площадки, на которых застыли в мареве дрожащего воздуха невнятно прописанные фигуры прохожих, фиолетово-серые тротуары усеяны розовыми пятнами света, и, словно в поддержку им, на переднем плане выписан нежный розовый зонтик...

Всё, хватит шляться! Пора на работу! Раскладываю на столе рисунки, к ограде дерева привязываю холсты, усаживаюсь с книгой под пойманый зыбкий клочок тени... Долгий-долгий летний день плывёт мимо и рядом, стоит только протянуть руку, но я застряла в бесплодных размышлениях, пытаюсь представить, как живётся им, безымянным персонажам Нью Йорка — в картонной коробке и на скамейке в углу сквера.

Русалка

Мы с мужем коротали ночь в машине, нужно было продержаться до рассвета ещё часа четыре. Муж спал сидя, откинувшись на спинку водительского кресла, я же устроилась на заднем сидении, положив под голову куртку и накрывшись старым пледом, который мы всегда держим в багажнике.

Я тихо лежала на спине, с совершенно ясной и лёгкой головой, и сквозь окно машины смотрела на чёрное небо, усыпанное яркими, крупными звёздами. Эти звёзды почему-то смуглили мой покой, они напоминали, что существует другой мир, нам непонятный и ещё непознанный. Созвездия наступали одно на другое, даже самая маленькая звёздочка была светила чётко и ясно. Изредка падающая звезда прочерчивала в чёрной бездне мерцающую полосу.

Дыхание Тайны коснулось меня, и я увидела эту историю, увидела зримо, реально и отчётливо.

Мой творческий покой неожиданно нарушил голос мужа. Он вдруг тихо и ясно спросил: «Почему ты не спишь?»

«Слушай, — ответила я, — Я расскажу тебе сказку, которую только что придумала». И я рассказала ему эту историю. Мы немного помолчали, и муж наконец произнёс «Такой грустный конец у твоей сказки, я не хочу, чтобы она так заканчивалась».

«Мне тоже грустно, — возразила я, — но ведь в жизни происходит много печальных историй.» Мы опять помолчали, и муж попросил «Послушай, придумай хороший конец своей сказке».

«Не могу, — отозвалась я после долгой паузы. — потому что тогда это будет неправда.»

Вот она, эта сказка, пришедшая ко мне холодной сентябрьской ночью, когда не спали звёзды.

В четыре часа пополудни супруги Вагнер наконец остановились для отдыха после многочасового пути по дороге в Канаду. Местом отдыха они выбрали небольшой городок, лежащий на пути их следования. Городок был маленький, чистенький и весь какой-то ненастоящий. Проехав с километр по главной улице и свернув на боковую теннистую улочку, они оставили машину под раскидистым деревом и отправились на поиски места, где можно было бы прилично пообедать. Им хотелось размяться после долгого сидения в машине, и потому они не торопились и, взявшись за руки, шли медленно, оглядываясь по сторонам.

Тридцатидвухлетний Майкл Вагнер, работающий в одной крупной фармацевтической компании, был только как полгода женат на Джейн, двадцатипятилетней блондинке с длинными роскошными волосами. Они уже успели свить

уютное гнёздышко в новом доме, в одном из уважаемых городов Нью-Джерси, и всё своё свободное время посвящали путешествиям.

Любой путешественник мог убедиться, что городок с необычным названием Пуласский обладает славным героическим прошлым. Супруги прочли на установленном в скверике куске гранита, что камень этот водружён в честь польского сержанта Пуласского, погибшего здесь в борьбе за независимость Америки в 1786 году. Две главные улицы, Джеферсон и Сальман, пересекали скверик. Густо засажённые деревьями, они улеглись вдаль и скрывались где-то далеко в тенистых недрах городка. Супругам казалось, что здания здесь какие-то игрушечные и что они могут разлететься от малейшего дуновения ветерка. Всё это были двухэтажные домики, наспех сколоченные из досок, двory которых заросли давно нестриженной травой. Над густыми зарослями кустов и чертополоха возвышались остатки колонн, обвитые плющом, а к многочисленным обрывкам сбегали ступеньки полуразрушенных, когда-то добротных строений.

Бросалась в глаза ещё одна деталь — явное идиолопоклонничество горожан. Предметом своего культа они выбрали рыбу салман, и каждый второй бар, магазин или мотель были украшены изображением этой рыбы в натуральную величину. И даже флюгера над крышами домов в точности повторяли рыбы силуэты.

Супруги, проводившие свою жизнь среди добротных особняков Нью-Джерси, почувствовали себя так, как будто они находятся на сцене среди декораций. Казалось, что скоро начнётся какой-то спектакль, в котором им тоже отведена неведомая им пока роль. Это ощущение усиливалось ещё тем, что всё население городка сосредоточенно устремлялось в одном направлении. Супруги Вагнер с удивлением смотрели, как их догоняют и перегоняют бородатые мужчины с длинными волосами, одетые как один в клетчатые фланелевые рубашки навыпуск, рваные джинсы и высокие ботинки. Изредка в толпе попадались мальчишки и, что самое удивительное, на улицах не было ни одной женщины и ни одной девочки. Джейн ещё пошутила «Совсем как в старину, мужчины спешат на охоту, а женщины дома, у очагов.»

Пообедать они решили в ресторанчике под названием «Голубой Салман». Низкое одноэтажное здание было украшено витиеватой вывеской с изображением рыбы, другая вывеска извещала, что ресторан этот находится именно в городе Пуласский. Еда оказалась отличной, но среди посетителей по-прежнему не было ни одной женщины. Всё те же высокие хмурые мужчины, с красными обветренными лицами и грубыми руками. Они ели много, немногословно переговариваясь между собой и поглядывая на явно нездешнюю парочку выцветшими угрюмыми глазами. Из обрывков разговоров супруги узнали, что сегодня состоится открытие сезона салмана.

Майкл и Джейн решили присоединиться к этому местному празднику. Пообедав, они вышли на улицу и остановились у магазина охотничьих

принадлежностей, рассматривая распятую в окне шкуру ягуара. В глубине магазина рослый мужчина в меховой жилетке, надетой прямо на голое тело, и в кожаных штанах, ловко плёл рыболовную сеть. Зрелище было настолько необычным, что молодожёны долго не могли оторваться от витрины.

Наконец, насытившись зрелищем, они присоединились к спешащим мимо людям и спустились с покатога берега обрыва к воде. Неширокая река, сжатая с двух сторон каменистыми берегами, быстро несла свои тёмные воды. В воде, в резиновых сапогах, по обе стороны реки стояли мужчины с удочками в руках. Они выстроились в две шеренги, с дистанцией чуть больше метра друг от друга. А на высоком каменистом берегу собралось почти всё население городка. Парни с волосами, завязанными в хвостик, мальчишки на велосипедах, старики. Колоритные фигуры приехавших явно выделялись на фоне местных жителей. Обычная рыбная ловля была превращена в красочное шоу.

Когда кому-либо из рыбаков улыбалась fortuna, к нему обращались взоры сотен людей. Зрители, шумно выражая эмоции, напряжённо следили за поединком человека с огромной рыбой. Попавшая на крючок рыба высоко подпрыгнула над водой, тяжёлым бревном плюхалась обратно, поднимая целый фонтан брызг, металась и затягивала противника в глубину. Человек пытался подвести свою добычу ближе к берегу, а ему навстречу уже спешил напарник с сачком в руках. Зайдя в воду по пояс, напарник аккуратно подводил сачок под бьющуюся на крючке рыбу, затем резким движением поднимал вверх сачок с добычей. Зеваки на мосту разражались аплодисментами, а победитель гордо тащил свой улов на берег. Огромной рыбе с широкой тупой головой продевали через жабры толстый шнур и прямо по земле волочили её домой. Рыба, задыхаясь, широко открывала рот и хвост её вздрагивал и бился в смертельной муке.

Заворожённые этим зрелищем, Майкл и Джейн, обнявшись, долго стояли на берегу, забыв обо всём на свете. Внезапный мелодичный звон вывел их из оцепенения. Вздрогнув, они оторвали взгляд от реки. На высоком противоположном берегу, в небольшом парке, стояла изящная белая церквушка, откуда и доносился колокольный звон. Уходящее солнце позолотило верхушку церкви, бросило горсть золотых бликов на тёмные волны воды. Тени от людей и предметов загустели, и зазвенели голоса в свежем вечернем воздухе.

На город опускался занавес ночи, и это означало конец спектакля.

От реки потянуло сыростью, и только тогда супруги заметили, что зрителей

на мосту заметно поубавилось, равно как и рыбаков. «Пора уходить, — спохватилась Джейн, — Ведь нам ещё нужно позаботиться о ночлеге».

«Подожди ещё одну минуточку, — попросил Майкл, — Смотри, какая крупная рыба попалась, никак не могут вытащить!»

Они стали наблюдать, как двое мужчин — высокий седой старик с красной косынкой на голове и другой, низкорослый, плотный, с карими глазами

и с серьгой в ухе, извлекали из воды что-то тяжёлое. Наконец резким движением они выдернули сачок из-под воды, и возгласы удивления заглушили колокольный звон. И в ту же минуту колокол на церкви поперхнулся, бросил прощальное «дин-дон» и умолк.

В рыболовной сети, держась обеими руками за алюминиевый ободок, сидела испуганная девушка с длинными зелёного цвета волосами и пыталась вырваться из своей неволи. Её мокрый чешуйчатый хвост запутался в сети, а огромные тёмные глаза светились гневом, яростью и страхом.

«Русалка, русалка!» — закричали одновременно десятки голосов, и уже через мгновение рыбаков и их необычную добычу обступила толпа. Майкл и Джейн пробрались через плотное кольцо зевак, чтобы увидеть русалку. Та уже лежала на боку, опираясь о землю одной тонкой ручкой, а другую прикрывая свою незрелую грудь. Русалка была хрупкой, не больше пятнадцатилетнего подростка. Бедняжка не издавала ни звука, только сверкала тёмными искрами глаз и хищно скалила острые зубки.

Она выглядела такой несчастной, беззащитной и обнажённой на этих острых камнях, среди простых и грубых людей. Сердце Джейн пронзила острая жалость. «Отпустите её! Отпустите! — умоляла Джейн мужчин, — Она ведь погибнет!»

Но те переговаривались между собой, не обращая на Джейн никакого внимания. «Так вот кто перекусывал нашу леску! — возмущались парни. А низкорослый, с золотой серьгой в ухе, ворчал «Леску ладно, а вспомните, как странно летом утонул Эрик, уж не с её ли помощью?»

Поднялся шум, свист, улюлюканье. Мужчины решали судьбу русалки, которая, казалось, всё понимала и, утратив надежду спастись, не двигалась с места, лишь по телу её пробежала крупная дрожь.

Сцена на берегу выглядела нереально. Казалось, что либо идут приготовления к карнавалу, либо снимается сцена для кино. Но это не было ни кино, ни карнавал. Это была правда. И странность появления мифического существа наяву раздражала людей. Они не допускали существования ничего непонятного. Они боялись непонятного! Да, да, они боялись этой бедной дрожащей девочки с рыбьим хвостом.

Уже раздавались крики «Убить, убить эту тварь!» Уже кто-то поднял камень с земли. Джейн, готовая расплакаться, шепнула мужу «Ну сделай что-нибудь! Спаси её! Ведь ты же умный!»

Майкл вышел в центр круга и заговорил, обращаясь к главному, которым был, несомненно, старик в красной косынке. Он горячо объяснял, что они обнаружили новый биологический вид, что это научное открытие, и об этом непременно нужно известить учёных.

Занесённая с камнем рука опустилась. Джейн встретилась взглядом с русалкой, и та еле заметно, благодарно ей улыбнулась.

Майкл говорил долго, горячо и убедительно. Под натиском его доводов на лицах рыбаков проступило сомнение. Наконец, главный резко вскинул вверх правую руку. Воцарилась тишина, и главный произнёс «Хорошо, мы не будем её

убивать, но и в реку не отпустим тоже. Я позвоню завтра утром куда следует и пусть её забирают учёные».

Майкл взял жену за руку и вытащил её из толпы. «Пойдём, глупая, не плачь, — сказал Майкл, — Ведь она же не человек». «Ну и что, — возразила Джейн, — Но ведь она же и не совсем рыба. Ей больно, ей стыдно, ей страшно».

Муж ответил «Пойдём, милая, устраиваться на ночлег. А русалка твоя будет жить в аквауриме, среди рыб и водорослей. Её будут кормить, это не так уж и плохо, поверь мне.»

Они устроились на ночлег в мотеле под названием «Золотой Салман», приняли душ. Майкл, утомлённый дорогой, быстро заснул. Джейн же заснуть никак не могла, она долго ворочалась в постели, вспоминая отчаянные русалочьи глаза.

Она встала, и натянув в темноте джинсы и майку, осторожно выскользнула за дверь, захватив с собой сигареты. Закурив, она пресела на лавочку у двери и стала смотреть в небо. Такого неба она не видела уже много лет. Оно было необыкновенно глубоким, абсолютно чёрным и усыпанным огромными яркими звёздами. Звёзды висели так низко, что казалось, они вот-вот упадут на Землю. Созвездие Большой Медведицы задевало крайнюю звёздочкой на ручке ковша за макушку ближайшего куста.

Джейн застыла, растворяясь в ночи, чувствуя себя её неотъемлемой частью. Из оцепенения её вывел внезапно раздавшийся стон. Стон доносился из-за того куста, на который собиралась упасть Большая Медведица. Джейн прислушалась, и стон повторился, но уже громче и отчётливее. Вскочив со скамейки, она подошла к краю лужайки и осторожно раздвинула руками куст.

На небольшой полянке перед соседним домом, под деревом на траве сидела та, которая смутила покой всех жителей Пулаский. Хвоста не было видно на тёмной и влажной от росы траве. Русалка стонала, закрыв личико руками и раскачиваясь из стороны в сторону. В два прыжка Джейн очутилась у дерева и уже через секунду гладила русалку по пахнущим тинной волосам. Русалка уткнулась головой в её плечо и застонала ещё протяжней и жалобней.

Джейн руками нащупала железный ошейник на её шее и цепь, тянущуюся далеко по направлению к дому. Она шепнула «Подожди, я сейчас», сбегала в комнату и вернулась с острыми кусачками и с простыней, которую сдёрнула со своей кровати. Одним махом перекусив цепь, она затащила ослабшую пленницу на простыню. Собрав в узел верхний край простыни, Джейн поволокла свой груз, как на салазках. Она спотыкалась в темноте, по лицу её хлестали ветви деревьев, а русалка помогала ей, отталкиваясь от земли руками и тихо вскрикивая от боли, когда хвост её попадал на острый камень.

Наконец они пересекли таким образом пустынную в этот час дорогу и спустились к реке. Джейн подняла русалку на руки и, стигаясь от тяжести, вошла в воду по колено. Она опустила свою ношу и шепнула «Ты свободна, плыви!» Безжизненное поначалу тело вдруг оживило, послышался всплеск, русалка неожиданно сильно обвила руками тело

своей спасительницы, и Джейн ощутила на щеке глущий поцелуй.

Задрожали на чёрной поверхности воды отражения звёзд, полная луна вдруг ушла куда-то за тучу, и Джейн очутилась в полной темноте. Несколько минут она ещё слышала затихающие вдали всплески и наконец, её поглотила абсолютная тишина. Джейн повернулась и, угадывая дорогу, зашпешила назад, в тёмную комнату мотеля. Идти почему-то было очень тяжело, мокрые ноги сводило от холода, болели натруженные руки.

Внезапно сердце её подскочило прямо к горлу, стало трудно дышать. Что-то происходило с ней, и это что-то было ужасным. Она ощутила страшную боль в ногах, мышцы её ног сжимались и двигались. Нестерпимая боль обожгла пятки, и она упала на колени. Корчась от боли, Джейн всё-таки попыталась встать на ноги и не смогла. Ткань её джинсов лопнула по швам, и, проведя рукой по бедру, она ощутила под ладонью влажную чешуйчатую кожу.

Майкл проснулся с первыми солнечными лучами. Жены в комнате не было. Постель её находилась в полном беспорядке. Подушка лежала на полу, а с кровати исчезла простыня. Быстро одевшись, встревоженный Майкл вышел на улицу. Мимо него пробегали взволнованные люди. Раздавались крики: «Русалка, русалка хотела убежать!»

Он нашёл жену на берегу реки. Она лежала на камнях, испуганная и измученная, в окружении толпы. На ней была белая маечка, разорванные джинсы валялись рядом, а вместо её длинных и стройных ног он с ужасом увидел рыбий хвост. Джейн ничего не могла сказать, она только стонала, протягивая к мужу тонкие руки. Он бросился к ней, но его оттеснили и сбили с ног. Мужчины набросили на его Джейн сеть и понесли её к уже приехавшей за ней машиной. Он бежал следом за машиной и услышал, как кто-то за его спиной сказал «Сумасшедший».

В аквариуме Нью-Йорка появился новый любопытный экспонат — русалка. Её поселили в огромном, на всю стену, аквариуме вместе с серебряными рыбками.

Русалка пряталась от внимания назойливых посетителей в специально сооружённом для неё гроте. Несчастная пленница покидала своё убежище только при появлении молодого мужчины с голубыми глазами и со светлой бородкой. Мужчина часами стоял, прижавшись к стеклянной стене и плакал, и гладил рукой через стекло её лицо. После его ухода русалка долго в безумии металась по своей тюрьме, поднимая хвостом целую бурю. Потом успокаивалась, затихала и надолго исчезала в гроте.

Служащие уже знали своего постоянного посетителя, знали, что его зовут Майкл и что от него сбежала жена. Он рехнулся с горя и утверждает, что эта русалка и есть его жена.

Майкл приходил каждое воскресенье в течение многих месяцев, потом надолго исчез. Русалка покинула своё убежище и целыми днями просиживала неподвижно на одном месте, выиски-

вая среди лиц посетителей дорогое для неё лицо. Потом Майкл появился и снова надолго пропал. Потом он пришёл в последний раз и больше никогда не приходил. Русалка всё ждала его, долго, долго. Все боялись, что она погибнет от тоски. Но что-то в ней сломалось, и она перестала ждать.

Она стала резвиться, кувыркаться в прозрачной воде, плавать наперегонки с серебряными рыбками и стала походить более на рыбу, чем на человека, если только рыба может выглядеть счастливой.

Иллюзия любви

Она даже его сразу и не рассмотрела, как следует. Он появился, казалось, из ниоткуда, соткался — сначала голосом, прямо из вкусного, пряного воздуха... Плоть его оставалась на протяжении всего пути невидимой, зыбкой.. Она колыхалась неустойчивой расплывчатой тенью, окрашивая солнечные плиты мостовой в холодный ультрамарин.

Незнакомец держался на почтительном расстоянии, сзади, и лишь путающаяся перед ногами тень позволяла судить, что он гораздо выше её, Ольги, что ей сразу же импонировало — Ольга была высокой...

Она наподдала — и две их тени, сплетаясь одна с другой, текли впереди, словно извилистый ручеек. Короткое платье пузырилось вокруг ног, горячий воздух жарко лизал обнажённую кожу, играл путанными прядями волос...

Стремительно по бокам валились набок проходные арки, фонари, ларьки — Ольга любила ходить быстро, но голос не отставал...

Голос не хамил, не заискивал, не был назойливым или излишне фривольным... Он так хитро вплёлся в бешеный ритм ходьбы, в солнечный хоровод бликов, в весёлый бег облаков, что против воли девушка бросила в никуда ответное слово, и оно тут же вернулось к ней фейейверком словесных брызг, лёгких и необязательных, как пузырьки шампанского...

Стоило ей только вступить в беседу с невидимым незнакомцем, как тут же она была втянута, вовлечена в некую эфемерную игру, сотканную из недомолвок, загадок, многообещающих намёков, интригующих деталей... Обмолвившись, что розы она не любит — те совершенны до ненатуральности и предсказуемы, она тут же ощутила в своей руке прохладную шершавость стеблей — они проходили мимо цветочного ларька... Это оказался букет крупных полевых ромашек, белизна которых была разбавлена синими, словно ступки молний, дерзкими и невинными васильками... Пока она рассматривала цветы и полчища копошащихся в нём букашек, расстроганная и потёкшая вмиг неизбалованным сердцем, ей было назначено свидание, — Завтра, в семь, здесь...

Как она ни крутила головой, обернувшись, так и не вычислила его — мгновенно затерявшегося в толпе, словно ловкий шпион, подгадавший место своего исчезновения — возле автобусной остановки, огороженной с тыла рядами пёстрых, торговавших всякой дрянью ларьков. И тень его пропала, смешавшись с десятками других, окра-

сивших асфальт в бурый, уставший цвет — солнце свалилось за дальние многостройки и утащило с собой весь блеск и радость июньского дня...

В ожидании свидания, на которое, как она думала вначале, она фиг пойдёт, (мало ли к ней клеится каждый день всяких придурков) протащился, словно пригородный, медленный и скучный поезд весь остаток вечера и следующий день...

Теперь пришла пора представить читателю Ольгу. Тут автор затрудняется как-либо вразумительно описать героиню своих последующих рассказов... Вместо общепринятой характеристики он позволит себе лишь в общем обрисовать контуры героини, вскользь, намёком, да лишь антропологические, биографические черты и приметы времени — двадцать пять лет, разведена, имеет сына пяти лет. Образование высшее. Питает тягу к изобразительному искусству и словесности. В быту неприспособлена, даже неряшлива. Слишком эмоциональна. Нерассудительна. Карьеру построить не может. Замуж выйти тоже не может — вводит в заблуждение восемнадцатилетней внешностью, а затем отпугивает наличием сына, отсутствием работы и обязательно - грязной, в раковине кооперативной квартиры, за которую нечем платить, посуды...

Ну на этом и всё... Да, дело происходит в провинциальном городе Задорске, Белоруссия, конец восьмидесятых...

Вырисовалась уже соблазнительная картинка возможного возлюбленного, с обязательным счастливым концом, под которым каждая девушка предполагает замужество. Вспоминая детали и нанизывая их, словно бусинки, на нить рассуждений, Ольга вырисовывала, выдумывала образ вчерашнего незнакомца — из длинной тени, из бархатного голоса, из ироничных в нём интонаций, из самого вчерашнего колыхания жаркого воздуха.. Довершали эфемерную картину вымысла вполне осязаемые цветы, поставленные за неимением вазы в стеклянную банку...

Расчётливый трёхрублёвый жест превратился в акт благородства, романтизма, доказательства несомненных достоинств дарившего и серьёзности его намерений...

Нарисовав уже и любовь до гроба, и крепкое мужское плечо, наряжённая в лучшие свои одежды — самолично сшитую из украденного на производстве куска шёлка пышную короткую юбку и блузку, с открытой спиной, перечёркнутой узкими верёвочками бретелек, вынырнула Ольга из перехода, готовая к любви и счастью...

Уже различила она его во всегдашней остановочной толпе, вычленила среди неуклюжих фигур дачников, возвращающихся с участков, обременённых ведрами и тляками. За те несколько шагов, что прошла она от последней, заплёванной ступеньки, мозг её отсеял из подозреваемых и сутулых мятых мужичков, и франта, прочеркнувшего полами летнего пиджака по мятым ситцам, и скучающего бычка, с бликующей на солнце золотой цепью... Да, это он, высокий, с широ-

ким разворотом плеч, с аккуратной стрижкой, с умным худощавым лицом, одетый в классический приличный серый костюм...

Сердце, словно в скоростном лифте, бесшумно ухнуло прямо к пяткам, — удача, неужели, о господи, наконец...

Она уже улыбнулась, не в силах сдержать радости.

И тут произошло страшное — он дёрнулся, словно деревянная, на шарнирах, кукла в неумелых руках, нелепо взмахнул рукой и, словно уточка, поднырнув глубоко вниз, шагнул вперёд, нелепо, некрасиво, припав на короткую ногу...

Ольгина улыбка застыла и так и осталась на губах — замороженной гусеницей. В глазах её словно выключился свет, а воздух разлетелся миллионом острых жал, каждое из которых поранило — больно, глубоко, насмерть... Разочарование было настолько острым и сильным, что она так никогда и не победила его. До сих пор она не знает, насколько справилась тогда с выражением своего лица, застигнутого врасплох, неподготовленного к страшной правде — она пришла на свидание с калекой..

Всё сразу же было ею решено, — Никогда.

Но как было уйти? Она уже попала в силки его голоса, своего воспитания, жалости и правил приличия...

Исправив оплошность, он поднырнул за её спину и сразу заговорил, опутал, и невозможно было не согласиться не пойти в кафе... Кафе он выбрал самое стильное и модное, её любимое, «Театральное», и как только догадался? И опять, как и вчера, держался чуть позади, и тень сегодня шла сбоку, откидываясь назад, скрывая все странности его походки...

Ольге было стыдно самой себя, за свою предвзятость, несвободу от чужого мнения, от стереотипов. Ей было неловко находиться в компании с человеком, если выразиться витиевато и туманно — «с дефектами фигуры»... Что у него за дефекты, она так и не выяснила. Кто-то из её подружек позднее поставил диагноз — родовая травма, кто-то утверждал, что это последствия полиомиелита... У Алексея была поражена половина тела. Сухонькая правая ручка заканчивалась скрюченными неподвижными пальцами, которые Алексей прятал в рукав рубашки или пиджака. Никогда, даже в жару, он не одевал ни маек, ни теннисок... Одна нога, тоже правая, очевидно, была не только короче, но и вывернута, оттого он странно, ныряя, ходил, хотя мог идти быстро...

Ни разу она не спросила, не полюбопытствовала причиной увечья, ни разу даже не задержала взгляда на его неловких движениях, игнорируя, не замечая, но на самом деле нестерпимо мучаясь, словно сама с трудом несла дрожащий поднос с качающимися чашками и блюдцами, словно сама готова была вот-вот упасть, зацепившись ногой за ногу... И никогда не помогала, не унижала его излишней заботой, она поняла, что он научился всё делать сам...

И он принял её игру — друзья, друзья, только друзья, никакого флирта... Добровольно превратился в подружку, и злоупотреблял этим положением — приходил запросто в гости, без звонка, приручил к себе её сына, принося неизменно то паравозик, то шоколадку, «засветился» перед всеми её знакомыми...

Обычно Ольга сразу же, попив чаю с принесённым пироженым, начинала куда-то срочно собираться, только бы не остаться с ним наедине, только бы избежать недвусмысленных ситуаций... Он сопровождал её, хромя сзади, до последней черты, пока она не входила в чужой подъезд, якобы в гости, и прощалась с ним, на правах подружки подставляя щёку для поцелуя...

Он уже приручил её — верностью, терпением, умом — ироничным, пронизательным (ещё бы! Врач-психиатр), но колкость его движений, ныркость походки были для неё непреодолимы... И рассказав ему свои сны, и пожаловавшись на неприятности, не боясь быть нудной, противной и неинтересной, выталкивала из квартиры — вежливо, но непреклонно...

Его, сына главы городской администрации, не смущали ни бедность её обстановки, ни вечно пустой холодильник, ни жалобы, что «все мужики сволочи»... Было всё труднее вытурить его из кухни, из-за пластикового хлипкого стола...

Времена были тяжёлые, смурные, непонятные — преступность и безработица, общее беспокойство наложились на тоску провинции, вспрыгнувшие цены и пустые продуктовые настроению не способствовали. Потянулись русские беженцы из Кавказа, потерявшие кров и работу. Многие из них вынуждены были жить в подвалах и на чердаках. Рынок заполнили бородатые крикливые люди. Вечерами город пустел — гулять стало опасно. Поговаривали о гражданской войне... Часто им с сыном нечего было есть — её зарплата художницы-оформительницы строительного управления была смехотворной.

Началась какая-то повальная иммиграция. Все, как сумасшедшие, искали любые способы сбежать из страны, как будто завтра начнутся погромы, хотя кто кого и за что будет громить, никто сказать не мог, но тем не менее — спасались. Так, Ольга потеряла уже двух подруг, неразлучных сестёр-близняшек, которые до последнего держали в тайне свой отъезд, боясь сглаза...

Алла и Ася, купив поддельные свидетельства о рождении, уезжали в Тель Авив уже завтра, и пришли попрощаться, и прощались — шумно, слезливо, с надрывом, притащив Ольге сумки всякого кухонно-ванного барахла и выпросив «на память» пару её фотографий и рисунков... Так они и исчезли, растворились в знойном Израильском мареве, без следа...

Бухгалтер Фима созвал всю строительную группу, прощаться... Потерянно они сидели в разграбленной квартире — вино и закуска были расставлены прямо на полу. Фима просил забирать всё, что не успели с женой продать или отдать, и совал в руки инженера, Ольги и кладовщиц то

лампу, то книгу, то какую-то безделушку... Ольга увязалась была за ним в кухню, и смиренный, интеллигентный, робкий Фима неожиданно обхватил её, впился в неё горькими губами, зашептал, запричитал, что давно и безнадежно любит её... Ошарашенная Ольга даже не стала отбиваться, её вдруг пронзило понимание, что Фиму она больше никогда не увидит, и это было страшно, как будто живой Фима уже умер, хотя в жизни ей не было до Фимы никакого дела...

Все знакомые Ольге художники-оформители вылетели с работ, а «свободные» — потеряли заказы, потому что отпала надобность в показухе, во всех этих наглядных агитациях и показателях производства. Позже, через несколько лет, когда зарождающийся класс капиталистов разбогатеет, и ему потребуются доказательства состоятельности, как-то — интерьеры и картины, но сейчас этого ещё не было, и для художников началась страшная пора затишья, безработицы, ненужности... Она кое-как держалась в своей строительной конторе, оформленная на ставку маляра. Добрый начальник жалел её и придумывал работу, например, переделать таблички на двери, сделать знаки «Стоять!», «Опасно» и прочую дребедень.

Алексей появлялся и пропадал. Ольга жила своей жизнью, растила пацана, теряла надежду обрести счастье здесь, среди повального пьянства и безнадежности и стала подумывать, заражённая повальным бегством из умирающего города, об отъезде... Неважно, куда, главное — за границу... Спастись...

Однажды зимним скучным вечером, когда ярко освещённая квартира походила на коробку, плавающую в вакууме Космоса, раздался звонок в дверь. Ольга не сразу даже узнала Алексея, так вальяжно и представителью он выглядел. Топорщилась лисьей шерстью шапка, на шоколадном боку дублёнки отдыхали настойчивые снежинки, тонко поскрипывали чудные, из жёлтой кожи, ботинки, украшенные накладками и пряжками. Тонкий кашемировый свитер, шерстяной, в клетку, шарф... И в лице его появилось, несмотря на впалые щёки, некое лоснящееся довольство...

Из яркого пластикового пакета выложил он на стол коробку шоколадных конфет с иностранной надписью и металлическую, на пример военных, фляжку, в которой плескалась жгучая ароматная жидкость...

Алексей, как обычно, был скрытен. Они шутили, едко пикировались — это был стиль их отношений. Ольга бесцеремонно выпытала причину появившегося заграничного лоска... Несмотря на то, что Алексей ни в чём не нуждался, живя с родителями и пользовался привилегиями отца, тем не менее, как и все в этом городе, казался утомлённым, припыленным и слегка испуганным...

Оказалось, что он теперь жил в Германии и работал там в психиатрической клинике...

Вот теперь Ольга вспомнила, сложила вместе — все его намёки на сытное будущее с ним, Алексеем. (Она только хихикала)... И его маниакальное увлечение немецким, и бесконечные хлопоты с

какими-то бумагами... Как она ни извертелась, так ничего у него не выпытала — ни его немецкого статуса, ни каким образом он получил работу в тамошней клинике — по обмену ли (Алексей работал в психиатрическом отделении Задорска)... Он отмалчивался, отшучивался и наконец, отфутболил таки настырную Ольгу,
— Потом расскажу. Не сейчас. Всё ещё очень зыбко...

Так он и появлялся в её квартире — красивый, всё более заграничный, сытый и уверенный. Приносил конфеты, консервы, скользкие ломтики ветчины, нежно светящиеся розовым из жестяной банки, вафли в блестящих обёртках и горький твёрдый шоколад. Ольга вылетела таки со своей конторы, пыталась с подругами организовать художественный кооператив, но уже за первый выполненный заказ, гобелен, им не заплатили... Хорошо хоть, что на пряжу не попали — воровали её в куче отходов, на свалке коврового комбината, куда пролезали ночью в дырке в заборе (пьяный сторож спал). Сын уже был в третьем классе, и она шила ему брючки из своих, которые получше, а себе сооружала полосатые, из льняной простыни, оставшейся от запасов брежневского благополучия, штаны... Её считали модницей...

За несколько лет бесполой дружбы она уже привыкла к Алексею, к его едкому юмору, циничной холодности — увечье и специфичная работа сформировали его характер. Его стойкая привязанность к ней стали внушать уважение. А сейчас ещё он стал тем мостиком, по которому можно перебежать из руин постперестроечной провинции в заграницу, в сытость...

Есть часто было нечего...

Теперь отношения их изменились... Не меняя привычной развязной манеры, уже она намекала ему — о возможности жить вместе, в Германии... Он вроде не понимал... И зачем являлся каждый раз? Привычка? Реванш?

Она хлопала дверцей холодильника, демонстрируя ему пустые полки, а он меланхолично жаловался, что в Германии ветчина безвкусная... Она рассказывала ему как, уложив сына спать, ночью автобусом выезжает на окраину города и выкапывает картошку в чужих огородах, а он ей рассказывал, какие немцы суки — не принимают в свою компанию..

Тем не менее, знаки внимания ей, как женщине, оказывал. И она решилась. «В самом деле, если он меня туда заберёт, то ведь придётся спать с ним»... И однажды, когда он позвонил в дверь и когда совсем уж погано и одиноко было на душе, она обрадовалась его приезду...

Он почувствовал её внутреннюю готовность, и сразу же ею воспользовался... Они оба неловко мучались этой ночью. Она — от старательно закрываемых глаз и выверенных движений, чтобы ненароком не задеть и не увидеть его сухие руку и ногу... Он, очевидно, от того же... Ольге, к тому же, показалось, что зря она согласилась. Каким-то звериным чутьём она почувствовала, что он привык — хотеть, и выданным ему за долгие годы ожидания и обожания призом не смог насладиться, в силу ли характера либо из-за физического увечья...

Утром, лишь только сереньким стали светиться тяжёлые шторы, пропускающие мутный болезненный рассвет, он ей признался, скрывая неловкость, что женат.

Она почувствовала, что её предали и оставили в дураках. Они более никогда не делали попыток близости, продолжая играть в прежнюю игру — он влюблён, она недоступна... Только её эта игра уже не устраивала — самолюбие её было ранено, и нужно было выживать любой ценой.

Никакой личной жизни у неё не было. Поколение мужичков-одногодков спивалось, а молодёжь штурмовала близкую Польшу, пересаживалось на Мерседесы и к дамам предъявляло непомерные запросы — 60–90–60, и чтоб мордашка, как картинка, и чтоб ноги от ушей. Напрягшись, она наладила кое-какие контакты в Америке, и после года бурной, тщательно скрываемой ото всех переписки с американцем уехала, ни с кем не попрощавшись. Да и попрощаться было не с кем.

Только в самолёте, пролетая над Атлантикой, она самодовольно показала облакам средний палец, — Вот так тебе! И без тебя обошлась! Сиди в своей сраной Германии!

(Он всегда говорил, что предпочёл бы жить в Америке, а когда понял, что не сложится, отдал ей свои самоучители английского, по которым она в тайне от всех штурмовала язык).

Он разыскал её в Нью Йорке, через какое-то платное справочное агенство, через четыре года её мытарств и неудачного замужества. Стал часто звонить. Брак его трещал по швам. Ольга давно знала из своих источников, что в Германию он уезжал с женой, Задорской, единственной дочкой папиного коллеги. Очевидно, партийные бонзы, пользуясь ещё не рухнувшим своим влиянием и связями, и устроили деткам работу в Германии и визу.. Работу в клинике оставил, в связи с получением гражданства, и существовал на пособие. Наладил бизнес по продаже машин из Германии в Белоруссию. Жаловался на жену, на её холодность и жестокость.

Наконец, жена ушла от него к коренному бургеру, владельцу сети ювелирных магазинов, устроив на прощание скандал... Что, мол, её он никогда не любил, а любил какую-то Ольгу, она нашла тетрадку со стихами, посвящёнными этой неведомой Ольге...

Ольга после этого разговора, не отдавая себе отчёта в последующих холодных и решительных действиях, сменила номер телефона, оборвав разом их заокеанскую телефонную связь, не боясь, что он снова её найдёт, — он всегда был умницей. Нужно, чтобы он освободился от иллюзий и привязанностей. Ведь когда-то они уже сделали свой выбор. Она — на том самом первом свидании, а он — когда увёз в сытость и забвение другую женщину...

Принцесса тётя Оля

Ольга не представляла, как долго сможет терпеть невыносимую пытку холодом. Хотелось броситься на землю, завизжать, замолотить по грязному, утопанному сотнями прохожих

снегу заледенелыми, зажатými, как в тисках, в промёрзших ботинках ногами. И чтобы к ней бросились, и понесли куда-то в душное тепло, и жалели, и укрыли толстым ватным одеялом, и вливали в запёкшийся от мороза рот горячий сладкий чай...

Но она понимала, что спасение не придёт — и откуда только пришли в голову детские капризы, вроде бы и в детстве она никогда ничего такого себе не позволяла, всегда была терпеливой и разумной девочкой. Да и не помогут, не спасут — переступят брезгливо через неподвижное тело, примут за бродяжку или пьяницу, она уже видела несколько таких скрючившихся фигур в разных углах вокзала и застывших в безнадежных отчаянных позах на грязном, в лужах талого снега, полу...

Она вытерпит, выживет, ведь как то терпят все эти люди, более получаса ожидающие на промёрзшей платформе опаздывающую электричку. Вон, некоторые девушки даже в почти тридцатиградусный мороз умудряются выглядеть хорошенькими, одетые в кокетливые меховые шапочки и длинные шубки.

Ольга боялась стать жертвой бывших соотечественников, наивно полагающих, что каждый человек Оттудабогат, и потому в целях безопасности попыталась как можно менее походить на человека, приехавшего из-за границы. В Нью-Йоркских магазинах она долго, помня российские морозы, подбирала себе экипировку — удобную, тёплую и неброскую. И теперь в куртке-парке, отороченной искусственным мехом по краю надвинутого на самый нос капюшона, в широких джинсах, под которыми были одеты шерстяные колготки, и в чёрных ботинках на толстой рифлёной подошве кажется, немного переборщила в сторону простоты, она уже подзабыла, что дамы в России, невзирая на нищету и погоду, всегда во всеоружии, и походила не то на студентку в пору уборочной страды, не то на рыбака, забывшего где-то свои удочки и ведро... Наконец, из белёсой пелены, из под еле различимого в колком искрящемся воздухе выгнутого дугой моста, пахнув жжёной резиной и моргая подслеповато жёлтым электрическим глазом, пыхтя и подсвистывая, выползла стрекозиная зелёная морда пригородного поезда.

В электричке Ольга скорчилась, скукожилась, обхватила обожжёнными ветром руками колени, пытаясь сохранить для замерзающего тела хоть капельку тепла. Да, в Америке такой морозец был бы национальной катастрофой! Там бы закрыли и школы, и государственные учреждения, а еду, наверное, сбрасывали бы жителям с вертолётов... Она украдкой оглядывала пассажиров. На деревянных неудобных скамейках расположились закутанные в пуховые платки бабушки и толстые тётки с усталыми лицами. Все они были вбиты в ватники, попорченными молью шубы, мохеровые бесформенные шапки, валенки, растоптанные, на меху, сапоги... На коленях у них стояли корзины, необъятные сумки из полопавшегося от мороза кожзаменителя, с примотанными синей изолентой оторванными ручками... В проходе на полу что-то копошилось и похрюкивало в грубоканом

грязном мешке... Запахло потом, сеном, навозом, бедностью и заботами...

За окном тянулась бесконечная снежная равнина, обрамлённая по краю серым зубчиком леса. По равнине словно кто-то расшвырял беззаботной рукой кучки скобоченных чёрных домов, перчеркнул безжизненно белое, где одиноко, словно сторожевые будки, торчали в пустых огородах покосившиеся нужники, росчерками редких заборов...

На лицах попутчиков застыло одинаковое выражение — покорной обречённости и безграничного терпения... У Ольги запершило в горле и болезненно жалось сердце...

Ещё только три дня назад она приезжала из Нью-Джерсийского городка в Нью-Йорк и выходила из мягко приткнувшегося к платформе чистого, устланного ковром вагона сразу к подножию лестницы, выводящей пассажиров под купол огромного вокзала, пахнущего горячим попкорном, кожей дорогих чемоданов, туалетной водой, кофе и мокрой шерстью от подсыхающих пальто — в Нью-Йорке шёл мелкий дождь.

В Новогайск она ехала навестить свою подругу, которую не видела целых четыре года, ровно столько, сколько прожила на Земле Обетованной. За год до Ольгиного отъезда Люся поселилась вместе с мужем и дочкой в развивающемся молодом индустриальном городе, куда того отправили главным инженером на завод, покинув в областном центре квартиру с проживающей там стареющей мамой. Молодой специалист оказался бабником и выпивохой, тащил в постель кого ни попадя — не брезговал даже заводскими буфетчицами и уборщицами, водил домой компании нужных людей — поставщиков, инженеров смежных предприятий, и все они напивались вдрызг за решением производственных проблем.

Вернуться домой не получилось — из квартиры её выписали, и тут же на её место поселился старший брат, которого за пьянство выгнала жена, лишив того, таким образом, жилплощади. Люся выдержала нешуточную борьбу с бывшим мужем за подведомственные метры проживания и победила, так как обладала весомыми преимуществами — женской слабосильной сущностью и малолетним дитём, а перспективного специалиста завод отселил в однокомнатную квартиру. Душеуражающие описания подружкиных мытарств Ольга знала из писем, и впервые ехала в этот неизвестно в каких лесах и болотах затерянный Новогайск. Прежде Люся сама приезжала в Город навестить мать и встречалась с подругами, вдруг сразу, влёт, из неуравновешенной девчонки превратившись в сановную, обременённую преимуществами положения жены начальника, даму.

Трясаясь в прокуренном вагоне, он стал бездумным, стал бездомным, Трясаясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал — крутились в мозгу всплывшие из глубин памяти строчки. Это состояние как нельзя лучше соответствовало Ольгиному настроению, она тоже себя ощущала бездомной и потерянной, медленно тащась в холодном скрипящем железном ящике по снежным полям. Чаю выпить было нельзя — в пригородном поезде не было буфета, и туалеты все оказались закрытыми. Так она и ехала, не сообра-

жая уже, на каком свете находится, подзабывшая о прелестях жизни в российской провинции. Ей казалось, что та жизнь, тоже трудная, но максимально комфортная в мелочах, ей приснилась. Перед закрытыми веками проносились сладостные видения — чистых вокзалов, просторных туалетов с бумажными полотенцами и зеркалами, картонных стаканчиков с дымящимся кофе... Ну и что, что бурда... Да за глоточек этой бурды она бы сейчас душу заложила дьяволу... Так она и ехала, в полубессознательном состоянии пересяживаясь от грязного Новогайского вокзала, на котором буфет и туалет оказались тоже закрыты, в душно чадающий, захлёбывающийся кашлем жёлтый автобус и почти час тряслась там, зажатая среди вдруг ставшими агрессивными старух, их кошёлки и мешков.

— Господи, молилась она, переступая мокрыми ногами — хваленые ботинки протекли, на полу автобуса лежала жижа из подтаявшего снега, смешанная с грязью, — Господи, дай силы вытерпеть... И как только Люська умудрилась забраться в эту глухомань! Люська, прагматичная и расчётливая, так лоханулась! Как она выбирала из кучи, нет, толп поклонников! Ольга всегда с ужасом наблюдала, как подруга безжалостно разделялась с поклонниками, выбраковывая их, как хозяйка на рынке безошибочно отбрасывает в сторону подсовываемые ей торговкой гнилые фрукты. Уже бывший муж, кажется, Юра, прельстил подругу надёжностью, перспективностью и, как ни странно, редкой некрасивостью.

— Урод, он меня будет на руках носить, что я, такая красавица, его осчастливила, — ещё один веский аргумент Люся положила в фундамент будущего счастливого брака. Увы, урод оказался обаятельным, незакомплексованным, начисто лишённым каких-либо моральных устоев и мажорным эгоистом, неспособным жертвовать самой малостью в ущерб собственным удовольствиям. Новогайск, из которого раздули стройку века, собираясь создать город будущего — в окрестных болотах нашли залежи нефти, как в своё время целина, оказался бесперспективным. Руководство республики бросило туда лучшие силы, развернуло на болотах бешеную стройку, выписало из братских капиталистических стран специалистов, ублажать которых ринулись ударные силы путан — и с перестройкой всё это дело завяло и заглохло. Строительство прекратилось, так, чадили два завода, перерабатывающих торф и производивших что-то химическое, дурно пахнущее. Экологическая ситуация оказалась катастрофической — в молодом городе мёрли, как мухи, младенцы, а новоиспечённые инженеры не торопились, потеряв все льготы развалившегося социализма, гнить в глуши на болотах без спецквартир и спецпайка. Люся, жертва напрасных обещаний и надежд, застряла в этом городе, обломке мечты, не в состоянии ни продать, ни обменять ведомственную квартиру и теперь билась, как муха об лёд, теряя амбиции и участь выживать в одиночку.

Ольга очень её жалела, так жестоко наказанную судьбой, у которой из всех их общих знакомых

женского рода были блестящие перспективы хорошо устроить свою жизнь — ввиду ослепительной красоты, умопомрачительных ног, умения эффектно одеваться и лёгкой стервозности, которая, как известно, так импонирует мужчинам. Судьба, очевидно, в насмешку, эпиграфом для подруги жизни взяла строчку из народной песни — Не родись красивой, а родись счастливой... Вся та мишура, и блеск, гламур и глянец — Люся из дому даже за картошкой не выходила, не выглядя, как картинка из журнала, привлекали лишь полукриминальных приклатнённых молодых людей, интеллигентные очкарики шарахались от роковой роскошной дамы, как от огня... А где взять в областном Белорусском городе с хорошо развитой текстильной промышленностью уверенных в себе, ухоженных, образованных, зарабатывающих мужчин, ценящих красоту и умеющих создавать её вокруг себя? Ни культуры, ни традиций... Один крестьянско-рабочий контингент, виртуозно приспособившийся к неприятностям Антиалкогольной Компании и научившийся гнать вождельный продукт чуть ли не из табуретки, изошрённо, к тому же, владеющий богатством русского языка, стыдливо синечулкастыми библиотекарями названным непечатным?

Зарождающийся после перестройки класс буржуазии перековал недавних робких и скрытных фарцовщиков в нагловатых, жестоких, быстроглазых предпринимателей с волчьими повадками...

Поиски культурного образованного человека для любви и счастья загнали обчитавшуюся стихов Ольгу аж за океан, а трусливая, расчётливая Люся, с помощью блистательного фасада пытавшаяся создать столь же блистательное будущее, так лоханулась...

Уже день давно перевалил за вторую его половину и белёсое небо стало наливать розовым, а тени загустели до ультрамариновой синевы, когда автобус, чихнув, выбросил Ольгу возле кучки многоэтажек, прочёркнутых широким проспектом, оба конца которого уходили в никуда и прятались в обступавший город лесах...

Так было странно — появиться в прошлом, в таком родном и в то же время ставшим чужим и опасным... Ольга осторожно, как разведчик, вошла в тёмный подъезд, готовая ежесекундно к отражению нападения подвыпившего пролетариата... Она не представляла, как в этом незнакомом городе, в чужом доме встретит Люську, хранительницу её девичих тайн, Люську, по которой она так скучала все четыре нелёгких года эмиграции...

Через минуту они визжали, целовались и тискали друг друга в объятиях. За спиной подруги прыгала очаровательная, никогда не виденная девочка, хлопая в ладоши и вереща — Тётя Оля пиехала, из Амеики!

Вот это самое пресловутое — из Америки, встало между ними непроходимой чащею — сейчас, и позже, Ольга не раз столкнётся с тем, что общение с бывшими подругами, коллегами и знакомыми становится однобоким и чреватым взаимными недоразумениями и разочарованиями. Она жила теперь в Америке и должна была поддерживать имидж богатой и успешной иноземки. А то, что работала она горничной, жила в чужой семье, все заработанные деньги ушли на то, чтобы

в целях легализации оплатить фиктивный брак, буквально на последние, едва только получив временную гринкарту, купила билет и примчалась домой, чтобы повидаться с мамой и подругами, а оказалось, что прежней близости и тепла нет ни с кем—все ожидают от неё подтверждения мифа, конкретной, материальной помощи и поддержки... От неё ждут рассказов о необыкновенных приключениях, удивляясь, почему всё ещё не вышла замуж за богатого американца, снисходительно и недоверчиво улыбаются, а, услышав о проблемах и чтобы не вникать в неинтересное для них, произносят сакраментальное — Ну, это ерунда! А у нас жрать не на что!

Разговор замерзал, терял доверительность и привлекательность, и Ольга зримо, просто физически ощущала стоящую между ней и собеседниками невидимую стену из пуленепробиваемого стекла...

Люся готовилась к встрече с подругой — испекла умопомрачительный торт с орехами, шоколадной крошкой и цукатами, запекла в духовке мясо, наделала вкусных салатов... Ольга, в свою очередь, привезла бутылку дорогого вина и целую сумку подарков. Маленькая Маринка, обезумевшая от возбуждения, обезьянкой скакала подле них. Она напялила на себя сразу все подаренные тётей вещи — и цветной спортивный костюмчик, и яркие рукавички, и шапку с помпоном, и не выпускала из рук ни куклы, ни других притягательных и необыкновенных вещей. Подруги говорили всласть, до потери сознания, до самой зари и лишь под утро Ольга провалилась в тяжёлый сон на застеленном хрустящими простынями диване... Люся с дочерью спали в другой комнате, узкой и длинной, и утром Ольга, привыкшая вставать рано, долго лежала в постели, впитывая забытые уже звуки и запахи...

Люсю ей было искренне жаль — как можно жить в такой дыре? Но Люся, по видимому, смирилась... Она, как могла, обустроила быт и квартиру её была и чистой, и комфортной, и приятной для глаза... Везде стояли её, Ольгины, фотографии, как ласточки из далёкого и притягательного мира... Обе они закончили в Городе художественное училище, Люсе прочили карьеру — звали преподавать в это самое училище... Здесь же она смогла устроиться в единственную школу города учительницей труда... Платили копейки, плюс алименты от бывшего... Люся подрабатывала тем, что писала портреты на заказ местному бомонду, на возможность выйти замуж махнула рукой — кандидатов не было. Ольга нашла её не то чтобы постаревшей — им только исполнилось по тридцатке, а какой-то остервенелой, погрязшей в беспросветном одиночестве, похоронившей надежды и на любовь, и на замужество, и на карьеру... Всё это каким-то образом прочитывалось на лице подруги — от носа к углу губ протянулась глубокая складка, глаза глядели жёстко, а лицо время от времени содрогалось неприятной гримасой...

Счастьем и отдушиной её были дочка и живопись... Все стены квартиры были увешаны Люсиными картинами, которые та никому не показывала, но пыталась участвовать ни в каких выставках — боялась неприятия, общения и хло-

пот, а может, просто не верила в успех... Несмотря на радость от встречи — наконец-то, впервые за эти годы она выговорилась, до отвращения, слабости и усталости, в ощущение тихого счастья от встречи с подругой, родным человеком, оставалась какой-то осадок фальши... Что-то Ольгу беспокоило, мучило, но что, она не могла понять...

Утром она определилась в своих ощущениях — подруга отчаянно лебезила. Когда-то, с удачным, как казалось, замужеством, Люся отдалилась от Ольги, хлопотливо выстраивая семейное счастье. Даже назначение мужа в Новогайск воспринималось как удача — ещё бы, главный инженер, не хухры-мухры, и было что-то пикантное в возможности стоять у руля нововозводимого города... Она относилась тогда к Ольге снисходительно, как к неудачнице и даже была сильно обидела, после чего они не виделись до самого Ольгиного бегства на чужбину... Но как обидела, Ольга благополучно выбросила из памяти, в ностальгическом тумане первых лет эмиграции она помнила всё самое хорошее, и слала Люсе посылки, и описывала ей заморские чудеса и собственные там мытарства...

И теперь это не был союз двух равноправных существ — Люся вела себя так, как если бы она была проворовавшейся заведующей магазина, а Ольга — проверяющим инспектором, которого нужно было ублажить и умалить. Разговора больше не получалось — Люся сутлилась, хлопотала, постоянно извинялась за какие-то мифические неудобства... Одевшись, они вышли на улицу, попав в ослепительно белое скучное воскресенье провинциального города. Да и города то не было... Так, успели построить посреди поля штук пятнадцать блочных пятиэтажек, да один ресторан, одну школу, парочку магазинов... Всё это великолепие пересекала широкая улица, концами уходящая в лес, у кромки которого торчали заводские трубы, усердно и бесперебойно выпускавшие в небо густой жёлто-серый, чадающий дым... Люся, как всегда, выглядела сногшибательно. Каждая вещь её гардероба сама по себе была обыкновенной, но, водружённая на великолепное туловище и подчинённая гениальному дирижёрскому замыслу, приобретала французский шарм. Ольга заметила, что по-прежнему мужчины бросали на подругу заинтересованные взгляды, но их отпугивали и горькая носогубная складка, и неприступный вид надменной дамочки... По оставшейся с первого курса привычке тщательно сортировать окружающее, когда необходимо было выбрать для этюда наиболее выигрышное место, Ольга заприметила парочку эффектных самцов, привлекательность которых была несколько подпорчена зимней экипировкой — меховыми шапками с опущенными по причине мороза ушами, невнятными толстыми, сковывающими движение дублёнками. Она, как когда-то в молодости, толкнула спящую красавицу в бок — Не зевай! Улыбнись, глазки сострой! К тебе же подвалить невозможно! Дай мужикам шанс, да и себе... Люся только отмахнулась. Упорно, скороговоркой, в десятый раз она пробормотывала все постигшие её несчастья, причём масштаб их ограничивался благоустройством квартиры и кознями сослуживцев — заведующая сука, вызывала в кабинет и линейкой измеряла длину юбки. Изме-

рив, удивилась — ничего неблагопристойного в облике сеятельницы разумного, доброго и вечного не было, длина юбки соответствовала стандартам, просто Люся умудрялась выглядеть сексапильно даже в скучном учительском обмундировании...

Ужасаясь подружину одиночеству, идущему в полный разрез с её блядской внешностью, полночи Ольга вырывала у несчастной признание, есть ли у неё кто-нибудь... Кого-нибудь не было... Так, проскользнул в жалобах некий Толя, помогавший делать ремонт, оказавшийся алкоголиком и стянувший деньги, отложенные на плитку и потому плитку в ванной она не меняла... Больше Ольга ничего у Люси не выпытала — та всегда была скрытной...

В гастрономе Ольга, невзирая на протесты подруги, набрала продуктов, какие только попались на глаза. Она еле сдерживала слёзы, не могла видеть взгляд маленькой Маринки — преданный, как у собачонки и обезумевший от счастья... Оказывается, мама никогда не покупала ей кока-колы — дорого, и шоколадные конфеты она ест по большим праздникам, и колбасу они редко видят. Тётя Оля, вы пинцесса, — шептала девочка...

В очереди у кассы Люся сцепилась с какой-то женщиной, буквально из-за ерунды, и Ольга была шокирована мгновенно вспыхнувшим скандалом, причём фасонистая и элегантная Люся не уступала по силе голосовых связей и непечатности выражений оппонентке, ширококостной и дурно одетой... По завершении разбирательств со счётом ничья Люся с виноватой улыбкой пояснила — Вот видишь, до чего дошла... Иначе нельзя...

Дома они выпили ещё одну бутылку вина и Ольга поняла, что она хочет уехать. Нестерпима была подобострастная благодарность за ту малость, которую она сделала, нестерпимо было ощущать себя на троне, на который её водрузило обожание подруги. Причём обожание было связано ни в коем образе ни с какими Ольгиными достоинствами, а только с местом её теперешнего проживания — Америкой... Люся просила выдать её замуж за богатенького американца и слушать не хотела о том, что предстоит пройти на этом пути и в итоге, не исключена такая возможность, оказаться у разбитого корыта в чужой стране, без денег и документов. Нет, и слышать она не желала о трудностях тернистого пути, о жизни с нелюбимым, помыкающим тобой человеком. Ольга знала, она пыталась поделиться своим страшным опытом, но ей не верили.

— Да я за кусок колбасы в рот ему смотреть буду, — как попугай, твердила Люся... Ольга обещала пристроить и вырвалась наконец на свободу, наврав, что непременно должна быть у матери вечером, провожаемая несчастными детскими глазёнками и умильными — Люсиными...

Растерзанная, пьяная и рассопливившаяся, нахлобучив капюшон, вывалилась она из подъезда в устойчиво хрусткий равнодушный мороз, и опять поразила ощущение конца света — слишком большие просторы были вокруг, слишком жестока природа, в которой маленькие людишки должны были выжить любой ценой. Опять была тряска в жёлтом тесном автобусе, пересадка в

холодный железный ящик и долгое, двухчасовое мучение от холода и невозможности сходить в туалет — обильное вино и чаепитие давало себя знать. Опять неприкаянность, дискомфорт, чувство беспомощности, незащитности и опасности — по вагонам ходили, поигрывая злыми прищуренными глазками, банды небритых молодых в обвислых тренировочных штанах и кожаных куртках...

Синий вечер плотно пузом прижался к стёклам, и ничего нельзя было разглядеть в окнах, только отражение вагона и своё собственное, как некий параллельный мир, в котором тоже тускло моргала жёлтым грязная лампочка...

Иногда в синеве стекла вспыхивали нестерпимые картинки — большой дом с белыми колоннами, собственная в нём комната с коричневым плюшевым креслом, прислонённые к стене сохнувшие этюды — из окна открывался очаровательный вид в сад... Даже её работа казалась сейчас желанной и необременительной. Подумаешь — пробежаться с пылесосом и тряпкой по трём этажам, забросить вещи в стиральную машину, да посуду помыть после ужина-хозяйка готовила сама... Люся с дочкой никак не вписывалась в эту жизнь. Поговорить с хозяйкой, может, какой-нибудь из её подружек нужна горничная, а Люсин ребёнок не будет помехой? Да, но девочке нужно будет идти в школу, а пока Люся не легализуется, об этом не может быть и речи... В опустевшей сумке Ольга увозила фотографии подруги, обещая пристроить их в брачное агенство, что она и сделает по возвращению, заплатив сто долларов ушедшей Нью Йоркской даме за размещение информации в каталоге.

Как позже она узнает из писем, к Люсе в Нью-Йорк даже приедут два жениха из вожделенной Америки. Один тощий и очень старый, но писатель и вообще умница, тонкая душа. Второй толстый и жадный, но богатый, и в жизненных удовольствиях знает толк. Письма приходили обстоятельные, с картинками, фотографиями и описаниями блюд — они разыскали Ольгу и в Нью Йорке, где та уже снимала квартиру на пару с какой-то случайной женщиной, коллегой-официанткой. Потом был восторженный звонок, уже из Праги — там Люся встречалась с третьим женихом, который пригласил её на променады по Европам. Потом, уже последний, ещё звонок, на этот раз из Лос-Анжелеса. После недолгих радостных восклицаний Люся учинила подруге форменный допрос, выяснила всё и про Бруклинскую маленькую квартиру, и про одинокий статус, отчего-то погрузела и пропала. Навсегда.

Иногда, в становящимися всё реже ностальгические вечера Ольга достаёт фотоальбом, вывезенный Оттуда, и рассматривает размытые чёрно-белые снимки, на одном из которых — они с Люсей, двадцатилетние. Тогда казалось, что страшно взрослые, а выглядят на самом деле совсем детьми... Люся в белой шубке, серой изящной шляпке с алой лентой. В руке держит перчатки из красной кожи, материнские... Ольга в вязаной шапочке, в шахматную клетку, очень модно было тогда, тощую шею обвивает чернобурка, тоже материнская... Они старательно таращатся в объектив, сдерживая рвущийся наружу смех,

и похожи на на секунду присевших мотыльков, которые вот сейчас вспорхнут и улетят, трепеща крыльшками, в луче света...

Фотографию заливают странный свет, и хотя она чёрно-белая, Ольге кажется, что видит она и алый отблеск от перчатки, и сиреневую размытость яркого далёкого утра, и жёлтые солнечные блики на полу, — тогда они с Люськой ввалились в первое попавшееся ателье и брякнулись на диванчик, отчаянно хохоча неизвестно от чего и смущая молоденького фотографа...

Однажды Ольга получила открытку, без обратного адреса-вид на пляж, пальмы и море, с размытым почтовым штемпелем. На маленьком свободном клочке открытки детской рукой было старательно выведено печатными буквами — Принцессе тётке Оле, и нарисованы — звёздочка и три человечка...

Выбери меня...

1.

Когда-то, много-много лет назад, Зинаида Яковлевна, преподающая мой самый любимый в школе предмет — рисование, произнесла пророческие слова,

— Свете очень подошло бы быть учительницей младших классов — она спокойная, добрая и ответственная...

— Я, помню, очень обиделась, так как давно уже определилась с будущей профессией — художницы... Хотя ещё мы и испытывали почтение к школьным воспитателям, относя их чуть ли не к небожителям, но уже были подпорчены, в связи с вступлением в переходный период, бациллой цинизма. В этой системе ценностей учительница младших классов занимала чуть ли не последнее место... А у меня к тому-же с пятого по десятый классы были лучшие среди сверстников сочинения и лучшие рисунки... Хотя, честно, не самые лучшие, а среди лучших... Было нас человек пять в школе, чьи акварели и гуаши постоянно красовались в уголке художника, а та же Зинаида Яковлевна, сдвинув очки на нос, строго приказывала,

— Толя, Володя и Света, к понедельнику чтобы принесли по работе, мне нужно отослать рисунки на городскую выставку, в Дом Пионеров...

— Называлась тема — Мой любимый герой, или Наш город...

То есть конкурса даже не проводилось, всё равно было ясно, чьи работы поедут в Дом Пионеров...

И в воскресенье я, прогнав маму с кухни и обнажив пластиковый, прятанный порезы и раны под весёленькой, в груши и сливы, клеёнкой, стол, вдохновенно раскрашивала охрой золотистой, кадмием красным и бирюзой летящих лошадей, тропические растения и гордого Мальчиша Кибальчиша... Акварельные краски Нева, оловянные в пластиковую коробку, каждый брикетик которой был завернут в блестящую фольгу — предмет зависти всего класса, а также колонковые мягкие кисти, приносила мама с работы — в её художественно-конструкторском бюро это были средства производства...

Тем обиднее было услышать определение своей будущей судьбы от человека, знающего о моих художественных способностях. Спокойная — я тоже восприняла как оскорбление правдивое определение собственного характера. Мне всегда нравились бойкие, хулиганистые девочки, в то время как я сама стремилась к уединению и тихим занятиям — книгам и альбому с красками. Недетская обида засела в мозгу — и годы я помнила эти слова...

Уже и облик Зинаиды Яковлевны расплылся и потуснел — помню что-то грузное, важное, строгое — мы её боялись и уважали, так гордо и ответственно относилась она к необязательному в школе предмету. Может быть, её саму и не узнаю, столкнувшись случайно на улице, а слова те помню...

И как я противилась такому раскладу, сопротивляясь изо всех сил, доказывая и себе, и другим — художница я... Как стремилась к чему-то — непонятному, привлекательному и загадочному, не желая слушать, что художник в чистом виде не зарабатывает, отмахиваясь от вопросов, в какой области хочу трудиться, сочинять ли узоры на ткани, делать ли гобелены, витражи, расписывать сувениры — нет, нет и нет! Ничего этого мне не хотелось...

А прижали, подступили вплотную — десятый класс... Люда идёт в институт Народного Хозяйства, на товароведа, и к ней прилепилось ещё штук восемь девочек, без определённых наклонностей, но с желанием жить хорошо... Часть мальчишек выбрали Архитектурно-строительный институт, разбредясь по строительным факультетам. Те, кто плохо учился, пошли в железнодорожный техникум... Пару человек выбрали непрестижную тогда бухгалтерскую стезю, и слышала, после 1990 года разбогатели. Девочки-троючницы, не обременённые интеллектом, примкнули к парикмахерскому и портняжному клану... Одна я была не готова, обладательница аттестата в четыре целых, семь десятых балла, (четвёрки по физике, математике и химии)...

Однажды проскакал крылатый конь, совсем рядом, могущий кардинальным образом повлиять на мою судьбу, но не подхватил, не выбрал. Пролетела птица Феникс, но не мне досталось её волшебное перо... Как -то приехали в школу два человека, из столицы республики, аж из самого Минска, отбирать особо одарённых детей в художественную школу-интернат. Зинаида Яковлевна предупредила всех заранее, и вот, потя от волнения, мы выложили на парты разбухшие, с загнутыми листами папки и альбомы с рисунками. Два явно нездешних дядечки, один, молодой, с бородой, и постарше, в берете и с чудной бомбошкой на кожаном шнурке задержались у моей парты и оживлённо запищали друг друга локтями. Синхронно они устремили глаза на меня и я застыла, выпрямив спину, с устремлёнными ввысь косичками, увенчанными кошмарных размеров белыми капроновыми бантами — наличие бантов каждое утро проверял лично директор, и не отмеченные этим символом счастливой невинности девицы изгонялись с позором с уроков. Многозначительно кивнув, два небритых Ангела

продолжили обход класса. Следующий всплеск оживления произошёл у парт Володи и Толика. У нас троих было извлечено по корявому, с загнутыми краями от подтёкшей краски, рисунку, и небожители удалились...

На следующем уроке взмыленный курьер, робко постучав и всунув остриженную в соответствии с канонами, установленным всё тем же директором, которого страшно все боялись, но тем не менее, упорно именовали Косым — у директора было бельмо на глазу, он отчаянно косил, взгляд его трудно было поймать, что вселяло почему-то провинившимся безотчётный ужас — в дверь, вытребовав к директору — Толика... Сердце ухнуло вниз... Не меня...

- Птица счастья завтрашнего дня,
- Выбери меня, выбери меня,
- Птица счастья завтрашнего дня...

2.

Кудрявый, цыганистый, с крупной башкой, толстогубый и неопрятный Толик, в классе — человек-невидимка, отбывающий повинность всеобщего среднего образования и нисколько в этом образовании не заинтересованный, тупо всегда переминающийся у доски, не могущий связать пары слов ни на одном предмете, из-за покладистости и тихости перетягиваемый в следующий класс, на бумаге раздражался безумными фантазиями. Мы давно уже привыкли к его зелёным небам, фиолетовым солнцам, оранжевым океанам и каракатицным человечкам — происхождения этих образов автор объяснить не мог. Работы его были яркими, но какими-то неряшливыми, тяжёлыми и беспокойно-раздражающими.

Я же переживала, когда на акварели получались затёки и не понимала, почему Зинаида Яковлевна страшно возбуждалась и кричала, тыча в безобразное пятно на бумаге — Вот, вот, Света! Посмотри, как живописно!

Я не понимала, и она наказала меня — стала ставить тройки за аккуратно раскрашенные, стройно вычерченные домики и бабочки...

Я злилась, упорно переделывала и переделывала работу, и получала -тройку и тройку. Однажды мама пришла на помощь мне, плачущей и растерзанной отчаяньем — я принесла три тройки за изображение веточки сирени, вставленной в стакан...

Мама намочила лист бумаги под краном, распяла его на столе, любовно погладила губкой... Злосчастный букетик поставила на окно, отодвинув занавеску — и десятки мелких, которые я замучилась раскрашивать, цветочков вдруг объединились в общую массу. На фоне тусклого, ещё не мытого с зимы окна нарисовался чёткий, изящный контур крупных гроздей, чёрная веточка, увенчанная упругими листьями, перечеркнула невзрачное изображение ковровой фабрики... Один бок букета зажёгся, вспыхнул — нежно сиреневым, сочно зелёным, а другой погрузился в чернильную густую тень, откуда, стоило только взглянуть, выплывал и аквамарин, и кобальт синий, и вспыхивало ядовитым краплагом.

Я с ужасом наблюдала, как мама развела болото на несчастном листе — она капала, брызгала, затирала, заливала водой, промокала губкой расплывающиеся, колышущиеся контуры перетекающей друг в друга краски. Высохшее безобразие я со страхом предъявила строгой учительнице, ожидая насмешки и -двойки... Зинаида Яковлевна закричала, — Чудо! Шедевр! Ну наконец-то, дошло!, — и размашисто, красными чернилами вlepила в журнал толстую кривобокую пятёрку. Понизив голос, полуувердительно спросила — Мама помогла?

Я еле заметно кивнула, сторя от стыда...

— Ничего, учишь. Теперь ты понимаешь, как надо писать, — обнадежила она.

Сейчас я сама, давая уроки акварели, трачу невероятное количество энергии, пытаюсь раскрепостить детей, научить их экспериментировать с цветами, делать заливки. Им, приучаемым к аккуратности и точности, трудно, и, высунув от усердия язык, они втирают сухую синюю краску в синее небо. Я бегаю между столами — Побольше воды, побольше, это же — аква-рель, что значит, вода... Смешивайте цвета — вот так... Ведь небо не обязательно синее... Ну представьте себе закат, — восклицаю в отчаянии...

Помогло, дело потихоньку пошло... И выхватив лист бумаги у испуганного ребёнка, заставляю учеников оценить удачную заливку, когда потёки кобальта и кадмия оранжевого дали изумительный, жемчужно-серебристый цвет.

Ну что вы хотите, начальная школа, рисование, вернее, арт — один раз в неделю.

3.

Толик из кабинета директора вернулся угрюмым и раздосадованным, отмахиваясь от вопросов одноклассников. От предложения немедленно ехать в Минск, жить на полном пансионе в интернате для одарённых детей и заниматься исключительно художествами, с лимитированным изучением общеобразовательных предметов и последующим зачислением без экзаменов в Театрально-Художественный институт, он, единственный изо всей школы избранник, которому было обещано большое будущее гордости Белоруссии, отказался. Меня поразило — Как, как можно отказаться от такого — это же счастье, удача, судьба... Толик хмуро буркнул, — Не могу... Некому кроликов будет смотреть, и Таньку...

Смысл абсурдной, дикой фразы (Каких кроликов, к чёрту кроликов, разве это важно ?), вскоре разъяснился. Класная, ужаснувшись количеством двоечников, прикрепил к ним * хорошистов* для совместного делания уроков и подтягивания тех до более приличного уровня. Мне почему-то достался Толик, хотя я втайне надеялась, что моим подшефным будет рыжий, малорослый, вертячий, полублатной, но очень весёлый Сашка. (В десятом классе Сашка примет мученическую смерть от удара ножом в живот от только что откинувшегося уголовника — заступится за затаскиваемую тем в машину девушку...).

Толик жил далеко за школой, там, где заканчивались параллелепипеды однойцевых хрущовок и начинался живописный частный сектор.

Являться в школу часа на два раньше (мы занимались во вторую смену), подопечный категорически отказался, апеллируя опять-же, кроликами и Танькой, и пришлось топтать к нему домой. Там, в похожем на помещичью усадьбу месте, я растерялась. Огромный двор, высокий забор, сарай и клетки, добротный дом с высоким крыльцом. Одноклассник, вышедший отворить ворота, был, как обычно, хмур, но это не была защита неуверенного в себе подростка, а озабоченность делами взрослого мужика. Теперь он не походил на тупого двоечника — это был ловкий, умелый мужчина, добросовестно и деловито ведущий хозяйство. Я пыталась толковать ему о дробях и уравнениях с неизвестными — Толик уверенно менял ползунки сестре Таньке, поднимал вверх её толстенькие младенческие ножки, протирал складочки смоченной пелёнкой — и я отводила глаза...

В паузах, когда я выводила уравнение, он делился со мной опасениями, что приплод в этом году будет невысок, вгоняя меня в душный стыд, или выходил во двор перевернуть распятую на козлах кроличью шкуру. Он участвовал во взрослой жизни, он знал цену хлебу и рублю, а я лезла к нему с какими-то дурацкими дробями... Промучавшись так с месяц, и ставшая помогать ему кормить и сестру, и кроликов, я бросила бесполезные потуги образовать Толика и попросту давала списывать ему домашние задания, а на контрольных решала и его вариант или подсывала ему сочинение...

4.

Итак, выбрали не меня... Мама остудила безутешное горе, заявив, что меня она в любом случае в Минск не отпустила бы, так что нечего зря убиваться. Сама же она закончила этот самый Театрально Художественный институт, но бежала из Минска, от неудавшейся замужней жизни, с двумя малолетними детьми-мной и братом. Почему-то ненависть к бывшему мужу и его родственникам распространилась и на город, и выяснилось, что если я поеду туда поступать, то я просто предаю маму...

В девятом классе, спохватившись, что нужно что-то делать, как-то готовиться к ещё не выбранному учебному заведению, я решила пойти в изостудию...

В длинном и светлом коридоре Дома Пионеров я ждала окончания занятий в изостудии. Войти в класс не хватило духа — меня напугали ряды светложёлтых мольбертов, из — за которых торчали сосредоточенные лица, напугал сложный, необыкновенно красивый натюрморт, подсвеченный с двух сторон высокими лампами, напугала необыкновенная тишина, нарушаемая лишь скрипом карандашей и тяжёлыми шагами высокого человека с седыми волосами, низким голосом рокотавшего замечания-слов из-за двери было не разобрать...

Михаил Сергеевич оказался весёлым и любезным. Просматривая рисунки из альбома и приговаривая, — Неплохо, неплохо, хотя о перспективе Вы имеете весьма отдалённое представление, он другим тоном громко меня отчитывал, — Ну что-ж Вы так опоздали, юная леди, у нас занимаются

с третьего класса. Неплохо, неплохо... Вот этот мальчик с арбузом — какой вкусный колорит... — он надолго приник к самой, на мой взгляд, неудачной акварели, грязной и запылившей краской, — У нас переполненный класс, вместо положенных двенадцати человек занимается двадцать пять, для Вас даже нету мольберта, не могу, голубушка, не могу взять — переполнены классы. Да, а Вы работайте, работайте — у Вас есть способности...

Мама долго не могла добиться от меня причины неутешного горя — я самозабвенно рыдала, хлюпала, сморкалась, напугав её до полусмерти — мне стало совершенно ясно, что без изостудии жизнь не удалась. Как же теперь мне жить — без того торжественного, светлого и притягательного мира, открывшегося за обшарпанными, выкрашенными светло-голубой масляной краской дверьми...

Узнав, что дочку никто не обидел, не обманул, она повеселела, вздохнула с облегчением и целый вечер рылась в папках, извлекая оттуда пожелтевшие от времени газетные страницы, лазила в диван, раскатывала трубки свёрнутого ватмана и долго рассматривала рисунки длиннородных старцев и обнажённых толстых женщин — свои студенческие работы...

В изостудию меня приняли. Мама обаяла Михаила Сергеевича, рассказав о своей несбывшейся мечте-стать настоящим художником... Она показала ему статью из Минской газеты, пятнадцатилетней давности, в которой рассказывалось о маме, как о лучшей студентке Театрально Художественного Института, о том, как тяжело ей приходится — учиться, работать на каком-то механическом заводе, токарем (мама заканчивала ремесленное училище — там в голодные послевоенные годы платили стипендию и давали талоны в столовую), и растила дочку, то есть меня... Статья заканчивалась оптимистично — «Может быть, и маленькая Светланка пойдёт по стопам мамы и станет художницей? Пожелаем маме и дочке удачи»...

Личностный фактор, ссылки на судьбу и предназначение сработали, и я гордо, каждый день, с разными возрастными группами, дабы наверстать упущенное, бросив подружек, забыв о том, что влюблена-немножко в весёлого Сашку и немножко — в серьёзного Вову, занималась в изостудии....

5

Так произошёл первый шаг к моим последующим работам, соединившим два полюса несоединимого — учительницы младших классов и художницы. Кто -то незримый и могущественный, словно учитывая мои невнятные мечтания и трезвый опыт Зинаиды Яковлевны, смешал эти две взаимоисключающие субстанции, как скульптор смешивает различные сорта глины, и вылепил крепкий горшок изящной формы. Соответствующее учебное заведение нашлось — им оказался Педагогический институт, Художественно-Графическое отделение.

Поступив туда, я, с одной стороны, обошлась без предательства мамы, так как на учёбу и проживание в городе рождения, Минске, было наложено табу. В Архитектурном институте, как ни настаи-

вала мама, я не захотела учиться — к стройной логике чертежей испытывала тайный ужас. Не подошли ни художественно-промышленное училище, ни текстильный институт. Никакой будущей для себя профессии я не представляла... Вот так бы не выходить всю жизнь из мастерской, чтобы и мольберт всегда стоял наготове, как верный конь, и натюрморт завораживал — необычным сочетанием цветов, фактур и предметов, чтобы было стекло и металл, керамика и дерево, отражающий свет атлас и густой загадочный бархат... И чтобы солнечные блики рисовали на деревянном полу сложные узоры, и чтобы пахло скипидаром, столярным клеем, масляными красками и чтобы стояла благоговеющая тишина, в которой тонет, вязнет, гибнет всё плохое и существует только чистое творчество и чистая радость созидания...

Случайно кем-то брошенная фраза вспыхнула, как в костре сухая ветка. Да, только художественно-графическое отделение! Мне казалось, что у Михаила Сергеевича не работа, а сплошная малина. Я тоже так хочу... Я была влюблена и в Михаила Сергеевича, и в мастерскую, и век бы из неё не вылезать, а дети — ну, что ж, пусть рядом будут дети, будем вместе писать натюрморты...

Но, как всегда получается, судьба выполняет наши пожелания, но как-то извращённо. Вроде бы и получила, что хотела, но как-то не совсем так... Две мои стези — учительская и художническая не всегда существовали вместе, они то тесно сплетались — когда я вела во Дворце Железнодорожников декоративно-прикладной кружок, то распались на два самостоятельных ручья — приходилось быть воспитательницей в детском саду, учительницей продлённой группы.

Оказалось, в мастерской с мольбертами и детьми было не выжить — зарплату Дом Железнодорожников платил мизерную — шестьдесят рублей в месяц, лето засчитывалось как неоплаченный отпуск и приходилось в задрипанном кинотеатре на окраине города малевать афиши — кистью, на закатанных водоэмульсионной краской огромных кусках ДВП рисовала кривые буквы, Кинг Конгов, красавиц и заводские трубы...

Пятилетний китаец Оран любит рисовать. В этом нежном возрасте он обнаруживает поразительное чувство цвета, ритма и гармонии. Устав от криков малолетних учеников, многим из которых ещё не удаётся что-либо изобразить, раскрасить готовую картинку им тоже трудно — весь процесс у них занимает минут десять, а урок, как известно, длится сорок пять, включая телевизор, детский канал, обеспечив, таким образом, тишину и дисциплину, а сама присаживаюсь к Орону и мы ведём вполне профессиональные беседы. Мальчишка схватывает на лету, и мы с ним сочиняем узоры на крыльях бабочки, не забывая о симметрии, балансе и гармонии.

Вспоминаю прошлогодних балбесов... С шестиклассниками пыталась сделать работу в стиле Пикассо, Ван Гога и Кандинского... Убивалась, распиналась у доски, показывала репродукции, детские работы, рассказывала о кубизме, экспрессионизме и абстракционизме. Слушали меня с тоской (в классе преобладали мальчишки

арабских кровей), украдкой чертили монстров, девочки — сексапильных куколок. Энтузиазм мой иссяк, когда усатые, под два метра ростом школьнички увидели у меня на столе приготовленные для первоклассников картинки для раскрашивания — клоун на велосипеде, воодушевились и попросили — для себя... С Кандинским и Пикассо лихо расправились оставленные без картинок первоклассники, восприятие которых свежо и не замусорено штампами.

Так мой белорусский диплом, о котором сами студенты говорили — слишком много для учителя и слишком мало для художника, сослужил здесь, в Америке, хорошую службу, и обязательный в эмиграции инкубационный моечно-нянечный период не продлился более трёх лет. Как только я смогла внятно здороваться-прощаться, понимать речь аборигенов и перевести диплом в Мировом центре образования, так меня обстоятельства и необходимость работать прямо таки и впахнули в американскую общеобразовательную младшую школу, где два дня в неделю я прививаю детям азы прекрасного. В остальные дни подвизаюсь учителем на замену, и вызывают меня, чаще всего, или в детсадовскую группу, или в первый класс.

Классная комната для пятилетних — огромная, пёстрая, заставленная различными уголками, для чтения, рисования, игр... Обязательный компьютер, обязательный СиДи плеер. Чёрные, жёлтые, коричневые или бледные мордашки... Мама, встречающие своих малышек — закутаны в сари, или в чадру, или увешаны разноцветными пластмассовыми бусами, или — одеты так, словно явились на приём в посольство...

Рисую с Ораном, и память вдруг проваливается, за секунду отмотав время на двадцать лет назад, высвечивает картинку — я так же сижу за столом, рисую с малышами, которые жмутся ко мне, как испуганные цыплята. Няня, вечно подвыпившая Любка, матюкаясь сквозь зубы, громыхает раскладушками. Часто Любка делает мне бяку — не выходит на работу по причине перепооя, и весь процесс по образованию, воспитанию, одеванию, обмыванию и кормлению тридцатиголового стада, вкупе с мытьём горшков и кастрюль — тару нужно возвращать на кухню чистой, лежит на мне. В то время было не до художеств... Играя на детской площадке с подопечными в паровозик, кулички, семью, лишь бросала тоскливый взгляд на вечернее небо, стараясь запомнить цветовые отношения, бормотала, — Так, тут, на переднем плане, охра, плотно, можно добавить Ван Дейк коричневый, небо — кадмий оранжевый, и зелёный, да, карамельно-зелёный, деревья — фиолетовые....

Однажды, по дороге на работу, в садик, потеряла сына — он вывалился из санок и остался лежать на снегу, толстый кулёк, обёрнутый поверх шубы пуховым, крест-накрест, платком, и продолжал мирно спать. Я же, очарованная торжеством мороза — всё вокруг было в инее и кружевах, бормотала, — Белый снег, белым-бела прилетела к нам зима, утопила в кружева и деревья и дома...

К реальности вернул чей-то весёлый окрик, — Эй, мамаша! Ребёнка потеряла!

Толика, кстати, никогда больше не видела. После школы он пропал, исчез, увяз, помогая родителям, в подсобном хозяйстве.

Может быть, он разбогател — не может же такое усердие и работоспособность не принести плоды, и сидит сейчас у камина, в загородном доме, отдыхая от трудов праведных... Посещают ли его видения неизвестных планет, фиолетовых солнц и иноземных существ, не жалеет ли, что не использовал тот, однажды данный шанс...

Володя, о котором я упоминала, кроме художественных, обладал способностями ко всем предметам. Он одинаково виртуозно писал сочинения, расправлялся с уравнениями с тремя неизвестными, ходил в кружки по химии и физике. Золотой медалист, он исчез в тогдашнем Ленинграде, в каком-то физикоматематическом институте, и никогда не приезжал в город детства. Говорили, что жена его — жуткая стерва...

Недавно, совершенно случайно, в интернете обнаружила сведения о Ларисе, учившейся со мной в одной школе, в параллельном классе — её рисунки тоже выбирали в Уголок художника. Лариса испытывала тягу к командованию — она всегда была то старшей пионервожатой, то секретарём комсомольской организации в институте (мы учились вместе, но на разных курсах). Лариса счастливо соединила тягу к искусству и административной работе — сейчас она директор детской художественной школы...

Я тоже в своей судьбе соединила — тягу к бумагоарательству и желание быть в мастерской...

Обладала ли Зинаида Яковлевна даром предвидения, либо так случайно сложилось, либо слова её послужили, несмотря на моё сопротивление, неким катализатором процессов, приведшим меня к выбору профессии учителя искусств — не знаю... Я могу ей позвонить — она тоже живёт в Америке, в каком-то глухом штате, в маленьком городке, но почему-то боюсь...

Михаила Сергеевича давно уже нет. За годы эмиграции два раза я приезжала на Родину, и оба раза приходила в бывший Дом Пионеров, переделанный в обычную школу, стояла в коридоре, у того же окна, и прислушивалась к звукам, доносящимся из бывшей изостудии. Мне почему-то казалось, что, когда откроется дверь, в ярко освещённой квадратной комнате я увижу саму себя, пятнадцатилетнюю, сидящую за мольбертом и услышу низкий рокот учителя, — Ну что же Вы, милочка, вцепились в одну краску... Вы только посмотрите, сколько здесь цвета...

Но как только раздавался звонок, быстро уходила...

г. Нью-Йорк

Владимир Черкашов



Узорные кольца чугунных перил
Сплелись меж собой, словно
руки влюблённых.

Надолго ль им хватит терпенья и сил
Друг друга держать над рекою студёной?

Рассеянно глянув из космоса вниз,
Отправился месяц по вечному кругу...
Махну-ка и я в кругосветный круиз,
Составив компанию лучшему другу!

Сетчатка воды, близоруко светясь,
Меняет свой цвет на рассветно-туманный,
И солнце, по старой привычке лентясь,
За нами стремится тропой неустанной.



Сорвавшись с ветки,
Листок в испуге,
Как узник в клетке,
Метался в круте.
Звезда по крыше
Скатилась в лужу.
Рассвет всё ближе,
А круг — всё уже...

г. Иваново

Олег Рудковский Принцесса-лебедь



191
Олег Рудковский ■ Принцесса-лебедь

Я знал человека, которому ничего не доставалось даром. То был бурлак. Бурлак по жизни. Он не как многие стремился к цели — легко и безоглядно. При этом ему приходилось тянуть за собой непосильную баржу, реветь и стонать от натуги и боли, но тянуть. Он что-то терял в эти минуты... Помимо кожи и кусков содранного жёсткой бечевой мяса он утрачивал маленькую частичку себя. Так мы заслуживаем победу. Настоящую победу, не надуманную. В конечном итоге, каждому хоть раз в жизни выпадает разворошить душевную сокровищницу, прежде чем обогатить её необходимыми зёрнами знаний. И, возможно, ничтожная попытка пренебречь непреложным законом мира зачастую обходится слишком дорого.

Не в моих правилах жулить с фортуной, таков мой удел. Правильное воспитание и личные примеры родителей привили мне тягу к искренности. Ещё в школе, я первым шёл на покаяние к отцу после очередной хулиганской выходки, — ни разу не попытавшись воспользоваться надеждой, что скандал задохнётся на корню. Иначе говоря, пронесёт. Но так уж сложилось, что, вопреки золотому правилу, я не сталкивался с необходимостью жертвовать ради чего-то или кого-то, именно имея целью заполучить кусочек мозаики человеческого счастья.

Я помню, как она стояла возле киоска, высокая, стройная, юная, едва ли не подросток. Но таилась в её глазах, и это я заметил уже позже, загадочная глубина, нераспознанная фатальность женщины, обречённой быть фениксом. Возможно, это проблескивал в её зрачках дальний сполох рока, служащий предостережением людям, завязывающим с ней отношения (мне в том числе). У неё был ужасно расстроенный вид, как я обнаружил, приближаясь к киоску, где я задумал обзавестись бутылочкой пива, предвосхищая скрашенный холостяцкий вечер перед телевизором. Она держала на ладони мелочь, отчаянно пытаясь наскрести указательным пальчиком нужную сумму.

Я приблизился, и наши взгляды пересеклись. Она посмотрела на меня так, будто я ветер, который, кружась вокруг да около, с внезапной беспардонностью дунул ей в лицо. Она почти тут же опустила голову, с удесятерённым упорством сосредоточившись на мелочи, а я заметил лёгкую складку озабоченности между её бровями. Я протянул деньги продавщице, поскольку для девушки, судя по её виду, подсчёты имели пока плачевный результат.

Она опять взглянула на меня, стоило мне пролезть между ней и окошечком киоска, тем самым как бы отснвив её в сторонку. Я подумал, она захочет меня упрекнуть, или как-то ещё обличить моё скотство, но она молчала.

Мне стало интересно, чем же закончится её отчаянная битва за недостающие копейки, и я намеренно тянул время, искоса наблюдая за её действиями. Девушка ещё раз внимательно пересчитала все деньги, а потом выдохнула, раздражённо сжала кулак и уставилась на меня своими большими глазами. Теперь я увидел, что они у неё серые, с проблесками зелени. Эта волнующая прозелень в ту же секунду с неслышным шипением выжгла клеймо её образа на моём сердце — от этого дня и во веки веков.

— У вас не найдётся двух рублей? — без тени смущения обратилась она ко мне. Её глаза продолжали жечь моё сердце, и я не заметил в них даже намёка на привычное в таких случаях невольное извинение.

Засунув руку в карман, я выгреб оттуда всю наличность.

— Двух нет, — поздравил я её, перебирая пальцем деньги. — Есть пять.

— Давайте пять.

Я усмехнулся. Её непринуждённость начала меня заводить.

— А что вы хотите, если не секрет?

Она передёрнула плечами, как бы отгоняя саму мысль о жеманстве.

— Сигарет.

— Я могу вам купить, — предложил я, входя в азарт.

— Давай. — Вся её мелочь тут же исчезла в сумочке. Реакция казалась удивительной, словно для неё любая бескорыстная помощь со стороны чужого человека была равноценна ежедневному восходу солнца или тому, что после красного цвета на светофоре непременно следует жёлтый. Я часто вспоминал потом этот её жест, её невозмутимый взгляд в ответ на мой порыв. Я думал о том легковесном *принятии* моей неожиданной помощи. Это ведь не слепое доверие, правда? И не девчачья наивность, отнюдь. Её глаза могли бы засиять изнутри простым расположением, а губы непроизвольно сложились бы в робкую улыбку. Но не стало так — ни так, ни эдак. Она приняла моё предложение, и приняла всего лишь потому, что я осмелился ей его предложить.

В этом вся Маша. Та, которую я знал, и та, которую я помню все эти годы.

В подобных обстоятельствах всегда глупо упустить момент, поэтому я предложил ей разделить со мной вечернее возлияние. Она окинула беглым взглядом витрину и назвала приглянувшуюся ей марку пива. Глаза её горели, но в то же время были несравнимо далёкими от моей персоны, и мне впервые подумалось, что эта девушка видит гораздо дальше, чем я. Несмотря на окрасившую её губы (наконец-то!) улыбку, которая будто бы

взбила её распущенные, соломенные волосы, я продолжал ощущать в ней эту причудливую неизбежность.

— Где будем пить? — спросила меня Маша, как только мы отошли от киоска. На улице стоял поздний вечер, и, оказавшись за пределами круга света, оставляемого фонарём над киоском, черты её лица оплавились и стали смутными.

— Если ты не против, пойдём ко мне.

— Ты живёшь рядом?

— Да. — Я махнул рукой в сторону своего дома. — Вот здесь.

Она двинулась первой. Ожидаемой мною попытки установить моё семейное положение не последовало, словно Маша принадлежала к той сфере людей, для которых свобода в браке давно стала нормой. Ей было чуть больше восемнадцати, а я был старше её на семь лет, но её такая разница ничуть не смущала. Меня, признаться, тоже. Как я вскоре убедился, интеллектом она во много раз превосходила своих сверстниц. И период максимализма безнадежно канул в Лету. В Маше не наблюдалось заметной тенденции, как у большинства девушек её возраста, с большой долей убеждения судить о том, что правильно, а что нет, отличать хорошее от плохого и разделять все людские поступки на категоричные «можно» и «нельзя». Как мне думалось, душа её претерпевала метаморфозы, когда чёрное вторгается в белое, образуя невзрачную, подёргивающуюся серость; а может, то был свет, первозданный свет,шедший из уст Бога... Я не в силах подобрать разгадку. Но эта девушка, по моему мнению, обладала одним из величайших качеств: смелостью. У неё хватало смелости просто расслабить своё девичье тело и лишь уповать на течение жизни. При всём при этом я не находил в её манерах признака флегматичности, напротив, она была полна планов на будущее, и хотя иногда они противоречили друг другу, разве можно это поставить в упрек вступающей в жизнь молодой женщине?

Мне было бы намного легче, окажись она инфантильной маленькой шлюхой, которой всё равно с кем и где, лишь бы подальше от ненавистных предков, от тюрьмы, с циничной табличкой над дверью «отчий дом», от жизни, от серости. Возможно, тогда бы я пришёл к выводу (а если бы не пришёл, я бы себя убедил), что вся её жизнь есть следствие её характера, её безразличия. Но такие взаимоисключающие черты, как предопределённость и оптимизм, сочетающиеся в одном молодом, едва развившемся, теле, не дают мне покоя. Разве что глаза, эта её мерцающая прозелень... Неясный призрак гнетущего рока...

Она сразу же спросила, где тут у меня можно курить, и когда я заверил её в отсутствии во мне привередливости, она затянулась прямо в комнате. Пока я откупоривал бутылки и доставал бокалы, она о чём-то думала, глядя на кончик глущей сигареты. Меня поразило, что она даже не попыталась оглядеться в новом доме. Великолепием моя однокомнатная квартирка и не сверкала, но всё-таки я предполагал в Маше врождённое любопытство, свойственное многим женщинам. Я краем мозга подумал, что мне предстоит вечер с задумчивым, немногословным меланхоликом, пытающимся из чувства вежливости уследить

за ходом моих мыслей. Я ошибся. Практически у меня не было возможности говорить о себе.

— Ты где учишься? — спросил я её после того, как мне пришлось подробно выслушать о её отношениях с бывшей подругой, которую она застала в постели со своим парнем. Она рассказывала об этом в непривычном мне упоении, а её слова, одухотворённые бурным чувством, непрерывно струились тающим ручейком.

— В институте, заочный курс менеджмента. У меня вообще-то были деньги, но они мне нужны на автобус до Уфы.

Это не прозвучало как оправдание. Она излагала факт.

— А родители тебя не балуют? — поинтересовался я.

Она усмехнулась странной далёкой усмешкой, словно вспомнила о чём-то забавном, что в то же время не казалось мне радостным.

— Дают, почему же. Но мало. Им зарплата не позволяет. Хочу на работу устроиться куда-нибудь в частную фирму. Хотя бы на время между сессиями.

— Когда очередная?

— Завтра.

Я не сдержал удивлённой улыбки. Хотя это мой менталитет сыграл со мной шутку: мне, безвылазному горожанину, всегда казалось, что перед поездкой люди обычно весь вечер толкуются дома, перепроверяя собранные в дорогу вещи. Конечно, для человека, мотающегося туда-сюда по несколько раз за семестр, всякие сборы перестают быть чем-то жутко священным.

— Тебе, наверное, нужно выспаться перед завтрашним днём, — предположил я, рискуя показаться не шибко радушным хозяином.

— В автобусе выплюсь. — Она небрежно повела плечами.

Я сам не заметил, как мы проболтали с ней около трёх часов кряду. В конце концов, мне пришлось забраться в кладовку, где у меня хранилась початая бутылка водки, припасённая для особых случаев. Бутылка была заткнута полиэтиленовой пробкой, и, вытащив её, я с радостью убедился, что водка не выдохлась. Выпивка явилась как нельзя кстати, в тон нашей беседе, и в результате за эти три часа мы умудрились с ней напиться вдрызбаган.

Я смутно помню то, что затем последовало. Алкоголь наваял в голове туман и заморочил память. Помню, как зачарованно слушал её монолог об институте, сидя рядышком и любясь её глазами. Понял, что если внезапно не пресеку поток её слов, подходящего момента я могу ожидать целую вечность. Помню, как на середине её рассказа, без всякого перехода, я придвинулся к ней ближе и накрыл её рот своими губами. Помню, как она раздевалась, в беспорядке сбрасывая одежду на пол. Помню её короткие, чуточку стыдливые стоны, словно она не позволяла себе в полную силу, самозабвенно отдаться охватившему её желанию. Помню неизбежность в глазах...

Потом мы ещё долго целовались, стоя на краю дороги, в три часа ночи, под конусом света, испускаемым уличным фонарём. Я часто прерывал поцелуй, чтобы схватить её лицо ладонями и ещё, и ещё раз заглянуть в эти покоровившие меня

глаза. Она растаяла. Дарила мне улыбки, теперь не только губами. Может, я был смешон, когда вот так безрассудно позволял своим эмоциям выплёскиваться наружу, ведь чувства мои в большей степени были навеяны алкоголем, а также ярким, неожиданным вечером. Нам удалось поймать такси. На прощание я сунул ей в руку две купюры по сто рублей. «Это на мелкие расходы», — сказал я ей, а она в последний раз подарила мне свою улыбку, и взяла деньги с той же очаровательной безропотностью.

Я думал, что она не обернётся напоследок. Но я ошибся: пока такси разворачивалось, готовясь унести её от меня прочь, она смотрела на меня в заднее стекло. Продолжала улыбаться. Я помахал ей рукой. Она мне.

И мы расстались. Расстались, чтобы никогда больше не увидеться. Расстались, чтобы пронести нашу мимолётную связь через десятилетия. Я ждал, пока такси исчезнет за поворотом, и всё представлял её туманные глаза, как они продолжают смотреть в заднее стекло машины на меня, в одиночестве оставшегося на обочине. Потом развернулся и, полный впечатлений, медленно пошёл к дому.

— Привет.

— Привет.

— Как дела?

— А это кто?

Я назвал себя. Мы договорились созвониться через две недели, и я, кое-как дождавшись оговорённого дня, засел за телефон и набрал её номер. Изнутри ко мне прорывался приглушённый шум музыки, звучавший в трубке, как из наушников. Голос Маши показался мне не таким, как при нашей первой встрече, точнее, не сам голос, а его вибрация. Это была... более беззаботная октава, наверное.

— Я не помню... Кто это?

Признаюсь, я опешил. Мне, конечно, хватало ума не уповать на долгие бессонные ночи цветущей девицы, когда в памяти всплывает мой доблестный образ, однако не такой уж большой период времени прошёл с того дня, а её голос — голая озадаченность. Я, быть может, и бросил бы трубку, найдя в её словах острое желание отогнать назойливую муху, которая не понимает, что сладкий кусок задаром бывает лишь однажды. Но только я чувствовал искренность: это не игра, и она меня действительно не помнит.

— Ну, — промямлил я, в первую секунду и не найдясь, как же о себе напомнить. — Я тебя на сессию провожал, — брякнул я первое, что пришло мне в голову и что, по моему мнению, меньше всего походило на сальный намёк.

— На сессию?.. — Она окончательно растерялась. Может, я неудачно выразился, и сейчас в её голове происходит тщательная обработка личностей, что две недели назад живописно махали ей с подмоков автовокзала? — Я не помню. Прикинь! — Она издала смешок, и это меня вконец добило.

— Ты была у меня в гостях. Мы пили пиво. Помнишь, тебе не хватало двух рублей на сигареты?

— А... — Теперь она вспомнила. А мне точно кто-то вилкой проскрежетал по спинным нервам: словно я для неё был воплощением какой-то жизненной ошибки, причём с межгалактическими

последствиями. Так люди припоминают своего двухлетнего кредитора, который давно уехал, и вот нагрянул нежданно-негаданно и требует денег. А потом в дело вступает обильный процентный налог на процентную ставку, после этого совокупность всех процентов и добавочный процент на них — ну и в таком духе до полного искоренения незадачливого должника как такового.

Однако секунду спустя сердце моё встрепенулось, поскольку голос её вновь зазвучал бодростью и обаянием. И кожух неприятных ощущений лопнул, а воодушевление получило глоток свежего воздуха.

— Когда мы увидимся? — задал я, наконец, главный вопрос.

— Послезавтра я снова на сессию. Позвони завтра, часиков в пять. Договоримся.

Я с восторгом согласился, и мы положили трубки.

Однако на следующий день хлопоты забросили меня аж на край города, одно событие громоздилось на другое, когда мечешься с выкатившимися глазами и закусанной губой, выполняя одно дело и пытаясь удержать в памяти ещё десяток. В общем, мне не удалось ей перезвонить и перенести встречу. Однако резона для расстройств я не ощущал: кажется, Маша не из тех девушек, кто заливается горячими слезами по каждому поводу, когда ей не позвонил кавалер. Плохо было то, что, будучи уверенным в нашем скором свидании, я не выспросил у неё хотя бы приблизительный график экзаменов. Но и в этом я не усмотрел глобальной проблемы. Буду звонить два раза в неделю и, таким образом, обязательно её перехвачу.

Ну, а потом пошла свистопляска. Начало бесконечной цепи нелепостей. Хотя, быть может, наша встреча тоже в какой-то мере была нелепой, не столько внешне (это ведь не самое претенциозное знакомство на улице, согласитесь), нежели на уровне флюидов... или в кармических дебрях. Я звонил ей каждую неделю, но никак не мог застать дома. Мне приходилось объясняться с её отцом, который излишне настойчиво пытался выведать, что я, собственно, за тип, названиваю, и я каждый раз прикрывался новым именем, стараясь и голос тоже настроить в унисон с псевдонимом. Я, наверное, выглядел в его глазах забывчивым покупателем, восторгаясь близким знакомством с Машей, одновременно обнаруживая глуховатость в дружеском общении: *Когда вы говорите она придет?* — *А она вам разве не сказала?* А я мармеладом уши заложил, хотелось проворчать мне, когда становилось бесспорным, что отец её не горит желанием меня просветить. Каждый раз я клал трубку в неистовой уверенности, что разрази меня гром, если я ещё раз вздумаю набрать этот номер.

Действительно, кто она мне? За то время, пока я изматывал душу её отцу, в моей квартире побывали три женщины, одна из которых задержалась на десять дней, а потом тоже исчезла. Но Маша исхитрилась забыть меня через две недели после нашей ночи, как я могу рассчитывать на её благосклонность теперь, по прошествии месяца? Нет, я принимал твёрдое решение не звонить... и я всё равно звонил.

Мои горячие еженедельные звонки постепенно переросли в ностальгические воспоминания, случавшиеся раз в месяц. Тогда я подходил к телефону и набирал её номер. И уже без капли удивления слышал, что вот только вчера она уехала сдавать какой-то экзамен, или что должна приехать в эти выходные, но, судя по всему, не приедет, или же мне просто не отвечали, или телефон был глух. Я уже настолько привык к этим несуразностям, нелепым нестыковкам во времени, что встречал их с улыбкой. Но я продолжал тешить себя надеждой, что однажды... я наберу её номер... и вот тогда...

Наступила зима. Тягучая пора воспоминаний. Наша кровь пылает в наших венах, когда мы вождедем нечто такое, что уже почти у нас в руках, или же извлекаем яркие события из прошлого. И нам кажется, что зима леденит нашу кровь, но это не так: она остужает память. Мы все волнуемся, переживаем, вдохновляемся и разочаровываемся лишь повинувшись рабски этому бездонному кладезю всевозможных чувств и испытаний. Я стал забывать мою странную незнакомку с загадочной прозеленью в глазах. Жизнь моя продолжала своё вялое и однообразное течение сквозь годы, подчиняясь судьбе или просто моему с оттенками степенности характеру. Я зарабатывал неплохие деньги, но вы понимаете, до какой степени приставка «неплохие» обуславливалась моим одиночеством. Мне следовало уже подумать о женитьбе, о семье, но я как-то всё откладывал этот вопрос, оправдывая себя тем, что мне ещё не попала достойная спутница, но на самом деле осознавая, что это лишь привычка. Я знакомился с женщинами, закручивал пылкие, но не продолжительные в большинстве своём, романы, и вся эта карусель жизни, мелькающая пред моими глазами, потихоньку затмевала далёкий образ девушки, подсчитывающей у киоска мелочь. Я уже начинал приходить к тому заключению, что очень скоро она просто уйдёт из моей памяти, ну, а если быть точным, останется в подсознании как мимолётный, но незабываемый эпизод. Так оно, возможно, и произошло бы в конечном итоге, и память образная уступила бы место памяти чувственной, если бы не случай.

В один из дней — это случилось летом, — я оказался вовлечён в борьбу с унылым, доводящим до иступления, собственным бездельем. Накануне я кутил с друзьями в баре, а сегодня с утра, пытаюсь унять головную боль, уже успел опрокинуть в себя две бутылки пива. После чего улёгся на диван, тупо воззрясь на потолок, и занялся тем, что привык подыскивать себе «пешеходное» занятие.

В этот момент и произошло то, что я называю оказией памяти. У кого-то чаще (у гениев, к примеру), у кого-то реже (моё почтение), но, как бы то ни было, подобное наблюдается в стаде людей, и каждый хоть раз в жизни испытал на себе своеволие памяти. Так случилось и со мной: я пролежал на диване около получаса, и, когда уже готов был *смириться* с тем, что мне остаётся лишь закрыть глаза и как следует выспаться, память вдруг выдала мне адрес.

Конечно. Я ведь слышал его. Она говорила адрес таксисту, а я стоял рядом, слишком заворожённый её глазами, чтобы обратить на это

внимание, но не настолько невменяемый, чтобы гиперпамять моя бездействовала. Я даже знал, где этот дом, даже представлял себе его в мыслях... Подсознательно представлял.

Я вскочил с дивана. Чёрт возьми, почему нет? Что я теряю? По крайней мере, представив родителям свою внешность, я могу рассчитывать на некоторую снисходительность с их стороны, и попытаться вытянуть из них точную дату приезда Маши. Квартиру я, правда, не знал, но в любом доме всегда найдётся парочка старожилов, — из тех, что прожигают часы на скамейке возле подъезда и осведомлены обо всех соседях вплоть до их родословной. Алкоголь придал мне уверенности, а остатки похмелья гнали на улицу. Но только не это главное. Ёкнуло моё сердце. Я вдруг представил, что вот сейчас увижу её, и огоньки воспоминаний взметнулись в моём сердце пламенем её образа.

Я быстро отыскал нужный мне адрес. По дороге я опустошил ещё одну бутылку пива, поскольку жара на улице оказалась невыносимой для моего плачевного состояния. Бутылку я выбросил в кусты уже на подходе к дому Маши.

У подъезда никого не оказалось, но меня это ничуть не смутило. Я поднялся на второй этаж, чтобы уж наверняка, и позвонил в первую попавшуюся квартиру. Дверь мне открыла бабулька с придиричивым взглядом, и хотя смотрела она на меня как на шпика, именно такой человек мне сейчас и требовался.

— Здравствуйте! — Я изобразил радушную улыбку, изо всех сил стараясь не казаться пьяной карикатурой на самого себя. — Вы не могли бы мне помочь. Я ищу Машу. Она живёт в этом доме, но я забыл квартиру.

— Маша? — переспросила старушка, и её подозрительность несколько улеглась. — Какая Маша? Это не из соседнего ли подъезда?

— Может быть, — с готовностью согласился я. И для пущей уверенности добавил: — Молодая, всякая, светлые волосы.

Она смотрела на меня. И моя улыбка поблела. Я ожидал ответа какого-нибудь; по моему глубокому убеждению, люди в таких случаях что-нибудь отвечают. Ну, например «Это она!» Или: «Это не она!» На худой конец: «Вали домой, шаромыга, нет здесь таких!» Она молчала. И я молчал. Чту я ещё мог добавить? Если она ожидала, что я стану предъявлять ей наши с Машей общие фотографии, начиная с раннего детства, то кроме воспоминаний (я и лица-то её толком не помнил) у меня ничего при себе не имелось. Поэтому я просто ждал.

— Вы приезжий, что ли? — медленно спросила старушка, глядя на меня так, словно я был загадочный фрукт. — Кто она вам?

Поднатужившись, я вмиг состряпал какую-то жалостливую историю, какую без пива сам бы вряд ли разобрал. Ну я же не мог сказать этой бабке, что с Машей нас соединяет лишь единственный пересып, моими молитвами грозящий вылиться в повторный.

Она смотрела на меня ещё с четверть минуты, после того как я закончил нести свой бред. Потом она сказала:

— Я вас разочарую, но вы опоздали. Её нет.

— А где же она? — Я спросил без улыбки. Я сразу же почувствовал это. Я не мог не почувствовать, потому что все эти месяцы я думал о ней, и даже когда не думал, я всё равно думал. И наши души слились воедино, хотя ни я, ни тем более она об этом не подозревали. Но я продолжал говорить так, словно ничего не понял. Почему я это делал? Ведь моё сердце не врало...

— Нигде, — ответствовала старушка. — Её вообще нет. В живых...

Я молча смотрел на неё. Изнутри наваливалась свинцовая тяжесть.

— Она же в Петербург ездила, — продолжала бабка. — Ну и видно что-то там произошло. Назад её уже привезли. Я говорила с...

Но я уже спускался вниз.

Мне каким-то образом удалось отойти от дома. Бабка могла наблюдать за мной из окна. Уверен, что наблюдала. Я преодолел несколько метров, двигаясь как в патоке, а потом мой взгляд упал на идущий вдоль тротуара заборчик, и я прислонился к нему, поскольку ноги меня едва держали. Я закурил, и пока сигарета не кончилась, я ни о чём не мог думать. Просто глазел на прохожих, снующих мимо меня, вот и всё. И лишь спустя какое-то время мой мозг начал оправляться от шока.

Её нет. Просто *нет*. Я вдруг осознал это; моё тело прочувствовало известие каждой незримой клеточкой, и мне опять стало плохо. Только на этот раз не физическая слабость накатила на меня — образовалась прореха в душе. Прореха, сквозь которую высасывались все чувства.

Её больше нет. Она была жива, совсем недавно. Она прожила восемнадцать или чуть более того лет, и теперь её не стало. Просто был человек, и не стало его. Совсем не стало. Я всё ещё не мог в это поверить. Я повторял и повторял про себя эту фразу, «нет в живых», как будто пытался навязать её себе, заставить себя принять неизбежное. Но мои усилия были тщетны. И я просто побрёл вперёд, не ображая, куда иду.

Я долго слонялся по душным улицам изнывающего от жары города, видя перед собой лишь туман. Меня приводила в трепет сама мысль о том, что мне придётся вернуться домой, в свою пустую квартиру, и провести в ней бессонную, одинокую ночь со своими мыслями. Я мог бы снять девочку на этот вечер, но такая идея сама по себе была мне противна. Я шёл и вспоминал тот день, когда мы встретились. Я вспоминал, как она делилась со мной своими планами, вспоминал её далеко идущие намерения, вспоминал её девичьи стоны. Но что всё это время стояло перед моим мысленным взором, это её глаза. Эта её фатальность. Это её принятие.

Возможно, что смерть она встретила с той же безропотностью, с которой приняла от меня две сотенные купюры. Хотя я не слишком верил в это.

Как же это случилось? Мне пришлось вернуться домой, потому что мозоль на левой ноге лопнул, и я уже с трудом мог идти. По пути к дому я миновал тот самый киоск, возле которого увидел её впервые почти год назад. Я немного задержался возле него, думая о том, что ведь даже не знаю, где она похоронена. В каком уголке нашего беспрос-

ветного кладбища находится её могила. Я не могу напоследок полюбоваться фотографией на памятнике, прикоснуться к холмику земли, возвышающемуся над гробом с её телом, погладить оградку. Я не могу спросить об этом её родителей, и слава Богу, что меня не угораздило попасть именно в их квартиру. *Здравствуйте, я ищу Машу! — Ищешь, любезный? Прими поздравления.*

Что же произошло? Ночь, пришедшая на смену дню, как я и предполагал, не принесла с собой облегчения, наоборот, — стала давить. Я не мог заснуть. Меня беспокоила не столько её смерть, сколько недоговорённость, неизвестность, недоступность истинной причины её гибели. У старухи, к коей я обратился за ориентировкой, вряд ли имелось что-либо кроме догадок, а выслушивать её догадки я не имел готовности. Я лежал на кровати и думал. Думал до отупения. Господи, ну что её потащило в Питер? И что там могло случиться? Безропотность... В её характере спутаться с компанией наркоманов, способных прибить молодую девчонку ради золотых серёжек. Она вполне могла оказаться не в то время и в неподходящем месте. Случайность? Или предопределённость? Её глаза...

Страдала ли она перед смертью? Или же трагедия обрушилась на неё обухом, из-за угла, под покровом темноты, и она ничего не успела сообщить. Что если её пытали? Безумный извращенец, способный сутками, с расстановкой, истязать свою жертву, капля за каплей, скупясь на каждый слабый стон, каждое неуловимое подёргивание — и так пока не окажется выжатой вся жизнь, до кульминационного хрипения. Она могла... Неисповедимы пути Господа.

Или её принудили к проституции? Молодая провинциалка, у неё отобрали паспорт, украсили лицо синяком для остротки и заперли в подпольном борделе. Она пыталась убежать и...

Потрясённый и больной, я забылся в лихорадочном сне лишь перед рассветом. Мне снилось её лицо. А ещё чья-то волосатая рука, сжимающая шею Маши и погружающая её голову в ванну с водой. Мне снились её слёзы и мольбы о пощаде. Мне снилась душа, медленно покидающая её искалеченное, разбитое на куски тело. А потом я увидел её глаза. Серые глаза с зелёными крапинками. Глаза, зовущие меня сквозь сонмище звёзд, стоит лишь мне зажмурить свои.

Прошло много лет с тех пор: не так много с точки зрения человеческой жизни, сколько с позиции плотности событий. Многое переменялось. Я, к примеру, изменился, мой характер. Теперь я женат, у меня двое детей. Моя жена младше меня на десять лет, и она красива. Свою однокомнатную квартиру я поменял на трёхэтажный особняк, а мозоли на ногах натираю теперь лишь в фантазиях. Я директор крупного предприятия с минимальным еженедельным заработком около сорока тысяч долларов. У меня всё хорошо, и на здоровье не жалуясь. Раз в месяц мы всей семьёй выбираемся за город, где у меня дачный домик прямо у берега реки. Там славно. Дверь в домик расположена напротив просёлочной дороги, а вот веранда выходит как раз к берегу, и мы готовим на ней шашлык, а после этого купаемся. Иногда идём на спортивную площадку, которую я

отстроил совсем недавно, играем с детьми в волейбол. А когда наступает ночь, время растворяется, и остаёмся только я и моя супруга.

Я не настаиваю, что всё взаимосвязано. Может, мне просто нравится так думать, нравится лелеять в сердце уверенность, что вся моя сегодняшняя жизнь имеет под собой ощутимую причину. Но, так или иначе, перемены в ней начались именно с того момента, когда пожилая дама донесла до меня пугающее известие. Со временем боль утихла, а если быть откровенным, она углубилась, проникла на самое дно души. Если в палец попадает мелкая заноза, и приходится признать, что она сильнее любых щипчиков и приспособлений для вытяжки заноз, можно жить неделями, не замечая саднящей боли. Так и здесь. Наша проклятая память слишком безразборчива. Окаянная память, колючая космическая губка, способная впитать в себя любую незначительную эмоцию. А следом приходят новые, и те, что были до них, отходят в туманную область, куда не могут проникнуть наши повседневные чувства. Но даже теперь, после любовных игр с женой, я засыпаю и вижу во сне её глаза. Серо-зелёное мерцание ночной незнакомки. И я понимаю, что память сильнее меня.

Поблэк и призрак фатальности. Он преследовал меня, долгие месяцы после её смерти он нависал надо мной, особенно одинокими поздними ночами, сверля меня неусыпным взором, и я слышал, как в гулкой комнате гремит суровый приговор: *теперь ты*. Это граничило с паранойей, это и было настоящим сумасшествием. Мои поблёкшие воспоминания переставали восприниматься мною, им пришлось отойти глубже, но от этого наша связь с Машей лишь упрочнялась. И я не верил, искренне не верил, что всё это не может отразиться на мне. Сегодня я вернусь домой, а там, в моей квартире, меня будет поджидать зловещий убийца, палач памяти. Мой дом страшил меня, заставлял беспорядочно обкладывать себя баррикадой из дел и работы. Я встретил мою будущую жену, и призрак, ворча, отодвинулся.

Но, полагаю, он ждал своего часа.

Я понял, в чём моя беда, а также беда сотен тысяч людей, ведь я не думаю, что какой-то особенный, и мне одному выпало столкнуться с такой жестокой нелепостью. Я понял, что меня страшила именно нелепость, неразгаданность мрачной тайны, окутавшей образ Маши. Нас устрашает не столько сама смерть, сколько её обвязка, её аксессуар. Аксессуары смерти... Столь же нелепое сочетание, но оно как нельзя кстати подходит к трагедии. Смерть гнетёт нас своими аксессуарами, которые мы не в силах постичь, и непроизвольно с древних времён пытаемся придать им видимую форму. Отсюда чёрный капюшон, и череп, и коса... Коса, как символ неумолимости. Коса, как апофеоз нашего страха перед неизвестным.

Почему я об этом пишу? После стольких лет, после того, как моя жизнь уже перестала даже в мелочах напоминать ту прежнюю, я вновь ковыряюсь в застарелой ране. Сейчас предо мной сидит человек. Человек, которому я доверяю больше, чем жене. В каком-то отношении он мой Ангел-Хранитель. Бывший начальник специального отдела по борьбе с преступностью. Служил в

Москве, Петербурге, Уфе. По долгу работы мне часто приходится бывать в Москве, и в последнее время я подумываю о том, чтобы осесть там до конца своих дней. Но стоит лишь мне вспомнить величественность наших краёв, представить, что я и мои дети будем обречены на вечную городскую духоту, как тут же отбрасываю эти бестолковые мысли.

Или мне не позволяет уехать память? Страхусь предположить, что это так. Я слушаю этого человека, имени которого я не могу назвать, и чувствую, как волны ужаса поднимаются из глубин моей памяти. Я думал, что там, на дне, всего лишь ил. Скользящая смесь из древних воспоминаний и первобытных инстинктов. Оказывается, наша память подобна вулканическим озёрам. Иногда она может извергаться. И в этот момент лучше бы как можно дальше от всех, а самое разумное — изолировать себя. Сейсмические волны... Они захлёстывают мой рассудок...

— Откровенно говоря, на свете есть преступления-сфинксы. И дело не в каком-нибудь там призванном гении, о которых так любят талдычить всякие бездельники, дело, как говорится, в деле. К примеру, человек играет в русскую рулетку. Из нескольких попыток выпадает один выстрел. Достаточно логично и, главное, — добровольно. Попыток ноль, выстрел звучит сразу — менее логично, но не парадокс. А теперь представь: за секунду до выстрела — но никто не знает, что он сейчас раздастся! — за спиной играющего возникает новое лицо и всаживает ему пулю в затылок. Это гениальность! То есть, я хочу сказать: одно событие наслаивается на другое — образуется тромб, и следствие в окончательном тупике. К чему я всё это? Я сейчас вспомнил об одном случае, о котором никому не рассказывал. Не мог. Тебе попробую, — говорил мне человек, который был мне Ангелом-Хранителем и дважды спасал меня от смерти. — Случай давнишний. Всё быльё не поужуло, как хотелось бы, потому что в последнее время я уже начал сочинять софизмы. Представь только: мне, перелопатившему всё мыслимое дерьмо нашей доблестной родины, приходится самому себе врать. Нужно ведь как-то существовать на этом свете. А иначе не могу. Смириться не могу. И понять тоже. Если сейчас не воспроизведу для себя ту историю, через годик-другой или навнушаю себе всякого, или начну верить в Кришну.

Это было в Питере. Поступил звонок в отделение милиции. Какая-то девчонка истошно визжала, что её подруга забралась на крышу и собирается устроить показательный полёт. Она умоляла приехать как можно быстрее, потому что от смерти девушку отделяют считанные минуты. Меня и быть там не должно было, в этом райотделе, но по каким-то обстоятельствам я там оказался, и, когда к месту возможного самоубийства выехал наряд, я сел в свою машину и рванул следом. Спросишь, почему я это сделал? Обычно я сворачиваю по двум причинам. Первое: мне становится скучно. Что мне до какой-то идиотки, которая наверняка решила расквитаться со своим парнем, заставить его до конца жизни маяться виной? И второе: опасность. В тот момент был как раз второй вариант. Рядовой звонок, а в душе какое-то неудобство,

муторно, сам не пойму, отчего. Потому-то и ехал. Если уж сердце сигналил опасность, мне на месте и быть в первую очередь. Долг.

Я подъезжаю: огромный десятиэтажный дом, и она стоит на крыше, маленькая фигурка в лёгком платье. А на улице изморось, градусов пять выше нуля. Возле дома порядочная толпа ротозеев — сочувствующих, как я их называю. Я только и смог разглядеть, что девчонка совсем молоденькая, лет двадцать, а то и меньше. Уже на улице я обратил внимание на ещё одну истеричную девицу. Это и есть подруга, решил я и оказался прав. Она заломила руки и кинулась к оперативникам, умоляя их совершить чудо. Я стал пробираться в её сторону, поскольку заметил, что девица вдруг понизила голос и стала что-то тараторить. Мне удалось разобрать: «всё было нормально», «она проснулась утром», «сказала мне, что ей приснился лебедь», «она думает, что она лебедь», «помогите». Моя душа скисла. Осечка. Просто ещё одна психованная, наверняка наркоманка. Наширялась до того, что вообразила себя птицей. Всё ясно. Я уже собирался ввалиться в машину и дуть оттуда по своим делам, когда по толпе «сочувствующих» пронёсся вздох ужаса, и я понял, что девчонка таки сиганула вниз. Я быстро задрал голову, и тогда...

Человек, которого я знал уже около пяти лет и которого считал едва ли не бездушным, вдруг на моих глазах съёжился и зашёлся крупной дрожью. Нет, он был способен на чуткость и понимание, иначе как бы он умудрился прожить с женой двенадцать лет, но чужая смерть, по его меркам, была всего лишь упавшим яблоком. Если бы маленькая девочка, перебегавшая перед ним дорогу, споткнулась и разбила себе голову, он бы, конечно же, наклонился пощупать её пульс. И, оказавшись она ещё жива, он бы, конечно же, вызвал «скорую». Но стоило бы ему лишь убедиться, что помощь уже ни к чему, он бы просто пошёл себе дальше и в тот же вечер повёл бы семью в театр. И тут я вновь почувствовал *это*. То же самое, что нахлынуло на меня много лет назад, в подъезде дома, рядом с квартирой незнакомой старушки. Я вдруг всё понял. Но, как и в далёком прошлом, взгляд мой остался невозмутим.

— Не сойти за малодушие, — продолжил мой друг уже как-то иначе — голосом, который был мне доселе неизвестен, — но я уже столько транскрипций себе насочинил, что сейчас тяжело придерживаться только фактов. Пойми, нас там было порядочно народу. Народу свойственно приукрашать да сплетничать, но для нас, ментов, логика — заповедь, а выдумки — грех. Мы видим то, что видим. Если человек пускает себе пулю в лоб, мы не впадаем в философию: мученик он или заунывный тип, действительно ли его поступок оправдан или это так, ребячество. Мы говорим: ещё один пустил себе пулю в лоб. Лаконичней некуда. Я задрал голову и успел застать момент, когда девчонка взмахнула руками и оттолкнулась от края крыши. Вокруг меня все сдохли. Тишина как в гробу, словно только сейчас до народа дошло, что Сталин помер. Потому что девчонка не стала падать вниз, как склонны падать девчонки из окон домов. Эта девушка осталась в воздухе. Она зависла в воздухе, и пусть Бог будет свидетелем,

что я не вру. Я видел то, что видел. Она висела над моей головой, и никакая философия не поможет выразиться определённой!

Больше пяти минут это продолжалось. Она кружила над нами, её тонкие руки делали еле заметные взмахи. Ей незачем махать руками, подумал я тогда и сейчас так же в этом убеждён. Потому что то, на чём она держалась... Это не как у птиц. Гораздо выше, могущественнее, я не знаю, какое слово подобрать. Величественнее, может быть. Какое-то чувство вырвало её тело из рамок законов природы. Чувство позволило ей целых пять минут держаться в воздухе. Ерунда, можно сказать. Каких только чудес не бывает на свете. Подумаешь, пять минут попорхала. Только на чём она порхала — вот что меня душит. Вот почему я себе вру. Дерьмовый вопрос возникает, я не могу от него отвязаться: а чем я живу? Юная девчонка смогла испытать нечто и целых пять минут подчёркивала нам нашу убогость, серость, наше убудочное существование. Мы все были дикарями, а она — принцессой. И мне, как дикарю, хотелось шлёпнуться на колени и воздеть к ней руки. Я знал мир рядом с собой, мир вокруг себя. Оказывается, не знал. Представляешь, всю жизнь думать, что жил, а потом понять, что всё это — пшик, ахинея, наш социальный бред.

Я вопил ей: *спускайся!* Мысленно, конечно, я тогда боялся даже рта раскрыть. *Спустись же, родная! Довольно! Пожалуйста, спустись вниз!*

Тогда и произошло. То, чего я и боялся, в конце концов. Дикари, знаешь, горазды поковеркать шедевры изящного. Один из ментов — один из тех, кому мама наверняка не читала в детстве сказок, а пичкала мясом и пирожками, приговаривая, что всё в мире стоит денег, — один из этих кретинлов схватил мегафон и заорал:

— Гражданка! Немедленно прекратите летать!

Представляешь, кладезь сообразительности?! *Немедленно прекратите летать.* Это как подвалить к Богу и ляпнуть, между прочим: старик, а приличный мирок ты соорудил, скромняга! Я еле удержался, чтобы не вырвать у дебила мегафон и не поместить его на место его тупорылой башки. Представь, жалею теперь! Без шишек бы не отделался, зато какое наслаждение бы получил, до сих пор бы в нём грелся. Просто я тогда не мог оторваться от неба.

Я видел, как она трепыхнулась. Небесная голубка, поддетая стрелой варвара. Как сбился её полёт. Помню до сих пор её отчаянный взмах руками; она, видно, пыталась вернуть себе состояние полёта, или невесомости, или что там у неё было. Не упустить чувство, против которого силы земного притяжения — интерес таракана. Она кувыркнулась на высоте пятидесяти метров от земли, и вот тогда я понял: *лебедь. Это лебедь.* Только уже раненый лебедь. Не удалось ей удержаться, хотя она очень старалась.

Сердце моё сделалось как камень. Я всё повторял, что это игра, она не может упасть. Она взмахнёт руками и унесётся в небо, подальше от криков, от мегафонов. Прочь от толпы дикарей. Она шмякнулась на мостовую. И знаешь, я по-прежнему не преувеличиваю — это был особый звук. Мне доводилось иметь дело с самоубийцами, и я знаю, как падают люди с большой высоты. Это был не

тот звук. Не человеческий. Нет. Слишком мягкий и до боли жалобный. Она упала не головой вниз, а как бы всем телом распласталась по земле.

Мы обступили её кольцом, не решаясь подойти. Она лежала на мокрой мостовой, юное создание, и её мёртвые глаза смотрели в небо. Туда, где она постигла настоящее счастье. И даже струйка крови у неё изо рта не могла испоганить красоты.

А потом её положили на носилки, сунули в машину «скорой» и повезли в морг.

Мы молчали. Мой знакомый изучал свои ногти, не глядя на меня. Поэтому он не мог видеть моего состояния. Осторожно, чтобы не выдать рыданий в голосе, я спросил его:

— А как звали ту девушку? Ты не узнал?

Он усмехнулся, не поднимая глаз.

— После того, что я увидел, я просто не мог не поехать за ней в морг, — сказал он. — Представляешь, в деле не хотели даже заикаться о её полёте. Обычное самоубийство. Я настоял. Я видел то, что видел. Возникло новое объяснение, прямо из табакерки. Оказалось, девушка и впрямь была наркоманкой. И она смогла до такой степени убедить себя в реальности полёта, что просто полетела. Психиатр мне так говорил. Но я ему не поверил, только не сказал ему об этом. Потому что он и сам не верил. Это практически всё, что я помню. Многого забылось... Точно могу сказать, что она была не питерская. Приехала откуда-то из провинции. А как звали... Лена или Таня... Не помню.

— Может быть, Маша?

— Может быть, — равнодушно отозвался он, и внезапно его взгляд напрягся. Теперь он вновь стал таким, каким я его привык видеть. — А ведь точно, — хрипло произнёс он. — Я только сейчас вспомнил. Откуда ты знаешь? Уже слышал что-нибудь? Там была куча народу, может...

Но я уже был от него далеко.

Сейчас я сижу на крыше своего дома. Он довольно высок, и я думаю, мне удастся совершить то, что я задумал. Я убеждён в одном: моя жизнь началась с того момента, когда возле уличного киоска я познакомился с девушкой с зеленоватым приговором в глазах. Это был первообраз, начало судорожного полёта моей души, моего разума. Подходит время венца усилий. Время завершить этот цикл. Во мне искрит надежда на готовность к обретению.

Мне жаль мою жену. А при воспоминании о детях по моему лицу текут слёзы. Неудача прихотлива. Кто может знать, через что нам придётся перешагнуть уже завтра, быть может, через что-то более страшное, чем ниточку, отделяющую твердь от бездны. За моей спиной не осталось записки, ведь они не смогут понять. И я бы тоже не смог. Успокоение приносит то, что на моём счёте достаточно денег для безмятежного существования на много лет вперёд. Но они поймут, не смогут не понять, что деньги не в силах дать нам покой, затмить стремление наших душ к свету. Туда, где сияет блаженство.

Пусть это и будет моим главным наследием. Оно изменит их жизнь, откроет перед ними законы, постичь которые человечество пока не в силах. Разбудит в них образ лебедя, за видимой фатальностью — желание выступить из общего круга. Я принимаю эстафету. Я продолжу то, что

она не смогла закончить. Моя нечаянная подруга, мой сладкий образ, мой всплеск неземных чувств, которые наиболее остро отражены нашей обречённостью. Той, что подталкивает нас к краю обрыва.

И иногда нужно просто прыгнуть, чтобы стряхнуть с себя злой рок и на все времена избавиться от страха.

г. Москва

Андрей Донец

Один день из жизни Михаила Х.



«Засыпал Шухов, вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за выписанных годов — три дня лишних набавлялось...»

А. Солженицын.
«Один день Ивана Денисовича»

Каждое утро, кроме пятницы и субботы, Михаил Ш. встаёт, чистит зубы, завтракает и отправляется на работу. Сначала пешком, проходными дворами, с полчаса до остановки, а потом ещё минут пятнадцать на автобусе. Всё обычно, казалось бы. И сам Михаил, на первый взгляд, вполне обычный, даже импозантный мужчина, слегка за сорок, со вкусом одет. Умён, начитан, отличный собеседник. Обычен, да вот только одно «но» — Миша болен. Тяжело и, скорей всего, навсегда. Шизофренией. Вся жизнь наперекосяк: ни семьи, ни детей, ни профессии. Болезнь впервые проявилась в юности, и с тех пор, до приезда в Израиль, Миша почти всё время кочевал по больницам. В России домой редко отпускали. Здесь же, у нас, лекарства понадежней — крепко держат «в седле». Болезнь отступила, дала передых. Уже полгода, как не попадал в больницу. Но... Он вернётся туда. Как медик понимаю это лучше других.

А пока мы едем в сумасшедший дом. Он — на работу. Я — на экскурсию... Сейчас Миша здесь не лечится, а работает. Место называется Отделение трудотерапии при беэр-шевском центре душевного здоровья... Миша работает реабилитируемым.

...Эту систему придумали, как и всё у нас, в Америке, правда, не от хорошей жизни. Раньше душевнобольных пожизненно содержали в больницах. С годами стационар дорожал, и власти, дабы сэкономить, затеяли реформу. Всех сколь-либо способных обслужить себя больных, согласно нововведениям, следовало выпустить на волю. Но нетрудно представить: человек, ничего, кроме сумасшедшего дома, не видавший, никак не приспособлен к вольной жизни. Поэтому к свободе его решили приучать постепенно, через ту же трудотерапию. В Америке реформа провалилась. С треском. Выписанные больные в большинстве своём на воле не прижились и нынче бомжуют по городам и весям самой свободной страны.

Израильтяне же усердно адаптируют неудачный опыт старшего брата. И выписывают всех, кого можно, и трудом врачуют.

...Хорошо в сумасшедшем доме. Тихо, уютно, прибрано. Палисадники в цвету вдоль мощёных

аллей. Невысокие корпуса отделений чем-то похожи на саркофаг четвёртого реактора ЧАЭС. Правда, весёленькие, светло-бежевые. Кругом разгуливают шизофреники: приветливые и агрессивные, весёлые и безразличные.

Посередине — площадь с фонтаном. Фонтан, вопреки надеждам депрессивных, неглубокий. Рядом с ним — кафе, магазины для «прихожан» — посетителей... Одна беда — мочой повсюду несёт и, чем ближе к стене, тем сильнее...

...Он (Михаил Ш.) вернётся сюда скоро, может, навсегда. То, о чём он сегодня расскажет, станет его повседневностью. Верить или нет — каждый решит сам для себя... Чем тут поможешь. Но тогда хоть выслушаешь сумасшедшего человека. Пока можно.

Работа

Работа, как любая другая, пять раз в неделю, с восьми до двенадцати. Собираем, клеим, шьём, пакуем. Жаль только, что платят мало...

Мало — это сто шекелей. В месяц. За ежедневную работу.

Что за работа? В разных комнатах по-разному. В основном, пакуем. Укладываем одноразовые ложки.

Другие собирают наборы для «Эль-Аля» — пакетик: вилка, ножик, соль, перец. Да ты видел их тысячу раз в самолётах. Пакетик — он изначально склеенный, и разлепить его, чтоб наполнить, — адский труд.

Есть комната, где к шахматным фигурам бархатные лоскутки приклеивают, — казалось бы, что за работа, а знать нужно, к какой фигуре — какой лоскуток. Да и платят «шахматистам» по пятьдесят шекелей в месяц...

А я сейчас в лучшем нашем, элитном, отделении. Мозаикой занимаюсь. Есть у нас и художники, и чеканщики. Работа куда интересней, так вот, видишь, столтник заплатили. На этих постылых мне ложках я имел сто с полтиной...

Наказания

В одном отделе можно и припоздниться, и не вкалывать особенно — и ничего, пройдёт. А в других опоздал на несколько минут — десять шекелей из зарплаты вон. Не побрился — ещё десять шекелей минус, не принял душ — опять отымут десятку. Принимаются. А ты представить себе не можешь, когда плохо, когда задавлен этими лекарствами, помыться-побриться — это тяжкий труд. Я себе бороду отрастил, чтоб не бриться, сил нет... Вставать каждый день в семь утра тоже пытка. А бросить жалко, да и врачи говорят: режим, полезно... Если б вообще ничего не платили — бросил бы, конечно. Живу на сущие

гроши, каждый шекель на учёте. С этой сотней я хоть что-то могу себе позволить...

Устроиться бы в другое место, где платят тот же минимум, да куда?! Кому мы нужны... Живём кто как может. Один, бывший адвокат, печёт дома оладьи и продаёт их здесь по пять шекелей штука. Кто-то купит пачку сигарет и потом торгует в розницу, по шекелю каждая. Ещё — купят бутылку колы, продают на разлив...

Но всё равно лучше так, чем опять в больницу.

Милосердие

Чего мочой-то несёт — нас несколько раз на день выгоняют из палат на прогулки, два-три часа каждая. И если тебе приспичило — твои проблемы. В туалет не пустят. Ведь медбрат в таком случае тебя должен сопроводить. А он отказывается, мол, перетерпите. Терпеть — не терпит никто, где стоят, там и... и спят там же, между говна. Какие прогулки — в жару, с лекарств! Еле на ногах держишься...

Душевные у нас медбрата. Подходит ко мне как-то один такой душевный перед сном.

Наш, «русский». Говорит: «Сейчас я сделаю тебе укол. Ты от него ночью обо...ся. Но учти: я тебя мыть не буду». Так и было. После сопрел весь, долго маялся...

В «буйных»...

Голодно в «буйных». Если привозят еду (курицу, например) — её сначала персонал разбирает. Остатки «выбрасывают» больным. На всех не хватает. Кто посильней, подходит к слабым, отбирает. Если тот сопротивляется — бьют. Здесь же, на месте. И потом тоже избьют. Для профилактики.

А эти... персонал. Стоят, смотрят... Они в наши дела не вмешиваются. Хотя когда как. Однажды я в «открытом» лежал, к нам сбежал какой-то дедок из «буйного». Увидел телегу с едой — подскочил, начал всё подряд надкусывать... Весь обед нам перепортил. А дедок хиленький. Я взял его аккуратно под руки, пытаюсь оттащить от еды — не даётся. Сёстры увидели, позвали санитаров. Меня же и скрутили, дали аминазин...

...Что еды! Элементарного — подушек в «буйном» вечно не хватает. Жуткие драки из-за подушек, воруют их друг у друга. А не дай Бог, у пахана подушку стащить — всё, незачем тебе подушка после этого...

Бывалых у нас достаточно... Особенно в «буйных». Это зона. Только вместо вохра — санитары, аминазин вместо карцера.

Любовь

В «буйных» отделениях мужики и бабы в одной палате лежат. Секс — много его, обычно в туалет за этим идут, но иногда тут же, в палате, при всех. Одной бабёнке курить захотелось. Сосед её по палате рядом с нею дымил. Говорит ему: «Хоть чинарик оставь, а?» — «Отстрочи, милая, — отвечает, — тогда оставлю». И что? Отстрочила ничтоже сумняшеся. И докурила потом — заработала. Минет за окурков да ещё и при всех — дело у нас обычное. Другие бабы, кто покультурней,

делают это в клозетах и по двадцатнику за раз берут. Не всё, конечно...

Наши бабы, много наших...

...Сходятся у нас иногда. Не семья, но всё равно не один. Была пара — оба «глуховые» (деградированные), жить им было негде, лежали в больнице много лет. А потом их выгнали. На улицу.

Лечение

Я только поступил в «открытое». Так на душе было тошно, не мог уже — поговорить нужно было. Срочно. А смена ночная, иду к сёстрам, прошу: доктора позовите, плохо мне. А мы, по таким пустякам врачей не беспокоим, отвечают. Я не то чтоб разбушевался — прикрикнул. Прибежала врач. Выслушивать меня и не собиралась, наоборот, наорала и говорит: выбирай себе наказание (за то, что крикнул) — или привяжем тебя, или укол. Я выбрал укол. Мамочка родная! Что со мной после укола этого сделалось... Я был, как сомнамбула. Где находишься — не понимаешь. Сознание включается лишь на несколько секунд, а потом пропадает. Пытался до туалета дойти. Всю ночь блуждал (куда только не попадал: и в женское отделение, и в другие корпуса). Потом мои вещи по всей больнице находили. А до туалета я так и не дошёл... И не помню почти ничего.

Труд

Перед выпиской перевели меня в лёгкое оздоровительное отделение. Там ещё старый заведующий был. Так он — то ли метода у него такая, то ли на уборщицах экономил — уборкой корпуса занимались только больные. Вторник и пятницу драили палаты и туалеты, раз в месяц — весь коридор. В столовой посуду мыли, столы протирали. Заведующий ходил за нами, проверял, хорошо моем или нет. Баллы ставил, потом подсчитывал. Каждую пятницу устраивал общие собрания в столовой, оглашал результаты «соцсоревнования». Тому, кто хорошо драил, приз — шоколадка или домой на выходные отпускал... Когда отсидел в дурдоме безвылазно несколько месяцев и так домой хоть на пару дней хочется, сидишь, дрожишь: отпустят или недоусердствовал в отмывке унитаза, баллами не вышел. Слава Богу, пришла новая заведующая, уборщиц наняла...

Конец

Нет, не в «буйном». В гериатрии, в старческом, — там страшнее. Туда умирать свозят. Кто из старичков из ума выживший — тому полегче, а когда всё понимаешь... Долгое время старик у нас в садике сидел почти весь день, если погода разрешала. Древний старик, не ходил совсем. Сидел в старой женской кофте, взгляд у него был такой всепонимающий. И в этом взгляде прощение. Он прощал всем и всё: санитарам — кофту, миру — одиночество и никому на хрен ненужность.

Мечта

Обещали ведь, буду хорошо работать — заплатят сто пятьдесят в следующем месяце. А я добротню работаю, стараюсь...

Если бы набавили полтинничек!

Лев Николаев

Во власти фанатиков

дневник профессора



Об авторе

Мой дед, Лев Петрович Николаев, родился 28 января 1898 г. в дворянской семье Таганрогского художника и известного философа — теолога Петра Петровича Николаева, автора книги «Понятие о Боге как о совершенной основе сознания», изданной в Женеве в 1907 году.

Философ Пётр Николаев, мой прадед, сотрудничал со Львом Толстым, переписывался с ним, активно поддерживал идеи и взгляды толстовства, философски и теологически обосновывал их, затем (уже в 20-е гг. XX в.) помогал членам толстовских сельскохозяйственных коммун. Одну из книг моего прадеда Л. Н. Толстой читал незадолго до своей смерти, о чём оставил запись в дневнике. Мой дед назван Львом в честь Льва Толстого.

Преследуемый царским правительством России за свои философские и социально-политические убеждения, Пётр Николаев в 1904 году был вынужден оставить родину и эмигрировать с женой и шестилетним сыном во Францию. Детство моего деда прошло в Ницце. Прадед работал художником на керамической фабрике в департаменте Приморские Альпы, писал и издавал философские сочинения; его жена, моя прабабушка, служила домработницей.

В Ницце Лев Николаев с отличием окончил лицей, был удостоен звания бакалавра, а в 1915 году в 17-летнем возрасте закончил естественное отделение Парижского университета, а затем два курса медицинского факультета того же университета.

Февральская революция и долгожданное падение монархии в России устранили препятствия к возвращению моего деда на родину. В августе 1917 года Лев Петрович Николаев устремился в Украину и поселился в Харькове, где жил его дядя П. Л. Успенский, родственник писателя Глеба Успенского. В Харькове Лев Петрович поступил на 3 курс медицинского факультета Харьковского университета, который в те годы был переименован Высшую Школу Украины. Окончил обучение в ней мой дед в 1920 году.

В 1920 году Лев Николаев начал свою трудовую деятельность в качестве ассистента кафедры анатомии биологического факультета Харьковского университета и одновременно, под руководством выдающегося деятеля науки Украины проф. М. И. Ситенко — в качестве ординатора Харьковского медико-механического института (позже — Украинского института ортопедии и травматологии им. М. И. Ситенко).

В 1924 году учёный совет Харьковского университета избрал Льва Николаева на должность профессора кафедры анатомии, где он проработал до 1936 года. Владея в совершенстве французским и немецким языками, Лев Петрович широко

публиковал свои работы не только в Украине, но и за рубежом, прежде всего — в горячо любимой всей его семьёй Франции. Одно из прозвищ деда, которыми наделили его приятели, было «Француз». В день падения Парижа в 1940 г. дед сказал: «История Европы закончилась».

В 1926 году он был избран почётным членом Парижского общества морфологов, а в 1927 г. — действительным членом Парижского общества антропологов. Во время поездок во Францию Лев Николаев работал в антропологических лабораториях Парижа, где занимался краниологией, изучая древнейшие черепа египтян.

В 1923–1929 гг. Лев Николаев руководил антропологическим кабинетом Украинского психоневрологического института. Благодаря трудам проф. Николаева получила своё развитие промышленная биомеханика Украины.

В 1934 г. проф. М. И. Ситенко предложил Льву Николаеву создать при Всеукраинском институте ортопедии и травматологии первый в стране отдел биомеханики как составной части физиологии опорно-двигательного аппарата, «философии ортопедического мышления» (определение М. И. Ситенко).

В отделе, разрабатывающем философию ортопедического мышления, кроме Льва Петровича, работал Г. С. Козырев, а также ученица, сотрудница и супруга Льва Николаева, моя бабушка, профессор Ольга Викторовна Николаева — Недригайлова, дочь известного бактериолога, профессора Виктора Ивановича Недригайлова, одного из основателей Пастеровского прививочного института и бактериологической станции в Харькове (ныне — Институт микробиологии, вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова на ул. Пушкинской), прозаика, драматурга, учёного, друга Мечникова и ученика Пастера.

В 1935 г. решением квалификационной комиссии Наркомздрава Украины Льву Петровичу была присуждена учёная степень доктора медицинских наук и он был утверждён звании профессора по кафедре «антропология».

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Лев Петрович не смог эвакуироваться в связи с тяжёлой болезнью — астмой. Вместе с женой и двумя детьми он остался в оккупированном немецкими фашистами Харькове. Как только после изгнания фашистов был восстановлен реабилитационный центр — институт циэтин, мой дед с октября 1943 года возобновил свою работу в должности заведующего отделом биомеханики и учёного секретаря этого института.

После войны мой дед много болел. 10 декабря 1954 г. он скончался на 56-м году жизни после тяжёлой операции. Последние часы своей жизни

201

Лев Николаев ■ Во власти фанатиков

перед роковой операцией он продолжал отдавать науке, оставив каждому своему ученику научное завещание. Отдел физиологии и патофизиологии движений в Институте ортопедии и травматологии им. проф. М. И. Ситенко после смерти Льва Николаева возглавила его жена проф. О. В. Николаева — Недригайлова.

Перу Л. П. Николаева принадлежит более 100 научных работ. Круг вопросов, которым были посвящены эти труды, широк: нормальная и прикладная анатомия, промышленная антропология, вопросы стандартизации обуви, создание манекенов и лекал для швейной промышленности, исследование развития взрослых и детей разных национальностей, биомеханика опорно-двигательного аппарата, археология, бальзамирование трупов у древних египтян, описательные признаки героев Ф. М. Достоевского.

Жена и любимая ученица Льва Петровича, проф. Ольга Викторовна Николаева — Недригайлова (1898–1972), художник, врач, ортопед-травматолог, антрополог, блестящий знаток французского и немецкого языков, беспартийный делегат Первого Всероссийского Съезда Советов, выдающийся деятель науки Украины, почётный член Международного института антропологии в Париже. Её перу принадлежит более 100 научных трудов, посвящённые проблемам антропологии, физического развития и спорта, происхождения человека, биомеханики, ортопедии, травматологии и протезирования, на 4-х европейских языках.

Во время Великой Отечественной войны Ольга Викторовна осталась в Харькове в связи с болезнью мужа. При обороне Харькова от фашистов Наркомздравом Украины было организован госпиталь по обслуживанию раненных бойцов Красной Армии на базе объединённых клиник Ортопедического и Рентгенологического институтов на ул. Пушкинской.

Во время фашистской оккупации Харькова О. В. Николаева — Недригайлова в этом госпитале, пользуясь своим знанием немецкого языка, под носом у фашистов, оказывала медицинскую помощь пострадавшим во время военных действий жителям города и скрывавшимся под их видом военнослужащим Красной Армии.

В семье Л. П. Николаева было двое детей. Сын Олег Львович Николаев, мой дядя, во время войны с фашистами был отважным героем-подпольщиком и незаконно репрессирован органами НКВД. Впоследствии полностью реабилитирован. Арест и гибель любимого сына, талантливого, блестяще образованного юноши — антифашиста и патриота Украины, надежды семьи, были самой большой трагедией в жизни моего деда и моей бабушки. До последнего они боролись за освобождение Олега, писали письма высшим руководителям страны, но это не помогло. Палачи ответили деду, что выяснили: Олег герой, ни в чём не виноват, произошла ошибка следствия, но разыскать Олега невозможно — он пропал без вести при пересылке заключённых с одного этапа на другой. Следственное дело Олега Николаева (в период перестройки М. С. Горбачёва) было скопировано сестрой Олега, Еленой Львовной Николаевой (Кургановой). Даже в 60-е годы в моей семье вспоминать об Олеге было нельзя, чтобы не травмировать бабушку,

а соседка по квартире Вера Андреевна иногда кричала мне: «Твой родной дядя предал родину, и наши его расстреляли, как собаку!»

Дочь Елена Львовна Николаева (Курганова-Абакуменко), моя мама, работала врачом — микропедиатром во Львове, а затем — в Харьковском институте ОХМАТДЕТ, руководила иммуногематологической лабораторией в 8-м родильном доме, а затем работала на областной станции переливания крови. Её перу принадлежит ряд опубликованных научных исследований в области микропедиатрии.

Л. П. Николаев написал, но не опубликовал, целый ряд художественных произведений (в основном, это пьесы острого социально-политического содержания). Неопубликованным осталось также одно из любимых произведений моего деда, посвящённое героям романов Достоевского (на грани литературоведения и антропологии).

Всю жизнь мой дед вёл дневник. «Во власти фанатиков» — это один из фрагментов дневника Льва Николаева, охватывающий 1936–1943 гг. Деду довелось испытать власть фанатиков, под которыми он понимал, как это видно из дневника, и Сталина, и Гитлера. Теоретическое сопоставление этих диктаторов, осуществлённое в дневниках 1936–1937 гг., уникально. Оно затем дополняется сравнением условий жизни семьи украинского профессора во время сталинского террора и — в период оккупации Украины фашистами (дневники 1941–1943 гг.). Забегая вперёд, скажу, что мой дед не разделял иллюзий части интеллигенции Харькова относительно возможных намерений Гитлера (некоторые думали, что Гитлер может принести освобождение от сталинского террора, и жить станет хоть немного легче), а последовательно показывал чудовищную жестокость и антинародность как сталинской, так и гитлеровской диктатур.

В настоящей публикации представлен большой фрагмент из дневника 1936–1937 гг. Большой интерес представляет произведённый Львом Николаевым в этом дневнике зимой 1937 г. культурно — исторический анализ судебного процесса над участниками так называемого «троцкистского параллельного центра». Л. П. Николаев один из первых осуществил попытку научно доказать, что этот процесс грубо сфальсифицирован И. В. Сталиным. Живя и работая в Харькове, мой дед в 1937 году, конечно, не мог располагать возможностями современного историка, имеющего доступ к соответствующим архивным материалам, и был вынужден обращаться лишь к советским газетам, свидетельствам соотечественников и к собственному тюремному опыту 1933 г. Тем не менее, многие гипотезы Л. П. Николаева относительно целей судебного процесса и причин странного поведения подсудимых впоследствии подтвердились.

С. Ю. Курганов

26 декабря 1936 г.

С раннего детства у меня была склонность писать дневники. Мои первые записи были произведены в возрасте семи лет. Я помню, что моя няня переписала мой первый дневник и получила целых четыре страницы. Если я не ошибаюсь, я жил тогда вместе с родителями в Швейцарии. В этом первом дневнике, содержание которого я припоминаю очень смутно, я описывал моё путешествие из России за границу. Он был написан по-русски. Затем в возрасте 12 лет я вновь стал вести дневник, на этот раз на французском языке. Очень аккуратно, каждый день, я отмечал полученные мною в школе отметки, посещённые спектакли, игры с товарищами. Лишь с четырнадцатилетнего возраста я стал записывать мои впечатления об окружающих людях, о прочитанных книгах, мои мечты о будущем. Эти дневники сохранились у меня. Я прервал эти записи лишь в 1917 году после моего приезда в Россию.

Тогда время было тяжёлое. Я голодал, много работал, давал уроки французского языка и учился в университете. Не было возможности записывать свои переживания: их было слишком много, они были слишком разнообразными и слишком яркими. Для того, чтобы их записать, нужно было сосредоточиться, а жизнь была тогда такая бурлящая, такая волнующая, что уединиться душевно и сосредоточиться было невозможно.

Я начал вновь писать дневник в 1932 году. Настроение в то время было у меня очень тяжёлым. Был голод. Кругом меня я видел истощённых, озлобленных, измученных людей. Меня беспокоила судьба моей семьи. Я предчувствовал арест. В моём дневнике отразилось моё тяжёлое настроение. В первые дни после моего ареста жена уничтожила его.

И вот я вновь начинаю писать дневник. Чем объясняется эта склонность записывать свои переживания? — Прежде всего, тем, что я всю жизнь чувствовал себя одиноким. Мой шизоидный характер отличается замкнутостью. В детстве у меня было лишь мало друзей. Сейчас их у меня совсем нет. Есть жена, которую я очень люблю и которой я сообщаю все мои мысли. Но это недостаточно. Хочется сохранить как можно дольше частиц моего вечно меняющегося «я». Этого можно достичь только посредством записей. Так много пережито и так много забыто! Забытое — это есть навсегда исчезнувшая часть моей души. Это есть частичная смерть моей личности. Я испытываю тяжёлое чувство, когда убеждаюсь в том, что я забыл те или иные события моей жизни, которые в своё время остро переживались мною. К сожалению, я обладаю способностью особенно быстро забывать счастливые моменты, и, наоборот, грустные или позорные воспоминания сохраняются моей памятью гораздо дольше. Эта особенность находится, вероятно, также в связи с моим шизоидным темпераментом. Если верить моей памяти, моя жизнь была полна только неприятными переживаниями. Между тем, это, несомненно, не так.

Было, конечно, очень много тяжёлого, но были радостные дни. Моя память — это решето, пропускающее все счастливые события и задерживающее лишь грустные и ужасные. Дневник позво-

« С недоумением спрашиваешь себя: как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных терзаний, поруганного и ниоткуда не защищённого существования? — и, к удивлению, отвечаешь: однако же жили! »

Прекрасная характеристика условий существования интеллигентов в СССР Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина»

« D'ailleurs, il y a deux grandes manières d'être esclave, celle de Spartacus et celle d'Épictète. L'un brise ses fers, l'autre prouve son âme. Quand l'écrivain enchaîné ne peut recourir à la première manière, il lui reste la seconde. »

Victor Hugo (Pendant l'exil. Tome II 1862)

« Et je doute qu'en aucun autre pays aujourd'hui, fût-ce dans l'Allemagne de Hitler, l'esprit soit moins libre, plus courbé, plus craintif (terrorisé), plus vassalisé en U.R.S.S. »

André Gide

ляет исправить эти дефекты памяти, ибо можно записывать как горе, так и радость. Правда, у меня существует всегда большой стимул фиксировать моё внимание на тяжёлых событиях, но я постараюсь впредь избежать этого недостатка и придать моим записям более объективный характер.

Другая причина, которая побуждает меня писать дневник, это то, что мы находимся накануне величайших событий. Также как в 1917 году, земной шар представляет собою кипящий котёл. Все ждут, что скоро будет война, а за ней последует несомненно ряд внутренних переворотов. Не знаю, увижу ли я это. Возможно, что мне суждено погибнуть раньше. Но если я буду свидетелем этих ужасных событий и если я переживу их, мне, вероятно, будет интересно когда-нибудь перечитать эти записи.

Может быть, и мои дети или внуки когда-нибудь возьмут в руки эту тетрадь, и им будет интересно знать, как жил и страдал их отец или дед.

Итак — решено! Я буду писать дневник. Я буду записывать не только мои мысли и личные переживания, но буду отмечать также и некоторые политические события. Я предвижу заранее, что мой дневник будет довольно бессвязным, но это почти неизбежно, так как систематизированное изложение получается только в том случае, если приходится описывать давно минувшее. Лишь тогда можно дать каждому событию присущий ему удельный вес и отдавать больше внимания «важному», «главному», нежели «мелкому» и «второстепенному». Но при ежедневных записях трудно оценить значение переживаемого: то, что волнует в данное время, кажется наиболее важным и интересным. Впрочем, иногда именно в мелочах наиболее ярко выявляется сущность человека.

27 декабря

Сегодня я прочёл в газете «Правда» (от 26-го декабря) статью Хотимского, озаглавленную «Здо-

203

ровые населения СССР». Я не верил своим глазам, читая те цифры, которые приводит там этот неизвестный мне автор. Оказывается, что по сравнению с 1913 годом заболевания сифилисом в СССР уменьшились на 85%. Среди крестьян призывного возраста в Харьковской, Московской, Свердловской, Курской областях, в Белорусской ССР, в Армянской ССР и в ряде других областей СССР не обнаружено ни одного сифилитика! По сравнению с 1913 годом заболевания дифтерией уменьшились на 80%, заболевания брюшным тифом — на 71%, оспой на 96% и т. д. . . Процент физически слабо развитых призывных оказался ничтожным и по различным областям не превышал 1,9% между тем как в 1913 г. он достигал местами 15–20%.

Ведь это всё ложь с начала и до конца! Никто не верит этой лжи. Для чего же её печатать в газете, являющейся центральным органом коммунистической партии?

Передо мной лежит сейчас брошюра профессора С. А. Томилина «Венерические болезни в окружных городах Украины в 1927 г.» В конце 1928 г. она была издана с очень хвалебным предисловием народного комиссара здравоохранения Украины Д. Ефимова. Затем она была предана диалектической анафеме и профессора Томилина изгнали из занимавшейся им кафедры социальной гигиены за то, что он в этой брошюре, а также в некоторых других научных работах не подделал цифры и опубликовал статистические материалы, вполне соответствующие действительности. (В то время было ещё возможно печатать статистические материалы о распространении различных заболеваний, не фальсифицируя их). Какие же цифры приводятся проф. Томилиным? Оказывается, в 1913 г. на Украине на 10.000 населения имелось 45,0 сифилитиков, а в 1924 г. — 46,7 сифилитиков. Иначе говоря, за указанный период никакого снижения не произошло. При этом сифилис по сравнению с гонорреей и мягким шанкром приобрёл большее распространение, как это видно из следующих данных:

	1909–13 гг.	1926–27 гг.
Сифилис	49,4%	55,5%
Гонорея	37,3%	42,3%
Мягкий шанкр	13,3%	2,3%

Так было 9 лет тому назад. И вот оказывается, что в 1936 г. распространение сифилиса уменьшилось на 85%! Блажен, кто верует этому! В квартире, в которой я живу, занимают одну комнату доцент З. И. Синельников и его жена д-р Воловник. Оба они — венерологи. Д-р Воловник работает в студенческой амбулатории. Оба рассказывали мне, какой большой процент молодых людей больны венерическими болезнями. Кому же верить? Заведомо фальсифицированным цифрам официальных статистик или лечащим врачам, перед глазами которых проходит ежедневно громадный материал? Что касается цифр о распространении дифтерии, скарлатины, брюшного тифа и т. д., то я не располагаю другими материалами, которые можно было бы противопоставить официальным цифрам. Ведь все эти данные засекречены и совершенно недоступны. Но все врачи префрочно знают, какие громадные эпидемии дифтерии и

скарлатины были и в прошлом, и в этом году в г. Харькове. Месяца два тому назад я лично слышал доклад заместителя наркома здравоохранения УССР Медведя, который громил дирекцию Харьковского Института Экспериментальной Медицины за то, что сотрудники института занимались разработкой малоактуальных проблем, в то время как на Украине ещё свирепствуют эпидемии брюшного тифа, дифтерии, скарлатины и т. д. Вот разберись, где правда? Если верно, что инфекционные заболевания уменьшились на 70–80 %, то для чего нужно было заместителю наркома здравоохранения упрекать сотрудников уиэма в том, что они не занимались изучением инфекционных заболеваний (чем, кстати сказать, им и не следовало заниматься, так как имеется в Харькове другой, очень мощный бактериологический институт, который специально изучает различные инфекции).

Я часто задавал себе вопрос: для чего так нагло лгут советские газеты, перешеголявшие в этом отношении даже наиболее продажные буржуазные газеты. Ужас заключается в том, что эта ложь должна обязательно распространяться не только в газетах, но и в научных работах. Если какой-нибудь учёный осмеливается привести в своей работе цифру, хоть в слабой степени расходящуюся с официальными данными, его за это беспощадно ругают на собраниях, в печати, а иногда выгоняют с занимаемой должности. Советский учёный поставлен перед перспективой либо лгать, либо замалчивать истину, что также является формой лжи.

Для всех истинных учёных, т. е. для честных людей эта неизбежная ложь является чрезвычайно тягостной! Я думаю, что советская власть не потерпела бы никакого ущерба, если бы о распространении заболеваний в СССР писалась бы правда. Весьма возможно, что многие инфекции несколько уменьшились по своему распространению, но, конечно, не на 70–80%. Если бы писалась правда, она оказалась бы достаточной для того, чтобы доказать несомненность успеха советского здравоохранения. Для чего же врать? Неужели же вы не понимаете, дорогие товарищи, что вы этим приносите не пользу, а вред советской власти, ибо вашим заведомо ложным цифрам никто не поверит ни у нас, ни за границей!

28 декабря

Жена мне сообщила, что уволен из научно — исследовательского института, в котором он работал, профессор Коцевалов. По словам его сестры, он уволен за то, что печатал слишком много научных работ за границей. Лишь в течение последнего года он издал в иностранных журналах десятков научных статей. Странный человек этот Коцевалов! Он — эпилептик и на вид почти идиот: ходит всегда под руку с своей старушкой матерью, так как эта последняя боится оставить его одного. И вместе с этим он является крупнейшим учёным. Он знает в совершенстве латинский и греческий языки; он владеет ими настолько хорошо, что некоторые его статьи он написал на древнегреческом наречии. Его специальность — эпиграфика, т. е. расшифровка древних надписей. С социалистическим строительством

и промышленностью эта наука связана очень слабо. Очевидно, поэтому трудами Коцевалова в СССР почти никто не интересуется. Что же ему оставалось делать, как не посылать свои работы в иностранные научные журналы. И за это этого безобиднейшего и преданнейшего науке учёного идиота сократили из Института истории культуры! Бедная советская наука! В 1924–1928 гг. она начала было расцветать. Затем она всё более и более хирела и, наконец, недавно вождь народов Сталин прикончил её одной фразой: «Что это за наука, если она не связана с практикой!» Этими словами он похоронил науку в СССР, ибо наука должна быть, прежде всего, наукой, т.е. точной констатацией явлений во всех отраслях знаний независимо от того, нужны ли эти данные для социалистического строительства или не нужны. Практическое применение знаний не является целью науки; оно оказывается лишь одним из возможных следствий научных исследований. Производя свои научные изыскания, учёный часто не может предвидеть, какие практические применения найдут установленные им данные. Когда Мечников изучал явления метаморфоза у насекомых, он, вероятно, не думал о том, что из этих чисто теоретических исследований возникнет стройное учение о фагоцитозе, имеющее большое практическое значение для медицины. Требовать от учёного, чтобы он ставил себе только практические задания — это значит не понимать, что такое наука.

Коцевалова было легко сократить за ненужностью! И действительно без его науки могут легко обойтись наши современные варвары. Это не мешает им, конечно, из чисто политических соображений, торжественно встречать чехословацкого профессора Грозного, печатать в газетах статьи о значении его работ по изучению хеттского наречия! Какая это ложь! Всё это делается исключительно для того, чтобы доказать миру, что и мы являемся культурными людьми, что и мы интересуемся историей древних народов. А на самом деле наши советские учёные (крупнейшие специалисты по изучению античного мира) либо сосланы в Сибирь, либо сокращены за ненужностью. Особенно возмутительно то, что предлогом для увольнения является печатание слишком большого числа научных работ за границей! Какая дикость! Каждая страна гордится тем, что её учёный известен всему миру. У нас, наоборот, считается позорным издавать свои научные статьи за границей. Летом этого года произошло гнусное издевательство над академиком Лузиным, которого попрекали, в частности, в том, что он слишком много научных работ печатал за границей, причём он якобы посылал в иностранные журналы свои лучшие работы. Между тем печатать что-либо в СССР является весьма трудным. Научных журналов — мало. Некоторые из них выходят нерегулярно (например, «Антропологический журнал»). Бумага — отвратительная: печатать на ней рисунки и рентгенограммы почти невозможно. Оформление журналов — безобразное. А самое главное это то, что можно получить право печатать работу только после бесчисленных издевательств рецензентов, которые страшно перепуганы и требуют обычно от авторов самые нелепые переделки и

сокращения. Дабы кто-нибудь не подумал, что в работе есть что-то неблагонадёжное, какие-нибудь намёки на антисоветское вольнодумие. Вполне понятно, что при таких условиях советские учёные до последнего времени стремились посылать свои научные работы за границу. Ведь Коцевалову оставалось либо отказаться от своей научной деятельности и ничего не печатать, либо издавать свои труды за границей, ибо в СССР нет журналов по его специальности. Неужели он заслужил за это столь большую кару, как быть выгнанным из научного учреждения и остаться без службы? Дикость и глупость!

Свинья под дубом вековым...

30 декабря 1936 г.

Выписка из газеты «Известия» от 28 декабря: «Как мы уже сообщали («Известия» от 26 декабря) на сессии Академии Сельскохозяйственных наук резкой критике были подвергнуты ошибки акад. А. С. Серебровского. Вчера акад. Серебровский выступил с заявлением, в котором признал свои ошибки и квалифицировал свои взгляды, высказанные в статье в 1929 году, как контрреволюционные и ненаучные, «которые могут быть использованы фашизмом в своих целях». Акад. Серебровский заявил, что статья эта «правильно квалифицированная недавно в «Известиях» как «контрреволюционный бред», представляет собою целую цепь грубейших политических и антинаучных антимарксистских ошибок».

В «Правде» за 29 декабря напечатана речь акад. Мейстера, который, очевидно, является одним из «наших людей», т.е. человеком, готовым к любому словоизвержению по указке приставленного к нему чекиста. Критикуя Серебровского, он заявляет, что «советская женщина» никогда не простит ему тех взглядов, которые он высказал в своё время, что память об ошибках Серебровского переживёт его самого. Иначе говоря, он проклял Серебровского до седьмого поколения.

В чём же заключаются преступления этого окаянного грешника? В 1929 г. когда ещё существовал «Евгенический журнал», он написал статью о том, что для повышения производительности труда нужно подумать о создании физически крепкого и умственно хорошо развитого поколения. Для этого он предлагал сделать опыт искусственного обсеменения известного количества женщин по их собственному желанию, взявши сперму у какого-нибудь видного большевика. В качестве такого он в частных разговорах намечал Бухарина. В этой статье у него были такие выражения, как «пятiletка — это генофонд». Надо признать, что эта статья не блистала особым умом. Совершенно ясно, что евгенические задания по улучшению расы неосуществимы у человека. Конечно, нашлось бы много женщин, которые пожелали бы быть обсеменёнными и затем получать от государства пособие на воспитание ребёнка. Но от этого вряд ли бы особенно улучшилось наше поколение людей, ибо наследственный фонд каждого человека настолько мало известен, что невозможно предвидеть, дало ли бы подобное обсеменение положительные или отрицательные результаты. В частности умственные особенности являются, по-видимому, рецессивными признаками, и среди

десятка тысяч маленьких бухаринцев, вероятно, оказалось бы очень мало психически похожих на своего отца. Абсурдно также говорить, что успех пятилетки зависит от генофонда. Какой тут генофонд, когда можно силой или голодом заставить наших баранов совершить любую работу по планам советских или иностранных специалистов! Человеческого мяса у нас много, и из этого мяса можно выжать нечеловеческие затраты энергии. Итак, статья Серебровского не являлась удачной. И, тем не менее, трудно не возмущаться той травлей, которой подвергался этот человек в течение семи лет. Он каялся десятки раз, и, тем не менее, травля продолжалась. Теперь оказывается, что его «преступление» не забудется и после его смерти. Видите ли, он оскорбил «советскую женщину» тем, что предположил, что её можно искусственно осеменить, и она этого ему никогда не простит. Как будто советские женщины, за редким исключением, знают о существовании Серебровского, и как будто им не глубоко начихать на его взгляды! Впрочем, если бы дать публикацию в газете о том, что нужны женщины для искусственного оплодотворения семенем Сталина или Ворошилова, разве не нашлось бы тысячи психопатов и аферисток, которые согласились бы подвергнуться этим «экспериментам»? Конечно, да.

И вот наряду с подобной травлей учёного, с требованием, чтобы он публично раскаялся и постучал бы лбом об землю, пишется в газетах о том, что нигде на земном шаре учёные не имеют такой свободы творчества, как у нас. А в конституции написано: свобода слова, свобода печати. Какое это издевательство! Какой это цинизм!

31 декабря 1936 г. (утром)

Вчера вечером вернулся из командировки некий гражданин Вайнштейн, аптекарь, занимающий комнату, смежную с моей. Я имею привычку не разговаривать с другими квартирантами. Исключением является д-р Синельников. Поэтому лично с Вайнштейном я не беседовал, но, как экспансивный еврей, он так громко кричал в коридоре у самой моей двери, что мне поневоле пришлось слышать всё, о чём он говорил. Этот аптекарь является чем-то в роде коммивояжёра, который разъезжает по всему Союзу и распространяет какие-то фармацевтические продукты. На этот раз он побывал в ряде мелких городишек Курской и Воронежской областей. В этих частях СССР был сильный неурожай, а сейчас — голод. Люди по трое суток стоят в очереди за хлебом, причём качество этого продукта таково, что он лишь в малой степени соответствует своему названию. Вот — действительность. В наших газетах об этом, конечно, ни слова. Вместо этого — бесконечное словоблудие о том, что «жить стало легче, жить стало веселее», «что нигде так радостно и привольно не живётся, как в СССР», что в других странах голод, а у нас благодать. Когда Гитлер на Нюрнбергском съезде фашистов заявил, что у нас — голод, как наши газеты издевались над этим, сколько карикатур было нарисовано о голоде в Германии! И наряду с этим цинически скрывается, что в самом центре страны целые области лишены хлеба. А ведь это только начало зимы... Ведь будущий урожай лишь через восемь месяцев!

Голод! Опять голод! Был голод в 1921–1922 гг. Был ужасный голод в 1931–33 гг. И вот опять в 1936–37 гг. страна голодает. Почему? В 1921–22 гг. отвечали: Голод объясняется разрухой после гражданской войны. В 1932–33 гг. голод тщательно скрывался и отрицался, но неофициально его объясняли тем, что все средства были брошены на индустриализацию, и для оплаты долгов наш хлеб вывозился за бесценок за границу. Но теперь! Теперь, когда страна окрепла, индустриализировалась, когда имеются сотни тысяч тракторов, тысячи комбайнёров. Теперь, когда нет необходимости комсылать в таком количестве хлеб за границу! Надо признать, что лишь исключительно неумелое руководство сельским хозяйством может привести к подобным результатам на 20-м году после октябрьской революции! Дело, конечно, не во вредительстве, а в полном неумении руководить страной. Конечно, если голод станет явным, будет «раскрыта» контрреволюционная организация, которую обвинят во всех бедствиях. Расстреляют вновь сорок или пятьдесят совершенно невиновных людей, которых предварительно заставят признаться в невероятных преступлениях. Найдутся даже дураки, которые поверят в то, что они голодают потому, что какие-то злодеи задумали напакостить советской власти!

Итак, в стране опять голод. А у нас в Харькове — благодать: в магазинах — много продуктов. В булочных — много прекрасного хлеба. Это делается для того, чтобы была видимость счастливой, привольной жизни. Ведь иностранцы, посещающие СССР, вряд ли будут разъезжать по городам и сёлам Курской и Воронежской губернии. Но многие из них побывают в Москве, Ленинграде, Харькове и других крупных городах. И вот в этих-то местах создаётся видимость благодати. Но надолго ли это будет возможно? Ведь 3–4 года тому назад люди голодали и в больших городах. То, что голод в стране, — это ужасно. Но не менее ужасно то, что это скрывается и что об этом нельзя ни писать, ни говорить. Страна задавлена и мрачно молчит...

31 декабря 1936 г. (вечером)

Часа через три наступит новый год. Готов ужин, но настроение духа не праздничное. Я только что прочёл последние номера газет и не могу думать ни о чём другом, как о политике. В «Правде» (от 30 декабря) напечатан отчёт заседания Академии наук СССР, на котором были исключены академики Чичибабин и Ипатьев. В чем «преступления» этих лиц, «недостойных быть советскими гражданами». В том, что они уехали за границу, поступили на службу к каким-то промышленным фирмам и отказались вернуться в СССР. Ипатьев указал, что он не может расторгнуть договор с фирмой. Чичибабин заявил, что ему создали за границей прекрасные условия для работы, каких он не имел в СССР, и что поэтому в интересах науки он пока остаётся за границей. И вот за это оба исключены из академии и, по-видимому, будут лишены советского гражданства. Выходит, что все граждане в СССР и старые, и молодые являются на положении мобилизованных. Они не имеют права жить за границей без разрешения советской власти, обязаны по первому же зову вернуться обратно на родину. До этого не додумалось пока ни одно бур-

жуазное правительство. Это не пришло в голову и царским министрам времён Николая I. В самые мрачные времена реакции учёные имели право жить и работать в других странах. Перечитывая недавно третий том «Курса русской истории» Ключевского, я отметил там следующее интересное историческое событие. В конце Смутного времени, а именно 4 февраля 1610 г. был заключён договор между послом Московского государства и польским королём Сигизмундом. Русские, обессиленные длительными междоусобными распрями, принуждены были согласиться на самые униженные условия. Они готовы были признать сына Сигизмунда, Владислава — русским царём. Тем не менее, представители Москвы пытались отстоять некоторые права — неприкосновенность православной веры, личную свободу каждого гражданина, запрещение наказаний без суда и т. д. И вот в перечне личных прав каждого гражданина числится следующий пункт: «Каждому из народа московского для науки вольно ездить в другие государства христианские и государь имущества за то отнимать не будет». Иначе говоря, более трёхсот лет тому назад русские граждане имели полную свободу уезжать за границу для науки, т. е. очевидно, для того, чтобы там учиться. А теперь, когда наступил «социализм», лишают двух русских граждан звания академиков за то, что они остались жить за границей дольше положенного им срока. Попробовал бы ныне советский гражданин поехать в иноземные края для «науки». Если он только не связан с гпу и не выполняет какого-нибудь секретного задания, нечего ему шататься за границу, ибо «у нас наука находится на недосягаемой высоте и намного перегнала буржуазную науку». Любопытно в этом отношении дело с научной командировкой проф. Ситенко. Он считается «вполне советским учёным», т. е. таким учёным, который по первому приказу готов заявить, что советская конституция наиболее демократическая из всех существующих, а Сталин — наиболее гениальный из всех людей. И вот профессору Ситенко во время празднования юбилея Наркомздрав даровал трёхмесячную командировку за границу. Ситенко поверил этому и всем рассказывал, что в августе 1936 г. он поедет в Америку. Однако, в дальнейшем выяснилось, что обещанная командировка осталась висеть в воздухе. Прошёл 1936 год, и «заслуженный деятель наук проф. Ситенко не выехал за пределы СССР. Что же говорить о простом смертном? Не менее любопытен и следующий факт. В модной у нас пьесе «Платон Кречет» талантливый хирург, спасший смелой операцией жизнь наркому, получает в награду заграничную командировку. Любому иностранцу подобная «высшая» награда показалась бы по меньшей мере странной. Ведь в других странах люди привыкли свободно разъезжать вдоль и поперёк Европы и всех пяти частей света: лишь бы были деньги, поезжай, куда хочешь. А у нас удаётся вырваться из-за колючей проволоки, которой обтянуты границы СССР только тем удачникам, которым посчастливилось спасти какого-нибудь наркома! Эту пьесу смотрели десятки тысяч зрителей, все настолько привыкли к создавшемуся, гнусному, позорному положению, что никому не приходит в голову, что заграничная

командировка — это не награда, а неотъемлемое право каждого гражданина, а тем более научного работника, что это право, которое добыл русский народ уже более трёхсот лет тому назад!.. Ну, вот и довольно: написал это, и на душе стало немного легче. Близится полночь. Пора идти встречать новый год.

1 января 1937 г. (утром)

Лежу больной. Очередная ангина. Прочёл последний номер журнала «За рубежом», в котором приведены выдержки из французских газет относительно политического режима в Германии. Ужаснулся. Если много несправедливого у нас в СССР, то, что же сказать о том гнёте, о том мракобесии, которые задавили Германию. И те, и другие — мерзавцы и душиатели свободы. Но всё-таки, что же лучше? Несомненно, бесконечно лучше в СССР. Почему? Потому что здесь хоть многие идеалы хорошие. Правда, на практике выходит совершенно иначе. Но утешаешься тем, что практика извращается глупыми или гнусными людьми. А многие из принципов коммунистического государства, изложенные на бумаге, являются прекрасными. Этого нельзя сказать про фашизм. Там гнусная практика соответствует омерзительным идеалам. Я с детства являюсь интернационалистом. Мне чужды и глубоко омерзительны лозунги вроде «Deutschland über alles». Меня тошнит от расовой вражды. Я не могу сочувствовать антисемитическим законам. Отец меня воспитал в ненависти к насилию. Самым ужасным на свете кажется мне война, для какой бы цели она ни производилась. А между тем, именно война является одним из основных идеалов фашистов. Слова «родина», «национальная честь» являются для меня кровавыми лозунгами, которые прикрывают самые безмерные издевательства над свободой личности. Между тем, культ именно этих идеалов считается священным у фашистов. Как пишет газета «Тан»: «Для уничтожения свободы слова новый кодекс изобрёл прекрасную формулу: «защита чести». Всякая критика фюрера — покушение на его честь и подлежит наказанию, вплоть до пожизненного заключения. Не меньше охраняется честь мёртвых:

«Каждого дурно отзывающегося о Гинденбурге, Хорсте Весселе или Фридрихе II, могут посадить в тюрьму». Какая всё это мерзость! Правда, у нас в этом отношении не лучше. Если в этой цитате заменить Гитлера Сталиным, а Гинденбурга и Хорст Весселя Марксом и Энгельсом, то всё, что сказано о Германии, окажется подходящим и для СССР. Но всё же у немцев как-то резче проявляется тупой беспрекословный культ этих отвратительных идеалов.

Итак, мерзость и там, и тут. Здесь относительно лучше, но разница лишь в степени сдавления горла петлём. Что же делать честным людям? Молчать, в виду того, что говорить правду равносильно самоубийству. Стараться держаться как можно подальше от всей этой гнуси. Честно работать, так как работа необходима человечеству при любом режиме. Стремиться к тому, чтобы поступки как можно меньше расходились с требованиями совести...

1 января 1937 г. (вечером)

Жена с детьми пошла на ёлку. Я остался один. Пульс очень скверный. Руки холодные. Голова болит. Тошнит. По — видимому, я отравлен стрептококковыми токсинами. И вот через четверть часа после ухода жены началась следующая дикая сцена. Домашняя работница соседей выпила по случаю праздника два стакана водки. Получилось острое отравление алкоголем. Она потеряла сознание, дико кричит и катается по полу. Её положили в коридоре около моей двери, на расстоянии 4–5 шагов от той кровати, на которой я лежу. Соседям, видите ли, неудобно поместить её в своей комнате, так как они живут в тесноте. Скорую помощь они не вызывают потому, что жалко заплатить 25 рублей. И всё это происходит в квартире дома научных работников. Я думаю, что нигде в мире профессор не принуждён жить в подобных условиях. Я занимаю две комнаты в перенаселённой квартире. В этих двух комнатах живут шесть человек (из них двое детей). Я ни минуты не могу остаться один. Заниматься, работать при таких условиях невозможно. Я много раз хлопотал перед секцией научных работников о том, чтобы мне предоставили квартиру хотя бы из трёх комнат. Я всегда получал отказ. Я просил, чтобы мне дали лишнюю комнатку в той квартире, в которой я живу. Каждый раз — отказ. В течение последних лет много раз здесь освобождались комнаты, но в них вселяли кого угодно (дворника, студентку, занимающуюся проституцией, учительницу, не имеющую никакого отношения к научной работе), но третьей комнаты мне не предоставляли. И это называется «бережным отношением к человеку!» Наряду с этим квартиры сотнями раздаются людям, которые в большинстве представляют лишь очень низкую социальную ценность! Делается положительно всё, что можно, чтобы уничтожить остатки русской интеллигенции. Сколько интеллигентов сосланы в Сибирь, в «восточные области» Европейской части СССР, на Соловки, на стройку канала Волга — Москва!.. А оставшиеся, за исключением нескольких тысяч привилегированных, поставлены в жуткие бытовые условия. А новой советской интеллигенции нет. Ведь нельзя же назвать интеллигентами полуграмотных людей, даже если они закончили высшее учебное заведение. Недели две тому назад была произведена проверка грамотности студентов Харьковского университета: им предложили написать диктант на русском языке. Оказалось, что 94% студентов получили оценку «плохо» и «очень плохо» и лишь 0,8% — оценку «отлично». Итак, меньше одного процента студентов могут писать без ошибок. И это на 20-й год после октябрьской революции. Такие интеллигенты могут скорее быть бременем, нежели пользой для государства. Одно дело, конечно, понастроить по планам старых русских инженеров и иностранных специалистов много фабрик и электростанций, а другое дело — создать свою, новую, социалистическую культуру. Ведь революция, всколыхнувшая глубокие массы народа, не выдвинула ни одного талантливого поэта, композитора, драматурга. Много и тех, и других, и третьих, но какова их ценность! Поэтому следовало как зеницу ока хранить остатки старой интеллигенции, ибо она возникла путём

отбора наиболее одарённых представителей русского народа. Вместо этого интеллигенция затравлена, унижена, придавлена и в значительной мере уничтожена. Правильно сказал Сталин «Кадры решают всё». А с такими кадрами, какие имеются сейчас, больших культурных ценностей не создать.

2 января 1937 г. (утром)

Вчера производилась в Харькове предварительная перепись населения. Жителям нашей квартиры было заявлено, что до двух часов дня они должны сидеть дома и ждать переписчика. Между тем, этот последний явился к трём часам. При заполнении анкеты некоторые недоразумения вызвал пункт «Верующий или неверующий?». Несмотря на то, что в газетах неоднократно писалось о том, что гражданам гарантирована тайна их ответов, многие боятся сказать, что они веруют. Одна домашняя работница в нашей квартире сбежала, чтобы не заполнять эту анкету: она — верующая, но боится об этом заявить и вместе с тем не хочет лгать и говорить, что она не верит. Когда переписчик обратился с этим же вопросом к немке, служащей гувернанткой моей дочери, она оказалась в большом затруднении и не знала, что ответить. «Как вам сказать? — заявила она. — Временами я верую, а временами нет. Как когда! Раз в год я в церкви бываю!» Несмотря на это, её записали неверующей. Какое значение могут иметь подобные статистические данные, если люди боятся говорить правду? Все напуганы. Никто не верит обещаниям правительства. Вот и окажется, вероятно, что лишь ничтожная часть граждан СССР имеет веру в различные религии, а между тем, это, несомненно, не так. Со слов одного лётчика мне известно, что когда красноармейцы совершают прыжок с парашютом, они почти все перед тем, как прыгать, осеняют себя крестным знаменем. Что это? Вера или просто привычка?

2 января (вечером)

Я заканчиваю чтение книги Макса Гёльца «От белого креста к красному знамени». Русский перевод её был издан в 1930 г. Макс Гёльц — видный немецкий коммунист; в периоде 1918–1920 гг. он руководил несколько раз рабочими восстаниями, произвёл много экспроприаций и, будучи арестованным, совершил несколько удачных побегов. Читая его книгу, я был глубоко удивлён тем, что гражданская война в Германии имела гораздо более гуманные формы, чем у нас, и тем, что немецкое правосудие, которое Гёльц стремится размазывать самыми тёмными красками, является по его же данным бесконечно более справедливым и менее жестоким. Чем советские политические органы, т.е. чем ГПУ. Я невольно сравнил те условия, в которых я находился в течение моего заключения в специальном корпусе ГПУ УССР в 1933 г. с теми, в которых был Гёльц в Моабитской тюрьме в Берлине. Гёльц жалуется на то, что его выводили гулять в тюремный двор лишь на 20 минут. Что касается меня, то я не гулял ни разу в течение двух с половиной месяцев, и другие заключённые также не выводились на прогулки. Гёльц жалуется на то, что его спрашивали «целыми днями». Между тем в

гпу заключённых допрашивают преимущественно по ночам, а днём им строго запрещается спать. При этом человек скоро доводится до невменяемого состояния. Гёльц возмущается тем, что его камера ночью была всё время освещена. «Ноги, — пишет он — превратились из-за этого в сплошное мучение. Немногие люди могут спать при свете; я принадлежу к числу тех, кто не может уснуть в освещённой комнате, как бы он ни устал». Что бы он сказал, если бы был подвергнут заключению в спецкорпусе гпу! Там имеются камеры, в которые дневной свет не проникает никогда и которые всё время, и днём, и ночью, освещены яркими электрическими лампочками. Во всех прочих камерах лампочки в 200 свечей горят целую ночь, и яркий свет ослепляет глаза заключённого. Гёльц добился того, чтобы электрическая лампочка была обернута бумагой. Этого, конечно, никогда не разрешили бы в гпу. Защищая глаза от слишком яркого света, я пробовал прикрывать лицо кепкой, но вахтеры меня будили, грубо ругали и требовали, чтобы я снял шапку: им нужно было видеть моё лицо даже во время сна. В Моабитской тюрьме заключённому давали 550 гр. хлеба и 1,75 литра супа в сутки. В гпу мне выдавали не более 300 гр. Хлеба ужасного качества и две кружки борща из прогнившей капусты. Гёльц, сидя в тюрьме, читал книги Достоевского, Тагора, Толстого и других писателей. Я в течение первых 40 дней заключения не только не имел книг, газет и журналов, но иногда у меня не было бумаги для подтирки и приходилось подтираться рукой, а затем мыть её под краном. Гёльц с первых дней заключения получил трёх адвокатов, с которыми он мог советоваться и которые были связью между ним и внешним миром. Что касается меня, то я, как собака, был схвачен на улице и до момента моего освобождения оказался в полной изоляции, т.е. имел общение только с тем следователем, который меня допрашивал и который твердил мне: «Сознавайтесь, ибо вы находитесь в полной нашей власти. Ваша жена арестована, ваши дети брошены на произвол судьбы. Мы уничтожим не только вас, но и вашу семью». Эта ложь о моей семье была для меня самой ужасной из всех пыток. Гёльца публично судили; он имел возможность не только защищаться, но произнёс даже речь, обличающую своих обвинителей. В гпу заключённый не видит никого, кроме одного или двух следователей. Суда нет. Вернее, коллегия гпу, состоящая из пяти человек, судит человека «заочно», т.е. лишь на основании материалов, представленных следователем. Гёльцу был предъявлен ряд обвинений; он возмущается тем, что некоторые из этих обвинений были ложными. Мне никаких обвинений не было предъявлено. Требовали от меня признания моих «преступлений», но в чем они заключались, мне было неизвестно. Я чувствовал себя совершенно невиновным, но при таких условиях доказать мою невиновность я никак не мог. Наконец, наиболее любопытными являются следующие слова Гёльца: «Мне могло быть вменено только то, что я действительно совершил и что я совершенно открыто признавал: государственная измена, мятеж, конфискации, взятие заложников, взрывы железнодорожных путей и прочее. Таким образом, я был уверен, что дело закончится сравнительно

благополучно, но, допуская возможность того, что буду присуждён к нескольким годам тюремного заключения». Эти фразы, перенесённые на нашу советскую действительность, показались бы трогательно наивными. Да ведь у нас за десятую часть каждого из упомянутых политических преступлений гпу присудило бы, не колеблясь, к смертной казни. Если бы гпу захватило какого-нибудь контрреволюционера такого крупного масштаба, каким среди немецких коммунистов был Гёльц, с ним недолго бы церемонились: его немедленно бы расстреляли. Ведь у нас, не колеблясь, казнят за гораздо меньшие проступки. Произведённое мною сравнение между условиями тюремного заключения в СССР и в Германии ярко показывает, какой степени одичания достигли чекисты, применяющие все средства для того, чтобы добиться хотя бы ложного сознания. А ведь мне говорили, что я нахожусь в особо привилегированных условиях. И я верю этому. Ведь я у них считался не «безнадёжным». Трудно вообразить, в каких же зверских условиях находятся те, судьба которых предрешена. Но самое возмутительное — это то, что все следователи, с которыми я имел дело, мне твердили, что гпу — это самое гуманное учреждение из всех существующих в мире судебных органов для политических заключённых. Вот это ложь является, пожалуй, ещё более возмутительной, чем те невероятные издевательства, которым подвергаются в гпу нередко совершенно невиновные люди, не знающие даже, за что их арестовали! Всё это приводит к мысли о том, что столь утончённое глумление над личностью возможно только у нас вследствие некультурности и одичалости народа. Есть основание думать, что если коммунизм восторжествует в других странах, он примет там совершенно иные, более человеческие формы, нежели в СССР. Есть даже надежда, что победа коммунизма в других странах приведёт к некоторому смягчению политического гнёта у нас. Это, к сожалению, единственная надежда на улучшение того ужасного положения, в котором очутился 170-миллионный народ. Но, конечно, эта надежда имеет очень мало шансов сбыться. Другие европейские народы слишком культурны, чтобы пожелать установления у себя той азиатчины, которая столь пышно расцвела у нас и которая, под новым обликом, является повторением худших времён русской истории, а именно опричнины Иоанна Грозного и аракчеевщины. Впрочем, ведь фашизм является воскрешением той же азиатчины, но под другими лозунгами. Поскольку он восторжествовал в некоторых странах, почему бы не мог прийти ему на смену коммунизм?... Если эта смена действительно возможна, хоть бы она наступала поскорее: может быть, нам станет немного легче дышать...

3 января

Хотя моя ангина ещё не закончилась, я пошёл сегодня на несколько часов в Институт Ортопедии. Перед началом одного совещания в кабинете директора проф. Левин рассказал некоторые новости относительно недавно закончившегося съезда невропатологов. Не ручаюсь за их абсолютную точность, так как сам Левин на этом съезде не был. По его словам, там выступал народный комиссар

здравоохранения Каминский и взял под свою защиту проф. Штефко и проф. Левита, научные работы которых недавно резко критиковались в советской центральной прессе. В частности, в «Известиях» была напечатана статья невропатолога Сеппа, который охарактеризовал некоторые работы Штефко по капилляроскопии как фашистские и контрреволюционные. Говорят, что Каминский в своей речи резко отозвался о статье Сеппа и заявил в свою очередь, что это «контрреволюционный бред». То, что достоверно, — это то, что он изъясился из 1-ого бюллетеня съезда ту часть, в которой приводилась критика работ Левита и Штефко. Но Каминский, очевидно, переоценил свою власть. Поскольку статья Сеппа уже появилась в «Известиях», т.е. была как бы санкционирована коммунистической партией, выступать против Сеппа было равносильно выступлению против решений партии. Поэтому «Правда» откликнулась на речь Каминского заметкой о том, что Нарком здравоохранения взял под защиту контрреволюционные работы, и Каминскому пришлось вновь выступить на том же съезде с покаянной речью и признать свою «ошибку». Вероятно, найдутся даже люди, которые поверят в то, что это покаяние было искренним...

Ну а теперь по существу вопроса... Каминский был, конечно, прав в своём первом выступлении. Не подлежит сомнению, что статьи вроде той, которую написал Сепп, имеют глубоко контрреволюционный характер, потому что они приносят большой вред делу распространения коммунизма. Ведь фашисты прекрасно могут использовать подобную статью для того, чтобы показать всему научному миру, какому гнету подвергаются советские учёные, которые даже при исследовании строения капилляров подвергаются опасности быть отнесены к числу фашистов и контрреволюционеров. Достаточно для этого, чтобы кому-нибудь пришло на ум извратить смысл научной работы и двумя-тремя случайно вырванными из неё цитатами доказать, что мнения учёного расходятся с правоверным марксизмом и диалектикой. А сколько таких критиканов! Некоторые людишки даже специализировались на этом деле!.. Их профессия — быть критиками. Сами они не создают никаких ценностей. Их роль заключается лишь в том, что они определяют, расходуется ли критикуемая ими работа с генеральной линии партии и с марксизмом. На диалектической бирже такие людишки пока ценятся очень высоко, хотя их реальная социальная ценность в действительности является не положительной, а отрицательной.

La critique est aisée mais l'art est difficile.

Неужели у наших правителей не хватает ума, чтобы понять, что всем этим титулованным диалектикам и правоверным критикам грош цена, что большинство из них не способно самостоятельно написать хоть самую скромную научную работу, что всё их искусство заключается в псевдонаучном словоблудии и что они пользуются своим положением и незаслуженным авторитетом для того, чтобы тормозить работу тех, кто создаёт реальные научные ценности?!

А сколько таких людишек мне пришлось видеть и сколько вреда они принесли советской науке!

4 января

Меня очень беспокоит психическое состояние моей жены. В течение последних 6 — 7 лет её характер резко изменился. Она стала очень раздражительной, дома постоянно кричит и на детей, и на меня, и на домашнюю работницу. Кроме этого, у неё начинает развиваться нечто вроде мании преследования. Во всех окружающих она видит шпионов ГПУ, ей кажется, что даже близкие её знакомые являются секретными агентами. Эти сильные изменения характера, эта психическая неуравновешенность возникли, конечно, как результат бесконечных преследований и издевательств на службах. Началось всё это примерно в 1930 г. Самые невинные научные работы браковались рецензентами или цензурой как политически неблагонадёжные. В 1932 г. двумя аспирантами Института Истории материальной культуры была напечатана статья в газете «Комуніст», в которой работа моей жены по антропологии болгар называлась фашистской, хотя никаких политических вопросов там не затрагивалось. В 1933 г. жена много пережила во время моего ареста. Затем была напечатана в одном киевском научном журнале её реферативная статья об антропологических работах в области физкультуры, и редакция, чтобы снять с себя ответственность «на всякий случай» поместила примечание, в котором говорилось о том, что хотя данная работа распространяет расовые теории, тем не менее, она печатается, т.к. представляет некоторый интерес. Затем последовало увольнение из Института Истории Культуры с исключением из профсоюза за контрреволюцию. Потребовалось полтора года хлопот, чтобы восстановить себя в союзе. Затем много волнений испытала жена в связи с увольнением меня из университета за фашизм, причём безграмотный ректор обвинил меня в том, что под моей редакцией появилась научная статья моей жены, в которой приводились данные о форме грудных желез у украинских, русских и еврейских женщин. В этом и заключались фашизм и распространение расовых теорий. Затем, около месяца тому назад в Институте физической культуры мою жену обвинили в фашизме за то, что в 1929 г. она напечатала работу об антропологии евреев. Нашлись даже умные люди, которые заявили, что в этой статье имеется антисемитизм. Насколько все эти обвинения абсурдны, видно хотя бы из того, что эта работа была напечатана в еврейском научном журнале ОЗЕ — Rundschau. Станет еврейский журнал печатать антисемитские и фашистские статьи! Всё это глупость и подлость! А всё дело в том, что Институту физической культуры было приказано покаяться в идеологических грехах. Педологических данных было очень много в статьях директора института Бляха. Но об этом решили умолчать: видите ли, неудобно дискредитировать директора. Решили раскритиковать работу, не имеющую ничего общего с педологией, хотя бы потому, что жена произвела антропологическое исследование только взрослых евреев. Эта работа была признана фашистской потому, что, дескать, автор недостаточно ярко подчеркнул, что физическое развитие евреев улучшилось под влиянием социальных мероприятий, проведённых советской властью. Выходит, что нужно в каждой

научной работе восхвалять социальные мероприятия советской власти; в противном случае статья будет признана фашистской.

Идиоты! Научная мысль вами окончательно задушена. Сколько научных работников совершенно невинно пострадали пострадали из-за глупости и гнусности подобных «критиков». Сколько талантливых людей бросило научную работу по этой причине. Например, проф. Жинкин, уже старик, талантливый литературовед, несколько лет тому назад поступил студентом в политехнический институт, получил диплом и стал плохим инженером-химиком.

Что это? Глупость или вредительство? По моему совету, жена недавно ушла из Института Физической Культуры, ссылаясь на сердечное заболевание. Она прослужила 12 лет и является почти единственным специалистом в своей области. Конечно, найдутся претенденты на её место. Но они её заменить не смогут. Чего же добились те болваны, которые называли жену фашисткой? Того, что они лишили институт незаменимого работника. Правда, это им глубоко безразлично, так как этих советских чинушек с партийным билетом или без одного меньше всего интересует наука. Не найдётся, конечно, никого, кто мог бы их хорошенько высечь за наделанные пакости, подобно тому, как секут щенка, наделавшего на пол. Наоборот, тот вред, который они принесли, будет называться «проявлением бдительности». Чего доброго, они друг друга премируют за подобную «бдительность». Им, конечно, меньше всего дело до того, что научный работник с большим стажем доведён до отчаяния, покинул эту службу и собирается вообще бросить всякую научную работу. В других условиях заниматься наукой есть величайшая радость. В наших условиях это есть невероятно тяжёлые и унижительные переживания!

Научный работник совершенно беззащитен против тех подлецов, которые приставлены к нему для наблюдения за ним и которые в любой момент могут устроить ему какую-нибудь пакость!

6 января

Выясняются некоторые подробности того маленького скандала в загородном семействе, который произошёл на всесоюзном съезде невропатологов в Москве. В своём выступлении народный комиссар здравоохранения Каминский очень резко отозвался о статье проф. Сеппа в «Известиях» и назвал его черносотенцем. Действительно, Сепп, уже пожилой психиатр, в довоенное время был черносотенным профессором, а сейчас настолько полевел, что выступает как правоверный коммунист и даже (как говорят) является членом коммунистической партии. Каминский взял также под защиту работы проф. Левита. Кто-то ему крикнул, что Левит не то троцкий, не то поддерживал троцкистов. На это Каминский возразил, что можно иметь ошибочные политические взгляды, но в науке придерживаться правильных мнений. С коммунистической точки зрения, это — конечно, ересь! Затем взял слово некий Новицкий, член Ц. К. партии и раскритиковал выступление Каминского. Прошло два дня, и вот на той же трибуне появился Каминский и

произнёс покаянную речь. Он, очевидно, не учёл, что в Советском Союзе во всех вопросах, даже весьма отдалённо касающихся политики, не может быть двух мнений, а лишь одно, считающееся единственно правоверным.

Сегодня пришлось также слышать некоторые интересные подробности тех событий, которые произошли на всеукраинской конференции по патологии и гигиене труда, состоявшейся в Харькове в конце декабря 1936 г. Конференция протекала тихо и планомерно, как вдруг на ней появился заместитель наркома здравоохранения СССР Медведь. Он пришёл с кипой книг, попросил слова. Начался идеологический разгром научных работ. Какая-то работа оказалась контрреволюционной, какая-то — просто бесполезной. В подтверждение своих слов Медведь привёл цитаты из этих работ. Он критиковал, в частности, научные труды проф. Кагана, директора Харьковского института патологии и гигиены труда. Затем в прениях было предоставлено слово Кагану. Он указал на то, что Ленин, прежде чем высказаться о трудах Плеханова, четыре года их изучал. Между тем, Медведь не потрудились даже прочитать до конца те работы, которые он критиковал. Каган указал, что в одной из своих статей, о которых говорил Медведь, он действительно высказал на какой-то странице идеологически неправильные взгляды, но несколько страниц дальше он сам раскритиковал это мнение и указал на его невыдержанность и неверность. Если бы Медведь относился добросовестно к критике, он потрудились бы прочитать всю работу и не вырывал бы из неё отдельные цитаты, которые не отражают взгляды автора.

Подобное недопустимое отношение к критике научных работ является обыденным явлением. До Медведя в Харькове на этом специализировался некий Я. И. Лифшиц (ныне исключённый из партии якобы за близость к троцкистам). В своих выступлениях он также имел обычай критиковать работы либо вовсе не читая их (по одному заглавию), либо не читая их до конца и вырывая из них отдельные фразы, либо сознательно извращая смысл того, что написано в работе. А сколько развелось теперь таких специалистов по правоверной научной идеологии. Трудно учесть, сколько вреда они принесли, сколько людей они незаслуженно осмеяли! Коммунисты заявляют, что критика должна быть непримиримой, беспощадной и не должна считаться с личностями. Хорошо, но прежде всего она должна быть честной, т.е. не должна извращать действительность. К сожалению, с этим последним условием на практике совершенно не считаются. Если политически выгодно, уничтожить человека, то его подвергают самой несправедливой, самой незаслуженной критике. У нас — ни в чем нет меры. Если хвалят человека, то его захваливают так, что приносят ему громадный вред, ибо он начинает себя переоценивать. Если его ругают, то ругают так, что от него не остаётся и мокрого места. При этом человек вполне ценный и нужный для социалистического строительства оказывается настолько оплётанным, что он на всю жизнь теряет охоту работать и чувствует себя душевно разбитым человеком. Чем это объясняется? Широкой русской натурой, т.е. многовековым холопством, безудержным

хамством и глубоким пренебрежением к чужой личности. Отсутствие собственного достоинства заставляет этих людей удивляться тому, что в других ещё сохранилось это чувство. Они просто не понимают, что у других людей может быть то, чего в них нет. Яшка плюнул в лицо Ваське; Васька утёрся и плюнул в лицо Яшке, а затем оба вместе пошли выпить по рюмке водки. То же самое и в деле «большевистской критики». Сегодня Яшка раскритиковал работы Васьки и заявил, что в них имеются контрреволюционные установки. Васька утёрся и публично признал свои ошибки, хотя никаких ошибок у него не было. Затем на следующем собрании Васька «критикнул» научные работы Яшки. Этот последний также утёрся и публично признал свои несуществующие ошибки. А в конечном итоге и Яшка и Васька — наилучшие в мире друзья и им обоим глубоко наплевать на науку. Прикажет начальство и сегодня они раскритикуют ламаркизм и будут каяться, что они ламаркисты. Через год ветер повернёт в другую сторону, и оба эти парня раскритикуют дарвинизм и будут каяться в том, что они дарвинисты. А в конечном итоге оба они являются лишь двумя мелкими советскими чинушками, которые не имеют ни малейшего понятия о том, что такое наука, научные исследования, что такое искание истины.

8 января

Советские газеты, захлёбываясь от ведомственного восторга, на все лады комментируют исключение академиков Ипатьева и Чичибабина из числа граждан СССР за то, что они отказались вернуться из-за границы. В политическом отношении это достаточно глупый поступок потому, что он продемонстрировал лишний раз всему миру отсутствие какой бы то ни было свободы личности в СССР. Лишение двух старых и почтенных учёных гражданства за то, что они по первому зову не вернулись на родину, является крупной политической ошибкой, которой, конечно, воспользуется враждебная советской власти печать «буржуазных» стран. Но каждый волен совершать ошибки: этим возмущаться не приходится. То, что действительно возмутительно — это та шумиха, которую подняла советская пресса по поводу публичного выступления профессора Ипатьева, сына академика. От своего имени и от имени своей сестры профессор Ипатьев отрёкся от своего отца и заявил, что он стыдится носить его фамилию. Дальше идти некуда! Советские писаки пускают слюнки от удовольствия, комментируя этот позорнейший поступок, который вне всякого сомнения является вынужденным. Кто поверит, что дочь и сын добровольно отреклись от отца и чуть ли не прокляли его за то, что он не прибежал, как собачонка по первому зову хозяина? Судя по тому, что проделывали со мною в гпу для того чтобы добиться от меня показаний, я могу себе вообразить какой нажим был произведён на семьи двух сбежавших из советского рая академиков. Винить проф. Игнатъева и его сестру, конечно, не приходится: они поступили так, чтобы спасти себя и может быть, спасти своих близких. В противном случае их отправили бы в «восточные области европейской части СССР», т.е. туда, куда два года

тому назад выслали около 50.000 интеллигентов (после убийства Кирова). Много подлых поступков совершаются на наших глазах: одни люди предают других, клеветают даже на собственных друзей иногда из-за личной выгоды, иногда по принуждению. Но до какой степени нравственного падения, до какой глубины человеческой мерзости нужно докатиться, чтобы потребовать от детей, чтобы они из-за политических соображений отреклись от собственного отца! В былые времена каждый с ужасом и презрением отнёсся бы к подобному поступку. В наше же время понятия добра и зла настолько извратились, что найдутся люди не ужасающиеся, а восторгающиеся подобной мерзостью! Бездна человеческой подлости является неизмеримой!..

9 января

Я иногда спрашиваю себя, почему во мне так сильно бурлит протест против несправедливости, глупости и лжи, которые я вижу кругом. Ведь если справедлив марксистский афоризм о том, что «бытие определяет сознание», я должен бы быть вполне довольным своим существованием. Допустим, что завтра внезапно изменится политический режим в СССР, что в России устанавливается фашистский или буржуазно-демократический строй. Что я выгадаю от этой перемены? — Решительно ничего. Может быть, выгадают те, у кого была частная собственность. Но у меня не было никакого имущества, ни земли, ни фабрики, ни дома, ни денег в банке. Я самый настоящий пролетарий. Моя мать живёт во Франции без копейки денег (мне приходится ежемесячно высылать ей 170 рублей). Свою самостоятельную жизнь я начал в 1917 г., приехавши в Россию с 400 рублями. Я зарабатывал деньги сперва уроками французского языка, затем службами в различных советских учреждениях. Всё то немногое, что у меня имеется сейчас, приобретено моим собственным трудом. При любой политической перемене я могу только проиграть, но отнюдь материально не выиграть. Моя специальность такова, что она по сути мало нужна при любом политическом строе. При советской власти материально я мало приобрёл, но даже в самые голодные времена жил с семьёй, не испытывая нужды. Я не голодал. Правда, квартирные условия у меня ужасные, но ведь не это же вызывает во мне протест против политического гнёта. Казалось бы, моё «бытие» таково, что моё «сознание» должно было бы привести меня к полному сочувствию всему окружающему. В чём же дело? Чем же я недоволен?

Размышляя об этом, я пришёл к выводу о том, что материальное положение человека может определять его сознание только в том случае, если этот субъект имеет очень низкое духовное развитие. В противном случае интеллектуальные запросы имеют большее значение, нежели материальные. Если бы я заботился только о благосостоянии своей семьи, я был бы таким, как многие окружающие меня люди: я раболепствовал бы перед авторитетами, прославлял бы «гениального» Сталина, ежечасно благодарил бы мысленно советскую власть за то, что она обеспечила и семье, и мне кусок хлеба и известное количество земных благ. Но ведь человек живёт

не только своим желудком. Ведь он чувствует, он мыслит — в нём есть непреодолимая потребность свободно выражать свои чувства и мысли. А вот это-то и запрещено в СССР. Вернее, допускается выявление лишь строго стандартизированных чувств и марксистски рационализированных мыслей. Это равносильно тому, что жителям СССР запрещено мыслить и чувствовать, что в свою очередь равносильно духовному умерщвлению человека. Как пишет Виктор Гюго, «la pensée est plus qu'un droit, c'est le souffle même de l'homme. Qui entrave la pensée, attende à l'homme même.» Сталин, по примеру великих угнетателей человечества, сделал всё, чтобы лишить граждан СССР возможности думать, оставивши монополию мысли за собой. Остальным остаётся право, как баранам, ссылаться на слова «великого вождя» и комментировать мысли сего «гениального» человека. Для меня, как, впрочем, и для многих других, этого слишком мало. Я не претендую на гениальность, но при всей скромности моих мыслительных способностей испытываю потребность мыслить без вечных ссылок на марксистские авторитеты. Этой потребности я удовлетворить не могу, ибо, вопреки красивым словам, записанным в сталинской конституции, в СССР нет ни свободы слова, ни свободы печати. Если наш «великий вождь» пока не уничтожил свободы мысли, то только потому, что «сие от него не зависело».

В человеке есть непреодолимое стремление к истине. Именно этот категорический императив заставлял людей во все времена жертвовать самым драгоценным, что у них было, т.е. собственной жизнью и жизнью близких им людей, во имя различных идеалов. В искании правды люди давали сжигать себя на кострах, распяты на крестах, подвергались нечеловеческим мучениям, предпочитая пытки и смерть отказу от того, что они считали истиной. Это искание правды в большей или меньшей степени имеется в каждом человеке. Лишь умственно наиболее убогие почти не испытывают это стремление установить то, что они считают правдой. Этот порыв к истине проявляется уже в раннем детском возрасте. Попробуйте ребёнку пяти лет сказать, что белый предмет является чёрным. Он обязательно будет спорить с вами и утверждать, что чёрное есть чёрное, ощущая при этом основной принцип нашего мышления, выражающийся формулой: «То, что есть — есть». Вот почему, когда в нашей стране люди на улицах дошли с голоду, а советские газеты, вопреки очевидности, писали, что никогда не было такой благодати, как в данное время, многие люди испытывали непреодолимую потребность восстанавливать истину и, несмотря на грозившую им опасность, говорили, что в СССР население погибает от голода. За это многих сослали в Сибирь, других (как меня, например) арестовали, мучили и заставляли отречься от своих слов. Но от этого ничего не изменилось, как не изменились взгляды Галилея после его отречения (*E pur si muove!*). Люди, сосланные в Сибирь, люди, отрёкшиеся от своих слов, продолжают мысленно или гласно утверждать, что белое есть белое, а голод есть голод. Вот эту простую истину великие угнетатели свободной мысли, какими являются большевики, никак понять не могут. Им кажется, что если

силой заставить человека говорить, писать или печатать, что белое есть чёрное, то этим самым можно заставить данного человека уверовать в эту нелепость. Исходя из этой явно абсурдной установки, они заставляют учёных отречься от своих работ и заявить публично, что они считают ложным то, что в действительности данные люди считают истиной. Что же достигается подобными отречениями? — Ровно ничего. Учёные продолжают и после отречения считать, что они правы и испытывают чувство обиды и бессильной злобы. Те же люди, которые присутствуют при подобных отречениях, конечно, не верят ни единому слову, как бы грешник ни бил себя в грудь и ни уверял всех присутствующих совершенно ясно, что происходит гнусная комедия, омерзительное издевательство над личностью и что человек отрицает свои мнимые ошибки, не потому, что он действительно убедился в неправильности своих взглядов, а потому что его заставили проделать над собою подобное нравственное хакири. У всех после этого, а особенно, конечно, у пострадавшего, остаётся на душе тяжёлое чувство, какое вызывает любая несправедливость. Если бы наши руководители были немного поумнее, они учли бы тот громадный вред, который приносят советской власти подобные истязания личности.

Люди, присутствующие при этом, сочувствуют происходящему, но на самом деле большинство из них испытывает лишь отвращение, и в них постепенно накапливается внутренний протест. Страна молчит, но все недра её kloчочут. И не потому, что некоторым людям сейчас материально плохо живётся (с этим многие бы смирились), а потому что у каждого есть непреодолимая потребность утверждать правду, а поскольку истина сейчас попрана во всех отраслях человеческого мышления и заменена бездушной, абсурдной схоластикой, у людей выявляется мощный импульс к протесту, к восстановлению поруганной, растоптанной истины.

Побороть это стремление большевикам никогда не удастся. Чтобы сейчас ни писалось в газетах, в журналах, в книгах, а правда о нашем веке останется. Она переживёт всех нас и станет достоянием будущих поколений, которые с ужасом и омерзением будут вспоминать о культурных варварах, пытавшихся похитить у подвластных им людей самое дорогое, самое ценное, что есть на свете — свободную мысль.

10 января

«Каждому большевику должна быть присуща скромность». Этот лозунг печатается в советских газетах каждый раз, как какой-нибудь провинциальный заправила устраивает в свою честь торжество, на котором его восхваляют окружающие его подхалимы. Однако, к известному числу большевистских вождей превознесение их достоинств не только допускается, но всячески поощряется.

Из этого следует, что провинциальный заправила одёргивается не потому, что у него не хватило скромности, а потому, что он ещё не относится к тому замкнутому кругу лиц, по отношению к которому вполне допустимо восхваление. Однако, согласно твёрдо установленным правилам, превозносить качества вождей первого разряда

можно только до известных пределов. Самым лучшим комплиментом для них является указание на то, что они являются учениками Сталина. Таким образом, даже похвалы, расточаемые вождем высшего разряда, в конечном итоге относятся к вождю вождей, к Сталину.

Со времён римских императоров в Европе, кажется, не существовало человека, которому воздавали бы подобных почестей. Во всех советских газетах, во всех речах...

г. Харьков

ДиН перевод Юрий Андрухович

Слава верблюдам

Из нас получилась такая чудесная пара,
Что мы годились даже для рекламного клипа.
Примерно такого:
Кафе «Ті ато» возле зоопарка
За стойкой бара сидит Он
Рядом через два стула Она.
И вот Она начинает рыться в сумочке.
Он подаёт Ей в протянутой руке
Открытую пачку сигарет.
В этот момент Она успевает найти в сумочке
Свою.
Он смеётся.
Она улыбается.

Следующий план;
Две клетки с верблюдами на стойке бара.
Одна возле другой,
Одна возле другой,
Пепельница, окурки, дым.

Потом снова:
Он и Она вместе выходят из бара.
Конечно, в будущее!

Надпись:
Сигареты «Кэмэл» —
Сам по себе прекрасный
повод для знакомства!

Остаётся несколько мелочей:
Подобрать музыкальный фон,
Договориться об интерьере, массовке,
Решить, что там с будущим.

Сначала было несколько
неплохих sms-ок
Потом кто-то впервые ответил не сразу.
Потом это стало нормой,
потом обязанностью
Стало отписываться.
Жизнь вернула на свои места
всё, что захотела.
Теперь остаётся думать:
А было вообще что-нибудь, кроме дыма?

Но какого чёрта ты, чучело,
Давишь свои жёлтые окурки в пепельнице
Так растерянно, будто погонщик верблюдов,
По ошибке допущенный
в приичное общество?

(перевёл с украинского Сергей Курганов)

Владимир Жуков История моей асексуальности



215

Владимир Жуков ■ История моей асексуальности

«Есть такое библейское выражение — «познать женщину»... Но к людям оно неотносится. Мужчина может в лучшем случае переспать с подругой. А вот познать женщину в состоянии лишь вампир.»

Виктор Пелевин

«Я не изменяла имен, чтобы уберечь невиновных. ни все виноваты, б...»

Лидия Ланч

«Парадоксия: дневник хищницы»

I. Как я был «слизнем в штанах»

Горбушка, я тебе отомщу!

До брака я быстро забывал своих прежних девиц. В основном то были мимолётные, ни к чему особо не обязывающие связи. По крайней мере, с моей стороны. Циничные психологи, кажется, называют это «мастурбировать на женщине». Но лет до 22 сексуальные приключения и победы действительно значили для меня очень многое — они помогали утвердиться в своей компании и, конечно, в собственных глазах. Типа показательных упражнений на брусьях — залез-покачался-спрыгнул: во, какой я герой!

Можно сказать, я ощущал себя чем-то вроде нацеленной на мир торпеды с самонаводящейся головкой.

Да и в отрочестве я немногим отличался от своих дворовых сверстников, вступивших в пору полового созревания. С их беспрестанно облизываемыми губами и правой рукой, то и дело машинально ныряющей в джинсы — так недоверчиво и удивлённо трогают языком новый зуб, прорезающийся взамен молочного.

Мир взрослых и детей в нашей семье почти не соприкасался, поэтому своё отношение к женщине я выстраивал как бы с чистого листа. Но думал, так оно и должно быть. Мол, «восхитительный обман» — то в книжках, а в жизни всё грубее и проще. Слыхали об эксперименте — когда учёные постепенно демонтировали муляж индейки, выясняя, с каким «минимальным комплектом» готов спариваться самец? Оказалось, его возбуждает одна лишь голова подруги, притороченная к палке. Было, было во мне тогдашнем что-то от этого безмозглого индюка.

Дальше я женился. А в браке обычно ведь кто-то донор, а кто-то вампир, кто-то больше берёт своё, а кто-то больше страдает. И если этот семейный лидер к тому же сексуально более активный, и его потребности выше, то второй половине не позавидуешь. Особенно если эта половина — мужчина.

У меня к жене вначале было очень сильное, можно сказать, всепоглощающее чувство. Я реально ощущал её самым близким человеком. И пусть не всегда мог поговорить с нею о том, что волновало, но я чувствовал, что кто-то заботится обо мне, кому-то я дорог. Это было то ощущение, которого мне давно не доставало. Наше детство — по-разному, но непростое, наша недолюбленность родителями — это тоже сближало нас.

В первые годы брака я доверял жене — как впрочем, и она мне — свои самые сокровенные тайны. Говорил, что хочу раствориться в ней, признавался, что чувствую себя маленьким мальчиком, который держится за её палец. Собственной матери сказать такое мне не пришло бы и в голову. Так что теперь я понимаю, почему выбрал именно эту женщину. Думаю, и она чувствовала нечто подобное, ибо не раз признавалась, что хочет меня... съесть. В смысле — чтобы стать со мной одним целым.

Остались от нашей жизни тех лет и другие трогательные детали. Когда я надолго уезжал в командировку, жена спала в обнимку с моей нестиранной рубашкой. Однажды мы поссорились по её вине, и я попытался было уйти, а когда это не вышло — даже убежать. Так она чуть не целую автобусную остановку, не отставая, мчалась за мной на шпильках по ночной Москве. В руке у меня была авоська с дефицитными тогда сосисками — понятно, что сцена эта смотрелась презабавно.

После другой аналогичной ссоры она явилась ко мне на работу с охапкой роскошных бордовых роз. Их было, наверное, штук пятьдесят или даже сто. Я стал выталкивать её из кабинета, благо свидетелей инцидента не оказалось — так она попросту зашвырнула мне их за спину. Эти розы потом неделю стояли у меня во всех стаканах и банках, которые только удалось сыскать — вызывая любопытство и зависть сослуживцев.

В общем, я всецело доверился жене, уступил инициативу в семье. Не скрою, это было довольно удобно — идти по жизни вторым номером. Например, когда я учился водить машину и где-нибудь при развороте на кольцевой у меня вдруг глохнул мотор, именно жена выскакивала на шоссе и начинала делать отчаянные знаки приближавшимся автомобилям.

Многие прочие бытовые заботы тоже брала на себя она. Ну, вот ремонт, к примеру — это было совсем не моё. После долгих уговоров жена сама принималась клеить обои, а я сидел, насупившись, в той же комнате за письменным столом — и демонстративно занимался своими делами. Лишь напяливал пилотку из газеты — чтобы шпаклёвка со стены не сыпалась на голову. В то время очень много сил у меня отнимала работа, часто приходилось брать деловые бумаги домой.

Однажды, впрочем, её предки доверили мне выложить кирпичные стены для дачного домика. Оставшись один, я вкалывал, как оглашённый, от зари дотемна. Мои ладони, не знавшие физического труда, с обеих сторон были в глубоких кровавых трещинах от засыхавшего на них цементного раствора. Приехавшие через неделю хозяева похвалили меня, а потом тесть по-тихому разломал кувалдой кривоватую стенку и положил её заново.

В наших отношениях с женой всё менялось как-то незаметно, постепенно. Но кое-что неприятно удивило уже в первый год: она чуть что — в крик. Причём старается поддеть побольнее, нажать на самые уязвимые места — оскорбить мою родню, беззастенчиво использовав какие-то доверенные ей секреты. А то и изорвать какую-нибудь дорогую прохожих осталась копошиться в грязи: ведь эти деньги были у нас совсем не лишними. К счастью, купюры оказались разорваны всего лишь пополам, и я потом смог обменять их в банке.

Как-то на прогулке мы поссорились, и я упрекнул её в корысти. Она тут же достала отданную ей зарплату, разорвала и бросила в лужу, после чего, не оборачиваясь, пошла вперёд. А я на глазах прохожих остался копошиться в грязи: ведь эти деньги были у нас совсем не лишними. К счастью, купюры оказались разорваны всего лишь пополам, и я потом смог обменять их в банке.

Затем похожий эпизод случился дома. Жена готовилась к защите кандидатской, и я, за пару лет до того прошедший аналогичную процедуру, всячески помогал ей. Но поздно вечером перед самой защитой, когда нервное напряжение достигло своего пика, я упрекнул Кристину за лень и потребительство, и, не удержавшись, попенял, что она и вышла-то за меня лишь ради того, чтоб защититься наверняка. В ответ она молча открыла окно и вышвырнула готовую работу с 14-го этажа.

Двести с лишним страниц разлетелись по слякотной земле на площади метров этак в пятьсот. Сломая голову я бросился вниз и больше часа собирал их на глазах у всего дома, затем всю ночь промывал и сушил утюгом. Шесть листков отыскать так и не удалось — видно, они залетели на чужие лоджии — и мне пришлось перепечатать их заново. К утру, впрочем, всё было готово в лучшем виде, защита прошла успешно. И нужно ли говорить, что рынее всех переживал за соискательницу её супруг, восседавший в первом ряду...

Хоть у меня характер тоже импульсивный, особенно, если разозлить, я всё же старался не усугублять наших конфликтов. Благо, прекрасно знал, как непросто сосуществовали в браке и мои, и её родители, многие наши друзья, соседи. Жёнина подружка Валюня, жившая над нами, орала на своего благоверного, тишайшего, непьющего

инженера Сашу так, что, несмотря на прекрасную звукоизоляцию, можно было разобрать каждый из выдаваемых ею эпитетов. Словом, мне было, с чем сравнивать. Знал я и то, что первый муж Кристины, музыкант, доведённый ею до истерики, однажды саданул со всего размаху рукой в оконное стекло. Естественно, сильно порезался. А ведь для пианиста то было сродни суициду.

Со временем я начал ловить себя на том, что слежу за женой боковым зрением: не взбрёт ли ей в голову швырнуть в меня книгой, а то и чем похуже. Как-то во время своего несколько возбуждённого монолога, каковые вошли у неё в привычку, она случайно сделала какое-то резкое движение, и я, инстинктивно зажмурившись, шархнул в сторону. Двое моих близких друзей, принимавшие участие в разговоре, неловко отвели глаза.

Я, конечно, попытался обратить всё в шутку. Пробормотал что-то о Ксантиппе, плеснувшей своему Сократу супом в лицо. Но, должен признаться, такого жгучего стыда не испытывал в своей жизни ни до, ни после.

Сам я за пятнадцать лет поднял руку на жену лишь однажды. Да и на жену ли? По-моему, я отбивался от пьяницы, дебоширки, не имевшей пола. Хотя тогда я и впрямь потерял контроль над собой. Я опрокинул её, размахивавшую высооченным напольным светильником, на палас. Навалился сверху и удерживал, визжавшую, беспомощную, пока она не затихла.

Мельком я видел, что по телеку тем временем показывали какой-то комедийный американский сериал. Семья собралась за обеденным столом, кто-то пукнул, и все радостно смеялись. Хорошо помню и собственное ощущение — сладострастного, я бы сказал, торжествующего злорадства. Злорадства победителя — так сказать, судьи и палача в одном лице.

Потом начались эти её неожиданные обмороки с театральным падением на пол. Вот, мол, до чего ты меня, бессовестный, довёл! При этом она почему-то ни разу не ушиблась. Первое время я принимал всё за чистую монету, стремглав бросался на помощь. Но потом почувствовал неладное и демонстративно перестал обращать внимание на этот «театр одного зрителя».

— Ты переступил через меня! — с пафосом упрекнула меня она.

«Почему вы не бросились спасать жену, когда она стала тонуть?» — спросили одного такого страдальца. «Откуда ж я мог знать, что она тонет? — удивился тот. — Орала, как обычно». Так или иначе, скоро душераздирающие сцены — видно, за неэффективностью — сошли на нет.

К беспричинным истерикам жены я тоже как-то притерпелся. Вот только, когда она начала вопить, становилось до слёз жалко нашу Айку, чёрно-подпалую американскую кокериху. Несчастная псина забивалась мне под ноги между тумбами письменного стола и дрожала там крупной дрожью. В её огромных выразительных, как у всех кокеров, глазницах застывали страх и недоумение: она явно принимала хозяйкин ор на свой счёт. Я старался её успокоить — но незаметно, не

беря на руки: это могло вызвать взрыв ярости у жены уже по отношению к собаке. Однажды в подобной ситуации она брызнула из газового баллончика в лицо нам с сыном, мирно беседующим на диване, — только за то, что, проявив «нелояльность», он заглянул ко мне в комнату поговорить.

Но, унижая близкого человека, она могла в то же время ввязаться в уличную драку, защищая слабого, привечала бездомных псов. В первом браке, как я знал с её слов, трогательно заботилась о живущих отдельно престарелых родственниках — например, мыла ноги и стригла ногти мужнину деду. Ещё — бережно относилась к хлебу. Наверное, то была традиция ещё послевоенной деревенской семьи — горбушку возвращалось класть коркой вверх. Иначе жена тут же принималась орать — видно, так же, как это делала её мать.

И многие годы спустя, уже находясь в тысячах вёрст от бывшей жены, я пару раз не удержался, чтобы не перевернуть эту горбушку назло ей. А как-то даже ощутил желание издеваться над несчастной (горбушкой), колоть её иглками — но спохватился, что та наябедничает хозяйке и тогда мне придётся худо.

Однажды она подобрала на улице довольно крупного лобастого пса светлого окраса, короткошёрстного, с вывихнутым пальцем на передней лапе, которого я иронически прозвал Додием. Видимо, это был метис борзой. Псу ничего не стоило подпрыгнуть на высоту человеческого роста, при этом все четыре конечности оказывались у него на одной линии параллельно земле. Это впечатляло.

Как-то на даче я просто протянул руку в его сторону — как вдруг Додий, подпрыгнув, с силой толкнул меня лапами в грудь. От неожиданности я рухнул, как подкошенный.

Что же напугало собаку, отчего она так среагировала? Этого мы так и не узнали. Конечно, от опасного гостя тут же пришлось избавиться. А ведь то был важный знак, посланный мне судьбой: прежде чем довериться кому бы то ни было — узнай его предысторию, что называется, бэкграунд.

И если бы я вовремя задумался о том, что в наших конфликтах жена не просто проявляет свою импульсивность, а начинает один в один воспроизводить отношения собственных родителей — взяв на себя роль вечно пьяного и не столько пьяного, сколько психически невменяемого отца, издевавшегося над матерью, или, напротив, мстя в моём лице такому отцу, а заодно и первому мужу — то бежал бы от неё без оглядки.

«Писатель мне надоел своим рвением к победе... Он боится потерять час времени, проведя его со мной. Потому что за этот час можно написать две страницы. Сволочь! Я хочу е..., проклятый писатель!»

Н. Медведева. «Моя борьба».

«Я сказала: у койку!»

Далеко не сразу уяснил я и то, что женщина и мужчина принципиально по-разному относятся к браку. И слишком разного ждут от него. Когда первый порыв чувств прошёл, общими у нас с женой, похоже, оказались только материальная сторона, быт. Мы даже разделили территорию нашей «двушки»: она воцарилась на кухне, где беспрерывно курила и трепалась по телефону, я — в комнате, где работал за письменным столом. И то был первый шаг к взаимному отчуждению.

Помню, в один из наших редких романтических вечеров мы сидели при свечах, болтали, потягивали красное вино. Я с чего-то раздухарился, стал делиться с женой карьерными планами, потом рассказал о своей семье, о детских годах. Она слушала, непривычно молчала. Легли поздно. Помню, засыпая, думал, что по части взаимопонимания у нас всё-таки ещё не всё потеряно. А поутру жена бросила:

— Ты вчера до четырёх утра надо мной издевался!

Выходило, она, бедная, просто деликатно терпела мои разглагольствования. И, стараясь не поддерживать разговор, просто ждала — когда же мы, наконец, отправимся баиньки.

Потом мне встретится у Пелевина: «Сосуществование двух полов — это удивительный и смешной казус, невероятно нелепый, но совершенно скрытый от человека... На деле мужчины и женщины гораздо дальше друг от друга, чем могут себе представить. Это даже трудно объяснить, насколько они непохожи».

Идалее: «Можно сказать, что наш мир населяют два вида наркоманов, которые принимают сильнейшие психотропы с очень разным действием. Они видят диаметрально противоположные галлюцинации, но должны проводить время рядом друг с другом. Поэтому за долгие века они не только научились совместно ловить принципиально разный кайф, но и выработали этикет, позволяющий им вести себя так, как если бы они действительно понимали друг друга, хотя одни и те же слова, как правило, значат для них разное...»

Чем больше жена проявляла свою хищность, тем меньше я желал её как женщину. И вот однажды он наступил — день, когда мне почти буквально скомандовали: «У койку!».

Уже после развода мне приснится: не по годам высокая, дородная, очень красивая девочка в длинном плаще со стоячим воротничком, закрывающим пол-лица. Ворвавшись в квартиру, гостя, ни слова не говоря, подозрительно обследует все углы, потом обнюхает мою одежду, после чего, так же молча, вопьётся в мой безвольный рот. И

я почувствую себя подростком, совершающим инцест.

Усики, которые она тщательно выбривает, всё же будут едва ощутимо покалывать мою верхнюю губу, что вызовет у меня ещё безотчётное желание вытянуться по струнке, держа руки по швам, и отдать честь старшему по званию...

После этого «У койку!» надо было, конечно, встать и уйти, что называется, в чём был. Это давно советовали мне друзья, мать. Но я не мог. Да, я привык к домашнему комфорту, уюту — после холостяцкого быта я всё это оценил. И всё же главным было что-то другое.

Я начал догадываться, что брак — своего рода сделка. Женщина заземляет мужчину, спасает от ненужных метаний, сомнений (наверно, оттого в неволе мы и живём дольше). Но кое-что она требует и взамен. Хотя нет, не требует — а приходит и берёт своё. *Сатана* — это слово всё чаще приходило мне в голову. Кристина уже будто проросла в меня. Это была уже своя ткань, мы стали единым целым — и теперь не могли разожеститься без крови, без хруста разрываемых суставов...

« В этом есть какая-то ущемлённость. Вынести свои менструальные простыни на публику! »

Н. Медведева. «Моя борьба».

«Постылая, постылая...»

Сейчас смешно вспоминать: первое время, заходя в туалет, я по-холостяцки забывал поднять, пардон, сиденье унитаза. Жена возмущалась, называла эгоистом. Впрочем, исправиться мне удалось за какие-нибудь несколько дней. А вот следующий этап — когда я привыкал в конце опускать то же сиденье обратно — запомнился мне надолго. Придя с работы и обнаружив «правильный» унитаз, жена ворвалась в комнату с криком:

— У нас кто-то был!!! Говори, кто она!

Так я лишний раз убедился, сколь моя благоверная патологически ревнива. Мне иногда кажется, что по крайней мере отчасти, ревность эта была нагнетаемой сознательно — как повод для жены доминировать в нашем союзе больше, чем предполагали нормальные супружеские отношения. К тому же ни малейшего шанса «исправиться» в подобной ситуации у меня, понятно, не было. Таким образом, власть супруги над «порочным» партнёром, равно как и его чувство вины, становились неоспоримыми и бессрочными. Какое, чёрт побери, гениальное ноу-хау! — не без зависти думаю я теперь...

Если я поздно возвращался с работы, она буквально с порога пыталась укладывать меня в ванну. Её интересовало, потонут ли признаки моего мужского достоинства или останутся на плаву? Не был ли я сегодня с другой женщиной?

Услышав подобное требование впервые, я, разумеется, сразу её послал. И чего только не взбрёт бабе в голову, как заметила бы лимоновская муза Наталия Медведева, с недо...ба. Меня это даже

позабавило. Но откуда моя лахудра это взяла? Вычитала где-то? Едва ли. Она ведь вообще ничего не читала. Может, эта информация дошла до неё на геномном уровне — откуда-нибудь из средневековья? Притом, что она не имела представления о простейших бытовых вещах. Например, прежде чем первый раз накрутить фарш на котлеты (ещё с первым мужем) — сварила мясо...

Но, даже запершись в ванной, я не обретал покоя, ибо иногда обнаруживал просунутое под дверь зеркальце: это жена, ползая там, намеревалась застигнуть меня за самоудовлетворением. Не стыдно ли мне признаваться в подобных вещах — спросите вы. Нет. Уже нет. То, что страдание забывается со временем, — неверно, заметил один умный человек. Оно имеет объём и непременно должно быть — пусть это и прозвучит не по-мужски — исторгнуто, выплакано...

Стыдно вспоминать, как поздними вечерами допоздна засиживался за письменным столом, тянул время, надеялся, что жена уснёт. Наутро она устраивала истерики. Унижала, мстила за нелюбовь. Впрочем, с таким же успехом она могла добиваться, чтобы я хохотал над несмешными анекдотами или, скажем, обратно поверил в Деда Мороза.

Потом она начала шпионить, устраивала сцены ревности. Тоже мне, нашла, дурында, Ален Делона! Как-то увидела меня из окна со случайной прохожей: кажется, та забыла код домофона, и мы, улыбаясь, перекинулись у входа в подъезд парой слов. Бурного скандала с выяснением моего алиби жене показалось недостаточным. Она разузнала, что женщина живёт в соседнем доме, записала номер её машины, а потом «пробила» через знакомого гаишника точный адрес. И мне уже боязно было выходить во двор с собакой — чтобы случайно не подставить по дороге какую-нибудь соседку. Говорят, в XIX веке существовала теория, будто безумие есть результат мастурбации. По крайней мере, теперь я очень хорошо себе представляю, сколь безжалостно неудовлетворённое либидо превращает вроде бы нормального, жизнерадостного человека в злобного и агрессивного монстра.

Особенно тяготила привычка жены, попадая ко мне на работу, заговаривать с первыми попавшимися на глаза сослуживицами — с иными я сам был едва знаком — и, разводя их в курилке на откровенность, выпытывать подробности относительно моих «порочающих связей». Сама она с удовольствием флиртвала со всеми без разбору. Не то чтоб была «слаба на передок» — думаю, просто испытывала потребность всё время быть в центре мужского внимания. Так, у неё вполне официально имелся поклонник, лаборант ещё из нашего прежнего НИИ, лет на пять-шесть моложе нас — и факт нашего брака, похоже, мало повлиял на их трогательный симбиоз. То был Андрей, полный флегматичный брюнет в очках и с квадратным подбородком а-ля Жан Марэ. Несколько раз, приходя с работы, я заставал их беседующими вплотную за бутылкой вина на кухне. Говорила, понятно, в основном жена — она по жизни вообще

была болтушкой, каких поискать, но больше они всё-таки молчали, что казалось совершенно удивительным. Что ж, снисходительно думал я, пусть слегка пофлиртует с молодым воздыхателем, раз уж на фоне нашего безлюбья для неё это так важно. Хотя, со слов жены, и знал, что гость меня не жалует и даже осуждает за не слишком внимательное отношение к ней.

Выпускник худграфа, Андрей, видимо, был небезталантным художником. Как-то после его визита на кухонной стене у нас появилась симпатичная разделочная дощечка, расписанная под хохлому, с посвящением на видном месте... сами догадываетесь, что не хозяину.

Он ходил к нам довольно долго, а когда, наконец, исчез, жена переключилась на общение продавцов-кавказцев в небольших ночных магазинчиках, куда нередко отправлялась купить сигарет или вина. Такие сцены я называл про себя «собачьей свадьбой».

Одно время, возвращаясь с таких прогулок, она повадилась называть моему холостому приятелю Гришане. Разговор двух подвыпивших людей мог продолжаться несколько часов. Когда Гришаня сболтнул что-то лишнее из наших с ним доверительных бесед, я просто выдрал из своей телефонной книжки страницу с его номером. Вскоре по квартире разнёсся запах гари: это разъярённая супруга в отместку сожгла в туалете книжку целиком.

Как-то, когда жена лежала в больнице, позволила её близкая подруга. Предложила зайти, приготовить чего-нибудь. Я вежливо отказался. Появившись дома, Кристина первым делом поинтересовалась, кто звонил — и я простодушно, не подозревая подвоха, отчитался. И подруга тут же навсегда была вычеркнута из её жизни.

Забавно, но за все годы брака я ни разу не изменил жене. Чем, впрочем, отнюдь не горжусь. Просто так сложились обстоятельства. А скорее, я просто ненормальный. Ибо полигамность для мужчины — если только он не влюблён, не привязан безоглядно к женщине — это ведь и есть норма, выпестованная тысячелетним естественным отбором. Тягаться с ним — замучаешься. Невозможно заставить мужика быть верным, лишь каждодневно в качестве «спермовыжималки» давя ему на совесть — и не сделав его при этом наполовину неврастеником и импотентом. Можно лишь попытаться сделать так, чтобы ему самому не хотелось сходить на сторону — но это подразумевает, понятно, не только готовку с уборкой...

В общем, я стал её побаиваться. Я понял, что у меня в тылу есть что-то вроде Мата Хари, выражающей интересы не мужа, не семьи и даже не своего пола — а рода, эволюции. Ну, вот сотни поколений праматерей моей жены передавали друг другу эстафетную палочку, вырабатывали какую-то свою культуру — но на выходе всё равно получилась моя ненаглядная, как она есть. Почему? Может, естественный отбор и стремился именно к этому? И ещё подумалось: а что если её прислали по мою душу все брошенные, обиженные мной в юности женщины? Вот одного

моего знакомого — плата за юношеское распутство настигла самым неожиданным образом: во время ночной эрекции у него болезненно дёргает... в этом самом месте. Малый совсем лишился сна. К врачу он идти стыдится — всерьёз подумывает замаливать грехи, отправившись в монастырь. Если таково возмездие, то, может, и я заслуженно нёсу свой крест?

Однажды после только что завершившегося акта любви случилось нечто: я неожиданно поцеловал самого себя в плечо. У жены глаза на лоб полезли. Видимо, это движение выдало моё внутреннее ощущение недолюбленности, может, желание как-то пожалеть себя. Но тогда я испугался: неужто уже крыша едет?

А она между тем что-то всё время требовала в постели. Типа быстренько сделай это — и свободен, можешь встретиться с друзьями. Дедевщина прямо какая-то под супружеским одеялом... И что же я? А я, как стойкий оловянный солдатик, изнывая, выполнял... И что же я? А я, как стойкий оловянный солдатик, изнывая, выполнял. Однажды — даже под порнуху, которую она притащила по наущению подруги. Дура! Подруга-то была замужем за спившимся пожилым мачо, имевшим проблемы с эрекцией. Тем более что видео оказалось вульгарным до омерзения — какая-то куча мала из оживших окорочков Союзконтракт...

В общем «лекарство» не помогло. В висках по-прежнему, не переставая, стучало: «Постылая, постылая...». И эти два чувства, унижения и вины — за то, что разлюбил, больше не хочу её — не оставляли меня все последние годы брака.

Почему, ну почему я терпел всё это? — этот вопрос я буду задавать себе потом много-много раз. И только с годами начну понимать, что тут было примешано слишком многое.

Она была по-настоящему красива — и это была не одна из юных дурочек, бездумно стремящихся выскочить замуж, а зрелая, эффектная 26-летняя женщина, этаким тип роковой красотки Риты из «Воров в законе». Помню, в первый раз скользнув по ней взглядом, я остался равнодушен: нет, птичка не про меня, мезальянс. Она оставила впечатление чрезвычайно благополучной особы из какой-нибудь состоятельной профессорской семьи. (Так оно и оказалось: её свёкор был профессором Московской консы, известным композитором-духовником). И даже когда у нас вспыхнула безумная страсть, идти под венец с холостякующим нищим аспирантишкой, пусть и весьма перспективным, она не очень-то рвалась, пришлось долго уговаривать.

Она умела быть по-женски ласковой, домашней, уступчивой — хотя, понятно, в частностях, в мелочах. От неё прямо-таки исходило ощущение тепла и уюта. Из него-то, думаю, возник и мой встречный порыв, а затем и не вполне осознаваемое мной тогда чувство благодарности за любовь, которую я познал с ней, — первую и, как потом окажется, единственную.

Это чувство было неотделимо и от её маленького сына, с которым она вошла в мою жизнь. «Он взял её с ребёнком» — что-либо нелепее подобной

постановки вопроса трудно было представить: её материнское доверие и любовь этого крохи на самом деле были во сто крат нужнее мне самому.

Присутствовало с моей стороны и чувство вины — куда ж без него? — что оказался не вполне мужчиной. Не по физиологическим — по моральным, личностным кондициям. Через пару месяцев после того, как мы стали встречаться, Кристина сообщила, что беременна. На что я — ну, естественно! — заявил, что не уверен в своём отцовстве: ведь она продолжала жить под одной крышей с первым мужем. Да, с её слов, между ними уже ничего не было — но с чего тогда, подслушав наше воркование по телефону, он набросился на неё с кулаками?

Она возмутилась, но противиться моему выбору не стала. Скорее всего, и сама она тогда не слишком хотела ребёнка. Что до меня, то я точно ещё не был в неё по уши влюблён, это пришло позже. В общем, я отвёз её на аборт. Помню сизые стены абортария и её саму — в скромном домашнем халатике, неулыбчивую, бледную, с каким-то примятым лицом, её рассказ об операции, о молодом хирурге, так и не сообщившем ей пол плода. Во время аборта она поставила спираль, а спустя несколько лет о детях мы уже не вспоминали. После, с нежностью глядя на светленького мальчугана, её сынишку от первого брака, я попытаюсь любить его за двоих и стану возиться с ним с тем же бездарным рвением, с каким воспитывал бы своего, кровного. И спустя много лет испытаю другое переполняющее меня чувство благодарности к жене — за пусть усечённое, убогое, ублюдочное, но всё же познанное мной чувство отцовства, которого я никак не заслужил.

Сегодня мне безумно жаль того моего нерождённого малыша, что имел не меньшее право появиться на свет. А ещё жалче, понятно, себя. Мне просто трудно поверить, что, опроставшись тогда, в мае 83-го, до уровня испуганного сперматозоида, я откупился от своего глупого, детского, сиюминутного страха такой ценой...

Спустя много лет молодой московский водила-частник, кажется, армянин, поделится со мной радостью: сын родился! Почему-то меня это задевает. И я дам понять ему, что, в общем, бабье это дело — так радоваться детям. А мужик, мол, — он проявляет себя в работе. И увидев искоса, как гаснет улыбка собеседника, ужаснусь: что я такое несу! Хотя только теперь я знаю наверняка, насколько нужна она мужику, эта самая отцовская улыбка. Уверен: будь сегодня где-то рядом мой сын — мне не было бы так тоскливо и одиноко в самые тяжёлые дни, месяцы, годы своей жизни...

Мне так нужен он, этот мой мальчуган! Я всё чаще ловлю себя на том, что думаю о нём, как о живом, о реальном, беседую с ним, перебирая — что мне ещё остаётся? — собственные детские фотографии. Или это во мне проснулся уже следующий, дедовский инстинкт?

В те редкие минуты, когда ему удавалось остаться одному, Фёдор прокручивал видеозапись своей женитьбы в обратном направлении. И жадно наблюдал, как выходит из Дворца бракосочетаний свободным человеком.

Из сетевого юмора

Ленивец и личинка

Как-то по телеку показали ленивца. Один палец у него был намного длиннее других да ещё вооружён длинным ногтем. Зверёк простучивал им ствол, по звуку находил личинок, потом вскрывал кору и, забираясь этим пальцем-спицей глубоко в отверстие, извлекал добычу. Уродливый палец, извивающаяся перед лицом неизбежного жирная личинка, потом живописный процесс пожирания... — всё это чем-то напоминало наш «союз», где всё, в конце концов, оказалось так же мерзко и отвратительно.

В последние годы я работал, как заведённый — будто чувствуя себя на счётчике. Наверное, бесознательно стремился, чтобы не оставалось ни времени, ни сил ни на что иное. И мы с женой действительно почти не виделись. Но вот у меня возникли проблемы с лёгкими, и Кристина повезла меня в поликлинику.

Она зашла первой, о чём-то поговорила с доктором. Тот выписал рецепт, после чего сделал мне укол в бедро. И сообщил, что это — по просьбе жены, для повышения... полового влечения! Я всё понял: на завтра мы как раз отправлялись в дом отдыха. Ну что было, объяснять ей, что я давно уже вижу перед собой не любимую, а какого-то коня с яйцами?

Почему же ей не пришло в голову честно обратиться к сексопатологу или психотерапевту? Почему это не пришло в голову мне самому? Не потому ли, что оба мы уже мало верили в нашу угасшую любовь? (Вот написал — и почувствовал, сколь это слово фальшиво здесь, натянуто, неуместно...)

Через какое-то время я узнал, что жена борется с моей «холодностью» уже с помощью экстрасенса. А когда дошло до психиатра, поджидавшего меня в моей собственной квартире, я понял: пора...

Теперь я понимаю, что брак, подобный моему, — не просто ошибка. Это беда. Это как авария на дороге, после которой остаёшься калекой на всю жизнь. И я понял: мне нельзя больше допустить не только нового брака, но и вообще привязанности к женщине.

Знаю-знаю, сколь нелюбезно выскажутся на мой счёт дамы: жена, мол, всегда пила, если муж бревно.

— Вот типичный, увы, портрет мужчины, от которого, как говорили в известном фильме, «нет толку ни днём, ни ночью!» Оттого жена и орала на него, что чем больше бы она кричала ночью, тем меньше орала бы днём. Он называет её пьяницей и дебоширкой, потерявшей человеческий облик. По-моему, это просто оправдание своей слабости. Никчёмный трус и гнусный типчик. Жена ремонт делает — это хорошо, а секса хочет — плохо. Сидит такое «облако в штанах» за письменным столом и

упивается своей несчастной жизнью. Мне кажется, женщина намучилась с ним гораздо больше, да ещё и помочь ему хотела, он просто не оценил. А что решил больше к женщинам не привязываться — это верно. Толку всё равно не будет. Пусть лучше по вечерам иголками в горбушку тычет...

Это мнение с форума, где я поместил фрагменты этих заметок. А вот ещё, следом:

— Научился держать ручку и теперь поливает жену всякой дрянью. Довёл, скорее всего, женщину до того, что она стала «дебоширкой» (по его мнению). Фу, ненавижу таких слизней в штанах, которым все всегда должны. И искренне жалею их близких...

Так-то. А прочие «слизни» малодушно отмолчались.

Насчёт такого определения в мой собственный адрес — да я не спорю! В последние годы брака и сам уже ненавидел в себе это пресмыкающееся. Что ж, видно, я отношусь к тем мужьям, чьё мужское достоинство в браке без особого сопротивления принимает форму любого предложенного сосуда — не исключая собачьей миски.

Кстати, о собачках. Вышел я как-то со своей псиной на берег Москвы-реки — и к ней тут же пристроился «кавалер», учуявший течную подругу. Хозяин где-то замешкался, что, помню, меня раздосадовало. С какой стати я должен отгонять его кобеля? Взять свою питомицу на руки, как это принято у собачников — по крайней мере, когда переходишь со своей течной сукой дорогу — мне и в голову не пришло. Вместо этого я решительным шагом двинулся с Айкой вглубь лесопарка. Кобелёк, естественно, семенил за нами.

Краем глаза я видел, что какой-то бородач интеллигентного вида двинулся в нашу сторону. Я ускорил шаг, потом ещё. Затем резко свернул на боковую тропку. «Интеллигент» явно отставал. Ещё немного — и я попросту увёл бы у него собаку, когда, задыхаясь от быстрой ходьбы, он соизволил, наконец, подать срывающийся на фальцет голос:

— Подождите!

Потом я понял, почему так поступил. Я увидел в этом безвольном существе ненавистного себя. Я ощутил, что у меня на глазах вот так же уведят мою единственную жизнь. Может, в другом месте, с другим человеком она смогла бы оказаться по-настоящему счастливой. Но годы шли — а я всё не решался крикнуть своё «подождите!»

Впервые как бы увидев себя со стороны, я с горечью понял, что причина-то — во мне. Что это я сам превратил свою жизнь в декорацию, пустую оболочку, а самого себя как мужчину — в симулякр. И сам же страшусь что-либо изменить. Как говорил один из марктовенских героев, «мечтай осторожно, ты можешь это получить» — и я решался лишь «осторожно мечтать», а по сути, продолжал жить со стиснутыми зубами... тринадцатый год из общих пятнадцати нашего брака.

Ну, видно, против природы не больно-то попрёшь. Зоопсихологи, выясняя, какой стиль отношений предпочитают наши любимцы, обращались с одной группой щенков только ласково,

с другой только грубо, а с третьей — то так, то этак. Так вот, сильнее всего привязалась к учёным именно последняя группа. Не по той ли же причине для определённого типа мужчин — говорят, тех, кто рос с тиранической матерью, — притягательны откровенные стервы, женщины-вамп? Причём, с облегчением сбросив с себя бремя такого союза, наш брат нередко пускается на поиски новой мегеры.

Справедливости ради всё же замечу: наш неудачный брак с Кристиной — то был и её неудачный брак. Сейчас понимаю, что жена страдала в нём не меньше моего и тоже была его заложницей — но по-своему. Только теперь я начал догадываться, каково это для женщины, — чувствовать себя красивой, умной, успешной — но нелюбимой. И быть не в состоянии что-либо изменить.



— А если они любовники?
— Дак ведь любовники бывают только во Франции.

Т. Толстая

«На золотом крыльце сидели...»



221

Владимир Жуков ■ История моей асексуальности

Богатыри — не мы

Судиться после развода мы будем долго. Однажды родичи жены — чтоб побольнее меня уесть — даже привезут к зданию суда мою любимцу, ушастую Айку. А в другой раз притащат на судебное заседание видик и покажут целый фильм о том, какая замечательная возводится на моей части дачного участка теплица. За теплицу требуют компенсацию, что оказывается для меня неподъёмной, и в итоге наша дачная тяжба грозит превратиться в марафонское дерби а-ля Карпов-Каспаров образца середины 80-х.

Однажды, впрочем, я навещу этот свой островок бывшего благополучия. И там случится маленькое «Бородино» — увы, не слишком для меня победоносное. Очередной супруг моей бывшей, приземистый французишка-каратист с почти лермонтовским имечком Бела, лет на шесть моложе её, но уже с пивным животиком, недолго помявшись, ухватит меня за свитер и выволочет за шкуру из моего собственного дома, превращённого в фортификационное сооружение. И я под заинтересованные взгляды соседей из-за занавесочек картинно пропашу носом цементные ступеньки на крыльце.

Бывшая жена тут же заботливо кинется ко мне. Вернее, к батарее из оказавшихся у меня под рукой пустых бутылок, которые она со своим подвинком, судя по всему, выдула накануне вечером — чтоб убрать их от греха подальше. Порыв схватиться за дубину народной войны вспыхнет у меня лишь на мгновение — и погаснет.

Пожалуй, этот выпад француза можно было понять. В его восприятии я всё ещё был соперник, тот самый «писаришка штабной», что «спал с моею женой». В самом деле, как было не полезть на меня рогами? Тем более, что он давно уже переписал территорию своими запахами — а тут снова являюсь ненавистный я. Словом, получил, на что нарывался.

Куда больше заденут меня его реплики в мой адрес, старательно транслируемые Кристиной. Например, совет — ясно, что моя бывшая постаралась, просветила насчёт пятого пункта в моей родословной — не рыпаться на чужих жён, а отправляться искать себе еврейскую женщину. Заденут — потому, что эту и ей подобные тирады Кристина старательно переведёт, а вот мои ответы — нет.

Хотя если совсем уж честно, то все эти необходимые слова, выисканные мною в словаре, я выскажу своему обидчику спустя много лет, да и то презрительно глядя на собственное отражение в зеркале. А тогда я лишь жалко, как мне сейчас видится, улыбался.

Ну а больше всего, помню, меня поразит объяснение бывшей жены, почему я не могу находиться на собственной даче:

— У меня же здесь семья!

Впрочем, после моей «депортации» страсти довольно быстро улеглись, и меня даже угостили дыней. И я уписывал её за обе щёки. Горькое послевкусие от этой дыни я до сих пор ощущаю на своём языке.

А потом супруги на своей шикарной иномарке отвезут меня на станцию — чтоб сплавить уж наверняка. По дороге я пытаюсь оживлённо болтать с бывшей женой — просто чтобы скрасить неловкость ситуации — но француз, ни бельмеса не понимающий по-русски, запретит ей поддерживать разговор.

Вскоре у моего незадачливого преемника обнаружатся многочисленные записки с натёрными у русской жены деньгами — упругими трубочками, перетянутыми резинками, будут буквально нашпигованы все его личные вещи, включая нижнее бельё. А ещё через пару лет со словами «Я не могу жить в этой стране!» он навсегда покинет Россию. Кристина уедет с ним и станет жить на два дома.

А судебные тяжбы наши тем временем продолжатся. Но из-за попыток сэкономить на адвокате я то и дело нарываюсь на непрофессионалов или проходимцев. Один из таких субъектов первым делом предлагает мне услуги знакомых братков, а получив вежливый отказ — не мой, мол, это стиль — настойчиво интересуется, есть ли у жены деньги. Впоследствии, с её слов, он оказывается самым банальным рэкетиром.

В конце концов я остаюсь вообще без адвоката, из-за чего мне удаётся отсудить у бывшей жены лишь ненужную мелочёвку да явную рухлядь. Типа двух или трёх люстр и костлявой тахты, что давно доживает свой век на даче в 80 км от Москвы.

Везти всё это некуда, поэтому даже эти сии скромные трофеи я так и не заберу. Что до моей доли квартиры, то хотя в метрах удаётся её отстоять, всё равно надо судиться дальше — уже чтобы определить принадлежащие мне конкретные стены с половицами. А затем как минимум ещё один суд — и тут уж либо моё принудительное вселение, либо столь же принудительный размен...

В конце концов плюю я на все эти суды. Баста, штык в землю! Понимаю, что никакого здоровья не хватит мне, чтобы разжать пальцы, вцепившиеся мёртвой хваткой в моё законное имущество. Моей бывшей оно явно нужней — ну, что поделаешь, если не знает человек иного способа обустроить свою жизнь...

Говорят, только четыре процента людей имеют склонность заниматься бизнесом. А как же быть остальным 96, коим тоже хочется пожить красиво? Вот и получается, как в том анекдоте времён перестройки — чтобы утром накормить неимущих старушек, нужно вечером раздеть красивых молодых девушек.

А мне — что, так уж важно вернуть конкретное кожаное кресло? Если проще купить такое же новехонькое... Да, деньги можно потерять — но можно ведь и вернуть, просто пойти да заработать по-новой. Точно такие же бумажки — но другие.

Вот обида, жажда отмщения — это да, мотив серьёзный. Только с судами обида не пройдёт, скорее, наоборот: уж чего точно с ними не прибавится, так это душевного равновесия. И я уже задумываюсь: ну вот, кончатся наши бесконечные тяжбы, и пусть я даже чего-то добьюсь — чем тешить эти свои обиды дальше? Воспоминаниями о былых викториях в зале суда? Отвоёванными люстрами?

«Супруги — самые важные учителя в нашей жизни. Их можно не всегда любить, можно даже ненавидеть, но мы не забудем уроков, которые они нам преподали.»

Ричард Бах, автор повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».

II. Цыплёнок и горькая бусинка

Развод: фантомные боли

Шесть с половиной бесконечно долгих лет. Столько я приходил в себя после развода. Всё это время тупая, ноющая боль в груди не затихала ни на один день, причём в последние месяцы она казалась едва ли не такой же сильной, как вначале.

Обида, возмущение, ярость — нет, это всё не то, не те слова. Я был просто раздавлен. Я умирал, почти буквально, физически. Из зеркала по утрам на меня смотрели «глаза потерявшейся собачки», как говорил о своей жене Джульетте Мазине великий Феллини. Я действительно ощущал себя брошенным на обочине, искалеченным, обречённым псом — не понимающим, за что его предал хозяин. И недоумевающим, как не рухнул после этого весь остальной мир.

Все эти годы я не мог говорить с людьми — что с близкими, что со случайными — ни о чём ином. Я мгновенно преображался — и куда только девалась моя природная улыбочка... Глаза мои сверкали, губы презрительно кривились. Я уже не отдавал себе отчёта, что описываю свои заключения по второму, а то и по третьему кругу.

И осекался, лишь улавливая в глазах собеседника недоумение, неловкость, чуть ли не страх за моё психическое состояние. И я не стал дожидаться, когда меня начнут избегать, предпочтя стать отшельником сам.

В последний раз я поведал свою историю старинному приятелю, с которым не виделись много лет. И, слушая себя со стороны, порадовался — ибо рассказывал без прежнего надрыва, можно сказать, со смешком, как бы уже о ком-то постороннем. Но тут он, перебив меня, с удивлением заметил, что мы почти одного роста — хотя вообще-то я, по крайней мере, на полголовы выше...

Я понимал: чтобы распрямиться насовсем — нужно ещё время. Может быть, много времени. Так выходят из декомпрессии — когда даже 10–15 минут пребывания на стометровой глубине оборачиваются не менее чем двумя часами всплытия. Нырять-то, у которого, образно говоря, ноги, как спагетти, товарищи просто берут под руки и очень медленно, по спирали, выводят на поверхность. Я же упрямо пытался подниматься сам...

Потом я узнал историю одного американца, который покупал открытки и раздавал их тысячам людям, прося записать в них свои секреты. И быстро стал знаменитым, издал книжку. Мне запомнилась открытка, вернувшаяся к нему с признанием: «Я нашёл применение старым носкам: я в них дрочу». С тех пор я то и дело стал напоминать себе, что мои воспоминания — это просто-напросто мои старые носки. Вот, оказывается, каков удел одинокой старости — беспрерывно сношаться с собственным прошлым...

Каждый день я выпихивал себя к новой жизни, к людям, но двигался, как слепая цирковая кляча — по кругу, одним и тем же маршрутом. Хотя по ту сторону проспекта к моим услугам была рожица стадиона «Динамо» — ноги сами несли меня по раскалённому пыльному асфальту вглубь промзоны. И дальше — к Боткинской больнице, к онкологическим институтам, взрослому и детскому.

Я брёл, глядя себе под ноги и сильно сутулясь. И раз за разом переносился туда, в своё прошлое — будто пытаюсь повернуть время вспять. И если меня останавливали какие-нибудь нарядные кавалеры с дамами, спрашивая дорогу к театру, мне хотелось заорать: какой, к чёртовой матери, театр — вы что, не видите, что я ругаюсь с женой?! Подняв однажды глаза, я увидел рядом со своим домом высотку, что возвели, похоже, буквально за ночь. Продавщица из ближайшей палатки помялась надо мной — оказалось, каланче уж года два.

Из телепередачи о собаках, чующих рак, я узнал, что тяжёлые болезни имеют свой запах. Брюшной тиф, к примеру, пахнет свежеспечённым хлебом, корь — только что выщипанными перьями. Диабет — бананами, а туберкулёз — несвежим пивом.

У меня тоже развился особый нюх — на возможный стресс, опасность, связанную с женской экспансией. Этот страх стал ассоциироваться у меня со шлейфом дорогих духов, прежде всего, конечно, «Маже Нуар». Не меньшую тревогу

вызывают у меня высокие голубоглазые шатенки, особенно со вздёрнутым носиком, лебединой шеей и покатыми плечами.

Впрочем, настороже приходится быть в самых безобидных ситуациях.

— Вы во сколько сегодня заканчиваете работу? — с улыбкой интересуюсь у знакомой библиотечарши. Боюсь, что не успею выбрать нужные книги.

— Вообще-то в семь, — отвечает та, смущаясь, — но могу и пораньше.

Стал ли я асексуалом? Не знаю, не задумывался. По-моему, асексуальность — это жизненная философия. Со мной же всё куда проще. Подопытным цыплятам среди прочих зёрен подсыпали бусинку и те склёвывали её. Но если она оказывалась горькой — потом долго с криком её избегали. Вот и я, похоже, надолго интоксцирован своим неудачным браком. И даже эти заметки — не что иное как истошный вопль моей смертельно напуганной цыплячьей душонки... Одна моя виртуальная приятельница после прочтения этих заметок так и обращается ко мне в минуты особого расположения — цыпа.

«Мы трахаемся с тобой головами»

Коллеги на работе пожелали мне в день рождения — устроить свою жизнь, отыскать, наконец, свою вторую половину. Я не стал признаваться, что впервые за много лет, кажется, начинаю считать свою жизнь устроенной. А насчёт второй половины... Мне бы теперь первую найти.

А вообще — почему все так уверены, что у каждого, абсолютно каждого человека в каждый конкретный момент непременно должна иметься эта пресловутая вторая половина? Что без таковой я, ты, он, она — только полчеловека? Или вот президент заявил в новогоднем телеобращении, что главное в жизни каждого из нас — любовь, семья. Ну а если кто-то одинок, кто-то не встретил свою любовь или, встретив, разочаровался... Как-то не задумались кремлёвские спичрайтеры, что такой человек, по их логике, должен быть сейчас глубоко несчастен. А даже если и так — разве не бестактность лишний раз напомнить ему об этом, да ещё под бой курантов?

Я бы на месте лидера нации обратился с дружеским участием не к семейным соотечественникам — их-то как раз найдётся, кому поздравить, а именно к тем, кто встречает Новый год в одиночку. В натопленной, но холодной и пустой квартире, где не пахнет хвоей, не слышно звона бокалов и детских голосов...

Умом я, конечно, понимал, что может ускорить моё выздоровление — другое сильное чувство, со знаком плюс. Но заставить себя сделать решительный шаг в этом направлении — не мог. Может, ещё и потому, что впервые в жизни перестал априори нуждаться в другом человеке, перестал бояться одиночества, в какой-то мере избавился от своей мужской инфантильности, накопил в себе силы сопротивляться жизненным испытаниям, противостоять им в одиночку...

Летом я отправился в санаторий. Хороший санаторий — я знал это наверняка: лет за восемь

до того мы были здесь с женой. Это оказалось моей роковой ошибкой. Ведь не в последнюю очередь я отправился сюда «выбивать пыль из ковра» — то есть отвлечься от гнетущих воспоминаний. А вместо этого бродил по когда-то хоженным-перехоженным нами вдвоём тропкам и всё вспоминал, вспоминал... То были всё те же, как оказалось, ещё не выплаканные слёзы горечи, разочарования, обиды...

А вечером ноги сами несли меня в местный бар, где всё это продолжалось уже под несколько почти залпом выдутых порций коктейля с романтическим названием «Коляска от мотоцикла». По преданию, которое мне поведали бармены, некий молодой человек из местных, ошалевший от неразделённой любви, много вечеров подряд приезжал сюда, надирался экзотического напитка из мартини с коньяком, после чего его в полубессознательном состоянии увозили восвояси в этой самой коляске.

Не знаю, как насчёт неразделённой любви, но размоченная в живительной влаге память пятидесятилетнего неудачника отмякает мгновенно: не отходя от стойки, я разразился пьяными слезами. И подумалось: а что если я неосознанно припёрся в здешние края именно за этим? Так сказать, поностальгировать...

Кристина — то был мой страх, что по-прежнему сосуществовал со мной. Я припёрся с ним сюда, как улитка со своим домиком — таких хрупких костяных завитушек с весёлыми рожками видимо-невидимо нежилось на нагретых солнцем гранитных стенах мемориального комплекса в ближнем прилесе.

До тех пор я думал, мне хотелось думать, что я ухожу от себя тогдашнего всё дальше. Я судил по тому, как менялись мои отношения с обручальным кольцом. Подал на развод, я тут же снял его и отдал на хранение матери. И забрал обратно лишь лет через семь-восемь — заодно с какими-то другими своими вещами. А ещё года через полтора мне пришло в голову, что я должен надеть его и носить — в подтверждение, что оно не вызывает у меня уже ровным счётом ничего. Потом, правда, от этой затеи отказался...

Но, оказалось, я по-прежнему нуждался в Кристине. Я хотел её бояться. И я засыпал в обнимку с этим своим страхом, как бывшая жена когда-то — с моей нестиранной рубашкой. И ещё я начал догадываться, что она не просто однажды не пустила меня в собственный дом, лишив крыши над головой. Она наказала меня прежде всего тем, что прогнала, оторвала меня от себя!

За несколько дней до того я увидел в вагоне метро пару примерно моего возраста. Они сидели напротив, тесно прижавшись, и молчали, и она просто держала его ладонь в своей. Потом я вышел, и на платформе увидел эту женщину впереди. Не оборачиваясь, она протягивала руку своему отставшему спутнику. Но тот замешкался, и между ним и этой зовущей рукой невольно вклинился я. И тут я впервые ощутил, каково это, когда тебя не слушается твоя собственная длань. Моя ладонь готова была на любую жертву, готова была оторгнуться от моего тела, вцепиться мне в горло, наконец — лишь бы потом скользнуть

туда, в этот привычный мир, сложенный уютной лодочкой...

Слава богу, на третий день пребывания в санатории на мне повисла Дина, соседка, на 16 лет старше. Я не стал сопротивляться — рассудив, что «бабуля», пожалуй, будет безобиднее прочих.

Дина была отяжелевшей блондинкой со следами былой красоты и, как я понял с её слов, довольно бурным прошлым. Вольтеровская мысль о том, что с закатом своей красоты женщина встречает расцвет своего ума — нет, это было не о ней. Дининым коньком оказались грубые солдатские анекдоты да рассказы о том, где и сколько они с подружками выпивали в молодости.

К явным секс-туристам моя новая знакомая, пожалуй, не относилась, но всякий раз, желая мне спокойной ночи, она всё же напоминала, что с надеждой оставляет дверь на наш общий балкон открытой. М-да, размышляя я, баррикадируясь в душные ночи сложными конструкциями из стульев и тумбочки — канули в Лету те времена, когда даже врач по женским болезням допускался лишь пощупать пульс на руке, протянутой через отверстие в стене.

Однажды вечером, когда мы мирно выпивали у меня в номере, она вдруг потребовала поцелуя. Мне удалось вырваться из клинча, лишь перейдя на официальный тон и пригрозив полным разрывом наших отношений. Невольно припомнились умиленные поцелуи приходящих в гости старушек, которые я так не выносил в детстве, тут же досадливо утираясь после них рукавом.

Уяснив, что с сексом облом, Дина перед самым отъездом попросила займы. С худой овцы, что называется... А может, ей и правда понадобилось съездить в другой город, на могилу мужа-лётчика, погибшего в Афгане. Просила пять тысяч, у меня были только три. Естественно, дал. Естественно, потом не вернула...

Нет, если я кого-нибудь и мог представить рядом, то лишь женщину, вроде меня самого. Которая не считала бы, что мужик обязан хотеть её по определению. Которая не ловила бы алчно мужчин, но вместе с тем и не превратилась бы в неухоженную и суетливую белку.

Хоть в отроческие годы, напомним, я и сам возбуждался ото всего, что двигалось, с возрастом мои установки несколько поменялись. И пусть нынешние мои сверстницы внешне уже далеко не те, что когда-то — зато теперь в них можно попытаться разглядеть кое-что иное. Не применительно ли к бальзаковскому возрасту замечено, что самое сексуальное в женщине — её мозги? Как говаривала одна пожилая писательница молодому поэту, с которым они взахлёб общались лет двадцать: «Мы трахаемся с тобой головами».

Скоро у меня тоже появилась такая подружка, ровесница. Мы приятельствовали: ходили по камерным театрам да выставкам, по чуть-чуть выпивали в беседках сада «Эрмитаж» и на лавочках в Серебряном бору, шатались по переулкам старой Москвы.

Мы не сразу и немного напряжённо перешли на «ты», отчего мне долго потом пришлось делать едва заметную паузу, чтобы переключиться. То было как переход с родного языка на чужой, непривычный. Или как перед тем, как назвать свою новую женщину по имени, долю секунды соображаешь, а не ляпнешь ли сейчас имя прежней. Видимо, на уровне подсознания я сразу отнёсся к ней насто-роженно, с опаской.

Инициатива в сокращении дистанции исходила от неё — и мне это не очень понравилось. Ведь своим долгим, явно нарочитым выканьем я недвусмысленно устанавливал между нами что-то вроде демаркационной линии. Ей как женщине неглупой это должно было быть ясно.

К счастью, с ней не пришлось притворяться, играть какие-то надуманные роли. Может, отчасти потому, что моя новая знакомая сама была натура подстраивающаяся. С умными — умная, с хамками — хамка, как сама она с непосредственностью призналась. У неё даже дочка своего не было: ещё в школе она скопировала его у соседки по парте. Так же легко и теперь схватывала чужие словечки и выражения.

Помню, как с восторгом ощутил с ней то беззаботное, пьянящее чувство свободы, что бывает только в ранней юности. И мне было наплевать, что она не любит готовить, или что в квартире не так уж, чтобы прибрано. Мне даже нравилось, что она не заиклась на какой-нибудь паутинке под потолком и может, не стесняясь, со смехом сама указать на эту паутинку и убирать её при мне веником.

Я подгрёбал к ней в Бескудниково, мы болтали, пили чай, я играл с её крысом Феликсом. Каждый вечер по часу трепались по телефону — будто бы ни о чём. Но я с тоской думал: ну вот переступи её, эту невидимую черту — и тут начнётся...

И почему на свете только два пола? Ведь с мужиком даже такого тандема не получилось бы. Как-никак по своей ориентации я натурал, и романтический флёр для меня важен. Я хотел было остаться с подружкой на «вы», тем самым дав понять о предпочтительной для меня дистанции, да какое там... Она выдержала такие ни к чему не обязывающие отношения только год. Потом ей захотелось большего — например, чтоб я ходил с ней по друзьям-подругам. Стала настаивать, обижаться... Хотя, скорее, её задевало, что я не проявляю к ней мужского интереса.

Затем я встретился с одной своей давнишней пассией. Мы посидели в ресторане, мило поболтали — совсем, как в старые добрые времена. Потом вышли прогуляться по бульвару: от обилия выпитого и съеденного моя подруга буквально засыпала. Тут-то я и сообщил, что теперь, мол, — против секса и наркотиков. Вижу — не верит, думает: набиваю себе цену. Она явно не забыла, как несколько лет назад спросила меня:

— Ты всегда был такой гиперсексуальный?

На что я совершенно искренне отвечал:

— А разве я гиперсексуальный? Я думал, я обыкновенный...

Тут она, видно, въехала, что я не шучу, и в свою очередь призналась, что собирается замуж. И бесхитростно поинтересовалась:

— А мы будем с тобой ... и потом вот так же по ресторанам ходить?

После этого я разыскал бывшую сослуживицу, с которой когда-то довольно близко приятельствовали, пригласил на чашку кофе. Перемыслил кости бывшим коллегам, обменялись новостями. Я обмолвился, что давно разведён, живу один. Чувствую — какое-то напряжение в разговоре, тон уже не тот, прежний. Пошёл её провожать. Чем ближе к дому, тем больше она слушает вполуха, отвечает невпопад. У самого дома — произносит деревянным голосом:

— Ну, на чашку чая я тебя не приглашаю?

Я поторопился поддакнуть. Назавтра позвонил поблагодарить за вечер — и встретил подчёркнуто холодный приём. Так больше и не общаемся.

Так могу ли я считать себя асексуалом? Скорее, да, чем нет. И не потому, что меня уже не тянет на сексуальные подвиги — с мужиком после сорока это может случиться по самым разным причинам. А потому что меня это полностью устраивает. Более того — иногда мне не по себе при мысли, что однажды я могу проснуться собой когдатопшим...

И знаете, что мне тут подумалось? А может, матушка-природа не случайно отнимает у некоторых людей либидо? Как хвост у наших далёких предков, которым те цеплялась за ветки — пока эволюции не понадобилось опустить их на землю? А что если у меня, как у тех первобытных мартышек, впереди и впрямь какое-то особое предназначение — уже не связанное с количественным воспроизводством себе подобных?

В последний раз, познакомившись через Инет, я сразу признался в своей «нетрадиционной ориентации». Благо, то была переписка по «мылу». И женщина попалась, похоже, добрая, душевная: в Сети она искала собачью няню на время своего отпуска. Рассказала, что опекает ещё дворового «зверика», состарившегося сторожевого пса Цыгана, стараясь кормить его даже лучше своих собственных: ведь у бедняги нет других радостей в жизни.

Но в ответ на встречную откровенность Тамара вдруг недобро попрекнула меня, что я собираюсь решать свои проблемы за её счёт. Хотя, если откровенно — разве не для этого люди и ищут друг друга?

Между тем не жалуют нашего брата асексуала, похоже, оба пола.

— Самое возмутительное, что вы продолжаете цепляться к женщинам, — оскорбился, выслушав мои разглагольствования в Сети, некий Кестьон-Алу. — Живите одни со своей «философией», только и всего...

А вот Мегера Милосская, и эта тоже в меня камнем:

— Он женскую красоту увидел безотносительно к полу! Этому есть название — климакс. Когда женщина в зрелом возрасте, ей нужен мужчина, а не «асексуал» со своим импотентским скулежом, возводимым в философию. Но он, однако, продолжает таскаться за женщинами, заводить

новые знакомства и ещё обвинять женщину в том, что она «выдержала только год» с таким недоделком...

Удивительно, что «Мегера» с её аргументацией на уровне гениталий знакома с «Анатомией человеческой деструктивности», «Искусством любить» и другими трудами Эриха Фромма, которого она, как оказалось, уважает и ценит как тончайшего психолога. Но как тогда можно было не понять, что в её разряд «недоделков» неизбежно попадают и совершенно нормальные мужчины? Те, например, кто продолжает искать свою единственную — но при этом не хочет размениваться...

А вообще агрессия по отношению к асексуалам, по моим наблюдениям, характерна для тех жён, чья личность мало чего из себя представляют и/или опустынилась в браке. Супружеский секс как «долг», «для здоровья» и культивирование у своего мужика чувства вины (не хочешь меня обслуживать, значит подлец) — удобный для них повод давить на психику мужа, вампирить, словом, доминировать в брачном союзе, не имея для того никаких реальных достоинств.

Таким образом, супруг, перешедший в разряд асексуалов, ненавидим не только потому, что его половина обуреваема неудовлетворённой страстью (её в конце концов можно удовлетворить на стороне). Но ещё и потому, что отсутствие сексуального интереса с мужской стороны — как рычага влияния женщины в супружеских отношениях — рождает у неё неуверенность в будущем своего брака и в конечном счёте в себе самой. И вот это уже прямой путь к неврозу.

« Мужчину никогда ничего не просит у женщины, ну разве что иногда он просит всё, но только на то время, пока ему это нужно.

Дорис Лессинг,
английская писательница,
нобелевский лауреат.

Не обладать. И не принадлежать

Благодаря «собачнице» я понял: признаться даме, что как женщина она меня не интересует — значит, вогнать человека в ступор. Это всё равно, что заявить: я буду с тобой общаться — но знай, что ты мне не нравишься. И потом, две половые роли в отношениях между людьми известны — но третья? Как тут себя вести? Тем более что эта третья роль — какая-то странная: мужчина приглашает в театры, дарит цветы и маленькие подарки, а иногда даже привозит продукты — и ничего не требует взамен. Впору растеряться...

Но что если для меня думать о плотских отношениях с женщиной, к которой я не испытываю сердечного чувства, почти так же противно, как и с мужчиной? Особенно, если инициатива в этом вопросе исходит от дамы. Эротические картинки в журналах или по «ящику» и те вызывают лёгкое отвращение — своей агрессией, неуклюжими попытками зацепить за слабое место, сыграть на примитивных инстинктах. Ведь я уже знаю, что

внешняя красота сама по себе — обманка. Это что-то вроде удачного рекламного ролика — и ничего более.

Попалось тут на глаза в каком-то блоге: «Сняли с подругой мужиков в баре и трахнули их». Это откровение меня поразило. Не моральной стороной. А тем, что женщина может быть не только жертвой, но и охотником. Только если у нас равенство полов, почему же мне отказывают в праве «не дать», если я не хочу?

Недавно зачем-то — на старости-то лет! — взялся составлять список девочек, с которыми просто целомудренно целовался в юности. Подумалось: вот оно, настоящее. Но их оказалось так мало. Меньше, чем пальцев на руках. Да что там — меньше, чем пальцев на одной руке. А если совсем уж честно — то никого так и не вспомнил. Лет в десять мы с девчонками ещё не целовались, а показывали друг дружке, извиняюсь, п...и. Потом лет до 18–19 — какой-то провал. А потом просто вернулись к тому, что было в десять. Вот и выходило, что из наивного застенчивого мальчугана я как-то сразу превратился в похотливого кобелька.

А ведь только отрешившись от похоти, начинаешь видеть и ценить в женщине истинную красоту. Не только душевную, невидимую — внешнюю тоже. Иногда цокает каблучками перед тобой такая красотка — и невольно думаешь: боже мой, что за чудное, прелестное создание! Хочется просто бездумно топтать и топтать за ней. Любоваться вскользь брошенным взглядом, мимолётной улыбкой, наспех завязанным хвостиком. Быть рядом. Но — больше не обладать. И не принадлежать.

А ещё начинаешь ценить красоту и гармонию в женщине независимо от возраста. Отыскиваешь эту красоту во всяком периоде её жизни, включая совсем преклонные годы. И заново открываешь мир окружающих тебя людей. Теперь я понимаю, отчего среди мужчин с нетрадиционной ориентацией, как утверждают, гораздо больше людей глубоких, тонко чувствующих, лучше понимающих женщину. Ибо они не склонны усматривать в ней прежде всего объект вожделения.

И пусть для очень многих мужчин важнее всего, чтобы подруга в свои 40 могла бы, как говаривала Коко Шанель, влезть в те же джинсы, что и в 18. Для меня же самое притягательное, манкое в женщине — её личность, её человеческая индивидуальность. И оттого мои ожидания здесь прямо противоположны.

И знаете что? Я, пожалуй, не прочь и дальше оставаться асексуалом. Догадываюсь, что такой человек видит и ценит в существе противоположного пола суть, его мозги не затуманены первобытными инстинктами. Он не покупается на блестящую обёртку: кокетство, косметику, шмотки — всем этим его не проймёшь. И раскручивать на деньги его тоже бесполезно. Благодаря этому я, к примеру, избежал не только многих разочарований — но и неоправданных расходов, в результате чего перестал быть рабом своих заработков и нынче вполне удовлетворяюсь малым.

И, конечно, такой человек никогда не окажется кем-то «трахнутым». Ни в конкретной ситуации, ни вообще по жизни.

г. Москва

Илья Фоняков Сибирская ностальгия

из тетрадей 2005–2007 гг.



Три мелодии

Юрию Рытхэу

Три песни я знаю...
Жуковский

Согласно заветам седой старины,
Три личных мелодии чукче даны.

Сначала мелодия детства — она
Бывает родителями сложена.

Мелодию зрелости выдумай сам,
Прислушавшись к жизни, к её голосам.

Мелодию старости внук создаёт
И деду в подарок её отдаёт.

А вы, постаревшей Европы сыны,
Чем в жизни отмечены, отличены?

У вас с фотографиями паспорта,
Печатей и подписей в них пестрота,

Они заверяют, что вы это вы
И то, что действительно вы таковы.

С различных сторон подтверждают сей факт
Расчётная карточка, брачный контракт,

Партийный билет, профсоюзный билет.
А вот музыкального паспорта нет!

Вдруг скажет, к примеру, привратник в раю:
«Мелодию нам предьяви-ка свою!»



Протри глаза: на Чуйском тракте — мамонт!
Всамделишный, хошь верь, а хошь не верь.
Как в старых фильмах фирмы «Парамаунт»,
Доисторический прекрасен зверь.

Воздвигнут он не просто по капризу:
С ним сняться разрешают за рубли.
Шерсть бурая, расчёсанная книзу,
Свисает и касается земли.

Турист позирует, обняв подругу,
И видит, выше поднимая взгляд,
Что на горах, по скошенному лугу,
Стога, как стадо мамонтов, стоят.



Что Москва, что здешние районы —
Облик схож у нынешней толпы:
Те же сотовые телефоны,
Те же обнажённые пупы.

Летом семьдесят второго года
Свой прогноз на обозримый срок:
Именно такая будет мода! —
Выдал нам компьютерный пророк

Это было в городке научном.
Для тогдашних деловых ребят
Был товаром шуточным и штучным
Сей парадоксальный результат.

Мы тогда в грядущее глядели
Сквозь манящий розовый туман.
Новой экономики модели
Составлял Абел Аганбегян.

Нам с трибун ораторы вещали
С цифрами в руках, не на авось,
Напророчили, наобещали...
Радуйся: хоть что-то да сбылось.

Абстрактная живопись

Тамаре Грицюк,
новосибирской художнице,
дочери художника

Звучащим краскам в рамках было тесно.
Всех громче пело красное пятно.
И кто-то высказался неуместно:
«Что здесь, простите, изображено?»
«Искусство не подвластно переводу!» —
Другие возразили горячо.
За музыку, за дерзость, за свободу
Художнице — спасибо!

А ещё —
Хвала прекрасной абстракционистке
За то, как пировали мы потом,
И были не абстрактными сосиски,
Картошка в масле нежнозолотом,
Кудрявилась петрушка на беконе,
Напитки были выше всех похвал,
И, взяв реванш, в застолье на балконе
Фламандский реализм торжествовал!

227

Илья Фоняков ■ Сибирская ностальгия

Детство. Эвакуация

(сонет-воспоминание)

Эскадра в море, в небе эскадрилья,
 Спалённой степью скачет эскадрон.
 Войны проклятой морда крокодила
 Вломила в нашу жизнь со всех сторон.

Здесь, впрочем, тыл. Комарья камарилья.
 Нас приютил Макушинский район.
 Торчат на грядках редкие будылья:
 Наш огород разграблен, разорён

Голодными детдомовцами. Сами
 Едва ли мы сытей под небесами,
 С которых льются нудные дожди.

Ждётся не дождётся скудного обеда.
 Но можно жить: ведь впереди — Победа.
 А что у нас сегодня впереди?

На Алтае

Молитвенное дерево Алтая
 На перевале, в тряпочках цветных.
 Тянусь как можно выше и вплетаю:
 Пусть и моя останется средь них.

Без всяких просьб, желаний, знойным летом,
 Встав на одном из выгнутых корней,
 Тянусь, тянусь — и, хоть на миг, при этом
 Сам становлюсь чуть выше и стройней.

В богов не верю, но в молитву верю.
 Недаром с давних пор в горах, в глуши
 Звезде молились, кедру, камню, зверю:
 Молитва — устройство души.



Опять ступаю по земле Сибири,
 И для меня по-прежнему она
 Особая, единственная в мире —
 Ей сердцевина жизни отдана.

И по какому б я ни шёл маршруту,
 В какой бы ни внедрялся матерьял,
 Всегда со мной, во всякую минуту,
 Всё, что я здесь нашёл и потерял.



В беседах долгих вечер коротая
 И впечатленья запасая впрок,
 Мы жили в сердце Горного Алтая.
 В посёлке под названием Манжерок.

Светило солнце, и луна сияла,
 По гребням скал карабкались леса.
 Мы просыпались — облако стояло
 У нас в саду. Такие чудеса!

Сонет из Академгородка

Ты помнишь ли кафе «Под интегралом»,
 Свободу в карнавальном колпаке?
 Где ж разгуляться интеллектуалам,
 Как не в научном дальнем городке!

Brain storming¹ и вскипали вал за валом,
 Прожекты воздвигались на песке.
 Партийным и чиновным генералам
 Икалось, вероятно, вдалеке.

Два этажа $\frac{\text{числитель}}{\text{знаменатель}}$

И ты, гуманитарий-созерцатель,
 В компании занозистых ребят,

Которые влюблялись, водку пили,
 По будням мощь империи крепили,
 По выходным — читали самиздат.

Свидание с сибирским городом

Я думал: здесь оплачу каждый угол,
 Копил слезу, себя разбередив:
 Я столько здесь протратил и профукал
 И столько записал себе в актив!

Жил в новом доме близ театра кукол
 И молод был, хотя и не красив,
 А нынче в службу огородных пугал
 Податься впору, патлы распустив.

Но город, сентименты отвергая,
 Меня делами завалил чуть свет,
 Кружил и вёл, на сборища скликаая

Друзей, и даже те, кого уж нет,
 За общий стол как равные садились.
 А слёзы так мне и негодились.

Сонет о любви и браке

Поэтов, то восторженных, то мрачных,
 Давно уж устарела болтовня.
 Стиль телеграфный объявлений брачных —
 Вот лирика сегодняшнего дня.

Мозаикой призывов однозначных
 Шуршит газеты бийской простыня:
 «Из всех других, прекрасных и невзрачных,
 Неведомая, выбери меня!

Поверь, тебе не буду я обидчик,
 Во мне опору ты всегда найдёшь,
 Я — без $\frac{3}{4}$ (без Вредных я Привычек),

Веду Здоровый Образ Жизни — ЗОЖ...»
 Читаешь, про себя припомнить сияешь:
 Да как же мы-то в прошлом обходились?

Лидия Григорьева На сквозном ветру



229

Лидия Григорьева ■ На сквозном ветру



Опять, как встарь, самой пришлось
преодолеть пургу.
И рысь, и Русь, и зимний лось
в снегах — по требуху.

Меня никто тут не берёт,
не холил и не ждал.
И словно маленький зверёк
мне душу выедал.

Снег небывалый завалил
путь на родной вокзал.
Но зверь во мне не заскулил,
а раны зализал.

И снова сил хватило, чтоб
не плакать да тужить,
а, как перину, взбить сугроб,
подмять его, обжить...



Употреблю в ретивости,
в печали наливной,
я крем двойной активности —
вечерний и дневной.

Ни горя, ни усталости
не вычитать с листа,
хоть до кровавой алости
прокушены уста.



«Как время катится в Казани золотое!»
Времени застоя...

А время катится, как шар по белу свету.
Другого нету...

Куда же время золотое закатилось,
скажи на милость?..

А позолоту наших дней изъела ржа вон.
Ау, Державин.



Та жизнь отхлынула от щёк
в потоках слёзной влаги...
Тюльпаны сжались в кулачок,
замёрзли, бедолаги.

Я на сыром сквозном ветру
укутаться не смею.
И даже слёзы не утру,
пока не околею.

Письмо в Китай

Написала профессору Ланю
о Полтаве, о Гоголе и,
как стихами, пространство тараню
на пределе беды и любви.

Я спросила в письме: в Поднебесной
где бродили Ду Фу и Ли Бо,
в жизни нынешней — косной и пресной —
быть поэтом и только — слабо?

По горам, по туманным лощинам,
бродят толпы искателей слов,
или всё-таки взрослым мужчинам
нужен более вещный улов?

Поманила ли почесть иль зависть
заморочила в зрелых летах,
или вечности млечная завязь
засквозила на чистых листах?

Как найти, поскребя по сусеку,
лёгкий росчерк на белых полях?
В двадцать первом расчётливом веке,
и в Китае, и в прочих краях,

кто стихами полночными бредит,
забредя в заколдованный круг?..
Вот и жду, что на это ответит
мой китайский начитанный друг.



Ишь, нулевое, не настоящее
время настало.
Словно кривое, криво висящее,
зеркало стало.

Словно смеющимся, вогнутым оком —
в этом и сила —
время уставилось и ненароком
нас отразило.

Значит, для времени кое-что значили —
в общем и целом —
те, кто свободно хохмили, судачили,
как под прищелом.

Те, кто не ныл и не кланчил заранее
что-нибудь, кроме
этой свободы, любви и заклятия —
на смеходроме.

Раскадровка

Сама ещё ничо,
гляжусь молодцевато:
сума через плечо
и два фаттапарата.

Пока ещё несут
меня по миру ноги,
невиданных красот
дабы заснять с треноги.

На ледяных ветрах,
укутавшись в ветровку,
снимать — и в пух, и в прах,
почуя раскадровку.

Свивать ли слов тесьму
в блокноте и планшете,
врубаясь в жизнь саму
на маревой Пьяцетте.

От страсти затяжной
не чуют перегрузки,
бежать — вперёд спиной,
и ползать по-пластунски.

На лаврах почивать,
и очуметь от лени,
иль вечно кочевать
и падать на колени

дабы вписался в кадр
вот этот блик предвечный
на лицах олеандр,
на заводи заречной.

И жизни жадный плод
снимать в упор, вживую,
и венецийских вод
мантилью кружевную.

А зимний карнавал
в неистовстве ретивом,
кто только не снимал
небесным объективом.

Крыло ли за плечом
в азарте бьёт заядлом...
А я здесь ни при чём,
а я всегда — за кадром.

Полуденный сон Олигарха

Солнце светит. Но не жарко.
Ветер затихает.
В голове у олигарха
бабочка порхает.

Книга мудрых изречений.
Вечные вопросы.
Дети падают с качелей,
как в повидло осы.

Те, кто встали, не ледащи,
уж идут с обедни.
Этот день на летней даче
может стать последним.

Коллекционер

В домах на снос, по ветхим чердакам...
То самовар припрёт, а то иконку,
а повезёт — серебряный чекан:
там герб пробил фамильную солонку.

Крутятся внутри Бульварного Кольца,
потомственный жилец полуподвала,
он душу ободрал до багреца
о лаковые пальцы антиквара!

До рая простирались потолки
и полки. После долгой перепалки
он разместил свои золотники
в шести квадратных метрах коммуналки.

Он в жизнь входил, как в ближний бой, с колёс
накидываясь с жадностью скоромной
на вещный мир, держа наперевес
серебряную ложечку с короной.

Был полиглот, но так слова глотал,
что походил порою на дебила.
Но девичья (девичья ль?) нагота
как плеть его пришлѣпнула, добила...

Зачем он заглянул в её окно,
в застиранный мирок её застенка,
где перед ним предстала — не в кино —
срамная вожденная растленка?

Не смог, как пыль веков, осесть, опасть,
восстал из пепла, из речного ила —
запойная и бешеная страсть
его, как таз дырявый, залудила.

Но так он и не понял, почему —
до обморока, паморока, стона —
любовь ему пока не по уму,
а по сердцу и — не коллекционна...

г. Лондон

Георгий Садхин За любовью уходим



~ Александру Казанцеву

1.

Лицом побеждая высокий прибор,
косое крыло укротив под собой,
верхом, в ожиданье начала,
искать зарождение вала.

И, предштормовой ширитой озарён,
дразнить океан полыханьям знамён
найдя превосходную степень —
волне наступая на гребень.

И, пренебрегая крушением стены,
промчатся изогнутым фронтом волны,
оставив восторженной дали
солёных разводов спирали.

2.

Мы уходим туда, откуда пришли.
За любовью уходим,
если сердце любовью сожгли,
а любви не находим.

В белоснежной одежде приветит земля,
как невеста в купели.
Это выпадет снег, отпоют тополя
иль цветенье в апреле...

3. Закат

Драконового дерева ещё сочтется кровь
и солнце обрело ущербность полукруга,
подобие своё роняющего в ров.
И у меня совсем не стало друга.

Картины полдня сняты со стены,
короткие лучи погашены в чулане,
где кисти и бинты случайно сожжены,
и нечем врачевать пейзаж в оконной ране.



Видел дозорный, как стая летела,
как обволакивала пространство,
как, становясь иллюзорным, тело
пересекало тьмы постоянство.
Как собирались тяжёлые тучи.
И проникали в закрытые двери.
И в наступившей истоме тягучей
видел дозорный бегущего зверя.
И колотился у глаза кристалл...
Видел дозорный, да не рассказал,
как налетали все в чёрном грачи,
время клевали в янтарной ночи,
чтобы забыло дорогу домой,
то, чего не было вовсе со мной.



Молча сотру рукавом годы со лба глядящие,
лезут, как на рожон, даже под капюшон.
Жирным карандашом трону усы настоящие —
сам себе — не смешон.

И побреду искать улицу пению сольному.
Солью плеснёт в глаза полночь, как кирза.
Что не пошёл в отца, выска-
жет сна недостойному
перечитав с аза,

— Крестит ли от вражды, нехри-
стей в Кондопоге,
новый полярный день или полярная ночь?
Кругом полярным свяжешь ли руки-ноги,
кривде, несущей за голенищем нож...



Ты родился с печалью в глубоких глазах
и гуляешь по городу в тёмных очках,
где крещён небосвод над годами,
обречёнными выть проводами.

На осенний сезон заведён циферблат.
Что забыл — то напомним встревоженный брат,
коль бредущая следом тигрица
дней прошедших сверкнёт небылицей.

Без оглядки на небо уже не спастись.
Над Нью-Йорком гудит вавилонская высь.
И лекарства от каменной боли
в междуречье из каменной соли.



Ты родился с печалью в глубоких глазах
и гуляешь по городу в тёмных очках,
где крещён небосвод над годами,
обречёнными выть проводами.

На осенний сезон заведён циферблат.
Что забыл — то напомним встревоженный брат,
коль бредущая следом тигрица
дней прошедших сверкнёт небылицей.

Без оглядки на небо уже не спастись.
Над Нью-Йорком гудит вавилонская высь.
И лекарства от каменной боли
в междуречье из каменной соли.

231

Георгий Садхин ■ За любовью уходим

~ Лере

Там, где ветер с дождём по широким полям
клонят сочные травы волнами,
ходит юная дева и гривы коням
оплетает живыми цветами.

Голубой акварели добавит мазки
с полотенцем весёлое солнце.
И бросает красавица вверх васильки,
и кружится одна, и смеётся.

Семь цветов растекаются в небе дугой
и звенит золотая карета —
это август поделится с маем дудой,
чтобы длилось прекрасное лето.

Белогривые кони катают её.
Напевают ей белые птицы.
И от счастья бедное сердце моё
разбивают колёсные спицы.

~

Не суди потому, что «проспал» судья.
Игроки наблюдали цветение вишен.
А судья, свой кленовый рожок продудя,
от досады свалился с колодезной крыши.

Золотились плоды над штрафною чертой.
И рассветам мы предпочитали закаты.
Их третейский судья отделял запятой
и предписывал встречи и новые даты.

От молочных истоков плывут золотые шары.
И миндальную косточку в них не заменишь.
И судья не велел выходить из игры.
От ворот поворот — кому хлеба и зрелищ.

~ В. С.

Лесною дорогой нагонит тебя велогонщик.
На звук обернёшься — старик ковыляет с клюкой.
Бежишь от судьбы, а её наступающий росчерк
грозит, словно конная сотня, вдали за рекой.

Давно ли на школьную мы выбегали линейку.
И вот — комсомольское сердце пробито в угоду стихам.
От долгой ходьбы, на лесную присядешь скамейку,
которую кто-то несёт за тобой по пятам.

Табличка на ней. И, английским себя занимая,
прочтёшь и поклонись чьей-то судьбе.
— Погиб за рабочих? И женщина глухонемая,
сидящая рядом, в ответ улыбнётся тебе.

~

Не улетай, вернее,
воду не проливай.

Ходит над Пиренеями
от кольцевой трамвай.
И мастерит перила
Кеплер у пирамид.

С азбукой от Кирилла
сходят порой с орбит.
И торопят нелепо
прошлое пред собой.

Дома, упавшим с неба,
всё — вниз головой.

г. Филадельфия

Кельт КрѳвиѢ

Алхимия предательства



I.

Когда взрослеет неудачник?
Когда становится седым,
А содержимое зачак
Перегорает в едкий дым.

Что остаётся? Мелочь. Сдача.
Долги. Растерянность. Цинизм.
И вера в скорую удачу,
Которая изменит жизнь.

Ну и плюс к внутренним руинам —
Гора претензий и обид.
Развод с женой. Разлука с сыном.
Тоска. Предательство. И стыд.

Реальности бы в челюсть врезать!
Нет стимула. И смысла нет.
Сплошная искренняя мерзость
На ужин, завтрак и обед.

Тебя сломали? Заблужденье.
Тебя сломить нельзя никак.
У сына скоро день рожденья.
И значит будет всё ништяк.

Но сложно оставаться сильным,
Когда привычный мир разбит.
Развод с женой? Разлука с сыном?
Предательство. Тоска и стыд.

II. Банальное

Развод — всегда предательство
По отношению к детям.
Какие б обстоятельства
Ни прятались за этим.

III. Алхимия предательства

1.

Андромаха. Андрогин.
Тела теплющийся тигель.
Ось пронзённых сердцевин.
Абсолютная погибель.

В чёрном зеркале — погост,
Бесконечная воронка,
Безупречный холокост,
Декорированный тонко

Картой восхожденья в рай,
Полный лебединых стай
С обгоревшим опереньем.
Стаи ждут, оцепенев,
Ждут, чтоб грянул божий гнев
Долгожданным Воскресеньем

2.

Вот и выбор позади.
Пройден уровень распада.
Продолжение пути —
Свечи, ладан и лампада.

Ярок, холоден и чист,
Лунный свет, как зимний полдень.
Без креста евангелист —
Оборотень стань Господень.

Что внутри? Облом под лёд.
Долгий мусоропровод.
Два ведра на коромысле.
Череп (квашеный качан),
Пристрастившийся к речам,
Отказавшийся от мыслей.

3.

Изуверски хороша,
Притягательна, как пропасть,
Не прощённая душа,
Нераскаянная совесть.

Ясность... мнимость... символ... миф...
Детский балаган на рынке,
Ничего не изменив,
Создал яркие картинки.

Рдеет утренний восток;
Переполнен кровосток;
Солнце, как пожара рупор,
Накаляет горизонт;
И сквозь облако ползёт
Разгорающийся пурпур.

г. Москва

233

Кельт КрѳвиѢ ■ Алхимия предательства



Татьяна Стрельченко Лавандовый сквозняк

Если зажмурить глаза (сонное)

Если зажмурить глаза, то увидишь звёзды,
Красные звёзды на чёрной изнанке века...
Можно увидеть, как время, нетрезвый лекарь,
(С видом нелепым какой-нибудь феи-крёстной!)
Пряным отваром из снов, чабреца и снега
Лечит мне сердце...

Лечит мне сердце, а я опускаю веки,
Веки-столетья, где звёзды — и мне не грустно!
Дождь четверговый... Река изменила руслу
(Склонны к измене теперь и сердца, и реки!)...
Снова стихи расцвели на хрустальной люстре
И потемнели...

И потемнели стихи — я уснула просто.
Или проснулась? Уже не поймёшь, пожалуй!
...Жаль, что у бабочек нет ни шипов, ни жала...
(Странные мысли! И где же мой лекарь-крёстный?)
Трудно дышать... задыхаюсь! Я к вам бежала,
Сонные звёзды.

Сердоликовый камень, Марина!

Мне, Марина, никто не дарил сердоликовый камень,
Не мечтал пригубить мои пьяные терпкие песни,
Не пытался слепить моё имя из снега руками
И вдохнуть в него душу, касаясь губами... «воскресни!»

Мне, Марина, никто никогда не дарил сердолик!

Мне никто не дарил сердоликовый камень, Марина!
...приглашали в кино, приносили на праздник конфеты,
Наливали в бокалы не терпкие песни, а вина,
Покупали в стеклянных флаконах вопрос без ответа:

Почему мне никто никогда не дарил сердолик?

Сердолик — не декабрьский подснежник, не розовый кактус,
Сердолик — на ладони заката застывшие брызги...
Я ль о многом прошу? Мне сегодня поверилось как-то
В то, что он на подходе, Марина, он рядом, он близко...

...тот, который сумеет найти для меня сердолик.
а по сердцу и — не коллекционна...

Эскиз

То ли картины маслом,
То ли судьбы эскизы...
Жить начинаю — скоро.
Это? Да так, набросок.

Лампа к утру погасла.
Всё хорошо, маркиза!
Ночью родился город:
Скверы, фонтаны, розы...

Жаль, не хватило краски
Тёмно-зелёной, тьфу ты!
Как же теперь аллея?
Ладно, пусть будет синей.

Светлой резной указкой
Я обведу минуты
В воздухе (коль сумею!) —
Всё хорошо, графиня.

Что там ещё? Бульвары,
Крыши домов, карнизы,
Белый кирпич театра,
Чёрная маска ночи...

Смех, фонари, гитары...
Всё хорошо, маркиза?
Жить начинаю — завтра.
Если сумею, впрочем.

Казни меня любовью!

Осталось восемнадцать дней до казни.
Давай устроим грандиозный праздник:
Хлопушки, фейерверки, патефон.
Укутаем в китайский шёлк планету,
Пожалуй, пригласим Антуанетту.
Без мужа: груши, колики, пардон.

Мария? Будет. Принесёт волынку.
Офелия — в переднике кувшинки.
Вино? Конечно! Обещал Ла Моль.
Ах, эта казнь!.. Мечи, костёр кровавый...
Я так давно не видела Варраву!
Сказал, захватит тяжкий крест и боль.

...Казни меня любовью, как и прочих!
Свяжи мне шарф из слов и многоточий,
Пушистый — для простуженной души.
Осталось восемнадцать дней до казни.
И нас казнят. И это будет праздник.
А после? Будни. Будем просто жить.



Песочные мечты, лавандовый сквозняк...
А мне вчера опять приснился Лондон:
Размытый небосклон, как полинялый флаг,
Над городом седым и старомодным.

Камелии, глинтвейн, смешные котелки,
Прозрачная улыбка музыканта...
Вчера в моей душе плясали сквозняки
С едва заметным запахом лаванды.

Побежали!

Гаснут лица и дни, созревают гранаты...
Я иду босиком по сырому закату,
То ли это луна пахнет перечной мятой,
То ли мята запахла луной?

Я иду... Злые мысли разбили посуду,
Закрутили роман с межсезонной простудой,
Обвенчали январь с легкомысленным чудом,
Зимний сплин — с беспризорной весной...

Я иду... Мне от вечности много не надо:
Мандариновых снов и вишневого града,
Банку кофе, гитару, билет в Эльдорадо...
Впрочем, глупости! Лучше — домой!

Лучше — к маме! Бежать, не жалея сандалий,
По размытому контуру Африк, Австралий,
Антарктид, Атлантид, голубых Зазеркалий,
Там, где детство и дождик грибной...

Ты в игре? Побежали со мной!

г. Киев

Рустам Карапетьян



Далеконько от Европы
Ты Дубенским заложён.
Да сюда бы ни за что бы
Не дошёл Наполеон.
Пусть Москва поёт о Волге,
Мол, красивей не найти.
Здесь — свои у нас просёлки,
Здесь — свои у нас пути.
Из варяг не выйдешь в греки,
Пропадешь в такой красе,
Где струятся дивно реки:
Мана, Кача, Енисей.
Где стреляет пушка в будни
И фонтанов бьёт струя,
Где живут такие люди,
Например, как ты и я.



Пробежав по всей октаве,
Свет сгустился в мглу.
Догорел закат, оставив
Сумерек золу.
Фонари едва мигают,
Улицы пусты.
Молча тени занимают
В комнате посты,
По линованному полу
Свой ведут курсив.
Тихо шепчет радиоло
Старенький мотив.
И на небе звездномлечный
Путь уже застыл,
За собой маня. Конечно,
Если хватит сил.



Два чёрта, два клятых друга
Владеют моей душой.
Один командует «прыгай!»,
Другой закликает: «стой!»
Один болеет с похмелья
И клянчит вина глоток,
Другой, развалясь в постели,
Грейпфрутовый цедит сок.
Меж ними не быть согласью,
Душа моя не в ладу,
А черти мне скалят пасти
И рожи корчат в бреду.
И первый мне ищет смерти,
Второй — золотое руно...
Ах да, есть ещё и третий,
Которому всё равно.

г. Красноярк



Анатолий Вершинский На языке любви и боли

236
Дни Стихи

Толкинисты

Их сверстницы уже заводят семьи,
а игры оставляют младшим сёстрам.
Но любо старшим дочкам Средиземье,
с его декором, театрально пёстрым.
Им сдобрено, как пицца зельем острым,
обыденное наше мелкотемье.

Сроднив звезду с багряным русским стягом,
хотели деды сказку сделать былью,
но воли не хватило красным магам.
И, выстирав кумач, покрытый пылью,
кроят плащи, похожие на крылья,
их правнуки, не верящие флагам.

Когда небесный конвоир
придёт за мною в грешный мир
и возвестит, одёрнув китель:
«Пора. На выход, сочинитель!»,
хотел бы я сказать в ответ
тому, кто служит в райском войске,
что, хоть и портил много лет
я домочадцам кровь по-свойски
и крал при помощи чернил
досуг читателя-страдальца,
я ничего не сочинил,
то бишь не высосал из пальца;
лишь пересказывал навзрыд,
косноязычный поневоле,
что глухо сердце говорит
на языке любви и боли.

В этом парке лет на двести
(а быть может, навсегда)
время замерло на месте,
в небеса течёт вода!

Под струёй фонтана вымок —
так на солнышке постой.
И на память сделай снимок
с «императорской четой».

Ходят ряженные в шёлке,
тешат публику в джинсе.
Приобщайся подешевке,
попозируй, будь как все.



Земляки меня не любят,
редко тискают в журналах,
и в отеческих анналах
обо мне известий нет.
И Москва меня не любит,
потому как и не знает,
а что знает-обожает —
вкус побед и звон монет.

Мне к победам путь неведом —
за начальниками следом
я не ползал на карачках
с распростёртым языком.
Даже с местными властями,
тоже сладкими местами,
я знаком не обоюдно,
то есть вовсе не знаком.

Нет ко мне любви в народе:
у народа нынче в моде
не стихи, а эс-мэ-эски
на дисплеях всех систем.
У народа есть мобилки.
А любилки? А любилки
от обилия мобилок
поотсохли насовсем.

Спальные районы

«В часы дармового труда,
в минуты пустого досуга
на тесном пути в никуда
мы так ненавидим друг друга.
Озлобленность наша слепа:
какие со встречными счёты?
Рассеется за день толпа.
У ночи — другие заботы...

Отвлечь нас от личных проблем
на общую драку без правил
способна лишь ненависть к тем,
кто нас ненавидеть заставил.
Но мы разучились уже
испытывать сильные чувства
и выпустим пар в кутеже —
на это нам хватит искусства».

На торгу

Наипростейшей из безделиц
они вовек не смастерят,
но то, что сделает умелец,
продать сумеют. Всё подряд.

Игрушки, шмотки, иномарки.
Народу — пряник, власти — кнут.
Они и мёртвому припарки
с большою выгодой толкнут.

Их ум особенного сорта:
у них на мысленных весах
Звезда Героя, звёзды спорта
и просто звёзды в небесах!

Я сочинять умею книжки,
а продавать их не могу.
Но не завидую барыжке,
что так удачлив на торгу.

Набив кредитками бумажник,
к словам утратил он чутьё
и диким именем «продажник»
зовёт занятие своё.

Имплантация

Не храбрый Тиль, не гордый Прометей,
не датский принц, не русский авиатор —
в героях нынче маг, и лиходея,
и чудища, с которыми детей
с младенчества знакомит аниматор.

Мы учим их, что нет любви конца,
что мудрых надо чтить, а слабых нежить.
Но волею киношного дельца
вживляется в открытые сердца
бездушная рисованная нежить.

— Ребятушки, неужто любви вам
сварливый тон, дикарские замашки,
звериный навык бить по головам? —
Кивают молча в такт моим словам
облекшиеся в плоть и кровь мультяшки...

г. Москва

Птица обронила перо.
Вот оно в траве-мураве —
То ли штрих на карте Таро
Или глас в стоустой молве.

Ясенывым стану листом.
Ветки ты случайно коснись...
То, что будет — будет потом,
А сейчас есть страсть и каприз.

Жить в мире
непроявленных вещей,
событий неслучившихся,
явлений,
где миг есть вечность,
ну, а сон есть явь
лишь с несколько
отличной точки зренья...

В несостоявшемся
смущеньем быть, смятением,
намёком (не образом, не тенью,
а лишь тем, что где-то, может быть,
произойдёт,
став звуком, цветом, световой
частицей, вещественной субстанцией,
микросекундой, макрокосмом)...

Не в Завтра
иль Вчера, или Сегодня
бросать себя, чтобы себя узнать,
познать иных обличем и строеньем,
и назначеньем, функцией и ритмом...

Всё, что уже когда-то было,
и то, что происходит,
и не будет, не родится, не созреет,
Не станет счастьем и не станет болью
иль Временем, иль чёрною Дырою,
квазиобманом, миром-невидимкой —
взаимопроницаемо и сущностно...

... Опять понять пытаюсь,
что есть Жизнь.
Зачем?

Всё спорно. Даже право на права.
Бесспорно: нет единого ответа
Ни на один вопрос с начала Света.
А если и Любовь — игра в слова?
г. Железнодорожск



Алексей Горобец Он — снег

238
Дни Стихи

Памяти Тамары

Пишу письмо — давно тебе пишу —
На кисее дождя, в лиеованной тетради
Трамвайных улиц, истинности ради
Все мелкие детали привожу.

Почтовый дилижанс куда-нибудь
Его свезёт. Мне адрес неизвестен.
Но лошадям овса, вознице — песен
И мудрости на весь достанет путь.

А впрочем, торопиться ни к чему,
Поскольку — зимний дождь,
И мостовая
Скользит, звенит, подковы обрывая
У лошадей почтовых,

И уму
Непостижима дикость расстоянья,
Что вдруг легло меж нами...
И стоянье
В очередях, где прошлогодний снег
Дают задаром (было бы желанье
Его спросить) — бессмысленно:
Он — снег.

Он знает срок, он снег,
Он изначально
Нам неподвластен —
Здесь, тем паче — там...
И по заросшим силовым полям
Петляет дилижанс, как будто впрямя
Он тягло и возница,
И в звучанье
Его рожка — сиротство бытия,
Где, сам не зная, сберегаю я
И мокрядь луж,
И кисею дождя.

О, патока и мёд, елей словесный!
Потоки слов, где всё наоборот.
Сорочья мудрость! — даже интересно,
Куда тебя трескучесть занесёт.

Не миновать болтливому греха!
Не суесловь: будь прям и многодумен.

Высокая форманта языка!..

Осядет пыль,
Отлипнет чепуха...

Замкни свои уста — и ты разумен.



Легко ли теперь вспоминать!..

А всё начиналось с простого:
С весны, снегопада слепого —
Мятежного снежного слова
Зимы, не умевшей смолчать.

Нельзя заслужить благодать!
И это нисколько не ново...

Но быть к ней хоть как-то готовой
Душа твоя жаждет —
И слово —
Мятежное снежное слово —
Бог даст,
И успеешь сказать...



Песок, бетон.
Болотный запах лилий.
Над плавнями прочерчен дымный след.
И брошен на буклет авиалиний
Ромашек неприкаянный букет.

Теперь нам с облаками разбираться
Да спорить с небом о Добре и Зле...

А небо остаётся на земле —
Искать алмазы в пепле и золе
И слать богам
Хулу по сиплой рации
За счастье, что, как прежде, на нуле.

А счастье рядом — поле и околица...
Пусть клеть пуста и покосился хлев,
Судьбы едва угаданный запев
Зерном в горсти
И тайным смыслом полнится,
Неправотой
И правдой отболев.



Умой слова,
Повычerkни кресивости
И удержи — хотя бы до утра! —
Любовь к печали,
Верность справедливости
И тайнопись гусяного пера.

Оставь свою избыточную мудрость
Дождям — и не таи, тем паче, зла
На скаредность и сумрачную скудность
Осеннего усталого тепла.

И наших рук разомкнутые тени,
И память губ, что я не превозмог —
Калиткой скрипнут, ступят на порог...

И сны твои читая между строк,
Рассудит нас усталый и осенний
Наш Бог любви,
Любви печальный Бог.

Станица Полтавская Краснодарского края

Борис Косенков Прусская зима



Притча о благочестивой старухе

Докучливой осенней мухой
при нраве властном и крутом
благочестивая старуха
держала в страхе целый дом.

Она гоняла люд окрестный
и, день за днём борясь со злом,
грозила карою небесной
и милицейским патрулём.

Ночами мерный скрип кроватей
её особенно бесил.
По стенам, бормоча проклятья,
она стучала, что есть сил...

Но срок пришёл. Сухое тело
оставила её душа
и в выси горние взлетела,
к Престолу Господа спеша.

Чтоб там за пазухой Христовой
в раю вкушать душистый мёд...
Однако Пётр, ключарь суровый,
дал от ворот ей поворот.

Теперь зловредная старуха
в аду веками напролёт
в смоле кипящей воет глухо
сквозь намертво зашитый рот...

Пусть на носу себе зарубит,
пусть на носу себе зарубит,
пусть на носу себе зарубит,
как «Отче наш», весь женский род:
Господь сварливых баб не любит,
Господь сварливых баб не любит,
Господь сварливых баб не любит
и в рай к себе их не берёт.

Чужбина

Чужие улицы и скверы,
чужие лица и дома...
Мне разум застит дымкой серой
событий чуждых кутерьма.

Транжира дней своих пропащих
в пути от смеха до слезы,
теперь я просто барабанщик
какой-то отставной козы.

И мне уже открыли визу
в страну успенья всех начал...
И вздорная соседка снизу,
как смерть,
стучит мне по ночам.

Одиночество

Уж давно не ищу приключений
и махнул на победы рукой.
Мне дороже гульбы и кочевий
строгий лад и душевный покой.

К чёрту славы назойливый топот!
Всё милее становится мне
откровений застенчивый шёпот
в предвечерней глухой тишине.

На российских мятежных просторах
побродив, поблудив, покружа,
в наших ссорах и в наших раздорах
одиночества просит душа.

Так слышнее сквозь будничный грохот,
сквозь громаду космических вёрст
ярких солнц жизнерадостный хохот,
тихий стон умирающих звёзд.

Гавань

Калининградское утро
слёзы привычные льёт.
Жизнь моя лодочкой утлой
в море житейском плывёт.

Бури гуляют кругами,
волны навстречу гоня...
Где-то уютная гавань
ждёт не дожждётся меня.

Только бы сдюжила лодка
и не сломалось весло...
Только бы в жизни короткой
мне наконец повезло.

Улыбка

Чудо и к нам прикоснулось —
чтобы нас побаловать.
Сизым ледком затянулась
луж буроватая гладь.

В городе празднично. Где бы
я ни шагал, надо мной
чистое радует небо
солнцем и голубизной.

И, точно зэк, по ошибке
выпущенный из тюрьмы,
я умиляюсь улыбке
прусской сиротской зимы.

Прусская зима

Эта прусская зима
не для русского ума.

Дождь по нервам хлещет плёткой,
сердце мне зажав в тиски...
Дай-ка вышью стопку водки,
чтоб не сбрендить от тоски.

Эта прусская зима —
смерть для русского ума!

День бездарный, день постылый
всё не кончится никак —
только знай мне тянет жилы
да мотаает на кулак.

Эта прусская зима...
Ты не сбрендила сама?

То ли пил я — то ли не пил,
то ли жил — то ли не жил...
Серых буден серый пепел
душу мне запорошил.

Эта прусская зима...
Не сойти бы мне с ума!

Ordnung

Как баба, со Звёздного Воза
на город упала зима.
Рождественские морозы
по-русски штурмуют дома.

Не успевая драпать
от стужи да с ветерком,
настырная прусская слякоть
прикидывается ледком.

Под шины «фордов» и «опелей»,
проходим под каблуки
ложится, надеясь, что оттепели
не так уж и далеки.

Что зима, закрепить сялясь,
растратит свой боезапас...
И тогда уж коварная сырость
наведёт свой орднунг у нас!
г. Калининград

Ирина Землянская

Мне душу робкую Господь вложил
В большое, громкое, мятущееся тело.
И что, казалось бы, за дело,
Что велики у тела рубежи?
Душа и тело не придут к согласью:
Душа желает — тело не пускает.
Иль плоть желает, но душа-то знает,
Что так и эдак не ухватишь счастья.

Коль робкая моя душа
Любить боится и боится боли,
То тело не получит ни шиша...
Душе и телу мяться доколе?

Меня наемни Краткость посетила,
Неся под мышкой пыльный томик Канта.
И, как бы между прочим, сообщила:
— Сегодня я без брата, без Таланта.
Не огорчайся. Вдумайся, пойми:
Нас только двое, а людей — до чёрта.
Вот так и ходим с братиком одни,
Он по нечётным дням, а я — по чётным.

Тебе меня не разлюбить.
И это точно мне известно.
Как это смотрится прелестно
И романтично, может быть.

Тебе меня не разлюбить.
Не скроет солнца тень измены.
Я не найду тебе замены.
Тебе меня не позабыть.

Тебе меня не разлюбить.
Кто знает, нас пускай рассудит:
Кто не любил, тот не разлюбит —
Любви в пустой душе не жить.

Хоть не пасую я нисколько,
Глазам — темно, а сердцу — горько.
г. Железногорск

Валерий Скрипко

Завхозы красоты

Музыка Мисхора

Прибой — почти церковный хор —
Опять зовёт меня в Мисхор,
Где на предгорье кипарис,
Почти как сказочная мисс...
Блаженна тень, огромен день,
И в голове такая звень,
Что мне милей, чем старина,
Глоток мускатного вина...
Я буду здесь бродить один
Всем серебром своих седин
На лайнер списанный похож,
Но всё ж мальчишеская дрожь
В душе, познавшей этот хор
Твоих осенних вод, Мисхор!
По синеве — в турецкий край!..
Замри и жизнь в себя вбирай.

Зимний сад

Чуть спал мороз, и чёрно-белый сад
Темнеет так тревожно и пустынно,
Но в сумерках, сулящих чудеса,
На белом вижу я фигурку сына.
И этот сад, чужой мне миг назад,
Вдруг стал родным до слёз, до удивленья.
Горячий вал любви омыл глаза,
И сына посадил я на колени.
Мы на скамье заснеженной вдвоём
Нашепчемся о леших и медведях —
Мы вместе замечательно живём,
Таёжной зимней свежести отведав.
Я отрешусь, я сброшу горечь лет,
Сжимая сына маленькие плечи...
И разницы в годах меж нами нет,
И отблеск сказок озаряет вечер.



Как с женщиной, с морской красотой
Наедине ты должен сочетаться...
Вздыхать на людях — это святотатство...
Твой рай земной — вечерний пляж пустой.
Войди в него и сам себе скажи:
«Вот это всё, что надо мне от мира:
Чтоб край волны да к краешку души,
Которую стихия истомила...»
Всё бурно, слепо, всё несётся прочь,
Как иностранка, смотрит ся секвой...
Лишь море страдает мне живое
И мне чужую скрашивает ночь!

Кафе «Встреча»

Есть кафе под названием «Встреча».
Там заплаканы осенью окна,
И не топлено было в тот вечер,
И над улицей вывеска мокла...
С тихим звоном по крыше стекая,
Дождь, как пьяный, у входа качался...
Это вывеска просто такая,
И в кафе уж никто не встречался,
А хотелось мне встретиться очень
Без обмана, игры театральной...
Я ввалился озябший из ночи
И спросил: «Кто за встречами крайний?»
Лунным светом мерцала витрина,
Продавщица вздохнула из шали:
«Есть в продаже закуски и вина,
Только встречи уже разобрали.
Было их в эту осень немножко,
На желающих хватит едва ли...»
В зале столики подняли ножки
И стояли, как будто сдавались...
Мужики, опечалившись к ночи,
Лишь друг другу дышали в затылок...
И трубили мы песнь одиночеств
Здесь на горлышках звонких бутылок!

Завхозы красоты

Байкал опять мерцает под крылом.
Люблю, как свой большой холодный дом,
Хребты вокруг, что синевой одеты...
Люблю я вас, сибирские поэты —
Завхозы красоты — в тяжёлый час
Огромное хозяйство есть у вас:
Шампанский тост о скалы — горных речек,
И по тропе идущий человечек,
Чуть видимый с вершины, и трава,
Что на гольце продутом — чуть жива!
Всё на учёте — от ручья до устья,
От золотых церквей до захолустья.
И бор сосновый, и глухая гарь:
Всё это ваш домашний инвентарь.
Хребты встают плечами исполина
И вашу душу требуют, как сына...

г. Минусинск

Сергей Хомутов

В анархическом рае ОЛЬХИ

Сто явлений моих позади,
Сто провалов и сто вознесений,
Но звенит колокольчик в груди,
И пьянит ветерок предосенний.
А навстречу такие летят
Королевы, принцессы, колдуньи,
И берёзок игривый наряд
Не даёт застояться в раздумьи.
И опять размеряешь своё
На сто новых явлений пространство,
Разметая, как пыль, забытьё,
Не желая впадать в постоянство.
И на этом сквозном рубеже
Не кончается вечная гонка.
Жаль, что пальцы немеют уже,
И небесная крутит воронка.

Смешение всех языков и знамён,
Рождение сотен Иуд...
Безумие — символ пришедших времён
И прошлых, и тех, что грядут.
Кошмарные сны и кошмарная явь,
Истошные крики в ночи...
Быть может, по Стиксу отправиться вплавь
Иль в злобе глотать кирпичи?
Безумие — страха и страсти зенит, —
Ты призвано мир погубить.
И память спасает
не тем, что хранит,
А тем, что способна забыть.

Красные листья да травы от инея белые...
Год утекает, ну что же я с этим поделаю.

Осень к зиме потихоньку, но верно склоняется,
Всё и вокруг, и в тебе очевидно меняется.

Мелко дрожу, ожидая автобуса редкого,
И укрываюсь от ветра холодного, резкого.

Закономерность погодная, данность природная —
В целом пора для надежды не слишком пригодная.

Что мне осталось на завтра, — не просто загадывать,
Множество дел по часам кропотливо раскладывать.

Красные листья да травы от инея белые...
Жизнь утекает... Ну, что же я с этим поделаю.

До какой не извернёшься темы,
Если век предательски зловец,
Душат беспросветные проблемы:
Лютый зной, энцефалитный клещ...
Да к тому же, отключили воду
Вечные садисты жкх,
Жалобе твоей не дали ходу, —
Что в быту совсем не чепуха.
Но внезапно громом телефонным
Всё, как есть, отбросило, снесло:
Умер человек и похоронным
Ветром охватило тяжело.
Суета ещё трещит, как сводня,
Только ты к ней в этот миг остыл,
Только умер человек сегодня,
И глаза на миг живым открыл.
И уже стоит перед тобою
День грядущий в ясности больной,
И твою собственной судьбою,
И твою личную виной,
И холодной тесноватой ямой,
Где всё повседневное — пустяк,
Что вчера тебе казалось драмой,
Копошилось в лживых новостях.
За знамением — новое знаменье,
Жуткая нависла пустота...
Неужели только здесь прозреньё,
Только здесь?.. И снова слепота.

Не лучшими, другими —
За души и умы —
Любите нас такими,
Какими стали мы.
Безбожными, пустыми,
Утратившими свет,
С делами не святыми
На плахе наших лет.
Перед кромешной новью,
Уже в аду почти,
Попробуйте любовью
Потерянных спасти;
Хоть что-то в нас увидеть
От высшего следа...
Ну, а возненавидеть
Успеете всегда.

Старый Рыбинск

Настоянная на веках,
Дурманящая, точно брага,
В купеческих особняках
Весенняя гуляет влага.
Там, на Стоялой, что была
Ещё недавно Пролетарской,
Царит задумчивая мгла,
Как призрак той России — царской.
Столетия пропитали сквозь
И камень, да и воздух тоже,
На вбитый в нашу память гвоздь
Строенье каланчи похоже.
Жаль, что снесён под корень сад,
Усадьбу выгрызла разруха,
Печален времени уклад,
Ничто не вечно, кроме духа.
И я ступаю в тайный след,
Скрытый в зарослях крапивы,
И ощущаю давних лет,
И дальних звуков переливы —
Негаданную благодать,
В которой теплится радушно
То, что уже не разгадать,
Да и разгадывать не нужно.



В анархическом рае ольхи
Все припомнишь былые грехи
С неотвязною мыслью о Боге...
Вот он, хаос, неясность пути,
По которому надо пройти,
И пробиться к искомой дороге.

И гармония...

Только она

Не всегда и не сразу видна
Для стремящихся всё обозначить.
...Вот присяду на кочку и здесь
Превращусь в отчуждение весь,
Ничего не желая иначе.
Но вдали тепловоз прогудит
И назойливо предупредит,
Что — дела, расписание, сроки...
Встану грузно и снова пойду
В жизнь, которую нынче веду,
Где, мы все и в толпе одиноки.
Так спасибо, ольховая падь,
Что дала хоть на время понять
Скудость жизни моей настоящей.
...Оглянусь, выходя на просвет,
И увижу, как смотрит мне вслед
Лист дрожащий на ветке дрожащей.



Возможно, ещё и разбудит
Подобие дрожи по коже,
Но Гамлета больше не будет
И чудной Офелии тоже.
Зачем в отупелости плоской
Сомнений возвышенных слабость? —
Чем больше настырности скотской,
Тем ближе искомая сладость.
Быть — связано с благостным бытом,
Не быть — с нищетою бездомной,
А все умиленья с избытком
Окупятся властью бездомной.
К чему высоты постиженья,
Зов истин — давно безответен,
Нелепо теперь униженья
До глупых трагических сплетен.
В раю потребительских буден
Весь мир предаётся продаже,
А Гамлета больше не будет
И бедного Йорика даже.



Китайцы любят рис,
Грузины — помидоры,
Коты — мышей да крыс,
А старцы — разговоры.

У завтра и вчера
Есть общее причастье,
Но если пьют с утра,
То вовсе не от счастья.

г. Рыбинск

Синяя тетрадь

«Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами.»
Ахматова

Пушкин. Лето. Красноярск.

Сочинения победителей конкурса, посвящённого 380-летию Красноярска и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Надежда Мальцева, гимназия «УНИВЕРС», №1, 6 класс

...Я стою у своего подъезда и скучаю. Как же иногда бывает в городе скучно! Летом. Времени не хватает по-настоящему отдохнуть от школы! Но вот подъезжает машина. За рулём — моя мама. Наверное, поедет на дачу или ещё куда-нибудь.

Вперёд! Мимо проносятся магазины, цветные вывески, рекламные щиты. Проезжаем Центральный парк. А ведь я недавно здесь была... У памятника Пушкину. Сразу вспомнились его стихи:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...

А вот и Аполлон — статуя возле Театра оперы и балета. О чём, интересно, думает бог искусства, созерцающая красноярский «бигбэн»? Из состояния медитации меня выводит звонок мобильного телефона. На душе становится тепло и хорошо. Я в любимом городе, я в своём мире! Я любима!

Светит церковь на крови,
смотрит в жизнь мою.
Что ты знаешь о любви? — Я тебя люблю...

Совсем недавно мы вспоминали год назад ушедшего от нас Романа Харисовича Солнцева. Это его стихи. Вот ведь как! Мчусь на машине по городу и — чуть что — в памяти вспыхивают строчки. Лицейская привычка! Мой город полон «бродячих сюжетов». Поэты, писатели, художники не умирают. Пока люди помнят их произведения, творцы живы, они с нами. Только красноярцам нельзя забывать ни Пушкина, ни Астафьева, ни Солнцева... И всё же, памятники — памятниками. Но главное, выдающимся людям нужны достойные преемники. Чтобы литературное достояние Красноярска не убывало! Как же хочется, чтобы мой любимый город расцветал, прославлялся в стихах и прозе, картинах и песнях наших земляков, чтобы он оставался жемчужиной Сибири, самым лучшим городом на свете! И хорошо было бы как можно больше о нём знать... Решено! Завтра с утра — в Краеведческий музей... потом — объезд все красноярские фонтаны! Потом ...

Кто это жаловался, что летом в Красноярске скучно?!!

Антон Шемберг, гимназия «УНИВЕРС» №1, 6 класс

...Я удивляюсь, что нашему городу уже 380 лет! Но, несмотря на это, Красноярск становится всё современнее. Всё больше высотных зданий, игровых площадок, всё больше машин на улицах. И всё же красота города не нарушена! Сколько деревьев, цветов, зелёных клумб-скульптур! На несколько летних месяцев Красноярск становится похож на какой-нибудь далёкий южный город или на остров Буян из сказки Пушкина! Клёны, липы, берёзки и тополя соседствуют с прекрасными пальмами. А в июне, когда город захлёстывают бело-розовые волны цветущих ранеток, на улицах и площадях Красноярска начинается тюльпановая феерия! Красные, белые, жёлтые, бордовые, лиловые... Кажется, все цвета радуги со всех концов света слетелись вместе с тюльпанами на зелёные газоны!

Мне нравится в Красноярске кинотеатр «Луч», знаменитый на весь мир заповедник «Столбы», в котором зимой можно покататься на ледянке, река Енисей, всегда такая чистая и прохладная! И, конечно же, Литературный лицей, в котором учатся только умные люди.

Мой город самый классный!

Яна Герасименко, 7 класс, Лицей №10

Пушкин и ночь

Два часа ночи. Тёмное небо накрыло землю, как огромный шатёр. Лишь изредка где-то вспыхнет звезда, где-то пролетит птица, шелестя крыльями. Я сижу у открытого окна, подогнув ноги, и глядяюсь в эту безмолвную темноту.

Как же я люблю ночь! Единственное время суток, когда можно отдохнуть от повседневных забот, поразмышлять о чем-нибудь, помечтать...

В доме уже давно все спят, но мне почему-то не спится. Уже минут пятнадцать я сижу здесь, у открытого окна, и думаю. О чём? Не знаю, обо всём, наверное, просто ночью ко мне приходят всякие философские мысли, которые днём никогда бы ни за что не пришли.

Вот подул тёплый летний ветерок, тут же зашелестели деревья, крикнула птица, залаяла собака, всё вдруг сразу всполошилось... Ночная тишина растаяла, даже как-то не по себе стало. Удобно устроившись на подоконнике, я всмотрелась в ночное небо. На нём за это время появилось множество звёзд. Мне сразу вспомнились стихи нашего великого поэта:

Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звёздами.
В домах всё темно...

Ах, как я люблю Пушкина! Мне кажется, нигде в мире не сыщешь такого поэта, как наш Александр Сергеевич. Сколько он написал поэм, сказок, стихов за свою короткую жизнь! Чего стоит хотя бы одно из его стихотворений — из моих любимых:

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в дни печали был мне дан.
Когда поднимет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозюю грянут тучи, —
Храни меня, мой талисман...

Ой, кажется, ко мне пришло вдохновение. Вот что значит ночь и Пушкин! Нужно срочно записать мои мысли в блокнот.

Но вдруг в прихожей зажётся свет. Кажется, кто-то из родителей встал, а значит, нужно быстро собирать свои мысли обратно в голову и тихо пробираться в свою комнату. Только жаль, что так и не написала свой стишок. Но ничего, завтра я опять дождусь, пока все уснут, возьму моего любимого Пушкина, сяду у окна и, глядя на звёздное небо, буду мечтать да писать...

О насущном и вечном: произведения участников Мастерских школьной публицистики, руководитель Е. В. Тимченко, г. Красноярск

Юлия Ростовцева, 9 класс.

У нас ещё много времени

Мы, бывает, не замечаем, как нам не хватает любимых людей, потому что знаем, завтра мы встретимся обязательно! А если не получится встретиться? «Ничего, у нас ещё много времени», — думаешь ты. Я тоже так думала... А ведь людям свойственно не ценить те часы, минуты или секунды счастья, радости, слёз, а может, даже злости — всего, что происходит с нами. Со мной и с любимым человеком. Даже минуты молчания, но с ним, очень ценны. Ведь происходит то же общение, понятное только нам. А когда этот человек... исчезает, ты можешь сразу не понять этого... Это шутка, такого не может быть!

Но это произошло...

Слёзы. Перед глазами пролетают всего две картинки.

Он тебя учит кататься на велосипеде.

Он сидит в кресле с котом и смотрит телевизор.

Всё. Его больше нет. Он останется на фото, в памяти и в твоей жизни. А понимание того, что ты без этого человека не та Юлия, а уже какая-то другая, приходит потом.

Я не успела сказать это ему, когда он был жив, может, сейчас он меня услышит: «Я люблю тебя, дедуля!».

Анастасия Бегун, 9 класс

Растём с «Детским районом»!

Представьте себе такое место, которое бы хранило все ваши мечты, воспоминания, всё самое искреннее и хорошее. Место, куда приятно возвращаться. Когда точно знаешь, — несмотря на то, что всё меняется в мире, в этом месте всё будет по-прежнему. Привычно. Уютно. Лично для меня таким местом является «Детский район», ведь это не просто газета, а нечто особенное, родное и близкое.

Когда «др» только-только появился, мне было 7 лет. В этом возрасте детей обычно интересуют ребусы, кроссворды, загадки и какие-нибудь глупые анекдоты. Так было и со мной. Поэтому лишь в 9 лет я впервые обратила внимание на эту газету. Я сначала искала то же, что и в остальных газетах, но, обнаружив ничего подобного, с жадностью стала читать рассказы, стихи и сказки. Знаете, я влюбилась в «др». Я читала его от корки до корки, сама вдруг стала писать стихи, и тайно мечтала, что когда-нибудь в газете напечатают и мои творения.

Сейчас мне 14 лет, из них 5 лет я росла с «др». Мне нравились его наивные детские стихи и произведения, написанные взрослыми для детей, каждый раз я погружалась с головой в новые и новые истории.

«др» — это маленький мир для людей, которые верят в чудо. Я искренне хочу верить, что и через много лет я смогу открыть любимую чёрно-белую газету и вновь погрузиться в сказку, которой так часто не хватает в нашей жизни.

Маша Луговская, 10 класс

История дружбы

Почти каждый умирает несколько раз за свою жизнь: от любви, страха, ненависти, смерти, но иногда люди умирают от дружбы, такой настоящей, долгой и навечно. «Навечно» начинается с обмана, мелкого предательства за твоей спиной, которое ничтожно, но обязательно будет явным, и тогда может стать могущественным аргументом и, увы, не во благо. Потом все мелкие грешки перерастают в игру по-крупному, в интриганство, а за ним — в наглую ложь, когда на тебя смотрят невинными глазами самого преданного человека в мире, говорят о величии общей дружбы, а ты уже знаешь, точно уверен, что когда тебе будет очень плохо, никто не поможет, потому что так уже было, и не помогли, только сказали: как нам жаль. Спасибо.

И в один момент ты держишь в руках эфемерную нить своих, таких близких, отношений, и у тебя есть выбор, порвать её или оставить всё плохое в прошлом? И ты не рвёшь, потому что надеешься, потому что клянешься, а потом всё вторгается, только в квадрате. После хочется бежать и бросить всех...

Остаёшься, но ничего не проходит бесследно, всё другое, ты другой — ты циник. Поздравляю. Циником быть весело: анализировать ложь родных людей, усмехаться про себя, всё знать наперёд. Но разочарованные долго не живут, им становится

страшно жить... Даже вечность — относительное понятие, когда касается тебя лично...

Соня Танделова, 5 класс

Весна, дружба и я.

Ах, эта дружба! Не везёт мне с ней. Бывает, она ранит людей так больно, что невозможно описать. Часто в детстве мне предлагали дружить, и я, радостная и весёлая, а главное, ужасно доверчивая, соглашалась, но всё всегда плачевно заканчивалось. Мне говорили, что есть человек, с которым дружить лучше, конечно, приносили извинения, но извинения были такие... в общем, почти открыто говорили — отстань! Было больно, неприятно, но каждый раз прощала. Сейчас у меня есть подруга, она так мне дорога, что я стараюсь как можно крепче держаться за эту дружбу.

А весна — да, я её люблю. Ведь именно весной мы подружились, вместе ходили гулять и кормили птиц, именно птицы послужили причиной нашей встречи.

Стас Бабич, 7 класс

«Случайно на ноже карманном
 Найдёшь пылинку дальних стран
 И мир опять предстанет странным,
 Закутанным в цветной туман.»

Александр Блок

Туман тайны

Однажды я рассматривал старую электронную машинку, с которой играл уже давно. Она казалась мне сложнее, чем была на самом деле. И вот однажды случайно она выпала из моих рук и с тихим хрустом развалилась на две части.

Я испугался, как же так, она так долго лежала и не ломалась, а тут — бац и всё! Я аккуратно убрал верхний раскрошенный корпус и обнаружил интересный микросхему. И у меня загорелось! Я полез за отвёрткой, раскрутил все болты и, оказалось, что это не просто две части корпуса, движимые с пульта какими-то штуками, что внутри машинки спрятана куча деталей.

Мне стало интересно, и вот уже 6 лет, как я только и делаю, что разбираю различные устройства. Сломался у меня телефон — я его разобрал, сломался джойстик — я и его разобрал...

В общем, достаточно и пылинки чего-то нового, и всё обыденное затмевает туман тайны.

Даниил Приказчиков, 7 класс

«До таких звёзд, как деньги
 Дотянуться руками можно,
 Но за деньги не купишь небо.»

Юлия Москвина

Небо и деньги

Очень часто я слышу из уст людей, что на деньги можно купить всё. Этот факт я почти не отрицаю. В жизни, если есть деньги, можно купить вещи какие-то, можно даже подчинить себе людей. Но нельзя подчинить себе смерть. Жизнь человека

очень хрупка. Каждый хочет пожить подольше, особенно если *всё пошло хорошо*.

Деньги несомненно портят нашу душу, потому что мы чувствуем с ними силу, но одновременно и страх — страх всё потерять. Даже во времена феодального строя, когда феодалы считали себя самыми могущественными из людей, народ поднял восстание и просто сносил феодалу голову.

Я слышал от своего друга, что в будущем он хочет купить себе кусочек неба... Но как он это сделает? Как можно купить пространство, воздух?

Единственное, что человек не сможет купить, это небо, где все свободны.

Новый год на даче

Прошлый новый год я отмечал на даче, в глухой тайге. Там очень красиво, всюду большие сугробы, все ёлки запылены снегом, так что видны только макушки.

Наш домик стоит у озера. Вода в нём промерзает на полтора метра.

После расчистки дачного участка, снегу скапливается столько, что можно залить очень большую ледяную горку.

На озере царит тишина. Расчистили с родными участок, покатались на коньках.

Долгожданные 11 часов. На озеро высыпала небольшая кучка людей, приехавших на машине и «буране». Дедушка разжёл костёр, и они вместе с дядей разрубили лёд. На костре разложили большую партию шашлыков, приготовили ещё много всякой вкуснятины.

Без десяти минут 12 дед вытащил фейерверки и маленький телевизор со спутниковой антенной, я подключил к ней свой телефон и поздравил свою подружку с Новым годом.

И вот — торжественная речь Путина, кремлёвские куранты пробили 12 ударов. Дед поджёт салюты, и они 10 минут грохотали. Все представители женского пола моей семьи прослезились. Затем самые смелые решили нырнуть в ледяную воду, после чего, закутавшись в тёплые куртки, приступили к трапезе.

Так я отмечал новый год в прошлом году. А в этом году, может, отметить его дома — просто и спокойно?

Маша Болдина, 7 класс

Мой старый боевой товарищ

Моему беденькому, старенькому телефончику почти 4 года. С ним я многое пережила. Когда мне его купили, я была безумно счастлива, и я до сих пор его люблю.

Первый случай произошёл со мной и моим телефоном в школе, в 4 классе. Я пошла на физкультуру и оставила его в портфеле. Возвращаясь в класс после урока, я встретила свою одноклассницу, спешившую домой, я ещё с ней попрощалась и продолжила свой путь. Телефона в портфеле я не обнаружила, весь класс подумал, что виновата наша одноклассница, которая так спешила домой. Я весь вечер ревела. Хотя мама запретила мне плакать и тратить нервы. На следующее утро девочка с родителями вернула маме мой телефон!

Ещё был случай. Я шла в лицей и положила телефон в задний карман брюк. Ну и, естественно, я его потеряла. Я опять сильно плакала. Мамина подруга — хозяйка магазина подарила мне набор для ванной, тогда я чуть-чуть успокоилась. А на следующий день мне сказали, что мой телефон нашёл школьный плотник! Я сразу же побежала к нему, он вернул мне телефон, и я была счастлива!

Последний из страшных случаев произошёл, когда мама стирала мою куртку. Мы пришли домой из гостей. Мама решила постирать мою куртку. Через пару минут после начала стирки я хватилась: где мой телефон? И мы с мамой поняли, что он крутится в барабане стиральной машинки. Мама нашла руководство по эксплуатации и остановила стирку минут семь! На этот раз я не плакала, мне почему-то было ужасно смешно. Когда мы, наконец, вытащили мой телефон, я разобрала его. Он сушился три дня, а потом снова заработал, только «заедало» две кнопочки.

После этих приключений мой телефон весь в ссадинах и царапинах, а два последних ранения мой телефон получил совсем недавно. Я переодевалась и уронила телефон на бетонный пол. После этого я обнаружила, что две части корпуса расходятся, и на одной из частей отвалился маленький кусочек.

Вот сколько всего связано у меня с телефоном — моим боевым товарищем.

Позитив

Каждый год весна действует на меня по-разному, но всегда в этом её действии есть что-то положительное — настроение счастья. Весной очень весело и хорошо дружить. Весело, потому что вместе ходить по грязи — это смешно. Смешно смотреть, как твоя подруга хлопает по грязи, пытаясь найти обход большущей лужи! А дружить хорошо, потому что весной скучно гулять одной. Как хорошо на душе, когда ты идёшь с подругой по грязной улице, думаешь о том, как бы не поскользнуться, болтаешь о всяких мелочах и советуешься по пустякам. Мои уши пригревает солнышко, мои ноги хлопают по грязи, а я ни о чём не думаю, иду себе, смотрю, как грязь цепляется к моим ботинкам, — и мне отлично!

Моя малышка Интуиция

Что такое интуиция в принципе? Хм... Это сложный вопрос.

Интуиция — это маленькое существо, которое живёт не в каждом человеке. Это существо, к которому я часто обращаюсь с вопросами, а иногда оно само говорит мне, что делать.

Во мне живёт ещё одно существо — это разум. Моя интуиция ещё совсем малышка, а разум — это достаточно зрелый и мудрый господин. Моя интуиция ещё только развивает своё искусство предугадывать, предупреждать и думать. А разум развивался вместе со мной, и он очень давит на малышку. А кроха сильно волнуется, и поэтому у неё не всегда получается делать то, что она хочет. Разум более сильный, и чаще я всё-таки прислушиваюсь к нему. А интуиция в больших делах мне ещё пока не пригодилась, но я свою малышку тренирую.

« А если это так, то, что есть красота?
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде? »

Николай Заболоцкий

О красоте

Мне всегда казалось, что красота — это что-то такое необычное. Но о красоте можно спорить долго. Я даже иногда путаюсь в своих мыслях насчёт красоты. Безусловно, вся природа красива. Но если думать о красоте человека, то на одном мнении мы не сойдёмся.

Вот представим, что человек — это сосуд (банально, правда, ну, ладно). Так что будет выглядеть лучше: сам сосуд или огонь в нём? Огонь — это вообще очень красиво, а если представить, что огонь мерцает в сосуде, то это ещё красивее. Как языки пламени танцуют, как они отражаются в стенках сосуда. Сосуд я представляю прозрачный, стеклянный, и в нём огонь, как симфония света и его отражений. Очень красиво.

И здесь можно долго спорить, что есть красота, ведь смотря что человек ценит: сосуд или огонь в нём? Что важно для него

Сосуд, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

О деньгах

« До таких звёзд, как деньги
Дотянуться руками можно,
Но за деньги не купишь небо. »

Юлия Москвина

Эти маленькие звёздочки я тысячу раз держала в руках. Я очень люблю играть с монетками — лежат в руке и звенят. Деньги — это временная вещь, то они есть, то их нет. Я не хочу писать о чём-то глобальном, а постараюсь написать просто.

Итак, деньги — это то, без чего современные люди не представляют свою жизнь. Есть люди, которые не очень ценят деньги, но таких мало.

Есть же и небо. Небо — это вещь вечная. В отличие от денег, которые то есть, то нет, небо, как было, так и останется (что бы там ни говорили о конце света).

Во все времена небо считалось пристанищем богов и добрых существ. Это означает, что небо — очень возвышенное место. Для меня это слово обозначает мир света, добра и счастья, где нет зла и горя, которого у нас на земле так много, что нам никогда его не истребить. А небо — там всё покой и красота, это вьсь, это стремление вверх. Небо — оно не наше, оно само по себе. Мы все можем любоваться им, но никто не может купить небо. Ни за какие деньги.

Злата Цурикова, 8 класс

Медитация

Иногда, устав от суеты мира, школы, динамики, земли и банальности, хочется просто сесть, успокоиться, включить неземную музыку — музыку другого мира — и закрыть глаза. И медленно,

в крошечной темноте сознания погрузиться в транс... уйти, улететь от боли и зла, которые иногда случаются. Там, в сознании, сначала будет темно, в голову лезут мысли с земли, но разум перекрывает душа, и через несколько минут наступит невесомость. И ты — уже не ты, а что-то другое, может, это связано с ветром? Такая тонкость, прозрачность. Лёгкий морской бриз, свежий, с маленькими капельками воды.

Ветер невесом, лёгок, порой хочется немного побыть ветром.

Быть ветром — это быть там, где ты хочешь быть. Когда хочешь — невидим, порой не слышен, но все чувствуют, что ты здесь. Несёмся — и никаких преград и оков! И везде любовь: на земле, в тебе, во мне, в ветре!

...В какой-то момент в теле медленно начинает пропадать лёгкость, тело становится тяжёлым, и вот ты снова здесь, на земле, и понимаешь суть и смысл мира. Как хорошо, что есть воля и оковы, рамки и безграничная свобода. Осознавая смысл бытия, очищается сердце, душа, и уходит боль. И ты понимаешь, как хорошо, что ты такой, что жизнь — такая, и все — здесь и там, замечательно.

Денис Терешкин, 7 класс

« С утра каркает и машет крыльями,
Забравшись на лавку, чёрная ворона,
Смотрит на меня глазами
хромого странника.
Как бы беды не накаркала.
Дать ей, что ли, кусочек хлеба?»

Юля Москвина »

Бедолаги

Он шёл по дороге. Из сточной канавы исходил отвратительный запах, моросил долгий мерзкий дождь, было промозгло и сыро, всё небо покрыто гнилыми серыми облаками. На нём была поношенная одежда, за спиной, в чехле из старого мешка, висела виола, на голове поношенная шляпа, на ногах — стоптанные башмаки.

Внезапно из подворотни выскочил облезлый, тощий и грязный лохматый пёс. Бродяга погладил животное. Пёс с готовностью завилял хвостом.

— Ну да, ты такой же, как я, бродяга. У меня тоже ничего нет, и есть нечего. Брожу по деревьям, пою, дадут несколько грошей — и то хорошо, хоть съешь ломоть хлеба. Если очень повезёт — хватит на кусок мяса. Ну что, пошли? — спросил собаку бродяга-певец.

Пёс обрадованно гавкнул. Они вдвоём — хромой и ободранный человек и такой же хромой и ободранный пёс — зашагали по булыжной мостовой, разбрызгивая лужи.

Вскоре они полностью растворились за пеленой дождя в сгущающихся сумерках.

Арсений Ковалевич, 9 класс

« Выйди на улицу, посмотри на
лица — вот тебе и тема. »
Орхан Памук. Чёрная книга.

Посмотри на лица

Посвящаю всем детям, мечтающим стать взрослыми

На улице всегда можно встретить детей. Они все, без исключения, мечтают вырасти и стать взрослыми.

Я и сам в детстве мечтал вырасти. Теперь мне 14. Это не очень большой возраст, но уже есть паспорт.

Все дети считают, что вот — они вырастут, и им будет всё можно, что нельзя было раньше. Это всё мечты ребёнка, но при встрече с реальностью становится немного больно.

С семи лет начинается школа. Дети этим гордятся и с восхищением смотрят на старшеклассников. Мечтания немного блекнут в шестом классе. Осознаёшь, что учёба нужна, чтобы было светлое будущее. К девятому классу вообще жизни нет! Учёба, экзамены, ЕГЭ! А ещё же и личные проблемы такие, как любовь, у кого первая, а у кого — нет.

Вот иду по улице, смотрю на лица, вижу счастливые лица детей, мечтающих вырасти! Так и хочется подойти и сказать: «Не торопись взрослеть, ещё успеешь!».

Аня Михеева, 10 класс

О чём я думала в детстве

В детстве я была уверена, что одуванчики — это не цветы. Когда же меня спрашивали: «Кто же они тогда?», — я уверенно отвечала: «Как кто? Одуванчики и есть одуванчики». Жёлтые махровые шляпки, привлекающие ос и бабочек, выделялись для меня из общей массы цветов. Наверное, потому, что цветы — они за стёклами цветочных магазинов и на красивых клумбах, а одуванчики веснушками рассыпаются весной по всему городу. Я согласилась причислить одуванчики к цветам только тогда, когда мне сказали, что они могут обидеться.

Ещё я считала, что у нас дома под печной вьюшкой (в частном доме) живёт домовая. Детское воображение легко, с задором рисовало мне коричневое, бородатое-обросшее существо, похожее на домовенка Кузю и моего старого плюшевого Чебурашку. Где-то в книжке я вычитала, что домовых следует подкармливать, чтобы они по хозяйству помогали. С тех пор мама не раз удивлялась, находя за печкой плоские с высохшей гречневой кашей и чёрствые бутерброды с прилипшим к ним мармеладом. Думаю, если домовой у нас и водился, то после дегустации подобных блюд, его точно не стало!

Самым же удивительным открытием в шесть с половиной лет стал тот факт, что мою маму зовут Соня. Это казалось мне странным. Ведь я называю её мамой, и моя сестра её так зовёт, и вообще она просто моя мама, а кто-то зачем-то зовёт её

Софьей. То, что у меня самой есть имя, меня не смущало.

А вот обидным для меня стало то, что мальчишки умеют цокать языком. Я почему-то долго была уверена, что так способны — и потому имеют право — делать только девочки! А мальчики зато умеют свистеть и пальцами щёлкать.

Интуиция как стиль жизни

Мне весь мир всегда представлялся волновым, содержащим в себе потоки и зоны, различных течения и настроения. Конечно, я не вижу цветовых секций, но ощущение всегда со мной. Давайте представим, что весь мир — это однородная энергия. И есть огромное количество информации — положительной, отрицательной, нейтральной — которая «накладывается» на эту энергию, придаёт ей какой-то оттенок.

Я думаю, что интуиция — это способность человека улавливать эту информацию. Такой человек чувствует, как по запаху, куда ему идти и что делать, выбирает что-то одно из сотен подобных вещей, будто оно светит ему «розовым пламенем» («...если, словно розовое пламя, слово проплывало в вышине» Н. Гумилёв — прим. ред.). Уж не знаю, как это люди делают, не слышала ни разу ни о каких рецепторах, но всё же — работает. Чем сама с удовольствием и пользуюсь.

Я стараюсь развивать собственную интуицию, когда только возможно. Это на первый взгляд весьма просто: на минуту отрешиться от окружающей среды, и, главное, «затихнуть» внутри себя. Часто приходит какая-то мысль, и меня, бывает, как за верёвку тянет куда-то (к кому-то, для чего-то и т.п.). Но в этом способе жизни есть одно «но»: вечно забываешь о том, что это надо делать постоянно — развивать интуицию. В этом отношении нам обычный разум незаменим, поскольку позволяет контролировать своё время.

Но это «искусственные» случаи работы интуиции. Вообще мне кажется, что она работает постоянно, даже в мелочах. У меня часто проявляются такие странные вещи, когда я *хочу* наступить именно на *тот* камень на мостовой, а никакой другой; *хочу* провести рукой по воздуху именно *так*, и никак иначе; вырвать из тетради какой-то определённый листок. Это забавно, и это не банальное желание «хочу сладкого» или «хочу спать». Что-то необъяснимое и тянущее к себе, хотя, казалось бы, что важного в том, какой листок вырвать или куда наступить?

Иногда я ощущаю, что пространство имеет свои какие-то желания, и люди, следующие своей интуиции, делают лучше не только себе, но и пространству.

Я подхожу к остановке, наблюдая, как отходит мой автобус. Может быть, пространство не хотело, чтобы я с кем-то встретилась или, наоборот, не встретилась? Ведь я почему-то остановилась на крыльце на 5 секунд, рассматривая улицу. Меня это сначала злило, а теперь забавляет.

Моё отношение к интуиции очень положительно: по-моему, интуитивное отношение к миру как стиль жизни придаёт ей оттенок загадочности, позволяет насладиться существованием в неопределённости, постоянно меняющейся и поэтому прекрасной. Это когда не знаешь, что

произойдёт с тобой в следующий момент, и как ребёнок, радуешься этой неопределённости, обещающей чудо. Странное ощущение: ничего не знаешь и счастлив.

« Письмо от кого-то...
Моя сестра очень маленькая
И похожа на цветок,
Но иногда мне кажется,
Что она — письмо от кого-то. »
Лучия Постикэ

У меня тоже есть сестра. Правда, она не очень маленькая, она на два года меня младше. «Письмо» — я согласна с таким образом. Мы с ней родные сёстры, но совсем не похожие внешне и внутренне. Мы почти что противоположности. И иногда я задумываюсь: что бы было, если бы она была старшей. Она — как возможный вариант меня, письмо, которое мне показывает, какой бы я могла бы быть (одни родители, одни гены). Письмо от несбывшейся меня, которое и повествует, и побуждает, и привносит что-то новое в мою жизнь, и, наконец, спрашивает. Задаёт вопрос, что-то вроде: «А ты хотела бы быть такой?».

Письмо. Бумага такая свежая, ещё шершавая, не истёртая временем, на белой глади нежным бархатом написаны «буквы». И оставлено несколько пустых строк — мне предстоит ответить или дополнить что-то.

А ещё есть такое ощущение, что, родившись, я покинула какое-то место, в котором обитала до этого. И моя сестрёнка — открытка «С новосельем!». И кто-то в этой открытке написал приятное пожелание, через характер и чистоту моей сестры передал ощущение покоя и состояние ребёнка — теперь мне точно не будет скучно, уныло, бессолнечно.

Да, она похожа на цветок. Когда большинство моих ровесников (и не только) общаются со своими младшими родственниками, с которыми они видятся ежедневно, мне неприятно на это смотреть. Как легко можно опылить хороший, славный цветок гнилой, нечистой, испорченной пылью! Множество моих знакомых делает это.

Ещё больнее наблюдать, как подобным образом ведут себя родители с детьми. Но я пока не родитель. Может, этим людям пришлось трудно в их жизни?..

А представьте, каким письмом, каким посланием из прошлого *мы* являемся для родителей, для наших мам и пап, а также дедушек и бабушек...

Анна Шишлянникова, 8 класс,
Красноярский край, с. Жеблахты
Ермаковского района.

Ты не поверишь.

Я закрываю глаза и чувствую, что как парашютик от одуванчика, гонимый ветром, лечу в моё счастливое детство. Ты не поверишь, какое оно безоблачное.

Вот дом наш, нарядный и ухоженный, стоит у горы в проулке. В нём зимой и летом тепло и уютно. Посидеть у камина в зимние вечера — одно

удовольствие. Едва светает, а по дому уже разносится духмяный запах пирожных, булочек, пышек. Это бабушка с мамой стараются. Они всё успевают, всё у них получается красиво. Вот моя комната, например. Здесь «как в лучших домах Парижа». Окно с необычными занавесами, мебель «от Италии», шикарный шкаф с книгами, египетский ковёр, по которому ступать одно удовольствие. Открываю глаза от прикосновения маминых рук. Она наклоняется, щекочет меня своими мягкими, светлыми волосами и нежно чмокает в лоб: «Солнышко, вставай, завтракать пора.» Ты не поверишь, от такой ласки у меня наворачиваются слёзы, от счастья, что я солнышко. А потом весело садимся все вместе за накрытый стол: мама, бабушка, папа и я. Я в утреннем розовом платье, с заплетёнными «в корзиночку» косами, а рядом снова моя мама. В любимой вишнёвой кофточке, раздумянившаяся, с весёлыми глазами, она ещё раз осматривает сервировку стола и всем желает приятного аппетита. Ты не поверишь, за таким столом мало кто сидит в деревне. Тонкая лёгкая скатерть, изящная посуда, ложки, вилки, ложечки и вилочки, ножи и ножечки, фрукты, соки, пирожные, булочки, ваза с цветами. Только поглядишь на такой стол — и сразу захочется есть. После завтрака выбегаю в наш сад. Бабушка еле успевает за мной. А я подбегаю к каждому цветку и не могу налюбоваться этой небесной красотой: вот розы, мои любимые розы, они божественно красивы, особенно кремовые, вот нежные маргаритки вдоль дорожки, а вот анютины глазки. Ну и «глазки» у них, влюбиться можно без оглядки. «Бабушка, можно для мамы, это же её глазки». И вот уже букетик анюток украшает мамину спальню. Ты не поверишь, мамыны глаза сияют от счастья. Она откладывает пальца и притягивает меня к себе: «Спасибо тебе, радость моя, Анюта». Счастливая, заглядываю в комнату бабушки. На образах веночки из розочек, на окне любимые бабушкины герани, на пуховых подушках кошка — моя любимица. Бабушка входит тихо, ласково берёт меня за руку и поёт: «Кушай на здоровье, Анюта». В руках у неё чашка с садовой клубникой. На душе у меня радостное и тихое, и хочется отчего-то плакать. Смотрю на бабушку, как подходит она к «красному» углу и тихо начинает шептать утреннюю молитву за всех нас. С притаившейся радостью слушаю бабино шептанье и думаю: «Какое счастье, когда за тебя кто-то молится, ты не поверишь».

Вечер золотистый, тихий. Небо до того чистое зеленовато-голубое, что не хочется уходить из сада. Мы ждём с работы отца. В доме тихая музыка, пахнет ночными фиалками. В это время мы с мамой говорим «по душам». Я доверяю ей свои тайны, она такая понятливая, ты не поверишь. Рядом кошка, моя любимица трётся о мои ноги, а потом прыгает ко мне на колени. Я просто не понимаю, как можно не любить кошек. Для меня человек, не любящий кошек, всегда подозрителен, с изъязном, наверно. Неполноценный. Люди для меня делятся на тех, кто любит кошек и кто их не любит. Но ты не поверишь, мама моя не любит. А так хочется верить... в счастливое детство.

Семён Тимошенко,
7 класс, Ермаковский
литературный лицей

Мой друг Глюк

Знакомство

Однажды я сидел дома и скучал. Вечер почему-то был длинный-длинный. За окном ветер шелестел листвою, накрапывал мелкий дождь. Я залез с ногами на диван, включил торшер и начал листать журнал. На душе было как-то тоскливо.

Вдруг на книжной полке что-то заблестело. Оторвавшись от журнала, я обратил внимание на полку. Но там ничего необычного не было. Через некоторое время снов что-то блеснуло. И тут я увидел странное существо, совсем-совсем маленькое, размером с шариковую ручку. В первые минуты я подумал, что у меня «глюк», галлюцинация, значит. Я закрыл глаза и сильно ущипнул себя за руку. Но существо никуда не исчезло. Оно посиживало на книжном шкафу и болтало ножками, обувью в маленькие кроссовки. Вдруг оно пропищало:

— Давай знакомиться!

— Давай, — непослушными губами прошептал я.

— Меня зовут Глюк! — торжественно произнесло существо.

— А... А меня — Семён...

Прошло несколько дней, и Глюк стал моим лучшим другом. Он приходит ко мне по вечерам. И каждый вечер я с нетерпением жду нашей встречи. Глюк живёт на антресолях. Мы с ним разговариваем и мечтаем.

Глюк и Тима

У нас дома живёт большой пушистый кот Тима. Однажды он заметил Глюка на книжной полке и начал на него охоту. Но не тут-то было! У Глюка в руках появился маленький пистолетик, стреляющий шариками. Когда кот прыгнул на стул и собирался совершить прыжок на полку, Глюк выстрелил из пистолета и попал шариком прямо Тимке в лоб! Тимофей рассвирепел, и началась погоня... Они носились по комнате, как вихрь. С полки полетели все книжки, пыль стояла столбом. Потом, словно по волшебству, открылась форточка, и кот с мяуканьем вылетел в неё. С тех пор они дружат.

Плохое настроение

С утра шёл дождь, и у меня было плохое настроение. Сестра говорит, что в такие минуты я становлюсь невыносимым. Уже наступил вечер, а Глюк всё не приходил.

Наконец что-то зашуршало на полке, и я увидел Глюка. Я из вредности решил напугать его, ведь мне пришлось так долго его ждать. Спрятавшись за угол, я сначала притих, а потом как закричу во всё горло: «А-а-а!». Глюк очень испугался и даже подскочил на месте. Потом он решил мне отомстить.

Когда наступила ночь, он стал насыпать на меня кошмары. Мне снились чудовища, вампиры, зомби. Мне было так страшно, что я неожиданно

проснулся. По комнате вышагивал Глюк, закутанный в белое полотенце, и изображал страшное воющее привидение... Чтобы не раскрыть его тайну, я сделал вид, что сплю. А на следующий день мы помирились.

Поход за грибами

Как-то раз собрался я за грибами. Погода стояла ясная. Лес так и манил меня к себе. Взял я корзину, ножик, краюшку хлеба. Иду, улыбаюсь солнцу. Вдруг что-то зашевелилось на дне корзинки! А это мой друг — Глюк! Он тайком ещё с вечера пробрался в корзину и затаился в ней. Я сразу-то его и не заметил.

Стали мы с ним грибы собирать. Только вот Глюку всё больше нравились всякие поганки. Потом он нечаянно откусил от одной и... сразу стал расти, расти. И вырос в десять раз. Глюк очень расстроился. Ведь теперь его все увидят, спрятаться большому трудно. И тут я вспомнил, что в какой-то сказке говорилось, что нужно искать противоядие. И пришлось Глюку лопать все грибы подряд, пока ему не попался волшебный. Он-то ему и помог снова стать маленьким.

Как Глюк заболел гриппом

Зимой у нас был грипп. Я болел, и моя сестра болела. Мне было очень тяжело и скучно лежать одному в постели, поэтому Глюк каждый день приходил ко мне. Наверное, он не знал, что от меня можно заразиться, а, может, не хотел про это думать. Я был рад ему всегда. Он мне помог выздороветь. Но потом, когда я поправился, Глюк заболел сам. Я не мог никому раскрыть наш секрет и попросить помощи, поэтому ухаживал за другом сам. Я поил его чаем с малиной и мёдом, измерял ему температуру. Глюк спал на моей кровати, а утром я убирал его в шкаф. Чтобы не раздавить его нечаянно, я устироил ему домик в коробке от печенья.

Вскоре Глюк поправился, но после гриппа у него начались осложнения. Глюк стал лунатиком...

Яркие тёмные пятна...

*(Из выпускных сочинений
красноярских школьников)*

...Кабаниха обижала Катерину и через Тихона и напрямую.

...Кабанова полностью поглощена в манеры воспитания своего взрослого сына.

...Ей был слышен голос, который звал её уехать, исчезнуть, испариться, но Ахматова и слышать об этом не хотела.

...Он — странник. И очень странный человек.

...У кого-то эгоизм проявляется в пассивной аскетичности.

...Среди атмосферы тотального минора наиболее ярким тёмным пятном выделяется образ Кабанихи.

...Кабаниха — основоположница эгоизма, главный адепт тьмы в «тёмном царстве» и фатальная тиранка. Её духовная пища — постоянные локальные репрессии своих близких и искоренение великодушия.

ДиН ревью

Дальний восток, №2 март-апрель 2008, российский литературный журнал, г. Хабаровск, тираж 1300 экз.

Дальний восток, №3 май-июнь 2008, российский литературный журнал, г. Хабаровск, тираж 1300 экз.

Дмитрий Коро, Хочу говорить, или забытый метроном, книга стихотворений, г. Томск, 2008, тираж 500 экз.

Наталья Мурзина, Вторжение весны, стихи, приложение №19 к журналу «Огни Кузбасса» г. Кемерово, 2008, тираж 500 экз.

Огни Кузбасса, №1, 2008, литературный журнал, г. Кемерово, тираж 900 экз.

Первовестник, сборник произведений молодых авторов Фонда Астафьева, г. Красноярск, 2008, тираж 1500 экз.

251

■ Синяя тетрадь

Содержание

Рукописи принимаются по адресу:
66 00 28, Красноярск, ¼ 11937,
редакция журнала «День и Ночь».
Желателен диск с набором, фото-
графия, краткие биографические
сведения.
e-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут
авторы материалов. Мнения авто-
ров могут не совпадать с мнением
редакции. При перепечатке мате-
риалов ссылка на журнал «День и
ночь» обязательна.

Интернет-версия журнала
www.krasdin.ru поддерживается
ООО «КИТ»

ООО «Редакция литературного
журнала «День и Ночь».

инн
246 304 27 49,
р. счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале
«Банка Москвы»
в г. Красноярске.
бик
040 407 967
корр. счёт.
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75*,
офис «ДиН»
Телефон редакции:
(3912) 43 06 38

Компьютерная вёрстка:
Олег Наумов

Сдано в набор: 20.06.2008
Подписано к печати: 21.07.2008
Объём: 26.46
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала
в типографии ООО ИПЦ «КАСС»

Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23

380-летию Красноярска посвящается

- 2 **Завещание меценатки**
Владимир Шанин
- 7 **Вдогонку**
Тамара Гончарова
- 13 **Протянута ладонь...**
Екатерина Сергеева
- 14 **Между явью и сном**
Андрей Леонтьев
- 15 **Близорукость**
Марина Запунная
- 16 **Хозяин белых слонов**
Евгений Эдин
- 28 **Слагаемые**
Иван Клиновой
- 29 **До краёв...**
Дарья Верясова
- 32 **Больная звезда**
Анна Казанцева
- 33 **Короткие сказки**
Вадим Алямовский
- 36 **Решайте сами!**
Михаил Стрельцов

ДиН юбилей

- 39 **Зимние рассказы**
Александр Астраханцев
- 45 **Марш долгового облака**
Юрий Беликов
- 48 **Не такого видали!**
Сергей Кузнечихин
Александр Ёлтышев
- 50 **Твой Толька**
Александр Лейфер
- 117 **Меж нами — жизнь**
Николай Ерёмин

ДиН роман

- 60 **Профили**
Евгений Москвин

ДиН проза

- 118 **Заабсурдьё**
Юрий Тубольцев
- 125 **Учительница**
Никита Кобелев

ДиН эссе

- 137 **Сёстры тяжесть и нежность**
Валентин Курбатов

Библиотека современного рассказа

- 146 **Разговоры еле слышны**
Юлия Тамкович-Лалуа
- 156 **Он обязательно вернётся...**
Зинаида Кузнецова
- 163 **Знамение Чингис-хана**
Александр Кашанский
- 170 **Ангел и другие**
Лана Райберг
- 191 **Принцесса-лебедь**
Олег Рудковский
- 199 **Один день из жизни Михаила Х.**
Андрей Донец

ДиН публицистика

- 201 **Во власти фанатиков**
Лев Николаев
- 215 **История моей асексуальности**
Владимир Жуков

ДиН перевод

- 214 **Слава Верблюдам**
Юрий Андрухович

ДиН стихи

- 44 **Это очень страшная музыка...**
Анастасия Зубарева
- 124 **Праздник поэтов**
Валентина Гуркова
- 145 **Tombe la neige**
Денис Колчин
- 168 **Только не Вы...**
Светлана Мель
- 169 **Мёд и соль**
Светлана Ермолаева
- 190 **Узорные кольца...**
Владимир Черкашов
- 227 **Сибирская ностальгия**
Илья Фонаев
- 229 **На сквозном ветру**
Лидия Григорьева
- 231 **За любовью уходим**
Георгий Садхин
- 233 **Алхимия предательства**
Кельт Крёмин
- 234 **Лавандовый сквозняк**
Татьяна Стрельченко
- 235 **Далеконько от Европы**
Рустам Карапетьян
- 236 **На языке любви и боли**
Анатолий Вершинский
- 237 **Птица обронила перо...**
Наталья Алтунина
- 238 **Он — снег**
Алексей Горобец
- 239 **Прусская зима**
Борис Косенков
- 240 **Мне душу робкую...**
Ирина Землянская
- 241 **Завхозы красоты**
Валерий Скрипко
- 242 **В анархическом рае ольхи**
Сергей Хомутов

ДиН дети

- 244 **Синяя тетрадь**

ДиН память

- 134 **Молодому веку**
Зинаида Гиппиус
- 155 **Любовь-вражда**
Дмитрий Мережковский